ЖЕЛЬЮЛС

ЛЮБОВЬ
СТРАДАНИЕ
НАДЕЖДА

К.С.ЛЬЮИС

ЛЮБОВЬ
СТРАДАНИЕ
НАДЕЖДА

Москва
Издательство «Республика»
1992

Льюис Клайв Стейплз

Л91 Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — 432 с.
ISBN 5—250—01733—9

Клайв Стейплз Льюис (1898—1963) — английский писатель, уже ставший в англоязычных странах и легендой, и учителем. Его растущая популярность в немалой степени объясняется тем, что главным пафосом его творчества было утверждение непреложности нравственного закона. В книге собраны наиболее известные произведения — "Любовь", "Страдание", "Письма Баламута", "Человек отменяется" и др.

Книга предназначена всем интересующимся духовно-нравственной проблематикой, историей религии и культуры.

Л $\frac{0301070000—047}{079(02)—92}$ 241—92

ББК 87.7+84.4Вл

Заведующий редакцией *В. И. Кураев*
Редактор *О. Ю. Бойцова*
Младший редактор *О. П. Осипова*
Художник *О. А. Карелина*
Художественный редактор *А. Я. Гладышев*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9349

Сдано в набор 26.12.91. Подписано в печать 09.07.92. Формат 60x90 1/16. Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура "Литературная". Печать офсетная. Усл. печ. л. 27. Уч.-изд. л. 30,09. Тираж 45 000 экз. Заказ № 3199. С 047.

Российский государственный информационно-издательский Центр "Республика" Министерства печати и информации Российской Федерации.

Издательство "Республика". 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набор и диапозитивы изготовлены в государственном издательско-полиграфическом предприятии "Нижполиграф". 603006, г. Нижний Новгород, ГСП-123, ул. Фигнер, 32. Заказ № 3704.

Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме "Красный пролетарий". 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

© Составление — Н. Л. Трауберг
Перевод — Н. Л. Трауберг, Т. О. Шапошникова, И. Череватая, 1992

ISBN 5—250—01733—9

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КЛАЙВЕ С. ЛЬЮИСЕ

I

Клайв Стейплз Льюис родился 29 ноября 1898 г. в Ирландии. Первые десять лет его жизни были довольно счастливыми. Он очень любил брата, очень любил мать и много получил от нее — она учила его языкам (даже латыни) и, что важнее, сумела заложить основы его нравственных правил. Когда ему еще не было десяти, она умерла. Отец, человек мрачноватый и неласковый, отдал его в закрытую школу подальше от дома. Школу, во всяком случае первую из своих школ, Льюис ненавидел. Лет шестнадцати он стал учиться у профессора Кёркпатрика. Для дальнейшего важно и то, что Кёркпатрик был атеистом, и то, что ученик сохранил на всю жизнь благодарное, если не благоговейное, отношение к нему. Многие полагают, что именно он научил Льюиса искусству диалектики. Так это или не так, несомненно, что Льюис попытался перенять (на наш взгляд, успешно) его удивительную честность ума.

В 1917 г. Льюис поступил в Оксфорд, но скоро ушел на фронт, во Францию (ведь шла война), был ранен и, лежа в госпитале, открыл и полюбил Честертона, но ни в малой степени не перенял тогда его взглядов. Вернувшись в университет, он уже не покидал его до 1954 г., преподавая филологические дисциплины. Английскую литературу он читал тридцать лет, и так хорошо, что многие студенты слушали его по нескольку раз. Конечно, он печатал статьи, потом — книги. Первая крупная работа, прославившая его в ученых кругах, называлась «Аллегория любви» (1936); это не нравственный трактат, а исследование средневековых представлений.

В 1954 г. он переехал в Кэмбридж, ему дали там кафедру, в 1955 г. стал членом Британской академии наук. В 1963 г. он ушел в отставку по болезни и 22 ноября того же года — умер, в один день с Джоном Кеннеди и Олдосом Хаксли.

Казалось бы, перед нами жизнеописание почтенного ученого. Так оно и есть. Но были и другие события, в данном случае — более важные.

Льюис потерял веру в детстве, может быть, тогда, когда молил и не умолил Бога исцелить больную мать. Вера была смутная, некрепкая, никак не выстраданная; вероятно, он мог бы сказать, как Соловьев-отец, что верующим он был, христианином не был. Во всяком случае, она легко исчезла и не повлияла на его нравственные правила. Позже в трактате «Страдание» он писал: «Когда я поступил в университет, я был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки. Высшим моим достижением была смутная неприязнь к жестокости и к денежной нечестности; о целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Помогли ему

тогда люди неверующие: «...я встретил людей молодых, из которых ни один не был верующим, в достаточной степени равных мне по уму — иначе мы просто не могли бы общаться,— но знавших законы этики и следовавших им». Когда Льюис обратился, он ни в малой мере не обрел ужасного, но весьма распространенного презрения к необратившимся. Скажем сразу, это очень для него важно: он твердо верил в «естественный закон» и в человеческую совесть. Другое дело, что он не считал их достаточными, когда «придется лететь» (так сказано в одном из его эссе — «Человек или кролик»). Не считал он возможным и утолить без веры «тоску по прекрасному», исключительно важную для него в отрочестве, в юности и в молодости. Как Августин, один из самых чтимых им богословов, он знал и повторял, что «неспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе».

До тридцати лет он был скорее атеистом, чем даже агностиком. История его обращения очень интересна; читатель сможет узнать о ней из книги «Настигнут радостью». Занимательно и очень характерно для его жизни, что слово «Joy»— «радость», игравшее очень большую роль в его миросозерцании, оказалось через много лет именем женщины, на которой он женился.

Когда он что-то узнавал, он делился этим. Знал он очень много, слыл даже в Оксфорде одним из самых образованных людей и делился со студентами своими познаниями и в лекциях, и в живых беседах, из которых складывались его книги. До обращения он говорил о мифологии (античной, скандинавской, кельтской), литературе (главным образом средневековой и XVI в.). Он долго был не только лектором, но и tutor'ом — преподавателем, помогающим студенту, кем-то вроде опекуна или консультанта. Шок обращения побудил его делиться мыслями обо всем том, что перевернуло его внутреннюю жизнь.

Он стал писать об этом трактаты; к ним примыкают и эссе, и лекции, и проповеди, большая часть которых собрана в книги после его смерти. Писал он и полутрактаты, полуповести, которые называют еще и притчами — «Письма Баламута», «Расторжение брака», «Кружной путь». Кроме того, широко известны сказки, так называемые «Хроники Нарнии», космическая трилогия («За пределы безмолвной планеты», «Переландра», «Мерзейшая мощь»), которую относят к научной фантастике, тогда как это «благая утопия», или, скорее, некий сплав «fantasy» с нравственным трактатом. Наконец, у него есть прекрасный печальный роман «Пока не обрели лиц», который он писал для тяжелобольной жены, несколько рассказов, стихи, неоконченная повесть.

Многое из этого переведено и, надеюсь, скоро будет доступно нашему читателю.

II

Когда здесь, у нас, вдруг открыли Льюиса, он показался очень своевременным. Тогда мы не знали, что именно в это время «там»— в Англии, в Америке — воскресает, а не угасает интерес к нему. В начале шестидесятых, после его смерти, довольно уверенно предсказывали, что интерес этот скоро угаснет совсем. Вообще в шестидесятых, а где — в пятидесятых, как-то быстро и бездумно приняли то, что откат влево, неизбежный после авторитарности, тоталитарности, всезнайства, окончателен и больше колебаний маятника не будет. Но они были, и слава Богу, что многим пришел на помощь именно Льюис, а не один из категоричнейших проповедников «веры-и-порядка любой ценой».

Нам казалось, что трактаты и эссе Льюиса в высшей степени современны, но степень эта, видимо, не была «высшей». Наверное, она и сейчас не высшая; однако теперь намного легче представить себе, что под каждым из них стоит нынешняя дата. Тогда мода на религиозность была, но не все об этом знали. Попытки выдать свои пристрастия за волю Божью тоже были, но как мало, как скрыто! А вот вседозволенность была и есть, и никакие моды с ней не справляются.

Льюис, просто и твердо веривший в Провидение, был бы рад, что его смогут читать многие и темы его своевременны для многих. Он был бы рад, если это так; я не знаю, так ли это. Сравнительно долгий, почти двадцатилетний, опыт «самиздатовской» жизни Льюиса у нас подсказывает, что этот писатель разделил судьбу всего, что только есть в христианстве,— он очень нужен (и не только христианам), его все время читают, но почти не слышат и не могут толком понять.

Если мы вынесем за скобки все беды «самиздатовского» слова — от искажений до вольной или невольной эзотеричности,— останется печальный факт: чаще всего в Льюисе ценят ум. Видимо, темнота наша и униженность дошли до того, что первым возникало ощущение причастности к какой-то очень высокой интеллектуальной жизни. Оксфордские коллеги Льюиса (не друзья, просто коллеги) этому бы удивились. Как всякого христианина, его считали старомодным и простодушным. Надо сказать, его это почти не волновало.

Конечно, умным он был, а вот высокоумным — не был. Обычно подчеркивают его логичность, и сам он подчеркивал ценность логичного размышления. Однако на свете уже немало книг, критикующих Льюиса именно со стороны логики. Ответить на них трудно, сторонники его просто ими возмущаются. Я долго не могла понять, почему не возмущаюсь, хотя очень люблю Льюиса. Наконец, кажется, поняла.

В «Размышлении о псалмах» (1958) Льюис писал, что Послания апостола Павла никак не удается превратить ни в научный трактат, ни даже в прямое назидание, и, порассуждав об этом, прибавляет, что это хорошо: простое свидетельство христианской жизни само по себе важнее и трактатов, и назиданий.

Заключение это можно отнести и к самому Льюису. Все, что он писал,— это отчеты, заметки о христианской жизни. Его называют апологетом, а теперь даже — лучшим апологетом нашего века, но снова и снова думаешь, возможно ли вообще оправдать и защитить христианство перед лицом мира. Когда пробуют это делать, слушатели отмахиваются от любых доводов — из Аквината, из Августина, из Писания, откуда угодно. Несметное множество людей вроде бы не нуждается в доводах, но не хочет и проповеди, а спрашивает только действий поэффективней, то есть чистой, потребительской магии и чистого, плоского законничества. Но что описывать — сочетание магизма с легализмом много раз описано и обличено, даже в глубинах Ветхого завета.

Словом, если человек не сломился (названий этому много — сокрушение, обращение, покаяние, метанойя), никакая логика и никакой ум не приведут его к христианству. В этом смысле совершенно верно, что для обращения Льюис не нужен. Он даже вреден, если без поворота воли, без «перемены ума» человек будет набивать себе голову более или менее мудреными фразами. Но тогда вредно все. Любые свидетельства вредны, если набивать ими голову, а не сердце. Именно это происходит нередко у нас. Вообще ничего не может быть опасней, чем дурное неофитское сознание: душа осталась, как была, а голова полна «последних истин» (пишу «дурное», потому что неофитами в свое время были и

Августин, и Честертон, и сам Льюис). Собственно, вместо «неофит» лучше бы сказать «фарисей»; ведь опасней всего самодовольство, которое здесь возникает. Если же его нет, если человек сломился, сокрушился — жизнь его совершенно меняется. Ему приходится заново решать и делать тысячи вещей — и тут ему поможет многое. Он будет втягивать, как губка, самые скучные трактаты, что угодно, только бы «об этом». Льюис очень помогает именно в такое время.

Он очень важен для христиан как свидетель. Страшно подумать об этом, но ничего не поделаешь: каждый называющийся христианином — на виду. Каков бы он ни был, по нему судят о христианах, как по капле воды судят о море. Льюис — свидетель хороший. И людям неверующим видно, что он — хороший человек; это очень много, это — защита христианской чести. А уж тем, кто уверовал, «переменил ум», полезна едва ли не каждая его фраза — не как «руководство», а как образец.

Приведу только три примера, три его качества. Прежде всего, Льюис милостив. Как-то и его и других оксфордских христиан обвиняли в «гуманности», и он написал стихи, которые кончаются словами: «А милостивые все равно помилованы будут» (перевожу дословно, прозой). Снова и снова убеждаясь в этом его качестве, которое во имя суровости отрицает столько верующих людей, мы увидим, однако, что он и непреклонно строг; это — второе. Прочитаем внимательно «Расторжение брака»— там не «злодеи», там «такие, как все». Взор Льюиса видит, что это — ад; сами они — что только так жить и можно, как же иначе? Льюиса упрекали, что в век Гитлера и Сталина он описывает «всякие мелочи». Он знал, что это не мелочи, что именно этим путем — через властность, зависть, злобность, капризность, хвастовство — идет зло в человеке. Он знал, как близко грех. Когда-то отец Браун у Честертона сказал: «Кто хуже убийцы?— Эгоист». Вот — суть, ворота, начало главного греха. Наверное, третьей чертой Льюиса и будет то, что он постоянно об этом пишет.

Кажется, Бердяев сказал, что многие живут так, словно Бога нет. К Льюису это не отнесешь. Самое главное в нем — не ум, и не образованность, и не талант полемиста, а то, что он снова и снова показывает нам не эгоцентрический, а богоцентрический мир.

III

Теперь — немного о каждой книге и об их судьбе. «Страдание»— первый его христианский трактат, написан он в самом начале второй мировой войны. Церкви тогда неожиданно стали полны, и Льюиса все чаще приглашали то к летчикам, то на радио — не как англиста-филолога, конечно, а как проповедника; он был одним из многих, их ведь немало в Англии. Вскоре ему пришло в голову описать обычнейшие искушения от имени беса. Он быстро написал «Письма Баламута» (сперва они назывались «Как бес бесу»), читал их друзьям, в 1941 г. опубликовал в газете, но только в 1943 г., когда их переиздали в Америке, Льюис стал «знаменитостью». К славе он так и не привык, «Письма»— не любил и огорчался, что больше всего понравилась такая опасная книга. На три года позже он прочитал друзьям «Расторжение брака» (первоначальное название «Кто собрался домой»*). Тогда же, в 1943 г., он чи-

* Слова эти — из песни, которую поет герой честертоновского романа «Перелетный кабак».

тал лекции в Дарэме, и они переросли в трактат «Человек отменяется», а беседы по радио (1942—1943) стали книгой «Просто христианство».

Плодотворнейший период, начавшийся книгой о страдании, кончился книгой о чуде. Это тоже был трактат — рассуждения, доказательства, доводы. В феврале 1948 г. на заседании университетского клуба, который называли «Сократовским», возник спор с профессиональным философом Элизабет Энском. Льюис, что ни говори, был побежден. Предполагают, что именно после этого он отказался от трактатов в старом смысле слова. Во всяком случае, позже он написал сказки, автобиографию и статьи, а то, что создал в самом конце 50-х годов,— книга о псалмах и книга о любви — написано иначе, обращено скорее к сердцу, чем к разуму.

«Любовь» появилась сперва в виде радиобесед для Америки (1958). Теперь Льюис был женат, и брак его так удивителен, что о нем написали пьесу, которая идет в Англии. Американская журналистка Джой Дэвидмен стала христианкой, читая его книги (больше всего потрясли ее «Письма Баламута» и «Расторжение брака»). В начале 50-х годов она стала ему писать, потом приехала в Англию и полюбила его. События развивались медленно, Льюис привязывался к ней, но совсем не хотел жениться и даже, видимо, не влюблялся, но тут она заболела — и он обвенчался с ней в больнице. Джой выздоровела. Они были очень счастливы целых три года, поехали вместе в Грецию, а когда вернулись, она заболела опять и летом 1960 г. умерла. Еще через три года умер Льюис.

Беседы о любви были созданы, когда начинался их брак, изданы — когда он кончался, тем же летом, что умерла Джой. Мне кажется, лучше все это знать, когда их читаешь.

Наконец, скажу о том, что стало с книгами Льюиса. Как мы видели, написал он немало, но ни «Письма Баламута», ни сказки, ни романы не позволяли, пока он был жив, числить его среди крупнейших английских писателей, тем более классиков. Сейчас мы остановимся только на одной причине, может быть, все-таки главной.

Торнтон Уайлдер в «Дне восьмом» пишет о своем герое: «В конце концов и поклонники, и противники объявили его старомодным и на этом успокоились»*. Казалось бы, можно ли назвать старомодными таких легких, даже слишком легких писателей, как Честертон и Льюис? Можно, отчасти из-за их простоты. Наш век не очень ее любит. У Льюиса, как и у Честертона, есть качества, совсем непопулярные в наше время: оба — намеренно просты, оба — раздражающе серьезны. Как и Честертон, Льюис очень несерьезно относился к себе, очень серьезно — к тому, что отстаивал. Льюис сказал, что из мыслителей XX в. на него больше всего повлиял Честертон, а из книг Честертона — «Вечный Человек». Действительно, они принадлежат к одной традиции, и даже не по «жанру» (который, кстати, не должен удивлять страну, где жили и писали христианские мыслители от Хомякова до Федотова), а по здравомыслию и редкому сочетанию глубокой убежденности с глубоким смирением. Похожи они не во всем: Льюис рассудительнее Честертона (не «разумнее», а именно «рассудительнее»), строже, тише, намного печальней, в нем меньше блеска, больше спокойствия. Но, вместе взятые, они гораздо меньше похожи на своих современников. Какими бы эксцентричными ни казались их мысли, оба они, особенно Льюис, постоянно напоминали, что ничего не выдумывают, даже не открывают, только повторяют забытое. Льюис называл себя динозавром и образчиком

* Перевод Е. Калашниковой.

былого; один из нынешних исследователей назвал его не автором, а переводчиком.

Как мы уже говорили, за годы, прошедшие с его смерти, весомость его заметно увеличилась. Может быть, она будет расти; может быть, он, как сказал Толстой о Лескове, «писатель будущего», и примерно по той же причине. Льюис нужен и весо́м тогда, когда игры в новую нравственность, вненравственность, безнравственность уж очень опасны, и людям больше не кажутся скучными слова «великий моралист».

Недавно так назвали Льюиса в одном из англоязычных справочников, причем между делом, словно это само собой разумеется. Когда-то в трактате о страдании Льюис писал: «...порою мы попадаем в карман, в тупик мира — в училище, в полк, в контору, где нравы очень дурны. Одни вещи здесь считают обычными («все так делают»), другие — глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире «обычными вещами» гнушаются, а донкихотство входит в простую порядочность. То, что представлялось болезненной щепетильностью, оказывается признаком душевного здоровья». И дальше, приравнивая к такому карману то ли этот мир, то ли этот век: «Как ни печально, все мы видим, что лишь нежизненные добродетели в силах спасти наш род... Они, словно бы проникшие в карман извне, оказались очень важными, такими важными, что, проживи мы лет десять по их законам, земля исполнится мира, здоровья и радости; больше же ей не поможет ничто. Пусть принято считать все это прекраснодушным и невыполнимым — когда мы действительно в опасности, сама наша жизнь зависит от того, насколько мы этому следуем. И мы начинаем завидовать нудным, наивным людям, которые на деле, а не на словах научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертве».

Льюис — один из таких людей. Может быть, пора побыть с ним и поучиться у него.

Н. ТРАУБЕРГ

ПРИТЧИ

ПИСЬМА БАЛАМУТА

ВСТУПЛЕНИЕ

Я не собираюсь объяснять, как в мои руки попала та переписка, которую я теперь предлагаю вниманию общества.

Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии.

Советую моим читателям помнить, что дьявол — отец лжи и не все, что говорит Баламут, следует считать правдой, даже с его собственной точки зрения.

Я не устанавливал личности тех, кто упомянут в письмах. Однако не думаю, что, например, отец Игл или мать подопечного описаны достоверно. В аду, как и на земле, умеют подкрашивать мысли в угоду своим намерениям.

В заключение должен добавить, что я не пытался уточнить хронологию писем. Мне кажется, что чаще всего дьявольский принцип датировки никак не связан с земным временем, и потому я не стал его воспроизводить. История второй мировой войны могла интересовать Баламута только в той степени, в какой она повлияла на духовное состояние интересующего его человека.

К. С. Льюис
Модлин Колледж, 1941

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Я вижу, ты следишь за чтением своего подопечного и за тем, чтобы он вращался в кругу своих друзей-материалистов. Но мне кажется, ты немного наивен, полагая, что *аргументы* смогут вырвать его из объятий Врага. Это было бы возможно, живи он несколькими веками раньше. Тогда люди еще прекрасно умели отличать доказанное от недоказанного, и уж если что-то дока-

зано, они и верили в это. Тогда еще не утеряли связи между мыслью и делом и как-то могли изменить свою жизнь сообразно умозаключению. Это мы исправили при помощи еженедельной прессы и других средств. Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепции он воспринимает прежде всего не как *истинные* или *ложные,* а как *теоретические* или *практические, устаревшие* или *современные, банальные* или *смелые.* Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать времени на то, чтобы убедить его в истинности материализма; лучше внуши ему, что материализм силен или смел, что это философия будущего.

Доводы неприятны тем, что бой приходится вести на территории Врага. Он ведь тоже умеет убеждать; однако в той пропаганде, какую я предлагаю тебе, Он, как показывает наш многовековой опыт, не идет ни в какое сравнение с нашим отцом. Доказывая, ты пробуждаешь разум подопечного, а если разум проснется, кто предугадает результат? Даже если при каком-то повороте мысли случится так, что в выгоде будем мы, ты затем обнаружишь, что отвлек внимание от потока непосредственных переживаний, плавающих на поверхности, и самым пагубным образом направил его в глубину. Твоя же задача как раз в том, чтобы приковать внимание подопечного к постоянно меняющимся чувственным впечатлениям. Учи его называть этот поток «настоящей жизнью» и не позволяй задумываться над тем, что́ он имеет в виду. Помни: в отличие от тебя, твой подопечный — не бесплотный дух. Ты никогда не был человеком (в этом — отвратительное преимущество нашего Врага) и потому не можешь представить себе, как они порабощены обыденным. У меня был подопечный, крепкий атеист, который занимался иногда в Британском музее. Однажды, когда он читал, я заметил, что его мысли развиваются в опасном направлении. Враг наш, конечно, тут же оказался рядом. Не успел я оглянуться, как моя двадцатилетняя работа начала рушиться. Если бы я потерял голову и прибегнул к доводам, все пошло бы насмарку. Но я не настолько глуп. Я тотчас сыграл на той струнке моего подопечного, которая больше всего была под моим контролем, и намекнул, что сейчас самое время пообедать. Враг, по-видимому, сделал контрвыпад (никогда невозможно точно подслушать, что Он говорит), то есть дал понять, что эти размышления важнее обеда. Наверное, так оно и было, потому что, когда я сказал: «Да, это слишком важно, чтобы заниматься этим на голодный желудок», подопечный заметно повеселел. А когда я добавил: «Лучше вернуться сюда после обеда и тогда подумать как следует», он уже был на полпути к двери. Когда он вышел на улицу, победа была за мной. Я показал ему разносчика газет, выкрикивающего дневные новости, и автобус № 73; и, прежде чем он коснулся подножки автобуса, он уже непоколебимо верил, что, какие бы странные вещи и мысли ни при-

ходили в голову, когда уединишься с книгами, здоровая доза «настоящей жизни» (под которой я в нем подразумевал автобус и разносчика) сразу покажет, что таких вещей «просто нет». Он знал, что избежал опасности, и позднее любил говорить о «том неизъяснимом чувстве реальности, которое надежно защитит от крайностей чистой логики». В настоящее время он благополучно пребывает в доме отца нашего.

Улавливаешь, в чем тут дело? Благодаря процессам, которые мы пустили в ход несколько веков тому назад, людям почти невозможно верить в незнакомое и непривычное — у них перед глазами всегда есть знакомое и привычное. Набивай до отказа своего подопечного *обычностью* вещей. Но не вздумай использовать науку (я имею в виду науку настоящую) как средство против христианства. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть. Среди современных физиков есть печальные тому примеры. А если уж ему непременно нужно барахтаться в науке, пусть займется экономикой или социологией. Не давай ему убежать от этой бесценной «действительной жизни». Пусть лучше совсем не видит научной литературы. Внуши ему, что все это он уже знает, а то, что ему удается подхватить из случайных разговоров и случайного чтения,— «достижения современной науки». Помни, ты там для того, чтобы его обманывать. Судя по высказываниям некоторых из вас, молодых бесов, можно подумать, что вы поставлены учить их!

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Весьма досадно было узнать, что твой подопечный обратился. Не тешь себя надеждой, что избежишь положенного наказания (хотя я уверен, что в минуты успеха ты не тешишь себя надеждами). Надо спасать положение. Не нужно отчаиваться — сотни людей, обратившихся взрослыми, побыли в стане Врага, исправились, и теперь они с нами. Все привычки подопечного, и душевные, и телесные, льют воду на нашу мельницу.

Один из великих наших союзников в нынешнее время — сама церковь. Пойми меня правильно. Я говорю не о той самой Церкви, которую мы видим объемлющей пространство и время, укорененной в вечности, грозной, как полки со знаменами [1]. Это зрелище, признаюсь, способно устрашить самых смелых искусителей. Но, к счастью, та Церковь невидима для людей. Твой подопечный видит лишь недостроенное здание в псевдоготическом стиле на неприбранном строительном участке. Войдя же внутрь, он увидит местного бакалейщика с елейным выражением лица, а тот предложит ему лоснящуюся маленькую книжку, где записано содержание службы, которое никто толком не понимает, и еще книжечку в потертом переплете, содержащую искаженные тексты разных религиозных песнопений, в большинстве своем плохих и напе-

чатанных к тому же мелким шрифтом. Когда он сядет на свое место и оглядится, он увидит как раз тех соседей, которых он избегал. Тебе следует в полной мере их использовать. Пусть его мысли перескакивают со слов «Тело Мое»[2] к лицам и обратно. При этом, конечно, никакого значения не имеет, что́ за люди сидят на скамейках. Ты, может быть, знаешь, что кто-то из них — великий воин в стане Врага. Неважно. Твой подопечный, слава нашему отцу, от природы глуп. Если только кто-то из них плохо поет, носит скрипучие сапоги, нелепо одет или отрастил двойной подбородок, твой подопечный легко поверит, что в религии этих смешных и нелепых людей должно быть что-то смешное и нелепое. Как ты знаешь, сейчас в голове подопечного обитает представление о «христианстве», которое он называет «духовным», но это сильно сказано. Его голова забита хитонами, сандалиями, доспехами, босыми ногами. Тот простой факт, что люди, окружающие его в церкви, одеты по-современному, стал для него (разумеется, бессознательно) настоящим камнем преткновения. Не давай этому камню выйти на поверхность и не позволяй подопечному спрашивать себя, какими же он желал бы видеть прихожан. Следи за тем, чтобы все его представления были посмутнее; потом в твоем распоряжении будет целая вечность, и ты сможешь развлекаться, наводя в нем ту особую ясность, которой отличается ад.

Максимально используй разочарование и упадок, которые неминуемо настигнут его в первые же недели по обращении. Враг попускает это разочарование на пороге каждого человеческого дела. Оно появляется, когда мальчик, зачарованный историей Одиссея, начинает учить греческий. Оно же появляется, когда влюбленные поженились и учатся жить вместе. Во всяком человеческом деле есть переход от мечтаний к действительности. Враг идет на риск, связанный с этим разочарованием, так как лелеет надежду, что эти отвратительные маленькие создания станут его *свободными* приверженцами и служителями. Он вечно называет их «сыны», с упорным пристрастием унижая весь духовный мир неестественной любовью к двуногим. Не желая лишать их свободы, Он отказывается силой вести их к целям, которые поставил перед ними. Он хочет, чтобы они «шли сами». Здесь-то и кроются наши возможности. Но помни, что здесь же скрыта и опасность для нас. Уж если они пройдут благополучно через период сухости, они будут меньше зависеть от своих эмоций и искушать их станет труднее.

До сих пор я писал тебе так, словно люди, сидящие на соседних скамьях, не дают никаких разумных поводов к разочарованию. Когда же твой подопечный знает, что дама в нелепой шляпке — страстная картежница, а человек в скрипучих сапогах — скряга и вымогатель, твоя задача много легче. Ты просто мешай ему думать: «Если я, такой, какой я есть, могу считать себя христианином, почему недостатки моих соседей по скамье доказывают, что их религия — просто лицемерие и привычка?»

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Мой дорогой Гнусик!

Я очень рад тому, что ты рассказал мне об отношениях подшефного с матерью. Непременно воспользуйся возможностями, которые здесь открываются.

Враг намерен продвигаться от центра души к ее окраинам, все больше и больше подчиняя поведение нашего подопечного новому идеалу. В любую минуту Он может добраться и до отношений с матерью. Ты должен опередить Его. Не теряй связи с нашим коллегой Лизоблюдом, который опекает эту даму. Создай в его семье атмосферу постоянной раздражительности и ежедневных колкостей. При этом полезны следующие методы: 1) Удерживай внимание подопечного на его *внутренней* жизни. Он думает, что обращение развивается «внутри него», и потому смотрит внутрь, на «состояние своей души», или, точнее, на ту версию этих состояний, которую ты ему подсунешь. Поощряй его всячески в этом «самоанализе» и отвращай его взор от простейших обязанностей, направляя к целям высоким и духовным. Обыграй полезнейшую черту человека — пренебрежение к будничному и страх перед ним. Доведи подопечного до того, чтобы он часами копался в себе, но при этом не обнаружил черт, которые совершенно ясно видны каждому, живущему или работающему с ним. 2) Без сомнения, ты никак не запретишь ему молиться за свою мать, но постарайся обезвредить его молитвы. Последи за тем, чтобы он всегда их видел «высокими и духовными», чтобы он связывал их с состоянием ее души, а не с ее ревматизмом. Тут два преимущества. Первое: его внимание будет приковано к тому, что он почитает за ее грехи, а под ними он, при небольшой твоей помощи, будет подразумевать те ее особенности, которые ему неудобны и его раздражают. Таким образом, даже когда он молится, ты сможешь растравлять раны от обид, нанесенных ему за день. Это операция нетрудная, а тебя она развлечет. Второе: его представления об ее душе очень неточны, а часто и просто ошибочны, и потому он в какой-то степени будет молиться за воображаемую личность; твоя же задача в том, чтобы день ото дня эта личность все меньше и меньше походила на его настоя-

щую мать — острую на язык даму, с которой он встречается за обедом. Со временем ты должен довести его до того, чтобы ни одна мысль и ни одно чувство из его молитв не излилось на его действительные отношения с матерью. У меня были пациенты, которых я так хорошо держал в руках, что им ничего не стоило в один миг перейти от пылкой молитвы за душу жены или сына к побоям и оскорблениям. 3) Когда два человека много лет живут вместе, обычно бывает так, что у одного из них есть интонация или выражение лица, которых другой просто вынести не может. Используй и это. Пусть в сознании твоего подопечного полнее всплывет та особая манера хмурить брови, которую он приучился не любить с детства, и пусть он заметит, как он сильно ее не любит. Пусть он скажет матери, что она знает, как это раздражает его, и нарочно хмурится. Если ты правильно поведешь дело, подопечный не заметит вопиющей неправдоподобности своих слов. И конечно, никогда не позволяй ему заподозрить, что и у него могут быть интонации и выражения лица, раздражающие ее. Поскольку он не видит и не слышит себя, справиться с этим легко. 4) В цивилизованном обществе домашняя ненависть выражается так: один из членов семейства говорит другому то, что показалось бы совершенно безобидным на листе бумаги (слова ведь безобидны), но в эту минуту, сказанное этим тоном мало чем отличается от пощечины. Чтобы поддержать эту игру, вы с Лизоблюдом должны следить за тем, чтобы у каждого из ваших дураков были разные требования к себе и к другому. Твой подопечный должен требовать, чтобы все его высказывания понимали в прямом смысле, дословно, в то время как все сказанное матерью умножится для него на контекст, подоплеку и всякие тона. Ее нужно подстрекать к тому же самому. Тогда они разойдутся после каждой ссоры, веря или почти веря, что каждый из них совершенно невиновен. Ты ведь знаешь и понимаешь, что говорят в таких случаях: «Я просто спросил у нее, когда мы будем обедать, а она совершенно озверела». Если эту привычку хорошо укрепить, перед тобой восхитительная ситуация — человек говорит что-нибудь с явным намерением оскорбить другого и в то же время обижается, если слова его воспримут как обиду.

В заключение расскажи мне, как относится старушка к религии. Не ревнует ли она сына? Не задета ли она тем, что он усвоил от других и так поздно то, чему, как она считает, она обучала его с детства? Не думает ли она, что он поднимает слишком большой шум или что вера ему слишком легко досталась?

Помни старшего брата из притчи Врага![3]

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Дилетантские предложения в твоем последнем письме напомнили мне, что пришло время поговорить с тобой полнее о таком

неприятном предмете, как молитва. Ты мог бы и не писать, что мой совет по поводу молитв подопечного оказался «на редкость неудачным». Так не пишут племянники своему дяде, а младшие искусители — помощнику министра. К тому же я замечаю, что ты хочешь уйти от ответственности. Учись расплачиваться за ошибки.

Лучше всего, насколько это возможно, вообще удержать подшефного от молитв. Когда подопечный (как у тебя) — взрослый человек, недавно возвратившийся в стан Врага, это легче всего сделать, напоминая ему (или внушая ему, что он помнит) о попугайских молитвах его детства. Используя отвращение к таким молитвам, ты убедишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанному, бесформенному и нерегулярному. В действительности для начинающего это означает, что он станет вызывать в себе смутное «благоговейное настроение», при котором, конечно, не сосредоточены ни воля, ни разум. Один поэт, Колридж [4], писал, что он молится «не плетеньем привычных слов и не преклоненьем колен», но просто «утихая духом в любви» и «погружаясь духом в мольбу». Это нам и нужно. А поскольку такая молитва внешне похожа на ту молитву без слов, которой молятся очень продвинувшиеся на службе у Врага; то рассудительные и ленивые пациенты могут довольно легко и долго находиться в заблуждении. Наконец, их можно убедить, что положение тела совершенно неважно для их молитв (они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить: они — животные и тела влияют у них на душу). Как ни смешно, эти твари всегда представляют, что мы пичкаем их мозги разными мыслями, в то время как для нас лучше всего отвлекать их от мыслей.

Если это не удается, испробуй более тонкий способ. Всякий раз, когда его помыслы обращаются к самому Врагу, мы вынуждены отступить. Но есть способ помешать им. Самое простое — переключить его внимание с Врага на самого себя. Пусть сосредоточится на собственном сознании или пытается вызвать в себе *чувства* собственными волевыми усилиями. Когда ему захочется воззвать к *Его* милосердию, пусть он вместо этого начнет возбуждать в себе жалость к самому себе, не замечая, что делает. Когда он захочет молиться об укреплении мужества, пусть почувствует, что прощен. Научи его оценивать каждую молитву по тому, возбудила ли она желаемые чувства. И пусть он никогда не подозревает, насколько неудача или удача молитвы, при таком к ней отношении, зависит от того, здоров он или болен, устал или бодр.

Разумеется, Враг не всегда будет бездействовать — там, где молитва, всегда есть опасность, что Он вмешается. Он до неприличия равнодушен к собственному достоинству и к достоинству духов бесплотных (нашей части), а этим животным, преклоняющим колени, дарует самопознание совершенно возмутительным образом. Но если Он пресечет твои первые попытки направить молитву подопечного в другую сторону, у нас останется еще одно,

более тонкое оружие. Людям не дано воспринимать Его прямо (чего мы, к сожалению, не можем избежать). Они никогда не испытывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-за которого все наше существование — непрерывная мука. Если ты заглянешь в душу своего пациента, когда он молится, ты не найдешь там этой ясности. Если же ты еще пристальнее вглядишься в объект, к которому он обращается в молитве, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, ведущие свой род от изображения Врага в позорный период Его вочеловечения. Там будут смутные, а то и совсем непонятные и примитивные, детские и наивные образы, связанные с двумя другими Лицами Врага [5]. Могут подмешиваться сопутствующие молитве ощущения и даже благоговение перед самим собой. Я знаю случаи, когда то, что наш подшефный называл «богом», помещалось в левом углу потолка, или же в его собственной голове, или на распятии. Но какова бы ни была природа сложного представления о Враге, главное — следи за тем, чтобы подопечный молился именно своему представлению, идолу, которого он сам себе сотворил, а не Тому, Кто сотворил его. Принуждай подшефного и к тому, чтобы он постарательнее исправлял и улучшал объект поклонения и постоянно думал об этом, пока он молится. Если когда-нибудь он достигнет ясности, если когда-нибудь он сознательно направит свои молитвы не «Тебе, каким я помышляю Твой Образ», но «Тебе, единственно Сущему», нам конец. Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно субъективную природу, и доверится Тому, Кто невидимо, но совершенно реально присутствует здесь, в одной с ним комнате, Тому, Кого ему никогда не познать, тогда как Тот его знает,— может случиться самое худшее. Избежать этого тебе поможет одно: сами люди жаждут раскрыть душу в молитве не так сильно, как им кажется. Но часто молитву слышат лучше, чем хочется человеку.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Когда ожидаешь подробного доклада о работе, а получаешь расплывчатые восторги, это несколько разочаровывает. Ты пишешь, что «себя не помнишь от радости», потому что европейцы начали свою очередную войну. Мне ясно, что с тобой произошло. Ты не охвачен радостью, ты просто пьян. Читая между строк твоего совершенно неуравновешенного письма о бессонной ночи пациента, я могу судить и о твоем состоянии. За свою карьеру ты впервые вкусил того вина, в котором награда за все наши труды. Это вино — тревога и смятение души человеческой — ударило тебе в голову. Тебя трудно винить: мудрая голова не венчает юные плечи. А вот впечатлили ли подопечного мрачные картины будущего, которые ты ему нарисовал? Ты подсказал ему печаль-

ные воспоминания о его счастливом прошлом, засосало у него как следует под ложечкой? Ты сумел сыграть на всех его тонких струнках? Что ж, это в порядке вещей. Но помни, Гнусик, делу — время, а потехе — час. Если твое теперешнее легкомыслие приведет к тому, что добыча выскользнет из рук, ты вечно и тщетно будешь жаждать вина, которого сейчас отведал. Если же с помощью настойчивых, хладнокровных и непрестанных усилий тебе удастся заполучить его душу, он — твой навеки. Он станет тогда живой чашей, до краев полной отчаянием, ужасом и смятением, и ты сможешь отпивать из нее, когда захочешь. Так что не позволяй временному возбуждению отвлекать тебя от главного дела, а дело твое — подрывать веру и тормозить добродетель. В следующем письме пришли мне тщательный и полный отчет о реакциях пациента, чтобы мы могли обдумать, что лучше: сделать из него крайнего пацифиста или пламенного патриота. Здесь у нас масса возможностей. Пока что я должен тебя предостеречь: не возлагай слишком много надежд на войну.

Конечно, война несет немало забавного. Постоянный страх и страдание людей — законный и приятный отдых для наших прилежных тружеников. Но какой в этом прок, если мы не сумеем воспользоваться ситуацией и не доставим новые души нашему отцу? Когда я вижу временные страдания человека, впоследствии ускользающего от нас, мне гадко, словно на роскошном банкете мне предложили закуску, а затем убрали всю еду. Это хуже, чем не пробовать ничего. А Враг, верный Своим варварским методам, позволяет нам видеть недолгие страдания Своих избранных только для того, чтобы помучить нас, искусить и в конце концов выставить на посмешище, оставляя нам непрестанный голод, созданный Его охранительным заслоном. Подумаем, как воспользоваться европейской войной, а не как наслаждаться ею. Кое в чем она сработает в нашу пользу. Можно надеяться на изрядную меру жестокости и злобы. Но, если мы будем бдительны, мы на этот раз увидим, как тысячи обратятся к Врагу, а десятки тысяч, так далеко не зашедших, станут заниматься не собой, а теми ценностями и делами, которые они сочтут выше своих собственных. Я знаю, что Враг не одобрит многие из этих дел. Но именно здесь Он и не прав. Ведь Сам Он в конце концов прославляет людей, отдавших жизни свои за дела, которые Он считает плохими, на том чудовищном, достойном софиста основании, что самим людям эти дела казались добрыми и достойными. Подумай также, сколь нежелательным образом люди умирают на войне. Они знают, что их можно убить, и все же идут туда, особенно если они приверженцы Врага. Для нас было бы гораздо лучше, если бы все они умирали в дорогих больницах, среди врачей, которые им лгут по нашим же внушениям, обещая умирающим жизнь и утверждая их в том, что болезнь извиняет каждый каприз, и (если наши сотрудники хорошо знают свое дело) не допуская мысли о священнике, дабы тот не сказал больному о его истинном положении. А как губительна для нас постоянная память о смерти!

Наше патентованное оружие — довольство жизненными благами — оказывается бездейственным. В военное время никто уже не верит, что будет жить вечно.

Мне известно, что Паршук и некоторые другие видели в войнах огромную возможность для атак на веру, но такой оптимизм мне кажется сильно преувеличенным. Своим земным последователям Враг ясно показал, что страдание — неотъемлемая часть того, что Он называет Искуплением. Так что вера, разрушенная войной или эпидемией, даже не стоит наших усилий. Конечно, именно в моменты ужаса, тяжелой утраты или физических страданий, когда разум человека временно парализован, ты можешь поймать его в ловушку. Но даже тогда, если человек воззовет о помощи к Врагу, он почти всегда, как я обнаружил, оказывается под защитой.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Приятно узнать, что возраст и профессия твоего подшефного не мешают призвать его на военную службу. Желательно, чтобы он находился в полнейшей неуверенности и воображение его кишело противоречивыми картинами будущего, рождающими то страх, то надежду. Ничто не защищает человеческую душу от Врага лучше, чем тревога и неизвестность. Враг хочет, чтобы люди сосредоточились на своем деле; наша задача — поддерживать их мысли о том, что может с ними случиться.

Твой подопечный, конечно, знает, что он должен послушно следовать Вражьей воле. Конечно, Враг имеет в виду, что человек должен терпеливо принимать те горести, которые выпадают ему *сейчас,* тревогу и неизвестность настоящего. Как раз в ответ на эти горести он должен сказать: «Да будет воля Твоя», и за то, что он ежедневно несет именно этот крест, и получит он хлеб насущный. Твоя задача в том, чтобы подопечный никогда не думал о своем теперешнем страхе как о возложенном на него кресте, а думал о предметах своего страха. Заставь его воспринимать *их* как кресты. Заставь его забыть о несовместимости пугающих его опасностей, о том, что все разом они не могут на него свалиться. Заставь его настроиться на то, что *в будущем* он вынесет их стойко и терпеливо. На самом деле почти невозможно проявить истинное смирение перед лицом судьбы, у которой дюжина гипотетических обличий. Тому, кто пытается это сделать, Враг не оказывает значительной помощи. Смирение же перед теперешним, подлинным страданием, даже если страдание только в страхе, не остается обычно без помощи свыше.

Здесь действует важный духовный закон. Я уже объяснял тебе, что ты можешь ослабить молитвы подопечного, переключив его внимание с Врага на собственные представления о Нем.

И страхом легче управлять, если мысли человека переключены с предмета страха на сам страх (причем страх этот воспринимается как нынешнее и нежелательное состояние). Если же он сочтет страх возложенным на него крестом, он неизбежно сочтет его и душеполезным. Таким образом, можно сформулировать общее правило: если разум подопечного работает на нас — отвлеки его от самосознания; если же разум работает на Врага, сосредоточь его на себе. Пусть обида или женское тело так увлекут его, что ему и в голову не придет подумать: «Я разозлился» или «Я поддаюсь похоти». И напротив, пусть мысль: «Я становлюсь набожней» или «...всех милосердней» так поглотит его, что он не оторвет свой взгляд от себя, не обратит его к Врагу и ближним.

Что касается его общего отношения к войне, ты не должен слишком полагаться на ту ненависть, которую люди так любят обсуждать в христианской и антихристианской печати. Когда подопечному очень плохо, конечно, стоит разогревать его злобные чувства к немецким лидерам; это хорошо. Но обычно это всего лишь мелодраматическая или мифическая ненависть, направленная против каких-то воображаемых козлов отпущения. Он никогда в жизни не встречал этих людей — это все образы, скроенные из газетных сведений. Результаты такой выдуманной ненависти часто для нас огорчительны, а из всех людей англичане в этом отношении самые прискорбные тряпки. Они как раз из тех ничтожеств, которые вопят, что всех пыток мира мало для их врагов, а потом отдают чай и сигареты первому же раненому немецкому пилоту, оказавшемуся у их кухонной двери.

Как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное — направлять его злобу на непосредственных ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта мнимой. Нет смысла разжигать в нем ненависть к немцам, если в то же время в нем растет пагубная доброта к матери, к начальнику на работе и к соседям по трамваю. Представь себе пациента в виде концентрических кругов, из которых центральный — его воля, следующий — разум, а затем — фантазия. Вряд ли можно из всех кругов выхолостить все, несущее печать Врага, но ты должен подталкивать все добродетели от центра к краю, пока они не обоснуются в круге фантазии, а все желательные нам качества — в круге воли. Только дойдя до воли и став привычками, добродетели действительно опасны для нас. Я, разумеется, имею в виду не то, что подопечный считает своей волей, когда он рвет, мечет и обретает решимость, стиснув зубы, а подлинный центр его — то, что Враг называет сердцем. Никакие добродетели, окрашенные фантазией, одобренные разумом, даже пылко любимые, не уберегут человека от отца нашего; он только окажется еще смешнее, когда попадет к нему.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Меня удивляет твой вопрос. Ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал (или не знал) о твоем существовании. Что до настоящей фазы борьбы, на этот счет была инструкция низшего командования. Наша политика и состоит в том, чтобы скрываться. Разумеется, так было далеко не всегда. Перед нами мучительная дилемма. Когда люди не верят в нас, нам не получить тех отрадных результатов, которые дает прямой террор, и к тому же мы лишены радостей магии. С другой стороны, когда они в нас верят, мы не можем делать из них материалистов и скептиков. Во всяком случае, пока еще не можем. Надеюсь, в свое время мы научимся так разбавлять науку эмоциями и мифами, что вера в нас (под измененным названием) проберется и обоснуется в них, тогда как душа человека останется закрытой для веры во Врага. Вера в «жизненную силу», культ секса и психоанализ могут оказаться здесь весьма полезными. Если нам когда-либо удастся создать изделие высшего качества — мага-материалиста, не только использующего, но и почитающего то, что он туманно и расплывчато именует «силами», отрицая при этом невидимый мир, мы будем близки к победному концу. Не думаю, что тебе очень уж трудно обманывать пациента. «Черти» — комические персонажи для современных людей, и это поможет тебе. Если какое-то смутное подозрение забрезжит в голове подшефного, покажи ему изображение существа в красном трико, убеди его, что, поскольку в такое существо он верить не может, он не может верить и в тебя. Это старый метод, он есть во всех учебниках.

Я не забыл своего обещания и обдумал, сделать ли подшефного крайним патриотом или крайним пацифистом. Все крайности, кроме крайней преданности Врагу, следует поощрять. Не всегда, разумеется, но в настоящее время — безусловно. Бывают времена прохладные и самодовольные, тогда мы помогаем людям еще крепче уснуть. В другие времена, готовые вспыхнуть раздорами, наша задача — подливать масла в огонь. Каждая маленькая группа людей, связанная общим интересом, который другие отвергают или игнорируют, постепенно вскармливает тепличное благодушие, конечно — друг к другу. По отношению же ко всем прочим развивается гордость и даже ненависть, проявляемые без всякого стыда, ибо они санкционированы «делом» и освобождают от личной ответственности. То же самое происходит и в маленьких группах, первоначально возникающих во имя служения Врагу. Мы хотим, чтобы церковь была маленькой для того, чтобы принадлежащие к ней приобрели замкнутость, скованную напряженность, самодовольную непогрешимость, свойственные тайным обществам и кликам, а не только для того, чтобы меньше людей знало Врага. Сама Церковь, конечно, надежно защищена, и нам еще никогда не удавалось придать ей характерные черты фракции. Но некоторые группировки, входящие в нее, часто радо-

вали нас превосходными результатами, от партий Павла и Аполлоса в Коринфе [6] до двух англиканских церквей в Англии [7].

Если твоего подопечного удастся сделать совестливым пацифистом, он автоматически окажется членом маленького, громогласного, сплоченного и непопулярного общества, что почти наверняка хорошо повлияет на новообращенного христианина. Но только «почти»! Сомневался ли он до войны в том, оправдано ли участие даже в справедливой войне? Достаточно ли он мужествен, чтобы не поддаться полубессознательному самообману, скрывающему истинные мотивы собственного пацифизма? Убежден ли он в минуты наибольшей честности (никто из людей никогда не бывал совершенно честен), что он хочет только следовать воле Врага? Если он именно таков, его пацифизм, увы, сыграет на руку не нам, а Врагу, вероятно, защитит его от обычных последствий принадлежности к секте. В таком случае посоветую тебе вызвать в нем внезапный и запутанный эмоциональный кризис, из которого он мог бы выйти неуверенным и шатким патриотом. Но если я его верно себе представляю, лучше попробовать пацифизм.

На что бы он ни решился, твоя задача неизменна. Пусть он сочтет патриотизм или пацифизм частью своей религии, а под влиянием партийного духа пусть отнесется к нему как к самой важной ее части. Потом спокойно и постепенно подведи его к той стадии, когда религия просто станет частью «дела», а христианство он будет ценить главным образом за те блестящие доводы, которые можно надергать из его словаря, чтобы оправдать английские военные действия или же пацифизм. Не допускай одного, чтобы пациент рассматривал жизненные дела как материал для послушания Врагу. Если ты сделал мир целью, а веру — средством, человек уже почти в твоих руках и тут совершенно безразлично, какую цель он преследует. Если только митинги, брошюры, политические кампании, движения и дела значат для него больше, чем молитва, таинство и милосердие,— он наш. И чем больше он «религиозен» (в этом смысле), тем крепче мы его держим. Я мог бы показать тебе целую клетку таких у нас, внизу. Потешный уголок!

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Итак, ты «полон надежд на то, что религиозная фаза твоего подопечного близится к концу»! Я всегда подозревал, что институт Искусителей сильно испортился с тех пор, как его возглавил старик Гад. Теперь я окончательно в этом убедился. Неужели тебе никто не говорил о *законе волнообразного чередования?*

Как и земноводные, люди двойственны — они полудухи, полуживотные. Решение Врага создать столь возмутительный гибрид было одной из причин, побудивших отца нашего отступиться от

Него. Как духи, они принадлежат вечности; как животные, существуют во времени. Это означает, что дух их может быть устремлен к вечности, а тела, страсти и воображение постоянно изменяются, ибо существовать во времени и означает «изменяться». К постоянству они ближе всего при волнообразном чередовании. Это значит, что они возвращаются от спада к высшему уровню, которого они не сумели выдержать, и снова идут к спаду; такая цепь подъемов и спусков. Если бы ты тщательно наблюдал за своим подопечным, ты увидел бы эти чередования повсюду в его жизни. Его интерес к работе, привязанность к друзьям, даже аппетит то активизируются, то притупляются. Пока он живет на свете, периоды эмоциональной и физической интенсивности и живости сменяются периодами усталости и апатии. Сухость и скука, переживаемые в настоящее время твоим пациентом, не являются, как ты полагаешь в своей наивной радости, делом твоих рук. Они — вполне естественны, и нам не будет никакого прока, если ты не сумеешь их правильно использовать.

Чтобы решить, как их лучше обработать в нашу пользу, надо спросить себя, какую цель здесь преследует Враг, и действовать прямо противоположно. Вероятно, ты с удивлением узнаешь, что Он больше полагается на периоды спада, нежели на периоды подъема. Некоторым из особенно Им чтимых пришлось пройти через очень продолжительные периоды спада. Причина этого — в следующем. Для нас человек преимущественно пища, наша цель — поработить его волю, нам надо увеличить площадь нашего эгоизма за его счет. Враг же требует от него совершенно иного. Нужно твердо усвоить, что все разговоры о Его любви к людям и о том, что служение Ему — подлинная свобода, не просто пропаганда (как нам хотелось бы думать), а ужасающая правда. Он *действительно* вздумал наполнить Вселенную множеством Своих отвратительных маленьких подобий. Ему нравится, чтобы она кишела существами, чья жизнь в миниатюре подобна Его собственной не потому, что Он подчинил их, а потому, что их воля свободно сопрягается с Его волей. Нам нужно стадо, которое станет нам пищей. Он хочет служителей, которые станут Ему сыновьями. Мы хотим проглотить, Он — отдавать. Мы пусты и хотим насытиться. Он — полнота, неистощимый источник. Цель наша — мир, состоящий из людей, захваченных отцом преисподней; Враг жаждет, чтобы все люди соединились с Ним и при этом каждый остался неповторимой частицей.

А теперь — о периодах спада. Ты, вероятно, часто удивлялся, почему Враг не пользуется Своей властью и не дает ощутить Свое присутствие, когда Ему угодно. И Всемогущество и Неоспоримость запрещены Ему самой сутью Его деятельности. Просто поглотить волю человека (как поглощает ее ощущение Его присутствия) для Него бесполезно. Он не может захватывать, Он может только призывать. Его мерзкая идея в том и состоит, чтобы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Люди должны быть едины

с Ним, не утратив своей личности. Ни пренебрежение людьми, ни порабощение их Его не устраивает. Он готов чуть-чуть подстегнуть новообращенных. Он иногда приободрит их, давая ощутить Свое присутствие, пусть слабо и тускло, но с них и того хватает. Он оживляет их благодатной радостью и легкой победой над искушением. Но никогда Он не даст этому долго длиться. Рано или поздно Он отведет их от Своей поддержки и Своего наставничества, если и не в действительности, то в их представлении. Он вынуждает Свои создания встать на собственные ноги и с помощью одной лишь воли исполнять обязанности, потерявшие всю свою привлекательность. Именно в периоды спада, а не в периоды подъема человек ближе всего к тому, кем Враг назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращенные к Нему в «духовную засуху», Он и ценит больше всего.

Мы же должны тянуть к себе наших пациентов за веревку искушений — они предназначены нами только на заклание, и чем больше это одобрит их воля, тем лучше. Он не может вовлекать в добродетель, как мы вовлекаем в грех. Он учит их ходить и должен убрать Свою руку. И если они действительно хотят ходить, Он радуется даже тогда, когда они споткнутся. Не обманывайся, Гнусик. Наше дело в особенно большой опасности, когда человек оказывается во Вселенной, из которой, казалось бы, исчез всякий след Врага, и спрашивает, почему он покинут, и продолжает повиноваться Ему без особого желания, но с твердым намерением следовать воле Вражьей.

Конечно, периоды спада и нам предоставляют некоторые возможности. На следующей неделе я дам тебе несколько советов, как ими воспользоваться.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Дорогой Гнусик!

Надеюсь, мое последнее письмо убедило тебя в том, что период пустоты или «засухи», переживаемый сейчас твоим подопечным, не принесет тебе его душу готовенькой, здесь надо тщательно поработать. Какие формы примет твоя работа, я сейчас поясню.

Прежде всего, периоды спада в цепи духовных чередований дают прекрасные возможности для чувственных соблазнов, особенно искушений пола. Это тебя удивит, ибо физическая энергия и, следовательно, похоть интенсивнее в периоды духовного оживления. Но помни, что силы внутреннего сопротивления тоже крепче именно в эти периоды. Здоровье и бодрое состояние, которые ты хочешь сделать побудителями похоти, увы, можно использовать для работы, игр, размышлений или невинного веселья. У нашей атаки много больше шансов на успех, если внутренний мир человека скучен, холоден и пуст. Замечу еще, что чувственность во время спада имеет тонкое качественное отличие от

чувственности в период оживления. Гораздо менее вероятно, что она повлечет за собой то кисейное состояние, которое люди называют «влюбленностью». Чувственность во время спада можно легко направить в русло извращений, она менее заражена порывами великодушия, фантазии и даже духовности, которые часто приводят нас к разочарованию в человеческой похоти. Так же обстоит дело и с другими ощущениями человека. Весьма вероятно, что тебе удастся сделать из твоего подопечного крепкого пьяницу. При этом лучше ему выпить рюмочку в минуту скуки и усталости, чтобы забыться и успокоиться, чем в компании с друзьями, ради общительности и веселья. Всегда помни, что удовольствие, испытываемое в здравой, нормальной и плодотворной форме, лежит в зоне действия Врага. Я знаю, что с помощью удовольствий мы завладели многими душами. Тем не менее удовольствие — Его изобретение, а не наше. Он сотворил все радости и развлечения, а наши научные поиски до сих пор не дали результатов. Мы можем только побуждать людей к наслаждению тогда, когда это запрещено Им. Поэтому мы всегда стараемся отвести человека от естественных удовольствий к менее естественным, утратившим связь со своим Творцом и приносящим меньше радости. На этом пути формула человеческого падения такова: все больше жажда, все меньше удовлетворение. Это надежный путь, вполне в духе современной нравственной моды. Завладеть душой человека и не дать ему взамен ничего — истинная радость для отца нашего. А периоды спада — лучшее время для начала такого процесса.

Но можно и еще лучше использовать эти периоды: воспользуйся мыслями пациента о своем спаде. Как всегда, основное здесь — держать его волю подальше от разума. Не давай ему даже заподозрить о законе волнообразного чередования. Держи его в убеждении, что первый пыл не должен прекращаться, что его надо постоянно поддерживать, а нынешняя сухость — состояние неизменное. Как только ты укрепишь в нем эту ложную концепцию, ты сможешь действовать разными способами. Все зависит от того, принадлежит ли твой пациент к типу людей, легко падающих духом, которых можно искушениями довести до отчаяния, или к типу людей, охотно цепляющихся за фальшивые надежды, которых можно уверить, что все хорошо. Первый тип теперь встречается редко. Если окажется, что твой подопечный принадлежит к нему, все очень просто. Тебе только следует держать его подальше от христиан (что нетрудно в наше время), указывать ему подходящие места в Писании, и пусть он трудится над безнадежной задачей — пытается воссоздать свои старые чувства собственной волей. Тогда победа за нами. Если же он из людей, довольствующихся надеждами,— заставим его смириться с низкой температурой собственного духа и постепенно удовольствоваться ею, уверив себя, что в конце концов она не такая уж и низкая. Недели через две ему неплохо задуматься, не были ли его чувства в первые дни обращения несколько преувеличенными. Поговори

с ним о том, что «во всем надо знать меру». Если тебе удастся, подведи его к мысли: «Верить хорошо, но зачем же крайности!» Религия «в меру» для нас так же хороша, как полное неверие, и куда смешнее.

Другая возможность — прямая атака на веру. Когда, твоими трудами, он примет свой духовный спад за прочное состояние, не мог бы ты убедить его в том, что «религиозный период» близится к концу, как и все предыдущие периоды? Разумеется, нет никакой логической связи между утверждением «я теряю к этому интерес» и выводом «значит, это ложно». Но, как я уже говорил тебе, ты должен полагаться на самоуверенную тарабарщину, а не на разум. От простого слова «период», по всей вероятности, сработает весь трюк. Полагаю, что твой подопечный прошел несколько периодов (все через них проходили) и чувствует себя опытней и выше прежних не потому, что относится к ним критически, а просто потому, что они уже позади. Надеюсь, ты хорошо его подкармливаешь туманными идеями о Прогрессе, Развитии и Исторической Точке Зрения, даешь ему достаточно современных биографий? Люди в них всегда проходят через разные периоды.

Ясна тебе суть? Держи его разум подальше от простой разницы между «хорошо» и «плохо». Очень милы и туманные выражения: «Был у меня такой период...», «Я прошел через это...» И не забудь трезвого: «Я взрослый человек».

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Мне было приятно узнать от Пройдохи, что у твоего подопечного появилось несколько очень полезных для нас знакомых, а тебе удалось воспользоваться этим многообещающим средством. Полагаю, что средних лет супруги, с которыми он познакомился, именно такие люди, с которыми и следует знаться: богатые, элегантные, поверхностно интеллектуальные и блистательно-скептические ко всему на свете. По-видимому, они балуются расплывчатым пацифизмом не по моральным причинам, а потому, что привыкли относиться свысока ко всему, что волнует общую массу их соотечественников, и еще из-за легкого налета чисто позерской, литературной симпатии к коммунизму. Это все превосходно. Кажется, ты хорошо воспользовался его социальным, а также сексуальным и интеллектуальным тщеславием. Расскажи мне об этом подробнее. Достаточно ли он в это вжился? Судить надо, конечно, не по словам. Есть тонкая игра взглядов, интонаций, улыбок, с помощью которой человек может показать собеседнику, что они люди одного круга. Измену такого рода ты особенно должен поощрять, так как сам человек полностью не осознает ее, а к тому времени, когда он осознает, ему будет крайне трудно вернуться на старые позиции.

Без сомнения, он очень скоро поймет, что его собственная вера прямо противоположна той самонадеянности, на которой основаны все разговоры его новых друзей. Но не думаю, что это будет для него важно, если ты сможешь его убедить, чтобы он отложил всякие открытые объяснения, а это легко сделать, играя на его застенчивости, гордости, сдержанности и тщеславии. Пока он откладывает — он в ложном положении. Он будет молчать, когда ему следует говорить, и смеяться, когда ему следует молчать. Он поддержит (сначала молча, а затем и на словах) циничные и скептические мнения, которых он в действительности не разделяет. Но если обращаться с ним умело, то они в конце концов могут стать и его собственными. Все смертные склонны становиться теми, кого они из себя строят. Это элементарно. Серьезный же вопрос — как подготовиться к контратаке Врага.

Первое: оттягивай как можно дольше тот момент, когда он осознает, что его новое удовольствие — искушение. Поскольку слуги Врага вот уже две тысячи лет проповедуют, что мирская суета — одно из сильнейших и простейших искушений, казалось бы, нам трудно на этом сыграть. Но, к счастью, они совсем мало говорили об этом в последние десятилетия. В современной христианской литературе хоть и много можно найти о маммоне [8] (и даже больше, чем мне хотелось бы), но очень мало предостережений о суете, выборе друзей и ценности времени. Все это твой подшефный, вероятно, назвал бы «пуританством»[9]. (Позволю себе заметить, кстати, что та окраска, которую мы придаем этому термину, принадлежит к числу наших самых весомых и ценных побед за последнее столетие. С ее помощью мы ежегодно спасаем тысячи людей от сдержанности, целомудрия и трезвенности.)

Однако рано или поздно истинная сущность его новых друзей станет ему ясна, и тогда твоя новая тактика должна исходить из того, насколько он разумен. Если он достаточно глуп, позволь ему осознавать истинный характер его друзей только в их отсутствие. Если это удастся, ты побудишь его жить (как, я знаю, живут многие люди) двумя параллельными жизнями. Он не только будет казаться, но действительно станет разным человеком в разных кругах.

Если уж и это не удастся, есть еще более тонкий и интересный способ. Он может, с твоей помощью, прямо-таки получать удовольствие, думая о том, что у его жизни — две независимые стороны. Этого можно добиться, играя на его тщеславии. Он будет наслаждаться по воскресеньям, стоя на коленях с лавочником и не забывая, что лавочник вряд ли поймет тот изысканный и насмешливый мир, где ему так легко в субботние вечера. С другой стороны, он будет наслаждаться непристойностями и богохульством за чашкой кофе у своих восхитительных знакомых еще больше, так как знает о своем «глубоком» и «духовном» мире, которого им не понять. Ясна тебе суть? Мирские друзья затрагивают одну сторону его жизни, лавочник — другую, а он — совершен-

ный, гармоничный, сложный человек с более широким кругозором, чем все они. Так, изменяя, по крайней мере, двум группам людей, он ощутит вместо стыда подсознательное самодовольство. Если же все твои усилия окажутся тщетными, сделай так, чтобы он шел против совести и продолжал приятельские отношения, полагая, что каким-то необъяснимым образом «исправляет» этих людей, когда он просто пьет их коктейли и смеется их шуткам, а разрыв с его стороны означал бы «педантизм», «нетерпимость» и (разумеется!) «пуританство».

Попутно тебе необходимо побеспокоиться о том, чтобы из-за нового увлечения он тратил больше, чем может себе позволить, и меньше внимания уделял работе и собственной матери. Мать станет ревновать и беспокоиться, он — замыкаться и грубить, а этому цены нет для развития домашних отношений.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Видимо, все идет очень хорошо. Особенно рад узнать, что новые друзья твоего пациента познакомили его со всем своим кругом. Я успел проверить в списках, что это вполне надежные люди, прочные хулители Врага и рабы земного, которые, не совершая особых преступлений, спокойно и уверенно идут прямо в дом отца нашего. Ты говоришь о том, что они любят посмеяться. Надеюсь, ты не хочешь этим сказать, что смех как таковой полезен для нас всегда. Этот пункт следует разобрать особо.

Я разделяю причины человеческого смеха на следующие: радость, веселье, анекдоты и развязность. Радость проявляется, когда друзья или влюбленные снова встретятся после краткой разлуки. Взрослые люди обычно придумывают какой-нибудь предлог для смеха в виде шутки. Но та легкость, с которой даже самые пустяковые остроты вызывают в такой момент улыбку, показывает, что не в шутках дело. В чем тут причина, мы до сих пор не знаем. Что-то подобное этой радости выражается в гнусном искусстве, называемом музыкой, и еще что-то похожее, говорят, бывает в раю, на небесах — какое-то бессмысленное и ненужное учащение ритма блаженных эмоций, совершенно непонятное для нас. Такой смех не в нашу пользу, и ему всегда следует противодействовать. Он просто противен и оскорбителен для того реализма, достоинства и строгости, которые все время царят в аду.

Веселость близка к радости. Это легкая пена, и рождает ее инстинкт игры. Она тоже приносит нам мало пользы. При ее помощи, конечно, иногда можно оторвать людей от чувств и от действий, угодных Врагу. Однако сама по себе она не содержит ничего хорошего, а плохое — несет: содействует мужеству, милосердию, нетребовательности и многим другим порокам.

Анекдот, помогающий внезапно увидеть смешное и нелепое, все же обещает больше. Я отнюдь не имею в виду неприличные или грубые анекдоты: они чаще всего не приводят к ожидаемым результатам, хотя посредственные искусители возлагают на них большие надежды. Следует знать, что люди в этом отношении четко делятся на два типа: для одних «нет страсти сильнее зова плоти», но неприличный анекдот не разжигает их, потому что он смешной. У других людей такой анекдот рождает смех и похоть одновременно, от одной и той же причины. Люди первого типа шутят на сексуальные темы, потому что они часто и впрямь смешны, люди второго типа просто используют повод поговорить о сексуальном. Если твой пациент принадлежит к первому типу, неприличные анекдоты тебе не помогут. Никогда не забуду те часы, которые я потерял с одним из моих первых пациентов, шатаясь в страшной скуке по барам и салонам, прежде чем усвоил себе это правило. Узнай, к какому типу принадлежит твой пациент, и следи за тем, чтобы он об этом не проведал.

Истинная польза от шуток и юмора совершенно в другом. Эта польза особенно много обещает при обработке англичан, которые смотрят на свое «чувство юмора» столь серьезно, что недостаток его — почти единственный порок, которого они действительно стыдятся. Юмор для них сглаживает и, заметь, извиняет все. Вот такой юмор совершенно неоценим как средство против стыда. Если человек просто заставляет других за себя платить — он пошляк. Если же он шутливо хвастает при этом и дразнит своих друзей тем, что они дают себя раскрутить,— он уже не пошляк, а весельчак. Просто трусость позорна, но если ее замаскировать шутливым хвастовством, юмористическими преувеличениями и комическими ужимками, она может показаться забавной. Жестокость позорна, если жестокий человек не назовет ее шуткой. Тысячи непристойных и даже кощунственных анекдотов не продвинут так человека в сторону погибели, как открытие: он может сделать почти все, что угодно, и друзья не осудят его, а восхвалят, если только он выдаст это за шутку. Кроме того, такой соблазн можно почти полностью скрыть от твоего подопечного за счет вышеупомянутого «серьезного отношения к юмору». Всякую мысль о том, что и в шутках можно зайти слишком далеко, представь ему как «пуританство» или «тупость».

Однако развязный смех лучше всего. Во-первых, он не стоит особых усилий. Только умный человек способен умело пошутить о добродетели. Но любого развязного пошляка можно научить добродетель высмеивать. Среди развязных людей всегда предполагается, что кто-то из них сказал что-то остроумное и смешное, хотя никто ничего такого и не говорил: каждый серьезный предмет они обсуждают так, как будто в нем уже нашли смешную и нелепую сторону. Устойчивая привычка к развязному смеху прекрасно защищает от Врага. Кроме того, она свободна от тех опасностей, которые содержатся в прочих видах смеха. Между развязным смехом и радостью — огромное расстояние. Развяз-

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Отрадно видеть явный прогресс. Я только опасаюсь, как бы ты, стремясь побыстрее добиться нужных результатов, не пробудил бы подопечного и он не осознал бы своего истинного положения. Хотя мы с тобой видим это положение в верном свете, мы никогда не должны забывать, насколько иным оно кажется ему. Мы знаем, что нам удалось направить его в другую сторону, увести от Врага. Но пусть он думает, что причины такого изменения вполне обыденны и легко и просто устранимы. Он ни в коем случае не должен заподозрить, что сейчас он медленно удаляется от солнца в холод и мрак совершенно безбрежной пустоты.

Именно поэтому я почти обрадовался, услыхав, что он все еще молится, ходит в церковь и приступает к таинству. Я знаю, это опасно для нас, но было бы еще хуже, если бы он понял, как он далек от высокого накала первой поры. Пока он внешне сохраняет привычки христианина, можно поддерживать его в уверенности, что у него просто появилось несколько новых друзей и новых удовольствий, но его духовное состояние в основном такое же, как и шесть недель назад. Пока он так думает, нам даже не надо бороться с осознанным раскаянием во вполне определенном грехе. Будем только ослаблять смутное и тревожное чувство, что он не совсем правильно вел себя в последнее время.

С этой смутной тревогой обращайся очень осторожно. Если она усиливается, она может пробудить человека и испортить всю нашу работу. С другой стороны, если ты заглушишь эту тревогу полностью, чего, вероятнее всего, Враг тебе сделать не позволит, мы упустим возможность обернуть ее себе на пользу. Если же позволить ей развиваться, но не до таких пределов, когда она становится неотступной, переходя в подлинное покаяние, она приобретет одно неоценимое достоинство. Пациенту будет все труднее думать о Враге. Все люди во все времена в какой-то степени испытывали эту неохоту. Но если мысль о Нем поднимает в человеке целый ряд полуосознанных грехов, эта неохота усиливается. Тогда он возненавидит всякую свою мысль, напоминающую о Враге, как близкому к банкротству человеку ненавистен один вид банковской книжки. В этом состоянии твой пациент проникнется неприязнью к своим религиозным обязанностям. Прежде чем приступить к ним, он будет думать о них настолько мало, насколько это еще допускает чувство приличия, и по их окончании он будет забывать о них как можно быстрее. Несколько недель назад тебе приходилось искушать его фантазиями и не-

внимательностью во время молитвы. Теперь он примет тебя с распростертыми объятиями и почти начнет упрашивать, чтобы ты отвлек его и опустошил его сердце. Он сам захочет, чтобы его молитвы не были сердечными, ибо ничто не испугает его больше, чем непосредственное присутствие Врага. Он станет стремиться к тому, чтобы спящая совесть лгала.

Когда это состояние в нем укрепится, ты мало-помалу освободишься от утомительной обязанности использовать удовольствия в качестве искушений. Когда тревога и нежелание разобраться в сути этой тревоги уведут его от подлинной радости; когда привычка лишит приятности суетливые удовольствия, а возбужденность чувств накрепко привяжет к ним (к счастью, именно так привычка действует на удовольствие), ты увидишь, что его блуждающее внимание можно привлечь чем угодно. Тебе даже не нужно будет использовать хорошую книгу, которую он действительно любит, чтобы удержать его от молитв, работы и сна; вполне достаточно колонки объявлений из вечерней газеты. Ты заставишь его терять время не только в интересных для него разговорах с приятными ему людьми, но и в разговорах с теми, кто ему безразличен, на совершенно скучные темы. Он у тебя временами вообще ничего не будет делать. Ты его продержишь до поздней ночи не в шумной компании, а в холодной комнате, у потухшего камина. Всю его здоровую внешнюю активность можно подавить, а взамен дать *ничто,* чтобы под конец он мог сказать, как сказал один мой пациент, прибыв сюда: «Теперь я вижу, что большую часть своей жизни я не делал ни того, что я должен был делать, ни того, что мне хотелось». А христиане говорят, что Враг — это Тот, без Кого ничто не обладает силой. Нет, *ничто* очень сильно, достаточно сильно, чтобы украсть лучшие годы человека, отдать их не услаждающим грехам, а унылому заблуждению бессодержательной мысли. *Ничто* отдает эти годы на утоление любопытства, столь слабого, что человек сам его едва осознает. *Ничто* отдает их постукиванию пальцами, притоптыванию каблуками, насвистыванию опротивевших мелодий. *Ничто* отдает их длинным, туманным лабиринтам мечтаний, лишенных даже страсти или гордости, которые могли бы украсить их, причем, окунувшись однажды в эти мечтания, слабый человек уже не может стряхнуть их с себя.

Ты скажешь, что все это мелкие грешки. Тебе, конечно, как и любому молодому искусителю, больше всего хотелось бы, чтобы ты мог доложить о какой-нибудь картинной подлости. Но помни, самое важное — в какой степени ты удалил подшефного от Врага. Неважно, сколь малы грехи, если их совокупность оттесняет человека от Света и погружает в *ничто.* Убийство ничуть не хуже карт, если карты дают нужный эффект. Поистине, самая верная дорога в ад — та, по которой спускаются постепенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных столбов.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Дорогой Гнусик!

Мне кажется, в последний раз ты извел слишком много бумаги на изложение совершенно простой истории. Все дело в том, что ты дал своему подопечному выскользнуть из рук. Положение довольно серьезное, и я отнюдь не намерен защищать тебя от последствий твоей небрежности. Раскаяние и новый приток того, что противник называет «благодатью», да еще такой мощный, как ты описываешь,— крупный провал. Это равносильно вторичному обращению, возможно, на более высоком уровне, чем первое.

Тебе следовало бы знать, что удушливое облако, мешавшее твоим атакам на пациента, когда он шел со старой мельницы, давно известно. Это самое варварское оружие Врага, оно обычно появляется, когда Он непосредственно рядом с пациентом при особых обстоятельствах, классификация которых у нас еще полностью не разработана. Некоторые люди всегда окружены таким облаком и потому недосягаемы для нас.

А теперь о твоих ошибках. Судя по твоему описанию, ты, во-первых, позволил пациенту прочесть книгу лишь потому, что она действительно ему нравится, а не для того, чтобы ронять умные реплики у новых друзей. Во-вторых, ты позволил ему прогуляться на старую мельницу, выпить там чаю, пройтись по деревне, которая ему тоже нравится и побыть при этом одному. Другими словами, ты позволил ему получить два истинных удовольствия. Неужели ты настолько невежествен, что не увидел опасности? Основная особенность *страдания* и *наслаждения* в том, что они совершенно реальны и, пока длятся, дают человеку критерий реальности. Если бы ты попытался погубить своего подопечного методом романтизма, стараясь сделать из него Чайльд Гарольда или Вертера, погруженного в жалость к самому себе из-за выдуманных бед, тебе нужно было бы предохранять его от всякого подлинного страдания. Пять минут реальной зубной боли разоблачат все романтические печали, покажут, какая это все ерунда, и сорвут маску со всей твоей стратегии. Ты пробовал погубить своего пациента земными соблазнами, подсовывая ему тщеславие, суету, иронию, дорогие и скучные удовольствия. Как же ты не разобрался в том, что подлинного удовольствия ни в коем случае нельзя допустить? Разве ты не мог предвидеть, что такое удовольствие по контрасту просто убьет всю ту мишуру, к которой ты его с таким тщанием приучал? Что то удовольствие, которое дали ему прогулка и книга, особенно опасно для нас? Что оно сорвет с его души кору, которой она твоими стараниями начала обрастать? Да ведь оно дало ему почувствовать, что он возвращается домой, вновь находит себя! Отдаляя подопечного от Врага, ты хотел отдалить его от себя самого и в какой-то степени преуспел. А теперь все насмарку.

Конечно, я знаю, и Враг не хочет, чтобы люди были привязаны к самим себе. Но это совершенно другое дело. Помни, что Он

действительно любит этих маленьких насекомых и до смешного ценит неповторимость каждого из них. Когда Он говорит, что они должны отрешиться от себя, Он имеет в виду отказ от притязаний их своеволия. Когда они следуют этому наказу, Он возвращает им личность во всей полноте и даже хвалится (боюсь, вполне искренне), что они тем больше обретают себя, чем больше принадлежат Ему. Радуясь тому, что они жертвуют даже самыми невинными проявлениями воли, Он ужасается, когда они по какой-то причине изменяют самим себе. А мы всегда должны побуждать их к этому. Самые глубокие импульсы и склонности человека — то сырье, та строительная площадка, которыми Враг снабдил его. Заставив его отойти от них, мы выигрываем очко. Даже в несущественных вопросах желательно подменить его собственные взгляды земными стандартами, условностями или модой. Сам я всегда искореняю из своего пациента всякую личную склонность, например интерес к состязаниям по крикету, коллекционирование марок или любовь к какао. Такие склонности не несут в себе, разумеется, никакой добродетели. Но в них есть какая-то невинность, какая-то смиренность, самозабвение, которые мне противны. Человек, искренне и бескорыстно наслаждающийся чем-нибудь, не обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие, уже самим этим защищен от некоторых наших утонченных методов. Всегда старайся, чтобы пациент отказался от людей, книг, блюд, которые он действительно любит, в пользу «значительных» людей, «самых известных» книг и «самых лучших» блюд. Я знал одного человека, который защищался от сильного искушения гордыни еще более сильным пристрастием к селедке с луком.

А теперь придется подумать, как исправить положение с твоим подшефным. Самое важное — много ли он думает о покаянии и не претворяет ли он его в действие? Пусть эта свинка поваляется в своем раскаянии. Если у него есть к тому склонность, пусть напишет о нем книгу. Это прекрасный способ обезвредить то, что Враг посеял в сердце человека. Пусть он займется чем угодно, кроме активного действия. Ни воображаемая набожность, ни душевный подъем не повредят нам, если мы помешаем им укрепиться в человеческой воле. Как сказал один из людей, активные привычки повторение укрепляет, а пассивные ослабляет. Чем чаще он погружен в чувства, не связанные с действием, тем меньше он способен к действию и в конечном итоге тем меньше он способен к чувству.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Особенно тревожит меня в твоем докладе то, что подопечный больше не принимает тех самонадеянных решений, которые сопровождали его первоначальное обращение. Он не обещает

неуклонной добродетели, он даже не ожидает благодати на всю жизнь — он только надеется всякий день и час получать поддержку своим скромным силам, чтобы их хватило на борьбу с искушениями. А это очень плохо!

Сейчас я вижу только одно направление действий. Твой подопечный приобрел смирение — заметил ли ты это? Все добродетели для нас менее страшны, чем добродетель смирения, особенно когда человек не осознает ее в себе. Поймай его в тот момент, когда он забыл о духовной бдительности, подсунь ему приятную мысль: «А ведь я становлюсь смиренным». Если он очнется, увидит опасность и постарается заглушить новый вид гордыни, заставь его возгордиться этим старанием, и так далее. Но не занимайся этим слишком долго, ибо есть опасность, что ты пробудишь чувство юмора и здравомыслие. Тогда он просто высмеет тебя и пойдет спать.

Но есть и другие эффективные возможности сосредоточить его внимание на этой гнусной добродетели. Смирением, как и любыми другими добродетелями, наш Враг хочет отвлечь внимание человека от самого себя и направить на Него и на ближних. Всякий отказ от самого себя и самоуничижение существуют, в конце концов, именно для этого: пока они не служат этой цели, от них мало вреда. Они даже могут быть нам полезны, если из-за них человек интересуется преимущественно собой. Кроме того, самоуничижение можно использовать как исходную точку для презрения к другим, для угрюмости, цинизма и жестокости. Поэтому ты должен скрыть от пациента истинную цель смирения. Пусть он под смирением подразумевает особое (а именно плохое) мнение о своих способностях и своем характере. Не сомневаюсь, что определенные способности у него действительно есть. Укрепи его в мысли, что смирение состоит в том, чтобы ставить эти способности как можно ниже. Конечно, они и в самом деле *менее* ценны, чем он думает. Но не в этом дело. Самое главное — чтобы он ценил свое мнение больше, чем истинность, и вносил тем самым хоть крупицу нечестности и надуманной веры в самый центр того, что в ином случае угрожает стать добродетелью. При помощи этого метода мы заставили тысячи людей думать, что для красивой женщины смиренно считать себя уродом, для умного мужчины — считать себя дураком. А поскольку то, во что они старались верить,— явная ерунда, им эта вера не дается, и мы можем до бесконечности вращать их мысли вокруг них самих, ибо они стараются достичь невозможного.

Чтобы предупредить выпады Врага, мы должны знать Его цели. Враг хочет привести человека в такое состояние, когда он мог бы спроектировать лучший в мире собор, знать, что этот собор хорош, и радоваться тому, но не больше и не меньше, чем если бы его спроектировал кто-нибудь другой. В сущности, Враг хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и мог радоваться своим способностям так же

искренне и благодарно, как и способностям ближнего, восходу солнца, слону или водопаду. Он хочет, чтобы каждый человек в мире увидел, что все существа (в том числе и он сам) великолепны и прекрасны. Он хочет по возможности скорее разрушить в человеке животное самообожание, но, боюсь, конечная Его цель — в том, чтобы восстановить в нем благожелательность и милосердие ко всякому творению, включая себя самого. Когда он действительно научится любить ближнего, как самого себя, ему будет дано любить себя, как ближнего. Мы никогда не должны забывать самую отталкивающую и необъяснимую черту нашего Врага: Он *действительно* любит этих безволосых двуногих, которых Он создал, и правая рука Его всегда возвращает им то, что отнимает левая.

Поэтому Он будет всячески стараться, чтобы твой подопечный вообще перестал думать о том, какая ему цена. Он не рад, если люди считают себя скверными. В ответ на твои старания подсунуть ему тщеславие или ложную скромность Он напомнит, что от человека вообще не требуется никакого мнения о своем таланте, так как он прекрасно может им пользоваться, не решая точно, какая же из ниш в храме славы предназначена для него. Ты во что бы то ни стало должен исключить эту Вражью мысль из сознания пациента. Кроме того, Враг будет убеждать еще в одной истине, которую они все признают, но которую им трудно почувствовать: что они не создали самих себя, что все их способности дарованы Им и гордиться талантами так же глупо, как гордиться цветом волос. Враг всегда старается отвлечь человека от такой гордости, а ты должен фиксировать на ней его внимание. Враг даже не хочет, чтобы они сверх меры копались в своих грехах — чем скорее человек после покаяния займется делом, тем Врагу лучше.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Конечно, я обратил внимание на то, что у людей сейчас временное затишье в их европейской войне, которую они по-детски наивно именуют Великой. Я не удивлен и соответствующим затишьем у твоего пациента. Что нам полезней: поддержать в нем это или держать его в беспокойстве? И мучительный страх, и глупая самонадеянность для нас хороши. Необходимость же выбора между ними поднимает важные вопросы.

Люди живут во времени, но наш Враг предназначил их для вечности. Поэтому Он, как мне думается, хочет, чтобы они сосредоточили свое духовное внимание и на вечности, и на той точке времени, которую они называют настоящим. Ведь настоящее — это та точка, в которой время касается вечности. В данном мгновении и только в нем людям открывается столько же, сколько Врагу нашему открыто во всей реальности. Только в данном

мгновении людям предложена свобода. Поэтому Враг хочет, чтобы они были постоянно сосредоточены либо на вечности (то есть на Нем), либо на настоящем (размышляли бы о вечном союзе с Ним или о том, что Он их покинул, следовали бы голосу совести, несли нынешний крест, принимали нынешнюю благодать, благодарили за нынешние радости).

Наше дело — отвратить их от вечности и от настоящего. Имея это в виду, мы иногда искушаем человека (скажем, вдову или жену ученого) жизнью в прошлом. Но этот метод имеет ограниченную ценность, ибо люди все-таки кое-что о прошлом знают; в этом отношении прошлое походит на вечность. Гораздо лучше, чтобы они жили в будущем. Биологические инстинкты направляют все их страсти именно в эту сторону, так что мысли о будущем распаляют и надежду и страх. Кроме того, будущее им неизвестно, и, побуждая думать о нем, мы возбуждаем их тягу к нереальному. Словом, *меньше* всего напоминает вечность именно будущее. Это самая эфемерная часть времени, ибо прошлое застыло и не течет потоком, а настоящее всецело освещено лучами вечности. Вот почему мы всегда поддерживаем все эти схемы мышления, вроде Творческой Эволюции или Научного Гуманизма, фиксирующие внимание на будущем, то есть на том, что по сути своей временно. Вот почему почти все пороки укоренены в будущем, а благодарность обращена к прошлому, в то время как любовь — к настоящему. Страх, жадность, похоть, честолюбие обращены вперед. Не думай, что, как только в похоти наступает удовольствие, грех (единственное, что нас интересует) уже позади. Удовольствие как раз та часть процесса, которая нас раздражает, мы охотно свели бы ее на нет, если бы не лишились при этом и греха. Удовольствие испытывают с Вражьей помощью и потому переживают в настоящем. Грех, возникающий с нашей помощью, устремлен в будущее.

Конечно, и для Врага важно, чтобы человек думал о будущем. Думал ровно столько, сколько необходимо, чтобы сегодня готовиться к тем делам правды и милосердия, которые станут насущными завтра. Работу завтрашнего дня надо планировать сегодня, и, хотя содержание ее взято из будущего, эта обязанность, как и все обязанности, принадлежит настоящему. Враг не хочет, чтобы люди *отдавали будущему сердца,* устремляли к нему все свои помыслы. Мы же хотим. Вражий идеал — человек, который, отработав день на благо будущих поколений (если в этом его призвание), вечером откладывает всяческое попечение, целиком вверяясь небу, и остается лишь при терпении и благодарности, которые требуются от него здесь и сейчас. Нам же нужен человек, терзаемый кошмарами будущего, гонимый идеями близящегося рая или ада на земле, готовый преступить заповеди Врага сейчас, если мы внушим ему, что этим он приблизит или отвратит то, чего ему даже не доведется увидеть при жизни. Нам хотелось бы, чтобы род людской непрестанно и в страшных муках пытался ухватить руками разум, чтобы род этот никогда не был честен,

добр и счастлив и все, даруемое ему в настоящем, нес на алтарь будущих времен.

Отсюда следует, что твоему подопечному полезней тревоги или надежды (что именно — неважно) по отношению к нынешней войне, чем жизнь в настоящем. Однако выражение это двусмысленно. Жизнью в настоящем можно назвать и шутку, столь же привязанную к будущему, как и сама тревога. Твой подопечный может не беспокоиться о будущем не потому, что занят настоящим, а потому, что он внушил себе розовые надежды. Пока это порождает его спокойствие, это нам благоприятствует, ибо, когда ложные надежды рухнут, тем больше будет разочарования и злобы. С другой стороны, если он поймет, что и ему, возможно, уготованы тяжкие испытания, и будет молиться, чтобы ему ниспослали сил свыше, а сам целиком останется в настоящем, потому что там и только там его долг, милосердие, знание, да и радость,— состояние его крайне нежелательно и нужна немедленная атака. Попробуй припугнуть его словом «благодушие», здесь наш филологический отдел хорошо потрудился. Но конечно, вероятнее всего, что он «живет в настоящем» по той простой причине, что у него хорошее здоровье и он любит свою работу. В таком случае это просто естественное состояние. Однако, будь я на твоем месте, я бы такого не потерпел. Ничто естественное не идет нам на пользу. Да и с какой стати этим созданиям быть счастливыми!

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

В прошлом письме ты мельком упомянул, что твой подшефный все ходит в одну и ту же церковь и что он не совсем ею доволен. О чем, спрашивается, ты думаешь? Почему до сих пор нет донесений о причинах его постоянства? Если он так упорен не от безразличия, дела наши плохи, понимаешь ты это или нет? Конечно, тебе известно, если человека нельзя вылечить от посещения церкви, самое лучшее — отправить его на долгие поиски церкви, для него «подходящей». Пусть побродит до тех пор, пока не станет ценителем и знатоком церквей.

Причины такой нашей деятельности очевидны. Во-первых, на объединение прихожан следует нападать, так как объединяются они по месту жительства, а не по сходству, а это приводит людей разных классов и психологий к тому единению, которого хочет Враг. Конгрегационный же принцип [10] может каждую церковь запросто превратить в некий клуб, а если все сложится удачно,— в кружок или фракцию. Во-вторых, поиски подходящей церкви склоняют человека к критике там, где Враг хочет видеть его Своим учеником. Врагу желательно, чтобы мирянин в церкви был действительно критичен, то есть не принимал ложного и бесполезного, и при этом совершенно некритичен — не судил и не рядил, а доверялся немудрствующему, смиренному приятию того животворя-

щего начала, которое несет ему церковь. (Ты видишь, как Он унизительно бездуховен и безнадежно вульгарен?) Приводит это к тому, что простейшие слова очень многое могут сказать человеку и его душе (что прямо противоречит нашей политике). Любая проповедь или книга, воспринимаемые человеком с таких позиций, для нас очень опасны. Так что возьмись за дело поэнергичнее и как можно скорее пошли этого дурака по ближайшим церквам. Твое последнее донесение никак нельзя признать удовлетворительным.

Воспользовавшись нашей служебной картотекой, я присмотрел для него две соседние церкви. У каждой свои особенности. В одной из них священник так долго и старательно разбавлял веру водой, чтобы сделать ее более доступной для скептического и трезвомыслящего прихода, что теперь он шокирует прихожан неверием, а не они его. Во многих душах он успел подорвать веру. Восхитителен и его метод служения. Чтобы избавить мирян от «трудностей», он многое вычеркнул и теперь, сам того не замечая, все крутится и крутится по малому кругу своих любимых пятнадцати песнопений и двадцати чтений, а мы можем не бояться, что какая-нибудь истина, доселе незаметная ему и его приходу, дойдет до них через Писание. Но, возможно, твой пациент недостаточно глуп для этой церкви или пока еще недостаточно глуп.

Во второй церкви служит отец Игл. Людям трудно понять широту его взглядов: в один день он почти коммунист, в другой — недалек от какого-то теократического фашизма; в один день он тяготеет к схоластике, но в другой вообще готов отрицать человеческий разум; в один день занят политикой, в другой — заявляет, что все государства мира сего «уже осуждены». Мы, конечно, видим нить, связующую все это воедино: ненависть. Этот человек может проповедовать лишь то, что шокирует, огорчит, озадачит или унизит его родных и друзей. Проповедь, приемлемая для них, была бы для него такой же пресной, как поэма, которую можно читать вслух. Кроме того, у него есть многообещающая черта — нечестность. Мы побуждаем его говорить: «Церковь учит, что...», когда в действительности он подразумевает: «Я почти уверен, что недавно прочел это у Маритена [11] или еще у кого-то». Но должен предупредить тебя об одном его совершенно фатальном дефекте: он верит. А это может все испортить. Однако у обеих этих церквей есть одна общая хорошая черта — они тяготеют к группировкам. Я, кажется, уже предупреждал тебя, что, если твоего подопечного не удается удержать вне церкви, его надо активно привлечь к какой-нибудь группировке вокруг нее. Я не имею сейчас в виду различий в вероучении — в этом плане чем он теплохладнее, тем лучше. Творя зло, мы вовсе не намерены опираться на их догматы. Самая же потеха возникает, когда удается возбудить ненависть между теми, кто говорит «месса», и теми, кто говорит «служба», в то самое время как ни одна сторона, ни другая, вероятно, не способна установить разницу между учениями Хукера и Фомы Аквината [12] так, чтобы объяснения

вытерпели хотя бы пятиминутную критику. Все несущественные детали — свечи, облачение клира и прочее — прекрасная почва для такой деятельности. Мы уже порядком выветрили из сознания то, чему учил этот невыносимый Павел, толкуя о пище и других пустяках, а именно: человек нещепетильный должен уступать человеку щепетильному [13]. Ты думаешь, люди понимают, как применять это в жизни? Казалось бы, один преклонит колени и перекрестится, дабы не смутить своего брата, а другой воздержится от этих знаков благочестия, дабы не склонить брата к идолопоклонству. Так оно и было бы, если бы не наша неустанная работа. Без нее разница в обычаях английских церквей стала бы, чего доброго, причиной и рассадником милосердия и смирения.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Тот пренебрежительный тон, с которым ты говорил об обжорстве как способе ловли душ, обнаруживает лишь твое невежество. Одно из величайших достижений последнего столетия — то, что люди перестали об этом думать. Во всей Европе ты вряд ли найдешь хоть одно место, где произносили бы проповеди на эту тему, или человека, чья совесть бы этим мучилась. В значительной степени мы достигли этого, сосредоточив свои усилия на чревоугодии излишества. Насколько мне известно из наших протоколов (а тебе, надеюсь, от Лизоблюда), мать твоего пациента — прекрасный тому пример. Она удивилась бы (я рассчитываю, что однажды она и впрямь удивится), если бы узнала, что вся ее жизнь порабощена этой разновидностью чувственности, а скрыто это от нее потому, что ест она мало. Но какое нам дело до количества, если можно использовать человеческий желудок и вкус для развития недовольства, нетерпимости, немилосердия и эгоизма! Эта дама в надежных руках. Для официантов и гостеприимных хозяев она — сущий ужас. Она всегда отказывается от того, что ей предлагают, и говорит с легким вздохом и полуулыбкой: «Ах что вы, мне *ничего* не надо, кроме чашечки чая, не крепкого, но и не слишком жидкого, и малюсенького хрустящего сухарика...» Ясна тебе суть? Ей хочется съесть меньше и стоит это дешевле, чем то, что ей предлагают, и потому она никогда не воспринимает как чревоугодие свою настойчивость, сколько бы хлопот ни доставила она другим. Балуя свой аппетит, она уверена, что упражняется в умеренности. В переполненном ресторане она вскрикивает при виде блюда, которое ставит перед ней усталая официантка, и говорит: «Ах, зачем мне столько! Уберите это и принесите примерно четверть...» Если бы ее спросили, она бы сказала, что поступает так из бережливости. А в действительности она это делает потому, что та особая утонченность, которой мы ее поработили, раздражается, если видит больше еды, чем ей в данный момент хочется.

Подлинное значение спокойной, скромной работы, которую годами проводил Лизоблюд, можно оценить по тому, в какой степени ее желудок сейчас господствует над всей ее жизнью. Пациентка в том состоянии, которое мы назовем «мне бы только хотелось». Ей бы *только* хотелось как следует заваренный чай, или как следует сваренное яйцо, или кусочек как следует поджаренного хлеба. Но она никогда не находила ни прислугу, ни друзей, которые могли бы сделать эти простые блюда «как следует», ибо за ее «как следует» открывается ненасытное требование точных и почти неосуществимых вкусовых удовольствий, которые, как ей кажется, она испытала в прошлом. Это прошлое она описывает как времена, «когда еще можно было найти хорошую прислугу», но мы-то знаем, что тогда ее вкусы просто было легче удовлетворить и она предавалась иным усладам, ставившим ее в меньшую зависимость от обеденного стола. Тем временем ежедневное разочарование приводит к ежедневному растущему раздражению, кухарки отказываются от места, дружеские чувства охладевают. Если Враг когда-нибудь и заронит в ней смутное подозрение, что она слишком интересуется едой, Лизоблюд парирует это, внушая, что ей безразлично, что она сама ест, но ей нужно, чтобы «мальчик мог полакомиться». В действительности ее жадность была главной причиной его неприязни к дому в течение многих лет.

Однако наш подопечный — сын своей матери. И ты, упорно работая на других фронтах, не должен пренебрегать чревоугодием. Поскольку он мужчина, его вряд ли можно поймать на крючок «мне бы только хотелось». Мужчин лучше всего искушать с помощью их тщеславия. Пусть считают себя большими знатоками еды и гордятся тем, что им удалось найти единственный в городе ресторан, где жаркое умеют приготовить «как следует». То, что начинается с тщеславия, легко превратить в привычку. Но как бы ты ни взялся за дело, самое главное — привести его в такое состояние, когда неудовлетворенная тяга, неважно — к шампанскому или к чаю, к рыбному деликатесу или к сигарете,— «выводит из себя». Тогда его милосердие, справедливость и послушание будут всецело в твоей власти.

Простое излишество в еде менее ценно, чем утонченность. Ее главная польза в том, что это — как бы артподготовка к атаке на воздержание. Здесь, как и во всех других случаях, нужно держать человека в состоянии ложной духовности. Никогда не позволяй ему вспоминать о медицинской стороне питания. Пусть недоумевает, что же, гордость или недостаток веры, предали его в твои руки; в то время, как простой обзор всего, что он ел или пил за последние сутки, показал бы ему правду и дал возможность простым воздержанием защититься от тебя. Если ему так уж необходимо думать о медицинской стороне дела, напитай его той великой ложью, в которую мы заставили уверовать англичан, а именно, что физические упражнения и сменяющая их

усталость особенно благоприятствуют добродетели воздержания. Как они могут верить в это при широко известной похотливости моряков и солдат, я ума не приложу! Чтобы распространить эту версию, мы использовали школьных учителей, которые заинтересованы в том, чтобы оправдать игру, и они рекомендовали игры для воспитания целомудрия. Однако это слишком серьезный вопрос, чтобы заниматься им к концу письма.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Даже при Гаде ты должен был изучать основы техники сексуальных искушений, и, поскольку для нас, духов, это жуткая скучища (хотя и совершенно обязательная), я пропускаю их здесь. Что же касается более глубоких проблем, связанных с полом, я думаю, есть многое, чему и ты мог бы поучиться. По воле Врага люди стоят перед дилеммой: либо полное воздержание, либо единобрачие без послаблений. Но уже со времен первой великой победы нашего отца мы сделали воздержание исключительно трудным для них. Единобрачие же за последние века мы старались увести от пути к спасению. Делали мы это с помощью поэтов и писателей, уверяя людей, что то особое и обычно кратковременное переживание, которое они называют «влюбленностью»,— единственно достойное основание брака, что брак может и должен сделать это переживание постоянным и, наконец, что брак, не оправдывающий таких ожиданий, теряет свой смысл. Эта идея пародирует идею Врага. Вся философия ада зиждется на аксиоме: или одно, или другое. Мое принадлежит мне, твое — тебе. То, что один приобрел, другой потерял. Даже материальный объект исключает все остальные возможные объекты из пространства, им занимаемого. Если он увеличится в размере, он отодвинет другие предметы в стороны или поглотит их. Всякая самость действует точно так же. Животные поглощают, поедая. У нас сильный поглощает волю и свободу слабого. «Существовать» — значит «соревноваться».

Враг непрестанно пытается обойти эту очевидную истину. Философия Его зиждется на противоречиях. Мир должен быть многообразен и в то же время един. Достояние одного должно быть достоянием другого. Вот эту чепуху Он и зовет любовью. Можно обнаружить это во всем, что Он творит, и даже во всем, в чем Он проявляется (или утверждает, что проявляется). Так, Ему мало быть простой арифметической единицей. Он, видите ли, одновременно Троичен и Един. Говорит Он так для того, чтобы вся эта чушь о любви могла найти основание в Его собственной природе. А с другой стороны, Он вводит такое бессовестное изобретение, как организм, в котором все части отвращены от своего естественного назначения — соревноваться — и приведены к согласию.

Истинная причина того, что Он использовал половое различие как способ размножения, совершенно ясна. Смотри, какую пользу Он из этого извлек. Половое различие, с нашей точки зрения, могло бы стать вполне невинным. Оно было бы просто разновидностью мучений слабого за счет сильного, что и происходит с пауками, у которых в завершение брачной близости невеста съедает жениха. Но у людей по милости Врага половое влечение соединено с взаимной привязанностью. Кроме того, Он установил зависимость детей от родителей и побудил родителей заботиться о детях, создав, таким образом, семью, которая напоминает организм, только похуже, ибо здесь члены еще независимей, а связанность их более сознательна и ответственна. В конце концов, это — еще одно изобретение, вовлекающее людей в любовь.

А теперь самое смешное. Враг назвал супругов «единой плотью» [14]. Он не сказал «счастливая супружеская пара» или «пара, женившаяся по любви». Ты же можешь сделать так, чтобы люди этого и не поняли. Кроме того, пусть они забудут, что все тот же Павел применял это и к неженатым парам. По его словам, совокупление как таковое делает людей «единой плотью» [15]. Надо, чтобы люди считали восторгами «влюбленности» то, что на самом деле — просто половое влечение. Воистину, когда бы мужчине ни случалось соединиться с женщиной, хочет он того или нет, между ними устанавливается некое запредельное отношение, которое вовеки будет им в муку или в радость. Исходя из того, что это отношение предназначено к созданию привязанности и семьи (а если в него полностью погружаются, так оно и бывает), людям можно внушить ложную веру, что только та смесь боязни и влечения, которую они называют «влюбленностью», создает святость или счастье брака. Эту ошибку совершить легко, ибо «влюбленность» в Западной Европе предшествует бракам, заключенным в послушание Вражьей воле, то есть тем, где предполагаются верность, снисходительность друг к другу и плодовитость. Вот тебе аналогия: и религиозная эмоциональность порой сопутствует обращению к вере. Пусть люди считают основой брака приукрашенный вариант того, что Враг обещает лишь как его результат. Отсюда вытекают сразу две недурные возможности. Во-первых, людей, не обладающих даром воздержания, можно удерживать от брака, ибо они не «влюблены» — благодаря нам мысль о браке «не по любви» покажется им низкой или циничной. Да, да, они так и думают. Они считают, что намерение вступить в брак для взаимной помощи, охраны целомудрия и продолжения рода ниже, чем случайная буря чувств. (Не пренебрегай возможностью, заставь своего пациента считать чин венчания весьма несовершенным.) Во-вторых, всякое сексуальное влечение, стремящееся к браку, будет считаться «любовью», а любовь подобного рода извинит любой грех и, вполне возможно, спровоцирует женитьбу на женщине совершенно мирской, глупой или развратной. Но подробнее об этом в следующем письме.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Я много думал над вопросом, который ты задал в последнем письме. Как я уже разъяснял, все индивидуумы по самой своей природе находятся в конкуренции друг с другом и, следовательно, Вражья идея любви содержит противоречие: почему же я снова говорю о том, что Он действительно любит этих двуногих насекомых и действительно желает им свободы и вечной жизни? Я надеюсь, мой милый мальчик, что ты никому не показывал моих писем. Конечно, для меня это не имеет никакого значения. Каждый понял бы, что те ереси, в которые я впал, совершенно случайны. Кстати, надеюсь, ты понял, что мои нелестные слова о Гаде — просто шутка. Я его глубоко уважаю. И конечно, я в шутку сказал, что не собираюсь защищать тебя перед властями. Ты можешь положиться на то, что я буду блюсти твои интересы. Однако все мои письма непременно держи под замком.

Я по чистой небрежности сказал, что Враг любит людей. Разумеется, это невозможно, ведь они совершенно отличны от Него. То, что хорошо для них, для Него нехорошо. Все эти разговоры о любви, должно быть, прикрывают что-то иное. Неспроста же Он создал их и столько с ними возится. Иногда, случайно, скажешь, что Он любит их этой невозможной любовью, потому что нам никак не понять, в чем здесь загадка. Что Он собирается делать с ними? Неразрешимая проблема! Думаю, я вправе сказать тебе, что именно по этой причине отец наш поссорился с Врагом. Когда впервые поставили вопрос о сотворении человека и Враг открыл, что предвидит некое происшествие с Крестом, отец наш, естественно, стал добиваться разъяснений. Враг не дал ему никакого ответа, кроме этой невероятной истории, которую Он с тех пор и распространяет. Естественно, отец наш ей не поверил. Он умолял Врага выложить карты на стол, просил его и молил, но Враг ответил: «От всего сердца Я желал бы, чтобы ты узнал». Мне кажется, именно тогда отец наш возмутился незаслуженным недоверием, и это побудило его удалиться так далеко и так внезапно, что возникла версия о его изгнании с Небес [16]. С тех пор мы начали понимать, почему наш Враг развел такую таинственность. На ней зиждется Его власть. Его приверженцы часто сознавались в том, что, если бы мы смогли понять Его любовь, война закончилась бы и мы бы вернулись на Небеса. Перед нами великая задача. Мы знаем, что Он не может действовать по любви,— никто этого не может, ибо это бессмысленно. Если бы мы только обнаружили, чего Он хочет! Мы проверяли гипотезу за гипотезой и все еще ничего не добились. Однако мы не должны терять надежды. Все сложнее теоремы, все полнее сведения, все выше награды исследователям и больше их успехи, все страшнее наказания для тех, кто терпит неудачу. Если действовать так до скончания века, быстрее и быстрее, неудачи быть не может.

Ты жалуешься, что из моего последнего письма неясно, считаю ли я «влюбленность» желательной? Ну, Гнусик, такого вопроса можно ожидать только от «них»! Оставь им обсуждать, добро или зло, любовь, патриотизм, целибат, церковные обряды, отказ от алкоголя, высшее образование. Неужели тебе не ясно, что ответа нет? Ничто не имеет никакого значения, кроме состояния души: устремляется ли подопечный к Врагу или к нам. Однако было бы неплохо, если бы пациент стал гадать, добро или зло его «любовь». Если он надменный человек, презирающий все телесное из чистоплюйства, ошибочно принимаемого за чистоту, и если ему приятно насмехаться над тем, что одобряет большинство его друзей,— непременно заставь его отрицать любовь! Укрепи в нем высокомерный аскетизм, а потом, когда отделишь его собственную похоть от всякой человечности, навяжи эту похоть снова, но уже в какой-нибудь жестокой, циничной форме. Если же он, напротив, человек эмоциональный и легкомысленный, питай его скверненькими поэтами и третьесортными романистами старой доброй школы, пока он не поверит, что «любовь» неотвратима и каким-то непостижимым образом благодетельна. Такая позиция, уверяю тебя, не так уж сильно побуждает к случайным связям, но она незаменима для продолжительных связей, «благородных», романтических и трагичных, завершающихся, если все идет благополучно, убийством или самоубийством. Если это не удастся, попробуй натолкнуть подопечного на полезный брак, ибо брак, Вражье изобретение, может принести пользу и нам. В окружении пациента наверняка есть несколько женщин, которые чрезвычайно затруднили бы его христианскую жизнь, если бы ты убедил его жениться на одной из них. Пожалуйста, доложи мне об этом в следующем письме. А пока помни, что даже «влюбленность» саму по себе нельзя считать полезной и благоприятной для нас или для Вражеской стороны. Это просто состояние, которым дано воспользоваться и нам, и им. Как и многое другое, сильно волнующее людей,— здоровье и болезнь, молодость и старость, война и мир,— влюбленность с духовной точки зрения главным образом — сырье.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

С большим неудовольствием отмечаю, что Враг решительно положил конец твоим прямым атакам на целомудрие пациента. Тебе следовало бы это предвидеть и остановиться пораньше. В настоящий же момент пациент открыл опасную истину: он знает, что такие нападения не длятся вечно. Именно поэтому ты и не можешь вновь воспользоваться нашим самым лучшим и испытанным оружием — убеждением невежественных людей, что от нас не избавишься, пока нам не сдашься. Надеюсь, ты пытался убедить его, что целомудрие вредно для здоровья?

Я все еще не получил донесения о женщинах его круга. Хотел бы получить его поскорее. Если мы не в силах использовать его половую энергию для воспитания развратности, хотя бы используем ее для подходящего брака. А пока я хотел бы дать тебе несколько советов о том, в каких именно женщин (я говорю о физическом типе) ему следует влюбляться, если уж лучше «влюбленности» мы ничего не придумаем.

В основных чертах этот вопрос, разумеется, разработан для нас более низкопоставленными сотрудниками преисподней, чем ты и я. Эти великие мастера неустанно извращают то, что можно назвать эротическим вкусом. Делают они это посредством узкого круга популярных актеров, актрис, портных, рекламных агентов, определяющих, какой тип в моде. А цель их деятельности в том, чтобы отдалить представителей одного пола от тех представителей другого пола, брак с которыми, вероятно, был бы верным, счастливым и плодоносным. Так, мы уже много столетий торжествуем над природой до такой степени, что некоторые второстепенные черты мужчин (к примеру, бороды) неприятны почти для всех женщин, и это, в свою очередь, приносит больше пользы, чем тебе кажется. Что же касается мужского вкуса, его мы меняли много раз. Одно время мы его направляли на величавый и аристократический тип красоты, смешивая тщеславие мужчин с их похотью и побуждая род человеческий размножаться главным образом через самых высокомерных и расточительных женщин. Потом мы культивировали чрезмерно женственный тип, слабый и чахлый, так что глупость, трусость и фальшь с духовной скудостью, сопутствующей им, стали чуть ли не положительными качествами. Сейчас у нас совсем иная задача. Время джаза сменило время вальса, и теперь мы учим мужчин любить женщин, которых с трудом отличишь от мальчишек. Поскольку этот тип красоты быстротечнее остальных, мы обострим хронический ужас женщин перед старостью, добьемся многих прекрасных результатов и снизим тягу и способность к деторождению. Это не все. Благодаря нам общество допускает все большую вольность обнажения (но не подлинной обнаженности) в живописи, на сцене, на пляже. Все это, конечно, подделка: тела на наших прославленных картинах искажены, женщины в купальных костюмах сжаты и затянуты, чтобы казаться стройнее и тоньше, чем допускает природа женской зрелости. Однако современный мир искренне убежден, что он все «откровенней», все «здоровей» и возвращается к природе. В результате мы все сильнее и сильнее направляем похоть мужчин на мнимости, увеличивая роль глаза в сексуальной области и делая мужские претензии все более мнимыми. Последствия ты и сам можешь себе представить.

Это — общая стратегия. Действуя в ее рамках, ты всегда сможешь направлять желание твоего подопечного в одном из двух направлений. Если ты осторожно всмотришься в сердце любого мужчины, ты увидишь, что его притягивают по самой

крайней мере две вымышленные женщины — Венера земная и Венера бесовская — и влечение его к ним качественно различно. К первому из типов он испытывает желание, естественно согласующееся с волей Врага. Оно сочетается с милосердием, готовностью к послушанию и вообще сияет тем светом уважения и естественности, который нам так противен. Ко второму он испытывает грубое влечение. Этот тип лучше всего использовать для того, чтобы совсем отвлечь его от брака. Но даже в браке с такой женщиной он будет обходиться как с рабыней, идолом или преступной соучастницей. Любовь к женщине первого типа иногда содержит то, что Враг называет злом, но только случайно. Например, мужчине не хочется, чтобы она была женой другого, и он глубоко сожалеет, если не может любить ее законно; но в отношении к женщине второго типа зло — в том, чего он хочет, в «особом аромате», за которым он гоняется. На самом же деле аромат ее лица — в явной чувственности, хмурости, хитрости или жестокости. А аромат ее тела в достаточной степени явно далек от того, что данный мужчина называет красотой. Скорее, по здравом размышлении, он описал бы его как уродство, но благодаря нашему искусству такой аромат легко сыграет на нервах его чувственной одержимости.

Подлинную пытку бесовская Венера приносит, конечно, как любовница. Но если пациент — христианин, то, если как следует нашпиговать его всей этой чепухой про «неотвратимую и всепрощающую» любовь, его можно женить на ней. А это — дело стоящее. Ты потерпел неудачу по части блуда и по части одинокого самоудовлетворения, но есть другие, косвенные методы, позволяющие использовать человеческую похоть на его погибель. Между прочим, они не только эффективны, но и восхитительно милы, так как несчастье, вызванное ими, очень приятно и изысканно.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Да, период эротических искушений — прекрасное время, чтобы напасть заодно и на раздражительность подопечного. Можно даже направить главный удар именно туда, если пациент думает, что это — всего лишь «заодно». Но в это время, как и во всякое иное, дорогу для нападения нужно готовить, затемняя при этом разум.

Люди гневаются не от простой неудачи, а от неудачи, воспринятой как несправедливость. Чувство же несправедливости основывается на представлении, что их законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни предъявит подопечный (под твоим руководством), тем больше он будет ощущать несправедливость и тем чаще он будет в плохом настроении. Ты, может быть, обратил внимание на то, что он особенно сердится, когда время, предназначенное им для собственных

потребностей, у него отнимают. Неожиданный посетитель, явившийся как раз тогда, когда он надеялся спокойно провести вечер, или жена друга, болтающая, когда он собирался поговорить с ее мужем, выведут его из равновесия. Пока что он не успел стать достаточно злым или ленивым, чтобы ненавидеть эти маленькие требования гостеприимства *сами по себе*. Они раздражают его, потому что он считает время своей собственностью, и ему кажется, что его обкрадывают. Ты должен ревностно охранять это странное предположение: «Мое время — мое!» Пусть ему кажется, что он начинает каждый день как законный владелец двадцати четырех часов. Пусть ему представляется тяжелым налогом та часть этой собственности, которую он оставляет на работе, и щедрым пожертвованием — та, которую он отводит на религию. И никогда не позволяй ему усомниться в том, что совокупность времени каким-то таинственным образом принадлежит ему сызмальства.

Здесь перед тобой щекотливая задача. Тебе надо, чтобы он держался идеи, столь нелепой, что даже мы не сумели ее оправдать. Твой подопечный не может ни создать, ни удержать ни мгновения времени, оно дается ему даром; с таким же успехом он вправе считать своими солнце и луну. Кроме того, теоретически он готов всецело служить Врагу, и, если бы Враг лично предстал перед ним и хотя бы на один день потребовал от него такого служения, он бы, разумеется, не отказался. Для него не было бы бременем, если бы главная тягота этого дня состояла в слушании разговоров какой-нибудь глупой женщины. И для него необременительно до разочарования, если бы Враг дал ему полчаса, сказав: «А сейчас иди и делай что хочешь». Задумайся он хоть на мгновение над своей собственной идеей времени, даже он смог бы понять, что он каждый день именно в такой ситуации. Когда я советую тебе лелеять в нем эту идею, это никак не значит, что надо давать ему какой-нибудь убедительный аргумент. Таких аргументов нет. Твоя задача — вроде цензуры. Не разрешай его мыслям касаться этого вопроса. Окружи его мраком, и пусть среди мрака покоится молчаливое, неисследованное и сильное чувство: «Мое время — мое!»

Вообще, чувство собственности всегда следует поощрять. Люди вечно заявляют о своем праве собственности, что звучит одинаково смешно как на небесах, так и в аду. Мы же должны их в этом поддержать. Основная причина современного вызова целомудрию в представлении людей, что они «собственники» своих тел, этих глубоких и опасных владений, где пульсирует энергия, создавшая миры, куда они помещены без их согласия, откуда их можно извлечь по Вражьей воле. Положение такое, словно отец, из родительской любви, назвал малолетнего принца правителем какого-нибудь края, которым в действительности управляют мудрые советники, а тот вообразил, что ему на самом деле принадлежат города, леса, урожаи, как принадлежат ему кубики в детской.

Чувство собственности мы порождаем не только при помощи гордыни, но и при помощи сдвига понятий. Мы учим не замечать разного значения притяжательных местоимений — той отчетливой градации, которую нетрудно увидеть, сопоставив выражения «мои сапоги», «моя собака», «моя горничная», «моя жена», «мой начальник» и «мой Бог». Мы учим сводить эти значения к тому, которое присутствует в выражении «мои сапоги». Даже ребенка можно приучить, чтобы он говорил «мой медвежонок» не в смысле «старый, любимый и живой, с которым у меня совершенно особые отношения» (ибо это именно то, чему учит их Враг, если мы не будем бдительны), а «тот, которого я могу разорвать в клочья, если захочу». Что же касается другого конца шкалы, мы приучаем людей говорить «мой Бог» в смысле, не совсем отличающемся от «мои сапоги», то есть имея в виду «Бога, к Которому я взываю на богослужениях» или «у Которого я так хорошо устроился».

А смешнее всего, что «мое» в полном смысле слова человек не может сказать ни о чем! В конце концов отец наш или Враг скажут «мое» обо всем существующем, в особенности — о каждом человеке. Не беспокойся, они еще узнают, кому принадлежит их время, их души и тела,— уж в любом случае не им. В настоящее время Враг с присущим Ему педантизмом говорит «Мое» на том основании, что Он все сотворил. Отец наш надеется тоже в конце концов сказать «мое» обо всем, но по более реалистической причине — потому, что мы победим.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Итак, твой подопечный влюбился, причем наихудшим для нас образом, и в девушку, даже не упомянутую в списке, который ты прислал. Тебе, вероятно, интересно узнать, что маленькое недоразумение между мной и тайной полицией, которое ты старался создать по поводу некоторых неосторожных выражений в одном из моих писем, теперь позади. Если ты надеялся таким образом подсидеть меня, ты просчитался. Ты поплатишься за это, как и за все остальные свои ошибки. А пока я прилагаю небольшую брошюру, только что изданную и посвященную новому исправительному дому для нерадивых искусителей. Она богато иллюстрирована, и ты не найдешь в ней ни одной скучной страницы.

Я отыскал досье этой девушки и в ужасе от того, что обнаружил. Она не просто христианка — она из самых гнусных! Отвратительная, подлая, глупо-улыбчивая, скромная, молчаливая, тихая как мышка, ничтожная как мокрая курица, девственная, истое дитя! Какая гадость! Меня просто тошнит. Ее досье читать просто противно. С ума сойти, до чего мир испортился. В прежние времена мы послали бы ее на арену, на растерзание зверям [17]. Такие, как она, только на это и годятся. Правда, от нее и там

было бы мало пользы. Она — двуличная обманщица (знаю я тихих): вид такой, будто готова упасть в обморок при виде капли крови, а умрет, гадюка, с улыбкой на губах. Да, законченная обманщица — выглядит строгой, а сама полна остроумия. Она из тех, которым даже я мог бы показаться смешным! Мерзкая, бесцветная, маленькая жеманница, а готова броситься в объятия этого болвана при первом же зове. Почему Враг не поразит ее хоть за это, если Он уж так помешан на девственности, чем смотреть и улыбаться?

В глубине души Он гедонист. Все эти посты и бдения, костры и кресты — лишь фасад. Пена на морском берегу. А на просторе Его морей — радость и снова радость. И Он даже этого не скрывает. В Его деснице, видите ли, вечное блаженство. Тьфу! Мне кажется, тут нет и намека на ту высокую и мрачную мистерию, до которой мы восходим в Мрачном Видении. Он вульгарен, Гнусик! У Него буржуазная душа. Он заполнил весь мир, весь Свой мир Своими же радостями. Люди целый день занимаются тем, что отнюдь не вызывает у Него возражений: купаются, спят, едят, любят друг друга, играют, молятся, работают. Все это надо *исказить,* чтобы оно пошло на пользу нам. Мы трудимся в крайне невыгодных условиях. Ничто естественное само по себе не работает на нас. (Однако это не извиняет тебя. Я вскоре собираюсь за тебя взяться. Ты всегда ненавидел меня и дерзил когда только мог.)

Потом твой подопечный, конечно, познакомится со всей семьей этой девицы и со всем ее кругом. Неужели ты не понимаешь, что даже в дом, где она живет, ему нельзя войти? Все это место пропитано жутким смрадом. Садовник и тот пропитался, хотя он там всего пять лет. Гости, приехавшие с субботы на воскресенье, уносят с собой этот запах. Кошка и собака заражены им. Этот дом хранит непроницаемую тайну. Мы уверены (иначе и быть не может), что каждый член семьи каким-то образом эксплуатирует других, но мы никак не можем разузнать, в чем там дело. Они так же ревностно, как и Сам Враг, оберегают тайну о том, что скрывается за обманом, называемым бескорыстной любовью. Весь этот дом и сад — сплошное бесстыдство. Они до тошнотворности напоминают то описание Небес, которое принадлежит перу одного из их поэтов: «Тот край, где жизнь царит и воздух дышит мелодией и тишиной».

Мелодия и тишина... До чего я их ненавижу! Как благодарны мы должны быть за то, что с тех пор, как отец наш вступил в ад (а это было много раньше, чем оказалось бы по человеческим данным), ни одного мгновения адова времени не было отдано этим отвратительным силам. Все заполнено шумом — великим, действенным, громким выражением победы, жестокости и силы! Шум и только шум способен защитить нас от глупого малодушия, безнадежных угрызений совести и неисполнимых желаний. Когда-нибудь мы превратим Вселенную в один сплошной шум. На земле мы сделали большие успехи. Под конец мы заглушим

все мелодии и всю тишину небес. Я полагаю, что мы еще недостаточно громки. Но наука движется вперед. Ну а ты, отвратительный, ничтожный...

(Здесь манускрипт прерывается, потом — другой почерк.)

В пылу литературного рвения я обнаружил, что нечаянно позволил себе принять форму большой сороконожки. Поэтому я диктую продолжение своему секретарю. Теперь, когда превращение совершилось, я узнаю его. Оно периодически повторяется. Слух о нем достиг людей, и искаженная версия появилась у их поэта Мильтона с нелепым добавлением, будто такие изменения облика «в наказание» наложены на нас Врагом [18]. Более современный писатель по имени Шоу понял, в чем здесь дело: превращение происходит изнутри и его должно считать блестящим проявлением той Жизненной Силы, которой поклонялся бы отец наш, если бы он мог поклоняться чему-либо, кроме самого себя [19]. В своем нынешнем виде я еще больше жажду увидеть тебя и обнять крепко, крепко, крепко.

Подписано: Подхалим
по поручению его Преисподнего
Адородия
Баламута.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Мой дорогой Гнусик!

Через эту девушку и ее отвратительную семью твой подопечный каждый день знакомится со все новыми христианами, и при этом — весьма умными. Теперь будет нелегко устранить духовные интересы из его жизни. Ну ладно, постараемся их извратить. Без сомнения, ты часто превращался в ангела света на тренировках. Что ж, пришло время сделать это и перед лицом Врага. Мир и плоть обманули наши надежды. Остается третья возможность. Если она приведет к хорошим результатам, победа будет — высший сорт. Низринутый святой, фарисей, инквизитор или колдун доставляют аду больше радости, чем такие заурядности, как тиран или развратник.

Прощупав новых друзей твоего пациента, я считаю лучшим местом нападения пограничную область между богословием и политикой. Многие из его новых друзей ответственно подходят к социальным следствиям религии. Само по себе это плохо. Но и этим можно воспользоваться на благо.

Ты обнаружишь, что многие социально-христианские писатели считают, что уже на ранней стадии развития христианство начало искажаться и отходить от доктрины Своего Спасителя. С помощью этой идеи мы снова и снова поощряем то представление об «историческом Иисусе», к которому различные ученые приходят, устраняя «позднейшие вставки и искажения», и которым затем пользуются, противопоставляя его всякому из христианских преданий. В прошлом поколении мы поддерживали

концепцию «исторического Иисуса» на либеральных и гуманистических основах. Теперь мы выдвигаем нового «исторического Иисуса» по линии марксизма, мировой катастрофы и революции. У этих концепций (а мы собираемся менять их примерно каждые тридцать лет) множество достоинств. Во-первых, все они направляют благоговение человека на несуществующее, ибо каждый «исторический Иисус» неисторичен. Письменные источники говорят то, что в них сказано, и к этому ничего нельзя добавить. Поэтому после каждого «исторического Иисуса» приходится что-то вытягивать из них, преуменьшая одни стороны и преувеличивая другие, а также строя гипотезы (мы научили людей называть их «блестящими»), за которые никто не дал бы ни гроша, но которых достаточно для появления целой плеяды новых Наполеонов, Шекспиров и Свифтов в осенней рекламе любого издательства. Во-вторых, все эти концепции измеряют значение своего «исторического Иисуса» какой-нибудь специфической теорией, которую Он якобы провозгласил. Он должен быть «великим человеком» в современном смысле этих слов, то есть человеком, утверждающим что-нибудь сумасбродное, чудаком, предлагающим людям панацею. Так мы отвлекаем людей от того, *кто* Он и *что* Он *сделал*. Сначала мы просто превращаем Его в учителя мудрости, потом замалчиваем глубокое единство Его учения с учениями других великих учителей нравственности. Людям ни в коем случае нельзя увидеть, что все великие учителя нравственности посланы Врагом не для того, чтобы сообщить им нечто новое, а для того, чтобы напомнить, восстановить все древние банальности о добре и зле, которые мир так неутомимо отрицает. Мы создаем софистов — Он выдвигает Сократа, чтобы дать им отпор [20]. Третья наша цель — разрушить молитвенную жизнь посредством этих концепций. Вместо подлинного присутствия Врага, обычно ощущаемого людьми в молитвах и в таинствах, мы, в виде суррогата, даем им существо вероятное, отдаленное, туманное, говорившее на странном языке и умершее очень давно. Такому существу невозможно поклоняться. Вместо Творца, перед которым склоняется Его творение, мы предлагаем тварь, вождя своих сторонников, а под конец — выдающуюся личность, которую одобряет рассудительный историк. В-четвертых, религия такого рода, помимо неисторичности своего Иисуса, искажает историю еще и в другом смысле. Всего лишь несколько человек из всех народов пришло в лагерь Врага, исследуя по правилам науки земную Его жизнь. На самом деле человечеству даже не дали материала для Его полной биографии. А первые христиане обращались под влиянием только *одного* исторического факта — Воскресения и одного только догмата — Искупления, который действовал на то чувство греха, которое было у них,— греха не против какого-нибудь причудливого закона, выдвинутого ради новинки каким-нибудь «великим человеком», а против старого, общеизвестного и всеобщего закона нравственности, которому их учили матери и няньки. Евангельские повествования появились поздно и были написаны

не для того, чтобы обращать людей в христианство, а для того, чтобы наставлять уверовавших.

Вот почему всегда поощряй «исторического Иисуса», каким бы он ни казался нам опасным в некоторых отдельных пунктах. Что же до связи христианства и политики, наше положение труднее. Разумеется, мы не хотим, чтобы люди разрешали своей вере проникать в их политическую жизнь, ибо что-либо похожее на подлинно справедливое общество было бы огромным несчастьем. С другой стороны, мы очень хотим, чтобы люди относились к христианству как к средству; в первую очередь, конечно, как к средству собственного успеха, но если это не удается, то как к средству для чего угодно, даже для социальной справедливости. Сначала заставим человека ценить социальную справедливость, поскольку ее любит Враг, а затем доведем его до состояния, когда он ценит христианство за то, что с его помощью можно достичь социальной справедливости. Враг не хочет, чтобы Его употребляли для извлечения пользы. Люди и народы, которые думают, что верой нужно добиться улучшений в обществе, могут с таким же успехом пользоваться услугами Сил Небесных, чтобы регулировать уличное движение. Однако, к счастью, очень легко уговорить их обойти эту маленькую трудность. Как раз сегодня мне попалось несколько страниц одного верующего писателя, где он рекомендует свою версию христианства на том основании, что «такая вера переживет гибель старых культур и рождение новых цивилизаций». Понимаешь, в чем тут пружина? «Верь не потому, что это истина, а в силу таких-то причин». В этом-то вся и штука.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Я написал Лестегубке, которая следит за дамой твоего пациента, и теперь разглядел маленькую трещину в ее броне. Это небольшой порок, который есть почти у всех женщин, выросших в интеллектуальном окружении, объединенном ярко выраженной верой. Женщинам этим кажется, что все посторонние лица, не разделяющие их веру, просто глупы и странны. Мужчины, которые встречаются с этими посторонними, относятся к ним иначе. Их убеждения, если они есть,— другого рода. Ее же убеждения, которые она считает следствием своей веры, сильно обусловлены представлениями, почерпнутыми от друзей; они не очень отличаются от того, что она ощущала лет в десять, когда думала, что рыбные ножи у них дома «правильные», «нормальные» и «настоящие», а в соседних семьях — «неправильные». Однако неведения и наивности тут так много, а духовной гордыни так мало, что у нас почти нет надежды на эту девушку. Но подумал ли ты о том, как можно воспользоваться этим, чтобы повлиять на твоего подопечного?

Новичок всегда преувеличивает. Человек, поднявшийся до вершин,— прост и свободен, молодой же ученик — весьма педантичен. В этом новом кругу твой подопечный кажется новичком. Здесь он ежедневно встречает христианскую жизнь, обладающую качествами, о которых раньше он не имел никакого представления. Он ревностно жаждет (фактически, Враг велит ему) подражать этим качествам. Заставь его подражать и этой ошибке и еще преувеличить ее, чтобы простительное чувство стало в нем самым сильным и прекрасным из грехов — духовной гордыней. Кажется, условия сейчас идеальные. Тем новым кругом, в котором он находится, можно гордиться не только потому, что они христиане. Это общество образованней, умней, приятней, чем все те люди, с которыми он раньше сталкивался. Кроме того, он не совсем верно представляет себе и свое положение в нем. Под влиянием любви он все еще считает себя недостойным девицы, но он быстро сочтет себя вполне достойным в других отношениях. Ему не видно, как часто они его прощают из доброжелательности и как много они толкуют в лучшем смысле, потому что теперь он вхож в эту семью. Ему и не снилось, что в его высказываниях они узнают эхо собственных своих взглядов. Еще меньше он догадывается, в какой степени восхищение, которое он к ним чувствует, зависит от того эротического очарования, которое, в его глазах, источает девица. Он думает, что ему нравятся их беседы и жизнь, потому что он соответствует их духовному уровню, тогда как в действительности они гораздо выше его, и, если бы он не был так влюблен, его бы просто озадачило и возмутило многое, что он сейчас воспринимает как естественное. Он похож на собаку, которая думает, что разбирается в оружии, лишь потому, что из охотничьего инстинкта и любви к хозяину она полюбила стрельбу.

Здесь-то ты и подключишься. Пока Враг при помощи любви и некоторых людей, далеко продвинутых на Его службе, поднимает этого молодого варвара на вершины, которых он иначе никогда не достиг бы, ты заставишь его думать, что он находит свой уровень, что это люди «его круга», что у них он — дома. Когда он будет общаться с другими, он найдет их блеклыми отчасти потому, что почти каждый круг людей, с которыми он общается, и в самом деле гораздо скучнее, но еще больше потому, что ему будет недоставать девицы. Заставь его принять контраст между ее кругом и кругом, где он скучает, за контраст между христианами и неверующими. Заставь его считать (лучше и не выражать этого в словах), «какие же все-таки иные мы, верующие!». Под «мы, верующие» он, хотя и бессознательно, должен подразумевать «свой круг», а под «своим кругом» не «людей, которые по своей доброте и смирению приняли меня в свою среду», а «людей, к которым я принадлежу по праву».

Удача зависит от того, сможешь ли ты его обмануть. Если ты заставишь его явно и открыто гордиться тем, что он христианин, ты, может быть, испортишь все дело: все же предупреждения

Врага достаточно хорошо известны. Если же, с другой стороны, трюк с «мы, верующие» совсем не пройдет, а удастся только побудить его к кружковому самодовольству, ты приведешь его не к подлинной духовной гордыне, а просто к социальному чванству, что в сравнении с гордыней порок показной и ерундовый. Здесь желательно, чтобы во всех своих мыслях он тайно себя одобрял; никогда не позволяй ему задать себе вопрос: «А за что, собственно, я себя хвалю?» Для него весьма сладостно думать, что он принадлежит к какому-то кругу, посвящен в какую-то тайну. Продолжай играть на этой струне. Научи его, пользуясь слабостями девицы, находить смешным все то, что говорят люди неверующие. Здесь могут оказаться полезными некоторые из теорий, которые мы иногда встречаем в современных христианских кругах; я подразумеваю теории, возлагающие надежды общества на какой-нибудь определенный круг верующих, на неких ученых жрецов. Тебя совершенно не касается, правильны эти теории или нет, главное, чтобы христианство стало для него мистической кастой, а себя он чувствовал одним из посвященных.

Еще я тебя прошу: не заполняй свои письма всякой ерундой про войну. Ее окончательный результат, без сомнения, важен, однако это дело нашего Низшего Командования. Меня совершенно не интересует, сколько людей в Англии убито бомбами. В каком душевном состоянии они умерли, я могу узнать из статистики нашего бюро. Что все они когда-нибудь умрут, я и так знал. Очень тебя прошу, занимайся своим делом.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Самое плохое в том круге, где вращается твой подопечный,— то, что они только христиане. Разумеется, у всех у них есть и индивидуальные интересы, однако связывает их вера. Мы же, если люди становятся верующими, хотим держать их в том состоянии, которое я называю «христианство и...». Ты понимаешь? Христианство *и* кризис, христианство *и* новая психология, христианство *и* новое общество, христианство *и* исцеление верой, христианство *и* вегетарианство, христианство *и* реформа орфографии. Если уж приспичило быть христианами, пусть будут христианами с оговоркой. Пусть для них заменой самой веры будет какая-нибудь мода с христианской окраской. Тут ты должен использовать их ужас перед старым и неизменным. Ужас перед старым и неизменным — одна из самых ценных страстей, которые нам удалось вырастить в человеческих сердцах, неиссякаемый источник ереси в религии, безрассудства в советах, неверности в браке, непостоянства в дружбе. Люди живут во времени и переживают действительность как ряд последовательных происшествий. Поэтому, чтобы много знать о действительности, они должны обладать богатым опытом, иными словами, они должны переживать перемены.

Враг сделал перемену приятной, как сделал Он приятным употребление пищи (я тебе уже говорил, что в глубине души Он — гедонист). Но Он не хочет, чтобы перемены, как и еда, стали самоцелью, и потому он уравновесил любовь к перемене любовью к постоянству. Он умудрился удовлетворить обе потребности даже в сотворенной Им Вселенной, соединив постоянство и перемену союзом, который зовется ритмом. Он дает им времена года, каждое из которых отлично от предыдущего, однако всякий год такое же; скажем, весна всегда воспринимается как обновление и в то же время как повторение вечной темы. Он дает им и церковный год: за постом следуют праздники, и каждый праздник такой же, как и раньше. Мы выделяем любовь к еде для возбуждения обжорства, выделим же и естественную любовь к переменам, извращая ее в постоянное требование нового. Требование это — всецело плод нашей деятельности. Если мы презрим свои обязанности, люди будут не только довольны, но и восхищены новизной и привычностью подснежников в *эту* весну, восхода солнца в *это* утро, елки в *это* рождество. Все дети, которым мы еще не успели привить лучших навыков, совершенно счастливы годовым кругом игр, где санки сменяют пускание корабликов так же регулярно, как осень сменяет лето. Только при помощи наших неустанных трудов удается поддержать требование бесконечных, непрестанных перемен. Это требование ценно во многих отношениях. Во-первых, оно притупляет всякое удовольствие, увеличивая при этом жажду удовольствий вообще. Удовольствие новизны по природе своей больше, чем что-либо другое, подвержено закону «спада при повторении». А получать все новые удовольствия — недешево, так что жажда нового приводит к жадности, краху или к тому и другому. И опять-таки, чем необузданней жажда, тем скорее она поглотит все невинные источники радости и приведет к тем, которые запрещает Враг. Вот так, развивая ужас перед старым и неизменным, мы, например, недавно сделали искусство менее опасным для нас, чем оно прежде было,— противники разума среди поэтов и художников ежедневно измышляют теперь все новые и новые оргии сладострастия, неразумия, жестокости и гордыни. И конечно, жажда нового необходима, когда нам приходится поощрять моды и поветрия.

Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поколения против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше всего, одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку, который мы стараемся сделать свойственным времени. Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем во время наводнения и переходили на ту сторону лодки, которая почти уже под водой. Так, мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у людей преобладает привязанность к благам мира. В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем «эмоциями», мода направлена против элементарной «разумности».

Жестокие времена выставляют охрану против сентиментальности, расслабленные и праздные — против уважения к личности, распутные — против пуританства, а когда все люди готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом либерализм.

Но самый великий наш триумф — это инъекция ужаса перед старым и неизменным в философии. Благодаря ей интеллектуальная бессмыслица может разложить волю. Современная европейская идея эволюции и исторического развития (отчасти — наша работа) оказывается тут весьма полезной. Враг любит банальности. Он хочет, чтобы люди, планируя что-нибудь, задавали себе вопросы простые: справедливо ли это? благоразумно ли? возможно ли? Если же мы заставим людей спрашивать себя: согласуется ли это с духом времени? прогрессивно это или реакционно? по тому ли пути движется история?— они не будут обращать внимания на то, что относится к делу. На вопросы, которые они себе задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, а каково оно будет, во многом зависит именно от их выбора. В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны. Проделана огромная работа. Когда-то они знали, что некоторые изменения — к лучшему, другие — к худшему, а третьи безразличны. Мы сильно это исказили. Описательную характеристику «без изменений» мы заменили эмоциональным словом «застой». Мы научили их думать о будущем как об обетованной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастливцы, а не как о месте, куда каждый из них движется со скоростью шестидесяти минут в час, что бы он ни делал и где бы он ни был.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Да, время влюбленности — самое лучшее для посева тех семян, которые десять лет спустя принесут обильную жатву семейной ненависти. Очарование влюбленности приводит к результатам, которые люди с нашей помощью могут принять за плоды милосердия. Воспользуйся двусмысленностью слова «любовь». Пусть он думает, что при помощи любви решил проблемы, которые только отсрочил или не заметил под влиянием влюбленности. Пока влюбленность продолжается, помогай проблемам созревать в тиши и делай их хроническими.

Главная проблема — самоотверженность. Обрати еще раз внимание на изумительную работу нашего филологического отдела, заменившего положительное Вражье слово «милосердие» отрицательным «самоотверженность». Благодаря этому мы приучаем человека отказываться от разных выгод не на благо и пользу кому-нибудь, а для того чтобы «отвергать себя» без всякой пользы

для ближних. Другое хорошее наше подспорье в отношениях между мужчинами и женщинами — в том, что мы приучили их по-разному смотреть на самоотверженность. Женщины считают, что надо заботиться о других, мужчины — что не надо причинять другим беспокойства. Поэтому женщина на службе у Врага вредит нам много больше, чем мужчина, за исключением тех, кем отец наш уже всецело завладел. И наоборот, мужчина может жить очень долго во Вражьем стане, прежде чем он сам по себе начнет делать так много для людей, как делает каждый день обыкновенная женщина. Пока женщина думает о том, как делать доброе дело, а мужчина — о том, как никому не помешать, каждая сторона, без особых на то причин, считает другую намного эгоистичней.

К этим недоразумениям можно прибавить еще несколько. К примеру, влюбленность ведет к взаимной услужливости, в которой каждая сторона действует так, будто действительно хочет поступать по желанию другой. Они знают, что Враг требует от них милосердия, которое приводит к точно таким же результатам. Пусть они возведут в закон совместной жизни требование той самоотверженности, которая сейчас естественно проистекает из влюбленности, но на которую у них не хватит милосердия, когда влюбленность потухнет. Они не заметят ловушки, так как страдают двойной слепотой: 1) принимают влюбленность за милосердие и 2) думают, что эта влюбленность может длиться вечно.

И вот когда, наконец, официальная, легальная или мнимая самоотверженность установится как правило, а выполнить его невозможно, ибо эмоциональные ресурсы истощились, а духовные не накопились, мы получим самые прелестные результаты. Обсуждая любое совместное дело, «А» поддержит предполагаемые интересы «Б», себе в ущерб, а «Б» поступит наоборот. Часто при этом совершенно нельзя понять, чего хочет каждая из сторон. В случае удачи они будут делать то, что никому из них не хочется, причем каждый будет ощущать приятное тепло самодовольства, ожидать наград за свою самоотверженность и испытывать тайное недовольство другим, который слишком легко принял его жертву. Позже можешь отважиться на так называемую «иллюзию конфликта великодуший». Эта игра лучше всего удается, если в ней участвуют больше двух человек, например в семье со взрослыми детьми. Допустим, захотели сделать что-нибудь совершенно обыкновенное, например попить чаю в саду. Один из членов семьи дает понять (и лучше — покороче), что ему это не нужно, но он, конечно, согласится из самоотверженности. Другие сразу берут назад свое предложение, вроде бы из самоотверженности, а в действительности потому, что не хотят быть объектом мелкого альтруизма. Но тот, первый, тоже не хочет, чтобы у него отняли упоение своей жертвой. Он уверяет, что готов делать «то, что и другие». Они уверяют, что готовы делать «то же, что и он». Страсти накаляются. Тогда кто-нибудь говорит: «Ну

хорошо, тогда я вообще не хочу чаю». Начинается настоящая ссора, ведущая всех к обиде и горечи. Ясно, как это делается? Если бы каждая сторона просто следовала своим истинным желаниям, они держались бы в рамках здравого смысла и учтивости, но как раз потому, что спор вывернут наизнанку и каждая сторона борется за права другой, вся враждебность, происходящая из самодовольства, упрямства и накопившегося за последние десять лет раздражения, скрыта от них или искуплена «самоотверженностью». Конечно, каждая сторона понимает, какого низкого происхождения «самоотверженность» противника и в какое фамильярно-фальшивое положение ее самое пытаются поставить, но себя ощущает безупречной и невинной жертвой и не видит здесь ничего бесчестного.

Один разумный человек однажды сказал: «Если бы люди знали, сколько злых чувств вызывает самоотверженность, они бы не проповедовали ее так пылко». И еще: «Она из женщин, живущих для других. Это видно потому, как другие загнаны». Все это можно начать во время влюбленности. Крупицы настоящего эгоизма часто менее ценны, чем первые проявления этой искусственной и самовлюбленной жертвенности, которая когда-нибудь даст вышеописанные плоды. Некоторую обоюдную неискренность, некоторое удивление, что девица не всегда замечает его жертвы, уже и теперь можно подбавить.

Позаботься об этом, но главное — не давай этим молодым дуракам понять, что «любви» недостаточно, что милосердие необходимо, а они еще далеки от него и никакое внешнее правило его не заменит. И хотел бы я, чтобы Лестегубка поработала над чувством юмора у этой молодой особы.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Мне кажется, от тебя сейчас мало проку. Конечно, использовать его любовь, чтобы отвлечь его мысли от Врага,— правильная тактика, но, как видно, ты ее плохо осуществляешь, раз ты говоришь, что проблема рассеянности и духовной несобранности стала стержнем его молитвы. Это значит, что ты крупно проиграл. Когда рассеянность наполняет его мысли, побуди его сопротивляться ей простым усилием воли и продолжать обычную молитву, как ни в чем не бывало. Если же он осознает свою рассеянность как подлинную проблему, обратится с ней к Врагу и сделает ее главной темой своих молитв и борьбы, тогда ты не приобрел, а потерял. Все, даже грех, может приблизить человека к Врагу и отдалить от нас.

Но есть еще одна многообещающая возможность. Теперь, когда он влюблен, у него появилась мысль о земном счастье, и потому усилился пыл его просительных молитв о нынешней войне. Сейчас настало время создать в его душе проблемы по поводу

таких молитв. Ложную духовность всегда следует поддерживать. Исходя из вполне благочестивого взгляда, что «истинная молитва — хвала и единение с Богом», людей можно довести и до прямого непослушания Врагу, ясно указавшему им (в Своем банальном и скучном стиле) молить о хлебе насущном и оставлении грехов [21]. Ты, конечно, должен скрыть от него, что молитва о хлебе насущном, толкуемая «духовно», остается столь же прозаически просительной, как и при чисто материальном толковании всех слов.

Но поскольку твой подопечный приобрел противную привычку послушания, он, вероятно, продолжит свои «прозаические» и глупые молитвы, что бы ты ни делал. Однако ты можешь беспокоить его назойливым подозрением, что эта привычка абсолютно абсурдна и не может привести ни к какому объективному результату. И не забудь аргумента «голову вытащишь — хвост увязнет». Если то, о чем он молится, не исполняется, значит, просительные молитвы бесполезны; если же то, о чем он молится, исполняется, он, конечно, сможет найти какую-нибудь физическую причину и сказать себе: «Это и так бы случилось». Как видишь, исполнение и неисполнение просительной молитвы в равной степени хорошо доказывает, что молитвы неэффективны. Поскольку ты — дух, тебе нелегко понять, как он попадает в такие затруднения. Ты должен помнить, что для него время — безусловная реальность. Он считает, что наш Враг, как и он сам, воспринимает в настоящем одно, в прошлом помнит другое, а предвидит в будущем третье. Может быть, он и верит, что Враг вовсе не так воспринимает мир, но в глубине души он все равно этого не понимает. Если бы ты попытался объяснить ему, что сегодняшняя молитва человека — один из бесчисленных компонентов, используемых Врагом при создании завтрашнего бытия, подопечный ответил бы, что тогда Враг всегда знает, как люди будут молиться, другими словами, люди молятся не по собственной воле, а согласно предопределению. И добавил бы, что от сегодняшнего дня можно проследовать обратным ходом через всю цепочку дней до сотворения самой материи, так что все и в человеке и в природе порождено «Словом, бывшим в начале» [22]. Что ему следовало бы сказать, для нас совершенно очевидно: проблема соотношения определенного факта и определенной молитвы — лишь нынешнее проявление (в двух разных аспектах, согласно временному восприятию) общей проблемы соотношения духовного мира человека и мира материального. Творение во всей своей целостности действует в каждой точке пространства и времени или, вернее, человеческий тип сознания воспринимает целостный характер самосогласующего акта как ряд последовательных событий. Почему этот творческий акт оставляет место их свободной воле — проблема проблем, тайна, скрытая за всей этой Вражеской чепухой о «любви». Однако как это осуществляется, мы знаем: Враг не предвидит, как люди будут свободно содействовать будущему, а видит, как они действуют в Его безбрежном настоящем.

Казалось бы, ясно, что наблюдать за действиями человека — вовсе не то же самое, что вынуждать эти действия.

Могут сказать, что некоторые писатели, сующие свой нос куда не следует, в частности Боэций, уже проболтались насчет этой тайны [23]. Но при том интеллектуальном климате, который нам удалось создать во всей Западной Европе, это не должно тебя беспокоить. Только специалисты читают старые книги, а мы теперь так воспитали специалистов, что они меньше всех способны извлечь оттуда мудрость. Добились мы этого, привив им Историческую Точку Зрения. Историческая Точка Зрения, коротко говоря, означает следующее: когда специалист знакомится с мыслями древнего автора, он не помышляет о том, считать ли написанное истиной. Ему важно, кто повлиял на этого древнего автора, насколько его взгляды согласуются с тем, что он писал в других книгах, какая фаза в его развитии или в общей истории мысли этим иллюстрируется, как все это повлияло на более поздних писателей, как это понимали (в особенности коллеги данного специалиста), что сказали ученые в последнее десятилетие и каково «состояние вопроса в настоящее время». Видеть в авторе источник знаний, предполагать, что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не станет, так как это «поистине наивно». Поскольку мы не можем обманывать все человечество во все времена, очень важно отделить каждое поколение от предыдущих и последующих, ибо там, где знание приводит к свободному общению поколений, всегда есть опасность, что ошибки, характерные для данного поколения, будут исправлены истинами, характерными для другого. Но благодаря отцу нашему и Исторической Точке Зрения великие ученые сейчас так мало питаются прошлым, как и самый невежественный мастеровой, считающий, что «в старину была одна ерунда».

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Когда я просил тебя не заполнять свои письма всякой чушью о войне, я подразумевал, что не жажду получать инфантильные и глупые опусы про смерть людей и разрушение городов. Но в той степени, в которой война влияет на духовное состояние твоего пациента, я, естественно, ею интересуюсь и жду подробных донесений. В этом же отношении ты, кажется, удивительно бестолков. Так, ты с ликованием пишешь, что можно ожидать тяжелых налетов на город, где живет твой тип. Это вопиющий пример того, на что я уже раньше жаловался,— твоей способности забывать главное в минутных радостях по поводу человеческой беды. Разве тебе неизвестно, что бомбы убивают? Как же тебе непонятно, что смерть твоего подопечного в настоящее время — именно то, чего мы хотим избежать? Он освободился от светских друзей, с которыми ты пытался его свести, он влюбился в глубоко верую-

щую девушку и стал невосприимчив к твоим нападкам на его целомудрие, да и разнообразные методы, которыми мы пытались извратить его духовную жизнь, остались пока без результата. Сейчас, когда с полной силой приближается война и мирские надежды занимают все меньше места в его сознании, озабоченном оборонительными работами и мыслями о девушке, он вынужден уделять Врагу больше внимания, чем раньше, и увлечен этим больше, чем ожидал, «самозабвенно», как говорят люди. Ежедневно утверждаясь в сознательной зависимости от Врага, он почти наверняка будет потерян для нас, если его убьют сегодня ночью. Это столь очевидно, что мне даже стыдно писать тебе об этом. Иногда меня охватывает беспокойство: не слишком ли мы долго держим такой молодняк, как ты, на соблазнительской работе, не рискуете ли вы заразиться настроениями и воззрениями людей, среди которых вы действуете? Они, конечно, склонны считать смерть величайшим злом, а сохранение жизни — величайшим благом. Но этому ведь мы их научили. Будь осторожен, не попадись на удочку нашей собственной пропаганды. Я понимаю, тебе кажется странным, что твоей главной целью должно быть сейчас как раз то, о чем молятся возлюбленная и мать подопечного,— его физическая безопасность. Но это действительно так. Ты должен хранить его как зеницу ока. Если он умрет сейчас, ты его потеряешь. Если он выживет в войну, у нас всегда есть надежда. Враг защитил его от тебя во время первой большой волны искушений. Но если он останется жив, само время станет твоим союзником. Долгие, скучные, монотонные годы удач и неудач — прекрасная рабочая обстановка для тебя. Видишь ли, для этих существ трудно быть стойкими. Непрестанные провалы; постепенный спад любви и юношеских надежд; спокойная и почти безболезненная безнадежность попыток когда-нибудь преодолеть наши искушения; однообразие, которым мы наполняем их жизнь, наконец, невысказанная обида, которой мы учим их отвечать на все это,— дают замечательную возможность. Если же, напротив, на средние годы придется пора процветания, наше положение еще сильнее. Процветание привязывает человека к миру. Он чувствует, что «нашел в нем свое место», тогда как на самом деле это мир находит свое место в нем. Улучшается репутация, расширяется круг знакомых, растет сознание собственной значительности, возрастает груз приятной и поглощающей работы, и все это создает ощущение, что он дома на земле — а именно этого мы и хотим. Ты, вероятно, заметил, что молодые люди умирают охотнее, чем люди средних лет и старые.

Дело в том, что Враг, странным образом предназначив этих животных к жизни вечной, не дает им чувствовать себя дома в каком-либо еще месте. Вот почему мы должны желать нашим подопечным долгой жизни. Семидесяти лет только-только и хватает для нашей трудной задачи — отманить их души от Небес и крепко привязать к земле. Пока они могут чувствовать, что молоды, они всегда витают в облаках. Даже если мы ухитряемся держать

их в неведении о вере, бесчисленные ветры фантазии и музыки, картин и поэзии, лицо красивой девушки, пение птицы или синева неба рассеивают все, что мы пытаемся построить. Они не хотят связывать себя мирским успехом, благоразумными связями и привычкой к осторожности. Их тяга к Небесам столь сильна, что на этом этапе лучший способ привязать их к земле — убедить их в том, что землю можно когда-нибудь превратить в рай посредством политики, евгеники, науки, психологии или чего-нибудь еще. Настоящая привязанность к миру достигается только со временем и, конечно, сопровождается гордыней, ибо мы учим их называть крадущееся приближение смерти здравым смыслом, зрелостью или опытом. Опытность, в том особом значении, которое мы учим их придавать этому слову, оказалась очень полезным понятием. Один их великий философ почти выдал наш секрет, сказав, что для человека «опытность — мать иллюзии». Но благодаря моде и, конечно, Исторической Точке Зрения нам удалось в основном обезвредить этого автора.

Сколь ценно для нас время, можно понять по тому, что Враг отпускает его нам так мало. Множество людей умирает в детстве, из выживших многие умирают в молодости. Очевидно, для Него рождение человека важно прежде всего как квалификация для смерти, а смерть важна как вход в другую жизнь. Нам остается работать с избранным меньшинством, ибо то, что люди называют «нормальной длиной жизни»,— исключение. По-видимому, Он желает, чтобы некоторые (но не многие) из этих человеко-животных, которыми Он населяет небеса, обрели особенно строгий опыт сопротивления нам. Вот здесь-то мы и не должны упускать возможности. Чем короче жизнь, тем лучше мы должны ею воспользоваться. И что бы ты ни делал, храни подопечного в безопасности, как только можешь.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Теперь, когда ты знаешь наверняка, что немцы собираются бомбить город твоего пациента и обязанности погонят его в самые опасные места, мы должны обдумать твою тактику. Что нам поставить задачей: его трусость, мужество, ведущее к гордыне, или ненависть к немцам?

Ну, я думаю, что сделать его храбрым нам не удастся. Наш отдел научных исследований пока еще не открыл ни одного способа побуждать хоть к какой-нибудь добродетели (хотя здесь мы со дня на день ожидаем успехов). Это серьезное препятствие. Для сильной и глубокой злости человеку нужна еще и добродетель. Кем бы был Аттила [24] без мужества или Шейлок [25] без аскетичности? Поскольку мы не можем привить этих качеств, остается воспользоваться теми, которые привиты Врагом, что, конечно, дает Ему точку опоры в людях, которые без Него были бы полностью

нашими. Работать в таких условиях очень трудно, но я верю, что когда-нибудь мы сможем делать это лучше.

Ненависть нам вполне по силам. Напряжение нервов у людей во время шума и усталости побуждает их к сильным эмоциям, и остается направить эту уязвимость в правильное русло. Если его разум сопротивляется, запутай его как следует. Пусть он скажет себе, что ненавидит не за себя самого, а за невинных женщин и детей и что христианская вера должна прощать своим врагам, но не врагам ближнего. Иными словами, пусть он чувствует себя достаточно солидарным с женщинами и детьми, чтобы ненавидеть от их имени, и недостаточно солидарным, чтобы считать их врагов своими и потому прощать.

Ненависть лучше всего комбинируется со страхом. Трусость — единственный из пороков, от которого нет никакой радости: ужасно ее предчувствовать, ужасно ее переживать, ужасно и вспоминать о ней. У ненависти же есть свои удовольствия. Часто она оказывается ценной компенсацией, возмещающей унижения страха. Чем сильнее страх, тем больше будет ненависти. И ненависть — прекрасный наркотик против стыда. Если ты хочешь сильно ранить его добродетель, порази сначала его мужество.

Однако сейчас это дело рискованное. Мы научили людей гордиться большинством пороков, но не трусостью. Всякий раз, когда нам это почти удавалось, Враг попускал войну, землетрясение или еще какое-нибудь бедствие, мужество сразу же делалось прекрасным и необходимым для людей и вся наша работа шла насмарку; так что все еще есть, по крайней мере, один порок, которого они стыдятся. Но, побуждая твоего пациента к трусости, ты, к сожалению, можешь вызвать в нем подлинное отвращение к самому себе с последующим раскаянием и смирением. Ведь в прошлую войну тысячи людей, обнаружив в себе трусость, впервые открыли нравственную сферу жизни. В мирное время мы можем заставить многих совершенно игнорировать вопросы добра и зла. Но во время опасностей эти вопросы встают перед ними в таком виде, что тут даже мы не сделаем их глухими. Перед нами сложная дилемма: если мы поддержим справедливость и милосердие, это будет на руку Врагу, если же не поддержим, то рано или поздно разразится война или революция (Он это попускает), и безотлагательность вопроса о трусости и мужестве пробудит тысячи людей от нравственного оцепенения.

Это, вероятно, одна из причин, побудивших Врага создать мир, чреватый опасностями, то есть мир, в котором нравственные проблемы иногда становятся главными. Кроме того, Он, как и ты, понимает, что мужество — не просто одна из добродетелей, а форма проявления любой добродетели во время испытаний, то есть в моменты высшей реальности. Целомудрие, честность и милосердие без мужества — добродетели с оговорками. Пилат был милосерден до тех пор, пока это не стало рискованным [26].

Возможно, поэтому, что, сделав твоего подопечного трусом, мы выиграем столько же, сколько проиграем: он может узнать

слишком много о себе. Есть, конечно, еще одна возможность — не заглушать в нем стыд, а углублять до отчаяния. Это было бы грандиозно! Он решил бы, что веровал и принимал прощение от Врага только потому, что сам не вполне ощущал свою греховность, а когда дело дошло до греха, который он осознал во всей его унизительности, он не мог ни искать Вражьего милосердия, ни доверять Ему. Но, боюсь, он достаточно хороший ученик в школе Врага и знает, что отчаяние — больший грех, чем все грехи, которые его породили.

Что же до самой техники искушений к трусости, тут все просто. Осторожность способствует развитию этого греха. Но осторожность, связанная с работой, быстро становится привычкой, так что здесь от нее нет прока. Вместо этого тебе надо сделать так, чтобы у него в голове мелькали смутные мысли (при твердом намерении выполнить долг), не сделать ли ему что-нибудь, чтобы было побезопасней. Отведи его мысль от простого правила: «Я должен остаться здесь и делать то-то и то-то» и замени рядом воображаемых ситуаций (Если случится *A* — а я очень надеюсь, что не случится,— я смогу сделать *B*,— и, если уж произойдет самое худшее, я всегда смогу сделать *C*). Можно пробудить и суеверия, разумеется, называя их иначе. Главное, заставь его чувствовать, что у него есть что-то помимо Врага и мужества, Врагом дарованного, и что он может на это опереться. Тогда всецелая преданность долгу начинает напоминать решето, где дырочки — множество маленьких оговорок. Построив систему воображаемых уловок, призванных предотвратить «наихудшее», ты создаешь в бессознательной части его воли убеждение, что «наихудшее» случиться не должно. В момент подлинного ужаса обрушь все это на его нервы и тело, и тогда роковой момент для него наступит прежде, чем он обнаружит в нем тебя. И помни, важен только акт трусости. Страх как таковой — не грех; хотя мы тешимся им, пользы от него нет.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Мой дорогой Гнусик!

Иногда я думаю, уж не решил ли ты, что тебя послали в мир для твоего удовольствия? Я узнал, что пациент во время первого налета вел себя как нельзя хуже, но узнал я это не из твоих неудовлетворительных сообщений, а из доклада преисподней полиции. Он все время очень боялся, что окажется большим трусом, и поэтому не испытывал никакой гордыни. Он, однако, сделал все, что потребовал от него долг, а может быть, и еще больше. В твоем активе лишь вспышка раздражения против собаки, подвернувшейся ему под ноги, пара лишних сигарет и один вечер без молитвы. Что толку хныкать о трудностях? Если ты разделяешь идею Врага о «справедливости» и полагаешь, что нужно считаться с твоими возможностями и намерениями, тебя можно обвинить в ереси.

Во всяком случае, ты скоро поймешь, что преисподняя справедливость чисто реалистична и ценит только результаты. Принеси пищу или сам станешь ею.

Единственная конструктивная часть твоего письма — та, где говорится, что ты все еще ожидаешь хороших результатов от усталости подопечного. Это неплохо. Но сами они тебе в руки не свалятся. Усталость может привести к крайней кротости, спокойствию, а иногда и к видениям. Ты часто замечал, как усталые люди предавались гневу, злобе или нетерпеливости только потому, что вообще были очень энергичны. Парадокс в том и состоит, что умеренная усталость больше способствует злобе, чем полное изнеможение. Частично это обусловлено физическими причинами, частично — чем-то другим. Злятся не просто от усталости, а от неожиданных требований, предъявляемых усталому человеку. Чего бы людям ни хотелось, им всегда кажется, что у них на это есть право. А разочарование при нашей ловкости можно всегда обратить в чувство несправедливости. Риск смиренной и кроткой усталости появляется лишь тогда, когда человек сдался перед неотвратимым, потерял надежду на отдых и перестал загадывать даже на полчаса вперед. Наилучшие результаты от усталости подопечного ты получишь, если будешь питать его фальшивыми надеждами. Вбей ему в голову, что налет не повторится, и заставляй его утешать себя мыслью о том, как он будет удобно спать следующую ночь. Преувеличь его усталость, внушая ему, что скоро все это кончится. Ведь люди обычно считают, что они не смогли бы вынести напряжение ни минуты дольше. Здесь, как и в деле трусости, главное — избежать полного отказа от своей воли. Что бы он ни говорил, нам нужно, чтобы он был полон решимости не на все, что бы ни случилось, а на все, что «в пределах его сил», и чтобы этих сил было меньше, чем, вероятно, потребуется при испытании. Ладно, пусть отбивает атаки на терпение, целомудрие и мужество. Самое интересное — победить его как раз тогда, когда (если бы они только знали!) он уже почти победил нас. Я не знаю, возможно ли, чтобы он встретил свою девицу, когда очень устанет. Если да, постарайся использовать то, что усталость склоняет женщин к разговорчивости, мужчин — к молчанию. Это может стать поводом для тайных огорчений, как бы они там друг друга ни «любили».

Вероятно, сцены, которые он увидит, не дадут тебе материала для нападения на его разум — твои же прежние неудачи привели к тому, что сейчас это уже не в твоей власти. Но есть способ напасть на чувства, который еще можно попробовать. Когда он впервые увидит останки того, кто раньше был человеком, заставь его почувствовать, что «вот таков мир на самом деле», а вся религиозность была одной фантазией. Ты, конечно, заметил, что мы совершенно запутали значение слов «на самом деле». В ответ на рассказ про какое-нибудь духовное переживание они говорят: «А на самом деле ты просто услышал музыку в хорошо освещенном помещении». Здесь эти слова означают только физические факты, отделенные от остальных элементов переживания. С другой сторо-

ны, они могут сказать: «Тебе хорошо рассуждать о таких порывах, сидя в кресле, но подожди, пока с тобой это произойдет на самом деле!» Здесь слова употребляются в противоположном смысле и означают не физические факты (которые они уже знают), а эмоциональные воздействия на человеческое сознание. Оба значения возможны, а наше дело так их спутать, чтобы слова могли употребляться то в одном смысле, то в другом, как нам выгоднее. Общее правило, которое мы уже утвердили среди них, вот какое: во всех переживаниях, делающих их счастливее или добрее, только физические факты «на самом деле», а духовные — «субъективны», во всем же, способном их огорчить или развратить, духовное — это и есть действительность, и, не обращая внимания на нее, мы от «самого дела» убегаем. Таким образом, при рождении ребенка кровь и боль «на самом деле» есть, а радость — субъективна, в смерти же именно наш ужас обнаруживает, что такое «на самом деле» смерть. Ненавистный человек «на самом деле» отвратителен — в ненависти человека видишь таким, каков он есть, в ненависти разбиты все иллюзии; обаяние же человека любимого — просто субъективная дымка, скрывающая похоть или корысть. Войны и нищета страшны, мир и радость — субъективные настроения. Эти существа всегда обвиняют друг друга в том, что хотят съесть торт так, чтобы он остался цел. Однако, благодаря нашим трудам, они платят за торт, но не могут его съесть. Если ты хорошо поведешь пациента, он скоро станет считать, что его чувства при виде человеческих внутренностей выражают «то, что на самом деле», а чувства при виде счастливых детей или хорошей погоды — просто сантименты.

Твой любящий дядя Баламут.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Мой дорогой, мой любимый Гнусик,
куколка моя, поросеночек!

Как ты можешь хныкать теперь, когда все потеряно, и спрашивать: неужели мои слова о любви к тебе ничего не значили? Ну что ты! Еще как значили! Поверь, моя любовь к тебе и твоя ко мне равны как две капли воды. Я всегда жаждал тебя, так же как и ты (жалкий дурак!) жаждал меня. Разница лишь в том, что я сильнее. Полагаю, что теперь они тебя мне отдадут. А ты спрашиваешь, люблю я тебя или нет! Люблю, как и любой лакомый кусочек, от которого у меня прибавится жиру.

Ты выпустил из рук душу! Голодный вой, поднявшийся от этой потери, оглашает сейчас все Царство Шума до самого Трона. Я просто с ума схожу, думая об этом. Да, я представляю себе, что случилось, когда они вырвали ее у тебя!.. Внезапно глаза его раскрылись, и он впервые тебя увидел, узнал, как ты на него влияешь, и понял, что теперь ему конец. Ты только представь себе, что он почувствовал (пусть это и будет началом твоей агонии). Как будто отпали струпы со старой болячки, как будто он вышел из гнусной

скорлупы, как будто он раз и навсегда сбросил грязную, прилипшую одежду. И так противно видеть, как они во время земной жизни снимают грязную, неудобную одежду и плещутся в горячей воде, покрякивая от удовольствия. Что же тогда сказать о последнем обнажении, об этом последнем очищении?

Чем больше думаешь, тем хуже становится. А он прошел через все так легко. Ни медленно нарастающих подозрений, ни приговоров врача, ни больниц, ни операционных столов, ни фальшивых надежд. Раз — и освободился! На какой-то миг все показалось ему нашим миром. Бомбы рвутся, дома падают, вонь, дым, ноги горят от усталости, сердце холодеет от ужаса, голова кружится... и тут же все прошло как дурной сон, который никогда не будет иметь никакого значения для него. Эх ты, обманутый дурак! Заметил ли ты, как естественно — словно он для того и родился — этот червяк, рожденный на земле, вошел в свою новую жизнь? Как все его сомнения мигом стали для него смехотворными? Я знаю, что он говорил самому себе: «Да, конечно, так всегда и было. Все ужасы были одинаковы. Сначала становилось все хуже и хуже, меня как будто загоняли в бутылочное горлышко, и именно в тот момент, когда я думал, что это конец,— ужасы кончались, становилось хорошо. Когда рвали зуб, боль нарастала,— а потом вдруг зуба нет. Дурной сон переходил в кошмар — и я просыпался. Человек все умирает и умирает, и вот — он уже вне смерти. Как я мог сомневаться в этом?»

И когда он увидел тебя, он увидел и Их. Я знаю, как все было. Ты отпрянул ослепленный, ибо тебя они поразили сильнее, чем его поразили бомбы. Какое унижение, что эта тварь из праха и грязи могла стоять, беседуя с духами, перед которыми ты, дух, мог только ползать! Вероятно, ты надеялся, что ужас и вид иного, чужого мира разрушит его радость. Но в том-то все и горе, что Они и чужды глазам смертных, и не чужды. Вплоть до этого мира он не имел ни малейшего представления о том, как Они выглядят, и даже сомневался в Их существовании. Но когда он увидел Их, он понял, что он Их всегда знал. Он понял, какую роль каждый из Них играл в его жизни, когда он думал, что с ним нет никого. И вот он мог сказать Им, одному за другим, не «Кто ты?», а «Значит, это все время был ты!». Все, что он увидел и услышал при встрече, пробудило в нем воспоминания. Он смутно ощущал, что всегда был окружен друзьями, с самого детства посещавшими его в часы одиночества, и теперь наконец это объяснилось. Он обрел музыку, которая таилась в глубине каждого чистого и светлого чувства, но все время ускользала от сознания. И, узнавая Их, он стал Им родным прежде, чем тело его успело охладеть. Только ты остался ни при чем по своей глупости.

Он увидел не только Их. Он увидел и Его. Эта низкая тварь, зачатая в постели, увидела Его. То, что для тебя огонь, ослепляющий и удушающий, для него теперь свет прохладный, сама ясность и носит облик Человека. Тебе хотелось бы отождествить его преклонение перед Врагом, его отвращение к себе и глубочайшее

сознание своих грехов (да, Гнусик, теперь он видит их яснее, чем ты) с твоим шоком и параличом, когда ты угодил в смертоносную атмосферу Сердца Небес. Но это ерунда. Страдать ему еще придется, однако они радуются этим страданиям. Они не променяли бы их ни на какие земные удовольствия. Все те прелести чувства, сердца или разума, которыми ты мог бы искушать его, даже радость добродетели, теперь, при сравнении, для него, как побрякушки размалеванной бабы для мужчины, узнавшего, что та, кого он любил всю жизнь и считал умершей, жива и стоит у дверей. Он поднят в мир, где страдания и радость — безусловные ценности, и вся наша арифметика теряет свой смысл. И вот снова мы сталкиваемся с необъяснимым. Наша главная беда (помимо никчемных искусителей, вроде тебя) — промахи нашего исследовательского отдела. Если бы мы только могли разнюхать, чего Он в действительности хочет! Увы, это знание, само по себе столь ненавистное и неприятное, необходимо для нашей власти. Иногда я просто прихожу в отчаяние. Меня поддерживает лишь убеждение, что наш реализм, наш отказ от всякой ерунды и трескучих фраз должен победить. А пока я займусь тобой...

В высшей степени искренне и
все сильнее тебя любящий
дядя Баламут.

БАЛАМУТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОСТ

ВВЕДЕНИЕ

Меня часто просили продолжить «Письма Баламута», но много лет мне очень не хотелось этого делать. Никогда не писал я с такой легкостью, никогда не писал с меньшей радостью. Легкость, конечно, вызвана тем, что принцип бесовских писем, раз уж ты его придумал, действует сам собой, как лилипуты и великаны у Свифта [1], или медицинская и этическая философия «Едгина»[2], или чудесный камень у Анстея [3]. Дай ему волю — и пиши хоть тысячи страниц. Настроить разум на бесовский лад легко, но неприятно, во всяком случае — забавляет это недолго. От напряжения у меня как бы сжало дух. Мир, в который я себя загонял, говоря устами беса, был трухлявым, иссохшим, безводным, скрежещущим, там не оставалось ни капли радости, свежести, красоты. Я чуть не задохнулся, пока не кончил книгу, а если бы писал дальше, удушил бы читателей.

Кроме того, меня раздражало, что книга моя — такая, а не другая, хотя «другую» никто бы не смог написать. Советы беса-руководителя бесу-искусителю надо было бы уравновесить советами архангела ангелу. Без этого образ человеческой жизни как-то скособочен. Но даже если бы кто-то гораздо лучший, чем я, добрался до таких высот, каким слогом он бы писал, в каком стиле? Стиль и в самом деле неотторжим от смысла. Простой совет тут не годился бы, каждое слово должно издавать райское благоухание. А теперь не разрешают писать, как Трэерн [4], хотя бы вы и могли,— современная проза «функциональна» и потому утратила половину своих функций. (Честно говоря, «идеал стиля» предписывает не только «форму», но и «содержание».)

Годы шли, неприятные чувства забывались, я все чаще думал о разных вещах, о которых надо бы сказать через беса. «Писем» я твердо решил больше не писать, и в голове у меня вертелось что-то вроде лекции или беседы. Я то забывал ее, то вспоминал, как вдруг «Сатердей ивнинг пост» попросила меня что-нибудь дать,— и пистолет выстрелил.

К.С.Л.

Ад. Выпускной банкет бесов-искусителей. Ректор училища, д-р Подл, предложил выпить за здоровье гостей. Баламут, почетный гость, встал, чтобы провозгласить ответный тост:

«Ваше неподобие и вы, немилостивые господа!

Вошло в обычай на таких банкетах обращаться прежде всего к тем, кто только что окончил курс и вскорости начнет работу искусителя. Охотно подчиняюсь. Я помню, с каким трепетом ожидал первого назначения, и надеюсь — нет, уверен,— что каждый из вас немного волнуется сегодня. Путь открыт! Ад вам в помощь! Мы ждем от вас многого. Если же не дождемся, сами знаете, что будет.

Ни в коей мере не хотел бы угасить тот полезный, здравый страх, тот упорный ужас, который только подстегнет вас. Часто будете вы завидовать людям, которые как-никак забываются сном! Однако я все же приободрю вас, обрисовав нынешнюю ситуацию.

Наш многоунижаемый ректор в своей речи как бы просил прощения за скупость предложенных нам яств. Конечно, его вины здесь нет, но невозможно отрицать, что души, чьими муками мы питаемся, — самого низкого качества. Искусство лучших наших поваров не в силах придать им мало-мальский вкус.

Где Генрих VIII [5], где Фарината [6], пускай хотя бы Гитлер? Тут было что поесть, было что потерзать! Какая злоба, какая жестокость, какой эгоизм — не хуже наших! А как отбивались! Огнем жгло...

Что же мы видим сейчас? Вот ели мы мэра со взятками. Не знаю, как вы, а я лично не обнаружил той зверской, страстной жадности, которая придает такой вкус воротилам прошлого столетия. Я убежден, что это — мелкий человечек, который глупо шутил, когда брал деньги, и глупо обличал нечестность, когда говорил речи, и тихо сползал сюда, к нам, сам того не замечая,— просто потому, что «все берут». Были тут и тушеные прелюбодеи. Нет, скажите мне, где в этой теплой тюре пламенная, яростная, буйная страсть? На мой вкус это бесполые дураки, которых занесло в чужую постель,— реклам насмотрелись, боялись старомодности, доказывали кому-то, что они «нормальны» или просто делать им было нечего. Честно сказать, меня, отведавшего Мессалины [7] и Казановы [8], чуть не стошнило. Профсоюзный лидер под желтым соусом — получше, он все-таки принес немало вреда. Как-никак по его вине лилась кровь, люди голодали, тирания сменяла свободу — но что толку? Он почти и не думал об этих достойных целях. Не ими он жил. Партийная линия, собственный вес, а главное — рутина, рутина...

Но суть не в том. Да, поживиться нечем; однако, надеюсь, вы — не рабы чревоугодия. Посмотрим, нет ли других, более весомых достижений.

Прежде всего, смотрите, сколько тут всего! Качество — хуже некуда, зато такого количества душ (если это души) еще не бывало.

Мало того, казалось бы, такие души — нет, кляксы от душ — и губить не стоит; но ведь Враг почему-то решил, что их стоит спасать! Поверьте, решил. Молодые, неопытные искусители представить себе не могут, как мы крутились, как вертелись, чтобы изловить их.

Трудность именно в том, что они ничтожно мелки. Они, мерзавцы, такие тупые, такие пассивные, так зависят от среды! Буквально никак не доведешь их до той свободы выбора, при которой грех становится смертоносным. Заметьте, надо их довести — и все, дальше идти нельзя, там другая опасность, они могут раскаяться. А не доведешь — пойдут в лимб [9], ни в рай, ни в ад они не годятся. Не стали, говоря строго, людьми — что ж, опускайтесь ниже человека, многим даже нравится.

Выбирая то, что Враг назвал бы «дурным», существа эти почти (или совсем) не отвечают за свои действия. Им непонятно, откуда взялись и что́ означают нарушенные ими запреты. Совесть их невозможно отслоить от социума, от среды. Конечно, мы старались, чтобы язык еще больше все запутал — скажем, взятку они называют «чаевыми» или «подарком». Искуситель должен прежде всего превратить их выбор в привычку (достигается повторением), а потом, что очень важно,— в принцип, который они готовы отстаивать. Тогда все пойдет как по маслу. Простая зависимость от среды — может ли кисель *устоять?* — становится кредо, идеалом: «Как все, так и я». Сперва они просто не видели запрета, теперь у них что-то вроде убеждений. Истории они не знают и зовут нравственный закон Врага «пуританским» или «буржуазным». Так в самой их сердцевине возникает плотный, твердый сгусток — они *намеренно* идут, куда шли, и отвергают соблазны. Сгусток невелик, они ничего не знают о нем (они вообще мало знают), это не пламя какое-нибудь (куда там, не хватит чувств, да и воображения!), он даже аккуратненький, скромненький, словно камешек. Однако дело свое он делает: наконец они по собственной воле отвергают так называемую благодать.

Итак, мы вправе сделать два оптимистических вывода: 1) улов очень велик — вкуса в нем нет, зато не грозит голод, и 2) мастерство наших искусителей стало поистине виртуозным. Но есть и третий, быть может, самый важный.

Душ, чьи разложение и гибель дают нам возможность если не пировать, то не голодать,— душ этих, повторю я, все больше, а вот великих грешников — все меньше. Все меньше людей с могучими страстями, всею силою воли стремящихся к тому, чего не любит Враг. Улов наш растет, но раньше мы бросили бы такую дрянь Церберу [10]. Казалось бы, это прискорбно — на самом же деле все изменилось к лучшему. Хотел бы обратить ваше внимание на методы, с помощью которых мы этого добились.

Великие (вкусные) грешники — точно из того же теста, что и эти мерзкие твари, великие святые. Хорошо, вот такую мелочь и в рот не возьмешь. А каково Врагу? Для того ли Он создал людей, стал Одним из них, умер в муках, чтобы расплодились недо-

человеки, годные лишь для лимба? Он хотел вывести породу богов, святых, таких, как Он. Да, нам невкусно, зато радость какая! Вы только подумайте, опыт Его не удался! Мало того, великие грешники приносят теперь гораздо больше пользы. Любой диктатор, что там — демагог, звезда экрана или эстрады ведет за собой тысячи тысяч. Нынешние малявки отдают все, что от них осталось, ему (ей), а значит,— нам. Вероятно, вскоре мы сможем заниматься считанными людьми.

Понимаете ли вы, как удалось нам превратить такое множество людей в нули без палочки? Это — не случайность. Это — ответ на самый дерзкий вызов, какой только был.

Разрешите напомнить, что творилось у них во второй половине прошлого века (как раз тогда я оставил частный искус и перешел на руководящую работу). Стремление к свободе и равенству начало приносить существенные плоды. Отменили рабство. Росла религиозная терпимость. Надо сказать, что в соответствующих движениях уже изначально были благоприятные элементы: атеизм, антиклерикализм, зависть, жажда мести, даже попытки воскресить язычество (достаточно глупые). Мы не сразу решили, как к этому относиться. С одной стороны, нам было противно — и сейчас противно,— что голодных накормят, с узников снимут цепи. С другой стороны, приятно видеть столько неверия, обмирщения, ненависти. Как их не поддержать!

К последним десятилетиям века все упростилось, но и ухудшилось. В английском секторе, где я в основном работаю, случилась страшная вещь: Враг почти прибрал к рукам, Себе на пользу, прогрессивное и либеральное движение. От прежней вражды к христианству осталось очень мало. Повсюду развивалось преотвратительное явление, называвшееся христианским социализмом. Фабрикантов доброго старого типа, нажившихся на непосильном труде, не рабочие убивали — это бы хорошо! — а осуждали собратья, свой же класс. Богачи все чаще отдавали власть и деньги не от страха, не перед лицом насилия, а по велению совести. Бедные же вели себя хуже некуда. Мы резонно надеялись, что на свободе они пограбят как следует, поубивают, ну хоть запьют, а они, гады, стали чище, бережливей, образованней, что там — порядочней! Вы не поверите, господа, как близка была угроза, нравственного, здорового общества!

Благодаря Всенижнему, Отцу нашему, опасность мы предотвратили. Контрнаступление вели на двух уровнях. На глубоком — удалось развить и выявить то, что таилось в движении с самого начала: ненависть к личной свободе. Первым это обнаружил Руссо [11], которому поистине нет цены. Как вы помните, в его совершенной демократии разрешена только государственная религия, сохраняется рабство, а отдельному человеку говорят, что он, в сущности, хочет именно того, чего хотят власти. Исходя из этого, через Гегеля (еще один неоценимый помощник!) мы легко привели их и к нацизму, и к коммунизму. Даже в Англии мы немало сделали. Вчера я слышал, что человек там не может без разрешения срубить свое

собственное дерево своим топором, распилить его своей пилой и построить сарай в своем саду.

Такова глубинная контратака. Однако вам, начинающим, никто не доверит работу на этом уровне. Вас приставят к частным лицам. Против них (или через них) вы будете действовать иначе.

Ключевое слово тут «демократия». Наши филологи хорошо поработали над человеческим языком, и вряд ли нужно предупреждать вас, чтобы вы не давали употреблять это слово в ясном, определенном значении. Они и так не будут. Им в голову не придет, что это — название политической системы, точнее, системы голосования, весьма отдаленно связанное с тем, что вы пытаетесь им всучить. Конечно, нельзя допустить, чтобы они спросили, как Аристотель, что такое «вести себя демократично» — «угождать демократии» или «помогать ей сохраниться»[12]? Если спросят, еще, неровен час, догадаются, что это совсем не одно и то же.

Итак, ключевое слово употребляем как заклинание, не иначе, если хотите — как ярлык. Они его очень любят. Как-никак они мечтают о том, чтобы с каждым обращались одинаково. Надо незаметно сдвинуть рычажок в их сознании — от мечты, от идеала к вере в то, что все на самом деле одинаковы, особенно ваш подопечный. Тогда он освятит любимым словом самое душепагубное (и самое мучительное) из человеческих чувств. Без всякого стыда, весьма довольный собой, он решится у вас на то, что иначе осудил бы. Как вы понимаете, я имею в виду чувство, которое рождает фразу: «А я не хуже тебя!»

Прежде всего уже хорошо, что он поставил во главу угла явную, беспардонную ложь. Дело не только в том, что это неправда, что он не лучше, не добрее, не умнее всех; дело в том, что он и сам в это не верит. Произнося такую фразу, никто не верит ей. Если бы кто верил, он бы так не сказал. Сенбернар не скажет этого болонке, ученый — невежде, красавица — дурнушке. Если выйти за пределы политики, на равенство ссылаются только те, кто чувствуют, что они хуже. Фраза эта именно и означает, что человек мучительно, нестерпимо ощущает свою неполноценность, но ее не признает.

Тем самым он злится. Да, его злит любое превосходство, и он отрицает его, отвергает. Если кто-то просто не такой, как он, ему обидно. Никто не имеет права иначе говорить, одеваться, развлекаться, есть. «Ах ты, как чистенько выговаривает! Ясно, загордился...», «Сосисок он, видите ли, не ест! Какой интеллигентный! Свой парень все бы лопал». Словом, что ж он, мерзавец, не такой, как я? Не-де-мо-кра-тич-но!

Явление это полезно, но ни в коей мере не ново. Люди знали его тысячи лет под именем зависти. Те, кто замечал это в себе, стыдились. Те, кто не замечал, осуждали в других. Нынешняя ситуация хороша тем, что вы можете это освятить — сделать приличным, даже похвальным — при помощи вышеупомянутого заклинания.

Тогда всякий, кто чувствует себя хоть в чем-то ниже других, сможет откровенно и успешно тянуть всех вниз, на свой уровень. Мало того, те, кто стал (или способен стать) похожим на человека, тут же одумаются, испугавшись, что это недемократично. Я знаю из надежных источников, что молодые существа нередко подавляют вкус к классической музыке или хорошей литературе, чтобы он не помешал «быть как люди»; те же, кто хотел бы стать честными или чистыми (а Враг им помог бы), сдерживают себя, чтобы не отличаться от других, не выделяться, не выставляться, не выпендриваться. Неровен час, станешь личностью. Какой ужас!

Прекрасно выразила это одна молодая особа, взывавшая недавно к Врагу: «Помоги мне стать нормальной и современной!» Нашими стараниями это значит: «Помоги мне стать потаскухой, потребительницей и дурой!»

Недурны и отходы производства. Те, кто не желает «быть как все», «... как люди», «стать нормальным», «вписаться» и т. п. (их все меньше), становятся наконец гордецами и безумцами, какими их всегда и считали. Подозрительность часто создает предмет своих подозрений: «Что бы я ни сделала, меня сочтут ведьмой (или «шпионом»). Так и так пропадать, лучше уж я и впрямь...» Получаем мы интеллигенцию очень малочисленную, но чрезвычайно полезную.

Но это — отходы, не более. Главное же в том, что повсеместно и неуклонно растет недоверие, а там и ненависть к какому бы то ни было превосходству. Люди вынести не могут, что кто-то честнее, культурнее, умнее или образованнее их. Приятно смотреть, как демократия (заклинание) выполняет для нас ровно ту же работу, которую выполняли древнейшие диктатуры, и теми же самыми методами. Надеюсь, вы помните, что один греческий диктатор (тогда их называли тиранами) послал гонца к другому за советом — как править людьми? Второй диктатор повел гонца в поле и сбил тростью все колосья, которые были выше прочих. Мораль ясна: не разрешай никому выделяться. Не оставляй в живых того, кто умнее, смелее, лучше, даже красивее остальных. Уравняй всех, пусть будут рабами, нулями, ничтожествами. Тогда приходилось отрубать голову, теперь все идет своим ходом. Колосья пониже сами откусят голову у высоких. Что там, высокие откусят себе голову, только бы не выделяться!

Я уже говорил, что погубить начисто эту мелочь, которую и людьми не назовешь,— дело трудное и кропотливое. Но если не жалеть сил и стараний, результат обеспечен. Казалось бы, великих грешников губить легче. Это не совсем так — они непредсказуемы. Забавляешься ими лет семьдесят, а на семьдесят первый, глядь, Враг и выхватит их из-под носа! Дело в том, что они могут покаяться. Они знают, в чем виноваты. Они готовы отринуть ради Врага все и всяческие условности, как отринули прежде ради нас. Изловить осу труднее, чем застрелить в упор слона, но, если промахнешься, слон причинит больше огорчений.

Сам я, как мы уже говорили, работал главным образом в английском секторе, и до сих пор получаю вести в основном оттуда. Возможно, то, что я скажу, не в такой мере относится к вашим секторам. Тогда, прибыв на место, внесите необходимые поправки. Если все это совсем неприменимо, постарайтесь, чтобы ваша страна максимально уподобилась Англии.

В этом многообещающем краю принцип «Я не хуже тебя» уже проник в систему образования. Насколько — сказать пока не решусь, да это и неважно. Уловив тенденцию, легко предсказать, что выйдет, особенно с нашей помощью. Нынешнее образование стоит на том, что тупиц и лентяев нельзя унижать, другими словами,— нельзя, чтобы они догадались, что хоть в чем-то отличаются от умных и прилежных. Какое бы то ни было отличие надо скрывать. Как? На разных уровнях — по-разному. На выпускных экзаменах в университете вопросы ставят так, чтобы ответил каждый. На вступительных — так, чтобы каждый мог поступить в университет, независимо от того, намерен ли он пользоваться высшим образованием. Школьникам, которым не по уму грамматика или арифметика, позволяют заниматься тем, чем они занимались дома,— скажем, лепить куличики и называть это «моделированием». Главное, никак и ничем не намекнуть, что они отличаются от тех, кто учит уроки. Какой бы чепухой они ни занимались, надо относиться к ней «так же серьезно» (в Англии удалось внедрить этот оборот). Мало того, успевающих учеников скоро будут оставлять на второй год, чтобы не травмировать прочих (Вельзевул немилостивый, что за слово!). В общем, дурак имеет право учиться вместе с ровесниками, а мальчик, способный понять Эсхила или Данте, пусть слушает, как он читает по складам: «Кош-ка си-дит на о-ко-шке».

Короче говоря, когда демократический принцип («Я не хуже...») внедрится как следует, можно рассчитывать на то, что образования вообще не будет. Исчезнут все резоны учиться и страх прослыть неученым. Тех немногих, кто все-таки жаждет знания, поставят на место, чтобы не высовывались. Да и учителям (точнее, нянькам) будет не до них — сколько кретинов надо подбодрить, сколько тупиц утешить! Нам больше не придется пестовать в людях самодовольство и невежество. Сами управятся.

Конечно, выйдет это лишь в том случае, если все школы будут казенными. Но тут беспокоиться не надо, уравниловка свое сделает. Налоги успешно уничтожат тот самый слой, тех людей, которые шли на жертвы, чтобы дать детям образование. Гибель этого слоя тесно связана с вышеупомянутым принципом. В сущности, именно он дал почти всех ученых, философов, богословов, медиков, художников, скульпторов, архитекторов и поэтов. Вот уж поистине целый сноп высоких колосьев! Как заметил один английский политик, «великие люди демократии не нужны».

Незачем спрашивать его, что он имеет в виду: «не нуждается» в них демократия или «не хочет, чтобы они были». Однако нам

с вами следует в этом разобраться — ведь тут снова встает вопрос, заданный Аристотелем.

У нас в аду были бы очень рады, если бы сгинула демократия в узком, политическом смысле слова. Как любая форма правления, она нередко работает на нас — но реже, чем все другие. А вот в нашем, бесовском смысле («как люди...», «не хуже тебя») она прекрасно справится с политической демократией.

Демократия в низшем смысле слова (так называемый «демократический дух») созидает нацию без великих, нацию недоучек, неустойчивых нравственно, так как их еще в детстве распустили, начисто лишенных воли, так как с ними всю жизнь носятся, и чрезвычайно самоуверенных (невежество+лесть). Именно это нам и требуется. Когда такая нация столкнется с другой, где дети в школе трудились, дарование вознаграждалось, невеждам слова не давали, может выйти только одно...

Недавно некая демократия удивилась, что русские обогнали ее в астронавтике. Какой пленительный образчик человеческой слепоты! Если все работает на уравниловку, откуда взяться выдающимся ученым?

Мы должны способствовать тому поведению, тем привычкам, той направленности ума, которые так милы демократии, ибо именно они, если дать им волю, и разрушат демократию. Вы спросите, почему же люди этого не видят? Хорошо, читать Аристотеля — недемократично, но уж Французская революция могла подсказать, что поведение, любезное аристократам, разрушило аристократию. Примените это к своей форме правления — и все.

Однако я не хотел бы кончать на этой ноте. Ни в коем случае нельзя поддаваться заблуждению, которое мы прилежно пестуем в сознании наших жертв,— мысли о том, что судьба наций важнее, чем судьба отдельной души. Нам нужно, чтобы свободных стран становилось все меньше, рабовладельческих — все больше, не потому, что это приятно, а потому, что это вернее губит души. Только отдельный человек может спастись или погибнуть, стать сыном Врагу или пищей нам. Перевороты, войны, голод хороши лишь как средство, цель — злоба. Принцип «я не хуже тебя» прекрасно разрушает свободные сообщества; но хорош он и как цель: такое состояние души заведомо исключает смирение, милость, радость, благодарение и благоговение,— словом, перекрывает едва ли не все дороги к Врагу.

А теперь перейдем к самому приятному. Мне выпала честь предложить от вашего имени тост за Самого Всенижнего и за наше училище. Наполним бокалы. Но что я вижу? Что за дивный запах? Не ошибся ли я? Беру обратно все мои сетования. Несмотря ни на что, в наших погребах есть фарисейское самого высшего сорта. Прекрасно, прекрасно... Нет, просто как в старое, доброе время! Втяните этот запах, господа! Посмотрите вино на свет! Знаете ли вы, как его делают? Чтобы получился такой букет, загоняют в одну бочку фарисеев разного типа — тех, кто особенно ненавидел

друг друга на земле. Одни помешались на правилах, мощах и четках, другие — на унылой суровости и мелких, ритуальных отказах (от карт, от вина, от театра). Зато и те и другие уверены в своей праведности, а разница между их воззрениями и тем, чего хочет Враг, почти бесконечно велика. Живой в их вере была лишь ненависть к другим исповеданиям; брань — их благовествование, клевета — их псалом. Как ненавидели они друг друга там, где светит солнце! Насколько больше ненавидят теперь, когда соединены навеки! Очутившись вместе, они так удивились, так разозлились, нераскаянная злоба так растравила их, что напиток — поистине огненный. Такой, понимаете ли, темный пламень. Худо нам будет, друзья мои, когда исчезнет с земли то, что большинство людей зовет «религией»! Явление это поставляет нам прелюбопытнейшие, превосходнейшие грехи. Изысканный цветок нечестия растет лишь под сенью святости. Нигде не пожинаем мы столько, сколько на ступенях алтаря.

Ваше темнейшество, ваши неподобия и вы, немилостивые господа, выпьем же за наше адоспасаемое училище!»

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Блейк писал о браке Неба и Ада [1]. Я пишу о расторжении этого брака не потому, что считаю себя вправе спорить с гением — я даже не знаю толком, что он имел в виду. Но, так или иначе, люди постоянно тщатся сочетать небо и ад. Они считают, что на самом деле нет неизбежности выбора и, если хватит ума, терпения, а главное — времени, можно как-то совместить и то и это, приладить их друг к другу, развить или переплавить зло в добро, ничего не отбрасывая. Мне кажется, что это тяжкая ошибка. Нельзя взять в путь все, что у тебя есть, иногда приходится даже оставить глаз или руку. Пути нашего мира — не радиусы, по которым, рано или поздно, доберешься до центра. Что ни час, нас поджидает развилка, и приходится делать выбор. Даже на биологическом уровне жизнь подобна дереву, а не реке. Она движется не к единству, а от единства, живые существа тем более разнятся, чем они совершеннее. Созревая, каждое благо все сильнее отличается не только от зла, но и от другого блага.

Я не считаю, что всякий, выбравший неверно, погибнет. Он спасется, но лишь в том случае, если снова выйдет (или будет выведен) на правильный путь. Когда сумма неверна, мы исправим ее, если вернемся вспять, найдем ошибку, подсчитаем снова, и не исправим, если просто будем считать дальше. Зло можно исправить, но нельзя перевести в добро. Время его не врачует. Мы должны сказать «да» или «нет», третьего не дано. Если мы не хотим отвергнуть ад или даже мир сей, нам не увидеть рая. Если мы выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы ада. Там, в раю, мы узнаем, что все при нас, мы ничего не потеряли, даже если отсекли себе руку. В этом смысле те, кто достойно совершил странствие, вправе сказать, что все — благо и что рай всюду. Но пока мы здесь, мы не вправе так говорить. Нас подстерегает страшная ошибка: мы можем решить, что все на свете — благо и всюду — рай. «А как же земля?» — спросите вы. Мне кажется, для тех, кто предпочтет ее небу, она станет частью ада, для тех, кто предпочтет ей небо — частью рая.

Об этой небольшой книжке скажу еще две вещи. Во-первых, я благодарен писателю, имени которого не помню. Рассказ его я читал несколько лет назад в ослепительно пестром американском журнале, посвященном так называемой научной фантастике, и позаимствовал идею сверхтвердого, несокрушимого вещества. Герой посещает не рай, а прошлое и видит там дождевые капли, которые пробили бы его, как пули, и бутерброды, которые не укусишь,— все потому, что прошлое нельзя изменить. Я с неменьшим (надеюсь) правом перенес это в вечность. Если автор того рассказа прочитает эти строки, пусть знает, что я ему благодарен. И второе, прошу читателя помнить, что перед ним — выдумка. Конечно, в ней есть нравственный смысл, во всяком случае я к этому стремился. Но сами события я придумал и ни в коей мере не выдаю их за то, что нас действительно ждет. Меньше всего на свете я пытался удовлетворить любопытство тех, кого интересуют подробности вечной жизни.

* * *

Почему-то я ждал автобуса на длинной уродливой улице. Смеркалось, шел дождь. По таким улицам я бродил часами, и все время начинались сумерки, а дождь не переставал. Время словно остановилось на той минуте, когда свет горит лишь в нескольких витринах, но еще не так темно, чтобы он веселил сердце. Сумерки никак не могли сгуститься во тьму, а я никак не мог добраться до мало-мальски сносных кварталов. Куда бы я ни шел, я видел грязные меблирашки, табачные ларьки, длинные заборы, с которых лохмотьями свисали афиши, и те книжные лавчонки, где продают Аристотеля. Людей я не встречал. В городе как будто не было никого, кроме тех, кто ждал автобуса. Наверно, потому я и встал в очередь.

Мне сразу повезло. Не успел я встать, как маленькая бойкая женщина прямо передо мной раздраженно сказала спутнику:

— Ах, так? А я возьму и не поеду! — и пошла куда-то.

— Не думай,— с достоинством возразил мужчина,— что мне это нужно. Ради тебя стараюсь, чтоб шуму не было. Да разве кому-нибудь до меня есть дело? Куда там...

И он ушел.

«Смотри-ка,— подумал я,— вот и меньше на два человека».

Теперь я стоял за угрюмым коротышкой, который, метнув на меня злобный взгляд, сказал соседу:

— Из-за всего этого хоть не езжай...

— Из-за чего именно? — спросил его высокий краснолицый мужчина.

— Народ черт знает какой,— пояснил коротенький.

Высокий фыркнул и сказал не то ему, не то мне:

— Да плюньте вы! Нашли кого бояться.

Я не реагировал, и он обратился к коротенькому:

— Значит, плохи мы для вас?

И тут же ударил его так сильно, что тот полетел в канаву.

— Ничего, ничего, пускай полежит,— сказал он неизвестно кому,— я человек прямой, не дам себя в обиду.

Коротенький не стремился занять свое место. Он медленно заковылял куда-то, а я не без осторожности встал за высоким. Тут ушли под руку два существа в брюках. Оба визгливо хихикали (я не мог бы сказать, кто из них принадлежит к какому полу) и явно предпочитали друг друга месту в автобусе.

— Ни за что не втиснемся!..— захныкал женский голос человека за четыре до меня.

— Уступлю местечко за пять монет,— сказал кто-то.

Зазвенели деньги. Раздался визг, потом хохот. Женщина кинулась на обманщика, очередь сомкнулась, и место ее исчезло. Когда пришел автобус, народу оставалось совсем немного. Автобус был прекрасен. Он сиял золотом и чистыми, яркими красками. Шофер тоже сиял. Правил он одной рукой, а другой отгонял от лица липкий туман.

Очередь взвыла:

— Ничего устроился!

— Форсу-то, форсу!

— Ух, смазал бы я его!

Шофер, на мой взгляд, не оправдывал таких эмоций, разве что твердо и хорошо вел машину. Люди долго давили друг друга в дверях, хотя там было достаточно места. Я вошел последним. Полавтобуса оказалось пустым, я сел в сторонке, не проходя вперед. Однако тут же ко мне подсел косматый человек, и автобус тронулся.

— Вы, конечно, не возражаете,— сказал косматый.— Я сразу увидел, что вы смотрите на них, как я. Не пойму, чего они едут! Им там не понравится. Сидели бы тут. Вот мы — дело другое.

— А тут им нравится? — спросил я.

— Да как везде,— отвечал он.— Кино есть, ларьки есть, всякие развлечения. Никакой интеллектуальной жизни. Но что им до того? Со мной, конечно, произошла ошибка. Надо бы мне сразу уехать, но я пытался их расшевелить. Нашел кое-кого из старых знакомых, хотел создать кружок... Ничего не вышло. Опустились. Я, правда, и раньше не очень-то верил в Сирила Блеллоу, писал он слабо, но он хоть разбирался в искусстве. А сейчас — одна спесь, одно самомнение. Когда я стал читать ему свои стихи... Постойте, надо бы и вам взглянуть.

Я с ужасом увидел, что он вынимает из кармана очень много исписанных листов, и начал быстро объяснять, что забыл очки, но сам себя перебил.

— Смотрите-ка,— воскликнул я,— мы летим.

Действительно, мы летели. Под нами сквозь мглу и дождь виднелись мокрые крыши, и крышам этим не было конца.

Косматый поэт недолго терзал меня, беседу нашу прервали, но узнал я о нем довольно много. Как выяснилось, ему удивительно

не повезло. Родители не понимали его, ни в одной из пяти школ не разглядели и не оценили его дарований. К довершению бед, он был из тех, кому абсолютно не подходит экзаменационная система. В университете он догадался, что несправедливости эти не случайны, а вызваны нашей экономической системой. Капитализм, оказывается, не только угнетает рабочих, но и портит вкус и притупляет ум. Догадавшись об этом, он стал коммунистом, но тут Россия заключила союз с капиталистическими странами, он снова оказался не у дел и уклонился от призыва. Неприятности, связанные с этим, его вконец озлобили. Он решил ехать в Америку, но Америка вступила в войну. Тогда он понял, что новая поэзия найдет приют лишь в Швеции, но бюрократы и мещане его туда не пустили. Туго было и с деньгами. Отец, человек тупой и отсталый, давал ему гроши. И девушка его обидела. Он думал, она взрослый, современный человек, а она мещанка с моногамным комплексом. Он же, надо сказать, особенно не терпит собственничества. В общем, больше выдержать он не мог. Он бросился под поезд.

Я вздрогнул, но он не заметил этого.

Однако ему и тут не повезло. Его направили в серый город. По ошибке, конечно. «Вот увидите,— сказал он,— обратно поедут все, кроме меня». Он-то останется. Он знает, что там его, конечно, ждет слава. А сейчас, поскольку у меня нет очков, он прочитает мне отрывок, который не понял и не оценил Сирил Блеллоу...

Тут нас и прервали. По всему автобусу негромко кипели склоки, и одна в конце концов перекипела через край. Засверкали ножи, засвистели пули, но никого не ранило. Когда все утихло, я оказался цел и невредим, но почему-то на другом месте. И сосед у меня был другой, неглупый с виду, толстоносый, в котелке. Я выглянул в окно. Мы поднялись так высоко, что внизу все слилось воедино. Я не различал ни рек, ни полей, ни гор, и мне показалось, что под нами, куда ни глянь,— улицы серого города.

— Какой-то город дурацкий,— начал я,— ничего не пойму! На улицах никого нет. А раньше тут было много народу?

— Нет,— отвечал толстоносый.— Дело в том, что у нас здесь все очень склочные. Прибудет кто-нибудь, поселится и сразу поссорится с соседом. За неделю доходит до того, что рядом жить нельзя. Места много — все уже переругались и уехали. Селится он на соседней улице, а если там тоже найдется сосед, передвигается еще дальше. В конце концов он строит себе на отшибе новый дом. Тут это просто: представь себе дом — и готово. Так город и растет.

— А улицы стоят пустые?

— Вот именно. И время тут другое. Эта остановка, где мы ждали, за тысячи километров от того места, куда прибывают с земли. Все, кого вы видите, живут недалеко от остановки, но добираются они до нее много столетий по нашему времени.

— А где же те, кто раньше прибыл? Ведь не они первые?

— Вот именно. Не они. Те еще дальше продвинулись, перемахнули, так сказать. Жуткая даль... Там, где я живу, есть пригорок, а один здешний житель завел телескоп. Мы разглядели огоньки. Дома друг от друга миль за тысячу. То-то и плохо. Я думал, увижу этих, исторических... А никого нет.

— Если бы они вовремя вышли, они бы успели к автобусу?

— Как вам сказать... вообще-то да. Но они не хотят, эти все — Тамерлан [2], Чингисхан [3], Генрих VIII...

— Не хотят?

— Вот именно. Ближе всех Наполеон. У нас двое ходили его смотреть. Они, конечно, давно вышли, до меня, а вернулись при мне. Теперь мы знаем, где его дом. Маленькое такое пятнышко, а кругом пустота, ничего нет.

— Они там были?

— Вот именно. Дом у него большой, длинный, окон много, всюду свет. От меня, конечно, не разглядишь. Так, вроде головки булавочной...

— А его самого они видели?

— Вот именно. Заглянули в окно.

— Что же он делал?

— Ходил взад-вперед. Туда-сюда, туда-сюда, как маятник. Они целый час глядели, а он все ходит и ходит. И приговаривает: «Это Ней виноват... Это Сульт виноват... Жозефина виновата...[4] Россия виновата... Англия...» Маленький, жирненький, усталый какой-то, ходит и ходит.

— Значит, город так и будет расти? — спросил я.

— Вот именно,— отвечал толстоносый,— но можно принять меры.

— Какие же?

— Между нами говоря, этим я сейчас и занимаюсь. Что у нас плохо? Склочность, вы скажете? Нет. Таков человек. Он и на земле таким был. Плохо то, что здесь нет потребностей. Все у нас доступно, правда — не первый сорт, зато делать ничего не надо, только представь себе — и готово. Другими словами, у нас нет экономической базы для совместной жизни. Если бы людям был нужен настоящий магазин, они бы около него и селились. Общество зиждется на нужде. Тут-то я и вмешаюсь. Я еду не ради здоровья. Честно говоря, вряд ли мне там понравится. Но если я привезу к нам вниз *настоящие* вещи, тут же возникнет спрос. Открою дельце, люди ко мне стянутся. Централизация! На них на всех двух улиц хватит. Мне — выгода, им — польза.

— Вы думаете, если им придется жить рядом, они будут меньше ссориться?

— Как вам сказать... Поставим вопрос иначе. Их можно будет утихомирить. Заведем полицию. Вобьем в них порядок (тут он понизил голос). Все лучше... Безопасней...

— А какая опасность? — начал я, но он толкнул меня, и я понял, что надо спросить иначе.

— Простите,— начал я снова,— если им все так доступно, зачем им настоящие вещи?

— Ну как же! Им нужно, чтобы дом защищал от дождя.

— А эти не защищают?

— Конечно нет. Куда им!

— Зачем же их строить?

Он нагнулся ко мне.

— Все ж безопасней как-то...— прошептал он,— вроде бы вернее... Теперь-то ничего, а вот потом... Сами понимаете...

— Что? — спросил я, невольно понижая голос.

Он что-то беззвучно произнес, словно думал, что я умею читать движения губ.

— Говорите громче,— сказал я.

— Скоро стемнеет,— еле внятно пробормотал он.

— Вы хотите сказать,— уточнил я,— что ночь действительно настанет?

Он кивнул.

— А при чем тут дома? — спросил я.

— Ну... Кому тогда приятно оказаться без крова...

— Почему?

Он что-то сказал так быстро и тихо, что я несколько раз попросил его повторить. Наконец он повторил, довольно сердито,— те, кто шепчет, часто сердятся,— и я спросил по забывчивости громко:

— Кто это «они»? Чего вы боитесь? Почему они выйдут, когда стемнеет? Чем защитит воображаемый дом?

— Эт-та что такое? — крикнул высокий пассажир.— Разболтались! Шепчутся, видите ли! Слухи распускают! Эй, Айки, заткнись! Кому говорю!

«Так его!», «Черт те что!», «Управы на них нет!», «И кто их пустил!», «Так его!» — закричали пассажиры.

Толстый, чисто выбритый человек, сидевший перед нами, обернулся ко мне.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я поневоле услышал часть вашего разговора. И где только берутся эти темные предрассудки! Простите? Ну конечно, чистая выдумка! Нет ни малейших оснований полагать, что сумерки сменятся тьмой. В образованных кругах на это смотрят иначе. Странно, что вы не слышали... Теперь мы считаем, что этот слабый, мягкий свет сменится зарей. Понемногу, конечно, постепенно. А что до страсти к «настоящим вещам», о которой говорил наш друг, то это грубый материализм. Что с них взять? Отсталые люди, привязаны к земному... Для нас этот истинно духовный город (да, при всех его недостатках, он духовен) — как бы детская, где творческий человек, освобожденный от уз материи, пробует крылья. Возвышенная мысль!

Пока шли эти разговоры, в автобусе становилось светлее. Грязно-серое пространство за окнами стало жемчужным, потом

бледно-голубым, потом ярко-синим. Нигде не было ни пейзажей, ни солнца, ни звезд, только сияющая бездна. Я опустил стекло, вдохнул благоуханный и прохладный воздух, но тут мой культурный собеседник страшно заорал: «Какого черта!», навалился на меня и резко поднял стекло:

— Вы что?

Я огляделся. Автобус был залит ярким, жестким светом. Увидев лица моих спутников, я содрогнулся. Одни были иссохшие, другие — распухшие, одни — по-идиотски злобные, другие — совершенно пустые, но все какие-то линялые и перекошенные. Казалось, если свет станет ярче, они развалятся на куски. В автобусе было зеркало, и я вдруг увидел свое лицо.

А свет все разгорался.

Над нами снова нависла скала. Она шла отвесно и вверх и вниз, дна пропасти я не различал, поверхность была темной и мшистой. Мы поднимались вверх. Наконец мы увидели вверху ярко-зеленую тонкую черточку, ровную, как струна. Вскоре мы достигли ее и заскользили над поросшей травою равниной, по которой текла большая река. Мы явно спускались — верхушки высоких деревьев были все ближе. Вдруг автобус встал. Мы подпрыгнули на сиденьях. Спутники мои ринулись гурьбой к выходу, толкаясь и бранясь на все лады. Я остался один и услышал, как за закрытой дверью в ясной тишине поет жаворонок.

Вышел и я. Было светло и прохладно, как летним утром, минуты за две до восхода солнца, но само пространство показалось мне иным, незнакомым, каким-то особенно большим, словно и небо здесь дальше, и поляна просторней, чем на маленьком шарике Земли. Я как бы вышел наружу, и даже Солнечная система была теперь домашней, почти игрушечной. Мне стало свободно и страшновато, и от обоих этих чувств я не отделался до конца описываемых здесь событий. Описать эти чувства я не могу и вряд ли добьюсь того, что вы, читая мой отчет, будете о них помнить. У меня просто руки опускаются — как же передать, как выразить то, что я видел и слышал.

Сперва я, разумеется, взглянул на своих спутников, еще стоявших у автобуса, хотя кое-кто и сделал два-три неуверенных шага. Взглянул и обомлел. Теперь, на свету, они казались прозрачными — совсем прозрачными, когда стояли между мной и светом, и мутноватыми, когда стояли в тени. Говоря строго, они были призраками. Их можно было и не видеть, как грязь на оконном стекле. Трава под их ногами не сминалась, даже капли росы не осыпались на землю.

Потом я увидел все иначе. То ли в уме, то ли в глазах моих что-то сдвинулось, и люди стали обычными, а трава и деревья очень плотными и весомыми, так что по сравнению с ними люди казались прозрачными. Догадка мелькнула в моем мозгу, я наклонился и попробовал сорвать ромашку. Стебель рваться не стал. Он даже

не откручивался, вообще не двигался, хотя я ободрал об него руки и весь вспотел. Ромашка была твердой не как дерево и не как железо, а как алмаз. Рядом с ней лежал маленький листок. Я попытался его поднять, сердце чуть не разорвалось, но немножко я этот листок приподнял. Однако тут же и выронил — он был тяжелее мешка с углем. Я стоял, тяжело дышал и глядел на ромашку, как вдруг заметил, что вижу траву сквозь свои ступни. Значит, и я — призрак. Мне стало до тошноты страшно. «Вот это да! — подумал я.— Попался...»

— Не хочу, не хочу! — закричал кто-то.— Нервы не выдержат!

Мимо меня к автобусу пронесся призрак женского пола. Больше я его не видел.

Прочие топтались на месте.

— Эй, как вас! — сказал шоферу высокий.— Когда обратно поедем?

— Можете и совсем не ехать,— отвечал шофер.— Сколько хотите, столько здесь и будете.

— Просто смешно,— прошептал кто-то мне на ухо. Ко мне подошел боком один из самых тихих и приличных призраков.— Путаница какая-то. Зачем этому сброду здесь торчать? Нет, вы посмотрите на них. Их ничто не радует. Им дома лучше. Они даже не знают, что делать.

— Я и сам не знаю,— сказал я,— а вы?

— Я? Меня сейчас встретят. Меня ждут. Мне-то беспокоиться не о чем. Но не так-то уж приятно, когда *они* тут кишат. Да я затем и ехал, чтобы от них избавиться!

Он отошел от меня. Я осмотрелся. Никто не кишел, наоборот, было на удивление пусто, так пусто, что я едва различил кучку призраков, за которой мирно сияла зеленая равнина. Правда, где-то вдали виднелись не то облака, не то высокие горы. Порой мне удавалось разглядеть какие-то леса, глубокие долины и даже города на высоких склонах, порой все это исчезало. Горы были невообразимо высоки, я не мог охватить их взглядом. За ними брезжил свет, на земле лежали длинные тени, но солнце не появлялось.

Время шло, и я, наконец, увидел, что к нам идут люди. Они так сверкали, что я различил их издалека и сперва не понял, люди ли это. Они приближались, земля дрожала под их тяжелыми шагами. Ступали они по мокрой траве, она сминалась, роса осыпалась на землю, и снизу поднимался запах свежести. Одни были одеты, другие обнажены, но обнаженные были нарядны, а одежды не скрывали прекрасных очертаний тела. Меня поразило, что ни про кого нельзя сказать, сколько ему лет. У нас на Земле мы видим иногда мудрость на лице младенца или веселую простоту старика. Здесь каждый был и стар и молод. Люди приближались, и я ощущал смутную тревогу. Два призрака заорали и кинулись к автобусу, остальные сгрудились поплотнее.

Сверкающие люди подошли совсем близко, и я понял, что каждый идет к кому-то из нас. «Сейчас навидаемся трогательных

ецен,— подумал я.— Может, неделикатно на них смотреть?» И я отошел, словно хотел исследовать местность. Справа росли большие красивые кедры. Я направился к ним. Идти было трудно. Твердая трава с непривычки резала ноги, и я ступал, как русалочка у Андерсена. Пролетела птица, я ей позавидовал. Она была здешняя, настоящая, как трава. Под ее весом согнулся бы стебель и роса посыпалась бы на землю.

За мной пошел высокий человек, вернее, высокий призрак, а за ним — один из сияющих людей или сияющих духов.

— Ты что, не узнал меня? — крикнул он Призраку, и я поневоле обернулся. Сияющий Дух был одет, а лицо у него светилось такой радостью, что я чуть не заплясал на месте.

— Черт меня дери!— сказал Призрак.— Увидишь — не поверишь. Нет, Лем, это уж черт знает что. А как же Джек? Ты вот расплылся до ушей, а Джек, Джек-то как?

— Он здесь,— отвечал Дух.— Ты его скоро увидишь, если останешься.

— Да ты же его убил!

— Верно, убил. А теперь все в порядке.

— В порядке, значит? Это для тебя, что ли? А он, бедняга, мертвый лежит...

— Не лежит он! Говорю тебе, ты его увидишь. Он тебе кланялся.

— Интересно узнать,— не унимался Призрак,— почему это всякие убийцы тут прохлаждаются, а я столько лет живи в каком-то хлеву?..

— Этого сразу не понять. Ничего, теперь все кончилось. Все хорошо. Ты больше не беспокойся.

— Не беспокойся, значит? А тебе не стыдно на себя глядеть?

— Нет. То есть не в том смысле. Я на себя не гляжу. Я перестал с собой носиться. Понимаешь, не до того мне было после убийства. Так все и началось.

— Я лично,— сказал Призрак с неуместной значительностью,— я лично считаю, что мне место здесь, а тебе — там. Такое мое мнение.

— Ты, наверное, тут и будешь,— отвечал Дух,— ты только не думай, где кому место.

— Погляди на меня!— Призрак ударил себя в грудь (звука не было).— Погляди на меня. Я человек порядочный. Конечно, недостатки у меня были, у кого их нет, но я жил честно. Такой уж я человек. Чужого не просил. Хотел выпить — платил деньги, хотел заработать — вкалывал. Да. Я человек такой.

— Сейчас бы лучше на этом не настаивать.

— Это кто настаивает? Я что, спорю? Я тебе просто и ясно говорю, какой я человек. Мне чужого не нужно, я *своего* требую. Думаешь, ты лучше меня, если разрядился, как на ярмарку (да, у меня вы так не ходили), а я человек бедный? Ничего! У меня такие же права, как и у тебя.

— Ну что ты! У меня нет никаких прав. Если бы мне дали то, что мне по праву следует, я бы здесь не был. И тебе не дадут. Будет гораздо лучше. Ты не бойся.

— Я и говорю. Мне не дали того, что мне по праву следует. А я человек порядочный, делал что мог, зла не творил. Нет, вы мне скажите, почему мной распоряжается какой-то убийца?

— Я не распоряжаюсь. Ты только пойди со мной, и все будет хорошо.

— Чего ты пристал? Я милостыни не прошу.

— А ты попроси. Попроси милости. Тут можно только просить, купить ничего нельзя.

— А тебе того и надо! Ясное дело. Тут у вас принимают всяких убийц, если они расхныкаются. Что ж, вам виднее. А мне это не годится, понятно? Мне милостыня не нужна. Я жил как надо.

Дух покачал головой.

— У тебя ничего не выйдет,— сказал он,— ты не сможешь ступать по траве, ноги не окрепнут. Мы и до гор не дойдем. Да ты и вообще не прав.

— Это в чем же? — мрачно спросил Призрак.

— Ты не жил как надо, и не делал все, что мог. Никто из нас этого не делал.

— Вот это да! — возмутился Призрак.— Ты мне объясняешь, как надо жить!

— Конечно. Стоит ли разбирать? Лучше я тебе вот что скажу: когда я убил бедного Джека, это было не самое худшее. Я себя не помнил, и все кончилось в одну минуту. А тебя я убивал годами. Я лежал по ночам и думал, что бы я с тобой сделал, если бы мог. Потому меня к тебе и послали. Чтобы я просил у тебя прощения и служил тебе, пока нужно. Из всех, кто у тебя работал, я самый худший. Но все мы так чувствовали. Понимаешь, нам нелегко приходилось. И жене твоей, и детям...

— Тебе-то что? — прервал его Призрак.— Это дела частные, понятно?

— Частных дел нет,— сказал Дух.

— И вот еще что,— продолжал Призрак,— иди-ка отсюда, не лезь ко мне, понятно? Я, конечно, человек маленький, но убийца мне не компания. Нелегко вам было, да? Вернулся бы ты ко мне, я бы тебе показал, как работают!

— Покажи сейчас,— сказал Дух.— Идти к горам весело, но это и труд немалый.

— Ты думаешь, я с тобой пойду?

— Не отказывайся. Одному тебе не дойти, а меня к тебе послали.

— Ясно...— горько проговорил Призрак, но в голосе его звучало торжество.— Чего от вас и ждать? Вы все тут в сговоре. Не пойду. Так и передай. Если я им без тебя плох, и не надо. Я *своего* требую, понятно? Нечего мне няньку подсовывать.— Он просто

радовался, что может угрожать.— Вернусь домой. Я вам не собака. Домой пойду, понятно? А ну вас всех...

И он направился к автобусу, что-то ворча и пошатываясь от боли. Ноги его не привыкли к алмазной траве.

Минуту-другую под кедрами стояла тишина, потом послышались какие-то глухие звуки. Два льва, мягко ступая, вышли на поляну, взглянули друг на друга, встали на задние лапы, словно геральдические львы, и стали играть. Гривы у них были мокрые — наверное, они выкупались в реке, шумевшей неподалеку. Я испугался и пошел посмотреть, где же она. Река оказалась за стеною цветущих кустов, стоявших у самой воды. Текла она тише Темзы, но быстро, как горный поток. Там, где отражались деревья, вода была бледно-зеленая, и сквозь нее виднелись все камешки на дне. Еще один Дух беседовал с еще одним Призраком, тем, кто так культурно выговаривал слова и носил гетры.

— Дорогой мой! — восклицал Призрак.— Как я тебе рад!

Дух, стоявший перед ним, сверкал нестерпимой белизной.

— Вчера я виделся с твоим несчастным отцом,— продолжал Призрак.— Мы все гадали, где же ты.

— Ты его не привез? — спросил Дух.

— Н-нет. Он живет далеко от остановки... И, честно говоря, он стал немного странным. Трудным, я бы сказал. Не тот, не тот. Сам знаешь, силой он не отличался. Помнишь, когда мы с тобой начинали беседу, он уходил спать. Ах, Дик, никогда не забуду наших бесед! Правда, к концу жизни ты стал... как бы это выразиться... узким. Надеюсь, твои взгляды с тех пор изменились.

— В каком смысле?

— Ну, сам видишь, ты был не прав. Ты верил в настоящие, буквальные, так сказать, небо и ад.

— Чем же я не прав?

— Я понимаю, в духовном плане все так. Я и сейчас в них верю. И сейчас, так сказать, взыскую Царствия. Но все эти суеверия, мифы...

— Прости, а где же ты был, по-твоему?

— А, вон оно что! Ты хочешь сказать, что серый город, где с минуты на минуту рассветет,— это, в сущности, небо. Прекрасная мысль!

— Ничего я не хочу сказать. Неужели ты не знаешь, где ты был?

— Сейчас, когда мы об этом заговорили, я припоминаю, что мы никак не называли тот город. А вы его как зовете?

— Адом.

— Ну, зачем же так грубо!.. Быть может, в твоем смысле слова я не очень правоверен. Но о некоторых вещах я привык говорить почтительно.

— Это об аде почтительно говорить? Я не шучу. Ты был в преисподней. Но если ты останешься здесь, можешь называть ее чистилищем.

— Прекрасно, дорогой, прекрасно! Ты все тот же. А не скажешь ли ты мне, за что я попал в ад? Не бойся, я не обижусь.

— Как за что? За то, что ты отступник.

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно.

— Признаюсь, не ожидал! Неужели ты и впрямь считаешь, что людей карают за их взгляды, даже если мы допустим, для пользы рассуждения, что взгляды эти ошибочны?

— Неужели ты и впрямь считаешь, что нет грехов разума?

— Есть, как не быть. Суеверие, отсталость, умственный застой... Но честно исповедовать свои взгляды — не грех.

— Да, я помню, так мы говорили. Я сам так говорил, пока не стал узким. Тут все дело в том, честно ли ты исповедовал эти взгляды.

— Я? Не то что честно — смело! Я не боялся ничего. Когда разум, данный мне Богом, не мог больше соглашаться с доктриной Воскресения, я открыто от нее отрекся. Я сказал мою прославленную проповедь. Я рисковал всем.

— Чем ты рисковал? Что из этого могло выйти, кроме того, что вышло? Ты прославился, книги твои раскупили, тебя приглашали повсюду, ты стал епископом...

— Дик, ты ли это? На что ты намекаешь?

— Я не намекаю. Понимаешь, я знаю. Давай говорить прямо. Мы не дошли честно до наших взглядов. Мы просто унюхали определенный тип идей и схватились за него, потому что он был в моде. Помнишь, еще в колледже мы писали сочинения на верную пятерку? Так и потом. Мы не хотели встать лицом к лицу с единственно важным вопросом: а может, чудеса все-таки есть? Мы не хотели рисковать, боялись недолгой борьбы и теряли веру.

— Если ты имеешь в виду свободные богословские взгляды, я решительно протестую! Неужели ты хочешь сказать, что такие люди, как...

— Я ничего ни о ком не хочу сказать. Я говорю о нас, обо мне и о тебе. Ради Бога, вспомни все, как было! Ты ведь знаешь, что мы жульничали. Мы просто боялись, как бы другое учение не оказалось правдой. Мы боялись простой веры в спасение, боялись предать дух века, боялись насмешек, а больше всего мы боялись настоящих страхов и надежд.

— Конечно, люди молодые часто ошибаются, попадают под дурные влияния, подчиняются моде. Но при чем тут я? Я честно верил в то, что говорил, и честно говорил то, во что верил.

— Да, конечно. Мы разрешили себе плыть по течению, охотно принимали всякую полуосознанную подсказку наших желаний и в конце концов поверили, что не верим. Так завистник верит лю-

бой лжи о своем лучшем друге, пьяница верит, что еще одна рюмка ему не повредит. Они честно верят в том смысле, что именно это подсказывает им душа. Если ты имеешь в виду такую честность, и они честны, и мы. Но ошибки их не становятся от этого невинными.

— Ты сейчас оправдаешь инквизицию!

— Почему? Из того, что в средние века люди ошибались на один лад, не следует, что мы должны ошибаться на другой.

— Очень интересная точка зрения,— проговорил Призрачный епископ.— Я бы сказал, оригинальная. Однако...

— Спорить некогда,— перебил его Дух.— Все это позади. Мы больше не играем. Я говорил о нашем прошлом только для того, чтобы ты от него отказался. Начни с самого начала. Ты знаешь, это ведь правда — «паче снега убелюся» [5]. Бог дал мне власть очистить тебя. Я долго шел, чтобы тебя увидеть. Ты был в аду; ты в преддверии рая. Неужели ты и теперь не покаешься?

— Я не уверен, что улавливаю твою мысль,— сказал Призрак.

— Какая тут мысль!— воскликнул Дух.— Я прошу тебя, покайся. Поверь в Бога.

— Дорогой мой, я и так верю. Мы не во всем согласны, но ты ничего во мне не понял, если тебе кажется, что я не дорожу моей верой.

— Ладно,— сказал Дух.— Поверь в *меня*.

— В каком смысле?

— Пойди со мной. Поначалу будет больно. Истина причиняет боль всему, что призрачно. Но потом у тебя окрепнут ноги. Идем?

— Занятное предложение... Обдумаю, обдумаю... Конечно, без гарантий рискованно... Я бы хотел удостовериться, что там, у вас, я могу быть полезен... могу развернуть данные мне Богом дары... что там возможно свободное исследование, царит, я бы сказал, духовная жизнь...

— Нет,— сказал Дух,— ничего этого я тебе не обещаю. Ты не принесешь пользы, не развернешь дарований — ты получишь прощение. И свободное исследование там не нужно — я веду не в страну вопросов, а в страну ответов, и ты увидишь Бога.

— Прекрасно, прекрасно, но ведь это метафоры! Для меня окончательных ответов нет. Ум обязан свободно исследовать, как же иначе? Движение — все, конечная цель [6]...

— Если бы это было правдой, никто и не стремился бы к цели.

— Нет, согласись, в самой идее законченности есть что-то ужасное. Умственный застой губит душу.

— Тебе так кажется, потому что до сих пор ты касался истины только разумом. Я поведу тебя туда, где ты усладишься ею, как медом, познаешь ее, как невесту, утолишь жажду.

— Я не уверен, что жажду новых истин. А как же свободная игра ума? Без нее, знаешь ли, я не могу.

— Ты и будешь свободен как человек, который выпьет воды по собственной воле. Ты лишишься одной свободы — бежать от воды.

Призрак подумал.

— Не понимаю,— сказал он.

— Послушай,— сказал Дух.— Когда-то ты был ребенком. Когда-то ты знал, для чего существуют вопросы. Вернись в детство, это и сейчас возможно.

— Когда я стал взрослым, я оставил детские глупости.

— И ошибся. Жажда — для воды, вопрос — для ответа. То, для чего создан разум, так же похоже на твою игру ума, как таинство брака на онанизм.

— Ты потерял всякое благоговение, но от непристойностей меня избавь! Что же до сути дела, твоя гипотеза подходит лишь к фактам. Философские и религиозные проблемы — на другом уровне.

— Здесь нет религии. Здесь — Христос. Здесь нет философии. Иди, смотри и увидишь Того, Кто реальней всех фактов.

— Я решительно возражаю. Мы не имеем оснований относить Бога к области фактов. Высшее Благо — это еще корректное обозначение, но «факт»...

— Ты что, даже не веришь, что Он есть?

— Есть? Что значит «быть»? К этим великим тайнам нельзя подходить так грубо. Если бы что-нибудь такое «было» (дорогой мой, зачем же перебивать!), я бы, честно говоря, не заинтересовался. В этом не было бы религиозной значимости. Для меня Бог — чисто духовен. Так сказать, дух сладости, света, терпимости и служения, Дик, служения. Мы не должны забывать об этом.

— Значит, разум твой уже не жаждет...— проговорил Дух.— Вот что, радости ты хочешь?

— Радость, мой дорогой,— кротко пояснил Призрак,— неразрывно связана с долгом. Когда ты станешь старше, ты это поймешь. Да, кстати, чуть не забыл! Не могу я с тобой идти, у меня в пятницу доклад. У нас ведь есть богословский кружок. Как же, как же... интеллектуальная жизнь, я бы сказал, бьет ключом. Быть может, не самого высокого уровня... Изменились все, плохо соображают. И склоки у них вечно... Не знаю уж, почему... Не владеют, что ли, собой. Что поделаешь, слаб человек! Но пользы я могу принести много. Хоть бы спросил, о чем у меня доклад! Как раз в твоем вкусе. Я хочу осветить одну неточность. Люди забывают, что Христос (тут Призрак слегка поклонился) умер довольно молодым. Живи он подольше, он бы перерос многое из того, что сказал. А он бы жил, будь у него побольше такта и терпимости. Я предложу слушателям прикинуть, какими были бы его зрелые взгляды. Поразительно интересная проблема! Если бы он развился во всю силу, у нас было бы совершенно другое христианство. В завершение я подчеркну, что в этом свете Крест обретает несколько иной смысл. Только тут начинаешь понимать, какая это потеря...

Такие обещания — и не сбылись! Куда же ты? Ну что ж, пойду и я. Очень был рад тебя встретить. Интересно поговорили... Будит мысль... Всего хорошего, дорогой, всего хорошего, всего хорошего!

Призрак кивнул, улыбнулся Духу сладкой клерикальной улыбкой — насколько мог улыбаться призрачными губами — и ушел, что-то бормоча. Я недолго следил за ним взглядом. Если трава тверда, как камень, подумал я, нельзя ли тут ходить по воде? Я тронул воду ногой, вода была твердой, и я пошел по ней. Сперва я несколько раз упал — я забыл, что она движется. Когда я как следует приспособился, меня уже несло вниз по течению. И все же я продвигался вверх, только очень медленно.

Ногам моим стало легче от нежного и прохладного прикосновения сверкающей воды. Я шел по ней меньше часу и продвинулся метров на двести. Потом идти стало труднее, течение ускорилось. Большие, как островки, хлопья пены неслись мне навстречу, и я поминутно уворачивался, чтобы они, точно камни, не сломали мне ногу. Да и сама поверхность воды стала неустойчивой, пошла какими-то ямками и завихрениями, камушки на дне уже не были видны, а меня так швыряло, что пришлось выползти на берег. Там были большие гладкие камни, особой боли не причинявшие. Где-то за лесом раздавался громкий и радостный грохот. Что это такое, я узнал позже, когда обогнул излучину реки.

Я увидел зеленые склоны, спускавшиеся амфитеатром к озеру, в которое с многоцветной скалы падал пенистый водопад. Мне снова показалось, что чувства мои воспринимают то, чего раньше не воспринимали. На земле я не охватил бы взором такого водопада, а грохот его оглушил бы все и вся на двадцать миль вокруг. Здесь я удивился, вздрогнул — но принял и грохот, и самый вид, как принимает корабль большую волну. Грохот походил на хохот великана, вернее, ощущение было такое, словно целый класс великанов-мальчишек хохотал, плясал, пел и ревел, радостно трудясь над чем-то.

Недалеко от того места, где водопад срывался в озеро, росло большое дерево. Брызги воды и пены переливались на нем, сотни птиц мелькали среди листвы, а листья были огромны, как вечернее облако. Откуда ни взгляни, сквозь зелень просвечивали золотые плоды.

Вдруг я заметил, что внизу что-то шевелится. Поначалу мне показалось, что ожил куст боярышника, потом я увидел, что у куста кто-то есть, наконец я разглядел, что это — один из призраков. Он пригибался, словно прятался от кого-то, и делал мне знаки, кажется, хотел, чтобы я пригнулся. Но я не понимал, в чем опасность, и стоял прямо.

Призрак огляделся как следует и, убедившись, что никого нет, кинулся к другому дереву. Бежать он не мог, трава мешала, но торопился изо всех сил. У дерева он встал, прижавшись к стволу, будто ища защиты. Теперь я разглядел его лучше и понял, что он — тот пассажир в котелке, которого высокий Призрак звал

Айки. Он постоял, отдышался, перебежал к третьему дереву. Не прошло и часу, как он достиг яблони. Точнее, он застрял метрах в десяти от нее.

Тут он остановился прочно — он не мог одолеть окружавших дерево лилий. Ступать по ним ему было не легче, чем по противотанковым заграждениям. Тогда он лег и попытался проползти между ними, но они росли плотно и не раздвигались ни за что. Призрак очень боялся, как бы его не увидели. При каждом шорохе, при каждом дуновении ветерка он замирал и пригибался, а когда закричала птица, он пополз было назад, но одумался и снова стал продвигаться к большому дереву. Он просто корчился оттого, что это у него не получалось.

Ветер стал сильнее. Призрак отдернул руку и сунул в рот палец — должно быть, лилия ударила его. Потом сильный порыв ветра налетел на дерево, ветви заметались, яблоки посыпались на траву и на несчастного Призрака. Он закричал. Я думал, что его совсем пришибло; действительно, он лежал минуты две и тихо стонал. Однако потом он снова взялся за дело — он пытался засунуть яблоки в карман. Конечно, это ему не удавалось, и он постепенно снижал свои требования. Сперва он решил ограничиться двумя яблоками, потом одним, самым большим, потом стал искать такое, которое влезло бы в карман.

Как ни странно, ему это удалось. Я вспомнил, сколько весит листок, и восхитился его упорством. Несчастный Призрак поднялся, держа свое яблоко. Он припадал на одну ногу и сутулился — яблоко пригибало его к земле. Однако он упорно, дюйм за дюймом, продвигался к автобусу по своему крестному пути.

— Глупец! Положи его,— сказал кто-то. Такого голоса я не слышал никогда. Он был оглушительно громким и в то же время журчащим. Я понял, что говорит водопад, и увидел, что это — и водопад, и светоносный ангел, как бы распятый на скале.

— Глупец! — повторил он.— Положи. Ты его не донесешь. Да оно и не вместится в ад. Останься тут, научись есть такие яблоки. Листья и трава — и те будут рады тебя научить.

Не знаю, слышал ли это Призрак. Он приостановился и снова двинулся в путь с превеликим трудом и превеликой опаской. Больше я его не видел.

На муки Призрака я глядел довольно благодушно, когда же он исчез, я понял, что мне не вынести водопадного ангела. Он, по всей видимости, меня не замечал, но сам я сильно смутился и постарался как можно небрежней двинуться дальше по течению вниз. Глядя на серебряных рыбок, шнырявших на дне, я жалел, что для меня вода непроницаема. Мне бы не мешало выкупаться.

— Назад не собираетесь? — услышал я, обернулся и увидел высокого Призрака. Он стоял под деревом и сосал призрачную

сигару. Волосы у него были седые, голос — хриплый, но культурный. Таким людям я всегда доверял.

— Не знаю,— отвечал я.— А вы?

— Собираюсь,— сказал он.— Больше тут видеть нечего.

— Значит, остаться не хотите?

— Ах, все это пропаганда! — сказал он.— Никто и не думал, что мы останемся. Яблоки эти не укусишь, воды не выпьешь, по траве не пройдешь. Человек тут жить не может. Все одна реклама.

— Зачем же вы ехали?

— Сам не знаю. Так, поглядеть. Люблю, знаете ли, сам все увидеть. Когда путешествовал по Востоку, специально заехал в Пекин...

— Какой же он?

— Ах, ерунда! Ловушка для туристов. Где я только не побывал! Ниагару видел, пирамиды, Солт-Лейк-Сити [7], Тадж-Махал [8]...

— Какие они?

— Чепуха на постном масле. Реклама... И, заметьте, все одна шайка! Концерн у них такой. Возьмут атлас и ткнут пальцем: тут будет достопримечательность. Что ни выберут, все сойдет. Реклама!

— А там... э-э... в городе... вы жили?

— В так называемом аду? Жил. То же самое, голову морочат. Расписали: огонь, черти, знаменитые люди жарятся, какой-нибудь Генрих VIII... А прибудешь туда — город как город...

— Мне здесь больше нравится,— вставил я.

— Не понимаю, что тут особенного,— не сдался Призрак.— Обыкновенный парк, только неудобный.

— Говорят, если останешься, привыкнешь... Уплотнишься, что ли...

— Знаем, знаем,— сказал Призрак.— Не верьте. Мне всю жизнь это твердили. Когда я был маленьким, они обещали — будешь хорошим, будешь счастлив. Когда пошел в школу, они обещали — зубри латынь, потом легче будет. Когда я женился, какой-то кретин пообещал мне, что это поначалу, а терпение и труд все перетрут. Вот и здесь то же самое, только я им не дурак!..

— Кому это «им»? Тут вроде бы не то, что там, при жизни.

— И чему вы только верите! Нового начальства не бывает. Все одна банда. Я-то помню, как ангел-мамочка придет и все из тебя вытянет, а потом как-то узнает злодей-отец. Вы что, не понимаете? Они все в сговоре — и евреи, и Ватикан, и диктаторы, и демократы. Что тут, что в городе, все равно начальство одно. Сидят себе, над нами смеются.

— Я думал, они враждуют...

— Да что ж вам еще и думать? Официальная версия. Знаю, знаю, так они сами говорят. Но вы мне скажите, почему они ничего не делают? Почему эти, здешние, не нападут на город? Они сильнее.

Если бы они хотели, они бы в два счета освободили нас. Сами видите — им выгодно, чтобы все шло, как идет.

Возразить мне было нечего, хотя такая версия не порадовала меня.

— Да и вообще,— продолжал Призрак,— что нам тут делать?

— А что делать там? — спросил я.

— Вот именно,— сказал Призрак,— что так, что этак.

— Ну а сами вы что бы сделали на их месте? — поинтересовался я.

Призрак обрадовался.

— Хитрый какой! — воскликнул он.— Значит, на меня все свалил. Нет, они — начальство, они пускай и думают. С какой это стати я буду за них работать? На этом нас и ловят всякие святоши. Твердят, чтобы мы менялись. А вы мне скажите: если они такие умные, такие важные, почему же они нам не предложат чего-нибудь получше? Видите ли, ноги у нас окрепнут на ихней траве! Как бы не так! Вот, я вам пример приведу: приезжаете вы в гостиницу, и вам подают тухлые яйца. Вы идете к начальству, а они, чем выгнать повара, говорят: «Ничего, привыкнете!» Что вы запоете?

Призрак помолчал немного.

— Ну, я пошел,— сказал он наконец.— А вы как?

— Зачем мне идти, если всюду одно? — печально спросил я. Мне стало очень тоскливо.— Здесь хоть дождя нет.

— Сейчас нет,— отвечал упорный Призрак.— Но я еще не видел, чтобы в такое вот утро не полил дождь. Да, это уж будут капельки! Продырявят, как пули!.. Такая шуточка, видите ли. Сперва измочалят этими травами и речками, а потом изрешетят. Ну, со мной это не пройдет.

И он удалился.

Я сидел на камне у реки и грустил как никогда в жизни. До сих пор я не сомневался, что здесь хотят призракам добра. Я не думал, что здешние обитатели могли бы помочь обитателям серого города и отправиться туда, а не просто выходить им навстречу. Теперь я все понял. Никакого добра они не хотят. Всю эту экскурсию они подстроили, чтобы посмеяться над бедными призраками. Страшные мифы и доктрины припомнились мне. Я вспомнил, как издевались боги над несчастным Танталом [9]. Я вспомнил строки Откровения о тех, кто будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами [10]. Что же до слов о дожде, тут возразить было нечего. Даже если с веток посыплется роса, мне придется плохо. Раньше я об этом не подумал. В меня чудом не попали брызги воды!

С той минуты, как я вышел из автобуса, мне было страшновато, теперь же мне стало страшно. Я поглядел на деревья, цветы, говорящий водопад, и они показались мне на редкость мрачными. Повсюду летали пестрые бабочки, и я понял, что каждая из них способна пробить меня насквозь, а если сядет мне на голову,

раздавит меня в лепешку. Страх шептал мне: «Тебе тут не место». Вспомнил я и о львах.

Не зная толком, что делать, я пошел от реки туда, где гуще росли деревья. Я не решил, вернуться ли мне в автобус, но хотел, от греха подальше, уйти с открытых мест. Если бы я убедился, что призрак может остаться и все это — не жестокий розыгрыш, я бы никуда не шел. Осторожно оглядываясь, я за полчаса добрался до поляны, на которой росли цветущие кусты. Я остановился, не решаясь ее пересечь, и обнаружил, что я не один.

По траве с превеликим трудом ковылял еще один призрак. Он поминутно оглядывался, словно боялся погони. Наконец я разглядел, что это женщина, и весьма элегантная, хотя на просвет одежда ее выглядела как-то гнусно. Она жалась к кустам. Спрятаться в куст она не могла, ветки и листья не пустили бы ее, но она явно хотела этого. Она от кого-то пряталась.

Раздались шаги, и я увидел одного из светлых духов. Собственно, только их шаги и можно было услышать, призраки ступали бесшумно.

— Уходите! — вскричала Призрачная дама.— Уходите! Вы что, слепой?

— Вам трудно,— сказал Дух.— Я хотел вам помочь.

— Если у вас еще осталась хоть капля порядочности,— причитала Дама,— уходите! Не нужна мне ваша помощь. Как вам не стыдно! Оставьте меня одну! Вы же знаете, я не могу убежать, от вас по этим шипам!

— А, вон что!— откликнулся Дух.— Ничего, скоро вы привыкнете. Только вы идете не туда. Вам надо вот сюда, к горам. Обопритесь на мою руку. Нести я вас не смогу, но вы повисните на мне как следует, и вам станет легче. Не так больно.

— Я боли не боюсь, сами знаете!

— Тогда в чем же дело?

— Вы что, полный идиот? Как же я покажусь в таком виде?

— А что?

— Я бы вообще не поехала, если бы знала, что вы все так одеты.

— Друг мой, я совсем не одет.

— Я не о том. Ах, уйдите вы!

— Почему вы не хотите мне объяснить?

— Что вам объяснять, если вы сами не поняли? Вы тут... ну... непрозрачные... А сквозь меня все видно.

— Да мы тоже были вроде вас. Это пройдет.

— Они меня *увидят!*

— Ну и что?

— Я лучше умру!

— Вы и так умерли, куда ж еще?

Дама не то фыркнула, не то всхлипнула.

— Лучше бы мне не родиться...— снова запричитала она.— Ох, зачем мы приходим на свет?

— Чтобы обрести радость,— ответил Дух.— Попытайтесь. Начните.

— Да сказано вам, они меня увидят!

— Через час вам будет все равно. Через десять часов вы над этим посмеетесь. Помните, на Земле бывало — чай горячий, просто палец обваришь, а пить его можно. Так и стыд. Примите его, выпейте чашу, и вам станет легче. Если же не примете, боль не пройдет.

— Нет, правда?..— начала Дама и замолчала. Я чувствовал, что вся моя судьба зависит от ее слов. Мне хотелось упасть перед ней и молить, чтобы она согласилась.

— Да,— сказал Дух.— Проверьте сами.

Она шагнула раза два, но вдруг завизжала: «Не могу! Надо предупреждать! Ах, уходите же, уходите!»

— Друг мой,— сказал терпеливый Дух,— не могли бы вы подумать о чем-нибудь, кроме себя?

— Я все сказала,— холодно, хотя и слезливо промолвила Дама.

— Что ж, остается одно,— сказал Дух и, к большому моему удивлению, затрубил в трубу. Я зажал уши. Земля затряслась, лес зашумел и закачался. Почти сразу — а может, и сразу — я услышал цокот копыт. Я кинулся в сторону, но спрятаться не успел. Стадо единорогов ворвалось на поляну. Меньший из них был больше слона, глаза их и ноздри пламенели багрянцем, грива сверкала лебединой белизной, рога были ослепительно синие. Я запомнил навсегда, как ржали единороги на бегу, как откидывали задние ноги и низко наклоняли головы, словно хотели рогом поразить врага. Дама завизжала во всю силу и отскочила от куста. Может быть, она кинулась к Духу, но я этого не видел. У меня потемнело в глазах, и я не узнал никогда, чем кончилась беседа.

— Куда ты идешь? — спросил меня кто-то с сильным шотландским акцентом. Я остановился. Топот копыт давно умолк вдали, а я, спасаясь от единорогов, добежал до широкой долины и увидел горы, из-за которых всходило и не могло взойти солнце. Неподалеку, у покрытого вереском холмика, росли три сосны, а под ними лежали большие плоские камни. На одном из камней сидел высокий человек, почти великан, с длинной бородой. Я еще не разглядел, какие у здешних людей лица, а сейчас понял, что они вроде бы двойные. Передо мной было божество, чисто духовное создание без возраста и порока. И в то же время я видел старика, продубленного дождем и ветром, как пастух, которого туристы считают простаком, потому что он честен, а соседи по той же самой причине считают мудрецом. Глаза у него были зоркие, словно он долго жил в пустынных местах, и я почему-то догадался, что их окружали морщины, пока бессмертие не омыло его лица.

— Не знаю,— ответил я.

— Тогда посиди со мной,— сказал он.— Поговорим.— И он подвинулся, чтобы дать мне место на камне.

— Мы не знакомы,— смутился я.

Меня зовут Джордж,— сообщил он.— Джордж Макдональд [11].

— О, Господи! — закричал я.— Значит, вы мне и скажете. Уж вы-то не обманете меня.

Сильно дрожа, я стал объяснять ему, что значит он для меня. Я пытался рассказать, как однажды зимним вечером я купил на вокзале его книгу (мне было тогда шестнадцать лет) и она сотворила со мной то, что Беатриче сотворила с мальчиком Данте [12],— для меня началась новая жизнь. Я сбивчиво объяснял, как долго эта жизнь была только умственной, не трогала сердца, пока я не понял наконец, что его христианство не случайно. Я заговорил о том, как упорно отказывался видеть, что имя его очарованию — святость, но он положил мне руку на плечо.

— Сынок,— сказал он,— мне ли не понять твою любовь и всякую любовь? Но мы сбережем время (тут он стал с виду истинным шотландцем), если я тебе скажу, что я все это знаю. Я давно заметил, что память тебя немного подвела. Лучше спроси меня, о чем хотел.

— Я уже не хочу,— сказал я.— Мне уже не страшно, хотя и любопытно. Скажите, хоть кто-нибудь остался? Могут они остаться? Есть у них выбор? Зачем они едут сюда?

— Неужели ты не слышал о refrigerium [13]? Такой ученый человек мог бы прочитать об этом у Пруденция или у Иеремии Тейлора [14].

— Слово я как будто встречал, но не помню, что оно значит.

— Оно значит, что у погибших душ бывают каникулы, перемены, экскурсии, если хочешь...

— Экскурсия в рай?

— Да. Для желающих. Конечно, они по глупости редко того желают. Их больше тянет на Землю. Там они морочат голову бедным дурачкам, которых вы зовете медиумами, или подглядывают за своими детьми, или таскаются по библиотекам, смотрят, есть ли спрос на их книги.

— А здесь они могут остаться?

— Могут. Вот император Траян [15] остался у нас.

— Как же так? Разве приговор не окончательный? Разве из ада можно перейти в рай?

— Это зависит от того, что ты вкладываешь в это слово. Если душа покидает серый город, значит, он был для нее не адом, а чистилищем. Да и здесь, где мы сидим, еще не рай, не самый рай, понимаешь? Это, скорее, преддверие жизни, но для тех, кто останется, это уже рай. А серый город — преддверие смерти, но для тех, кто не ушел оттуда, это — ад, и ничто другое.

Видимо, он понял, что я озадачен, и заговорил снова:

— Сынок, тебе сейчас не понять вечности. Давай сравним это с земной жизнью, там ведь то же самое. Когда добро и зло созреют, они обретают обратную силу. Не только эта долина, вся прошлая жизнь — рай для спасенных. Не только тот город, но и вся жизнь — ад для погибших. Люди на Земле этого не пони-

мают. Они говорят о временном страдании: «Этого ничто не изгладит» — и не знают, что блаженство окрасит и преобразит все прошлое. Они говорят о греховной усладе: «Я согласен на любую цену» — и не ведают, что погибель обращает в боль усладу греха. И то, и это начинается в земной жизни. Прошлое святого преображается — раскаянный грех и ушедшая скорбь окрашиваются красками рая. Прошлое нечестивца уходит во мрак. Вот почему, когда здесь взойдет солнце, а там, внизу, настанет ночь, блаженные скажут: «Мы всегда были в раю», погибшие — «Мы всегда были в аду». И никто не солжет.

— Разве это не жестоко?

— Погибшие скажут не точно так, слова будут иные. Один скажет, что он служил своей стране, права она была или нет, другой — что он все отдал искусству... третий, прости его, Господи, что он слушался начальства, и все — что они были верны себе.

— А блаженные?

— Ну, блаженные... Помнишь, что такое мираж? У них все наоборот. Они думали, что идут пустыней, юдолью скорби, и вдруг видят, что это был сад, где бьет животворный родник.

— Значит, правы те, кто говорит, что рай и ад существуют лишь в сознании?

— Что ты! Не кощунствуй. Ад, оно верно — в сознании, верней не скажешь. И если мы сосредоточимся на том, что в сознании, то скорей всего очутимся в аду. Но рай не в сознании. Реальней реального. Все, что реально,— от рая. Все тленное — истлеет, осыплется, только сущее пребудет.

— Неужели можно выбирать после смерти? Мои друзья католики удивятся — для них ведь души чистилища уже спасены. Удивятся и протестанты — для них ведь смерть закрывает выбор.

— Быть может, и те и другие правы. Не мучай себя такими мыслями. Ты не поймешь соотношения между временем и выбором, пока не выйдешь за их пределы. Не для того ты послан сюда. Тебе нужно понять, как происходит выбор, а это ты поймешь, если будешь смотреть.

— Мне и тут не все ясно,— сказал я.— Что именно выбирают те, кто не остался? Честно говоря, я других пока не видел.

— Мильтон был прав,— сказал мой учитель.— Всякая погибшая душа предпочтет власть в аду служению в раю [16]. Она что-нибудь да хочет сохранить ценою гибели, что-нибудь да ценит больше радости, то есть больше правды. Вспомни — испорченный ребенок скорее останется без обеда, чем попросит прощения. У детей это зовется капризами, у взрослых этому есть сотни имен — гнев Ахилла, горечь Кориолана [17], достоинство, уважение к себе.

— Значит, никто не погиб из-за низких грехов? Скажем, из-за похоти?

— Нет, бывает... Человек чувственный гонится поначалу за ничтожным и все же реальным наслаждением. Его грех — самый

простительный. Но время идет, наслаждается он все меньше, стремится к этому все больше. Он знает, что надеяться не на что, и все-таки жертвует покоем и радостью, чтобы кормить ненасытную похоть. Понимаешь, он вцепился в нее мертвой хваткой.

Учитель помолчал немного, потом опять заговорил:

— Ты увидишь, они выбирают по-всякому. На Земле и представить себе нельзя, что тут встречается. Был у нас недавно один ученый человек. Там, в земной жизни, его интересовала только жизнь загробная. Поначалу он размышлял, потом подался к спиритам. Он бегал на эти сеансы, читал лекции, издавал журнал. И ездил — выспрашивал тибетских лам, проходил какие-то посвящения в глубинах Африки. Он все искал доказательства, он ими насытиться не мог. Если кто думал о другом, он бесился. Наконец он умер и пришел сюда. Думаешь, он успокоился? Ничуть. Здесь все просто жили загробной жизнью, никто ею не занимался. Доказывать было нечего. Он остался не у дел. Конечно, признай он, что спутал средство с целью, посмейся он над самим собой — все бы уладилось. Но он не хотел. Он ушел в тот город.

— Как странно!..— сказал я.

— Ты думаешь? — и учитель зорко посмотрел на меня.— А ведь это есть и в тебе. Немало на свете людей, которым так важно доказать бытие Божие, что они забывают о Боге. Словно Богу только и дела, что быть! Многие так усердно насаждали христианство, что и не вспомнили о словах Христа. Да что там, так бывает и в мелочах. Ты видел книголюбов, которым некогда читать, и филантропов, которым не до бедных. Это — самая незаметная из всех ловушек.

Мне захотелось поговорить о чем-нибудь другом, и я спросил, почему здешние люди, если они такие добрые, не пойдут в тот город спасти призраков? Почему они просто выходят навстречу? Казалось бы, от них можно ожидать более деятельной любви.

— Ты и это потом поймешь,— отвечал он.— Пока что скажу, что они и так прошли навстречу призракам гораздо больше, чем ты думаешь. Мы прерываем странствие и возвращаемся ради одной надежды на их спасение. Конечно, это нам в радость, но дальше идти бесполезно. Здоровый человек не спасет безумца, если сойдет с ума.

— А как же те, кто в автобус не влез?

— Каждый, кто хочет, влезает. Не бойся. Есть только два вида людей — те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя»[18], и те, кому Бог говорит: «Да будет твоя воля». Все, кто в аду, сами его выбрали. Ни одна душа, упорно и честно жаждущая радости, туда не попадет. Алчущие насытятся [19]. Стучите, и отворят вам [20].

Тут беседу нашу прервал тонкий голос, говоривший с неописуемой скоростью. Мы оглянулись и увидели двух женщин, призрачную и светоносную. Говорила призрачная, а ее спутница никак не могла вставить слово.

— Ах, душенька, я просто извелась,— тараторила Дама-Призрак,— сама не знаю, как я вырвалась. Мы собрались ехать к вам с Элинор, условились, я ей сто раз сказала: «На углу Большой Клоачной», я ведь ее знаю, никак не вдолбишь, а перед домом этой мерзавки... ну, Марджори Бэнкс... я стоять не намерена... она со мной *так* обошлась... ужас... я дождаться не могла, когда тебе расскажу... ты-то поймешь, что я была права... я попыталась с ней вместе жить, мы туда вместе прибыли, все обговорили, она стряпает, я веду дом... казалось бы, тут уж можно отдохнуть... но с ней что-то случилось, она абсолютно, совершенно ни с кем не считается... в общем, я сказала: «Вы свое отжили, а мне сюда попадать рано...» Ах, ты ведь не знаешь, я забыла... меня убили, буквально зарезали... да-да... Он не хирург, а коновал.. мне бы еще жить да жить... в этой чудовищной больнице меня заморили голодом... и никого там не дозовешься, а я...

Призрачная дама отошла так далеко, что больше я ничего не услышал, терпеливая спутница ушла вместе с ней.

— Что ты задумался, сынок? — спросил учитель.

— Я расстроился,— отвечал я.— Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она неплохая, просто глупая, говорливая, старая и привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она бы и стала лучше.

— Да, она была такой, как ты говоришь. Может, она и сейчас такая. Тогда она вылечится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый ли она человек.

— А какой же еще?

— Ты не понял. Дело в том, сварливый она человек или одна сварливость. Если остался хоть кусочек человека, мы его оживим. Если осталась хоть одна искра под всем этим пеплом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если остался один пепел, дуть бесполезно, он только запорошит нам глаза.

— Как же может быть сварливость без человека?

— Потому и трудно понять ад, что понимать почти нечего, в прямом смысле слова. Но и на Земле так бывает. Давай вспомним: сперва ты злишься, и знаешь об этом, и жалеешь. Потом, в один ужасный час, ты начинаешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова жалеешь. Но может прийти время, когда некому жалеть, некому даже упиваться. Сварливость идет сама собой как заведенная. Ну хватит об этом. Ты здесь, чтобы слушать и смотреть. Обопрись на мою руку и пойдем погуляем.

Я словно вернулся в детство, когда меня водили за руку. Идти и впрямь стало легче, настолько легче, что я порадовался тому, как укрепились мои ноги, пока не взглянул вниз и не увидел, какие они прозрачные. Наверное, и чувства мои обострились только потому, что учитель был со мной. Я различал новые запахи, крохотные цветы в траве, оленя за деревьями. К учителю подошла пантера и потерлась, громко мурлыкая, о его ногу.

Видели мы и призраков. Самым жалким из них была одна женщина, прямо противоположная той, с единорогами. Она как будто

и не понимала, что просвечивает насквозь. Сперва я никак не мог догадаться, что она делает, зачем так извивается всем своим почти невидимым телом и так гримасничает прозрачно-серым лицом. Потом до меня дошло, что она, как ни странно, пытается обольстить кого-нибудь из духов. По-видимому, она и не знала, что бывает другой вид общения. Наконец она обронила: «Ну и кретины!» — и побрела к автобусу.

Я спросил учителя про единорогов.

— Может, и помогло,— ответил он.— Ты прав, он хотел ее напугать — не потому, что страх полезен (он вреден), а потому, что она без этого не могла и на секунду забыть о себе.

Встретили мы и призраков, которые явились лишь затем, чтобы поведать об аде. Таких было больше всего. Одни (наверное, из нас, преподавателей) собирались читать тут лекции и привезли массу карточек, карт и таблиц, а один — даже диапозитивы. Другие припасли анекдоты о знаменитостях, которых они встречали там, внизу. Третьи, самые многочисленные, просто считали, что они выше здешних, потому что много перенесли. Все были заняты собой и о здешней жизни слушать не хотели. Они никому не давали сказать ни слова, а убедившись, что их не слушают, уходили к автобусу.

Как оказалось, их желание рассказать об аде — только разновидность желания расширить ад, перенести его сюда, на небо. Были тут призраки важные, призывавшие блаженных вырваться на волю из душной тюрьмы. Были призраки деловитые, предлагавшие перекрыть реку, срубить деревья, перебить зверей, построить железную дорогу и залить асфальтом дурацкую траву, вереск и мох. Были призраки-материалисты, сообщавшие, что загробной жизни нет, а здесь — одни миражи. Были и простые старомодные привидения, пытавшиеся хоть кого-нибудь напугать. Я удивился, но учитель объяснил мне, что и на Земле многие пугают, чтобы самим не пугаться.

Видел я и совсем удивительных призраков, которые одолели огромные расстояния до остановки только для того, чтобы сообщить, как они презирают радость. И не то перетерпишь, лишь бы сказать в лицо этим ханжам, этим святошам, этим чистюлям, этим слюнтяям, этим бабам, что им на них наплевать!

— Как же они сюда проникли? — спросил я.

— Именно такие нередко остаются,— отвечал учитель.— Те, кто ненавидит добро, ближе к нему, чем те, кто о нем не думает, или те, кто считает, что оно у них в кармане.

— Эй, гляди! — сказал учитель. Мы стояли у каких-то кустов, и я увидел, как встретились за ними еще один призрак и светлый дух. Сперва мне показалось, что призрака я вроде знаю, но потом я понял, что я просто видел на Земле его фотографии. Он был знаменитым художником.

— Господи! — воскликнул он, оглядевшись.

— Ты хочешь о чем-то Его попросить? — сказал Дух.

— То есть как это? — не понял Призрак.

— Ты же Его позвал.

— А, вон что!.. Да нет, я хотел сказать: «Черт!»... или что-нибудь такое. В общем... ну, сами понимаете... хорошо бы все это написать.

— Ты сперва погляди.

— Что, у вас писать не разрешают?

— Нет, пожалуйста, только надо сперва посмотреть.

— Да я смотрел. Видел, что надо. Ах, этюдника не захватил!

Дух покачал головой, сверкая волосами.

— Тут это ни к чему,— сказал он.

— В каком смысле? — спросил Призрак.

— Когда ты писал на Земле — верней, когда ты начал писать,— ты ловил отблески рая в том, что видел. Если тебе удавалась картина, их видели и другие. А тут и так рай. Отсюда отблески и шли. Нам незачем рассказывать о нем, мы его видим.

— Значит, у вас писать незачем?

— Нет, писать можно и у нас. Когда ты станешь таким, каким тебя Бог задумал (ничего, мы все это прошли), ты увидишь то, что дано увидеть только тебе, и захочешь с нами поделиться. А сейчас — рано. Сейчас — гляди.

Оба помолчали. Наконец Призрак вяло произнес:

— Очень буду рад...

— Что ж, идем,— сказал Дух.— Обопрись на мою руку.

— А мне скоро разрешат писать? — спросил Призрак.

Дух засмеялся.

— Ну, если ты об этом думаешь, тебе вообще писать не удастся,— сказал он.

— То есть как?

— Если ты смотришь только для того, чтобы писать, ты ничего не увидишь.

— А для чего художнику еще смотреть?

— Ты забыл,— сказал Дух.— Ты сам начал не с этого. Твоей первой любовью был свет, и ты начал писать, чтобы показать его другим.

— Ах, когда это было,— отмахнулся Призрак.— С тех пор я вырос. Вы, конечно, видели мои последние работы. Меня интересует живопись сама по себе.

— Да, и мне пришлось от этого лечиться. Если бы не благодать, каждый поэт, музыкант и художник ушел бы от первой любви в самые глубины ада. Понимаешь, никто не останавливается на искусстве для искусства. Потом уже любят одного себя, свою славу.

— Кто-кто, а я...— обиделся Призрак.

— Вот и хорошо,— сказал Дух.— Мало кто из нас мог это сказать, когда сюда явился. Но это ничего. Это воспаление исцеляет наш источник.

— Какой источник?

— Там, в горах. Он холодный и чистый. Когда из него напьешься, забываешь, кто написал картину, ты или не ты. Просто радуешься. Не гордишься, не скромничаешь, а радуешься.

— Великолепно...— откликнулся Призрак без должного пыла.

— Что ж, идем,— сказал Дух, и они прошли несколько шагов.

— Здесь есть интересные люди? — спросил Призрак.

— Да,— сказал Дух,— здесь все интересны друг другу.

— М-м... я, собственно... я имел в виду наших. Увижу я Клода?[21] Увижу Сезанна?[22] Увижу...

— Наверное, если они у нас.

— А вы что ж, не знаете?

— Конечно нет. Я тут недавно. Как их встретишь? Нас, художников, тут много.

— Они не просто художники! Они знаменитости.

— Какие тут знаменитости! Как ты не поймешь? Здесь, у нас, все — в славе.

— Вы хотите сказать, что у вас нет известных людей?

— Все известны. Всех знает, всех помнит, всех узнает Единственный, Кто судит верно.

— А, да, в *этом* смысле,— совсем опечалился Призрак.

— Идем, идем,— сказал Дух; так как новоприбывший вроде бы упирался.

— Что ж, наша награда — слава среди потомков,— проговорил Призрак.

— Ты что, не знаешь? — удивился Дух.

— О чем?

— О том, что нас с тобой никто не помнит на Земле?

— То есть как?! — и Призрак вырвал руку.— Значит, эти чертовы неорегионалисты[23] взяли верх?

— Ну конечно! — радостно ответил Дух.— Ни за твою, ни за мою картину и пяти фунтов не дадут. Мы вышли из моды.

— Пустите меня!— возопил Призрак.— В конце концов у меня есть долг перед искусством! Я напишу статью. Я выпущу манифест. Мы начнем издавать газету. Пустите, мне не до шуток!

И, не слушая Духа, Призрак исчез.

Слышали мы и такой разговор.

— Нет, нет, об этом и речи быть не может! — говорила еще одна призрачная дама светлой женщине.— И не подумаю остаться, если надо с ним встретиться. Конечно, как христианка, я его прощаю. А большего не проси. И вообще, как он тут очутился? Хотя это дело ваше...

— Ты его простила,— начала Женщина,— значит...

— Простила как *христианка*,— уточнила еще раз Дама.— Но есть вещи, которых забыть нельзя.

— Я не понимаю,— снова начала Женщина.

— Вот именно! — Дама горько усмехнулась.— Ты уж поймешь! Кто, как не ты, твердила, что Роберт ни на что плохое не

способен? Нет, нет, помолчи хоть минуту!.. Ты и не представляешь, что я вынесла с твоим Робертом. Я из него человека сделала! Я ему жизнь отдала! А он? Эгоизм, сплошной эгоизм. Нет, ты слушай, когда я за него вышла, он получал сотен шесть. И до смерти бы их получал — да, Хильда! — если бы не мои заботы. Я его буквально тащила за руку. У него абсолютно нет честолюбия, его тащить — как мешок с углем. Я его силой заставила поступить на другую работу. Мужчины такие лентяи... Можешь себе представить, он говорил, что не может работать больше тринадцати часов в день! А я что, меньше работала? У меня все часы — рабочие, да. Я его весь вечер подгоняла, а то, дай ему волю, он бы завалился в кресло и сидел. От него помощи не дождешься. Иногда он меня просто не слышал. Хоть бы из вежливости... Он забыл, что я дама, хотя и вышла замуж за *него*. День и ночь я билась, чтобы ему угодить. Я часами расставляла цветы в этой дыре, а он? Нет, ты не поверишь! Говорил, чтобы я не ставила их на письменный стол. Он чуть не взбесился, когда я опрокинула вазу на его писанину. Он, видите ли, хотел книгу написать... Куда ему! Ну, я дурь из него выбила. Нет, Хильда, ты слушай. А гости! Он все норовил уйти к этим своим «друзьям». Я-то знала, я-то сразу поняла, что от его друзей мало толку. И я сказала: «Роберт! Твои друзья — это мои друзья. Мой долг — принимать их здесь, как бы я ни устала и как бы мы ни были бедны». Да. Казалось бы, ясно. Но они явились. Тут уж мне понадобился такт и такт. Умная женщина умеет вовремя сказать словечко. Я хотела, чтобы он увидел их на другом фоне. Им у меня было не по себе... Не очень уютно. Бывало, смотришь и смеешься. Конечно, пока лечение не кончилось, и Роберту было не по себе. Но ведь для его же блага! И года не прошло, как всех его друзей разогнало.

Поступил он на новую службу. И что же ты думала? Он говорит: «Ну теперь хоть оставь меня в покое!»... То есть как? Я чуть не кончилась. Я чуть не бросила его... но я — человек долга. Как я над ним билась, чтобы его перетащить в просторный дом! И ничего, ни капли радости! Другой бы спасибо сказал, когда его встречают на пороге и говорят: «Вот что, Боб, обедать нам некогда. Надо идти смотреть дом. За час управимся!» А он! Истинное мучение... К этому времени твой драгоценный Роберт ничем не интересовался, кроме еды.

Ну, притащила я его в новый дом. Да, да, сама знаю! Он для нас великоват, не совсем по средствам. Но я завела приемы! Нет, уж увольте, *его* друзей я не звала. Я звала нужных людей, для него же и нужных. Тут уж, всякому ясно, приходится быть элегантной. Казалось бы, чего ему еще? Но с ним просто сил не было, никаких сил! Постарел, молчит, ворчит... Скажи, зачем он сутулился? Я ему вечно твердила: распрямись! А с гостями? Все я, все я одна. Я ему сотни раз говорила, что он изменился к худшему. Я вышла замуж за живого, молодого человека, общительного, даровитого... Да... Я вечно спрашивала: «Что с тобой творится?!» А он вообще не отвечал. Сидит, уставится на меня своими черны-

ми глазами (я просто возненавидела черноглазых мужчин) и ненавидит меня, да, теперь я знаю, ненавидит. Вот и вся благодарность. Никаких чувств, ни капли нежности — а он ведь к тому времени занял очень приличное положение. Я ему вечно твердила: «Роберт, ты просто разлагаешься!» К нам ходили молодые люди — я не виновата, что я им интереснее, чем он! — так вот, они просто смеялись над ним, да, смеялись!

Я выполнила свой долг до конца. Я купила собаку, чтобы Роберт с ней гулял. Я каждый вечер звала гостей. Я возила его повсюду. Когда все было из рук вон плохо, я даже разрешала ему писать, вреда это уже не принесло бы. Что ж, я виновата, если у него случился этот криз? Моя совесть чиста. Я свой долг выполнила, да, мало кто его так выполнял. Теперь ты видишь, почему я не могу...

Нет, постой! Вот что, Хильда. *Встретиться* я с ним не хочу, то есть — встретиться, и все. Но я согласна о нем заботиться. Только вы уж не вмешивайтесь. Впрочем, времени тут много, чего-нибудь, может, и добьюсь... Один он не справится. Ему нужна твердая рука. Я его знаю лучше, чем ты. Что, что? Нет, нет, давай его сюда, слышишь? Мне так плохо! Мне нужно кого-то... э-э... опекать. Я там одна, никто со мной не считается! Роберта я переделаю! Это просто ужасно, вы все тут торчите, а толку от вас нет! Дайте его мне! Ему вредно жить по своей воле. Это нечестно, это безнравственно. Где мой Роберт?! Какое вы имели право его прятать! Я вас всех ненавижу! Как же я буду его переделывать, если вы нас разлучили?

И призрачная Дама угасла, как слабое пламя свечи. Секунду-другую в воздухе стоял неприятный запах, потом не осталось ничего.

Необычайно тяжелой была встреча между еще одной призрачной дамой и светлым духом, который, по видимости, приходился ей братом на Земле. Мы застали их, когда они только что увиделись,— Дама говорила с явным огорчением:

— Ах, это ты, Реджинальд!

— Да, это я,— сказал Дух.— Я знаю, что ты не меня ждала, но ты обрадуйся и мне... Хоть ненадолго.

— Я думала, меня Майкл встретит,— сказала Дама и резко спросила: — Он хоть здесь?

— Он там,— отвечал Дух,— далеко в горах.

— Почему он меня не встретил? Ему не сообщили?

— Сестричка, ты не волнуйся... Он бы тебя не увидел и не услышал. Но скоро ты изменишься...

— Если ты меня видишь, почему мой собственный сын не увидит?

— Понимаешь, я привык, это моя работа.

— А, работа! — презрительно сказала Дама.— Вот оно что! Когда же мне разрешат на него взглянуть?

— Тут дело не в разрешении, Пэм. Когда он сможет разглядеть тебя, вы увидитесь. Тебе надо... поплотнеть немного.

— Как? — резко и угрожающе спросила Дама.

— Поначалу это нелегко,— начал ее брат,— но потом пойдет быстро. Ты поплотнеешь, когда захочешь чего-нибудь, кроме встречи с Майклом. Я не говорю «больше, чем встречи», это позже придет. А для начала нужно немного, хоть капельку, потянуться к Богу.

— Ты что, о религии? Нашел, знаешь ли, минуту! Ладно, что надо, то и сделаю. Что вы от меня требуете? Говори, говори! Чем я раньше начну, тем скорее меня пустят к моему мальчику.

— Памела, подумай сама! *Так* ты начать не можешь! Для тебя Бог — средство, чтобы увидеть Майкла. А плотнеть мы начинаем только тогда, когда стремимся к Самому Богу.

— Был бы ты матерью, ты бы иначе заговорил.

— То есть если бы я был *только* матерью. Но этого не бывает. Ты стала матерью Майкла, потому что ты — дочь Божья. С Ним ты связана раньше и теснее. Памела, Он тоже любит тебя. Он тоже из-за тебя страдал. Он тоже долго ждал.

— Если бы Он меня любил, Он пустил бы меня к моему сыну. И вообще, если Он меня любит, почему Он забрал от меня Майкла? Я не хотела об этом говорить, но есть вещи, которые простить нелегко.

— Ему пришлось, Памела. Отчасти — ради Майкла...

— Кто-кто, а я для Майкла все делала! Я ему жизнь отдала.

— Люди не могут долго давать друг другу счастье. А потом — Он и ради тебя это сделал. Он хотел, чтобы твоя животная, инстинктивная любовь преобразилась и ты полюбила Майкла, как Он его любит. Нельзя правильно любить человека, пока не любишь Бога. Иногда удается преобразить любовь, так сказать, на ходу. Но с тобой это было невозможно. Твой инстинкт стал неуправляем, превратился в манию. Спроси дочь и мужа. Спроси свою собственную мать. О ней ты и не думала. Оставалось одно: операция. И Бог отрезал тебя от Майкла. Он надеялся, что в одиночестве и тишине проклюнется новый, другой вид любви.

— Какая чушь! Какая жестокая чушь! Ты *не имеешь права* так говорить о материнской любви. Это — самое светлое, самое высокое чувство.

— Пэм, Пэм, естественные чувства не высоки и не низки, и святости в них нет. Она возникает, когда они подчинены Богу. Когда же они живут по своей воле, они превращаются в ложных богов.

— Моя любовь к Майклу не могла стать плохой, хотя бы мы прожили миллион лет.

— Ты ошибаешься. Придется тебе сказать. Ты встречала там, в городе, матерей с сыновьями. Счастливы они?

— Такие, как эта Гатри и ее чудовище Бобби,— конечно нет! Надеюсь, ты нас не сравниваешь? Мы с Майклом были бы совершенно счастливы. Я-то не болтала бы о нем, как Уинифред Гатри,

пока все не разбегутся. Я не ссорилась бы с теми, кто его не замечает, и не ревновала бы к тем, кто заметил. Я бы не хныкала повсюду, что он со мной груб. Неужели, по-твоему, Майкл мог бы стать таким, как этот Бобби? Знаешь, есть пределы...

— Именно такой становится естественная любовь, если не преобразится.

— Неправда! Какой ты злой, однако! Я его так любила... Только для него и жила, когда он умер...

— И плохо делала. Ты сама это знаешь. Не надо было устраивать этот десятилетний траур — трястись над его вещами, отмечать все даты, держать насильно Дика и Мюриэл в том несчастном доме.

— Конечно, им-то что! Я скоро поняла, что от них сочувствия не жди.

— Ты не права. Дик очень страдал по сыну. Мало кто из сестер так любил брата, как Мюриэл. Их не память о Майкле мучила — их мучила ты, твоя тирания.

— Какой ты злой! Все злые. У меня ничего нет, кроме прошлого...

— Ты сама того хочешь. Но ты не права. Это египтяне так относились к утрате, бальзамировали тело.

— Конечно! Я не права! Тебя послушать, я все неправильно делаю!

— Ну конечно! — обрадовался Дух и засиял так, что глазам стало больно.— Тут мы все узнаем, что всегда были не правы. Нам больше не надо цепляться за свою правоту. Так легко становится... Тогда мы и начинаем жить.

— Как ты смеешь издеваться? Отдай мне сына! Слышишь? Плевать я хотела на ваши правила! Я не верю в Бога, который разлучает сына с матерью! Я верю в Бога любви. Никто не имеет права нас разлучать! Даже твой Бог! Так ему и скажи. Мне Майкл нужен! Он мой, мой, мой...

— Он и будет твоим, Памела. Все будет твоим, даже Бог. Но ты не то делаешь. Ничем нельзя овладеть по праву природы.

— То есть как? Это же мой сын, плоть от плоти!

— А где сейчас твоя плоть? Разве ты еще не поняла, что природа тленна? Смотри! Солнце всходит. Оно может взойти каждую минуту.

— Майкл — мой!

— В каком смысле — твой? Ты его не сотворила. Природа вырастила его в твоем теле, помимо твоей воли. Да... ты как-то забыла, что ты тогда не хотела ребенка. Майкл — несчастный случай.

— Кто тебе сказал? — перепугалась Дама, но тут же взяла себя в руки.— Это ложь. Это неправда. И вообще, не твое дело. Я ненавижу твою веру... Ненавижу твоего бога... Я его презираю. Я верю в Бога любви.

Тем не менее ты не любишь ни нашу маму, ни меня.

— Ах, вот что! Так, так, ясно... Ну, Реджинальд, не ждала! Обидеться на это...

Дух засмеялся.

— Бог с тобой! — воскликнул он.— Тут у нас никого нельзя обидеть.

Дама застыла на месте. По-видимому, эти слова поразили ее всего сильнее.

— Идем,— сказал учитель,— пойдем дальше.— И взял меня за руку.

— Почему вы меня увели? — спросил я, когда мы отошли подальше от несчастной Дамы.

— У них разговор долгий,— отвечал учитель,— ты слышал достаточно.

— Есть для нее надежда?

— Кое-какая есть. Ее любовь к сыну стала жалкой, вязкой, мучительной. Но там еще тлеет слабая искра, еще не все — сплошной эгоизм. Искру эту можно раздуть в пламя.

— Значит, одни естественные чувства хуже других?

— И лучше, и хуже. В естественной любви есть то, что ведет в вечность, в естественном обжорстве этого нет. Но в естественной любви есть и то, за что ее можно счесть любовью небесной, и на этом успокоиться. Медь легче принять за золото, чем глину. Если же любовь не преобразишь, она загниет, и гниение ее хуже, чем гниение мелких страстей. Это — сильный ангел, и потому — сильный бес.

— Не знаю, можно ли говорить об этом на Земле. Меня обвинили бы в жестокости. Мне сказали бы, что я не верю в человека... что я оскорбляю самые светлые, самые святые чувства...

— Ну и пусть говорят,— сказал учитель.

— Да я и не посмел бы, это стыдно. Нельзя пойти к несчастной матери, когда ты сам не страдаешь.

— Конечно, нельзя, сынок. Это дело не твое. Ты не такой хороший человек. Когда у тебя самого сердце разобьется, тогда и поглядим. Но кто-то должен вам напомнить то, что вы забыли: любовь в вашем смысле слова — еще не все. Всякая любовь воскреснет здесь, у нас, но прежде ее надо похоронить.

— Это жестокие слова.

— Еще более жестоко скрыть их. Те, кто это знает, боятся говорить. Вот почему горе прежде очищало, теперь — ожесточает.

— Значит, Китс [24] был не прав, когда писал, что чувства священны?

— Вряд ли он сам понимал, что это значит. Но нам с тобой надо говорить ясно. Есть только одно благо — Бог. Все остальное — благо, когда смотрит на Него, и зло, когда от Него отвернется. Чем выше и сильнее что-либо в естественной иерархии, тем будет страшнее оно в мятеже. Бесы — не падшие блохи, но падшие ангелы. Культ похоти хуже, чем культ материнской любви, но похоть реже становится культом. Гляди-ка!

Я поглядел и увидел, что к нам приближается Призрак, а у него что-то сидит на плече. Он был прозрачен, как и все призраки, но одни были погуще, другие пожиже, как разные клубы дыма, одни — побелее, другие — потемней. Этот был черен и маслянист. На плече у него примостилась красная ящерка, которая била хвостом, как хлыстом, и что-то шептала ему на ухо. Как раз, когда я увидел его, он с нетерпением говорил ей: «Да отстань ты!» — но она не отстала. Сперва он хмурился, потом улыбнулся, потом повернулся к западу (раньше он шел к горам).

— Уходишь? — спросил его чей-то голос.

Дух, заговоривший с ним, был как человек, но побольше, и сиял так ослепительно, что я почти не мог на него смотреть. Свет и тепло исходили от него, и я почувствовал себя, как чувствовал прежде в начале летних жарких дней.

— Да, ухожу,— отвечал Призрак.— Благодарю за гостеприимство. Все равно ничего не выйдет. Я говорил вот ей (он указал на ящерку), чтобы она сидела тихо, раз уж мы тут,— она ведь сама подбивала меня поехать. А она не хочет. Вернусь уж я домой...

— Хочешь, чтобы она замолчала?— спросил Пламенный Дух.

Теперь я понял, что он — ангел.

— Еще бы! — ответил Призрак.

— Тогда я ее убью,— сказал Ангел и шагнул к нему.

— Ой, не надо! — закричал Призрак.— Вы меня обожжете! Не подходите.

— Ты не хочешь, чтобы я ее убивал?

— Вы сперва спросили не так...

— Другого пути нет,— сказал Ангел. Его огненная рука повисла прямо над ящеркой.— Убить ее?

— Ну, это другой вопрос. Я готов об этом потолковать, но это так просто не решить. Я хотел, чтобы она замолчала... Измучила она меня.

— Убить ее?

— Ах, время есть, обсудим потом...

— Времени больше нет. Убить ее?

— Да я не хотел вас беспокоить. Пожалуйста, не надо... Вот она и сама заснула. Все уладится. Спасибо вам большое.

— Убить ее?

— Ну что вы, зачем это нужно? Я с ней сам теперь справлюсь. Лучше так, потихоньку, постепенно, а то что ж убивать!

— Потихоньку и постепенно с ней ничего не сделаешь.

— Вы так считаете? Что ж, я подумаю об этом, непременно подумаю... Я бы, собственно, и дал вам ее убить, но я себя что-то плохо чувствую. Глупо так спешить. Вот оправлюсь — и, пожалуйста, убивайте. Выберем подходящий день.

— Другого дня не будет. Все дни — теперь.

— Да отойдите вы! Я обожгусь. Что она? Вы *меня* убьете!

— Нет, не убью.

— Мне же будет больно!

— Я не говорил, что тебе не будет больно. Я сказал, что не убью тебя.

— А, вон что! Вы думаете, я трус. Ну давайте так: я съезжу туда и посоветуюсь с врачом. Я приеду, как только выберу минутку.

— Других минут не будет.

— Что вы ко мне пристали? Хотите мне помочь, убивали бы ее без спроса, я бы и охнуть не успел. Все было бы уже позади.

— Я не могу убить ее против твоей воли. Ты соглашаешься?

Ангел почти касался ящерки. Тут она заговорила так громко, что даже я ее услышал.

— Осторожно! — сказала она.— Он меня убьет, он такой. Скажи ему слово — и убьет. А ты останешься без меня навсегда. Это неестественно! Как же ты будешь жить? Ты же станешь призраком, а не человеком. Он таких вещей не понимает. Он — холодный, бесплотный дух. *Они* могут так жить, но не ты же! Знаю, знаю, у тебя и наслаждения нет, одни помыслы. Но это все же лучше, чем ничего! А я исправлюсь. Признаю, бывало всякое, но теперь я стану потише. Я буду тебе нашептывать вполне невинные помыслы... приятные, но невинные...

— Ты соглашаешься? — спросил Призрака Ангел.

— Вы убьете и меня...

— Не убью. А если бы и убил?

— Да, вы правы. Все лучше, чем она.

— Убить ее?

— А, чтоб вас! Делайте, что хотите! Ну, поскорей!— закричал Призрак и очень тихо прибавил:— Господи, помоги мне.

И тут же вскрикнул так страшно, что я пошатнулся. Пламенный Ангел схватил ящерку огненно-алой рукой, оторвал и швырнул на траву.

Сперва я как бы ослеп, потом увидел, что рука и плечо у Призрака становятся все белей и плотней. И ноги, и шея, и золотистые волосы как бы возникали у меня на глазах, и вскоре между мной и кустом стоял обнаженный человек почти такого же роста, как Ангел.

Но и с ящерицей что-то происходило. Она не умерла и не умирала, а тоже росла и менялась. Хвост, еще бьющий по траве, стал не чешуйчатым, а подобным кисти. Я отступил и протер глаза. Передо мной стоял дивный серебристо-белый конь с золотыми копытами и золотой гривой.

Человек погладил его по холке, конь и хозяин подышали в ноздри друг другу, а потом хозяин упал перед Ангелом и обнял его ноги. Когда он поднялся, я подумал, что лицо его — в слезах, но, может быть, оно просто сверкало любовью и радостью. Разобрать я не успел. Он вскочил на коня, помахал нам рукой и исчез из виду. Ну и скакал он! За одну минуту они с конем пронеслись сверкающей звездой до самых гор, взлетели вверх — я закинул голову, чтоб их видеть,— и сверкание их слилось со светло-алым сверканием утренней зари.

Все глядя им вслед, я услышал, что и долина, и лес полнятся могучими звуками, и понял почему-то, что поют не духи, а трава, вода и деревья. Преображенная природа этого края радовалась, что человек снова оседлал ее, и пела так:

Ничто покой не возмутит и радость не нарушит,
Святая Троица приют дает блаженным душам.
Господь хранит ее, как щит — всех рыцарей отважных,
Она избегнет западни, томления и жажды.
Не страшен призрак ей во тьме, ни пуля в свете ясном.
Любую фальшь, любой обман узрит насквозь прекрасно.
Ни тайный смысл, ни солнца жар ей вовсе не опасны.
Одни откажутся идти, а многих ждет путь ложный.
Она же истинным путем ступает непреложно.
Опорой прочной Сам Господь ей в мире горних странствий
Сквозь все ловушки проведет Своей десницей властной.
Она пройдет меж львов и змей, и хищный зверь не тронет.
Вся радость мира будет с ней у Божеского трона.

— Ты все понял, сынок? — спросил учитель.

— Не знаю, все ли,— ответил я.— Ящерка и вправду стала конем?

— Да. Но сперва он убил ее! Ты не забудешь об этом?

— Постараюсь не забыть. Неужели это значит, что все, просто *все* в нас может жить там, в горах?

— Ничто не может, даже самое лучшее, в нынешнем своем виде. Плоть и кровь не живут в горах, и не потому, что они слишком сильны и полны жизни, а потому, что они слишком слабы. Что ящерица перед конем? Похоть жалка и худосочна перед силой и радостью желания, которое встает из ее праха.

— Значит, чувственность этого человека мешает меньше, чем любовь той несчастной женщины к сыну? Она любила слишком сильно, но ведь любила!

— Слишком сильно, по-твоему? — строго сказал он.— Нет, слишком слабо. Если бы она любила его сильно, и трудности бы не было. Я не знаю, что будет с ней, но допускаю, что вот сейчас она просит отпустить его к ней, в ад. Такие, как она, готовы обречь другого на вечные муки, только бы владеть им. Нет, нет. Ты сделал неправильный вывод. Спроси лучше так — если восставшее тело похоти так могуче и прекрасно, каково же тело дружбы и материнской любви?

Я не ответил ему, вернее, я спросил о другом:

— Разве тут у вас есть еще одна река?

Спросил я это потому, что на всех опушенных листьями ветках задрожал пляшущий свет, а на Земле я видел такое только у реки. Очень скоро я понял свою ошибку. К нам приближалось шествие, и на листьях отражались не отсветы воды, а его сверкание.

Впереди шли сияющие духи — не духи людей, а какие-то иные. Они разбрасывали цветы, и те падали легко и беззвучно, хотя каждый листок весил здесь в десять раз больше, чем на Земле. За духами шли мальчики и девочки. Если бы я мог записать их пение и передать ноты, ни один из моих читателей никогда бы не состарился. Потом шли музыканты, а за ними шла та, кого они чествовали.

Не помню, была ли она одета. Если нет — значит, облако радости и учтивости облекало ее и даже влачилось за нею, как шлейф, по счастливой траве. Если же она была одета, она казалась обнаженной, потому что сияние ее насквозь пронизало одежды. В этой стране одежда — не личина, духовное тело живет в каждой складке, и все они — живые его части. Платье или венец так же неотделимы, как глаз или рука.

Но я забыл, была ли она одета, помню лишь невыразимую красоту ее лица.

— Это... это...— начал я, но учитель не дал мне спросить.

— Нет,— сказал он,— об этой женщине ты никогда не слышал. На Земле ее звали Саррой Смит, и жила она в Голдерс-Грин.

— Она... ну, очень много тут у вас значит?

— Да. Она — из великих. Наша слава ничем не связана с земной.

— А кто эти великаны? Смотрите! Они — как изумруд!

— Это ангелы служат ей.

— А эти мальчики и девочки?

— Ее дети.

— Как много у нее детей...

— Каждый мальчик и даже взрослый мужчина становился ей сыном. Каждая девочка становилась ей дочерью.

— Разве это не обижало их родителей?

— Нет. Дети больше любили их, встретившись с ней. Мало кто, взглянув на нее, не становился ей возлюбленным. Но жен они любили после этого не меньше, а больше.

— А что это за зверь? Вон — кошка... кот... Прямо стая котов... И собаки... Я не могу их сосчитать. И птицы. И лошади.

— Каждый зверь и каждая птица, которых она видела, воцарялись в ее сердце и становились самими собой. Она передавала им избыток жизни, полученной от Бога.

Я с удивлением посмотрел на учителя.

— Да,— сказал он,— представь, что ты бросил камень в пруд и круги идут все дальше и дальше. Искупленное человечество молодо, оно еще не вошло в силу. Но и сейчас в мизинце великого святого хватит радости, чтобы оживить всю стенающую тварь.

Пока мы беседовали, прекрасная женщина шла к нам, но глядела не на нас. Я посмотрел, куда же она глядит, и увидел очень странного призрака. Вернее, это были два призрака. Один, высокий и тощий, волочил на цепочке маленького, с мартышку ростом.

Высокий мне кого-то напоминал, но я не мог понять кого. Когда Прекрасная Женщина подошла к нему почти вплотную, он прижал руку к груди, растопырил пальцы и глухо воскликнул: «Наконец!» Тут я понял, на кого он похож: на плохого актера старой школы.

— Ох, наконец-то!— сказала Прекрасная Женщина, и я ушам не поверил. Но тут я заметил, что не Актер ведет мартышку, а мартышка держит цепочку, у Актера же на шее — ошейник. Прекрасная Женщина глядела только на мартышку. По-видимому, ей казалось, что к ней обратился Карлик, высокого она не замечала вообще. Она глядела на Карлика, и не только лицо ее, но и все тело, и руки светились любовью. Она наклонилась и поцеловала его. Я вздрогнул — жутко было смотреть, как она прикасается к этой мокрице. Но она не вздрогнула.

— Фрэнк,— сказала она,— прости меня. Прости меня за все, что я делала не так, и за все, чего я не сделала.

Только сейчас я разглядел лицо Карлика, а может быть, от ее поцелуя он стал плотнее. Вероятно, на земле он был бледным, веснушчатым, без подбородка и с маленькими жалкими усиками. Он как-то нехотя взглянул на нее, краем глаза поглядывая на Актера, потом дернул цепочку, и Актер заговорил.

— Ладно, ладно,— сказал Актер.— Оставим это... Все мы не без греха.— Лицо его гнусно исказилось (по-видимому, то была улыбка).— Что за счеты! Я ведь думаю не о себе. Я о тебе думаю. Я все эти годы думал, как ты тут без меня.

— Теперь все позади,— сказала она.— Все прошло.

Красота ее засияла так, что я чуть не ослеп, а Карлик впервые прямо взглянул на нее. Он даже сам заговорил.

— Ты скучала без меня? — прокрякал или проблеял он.

— Ты скоро все это поймешь... А сейчас...— начала она.

Карлик и Актер заговорили хором, обращаясь не к ней, а друг к другу.

— Видишь! — горько говорили они.— Она не ответила! Да и чего от нее ждать!

Карлик снова дернул цепочку.

— Ты скучала обо мне? — с трагическими перекатами спросил Актер.

— Миленький,— сказала Карлику Прекрасная Женщина,— забудь про все беды.

Казалось, Карлик послушался ее — он стал еще плотнее и лицо его немного очистилось. Я просто не понимал, как можно устоять, когда призыв к радости — словно песня птицы весенним вечером. Но Карлик устоял. Они с Актером снова заговорили в унисон.

— Конечно, благородней всего простить и забыть,— жаловались они друг другу.— Но кто это оценит? Она? Сколько раз я ей уступал! Помнишь, она наклеила марку на конверт, она матери писала, когда *мне* нужна была марка? А разве она об этом помнит? Куда там...— Тут Карлик дернул цепочку.

— Нет, я не забуду! — воскликнул Актер.— И не хочу забыть! Что я, в конце концов? Я не прощу *твоих* мучений!

— Ах, Боже мой! — сказала она.— Здесь нет мучений!

— Ты хочешь сказать,— спросил Карлик сам, от удивления не дернув цепочки,— что была тут счастлива без меня?

— Разве ты не желаешь мне счастья? — отвечала она.— Ну пожелай сейчас или вообще об этом не думай.

Карлик заморгал и чуть не выпустил цепочку, но спохватился и дернул за нее.

— Что ж...— произнес Актер горьким мужественным тоном,— придется и это вынести...

— Миленький,— сказала Карлику Прекрасная Женщина,— тебе нечего выносить. Ты же не хочешь, чтобы я страдала. Ты просто думал, что я бы страдала, если люблю тебя. А я тебя люблю и не страдаю. Ты это скоро поймешь.

— Любишь! — возопил Актер.— Разве ты понимаешь это слово?

— Конечно, понимаю,— сказала Прекрасная Женщина.— Как мне не понимать, когда я живу в любви! Только теперь я и тебя люблю по-настоящему.

— Ты хочешь сказать,— грозно спросил Актер,— что ты меня тогда не любила?

— Я тебя неправильно любила,— сказала она.— Прости меня, пожалуйста. Там, на Земле, мы не столько любили, сколько хотели любви. Я любила тебя ради себя, ты был мне нужен.

— Значит,— спросил Актер,— теперь я тебе не нужен?

— Конечно нет! — сказала она, улыбаясь так, что я удивился, почему призраки не пляшут от радости.— У меня есть все. Я полна, а не пуста. Я сильна, а не слаба. Посмотри сам! Теперь мы не *нужны* друг другу и сможем любить по-настоящему.

— Я ей не нужен!..— говорил Актер неизвестно кому.— Не нужен!.. Да лучше бы мне видеть ее мертвой у своих ног, чем слышать *такое*!

Тут Прекрасная Женщина впервые заметила Актера.

— Фрэнк! — закричала она.— Фрэнк! Взгляни на меня! Я *тебя* ждала, а не его. Послушай, что он говорит! — И она засмеялась.

Подобие жалкой улыбки проступило на лице Карлика. Он взглянул на нее и, как ни боролся, стал немного повыше.

— Да ты и видел меня мертвой! — продолжала она.— Не у ног, конечно, а в кровати... Больница у нас была хорошая, старшая сестра не дала бы нам валяться на полу. И как смешно, что этот твой манекен говорит *здесь* о смерти!

Карлик изо всех сил противился радости. Когда-то очень давно у него бывали, вероятно, проблески разума и юмора. И сейчас под ее веселым и нежным взглядом он понял на миг, как нелеп Актер. Он понял, чему она смеется,— ведь и он знал когда-то, что никто не смеется друг над другом больше, чем влюбленные. Но он боялся. Не такой встречи он ждал и не хотел принимать чужие условия игры. Он снова дернул за цепочку, и Актер заговорил.

— Ты над этим смеешься! — вознегодовал он.— Вот оно, мое вознаграждение! Что ж... Оно и лучше, что тебе до меня нет дела. Иначе ты бы извелась, вспоминая, что вытолкала меня в ад. Что-о? Ты думала, после всего я здесь останусь? Нет уж, я понимаю, что я лишний. «Не нужен» — вот как она сказала...

Карлик больше не говорил, но Прекрасная Женщина обратилась к нему:

— Я тебя не выгоняю, ты не понял! Здесь так хорошо. Все тебе рады. Останься! — Но Карлик уменьшался на глазах.

— Да,— отвечал Актер,— а на каких условиях? Собака и та бы отказалась. Я еще не потерял достоинства. Для тебя что я есть, что меня нет. Тебе безразлично, что я вернусь в холод, во мглу, на пустынные улицы...

— Фрэнк, не надо! — прервала она.— Зачем нам с тобой так говорить!

Карлик был теперь так мал, что ей пришлось опуститься на колени. Актер же кинулся на ее реплику, как собака на кость.

— Как же!— вскричал он.— Ей больно это слушать! Вечная история!.. Ее надо оберегать. *Она* не терпит грубой правды. Это она-то, она, которой я не нужен! Ей бы только не огорчаться. Только бы не потревожить ее драгоценного покоя! Да, вот моя награда...

Она низко склонилась к Карлику. Он был теперь ростом с котенка и висел на цепочке.

— Я не то хотела сказать,— говорила она,— я хотела сказать: не играй ты так, не декламируй. Зачем это? Он убивает тебя. Выпусти цепочку. Еще не поздно.

— Не играть! — взревел Актер.— Что ты имеешь в виду?

Я не мог уже различить Карлика (он как бы слился с цепью) и не мог увидеть, к кому обращается Женщина — к нему или к Актеру.

— Скорей!— торопила она.— Еще не поздно! Перестань!

— А что я такое делаю?

— Ты играешь на жалости. Мы все грешили этим на Земле. Жалость — великое благо, но ее можно неверно использовать. Понимаешь, вроде шантажа. Те, кто выбрал несчастье, не дают другим радоваться. Я ведь знаю теперь! Ты и в детстве так делал. Чем просить прощения, ты шел поплакать на чердак... Ты *знал,* что кто-нибудь из сестер скажет рано или поздно: «Не могу, он там плачет...» Ты шантажировал их, играл на жалости, и они сдавались. А потом, со мной... Ну ничего, это неважно, ты только *сейчас* перестань.

— И это все,— спросил Актер,— что ты поняла обо мне за долгие годы?

Что стало с Карликом, я не знаю. То ли он полз по цепи, как муха, то ли всосался в нее.

— Фрэнк, послушай меня,— сказала Женщина.— Подумай немного. Разве радость так и должна оставаться беззащитной

перед теми, кто лучше будет страдать, чем поступится своей волей? Ты ведь страдал, теперь я знаю. Ты и довел себя этим. Но сейчас ты уже не можешь заразить своими страданиями. Наш здешний свет способен поглотить всю тьму, а тьма твоя не обнимет здешнего света [25]. Не надо, перестань, иди к нам! Неужели ты думал, что любовь и радость вечно будут зависеть от мрака и жалоб? Неужели ты не знал, что сильны именно радость и любовь?

— «Любовь»? — повторил Актер.— Ты смеешь произносить это священное слово?

Он подобрал цепочку, болтающуюся на его ошейнике, и куда-то сунул. Кажется, он ее проглотил. Только тут Прекрасная Женщина взглянула прямо на него.

— Где Фрэнк? — спросила она.— Кто вы такой? Я вас не знаю. Вы лучше уйдите. А хотите — останьтесь. Я пошла бы с вами в ад, если бы могла и если бы это помогло, но вы не можете вложить ад в мое сердце.

— Ты меня не любишь,— тонким голосом проговорил Актер. Его почти не было видно.

— Я не могу любить ложь,— сказала она,— я не могу любить то, чего нет.

Он не ответил. Он исчез. Она стояла одна, только серенькая птичка прыгала у ее ног, приминая легкими лапками траву, которую я не смог бы согнуть.

Наконец она двинулась в путь, а светлые духи поджидали ее и пели так:

Владыке нашему Господь
Дал полноту щедрот.
Владыке нашему Господь
Дал силу над врагом:
Плясать он будет перед Ним
Послушнейшим рабом.
Подставкой прочною для ног
И преданным конем
Отныне станет бывший враг,
Исполнен ныне срок.
Владыке будет власть дана
Над силою враждебной.
Огнем в крови его она
Теперь кипит целебным.
Всех нас, Владыка, покори,
Чтоб мы собою стали.
Тебя как утренней зари
Мы жаждали и ждали.
Владыку нашего Господь
Поставил на престоле.
Отныне все — и дух, и плоть —
Его покорны воле.

— А все же,— сказал я учителю, когда сверкающее шествие скрылось под сенью леса,— я и сейчас не во всем уверен. Неужели так и надо, чтобы его страдания, пусть и выдуманные, не тронули ее?

— Разве ты хотел, чтобы он мог и сейчас ее мучить? Он мучил ее много лет подряд там, на Земле.

— Нет, конечно, не хочу.

— Так что же?

— Я и сам не знаю... Иногда говорят, что гибель одной-единственной души обращает в ложь радость всех блаженных.

— Как видишь, это не так.

— А должно быть так.

— Звучит милосердно, но подумай сам, что за этим кроется.

— Что?

— Люди, не ведающие любви и замкнутые в самих себе, хотели бы, чтобы им дали шантажировать других. Чтобы пока они не захотят стать счастливыми на их условиях, никто не знал бы радости. Чтобы последнее слово осталось за ними. Чтобы ад запрещал раю.

— Я совсем запутался.

— Сынок, сынок, третьего не дано! Есть два решения: день настанет, когда горетворцы не смогут больше препятствовать радости, или они всегда, вовек будут разрушать радость, от которой отказались. Я знаю, очень благородно говорить, что не примешь спасения, если хоть одна душа останется во тьме внешней. Но не забудь о подвохе, иначе собака на сене станет тираном мироздания.

— Значит... нет, сказать страшно! Значит, жалость может умереть?

— Не так все просто. Действие, именуемое жалостью, пребудет вечно, страсть, именуемая жалостью, умрет. Страсть жалости, страдание жалости, боль, понуждающая нас уступить, где не надо, и польстить там, где нужно сказать правду, жалость, погубившая много чистых женщин и честных чиновников,— умрет. Она была орудием плохих против хороших, и оружие это ломается.

— А другая жалость, действие?

— Это оружие добрых. Она летит быстрее света с высот в низины, чтобы исцелить и обрадовать любой ценой. Она обращает тьму в свет, зло — в добро. Но она не может отдать добро в рабство злу. Все, что можно исцелить, она исцелит, но не назовет алое желтым ради тех, кто болен желтухой, и не вырвет все цветы в саду ради тех, кто не выносит роз.

— Вы говорите, она летит в низины. Но Сарра Смит не пошла с Фрэнком в ад.

— Куда же ей, по-твоему, надо было идти?

— Ну, к той расщелине, вон там. Отсюда не видно, но вы ведь знаете, автобус там остановился.

Учитель странно улыбнулся.

— Смотри,— сказал он и опустился на четвереньки. Я опустился тоже, хотя коленям было очень больно, и увидел, что он сорвал травинку и кончиком ее показал мне крохотную трещину в земле.— Точно не скажу,— проговорил он,— та ли это трещина или нет. Но та, через которую прошел ваш автобус, никак не больше.

Я удивился, даже испугался.

— Да я же видел бездну! — воскликнул я.— Высокие скалы!

— Верно,— отвечал он.— Но ты не только двигался, ты увеличивался.

— Значит, ад... и все это пустое пространство... помещаются в такой трещине?

— Да. Ад меньше земного камешка, меньше райского атома. Взгляни на бабочку в нашем, истинном мире. Если бы она проглотила весь ад, она бы и не заметила.

— Там, в аду, он кажется очень большим.

— Вся злоба его, вся зависть, все одиночество, вся похоть — ничто перед единым мигом райской радости. Зло даже злом не может быть в той полноте, в какой добро есть добро. Если б все мучения помыслились вон той птичке, она проглотила бы их, как ваш земной океан проглотил бы каплю чернил.

— Теперь я понял,— сказал я,— Сарра Смит не *уместится* в аду.

Учитель кивнул.

— Да,— отвечал он,— ад не может широко разинуть свою пасть.

— А Сарра не могла бы стать меньше, как Алиса в стране чудес [26]?

— Погибшая душа бесконечно мала, ее почти нет, она совсем усохла, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потом не может давать, вкушать, видеть.

— Значит, никому до нее не достучаться?

— Только Высший из всех может так умалиться, чтобы войти в ад. Чем ты выше, тем ниже можешь спуститься: человек способен привязаться к лошади, но лошадь не привяжется к мыши. Один Христос спустился туда, к ним.

— Спустится ли Он снова?

— Время здесь не такое, как на Земле. Те дни, когда Он был в аду, обнимали все минуты, которые были, есть и будут. В темнице нет никого, кому бы Он не проповедовал.

— Кто-нибудь услышал Его?

— Да.

— Вы писали,— сказал я,— что спасутся все, и апостол Павел так пишет [27].

— Наверное, все и будет хорошо, как сказал Спаситель святой Иулиании Норичской [28], но нам с тобой не стоит толковать о таких вещах.

— Потому что они слишком страшны?

— Нет. Потому что ответ обманет. Если ты внутри, во времени, и спрашиваешь, как тебе поступить,— ответ прост. Ты на распутье, и ни один из путей не закрыт для тебя. Человек волен избрать вечную смерть, кто выберет ее — ее и получит. Но если ты пытаешься выйти в вечность и увидеть, как все *будет* (иначе сказать ты не сумеешь) тогда, когда все возможности сменятся единственно сущим, ты спрашиваешь о том, чего тебе не понять. Ты смотришь сквозь маленькие и ясные стекла времени. Свобода — дар, сильнее всего уподобляющий тебя Творцу, но увидеть ее ты можешь только в перевернутый бинокль, иначе она была бы слишком велика для тебя. Перед тобой сменяются диапозитивы мгновений, и во всякий из них ты волен сделать выбор. Но смена этих временны́х кусочков, призрак того, «что могло бы быть»,— еще не свобода, это все стекла, линзы. Я говорю сейчас притчами, но они верней философских выкладок или мистических откровений, которые тщатся проникнуть глубже. Любая попытка увидеть облик вечности прямо, без этой линзы, искажает или уничтожает то, что знаешь о свободе. Вспомни доктрину предопределения. Она стоит на том, что Присносущий не дожидается будущего, и она права, но правоту эту покупает ценой свободы — истины важнейшей и глубочайшей из двух. Доктрина всеобщего спасения тоже поступается половиной правды. Тебе не понять вечности, пока ты во времени. Господь сказал, что мы — боги [29]. Долго ли можешь ты без линзы смотреть на безмерность собственной души и вечную реальность выбора?

Вдруг все изменилось. Я увидел огромных людей, неподвижно и безмолвно стоявших у серебряного столика. На нем, словно шахматные фигурки, передвигались люди крохотные, и я знал, что каждый из них представляет кого-нибудь из огромных, выражает, как в пантомиме, его глубинную природу. Люди-шахматы были мужчинами и женщинами, как они представляются друг другу и самим себе при жизни. Стол был временем. Огромные люди, глядящие на все это,— бессмертными душами шахматных. Голова закружилась у меня, я схватил учителя за руку и крикнул:

— Неужели это так? Значит, все, что я тут видел,— неправда? Значит, беседы призраков и духов — условное действо, а исход предрешен давным-давно?

— С таким же успехом ты можешь назвать это предвосхищением того, последнего выбора. А лучше не называть ни так, ни так. Ты видел ход событий немного четче, чем там, на Земле,— стекло тут яснее. Но смотрел ты все еще сквозь него. Не жди от сна больше, чем он может дать.

— От сна? Значит я... еще... еще не здесь?

— Нет, сынок,— мягко сказал он и взял меня за руку.— Радоваться рано. Тебе еще предстоит испить горький напиток смерти. Ты видишь сон. Если будешь рассказывать его, говори ясно, что это было во сне. Не давай им, бедненьким, повода думать, что они или ты заглянули туда, куда не заглянуть смертным. Я не хотел бы, чтобы мои дети стали сведенборгами [30].

— Упаси Господи!— сказал я по возможности мудрым тоном.

— Господь и упас. Он это запретил.— Тут учитель снова стал на вид истиннейшим шотландцем. Я жадно глядел на него. Столик и фигурки исчезли, нас окружали тихие леса, залитые мирным предрассветным светом. Я стоял спиной к востоку, учитель — лицом ко мне. Вдруг лицо его осветилось, и высокий папоротник у него в руках вспыхнул золотом. Тени потемнели. Все время, что я был тут, птицы щебетали и хлопотали, а сейчас они запели хором, и бесчисленные духи запели, и ангелы, и сам лес. Я осторожно взглянул через плечо и, кажется, увидел на секунду краешек солнца, золотыми стрелами поражающего время, изгоняющего все призрачное. Я закричал, кинулся к учителю и уткнулся лицом в складки его одеяния. «Утро! — плакал я.— Утро застало меня, а я только призрак!» Свет всем своим весом обрушился на меня. Складки одеяния стали складками старой, залитой чернилами скатерти, в которую я вцепился, падая со стула, тяжелые слитки света — моими книгами. Я лежал в холодной комнате у черного, остывшего камина, и часы били трижды над моей головой.

ТРАКТАТЫ

СТРАДАНИЕ

Сын Божий страдал до смерти не для того, чтобы мы не страдали, но для того, чтобы страдания наши стали такими, как у Него.

Дж. Макдональд.
Непроизнесенные проповеди [2]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Эшли Сэмсон предложил мне написать эту книгу [3], я попросил разрешения скрыть свое имя, так как мои призывы к мужеству насмешили бы тех, кто меня знает. М-р Сэмсон не согласился (в этой серии книг все пишут под своими именами), но посоветовал мне сообщить в предисловии, что я сам не придерживаюсь своих принципов. Это я и делаю. Одновременно признаюсь, что, говоря словами Уолтера Хилтона, в этой книге «я столь далек от того, о чем пишу, что могу лишь взывать к вашему милосердию»*. Вряд ли хоть один человек на свете лучше защищен от недооценки страдания, чем я. Добавлю, что единственная цель книги — разрешить интеллектуальную проблему, которую ставит перед нами страдание. Я не так глуп, чтобы учить других терпению и силе, и мне нечего предложить читателю, кроме убежденности в том, что если страдание неизбежно — капля мужества поможет больше, чем реки знаний, капля жалости — больше, чем реки мужества, а любовь Господня — больше всего.

Настоящий богослов легко увидит, что писал эту книгу богослов ненастоящий. Везде, кроме двух последних глав, где я намеренно предлагаю собственные гипотезы, я, насколько мне известно, просто пересказываю старые и ортодоксальные доктрины. А любое новшество, если оно есть, прокралось сюда помимо моей воли, по моему неведению. Я всячески пытался не сказать ничего, во что не верят все христиане.

Поскольку это не ученый труд, я не всегда даю сноски и пояснения к цитатам. Любой богослов поймет и так, как мало я читал и что именно.

Модлин Колледж, Оксфорд *1940*

---

* Школа совершенства, I, XVI. (Звездочками отмечены примечания К. С. Льюиса — *Прим. ред.*)

I. ВВОДНАЯ ГЛАВА

Ни один автор канонических книг не воспользовался природой, чтобы доказать существование Бога.

Б. Паскаль.
Мысли [4].

Если бы несколько лет назад, когда я еще был атеистом, меня спросили, почему я не верю в Бога, я ответил бы примерно так: «Посмотрите на мир, в котором мы живем. Почти весь он состоит из пустого, темного, немыслимо холодного пространства. В нем так мало небесных тел и сами они так малы по сравнению с ним, что, даже будь они все населены счастливейшими существами, нелегко поверить, что сотворившая их сила имела в виду именно их счастье и жизнь. На самом же деле ученые считают, что планеты есть у очень немногих звезд (быть может, только у нашего Солнца), а в Солнечной системе населена, по-видимому, одна Земля. И более того, миллионы лет жизни на ней не было. Да и что это за жизнь? Все формы ее существуют, уничтожая друг друга. В самом низу это приводит к смерти, но выше, когда включены чувства, это порождает особое явление — боль. Живые существа причиняют боль, рождаясь на свет, и живут чужой болью, и в боли умирают. На самом же верху, у человека, есть еще одно явление — разум; он может предвидеть боль, предвидеть смерть, а кроме того, способен измыслить гораздо больше боли для других. Способностью этой мы воспользовались на славу. Человеческая история полна преступлений, войн, страданий и страха, а счастья в ней ровно столько, что, пока оно есть, мы мучительно боимся его потерять, когда же оно ушло — страдаем еще больше. Время от времени жизнь становится вроде бы получше, создаются цивилизации. Но все они гибнут, да и в них принесенные ими облегчения вполне уравновешиваются новыми видами страданий. Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что в нашей цивилизации равновесие это достигается, и многие согласятся, что сама она исчезнет, как все прежние. А если не исчезнет, что с того? Мы все равно обречены, весь свет обречен, ибо, как говорит нам наука, Вселенная станет когда-нибудь единообразной, бесформенной и холодной [5]. Все сюжеты кончатся ничем, и жизнь окажется на поверку лишь мимолетной, бессмысленной усмешкой на идиотском лице природы. Я не верю, что все это сотворил добрый и всемогущий дух. Или духа такого нет вообще, или он безразличен к добру и злу, или он просто зол».

Одно не приходило мне в голову: я не замечал, что сама сила и простота этих доводов ставит новую проблему. Если мир так плох, почему люди решили, что его создал мудрый Творец? Быть может, люди глупы — но не настолько же! Трудно представить себе, что, глядя на страшный цветок, мы сочтем благим его корень, или, видя нелепый и ненужный предмет, решим, что создатель его умен и умел. Мир, известный нам по свидетельству чувств, не мог бы стать основанием веры; что-то другое должно было породить и питать ее.

Вы скажете, что предки наши были темны и считали природу лучшей, чем считаем ее мы, знакомые с успехами науки. И ошибетесь. Людям давно известно, как чудовищно велика и пуста Вселенная. Вы читали, наверное, что в средние века Земля казалась людям плоской, а звезды — близкими; но это неправда. Птолемей [6] давно сказал, что Земля — математическая точка по сравнению с расстоянием до звезд, а расстояние это в одной очень старинной книге определяется в сто семнадцать миллионов миль. Да и дальше, с самого начала, другие, более явные вещи давали людям ощущение враждебной бесконечности. Для доисторического человека соседний лес был достаточно велик и так же чужд и зол, как чужды и злы для нас космические лучи или остывающие звезды. Боль, страдание и непрочность человеческой жизни всегда были известны людям. Наша вера возникла среди народа, зажатого между великими воинственными империями, подвергавшегося нашествиям, уводимого в плен, познавшего трагедию побежденных, как Армения или Польша. Нелепо считать, что страдание открыла наука. Отложите эту книгу и подумайте пять минут о том, что все великие религии возникли и много веков развивались в мире, где не было наркоза.

Словом, в любое время трудно было выводить мудрость и благость Творца из наблюдений над миром *. Религия рождалась иначе. Сейчас я буду описывать *происхождение* веры, а не защищать ее самое,— мне кажется, без этого нельзя поставить правильно вопрос о страдании.

Во всех развитых религиях мы обнаруживаем три элемента (в христианстве, как вы увидите, есть еще и четвертый). Первый из них — то самое, что профессор Отто называет «ощущением священного» [7]. Тем, кто не встречал этого термина, я его попытаюсь объяснить. Если вам скажут: «В соседней комнате — тигр», вы испугаетесь. Но если вам скажут, что в соседней комнате привидение, и вы поверите, вы испугаетесь иначе. Дело тут не в опасности — никто толком не знает, чем опасно привидение, а в самом факте. Такой страх перед неведомым можно назвать ужасом или жутью. Здесь мы касаемся каких-то границ «священного». Теперь представьте себе, что вам скажут просто: «В соседней комнате — могучий дух». Страх, чувство опасности будут еще меньше, смущение — еще больше. Вы ощутите несоответствие между собой и этим духом и даже преклонение перед ним, то есть чувство, которое можно выразить словами Шекспира: «Мой дух подавлен им» [8]. Вот это и есть благоговейный страх перед тем, что мы назвали «священным».

Нет сомнений, что человек с очень давних времен ощущал мир как вместилище всяческих духов. Вероятно, профессор Отто не совсем прав и духи эти не сразу стали вызывать «священный

* Я хочу сказать, что никто так не делал при возникновении веры. Когда вера уже есть, многие пытаются объяснить (или отрицать) изобилие бед в так называемых теодицеях.

страх». Доказать это нельзя, ибо язык не различает толком страх перед священным и страх перед опасностью — мы и сейчас говорим, что «боимся привидений» и «боимся повышения цен». Вполне возможно, что когда-то люди просто боялись духов, как тигров. Несомненно другое: теперь, в наши дни, «ощущение священного» существует и мы можем проследить его далеко в глубь веков.

Если мы не слишком горды, чтобы искать примеры в детской книжке, прочитаем отрывок из «Ветра в ивах»[9], где Крыс и Крот подходят все ближе к Духу Острова. «Крыс,— чуть слышно прошептал Крот,— а ты не боишься?» — «Боюсь? — переспросил Крыс, и глазки его засияли несказанной любовью.— Ну что ты! А все-таки... ой, Крот, я так боюсь!»

Продвинувшись на век дальше, мы найдем примеры у Уордсворта в замечательном отрывке из первой книги «Прелюдии», где он описывает свои ощущения от прогулки на лодке пастуха [10], еще дальше — у Мэлори [11], где сэр Галахад «задрожал, ибо смертная его плоть коснулась невидимого»*. В начале нашей эры мы прочитаем в Откровении, что Иоанн Богослов пал к ногам Христа «как мертвый»[12]. В языческой поэзии мы найдем у Овидия ** строку о месте, где «numen inest»[13]; а Вергилий описывает дворец Латина, который «рощей... был окружен и священным (religione) считался издревле»***. В греческом фрагменте, приписываемом Эсхилу, увидим слово о том, как море, земля и горы трепещут «под страшным оком своего господина»****. Продвинемся еще, и пророк Иезекииль скажет нам о небесных колесах, что «страшны были они» (Иез. 1, 18), а Иаков, вставши ото сна, воскликнет: «Страшно сие место!» (Бт. 28, 17).

Мы не знаем, как далеко можно было бы еще продвигаться. Самые древние люди почти наверняка верили в вещи, которые вызвали бы такое чувство *у нас,*— и только в этом смысле мы и вправе сказать, что «ощущение священного» старо, как человечество. Но дело не в датах. Дело в том, что когда-то, на какой-то ступени ощущение это возникло, и укоренилось, и не ушло, несмотря на весь прогресс науки и цивилизации.

Ощущение, о котором мы говорим, не порождено воздействием видимого мира. Вы можете сказать, что для древнего человека, окруженного бесчисленными опасностями, вполне естественно было измыслить неведомое и «священное». В определенном смысле вы правы — и вот в каком: вы сами человек, как и он, и вам легко представить, что опасность и затерянность вызовут в вас такое чувство. Нет ни малейших оснований полагать, что у другого вида сознания мысль о ранах, боли или смерти приведет к такому ощущению. Переходя от телесного страха к «страху и трепету»[14], человек прыгает в бездну; он узнает то, что не может быть *дано* в физическом опыте и в логических выводах из него. Научные

* XVII, 21.
** Фасты, III, 296.
*** Энеида, VII, 172.
**** Фрагм. 464.

объяснения сами нуждаются в объяснении — скажем, антропологи выводят вышеназванное чувство из «страха перед мертвыми», не открывая нам, почему столь безобидные существа, как мертвые, вызывают страх. Мы же подчеркиваем, что ужас и жуть находятся совсем в других измерениях, чем страх перед опасностью. Никакое перечисление физических качеств не дает представления о красоте тому, кому она неведома; так и тут: никакое перечисление опасностей не дает и малого представления о том особом чувстве, которое я пытаюсь описать. По-видимому, из него логически вытекают лишь две точки зрения: или это болезнь нашей души, ничему объективному не соответствующая, но почему-то не исчезающая даже из таких полноценных душ, как души мыслителя, поэта или святого; или же это — ощущение действительных, но внеприродных явлений, которое мы вправе назвать откровением.

Однако «священное» — не то же самое, что «доброе», и одержимый ужасом человек, предоставленный самому себе, может подумать, что оно «по ту сторону добра и зла». Тут мы переходим ко второму элементу веры. Все люди, о которых есть хотя бы малейшее свидетельство, признавали какую-то систему нравственных понятий — о чем-то могли сказать «я должен», о чем-то «нельзя». Этот элемент тоже не может быть прямо выведен из простых, видимых фактов. Одно дело «я хочу», или «меня заставляют», или «мне выгодно», или «я не смею», и совершенно другое — «я должен».

Как и в первом случае, ученые объясняют этот элемент тем, что само нуждается в объяснении, скажем (как знаменитый отец психоанализа), неким доисторическим отцеубийством [15]. Отцеубийство породило чувство вины лишь потому, что люди сочли его злом. Нравственность — тоже прыжок через пропасть от всего того, что может быть дано в опыте. Однако в отличие от «страха и трепета» она обладает еще одной важной чертой: нравственные системы различны (хотя и не настолько, как думают), но все они до единой предписывают правила поведения, которых сторонники их не выполняют. Не чужой кодекс, а свой собственный осуждает человека, и потому все люди живут в ощущении вины. Второй элемент религии — не просто осознание нравственного закона, но осознание закона, который мы приняли и не выполняем. Этого нельзя ни логически, ни как-либо иначе вывести из фактов опыта. Или это необъяснимая иллюзия, или — все то же откровение.

Нравственное чувство и «ощущение священного» так далеки друг от друга, что они способны очень долго существовать, не соприкасаясь. В язычестве сплошь и рядом почитание богов и споры философов никак между собой не связаны. Третий элемент религиозного развития возникает тогда, когда человек их отождествляет,— тогда, когда божество, внушающее трепет, воспринимается и как страж нравственности. Быть может, и это кажется нам естественным. Действительно, людям это свойственно; но «само собой» это никак не разумеется. Мир, населенный

божествами, ведет себя совсем не так, как велит нам нравственный кодекс,— он несправедлив, безразличен и жесток. Не объяснит ничего и предположение, что нам просто хочется так думать,— кто захочет, чтобы нравственный закон, и сам по себе нелегкий, был облечен загадочной властью «священного»? Без сомнения, этот прыжок — самый удивительный, и не случайно сделали его не все; вненравственная религия и внерелигиозная нравственность существовали всегда, существуют и теперь. Наверное, лишь один народ совершил его полностью; но великие личности всех стран и времен тоже совершали его на свой страх и риск, и лишь они спасались от непотребства и дикости вненравственной веры или от холодного самодовольства чистой морали. Логика не побуждает нас к этому прыжку, но что-то иное влечет к нему, и даже в пантеизме или язычестве нет-нет да проступит нравственный закон; даже сквозь стоицизм проглянет какое-то почтение к Богу [16]. Быть может, и это — безумие, соприродное человеку и почему-то приносящее прекрасные плоды. Но если это — Откровение, то поистине в Авраама благословились племена земные [17], ибо одни евреи смело и полностью отождествили то страшное, что живет на черных вершинах гор и в грозовых тучах, с Господом *праведным,* Который «любит правду» (Пс. 10,7).

Четвертый элемент появился позже. Среди евреев родился Человек, Который назвал Себя Сыном страшного и праведного Бога. Более того, Он сказал, что Он и этот Бог — одно. Претензия эта так ужасна, так нелепа и чудовищна, что на нее могут быть лишь две точки зрения: или этот человек был безумцем самого гнусного рода, или Он говорил чистую правду. Третьего не дано. Если другие свидетельства о нем не дают вам склониться к первой точке зрения, вы обязаны принять вторую. А если вы приняли ее, все, что утверждают христиане, станет возможным. Уже нетрудно будет поверить, что Человек этот воскрес, а смерть Его каким-то непостижимым образом изменила в лучшую сторону наши отношения со страшным и праведным Богом.

Спрашивая, похож ли видимый мир на творение мудрого и доброго Создателя или скорее на что-то бессмысленное, если не злое, мы отметаем все, что есть важного в религиозной проблематике. Христианство не выводится из философских споров о рождении Вселенной; оно — сокрушительное историческое событие, увенчавшее долгие века духовной подготовки. Это не система, в которую надо как-то втиснуть факт страдания; это — факт, с которым приходится считаться любым нашим системам. В определенном смысле оно не разрешает, а ставит проблему страдания — в страдании не было бы проблемы, если бы, живя в этом кишащем бедами мире, мы не верили в то, что последняя реальность исполнена любви.

Я постарался рассказать о том, почему вера представляется мне обоснованной. Логика к ней не понуждает. На любой ступени развития человек может взбунтоваться, в определенном смысле насилуя свою природу, но не погрешая против разума. Он может

закрыть глаза и не видеть «священного», если он готов порвать с половиной великих поэтов и со всеми пророками и с собственным детством. Он может счесть вымыслом нравственный закон и отрезать себя от человечества. Он может не признать единства Божественного и праведного и стать дикарем, обожествляющим пол, или смерть, или силу, или будущее. Что же до исторического Воплощения, оно требует особенно сильной веры. Оно до странности похоже на многие мифы — и не похоже на них. Оно не поддается разуму, его нельзя выдумать, и нет в нем подозрительной, априорной ясности пантеизма или ньютоновой физики. Оно произвольно и непредсказуемо, как тот мир, к которому приучает нас понемногу современная физика, мир, где энергия — в каких-то крохотных сгустках, где скорость не безгранична, где необратимая энтропия придает направление времени, а Вселенная движется, как драма, от истинного начала к истинному концу. Если весть из самого сердца реальности способна достичь нас, ей вроде бы пристала та неожиданность, та упрямая сложность, которую мы видим в христианстве. Да, в христианстве есть именно этот резкий привкус, именно этот призвук истины, не созданной нами и даже не созданной для нас, но поражающей нас, как удар.

Если, поверив этому чувству или другим, лучшим доводам, мы пойдем по пути, по которому ведут человечество, и сделаемся христианами, перед нами встанет проблема страдания.

II. ВСЕМОГУЩЕСТВО БОЖИЕ

> Ничто, приводящее к противоречию, не входит во всемогущество Бога.
>
> *Фома Аквинский. Сумма теологии* [18]

«Если Господь благ, Он хочет счастья Своим созданиям, а если Он всемогущ, Он может все, что хочет. Однако создания Его несчастливы. Значит, Бог недостаточно благ или недостаточно могуществен». Так ставится в самой простой форме проблема страдания. Чтобы ответить, надо прежде всего определить, что такое благость и что такое могущество, а может быть, и что такое счастье: ведь если верны лишь обычные, привычные значения этих слов, на довод этот ответить невозможно. Сейчас мы поговорим о всемогуществе, а потом — о благости.

Всемогущество означает «способность делать все»*. В Писании сказано, что Богу все возможно [19]. Обычно, споря с неверующими, мы слышим от них, что Бог, если бы Он был, сделал бы то-то и то-то, а когда мы отвечаем, что это невозможно, они говорят: «Как же так? А я думал, что Бог у вас может все». Тем самым, встает вопрос о том, что такое «невозможно».

---

* Первоначальное латинское значение слова — это «власть *над* всем». Я даю обычное понимание.

Когда мы говорим «невозможно», мы обычно опускаем еще какую-нибудь фразу, начинающуюся со слов «если только не». Так, оттуда, где я пишу, невозможно увидеть улицу, если только не обрушится передо мною стена. Но можно ведь сказать иначе: «Оттуда, где я пишу, невозможно увидеть улицу, если все останется, как есть». Конечно, можно и тут прибавить: «Если только не изменится природа пространства» или «природа зрения» и т. п. Не знаю, что сказали бы на это настоящие философы и ученые, но я бы ответил: «Не уверен, что пространство или зрение *могли бы* так измениться». Слова «могли бы» соотносятся здесь с некоей абсолютной невозможностью, отличающейся от возможностей и невозможностей относительных, о которых мы говорили до сих пор. Я не уверен в том, что вообще возможно видеть по кривой, потому что я не знаю, есть ли в этом внутреннее противоречие. Зато я знаю, что, если это противоречие есть, это совершенно невозможно. Таким образом, абсолютно невозможное мы вправе назвать внутренне невозможным, так как оно несет свою невозможность в себе, а не заимствует ее из других, относительных невозможностей. К нему не приставишь «если только не». Оно невозможно никому, нигде и никогда.

Говоря «никому», я включаю сюда и Бога. Всемогущество — это сила, позволяющая делать все, что внутренне возможно, и не более того. Бог творит чудеса, но не чепуху. Мы не ставим здесь предела Его всемогуществу. Ведь если мы скажем: «Бог может дать существу свободную волю и в то же время не давать ему свободной воли», мы не скажем о Боге *ничего:* бессмысленные сочетания слов не обретут значения оттого, что мы приставили к ним еще два слова: «Бог может». *Все,* то есть все вещи и действия, возможно Богу; а внутренне невозможное — не вещь и не действие, ничто. Бог не больше нас способен сочетать несочетаемое — не потому, что воля Его натолкнется на препятствие, а потому, что чепуха остается чепухой, даже когда мы говорим о Боге.

Однако надо помнить, что люди ошибаются, они часто считают невозможным возможное, и наоборот *. Поэтому будем очень осторожны, признавая то или иное внутренней невозможностью. Все дальнейшее в этой главе рассматривайте не как утверждение, а как предположения и догадки.

На первый взгляд «законы природы», глухие к страданию и молитве,— сильный довод против благости и силы Божией. Сейчас я попытаюсь показать, что даже Всемогущество не может создать общества свободных душ, не создавая при этом относительно независимой и «непреклонной» природы.

По всей вероятности, самосознание — осознание себя — может существовать лишь по контрасту с «другими». Осознать свое «я» можно лишь на фоне окружения, особенно — общества других «я». Если бы мы были теистами, это ставило бы нас в тупик, но учение о Пресвятой Троице показывает нам, что некое подобие

* Например, зрителям кажется, что хороший фокус противоречит сам себе.

«общества» извечно и в Боге; мы знаем, что Бог есть любовь не только в платоновом смысле [20], но и в том, что в Нем взаимная любовь существует прежде всех миров и потом уже сообщается Его творениям.

Кроме того, свобода означает свободу выбора, а выбор предполагает, что есть из чего выбирать, есть предметы. В пустоте выбирать нечего; и потому свобода, как и самосознание (если они не одно и то же), предполагает существование чего-то иного, чем ты сам.

Минимальное условие самосознания и свободы — чтобы создание воспринимало Бога и отличало себя от Бога. Быть может, и есть существа, сознающие Бога и себя, больше никого. Если они есть, выбор их прост: любить себя больше Бога или Бога больше, чем себя. Но мы такую жизнь вообразить не можем. А как только мы введем взаимное осознание тварных существ, мы не обойдемся без «природы».

Нам часто кажется, что очень легко общаться двум чистым сознаниям. Но я просто не вижу, как им общаться без внешнего мира, без «среды». Даже смутные наши попытки представить себе общение бестелесных душ предполагают общее пространство и общее время. Но этого мало. Если бы ваши желания и мысли воспринимались мною прямо, как мои собственные, как бы я их отличил? Да и о чем нам думать тогда и чего хотеть? Если вы христианин, вы можете ответить мне, что Бог (и дьявол) действует на наше сознание именно так, прямо. Да, и потому очень многие о них и не подозревают. Можно предполагать, что если бы души человеческие действовали друг на друга прямо и нематериально, то лишь очень сильная вера и очень большое прозрение убеждали бы нас в бытии нам подобных. Знать ближнего было бы труднее, чем знать Бога, потому что сейчас мне помогают вещи, доходящие до меня через внешний мир,— Предание, Писание, слова благочестивых друзей. Для существования человеческого общества необходима нейтральная среда. Она у нас и есть. Я могу говорить с вами, потому что мы оба можем посылать друг другу воздушные волны. Материя, разъединяющая души, и соединяет их. Благодаря ей у каждого из нас есть «внешнее»; а то, что для вас — акты мысли и воли, становится для меня зрением и звуком. Благодаря ей вы можете не только *быть,* но и *являться.*

Итак, общество предполагает некое общее поле, среду. Если есть общество ангелов (а мы в это верим), у них тоже должна быть какая-то среда, то, что для них — как материя для нас в нынешнем, а не схоластическом значении этого слова.

Но если материя служит нейтральным полем, у нее должна быть своя определенная природа. Если бы в материальной системе обитало лишь одно существо, она могла бы поминутно изменяться по его желанию. Но если ввести в такой мир и другое существо, оно уже действовать не сможет. Оно вряд ли даже смогло бы сообщить о себе тому, первому, потому что вся материя была бы в чужой, а не в его власти.

Если же материя обладает определенной природой и подчиняется законам, то не все состояния материи будут приятны той или иной душе и одинаково благотворны для материального ее дополнения, называемого телом. Огонь греет тело на одном расстоянии, сжигает на другом. Даже в совершенном мире нужны те сигналы опасности, которые, по-видимому, и передает наша нервная система. Значит ли это, что зло (в форме боли) неизбежно в любом из возможных миров? Я думаю, нет: если грех дурен даже в минимальной дозе, боль до определенного уровня злом не становится, она не страшна и не дурна. Никто не возразит против того, что поближе к огню — чуть жарче и дальше идти нельзя; а когда после долгой прогулки у нас побаливают ноги, нам даже приятно.

Но и это не все. Еще менее возможно, чтобы материя мира была одинаково приятна каждому в каждый момент. Если кто-либо спускается с горы, то идущий ему навстречу должен подниматься на гору. Если камешек лежит там, где я хочу, он не может лежать там, где хотите вы,— разве что желания наши случайно совпадают. Это совсем не зло: без этого не было бы всех тех уступок, жертв и подарков, без которых любви, доброте и деликатности не выразить себя. Но именно это открывает путь и величайшему злу — соперничеству и вражде. А поскольку души свободны, они вольны выбирать и вежливость, и соперничество. Выбравши же вражду, они могут использовать природу во вред другим. Природа дерева позволяет сделать из него и посох, и дубину. Природа материи вообще означает, что в сражении победу одержат более искусные, лучше вооруженные, превосходящие числом воины, даже если их цели и несправедливы.

Наверно, можно представить себе мир, в котором Бог то и дело выправляет злоупотребления свободной воли,— дубина становится мягкой, а воздух не может передать звуковые волны оскорбительных слов. Но в этом мире не будет свободы воли, даже помыслов дурных там не будет, клетки мозга откажутся их обрабатывать. Мы, христиане, верим, что Бог может менять поведение материи и прибегает иногда к этой возможности, творя чудеса, но чудо на то и чудо, что оно исключительно редко. Играя в шахматы, вы можете вдруг поддаться сопернику, и это будет выглядеть так же, как чудо по отношению к законам природы. Вы можете отдать ладью или позволить, чтобы соперник вернул ошибочный ход. Но если вы уступите ему во всем — будете возвращать все ходы, а ваши фигуры исчезнут, как только его позиция покажется ему не совсем удовлетворительной,— игры не будет. Твердые законы, причинно-следственные связи, весь природный порядок — это и рамки, в которые вписана жизнь наших душ, и непременные условия этой жизни. Попробуйте исключить отсюда ту возможность страдания, которую неизбежно порождают и природный порядок, и наличие свободных воль,— и вы увидите, что исключили саму жизнь.

Повторяю: все это домыслы. Лишь у Господа достаточно данных и мудрости, чтобы знать, каков мир, но думаю, что мир *не*

проще этого. Надеюсь, вы понимаете, что сложен он лишь для нас, людей,— это нам его трудно постичь. Бог не ведет рассуждения, как мы, но знает все сразу в едином и полном акте творения; нам же представляется, что Он создал много независимых людей и вещей, а потом — что Он создал вещи, необходимые друг другу. Даже мы можем взглянуть на дело проще, учитывая не только «множественность» и «отдельность» вещей, но и их «совместность». Чем больше мы думаем, тем яснее нам единство творческого акта и тем труднее помыслить и представить, что тот или иной его элемент можно было бы устранить. Наверно, это не лучший из возможных миров [21], но просто единственно возможный. Что такое «возможные миры», как не миры, которые Господь мог бы создать и не создал? Но размышления о том, что́ Бог «мог бы», предполагают очень антропоморфное представление о Божьей свободе. Что бы ни означала свобода человеческая, свобода Божья — не выбор из альтернатив. Совершенное добро знает оптимальную цель, а совершенная мудрость знает оптимальные средства. Свобода Божья в том, что только Бог творит Свое дело, и никакие внешние препятствия не мешают Ему; в том, что благость Его — корень Его деяний, а всемогущество — воздух, в котором они цветут.

Мы подошли к следующей теме: что же такое благость Божья? До сих пор мы не сказали об этом ничего и никак не ответили тем, кто говорит нам, что, если мир невозможен без страданий, благому Богу лучше было бы его не творить. Предупрежу сразу: я не буду доказывать, что творить все же лучше,— я просто не знаю, какой человеческой меркой можно это мерить, чтобы сравнивать. Я не понимаю, как можно сопоставить бытие и небытие. Что значит «лучше бы мне не жить»? В каком смысле «мне»? Какой мне прок хоть от чего-нибудь, если меня нет? Наша задача не так чудовищна; мы должны понять, как благость Божья совмещается с наличием страданий.

III. БЛАГОСТЬ БОЖЬЯ

> Любовь Господня может терпеть, она может прощать... но она не примирится с недостойным любви... Господь не примирится с твоим грехом, ибо грех не меняется к лучшему; но примирится с тобой, ибо ты исправим.
>
> *Т. Трэерн. Сотницы созерцаний* [22]

Когда мы думаем о благости Божьей, перед нами немедленно встает довольно страшная дилемма.

Если, с одной стороны, Господь мудрее нас, Он судит иначе о добре, о зле и о многом другом. То, что нам представляется благим, может быть дурным для Него, а то, что нам кажется плохим,— для Него не зло.

Но, с другой стороны, если Его нравственный суд отличается от нашего так сильно, что «черное» для нас может быть «белым» для Него, мы не вправе называть Его благим; ведь говоря, что

«Господь благ», а благо Его ни в чем не похоже на наше, мы, в сущности, скажем, что Он обладает каким-то неведомым нам свойством. Такое свойство не дает нам нравственных оснований для любви к Нему и даже для подчинения. Если Он не «добр», не «благ» в нашем смысле слова, мы подчиняемся разве что из страха, а из страха подчинишься и всемогущему злу. Учение о полном нашем ничтожестве — то есть о том, что наша идея добра никуда не годится,— способно превратить христианство в поклонение бесам.

Мы избежим этой дилеммы, если вспомним, что́ бывает здесь, у нас, когда человек низкого нравственного уровня попадает в круг, где люди и лучше и мудрее его, и учится *их* системе ценностей. Я могу рассказать об этом, потому что со мной так и было. Когда я поступил в университет, я был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки. Высшим моим достижением была смутная неприязнь к жестокости и к денежной нечестности; о целомудрии, правдивости и самопожертвовании я знал не больше, чем обезьяна о симфонии. По милости Божьей я встретил молодых людей (из которых ни один не был верующим), в достаточной мере равных мне по уму,— иначе мы просто не могли бы общаться,— но знавших законы этики и пытавшихся им следовать. Их суждения о добре и зле сильно отличались от моих, но мне не пришлось называть белым то, что я прежде назвал бы черным. Новый нравственный кодекс не воспринимается как простая противоположность прежнему, хотя они и впрямь противоположны. Мы точно знаем, куда идем; мы знаем, что новые ценности много лучше скудных проблесков прежнего нашего добра, но связаны с ними и как бы продолжают их. А главное, узнавание этих ценностей сопровождается стыдом и ощущением вины — мы ясно видим, что недостойны наших новых друзей. Вспомним все это, чтобы лучше понять благость Господню. Без всякого сомнения, Он мыслит добро не так, как мы, но нам не надо бояться, что Он потребует просто вывернуть наизнанку наши нравственные принципы. Когда мы увидим, чем Божья этика отличается от нашей, мы и сомневаться не будем, что нам нужно измениться к лучшему в нашем, нынешнем смысле слова. Божье добро отличается от нашего не как белое от черного, а как совершенная окружность от первой детской попытки нарисовать колесо. Выучившись чертить круг, человек знает, что именно это он и пытался сделать с самого начала.

Именно об этом и говорится в Писании. Христос призывает людей покаяться, а это было бы бессмысленно, если бы Его нравственные понятия ничем не походили на те, которые люди знали, но не применяли на практике. Он взывает к нашему суждению: «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» (Лк. 12, 57). В Ветхом завете Господь беседует с людьми, исходя из их представлений о благодарности, верности и честности, и отдает себя на суд собственных созданий: «Какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою?» (Иер. 2, 5).

После этих оговорок я, надеюсь, вправе предположить, что некоторые, пусть не вполне осознанные, представления о благости Божьей не совсем верны.

В наши дни под благостью Божьей мы понимаем прежде всего Его любовь к нам, и в этом мы отчасти правы. Но под любовью почти все мы понимаем доброту, незлобивость, мягкость — желание, чтобы мы были счастливы любой ценой. Нам бы хотелось, чтобы мы делали что угодно, а Он говорил: «Да ладно, пускай поразвлекаются». Нам нужен, в сущности, не Отец, а небесный дедушка, добродушный старичок, который бы радовался, что «молодежь веселится», и создал мир лишь для того, чтобы нас побаловать. Конечно, многие не осмелятся воплотить это в богословские формулы, но чувствуют именно так. И я так чувствую, и я бы не прочь пожить в таком мире. Но совершенно ясно, что я в нем не живу, а Бог тем не менее — Любовь; значит, мое представление о любви не совсем верно.

Я бы и из книг мог узнать, что любовь суровей и прекрасней добродушия; ведь даже любовь мужчины к женщине Данте назвал грозным властелином [23]. В любви есть доброта, но доброта и любовь не одно и то же, а когда доброта (в том смысле, в каком я говорил) отделяется от всего другого, что есть в любви, она окрашивается каким-то безразличием и даже презрением к тому, на кого направлена. Ей неважно, хорош или плох ее предмет, лишь бы он не страдал. В Писании же сказано: «Если же остаетесь без наказания... то вы — незаконные дети, а не сыны» (Евр. 12, 8). Мы хотим счастья любой ценой тем, кто нам безразличен; другу, возлюбленной, детям мы пожелаем скорее страдания, чем недостойного счастья. Если Бог — Любовь, Он по самому определению не только доброта. Он всегда наказывал нас, но никогда не презирал. Господь удостоил нас великой и невыносимой чести: Он любит нас в самом глубоком и трагическом смысле этого слова.

Конечно, отношения Творца и твари нельзя уподоблять полностью отношениям между тварями. Бог и дальше от нас и ближе к нам, чем кто-либо. Различие между чистым бытием и тем, кому бытие дано, такое, что перед ним ничто различие между червем и архангелом. Господь творит, мы сотворены; Он — Начало, мы — производное. Но по той же самой причине никто не близок к нам так, как Он. Мы каждый миг получаем от Него саму жизнь, наша ничтожная и чудотворная свобода воли дарована Им, и сама наша способность к мышлению — лишь Его сила, переданная нам. Такую единственную на свете связь можно понять лишь через аналогии: вникая в разные виды существующей на земле любви, мы получим, быть может, неполное, но полезное представление о том, как Бог нас любит.

Самый низкий вид любви, который и назовешь любовью лишь иносказательно,— то, что чувствует человек к своему творению. Ему уподобляет любовь Господню Иеремия, когда говорит о глине и горшечнике (Иер. 18,4—6), и апостол Петр, когда говорит о живых камнях (1 Пет. 2, 5). Неполнота сравнения в том, что камни

и глина не чувствуют, и потому здесь неприменимы вопросы о правде и милости, которые неизбежно встают, если камни — живые. Вообще же аналогия эта очень важна. Мы не в переносном, а в прямом смысле — произведения Божьи, Он создает нас, а значит, не будет доволен, пока не доведет до Своего замысла. И снова мы сталкиваемся с тем, что я назвал «невыносимой честью». Художник не станет беспокоиться, если набросок, которым он хотел позабавить детей, не совсем такой, как он думал. Но о главной своей картине, которую он любит, как мужчина любит женщину, а мать — ребенка, он беспокоится снова и снова и тем самым беспокоил бы картину, если бы она могла чувствовать. Нетрудно представить, как чувствующей картине, которую скребут, смывают и начинают в сотый раз, хочется быть легкомысленным наброском. И для нас естественно хотеть, чтобы Бог предназначил нам менее славную и утомительную долю; но значит это, что мы хотим, чтобы Он *меньше,* а не больше любил нас.

Другой вид любви — любовь человека к животному, которой Писание еще чаще уподобляет связь Бога с человеком: «...мы — Его, Его народ и овцы паствы Его»[24]. Эта аналогия полнее первой, потому что животное ниже человека, но способно чувствовать; однако она и хуже — ведь человек не создал животное и не совсем его понимает. Главное же достоинство ее в том, что союз человека и, скажем, собаки, нужен прежде всего человеку, но собачьи интересы не принесены в ущерб человечьим. Человек приручил собаку, чтобы любить ее и чтобы она ему служила. Но он не полюбит ее как следует, если она по-своему его не любит, а она не послужит ему, если он не будет по-своему служить ей. Именно потому, что собака, по нашим понятиям, одно из «лучших» животных и достойна любви (конечно, без нелепых преувеличений, словно это не пес, а ребенок), мы занимаемся ею и хотим сделать еще лучше. В естественном состоянии у нее такой запах и такие привычки, что ее не очень-то полюбишь, и мы моем ее, воспитываем, учим не красть, чтобы полюбить как следует. Щенку все это нелегко, и, будь он богословом, он бы серьезно задумался над благостью человеческой, но взрослая, воспитанная собака — здоровее, сильнее, умнее дикой и, как мы благодатью, введена нами в мир неведомых прежде чувств, понятий и радостей. Несомненно, человек (то есть хороший человек) разделяет с собакой все ее мытарства и мучает ее лишь потому, что очень высоко ее ставит, потому, что она почти совсем хороша и стоит сделать ее совершенной. Мы не дрессируем червяка и не купаем уховертку. Быть может, нам и хотелось бы стать для Бога столь ничтожными, чтобы Он отпустил нас на волю наших импульсов, и не ломал, и не мучил. Но и это значит, что мы хотим не большей любви, а меньшей.

Еще выше освященное Евангелием уподобление Господа отцу, нас — Его детям; но всякий раз, когда читается молитва Господня, мы должны помнить, что в тот век и в тех землях отцовская власть была совсем другой. Отец, чуть ли не просящий прощения за то, что он «причинил сыну жизнь»; отец, который из уважения к чужой

свободе не решится хоть в чем-то ограничить сына или даже наставить, не был бы символом любви и власти Божьей. Сейчас я не буду спорить о том, какое отцовство лучше, я просто хочу показать, что́ во времена Спасителя и, конечно, много столетий спустя значило это слово. А еще яснее это станет, если мы вспомним, как Сын, единосущный Отцу и единоначальный Ему, то есть равный, как ни один земной сын не равен своему отцу, воспринимал Свое сыновство, предавал Отцу и Дух Свой, и волю, и даже не разрешал звать Себя благим, ибо так именуют лишь Отца. Любовь Отца и Сына в этом смысле означает любовь-власть и любовь-послушание. Отец делает сына таким, каким должен быть человек с его, отцовской, то есть мудрейшей, точки зрения. Даже сейчас мало кто из отцов скажет: «Пускай будет мерзавцем, лишь бы ему хорошо жилось».

Нам останется самая опасная, самая неполная и самая точная для нас аналогия — уподобление Божьей любви к нам любви мужчины к женщине. Писание его не боится. Израиль — неверная жена, но ее небесный супруг не может забыть былого счастья. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную» (Иер. 2, 2). Израиль — бедная невеста, которую Господь нашел при дороге, и одел, и украсил, но она все же предала Его (Иез. 16, 6—15). Апостол Иаков называет нас прелюбодейцами, ибо мы дружим с миром, а Бог «до ревности любит дух, который Он вложил в нас» (Иак. 4, 4—5)[25]. Церковь — невеста Христова, и Он так ее любит, что не терпит на ней ни пятна, ни порока (Еф. 5, 27). Уподобление это хорошо тем, что такая любовь по самой своей природе требует совершенства любимой и в этом смысле прямо противоположна той доброте, которая стерпит что угодно, лишь бы предмет ее не мучился. Когда мы любим женщину, нам далеко не безразлично, чиста она или грязна, честна или порочна. Скорее именно тогда это становится для нас предельно важным. А разве женщина сочтет признаком любви то, что мужчина не знает и знать не хочет, хороша ли она хотя бы с виду? Конечно, мы можем любить, когда красота исчезнет, но не потому, что она исчезла. Если мы любим, мы можем прощать любые недостатки, но мы не перестанем хотеть, чтобы их не стало. Любовь ощущает пятно и порок сильнее, чем ненависть. Любовь переносит и прощает все, но ничего не попускает. Она радуется малости, но требует всего.

Когда христианство говорит, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог человека *любит,* а не равнодушно желает ему счастья. Мы хотели, чтобы Бог нас любил,— вот Он и любит нас. Такой Господь у нас и есть — не благодушный старичок, разрешающий нам поразвлечься, и не холодный честолюбец, вроде совестливого судьи, не радушный хозяин, но огонь опаляющий, чья любовь упорна, как любовь к творению, жалостлива, как любовь к собаке, мудра и достойна, как любовь к сыну, ревнива, сильна и требовательна, как любовь к женщине. Я не знаю, почему

это так; ум не в силах понять и объяснить, почему создания (тем более такие, как мы) столь ценны в очах Божьих. Бремя это, эту честь мы не можем вынести, мы даже хотим ее только в благодати; мы — как девы из античной драмы, отвергающие любовь Зевса [26]. Но так уж оно есть. Бог говорит с нами как несчастный влюбленный, словно Ему, содержащему в Себе и Начало и Венец всего, что-то нужно от нас. «Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него» (Иер. 31, 20). «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль?.. Повернулось во Мне сердце Мое» (Ос. 11, 8). «Иерусалим, Иерусалим..! сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф. 23, 37).

Итак, страдание людей нельзя примирить с бытием Бога-Любви лишь до тех пор, пока мы понимаем любовь в обычном, пошлом смысле и ставим человека во главу угла. Но человек — не центр. Бог существует не для него, и сам человек существует не для себя. «Ты сотворил все, и *все* по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4, 11). Мы созданы не для того, чтобы мы любили Бога (хотя и для этого), но чтобы Его любовь могла успокоиться нами. Требуя, чтобы Он был доволен нами, какие мы есть, мы требуем, в сущности, чтобы Он перестал быть Богом; но Он — Бог. Его любви противно и невыносимо многое в нас, и, поскольку Он все же нас любит, Он должен сделать нас достойными Своей любви. Мы даже не хотим в лучшие наши минуты, чтобы Он мирился с нашей нечистотой, как не захочет собака, научившаяся любить человека, чтобы человек потерпел в своем доме грязную и блохастую тварь. Бог стремится не к тому, что мы сейчас и здесь зовем «счастьем»; но, когда мы станем достойными Его любви, мы будем счастливы.

Я знаю, что можно ответить на мои рассуждения. Ведь я обещал, что, приближаясь к благости Божьей, нам не придется зачеркнуть нынешнюю нашу этику. И вот мне скажут, что этого я и требую. Любовь, которую я приписываю Богу, зовется здесь, на земле, «эгоистичной» или «своекорыстной», и ей противопоставляют другую любовь, стремящуюся дать радость не себе, а тому, кого любишь. Я не уверен, что согласен с этим взглядом на земную, человеческую любовь. Я не оценил бы высоко любовь друга, который хотел бы, чтобы я был счастлив, а не честен. Однако я рад возражению, ибо ответ на него представит дело в новом свете и выправит неполноту моих рассуждений.

Когда речь идет о любви Творца к Его творению, противопоставление эгоистической и альтруистической любви просто неверно. Ведь здесь невозможно столкновение интересов. Бог не может тягаться с человеком, как не может Шекспир тягаться с Виолой [27]. Когда Он Сам стал человеком и жил как творение среди Своих творений в Палестине, постоянное и полное самопожертвование привело Его на Голгофу. Один современный пантеист сказал: «Когда Абсолют падает в море, он становится рыбой»; а

мы, христиане, можем сказать: когда Господь, совлекшись славы, подчиняет Себя тем условиям, в которых осмысленны слова «эгоизм» и «альтруизм», Он оказывается чистейшим альтруистом. Но к Богу в Его запредельности — к безусловному Началу всех условий — нелегко применить это понятие. Мы зовем любовь эгоистичной, когда человек любит на пользу себе, а не другому,— скажем, когда родители не отпускают взрослых детей, потому что боятся одиночества. Такие коллизии возможны лишь в том случае, если, во-первых, любящему нужно или выгодно одно, а любимому — другое, а во-вторых, любящий не считается с интересами любимого или просто не замечает их. В отношениях Бога к человеку этих условий нет. Богу ничего не «нужно». По учению Платона, человеческая любовь — дитя бедности [28], то есть недостатка, отсутствия: в любимом или есть, или предполагается то, чего не хватает любящему. Но Божья любовь не тянется к нашему добру, а творит его, порождает; все оно — от Бога, ведь Бог и есть Добро. Любовь Его совершенно лишена своекорыстия, Он Сам дает нам все, а получить Ему от нас нечего. И если иногда Он говорит так, словно Его предвечная полнота может в чем-то нуждаться и ждать чего-то от тех, кому Он дал и дает все, начиная от существования, это значит одно (если вообще значит что-то нам понятное): Он каким-то чудом дал Себе эту жажду, создал в Себе то, что мы можем удовлетворить. Если Его трогают куклы, Им Самим сделанные, Он Сам, Всемогущий Господь, и никто иной, свободно пожелал этого в Своем непостижимом смирении. Если Тот, в Ком есть все, решил нуждаться в нас, значит, нам это нужно. Нам полезно познать любовь и полезней всего знать любовь лучшего из любящих — Бога. Но мы ошибемся в самом важном, если сочтем, что Он — для нас, а не мы для Него. Ведь мы — лишь твари и должны быть всегда подчинены Ему, как женщина — мужчине, зеркало — свету, эхо — звуку. Познавая любовь Божью в ее истинном, а не мнимом виде, мы уступаем Его натиску, отвечаем Его желанию; противоположное же чувство — ошибка в грамматике бытия.

Конечно, на определенном уровне можно говорить, что душа ищет Бога, а Бог воспринимает ее любовь; но когда душа ищет Бога, это Он ищет ее, ведь все исходит от Него, и сама наша способность любить Его дарована нам. Это Он дарует нам любовь к Нему, и свободны мы лишь ответить — чуть лучше или чуть хуже. Я думаю, особенно резко отделило языческий теизм от христианства учение Аристотеля о том, что Бог, двигая Вселенную, Сам остается неподвижным; Возлюбленный двигает любящего (Мет. XII. 7) [29]. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1 Ин. 4, 10).

Итак, первое условие так называемой эгоистической любви, когда речь идет о Боге, отпадает. У Него нет естественных стремлений, нет страстей, а если и есть нечто, подобное страстям, то по Его воле и ради Него. Отпадает и второе условие. Истинная польза для ребенка может не совпадать с интересами родителей, ибо

ребенок — отдельное существо, он существует не для отца и обретает совершенство не в отцовской любви, чего отец не понимает. Но мы, создания, не отделены в этом смысле от Создателя, и Он всегда понимает нас. Он предназначил нам именно то, для чего мы и созданы. Когда мы этого достигнем, мы станем поистине счастливыми: будет вправлен сустав Вселенной, и боль утихнет.

Когда же мы хотим другого, чем хочет для нас Бог, мы хотим того, что не даст нам счастья. Божьи требования на наш, земной слух больше похожи на окрик деспота, чем на слова любви, но ведут они нас туда, куда мы и захотели бы, если бы знали, чего хотим. Он требует от нас послушания, даже поклонения. Неужели Ему без них хуже? Человек способен умалить славу Божью не больше, чем погасить Солнце тот, кто напишет «тьма» на стене своей камеры. Но Бог желает нам добра, а наше добро — любить Его той ответной любовью, которой только и может создание любить Создателя; а чтобы любить Его, мы должны Его знать; а узнав Его, мы непременно поклонимся Ему. Если же мы не поклонились, это значит, что мы пытаемся любить не Его, хотя, быть может, самое близкое к Нему, что может нам дать и наш разум, и наше воображение. Но поклониться мало, мы должны отразить Богооткровенное бытие, стать своими Богу, соучаствовать в Его славе, а это далеко за пределами нынешних наших желаний. Нам нужно «облечься во Христа»[30], стать, как Бог. Господь пытается дать нам то, что нам нужно, а не то, чего мы сами бы теперь пожелали. И снова поражает нас невыносимая честь — слишком много любви, а не слишком мало.

Но и это не все. Господь не просто сделал нас такими, что Он — единственное наше благо. Он — единственное благо всего тварного мира, и всякая тварь по необходимости ищет Его в той мере, в какой это свойственно ей иерархически. Только атеисту может привидеться, что на свете есть какое-то другое благо. Джордж Макдональд где-то пишет, что Бог говорит нам, людям: «Будьте сильны Моей силой и святы Моей святостью. *Мне больше нечего дать вам*». Вот и все. Бог дает то, что у Него есть, а не то, чего у Него нет,— счастье, которое есть, а не то, которого и не бывает. Всего на свете три возможности, а для нас две: быть Богом, уподобиться Богу в тварном ответе на Его любовь, быть несчастными. Если мы не научимся есть единственный хлеб мироздания — единственный хлеб, который мог бы взрастить любой из возможных миров,— нам остается вечный голод.

IV. СКВЕРНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

> Вернейший знак утвержденной гордыни — вера в свое смирение.
>
> *У. Лоу. Истинный зов* [31]

В предыдущей главе я пытался показать, что любовь вправе причинять страдание тому, кого любит, если его надо изменить, сделать достойным любви. Но зачем человека менять? Все прекрас-

но знают, что отвечает христианство: человек воспользовался своей свободной волей, чтобы стать очень плохим. Однако на самом деле, в жизни, трудно убедить в этом современных людей, даже современных христиан. Апостолы могли предположить, что их языческие слушатели все же считали себя достойными гнева Господня. Античные мистерии пытались нащупать и выразить это чувство, эпикурейская философия пыталась освободить людей от страха вечной кары [32], и на этом фоне Евангелие поистине было благой вестью [33]. Христианство дало надежду на исцеление тем, кто знал о своей смертельной болезни. Теперь все не так. Христианству приходится нести и плохую весть — сообщать больным диагноз, чтобы они согласились лечиться.

Причин тому две. Во-первых, мы уже лет сто так сосредоточились на одной из добродетелей — доброте, что многие из нас вообще не знают ничего нравственно хорошего, кроме нее, и ничего нравственно дурного, кроме жестокости. Такие слепые пятна в этике бывали и раньше; у прежних веков тоже были свои излюбленные добродетели. И если уж надо почему-то развить одну добродетель ценой всех других, у доброты больше всего на это прав. Каждый христианин обязан с отвращением отвергнуть ту недостойную апологию жестокости, которая пытается отнять у мира милосердие, называя его «сентиментальностью» или «гуманизмом». Но беда в том, что очень легко счесть себя добрым без всякой причины. Нетрудно *почувствовать* себя благодушным, когда нас ничто не раздражает. И потому нетрудно все свои грехи списать, твердо веря, что мы «мухи не обидим», хотя на самом деле мы и пальцем не шевельнем для ближнего. Мы считаем себя добрыми, когда мы просто счастливы; труднее вообразить себя целомудренными или смиренными.

Во-вторых, на современных людей сильно повлиял психоанализ и, главное, учение о подавленных влечениях [34]. Что бы оно ни значило на самом деле, очень многие поняли просто, что стыдиться — вредно и опасно. Сама природа и уж во всяком случае традиция почти всех веков и народов ощущала ужас перед трусостью, распутством, ложью, завистью и старалась их скрыть. Мы прилежно с этим боремся. Нам советуют раскрывать душу не для покаяния, а потому, что все эти вещи вполне естественны и стыдиться их нечего. Но если христианство не сплошное заблуждение, мы правильно видим себя только в минуты стыда, ведь даже язычники считали «бесстыдство» пределом падения. Пытаясь вырвать стыд, мы сломали позвоночник человеческого духа и радуемся, как троянцы, поломавшие стены города, чтобы заполучить коня. Остается одно, последнее,— починить стену. Глупо и безумно устранять лицемерие, устраняя *повод* к лицемерию; прямодушие тех, кто ниже стыда, недорого стоит.

Христианству необходимо пробудить былое чувство греха. Христос принимает как данность, что люди — плохие. Пока мы не почувствуем, что так оно и есть, мы не поймем Его слов. Конечно, мы все равно часть мира, который Он пришел спасти, но обра-

щается Он не к нам. И если вы пытаетесь быть христианином, не чувствуя своего греха, вы почти неизбежно придете к досаде на Бога, Который, на ваш взгляд, вечно чего-то требует и почему-то сердится. Многие из нас сочувствуют умирающему фермеру, который ответил священнику: «А что я *Ему* сделал?» Казалось бы, в самом худшем случае мы просто махнули бы на Бога рукой; почему бы и Ему не ответить нам тем же? Сам живи и другим не мешай. Ему-то на что сердиться? Чего Ему стоит быть подобрее?

Однако в те редкие минуты, когда вы ощутите настоящую вину, эти кощунственные сетования исчезнут сами собой. Многое можно простить — почувствуете вы,— но не *это,* не эту немыслимую гадость, которой постыдился бы даже такой подлец, как *X*. В такие минуты мы доподлинно знаем, что, проведай об этом люди, они бы отшатнулись от нас, а если на свете есть кто-нибудь выше людей — они бы отшатнулись тем более. Бога, Которому *такое* не противно, нельзя назвать благим. Мы даже не можем стремиться к такому Богу — как не может человек, у которого пахнет изо рта, хотеть, чтобы все в мире потеряли обоняние и запах сена, розы или моря перестал бы услаждать их.

Когда мы просто *говорим,* что мы плохи, «гнев Божий» кажется нам варварским предрассудком: но когда мы *видим* нашу скверну, он логически и неизбежно вытекает из благости Божьей. Христианскую веру не поймешь, пока не научишься находить эту непростительную порчу под самыми хитрыми личинами. Конечно, учение это не ново, и в этой главе я не открою ничего неслыханного. Я просто попытаюсь провести читателя (а главное, себя самого) через *pons asinorum* [35]— вывести его и себя хотя бы за ограду иллюзорного рая для дураков. Однако в наши дни иллюзия столь сильна, что мне придется высказать несколько соображений.

1. Мы видим неверно, потому что мы смотрим на внешнюю сторону вещей. Нам кажется, что мы не хуже, чем *Y* , которого всякий назовет хорошим человеком, и уж во всяком случае лучше этого мерзавца *X*. Наверно, мы не правы даже и на этом уровне. Не будьте уж так уверены, что ваши друзья вас считают не хуже, чем *Y !* Подозрительно уже то, что вы выбрали его для сравнения,— наверное, он на голову выше вас и всего вашего круга. Но предположим, что и он и вы — «вполне ничего». Насколько обманчиво его поведение — ведает Бог. Быть может, оно и не обманчиво, но уж вы-то знаете, что с вами это не так. Надеюсь, вам не покажется, что я несправедлив к вам, раз я несомненно скажу то же самое и ему, и всякому из людей? Ведь в этом-то и дело! Каждый человек в мире знает, что он хуже любых своих проявлений, хуже самых бесстыдных своих слов. Мы никогда не говорим всей правды о себе. Можно признаться в дурном *факте* — в подлости, в трусости, в плотском распутстве, но *тон* все равно будет лживым. Ваша честность (вот ведь вы каетесь!), легкая ирония, бесконечно малая крупица лицемерия отторгнут факт от вас же самих. Никто не догадается, что он связан с вами, похож на вас. Мы делаем вид и часто верим, что

привычные наши грехи единичны, исключительны, а добродетели естественны; так, плохой теннисист скажет про свою обычную игру: «Я не в форме», а редкие победы назовет нормальными. Не думаю, что нас можно за это ругать,— непрерывный поток злобы, зависти, похоти, алчности и самодовольства и не уложился бы в слова. Важно другое: не принять никаких поневоле неполных признаний за исчерпывающую исповедь.

2. В наши дни мы восстали против частной, чисто личной этики во имя этики *общественной*. Мы чувствуем, что втянуты в неправедную социальную систему и разделяем общую вину. Так оно и есть. Однако отец лжи может использовать и правду, чтобы сбить нас с толку. Общую вину нельзя ощутить столь же остро, как свою собственную, и нам, таким, какие мы есть, концепция эта лишь помогает увернуться от ответа. Когда мы действительно научимся распознавать свою скверну, можно будет перейти и к общей вине. Не пытайтесь бежать бегом, пока не научитесь ходить.

3. Нам почему-то кажется, что время врачует грехи. Многие люди с улыбкой вспоминают, как они лгали или мучили кого-нибудь в детстве, так, словно это их уже не касается (бывало это и со мной). Но время не уничтожает ни греха, ни вины. Чувство греха смывается не временем, а покаянием и кровью Христовой; если мы исповедуемся в этих детских мерзостях, мы вспомним, какой ценой куплено нам прощение, и вряд ли улыбнемся. Что же до самого греха — смоет ли его хоть что-нибудь? Все времена вечно предстоят перед Богом. Быть может, в каком-то измерении Его многомерной вечности Он всегда видит, как вы обрываете крылья мухе, врете учителю, ябедничаете, грубите, распутничаете, трусите в бою. Быть может, спасение не в том, чтобы зачеркнуть, стереть все это, а в том, чтобы обрести совершенное смирение — стать способным вечно нести свой позор и радоваться, что люди о нем знают, а Богу есть случай вас пожалеть. Быть может, апостол Петр вечно предает Учителя [36] — надеюсь, он простит мне, если я не прав; если же я прав, нам, какие мы теперь, не так уж легко «войти во вкус» небесных радостей, и есть виды жизни, при которой вкус этот обрести невозможно. А вдруг погибшие — это те, кто просто не решится пойти в такое людное место? Не знаю; но подумать об этом стоит.

4. Не надо оправдывать себя ссылкой на «всех». Вполне естественно почувствовать, что, если *все* так грешны, как учит христианство, грех очень и очень простителен. Если все ученики проваливаются, учитель может подумать, что билеты слишком трудны, пока не узнает, что в другой школе 90% всех школьников выдержали экзамен. Он понимает тогда, что ошибается не экзаменатор. Мы иногда попадаем как бы в «карманы», в тупики мира — в школу, в полк, контору, где нравственность очень дурна. Одни вещи считаются здесь обычными («все так делают»), другие — глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире «обычными» вещами гнушаются, а дон-

кихотство входит в простую порядочность. То, что в «кармане» представлялось болезненной сверхчувствительностью, оказалось признаком душевного здоровья. Вполне может быть, что весь род человеческий — такой «карман» зла, школа в глуши, полк на отшибе, где мало-мальская порядочность кажется геройством, а полное падение — простительной слабостью. Есть ли подтверждение этому, кроме христианской догмы? Боюсь, что есть. Прежде всего, мы просто знаем странных людей, которые не принимают этики своего круга, доказывая тем самым, к нашему неудобству, что можно вести себя иначе. Хуже того, эти люди, разделенные пространством и временем, подозрительно согласны в главном, словно руководствуются каким-то более широким общественным мнением, которое царит за пределами нашего «кармана». Заратустра, Иеремия, Сократ, Будда, Христос * и Марк Аврелий едины в чем-то очень важном [37]. Наконец, даже мы сами одобряем в теории эту неприменяемую этику; даже здесь, сейчас, в «кармане», мы не говорим, что справедливость, доброта, мужество и умеренность ничего не стоят, а пытаемся доказать, что наши нормы справедливы, добры и т. д. в той мере, в какой это возможно и разумно. Поневоле подумаешь, что невыполняемый устав нашей плохой школы связан с каким-то лучшим миром и, окончив курс, мы сможем узнать впрямую тамошний кодекс. Но и это еще не все. Как ни печально, все мы видим, что лишь нежизненные добродетели в силах спасти наш род даже здесь, на земле. Они, как будто проникшие в наш «карман» извне, оказались очень важными — столь важными, что, проживи мы десять лет по их законам, земля исполнится мира, здоровья и веселья; больше же ей не поможет ничто. Пусть у нас принято считать эти законы прекраснодушными и невыполнимыми — когда мы действительно в опасности, сама наша жизнь зависит от того, насколько мы им следуем. И мы начинаем завидовать нудным и наивным людям, которые действительно, а не на словах научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и доброй жертве.

5. Мы не знаем, существует ли общество, которое я противопоставил нашему «карману». Мы не видели ни ангелов, ни безгрешных людей. Но и в нашем падшем мире можно кое-что понять. Некоторые века и цивилизации можно рассматривать как «карманы» по отношению к другим. Недавно я говорил, что разные эпохи специализировались на разных добродетелях. Если нам покажется, что западноевропейская цивилизация не так уж дурна, потому что мы более или менее гуманны, если нам покажется, что Бог доволен нами,— прикиньте, простил ли Он прошлым векам жестокость за их мужество и целомудрие? Представив себе, какова для нас кровожадность наших предков, мы хоть немного поймем, каким были бы для них наши нерешительность и нечистота и каково все это вместе в очах Божьих.

---

* Я упомянул Воплощенного Бога среди людей, чтобы подчеркнуть, что *принципиальное* отличие Его от них не в этическом учении, а в Служении и в Личности.

6. Некоторые удивятся, что я так много говорил о нашей «доброте». Разве наш век не возрастает в жестокости? Да, наверное, но мне кажется, что мы дошли до этого, пытаясь свести к доброте все добро. Платон был прав: добродетель едина [38]. Вы просто не сумеете быть добрым, если у вас нет прочих добродетелей. Трус, гордец или развратник не причинит никому особого зла до той поры, пока ничьи интересы еще не угрожают его жизни, достоинству или удовольствию. Все пороки у нас ведут к жестокости. Даже доброе чувство, сострадание, ведет к ней через гнев, если милосердие и справедливость не стоят на страже. Почти все зверства вызваны ужасом перед зверствами врага, а сочувствие угнетенным, оторванное от целостности нравственного закона, естественно ведет к ужасам террора.

7. Современные богословы вполне резонно возражают против чисто этического понимания христианства. Благость Божья не сводится к нравственному совершенству, и от нас Он требует большего и высшего. Все так; но, как и в случае «общей ответственности», истину эту очень легко использовать себе на пользу. Быть может, Бог и выше морали, но не ниже. Дорога в страну обетованную лежит через Синай [39]. Пусть нравственный закон для того и существует, чтобы мы его превзошли, но его не превзойти тем, кто сперва не принял его, и не попытался выполнить, и не понял со всей честностью, что это ему не по силам.

8. «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает» (Иак. 1, 13). Многие мыслители побуждали нас сваливать ответственность за наши дела на что-нибудь врожденное, неустранимое, а значит, на Творца. Упрощенные варианты этих учений — теория эволюции (наша скверна — неизбежное наследие животных предков) и идеалистическое учение о том, что мы плохи, поскольку мы конечны. Если я верно помню Павловы послания, то христианство признает, что человеку и впрямь невозможно выполнить до конца нравственный закон, записанный в его сердце, и было бы действительно нелегко признать за нами ответственность, если бы совершенное выполнение нравственного закона имело хоть какое-то отношение к реальной жизни большинства людей. Тот уровень нравственности, с которого мы с вами столько раз падали за последние сутки, вполне достижим. Почти ко всем нам непосредственно относятся не столько глубокие истины апостола, сколько простые слова Уильяма Лоу: «Если вы спросите себя, почему вы хуже первых христиан, ваше собственное сердце ответит вам: виной тому не слабость и не невежество — вы просто не пытались быть такими, как они»*.

Если читатель решил, что в этой главе я защищаю учение о полном ничтожестве человека, он просто меня не понял. Я в это учение не верю по двум причинам: логика подсказывает, что, если бы мы абсолютно никуда не годились, мы бы не увидели своей

* Истинный зов. Гл. 2.

скверны, а опыт — что в людях есть и много хорошего. И уж никак не проповедую я черной скорби. Стыд хорош не сам по себе, а потому, что он побуждает нас заглянуть в свое сердце. Я думаю, что мы всегда должны видеть себя изнутри, но о том, нужно ли при этом страдать, я, как мирянин, судить не могу и не буду: это вопрос технологии духовного водительства. На мой личный взгляд, любая скорбь, которая не вызвала сокрушения о конкретном грехе, побуждающем к исправлению, или жалости, побуждающей к деятельной помощи, просто дурна. Более того я думаю, что мы чаще всего нарушаем апостольскую заповедь «радуйтесь»[40]. После первого болезненного слома смирение дает радость; печален же прекраснодушный атеист, безуспешно пытающийся сохранить «веру в человека». Я обращался в этой главе к разуму, а не к чувству, я хотел убедить человека, что в нынешнем нашем состоянии мы неизбежно должны вызвать ужас у Бога, да и у нас самих. Это, на мой взгляд, бесспорно, и я заметил, что чем человек лучше, тем лучше он это понимает. Быть может, вы думаете, что, когда святые строго судят себя, Бог улыбается их заблуждению. Очень опасно думать так. Теоретически опасно, потому что вы отождествляете добродетель (то есть совершенство) с иллюзией (то есть несовершенством), а это бессмысленно. Практически опасно, потому что, увидев хоть крупицу этой скверны, вы решите, что вокруг вашей глупой головы вот-вот загорится сияние. Нет, когда святые говорят, что они — даже они — порочны и мерзки, они с научной точностью констатируют истину.

Как же мы до этого дошли? В следующей главе я попытаюсь рассказать о христианском ответе на этот вопрос.

V. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Послушание обычно для разумной души.

М. Монтень. Опыты [41]

На вопрос, поставленный в предыдущей главе, христианство отвечает доктриной грехопадения. Согласно этой доктрине, человек ужасен Господу и самому себе и неприспособлен к тварному миру не потому, что Бог его таким создал, а потому, что он злоупотребил своей свободной волей. Этот взгляд предохраняет от двух околохристианских теорий о происхождении зла — от монизма, согласно которому Бог «выше добра и зла» и безразлично творит то, чему мы даем эти названия, и от дуализма, согласно которому Бог порождает добро, а другая, равная Ему и независимая сила порождает зло. Христианство же утверждает, что Бог есть благо и все создал благим и для блага, но одно из Его благих созданий — свободная воля разумных существ — по природе своей включила возможность существования зла; и, воспользовавшись этим, люди стали дурными. Иногда считают, что доктрина о грехопадении выполняет еще две функции, но я так не считаю. Во-первых, я не думаю, что она позволяет поставить

вопрос: «Быть может, Богу и не стоило творить мир?» Я верю в благость Божью и уверен, что, если этот вопрос имеет смысл, ответ на него: «Стоило». Однако мне кажется, что смысла в этом нет, а если бы и был — ответ не лежит в области человеческих оценок. Во-вторых, я не думаю, что на доктрину эту можно ссылаться, чтобы оправдать наказание отдельных людей за грехи их далеких предков. Некоторые считают, что можно, но я сомневаюсь, действительно ли они так считают. Отцы Церкви иногда и впрямь говорят, что мы наказаны за Адамов грех; но много чаще они говорят, что *мы* согрешили «во Адаме». Быть может, вообще невозможно выяснить, что они хотели этим сказать; быть может, они ошибались; но вряд ли мы вправе решать, что это — просто оборот речи. Умно ли, глупо ли, они верили, что мы не в переносном, юридическом смысле, а *действительно* соучаствуем в Адамовом преступлении. Наверное, нельзя толковать это так, что мы были «в Адаме» физически — скажем, что от него пошел какой-нибудь «бессмертный ген»; но отсюда никак не следует, что нам вообще не понять и не выразить этого. Однако сейчас речь идет не о том; я просто хочу вывести проблему первородного греха за пределы суда и воздаяния. На мой взгляд, это скорее пример того, о чем мы говорили во второй главе. Несомненно, Бог мог бы и сотворить чудо, «отменив» последствия первого на свете греха, но это дало бы немного, если Он не стал бы устранять последствия второго греха, потом — третьего и так далее. Прекратись чудеса, мы оказались бы в нынешнем нашем плачевном состоянии; не прекратись они — ничто не зависело бы от нашего выбора. Да и выбор бы исчез за ненадобностью, ведь ни одна из альтернатив не приводила бы ни к какому результату, так что самой альтернативы бы не стало. Как мы уже говорили, свобода шахматиста ограничена правилами игры.

Перейдем к самой доктрине. В Книге Бытия есть рассказ (наводящий на глубокие размышления) о магическом яблоке [42], но в развитом учении о первородном грехе магия яблока и дерева куда-то делась и речь идет просто о непослушании. Я глубоко чту даже языческие мифы, а тем более мифы Священного писания, и даже не сомневаюсь, что в библейской версии, рассказывающей о яблоке и о деревьях жизни и познания добра и зла, содержится какая-то более глубокая и тонкая истина, чем просто наказ к послушанию. Однако я уверен и в том, что Святой Дух не дал бы более простому толкованию так расцвести в Церкви и снискать одобрение ее учителей, если бы оно не было верным и полезным. О нем я и буду говорить, ибо я лишь подозреваю в первоначальной версии особую глубину, проникнуть в нее мне не дано. Я предлагаю читателям не лучшее из того, что есть, а лучшее из того, чем владею я сам.

Итак, в развитом Церковью учении предполагается, что человек, каким его создал Бог, был совершенно благ — и хорош, и счастлив; но ослушался Бога и стал таким, каков он теперь. Многим кажется, что наука это опровергла. «Мы-то знаем,—

говорят они,— что человек не пал с вершин добродетели и счастья, но медленно шел вверх от дикости и звероподобия». Тут беда в том, что слова «звероподобный» и «дикий» принадлежат к тому несчастному классу слов, которые употребляются то эмоционально, в осуждение, то научно — для описания, так что псевдонаучный аргумент против грехопадения основывается на путанице между этими двумя понятиями. Если вы хотите сказать, что человек физически произошел от животных, я не возражу вам. Но из этого никак не следует, что первобытный человек был «зверем» — то есть злым, кровожадным, грубым — больше, чем мы. У животных нет нравственных добродетелей; но нет и оснований полагать, что они ведут себя «по-зверски». Напротив, они не измываются, как люди, над себе подобными. Не все они прожорливы и похотливы, а гордых среди них нет вообще. Если словом «дикость» вы просто хотите сказать, что их орудия были грубы, как орудия нынешних дикарей, вы, может быть, и правы; если же вы имеете в виду, что они были распутны, жестоки или бесчестны, доказать вы это не сможете. Во-первых, антропологи и миссионеры менее склонны, чем их отцы, судить так о современных дикарях. Во-вторых, сходство древнейших орудий с орудиями нынешних австралийцев или африканцев не поможет нам. Не поддавайтесь вполне понятной иллюзии. Конечно, мы знаем доисторического человека только по материальным вещам — на то он и доисторический. Археологи не виноваты, что у них нет лучших свидетельств; но эта вынужденная скудость побуждает их видеть в предметах больше, чем мы увидеть вправе, и вывести из них, что общество, изготовляющее лучшие орудия, и само чем-то лучше. Ясно, что вывод этот ложен; так, можно было бы предположить, что праздные классы наших дней во всех смыслах выше и лучше, чем их викторианские собратья. Первобытный человек, создавший никуда не годные горшки, мог создавать и прекрасные стихи, но мы об этом не узнаем. Еще нелепей сравнивать его с теперешними дикарями. Один и тот же горшок свидетельствует о гениальности своего создателя, если он — первый в мире, и о тупости его, если горшки существуют сотни тысяч лет. Современное мнение о первобытном человеке основано на поклонении материальным предметам, главном грехе нашей цивилизации. Мы забываем, что наши доисторические предки открыли все главное, кроме наркоза. Они дали нам язык, семью, одежду, использование огня, приручение животных, колесо, лодку, поэзию и земледелие.

Науке нечего сказать ни в пользу, ни против учения о первородном грехе. Более серьезная трудность встала перед серьезнейшим современным богословом *. Он отмечает, что идея греха предполагает закон; поскольку прошли века, пока «стадный инстинкт» откристаллизовался в обычай, а обычай застыл, став законом, первый человек (если было существо, которое мы вправе так определить) не мог совершить греха. Довод этот основан

* См.: *Н. П. Уильямс.* Об идеях грехопадения и первородного греха. С. 516.

на предположении, что «первый грех» был грехом *социальным*. Но учение говорит о грехе против Бога как акте непослушания, а не о грехе против ближнего. Для меня несомненно, что этот великий грех надо искать на более глубоком и более вневременном уровне, чем социальная этика.

Августин учил нас, что грех этот — плод гордыни: создание (то есть существо по сути своей зависимое, берущее свое существование не от себя, а от другого) попыталось жить для самого себя *. Для этого не нужно ни сложных социальных условий, ни опыта, ни развитого разума. Как только создание увидит Бога как Бога, а себя — как отдельное существо, перед ним откроется страшная альтернатива: кого из них поставить в центре. Маленькие дети и темные крестьяне совершают этот грех не реже, чем взрослые и ученые люди, а отшельники — не реже, чем живущие в обществе. Этот провал есть в каждой жизни; этот грех стоит за каждым частным грехом. И сейчас мы с вами или совершаем его, или скоро совершим, или раскаиваемся в нем. Проснувшись, мы надеемся положить новый день к ногам Господним; но, не успели мы умыться, он уже стал *нашим* днем, а Божью долю мы платим из *своего* кармана, словно у нас есть свое, по праву наше, время. Мы начинаем новую работу, как служащие, и целую неделю видим только это, смиренно принимая от Бога и радости, и неудачи. Но на второй неделе мы «берем дело в свои руки», а на третьей — у нас уже есть *свои* цели, и мы только «требуем своего», и очень недовольны, если не получаем. Повинуясь чувству, которое может быть вполне чистым, полным доброй воли, обращенным к Богу, мы обнимаем возлюбленную и, естественно, ощущаем удовольствие. Но, обнимая ее во второй раз, мы, быть может, стремимся именно к удовольствию и делаем первый шаг к тому, чтобы человек стал для нас вещью, орудием, средством. Невинность, послушание и готовность принять Божью волю могут исчезнуть из любого действия. Душеполезные размышления (скажем, наши с вами теперь) обращены к Богу, но вот нам просто приятно размышлять, и целью становится удовольствие, а там — и одобрение, и слава. Весь день и каждый день мы скользим, срываемся, падаем, словно Бог — это скользкий склон, на котором нельзя удержаться. Мы и на самом деле таковы, что удержаться не можем, и наши срывы неизбежны, а потому — простительны. Но Бог нас такими не создал. Сила тяжести, влекущая нас от Бога, порождена грехопадением. Мы не знаем, что именно случилось, когда первый человек пал; но мы вправе гадать, и я предложу вам догадку — миф в сократовом смысле этого слова **.

Долгие века Господь совершенствовал животное, которое должно было стать вместилищем человеческой души и собствен-

---

* См.: О Граде Божьем. XIV. 13.

** То есть рассказ о том, что *могло быть* историческим фактом. Р. Нибур [43] употребляет слово «миф» в другом значении — символического изложения неисторической истины.

ным Его подобием. Он дал ему руки, способные держать, рот и горло, способные к артикуляции, и мозг, достаточно сложный, чтобы выполнять все материальные действия, с которыми связано разумное мышление. Вполне возможно, что это создание существовало много столетий, не будучи еще человеком; возможно даже, что оно уже могло делать вещи, которые современный археолог счел бы доказательством его человеческого уровня. Но оно оставалось животным, ибо все его физические и психические процессы были направлены только к материальным и естественным целям. Наконец, когда исполнились сроки, в этот организм — и в психику его, и в физиологию — вошло по воле Божьей новое сознание, которое знало Бога и могло сказать «я», взглянув на себя извне; судить об истине, добре и красоте; и настолько вышло из времени, что ощущало, как оно уходит. Это сознание стало править всем организмом, освещая любой его уголок, а не только один мозг, как у нас. Человек весь был сознанием. Современные йоги говорят, что они держат в повиновении те физиологические функции, которые кажутся нам чуть ли не частью внешнего мира,— пищеварение и кровообращение. Не знаю, так ли это, но у первобытного человека это было так. Органические процессы его тела подчинялись закону его воли, а не законам природы. Сном было для него не наше тяжкое оцепенение, а сознательный отдых — он бодрствовал и наслаждался радостями сна. Отмирание и восстановление тканей тоже подчинялись ему, и можно предположить, что он жил столько, сколько хотел. Полностью владея всем своим, он владел и более низкими формами жизни. Мы и теперь, хотя и редко, встречаем людей, наделенных таинственной силой, которым подчиняются животные. Этой силы у райского человека было очень много. Старая картина, изображающая зверей, играющих с Адамом и ласкающихся к нему, может оказаться не только символической. Даже у нас животные гораздо чаще, чем мы думаем, готовы служить человеку, ибо человек создан пастырем и в определенном смысле Христом животного мира — посредником, через которого они получают ту долю славы Божьей, какую может вместить их неразумная душа. А главное, для такого человека Бог не был скользким склоном. Новое создание было создано, чтобы покоиться в Боге, и покоилось в Нем. Сколько бы любви, дружбы и влюбленности ни чувствовал этот человек к своим ближним (или — к единственной ближней), как бы ни относился он к животным и к окружающему миру, всю красоту и поразительность которого он увидел впервые,— Бог был первым и в любви его, и в мысли и это не стоило ему никаких усилий. В совершенном циклическом движении бытие, сила и радость исходили к человеку от Бога как Его дар и возвращались к Богу от человека как благоговейная любовь. В этом смысле (а может быть, и в других) человек был поистине Сыном Божьим, предтечей Христа, проявлявшим без мук и в радости то жертвенное сыновнее послушание, которое Спаситель проявил на кресте.

По орудиям же и, наверное, по языку это блаженное создание было, конечно, дикарем. Ему еще предстояло научиться всему, чему учат опыт и навык. Быть может, он и не сумел бы связно рассказать о своей райской жизни. Все это неважно. Мы помним, что в детстве, когда взрослые считали нас «совсем несмышлеными», мы знали такие высокие и чистые духовные реальности, каких потом как будто уже не было. Христианство учит нас, что на определенном уровне — на единственно важном уровне — умные и взрослые ничем не лучше простаков и детей. Я не сомневаюсь, что, появись райский человек среди нас, мы бы увидели в нем дикаря, к которому нужно относиться свысока или, на худой конец,— снисходительно. Лишь двое или трое из нас, самые лучшие, вгляделись бы пристальней в неодетое, косматое, косноязычное чудище — и склонились бы перед ним.

Мы не знаем, сколько таких существ создал Бог и сколько лет они жили райской жизнью. Раньше ли, позже ли, они пали. От кого-то или от чего-то они узнали, что могут стать, как боги,— жить не для Господа, а для себя. Как юноша, который хочет тратить по своему усмотрению деньги, присланные из дому (и бывает прав, ибо его отец — всего лишь человек), они захотели жить по-своему: самим о себе позаботиться, иметь *свое,* из которого, конечно, можно выделить часть и Богу вниманием, временем или даже любовью — своими, а не Его. Но это значит, что они захотели жить во лжи, потому что они и все мы — не свои. Они подумали, что можно найти тупичок мироздания и сказать оттуда Создателю: «Это наше дело, не Твое!» Но такого тупичка на свете нет. Они захотели стать существительными, а человек — прилагательное. Мы совершенно не знаем, в каком действии или действиях отразилось это невозможное желание. Вполне возможно, что они и впрямь съели какой-то плод, но дело не в этом.

Только такое самоволие тварного существа можно счесть грехопадением. Ведь первый грех был непременно и ужасным, иначе его последствия не были бы так тяжелы, и таким, что его могло совершить существо, свободное от искушений падшего человека. Обращение от Бога к себе отвечает обоим условиям. Совершить его можно и в раю, ибо осознание себя немедленно порождает опасность самопоклонения. Если я знаю, что я — это «я», я должен отрешиться от себя и пусть легко, пусть без всяких усилий предать самого себя Богу. По-видимому, Господь счел нужным пойти на такой риск. Кроме того, этот грех поистине ужасен, потому что «я», от которого райский человек должен был отрешиться, не содержало в себе естественного упрямства. Райский человек легко предавал себя Богу, радостно преодолевая лишь бесконечно малую преграду,— примерно так отдают себя друг другу влюбленные. Тем самым, у него не было *искушения* в нашем смысле — ни упрямства, ни страсти; он просто *предпочел* самого себя.

До этого момента организм человеческий был во власти человеческого духа. Несомненно, первый человек думал, что так оно

и останется. Но эта власть ему была только препоручена, и он утратил ее, потому что уже не был представителем Божьим. Он отрезал себя, как сумел, от источника своего бытия и тем самым — от источника силы. Ведь когда мы говорим, что некое *A* правит *B*, это значит, что Господь правит *B* через *A*. Не знаю, мог ли Господь по-прежнему править человеческим организмом *через* человеческий дух, если дух этот взбунтовался против Него. Во всяком случае, Он стал им править иначе — через законы природы, а не духа *. Органы, не руководимые более человеческой волей, подпали под власть низших, биохимических законов и не были уже защищены от боли, старости и смерти. И диктовать душе стали не разум, не выбор, а физиология и среда. Да и сама душа подпала под психологические законы ассоциаций, подобий, созданные Богом для высших антропоидов. Воля же могла теперь лишь силой подавлять желания, загоняя их в подсознание, о котором так много говорят. Человек не просто «ухудшился», как бывает с людьми, а стал совсем другим. Он потерял с грехопадением свою, особую природу. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бт. 3, 19). Весь его организм, вознесенный вверх, к духовной жизни, упал обратно — туда, откуда Господь его поднял, как много ранее Он возносил растительную жизнь, чтобы она могла вместить животное начало, химический процесс — чтобы он вместил начало растительное, а физический процесс — чтобы он вместил процесс химический. Человеческий дух стал жильцом или даже узником в своем собственном доме; разумное сознание стало таким, как теперь,— слабым мерцанием части мозга. Но это ограничение власти было все же меньшим злом, чем порча самого духа. Он отвернулся от Бога, поклонился самому себе, и возвращение к Богу стоило теперь ему больших усилий **. Гордыня и высокомерие, желание нравиться себе и подавлять соперников, зависть, беспокойное недовольство и все растущая тревога легко зародились в нем. Такой дух не только слабо, но и дурно правил плотью; он посылал в психофизический организм гораздо худшие желания, чем этот организм посылал ему. Это передалось по наследству всем последующим поколениям, так как было не «приобретением признаков», а новым типом человека. Новый вид, которого Бог никогда не создавал, внедрил себя грехом в мироздание.

Бог мог сотворить чудо и пресечь этот процесс, но тем самым Он снял бы проблему, которую поставил при сотворении мира, когда решил выразить Свою благость через действо, в котором играют живые и свободные актеры, способные взбунтоваться

---

* Я развиваю здесь учение Хукера о законе. Если вы нарушите ваш *собственный* закон (то есть созданный Богом для вас), вы попадаете под какой-либо из низших законов; например, если на скользкой мостовой вы перестанете подчиняться законам осторожности, вы попадете во власть закона тяготения.

** Надеюсь, богословы поймут, что я не претендую на участие в пелагианско-августинианском споре [44]. Я просто хочу сказать, что было еще возможно вернуться к Богу. О том, мог ли человек сам захотеть этого, я судить не берусь.

против Него. Образ действа, симфонии, танца поможет выправить нелепость, возникшую когда мы толкуем о том, что Бог задумал хорошо, а одно из Его творений все испортило. Смешно было бы считать, что грехопадение застало Бога врасплох и нарушило Его планы; еще смешней — что Он замыслил дело, обреченное на провал. Он видел Распятие, когда творил первые туманности. Мир — танец, в котором добро, исходящее от Бога, столкнулось со злом, исходящим от твари, и разрешается это тем, что Бог принимает на Себя порожденное злом страдание. Согласно учению о свободном грехопадении, зло, которое стало горючим или сырьем для нового, более сложного добра, порождено не Богом, но человеком. Это не значит, что, если бы человек не согрешил, Бог не мог бы создать столь же прекрасную симфонию. Но не забывайте, что, толкуя об «упущенных возможностях», мы, в сущности, не знаем, о чем говорим. Мы не можем знать мест и времен, где все это «случилось» или «могло случиться». Однако чтобы показать, насколько человек свободен, я скажу: если где-то во Вселенной есть другие его виды, вполне вероятно, что они не согрешили.

Итак, именно тем объясняется нынешнее наше состояние, что мы — представители испорченного вида. Я совсем не хочу сказать, что мы платим страданиями за свои, не зависящие от нас свойства, или — что мы нравственно ответственны за мятеж далекого предка. Однако я говорю, что мы находимся в состоянии первородного греха, а не просто первородной беды, потому что наш религиозный опыт не позволяет сказать иначе. В теории мы, наверное, могли бы сказать: «Да, мы ведем себя, как последняя мразь, потому что мы и *есть* мразь, а в этом уж мы не виноваты». Но то, что мы мразь, не кажется нам смягчающим обстоятельством, а вызывает гораздо больший стыд и огорчает нас больше, чем собственные наши грехи. Это не так трудно понять, как многим кажется. То же самое бывает, когда невоспитанный мальчик попадает в приличный дом. Хозяева напоминают себе, что он стал хамом, вруном и трусом не по своей вине; и все же его нынешние свойства им противны. Они не просто ненавидят их, а как бы вынуждены их ненавидеть. Они не могут любить его, как он есть, и пытаются его изменить. И правда, хотя с мальчиком действительно случилась беда, нелегко назвать «бедой» его свойства, словно они — одно, а он — другое. Ведь лжет и грубит *он сам,* и это ему нравится. А если он начнет исправляться, ему станет стыдно, что он таким был.

Больше мне сказать нечего. Но я еще раз предупреждаю читателя, что этот уровень размышлений не особенно высок. Я не сказал ничего не только о дереве жизни и о дереве познания добра и зла, таящих в себе, несомненно, огромный мистический смысл, но и о Павловых словах: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Именно они лежат в основе святоотеческой доктрины о нашем реальном присутствии в Адаме и учения Ансельма о том, что мы включены в страдания Христа [45]. Эти глу-

бины, наверное, прекрасны, но для меня они темны, а новых мне не выдумать. Если верить физикам, не следует надеяться на то, что Вселенную можно себе представить, а создавая в уме наглядные модели квантовой физики, мы уходим от реальности, а не приближаемся к ней *. Несомненно, у нас еще меньше прав изображать или воображать наглядно высшие духовные реальности и даже пытаться выразить их на языке нашей абстрактной мысли. По-видимому, сложность стиха из апостола — в слове, которое Новый завет употребляет в не совсем ясном для нас смысле: если мы способны умереть *в* Адаме и жить *во* Христе, это значит, вероятнее всего, что человек на самом деле гораздо сложнее, чем наше трехмерное воображение может себе представить; что индивидуальность всех людей, включенная в причинно-следственные связи, уравновешивается в абсолютной действительности некоей «взаимоодушевленностью», о которой мы совершенно ничего не знаем. Быть может, действия и страдания таких великих, основных людей, как Адам и Христос, принадлежат и нам не юридически условно и не метафорически, а в каком-то более глубоком смысле. Конечно, речь идет не о растворении личностной единицы в однородной духовной массе, в которую верят пантеисты,— это противоречило бы самой сути христианства. Но ведь мы верим, что Святой Дух реально присутствует и действует в отдельном человеческом духе, не считая при этом, в отличие от пантеистов, что мы «часть», или «модификация», или же «обличье» Бога. Можно предположить, что нечто подобное бывает и внутри тварного мира — скажем, что каждый тварный дух, отличный от всех прочих, в каком-то смысле присутствует в них или хотя бы в некоторых (вроде «телекинеза» в вещественном мире). Вы замечали, что Ветхий завет иногда не ведает нашего представления об отдельном человеке. Господь обещает Иакову: «Я пойду с тобою в Египет; Я и выведу тебя обратно» (Бт. 46, 4), а выполняет это то ли тем, что тело Иакова хоронят в Палестине, то ли тем, что из Египта ушли его далекие потомки. Вполне правомерно связывать это со структурой древних общин, где индивидуум всегда значил меньше, чем род; но отсюда надо сделать два одинаково важных вывода: во-первых, древние не видели того, что видим мы, а во-вторых, они видели и ощущали то, чего мы не видим. Перенесение заслуг и вины с одного человека на других не смогло бы занять такого места в богословии, если бы оно всегда и для всех было так искусственно, как для нас.

Я позволил себе заглянуть в непроницаемую для себя глубину, но соображения мои, скажу снова, к делу не относятся. Вряд ли стоит решать проблему страдания, ставя новую, сложнейшую проблему. В этой главе важно одно: человек как особый вид испортил себя и в нынешнем нашем состоянии добро прежде всего исцеляет его и исправляет. Посмотрим же, какую роль в этом исцелении и исправлении играет страдание.

---

* *Сэр Джеймс Джинс.* Таинственная Вселенная. Гл. 5[46].

VI. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

> Жизнь во Христе нелегка природе моей и самости, ибо в ней природу и самость надо отдать, потерять, умерщвить; и потому всякий из нас этой жизни боится.
>
> *Theologia Germanica* [47]

В одной из предыдущих глав я пытался показать, что возможность страдания присуща миру, где души встречаются друг с другом. Когда души эти плохи, они не упустят случая друг другу навредить, и к этому, по всей вероятности, сводятся четыре пятых всей человеческой боли. Не Бог, а человек выдумал пытку, кнут, рабство, тюрьму, ружье и бомбу. Человеческая корысть и глупость, а не Божья воля породили нищету и непосильный труд. Однако не все страдания причиняет человек, и вообще неясно, почему Господь попускает так много действий худшим из людей *. Мы говорили недавно, что для нас — таких, как мы есть,— добро должно быть и коррективой, и лекарством. Но не всякое лекарство горько. Почему же лечат страданием?

Однако прежде я должен напомнить то, о чем говорилось во второй главе. Ниже определенного уровня страдание перестает возмущать и даже может казаться приятным. Возможно, вы ответите, что «тогда это уже не страдание», и будете правы. Но у слова «страдание» — два смысла, которые следует строго различать: (а) определенный вид ощущений, передаваемых по нервам, которые человеку могут понравиться или нет (например, слабая боль в ноге — это все-таки боль, даже если я так не считаю); (б) любой опыт, физический или психический, к которому человек испытывает неприязнь. Заметим, что страдание в смысле (а) становится страданием в смысле (б), если превышает некоторый уровень, но не наоборот. Страдание в смысле (б) фактически синоним слов «мука», «боль», «горе», «беда», «несчастье», и проблема страдания возникает, когда речь заходит именно о них. Отныне мы будем говорить только о страдании в смысле (б) и не будем рассматривать страдание в смысле (а).

Лучше всего для твари полностью предаться Творцу — и волей, и умом, и сердцем. Тогда она блаженна, то есть и добра, и счастлива. Не думайте, что это лишь наша, тварная доля. Сам Бог-Сын извечно предает Себя Отцу. Вот образец для нас, до грехопадения мы ему и следовали; и там, где волю, дарованную Создателем, Его творение в покорности и радости возвращает обратно,— истинный рай и царство Святого Духа. В нынешнем, падшем мире следовать ему непросто. Мы не только несовершен-

---

* Возможно, вернее было бы сказать «созданий». Я ни в коей мере не отвергаю мнения, что причиной хотя бы некоторых болезней могут быть тварные, но иные существа (см. гл. IX). В Писании сатана связывается с недугом в Книге Иова, у Луки (13, 16), в I Послании к Коринфянам (5, 5) и, возможно, в I Послании к Тимофею (1, 20). Правда, для этой главы неважно, одним ли людям из всех наделенных свободной волей существ Бог дает возможность мучить других.

ные твари, нуждающиеся в исправлении. Как говорил Ньюмен [1], мы — мятежники, которые должны сложить оружие. И первый ответ на вопрос, недавно нами поставленный, в том, что нелегко отдать волю, которой ты так долго пользовался по своему усмотрению. Я уже говорил, что и в раю, наверное, приходилось делать какое-то усилие. Но сломить волю раскормленную, разбухшую, укорененную не легче, чем умереть. Все мы помним, как мы кричали, как пылали поистине дьявольской злобой, страстно желая своей или чужой смерти, когда в детстве наша воля натыкалась на препятствие. Отец, мать или няня старого склада были совершенно правы, твердя, что прежде всего надо «сломить у ребенка своеволие». Их методы были неверны, но если вы не видите, в чем их правота, вам не понять духовных законов. Сейчас мы не так много вопим и топаем ногами отчасти потому, что старшие все-таки что-то сделали, отчасти же потому, что страсти наши стали потоньше и на помощь нам пришла система «компенсаций». А чтобы действительно справиться с ними, надо всякий день умирать. Сколько ни ломай мятежное «я», оно все живо. Дело это — болезненное, что явствует хотя бы из самого слова «умерщвление».

Но и это не все. Как ни странно, умерщвление идет легче, если его сопровождает какая-либо другая боль. Мне кажется, тут можно различить три случая.

Человек и не подумает ломать свою волю, если у него все в порядке. И ошибка, и грех — зло скрытое; чем они грубее, тем их жертва меньше о них подозревает. Страдание открыто и видно сразу, это зло явное; если вам плохо, вы сразу поймете, что не все в порядке. Мазохизм — не исключение. Садизм и мазохизм изолируют и выделяют одну сторону нормального полового влечения. Садизм * выделяет обладание и господство до такой степени, что только мучение возлюбленного может удовлетворить садиста; так сказать: «Я твой господин и поэтому мучаю тебя». Мазохизм выделяет другое, противоположное: «Я твой раб, и мне приятно даже пострадать от твоей руки». Хотя страдание ощущается как зло — как насильственное подчинение другой стороне, для мазохиста оно становится эротическим стимулом. Не только в страдании узнаем мы зло, но зло невозможно не заметить. Мы можем не замечать наших грехов, глупостей и даже удовольствий (вспомните, как неосмысленно ест обжора самые вкусные вещи), но страдания не заметить нельзя. Господь говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседует с нами голосом совести и кричит, попуская страдания. Страдание — мегафон Божий. Если плохой человек счастлив, нет ни малейшей надежды, что он заметит зазор между собой и Законом.

Именно поэтому люди так часто чувствуют, что плохому человеку надо пострадать. Незачем презирать это чувство, оно сродни

---

* Современная тенденция считать «садистской жестокостью» просто «большую жестокость» или «жестокость, осуждаемую писателем» для нас бесполезна.

справедливости. Когда мы с братом рисовали что-то в детстве, я толкнул его и он нечаянно перечеркнул свой рисунок. Тогда я предложил ему перечеркнуть мой, и все уладилось. Я сам поставил себя на его место, чтобы увидеть зло его глазами. На более высоком уровне эта идея выступает в виде наказания, воздаяния по заслугам. Иногда хочется очистить наказание от всякого возмездия и заменить его перевоспитанием или чем-нибудь еще. Но тогда наказание просто несправедливо. Поистине гнусно мучить человека, если он того не *заслужил*. Если же он заслужил, наказание волей-неволей будет ему возмездием. Что может быть возмутительнее, чем насильственное нравственное воспитание, если человек его не *заслуживает!* Наконец, то же самое чувство вызывает жажду мести, настоящую страсть к отмщению. Она, несомненно, дурна и запрещена христианам, но мы знаем из рассуждения о садизме и мазохизме, что самые дурные вещи — лишь искажение хороших. Хорошим же здесь будет то, что с такой честностью описал Гоббс: «Мы желаем иногда причинить другому боль, чтобы он осудил в себе хоть что-то»[49]. Мщение утрачивает цель, гоняясь за средствами, но сама его цель не совсем, не полностью плоха. Мы хотим, чтобы зло злого человека стало для него тем же, чем оно было для других. Не случайно мстителю нужно, чтобы виновный не просто пострадал, но пострадал от его рук, и понял это, и понял, за что. Понятны и стремление мстителя оскорбить виновного в момент воздаяния, и фразы вроде: «Интересно, понравится это ему, когда то же самое сделают с ним?» — или: «Я его проучу». По этой же причине, когда мы хотим оскорбить человека, мы грозимся сказать все, что о нем думаем.

Когда наши предки считали беды и горести мщением Божьим, они не просто приписывали Богу свои дурные страсти. Пока плохой человек не увидит зла хотя бы в форме страдания, он — во власти иллюзий. Когда же страдание встряхнет его, он знает, что не все в порядке, и возмущается, и восстает (а отсюда — ближе к покаянию) или пытается что-то понять (а отсюда — ближе к вере). Конечно, в наши дни и покаяние, и вера труднее, чем в те века, когда в Бога (или даже в богов) верили все; но и сейчас дело делается. Такие атеисты, как Харди и Хаусмен [50], восстали против Бога, хотя (или потому что) Его, по их мнению, нет, а Хаксли именно из-за страдания пересматривает все и вся и находит выход, пусть не христианский, но все же гораздо более высокий, чем пошлое довольство жизнью [51]. Конечно, боль как мегафон Божий — орудие страшное. Она может привести к полному, бесповоротному мятежу. Но другой возможности исправиться у плохого человека нет. Боль срывает покров, водружает флаг истины в крепости мятежной души.

Итак, в самом грубом и простом случае страдание разрушает иллюзорную уверенность в том, что «все хорошо». Во втором случае оно разрушает иллюзорную уверенность в том, что достояние наше принадлежит нам. Все мы знаем, как трудно обратить

мысль к Богу, когда все идет успешно. Фраза «у нас есть все» ужасна, когда это «все» не включает в себя Бога. Мы считаем Бога помехой. Св. Августин говорит, что мы не можем принять Божьих даров, когда руки наши полны [52]. А один мой друг сказал, что Бог для нас, как парашют для летчика: он есть, но воспользоваться им, наверное, никогда не придется. Бог же, сотворивший нас, знает, что наша радость — в Нем, и знает, что мы не обернемся к Нему, пока у нас хоть что-то осталось. Пока нам нравится наша жизнь, мы не подчиним ее Ему. Вот Ему и приходится перекрыть ради нас источники нашего счастья, сделать нашу жизнь менее приятной. Мы особенно возмущаемся Промыслом Божьим, когда надо бы восхищаться Божьим смирением. Нам странно, что беды падают на достойных, приличных, добродетельных людей — на самоотверженных матерей, на бережливых работяг, которые так долго и с таким трудом сколачивали свое скромное благополучие и только-только с полным правом собирались зажить спокойно. Как мне сказать помягче и пояснее то, что надо сказать? Дело не в том, что недружелюбный человек непременно обвинит меня самого в их страданиях, как до сих пор говорят, что св. Августин *хотел*, чтобы некрещеные дети попали в ад. Важнее другое: как бы мои слова не отпугнули кого-нибудь из читателей. Я очень прошу вас предположить хотя бы на секунду, что Бог, создающий этих людей, может быть, и прав, думая, что их пристойного благополучия и обеспеченности их детей мало для блаженства, что все это с них осыплется и что, если они не научатся ставить Бога выше этого, им будет совсем плохо. Поэтому Он и встряхивает их, предупреждая заранее о том, что сами они открыли бы слишком поздно. Жизнь для себя и для своих семей встает между ними и тем, что им действительно нужно; вот Он и делает их жизнь менее сладкой. Я назвал это смирением, потому что не всякий захочет стать последним прибежищем. Будь Господь горд, Он бы не пожелал такой любви; но Он не горд. Он согласен получить нас даже тогда, когда мы ясно показали, что все на свете нам дороже Него, и пришли к Нему лишь потому, что больше «нет ничего лучшего». Такое же смирение звучит в угрозах, которые пугают высокоумных читателей Писания. Да, небольшая честь быть последним прибежищем, выбираемым как альтернатива аду, но Бог на это идет. Ведь надо во что бы то ни стало разрушить иллюзию самодостаточности, и Бог разрушает ее грубым страхом геенны или земной бедой, не стыдясь умаления Своей Славы. Те, кто хотел бы видеть в Писании более изысканного Бога, сами не знают, чего хотят. Будь Он кантианцем, не желающим принять нас, если мы не обратились к Нему из самых чистых и высоких побуждений [53], кто бы спасся? А иллюзия самодостаточности сильней всего именно у работящих, умеренных людей; значит, к таким людям должны прийти несчастья.

Это и объясняет, почему Господь намного мягче к грехам бесполезным, чем к грехам, которые способствуют земному

преуспеянию. Блудница вряд ли сочтет свою жизнь такой удачной и достойной, что Богу в ней нет места. Гордые, корыстные, самоуверенные подвержены этой опасности.

Третий случай описать труднее. Всякий признает, что выбор, как правило, сознателен,— чтобы выбрать, надо знать, что ты выбираешь. До грехопадения человек всегда выбирал то же самое, что Бог. Следуя Божьей воле, он удовлетворял свое желание и потому, что все, требовавшееся от него, было радостно, и потому, что он любил Божью волю и без нее ничто не могло бы обрадовать его. Тогда нельзя было спросить, «ради Бога» или «ради себя» мы так поступаем, ибо «ради Бога» значило «ради себя». Воля, направленная к Богу, везла к счастью, как добрая лошадь, а наша воля, когда мы счастливы, уносится счастьем, как корабль увлекается быстрым течением. Удовольствие было желанным даром Богу, поскольку дарить доставляло удовольствие. Но у нас есть много желаний, которые в лучшем случае не противоречат Божьей воле, а если когда и совпадут, то по счастливой случайности. Поэтому мы и не узнаем, что действуем ради Бога, если действие не претит нам или, иными словами, не доставляет нам страданий. Тем самым, сознательно предавая себя Божьей воле, мы неизбежно испытываем страдание. Сейчас я особенно ясно вижу, как трудно предавать волю Богу, когда дело нам нравится. Замыслив эту книгу, я надеялся, что послушание будет хотя бы сопутствующим мотивом моей работы. Но я увлекся, и работа стала скорее искушением, чем долгом. Я надеюсь, что не нарушаю воли Божьей, но было бы просто смешно назвать жертвой такое приятное занятие.

Здесь возникает новая трудность. Кант полагал, что у действия нет нравственной ценности, если оно совершается не из чистого послушания нравственному закону, а потому, что оно нам нравится. Здравый смысл судит точно так же. Никто не восхищается человеком, который делает что-нибудь приятное. Восклицая: «Да он же это *любит*!», подразумевают обычно: «Следовательно, в этом нет заслуги». Однако против такой точки зрения свидетельствует другая очевидная истина, впервые описанная Аристотелем: чем добродетельнее человек, тем больше радуют его добрые, нравственные друзья и дела [54]. Я не знаю, как сможет выкрутиться атеист из этого противоречия между этикой долга и этикой добродетели, но попробую предложить христианский ответ.

Иногда задавались вопросом, потому ли Господь требует чего-то, что Ему так вздумалось, или потому, что оно само по себе хорошо. Вместе с Хукером, возражая доктору Джонсону [55], я согласен только со вторым предположением. Из первого можно сделать гнуснейший вывод (как Пэли [56]), что Бог мог бы выбрать не доброту, а злобу и велеть нам ненавидеть друг друга. По-моему, «ошибаются те, кто думает, что у Его воли действовать так или иначе нет никакой причины, помимо Его воли»*. Воля Божья

* *Хукер.* Законы церковного устроения, I, i, 5.

обусловлена Его милосердием и мудростью, а мудрость и милосердие любят добро. Но когда мы говорим, что Бог велит нам лишь то, что благо, мы должны прибавить, что одна из внутренне благих вещей — свободное подчинение твари Творцу. Сам факт нашего подчинения хорош, потому что, подчиняясь, мы сознательно исправляем Адамов грех.

Тем самым мы согласны с Аристотелем: доброе действие может быть приятным, и чем лучше человек, тем оно ему приятнее. Но мы согласны и с Кантом в том, что одно доброе дело — предание своей воли — непременно связано с неприятным чувством у падших существ. К этому надо прибавить, что это доброе дело включает в себя все добрые дела. Мы поворачиваем обратно, к раю, развязываем тугой узелок, затянутый Адамом, когда против всех желаний и чувств просто подчинимся Богу. Именно такое действие может быть названо «*тестом*», то есть *испытанием;* потому и говорили наши предки, что беды посланы, чтобы нас испытать. Обычно приводят в пример испытание Авраама, когда он должен был принести в жертву Исаака [57]. Я не стану сейчас говорить ни об исторической достоверности, ни о моральной ценности этого события, но попытаюсь ответить на вопрос: «Если Господь вездесущ, Он знал, что сделает Авраам; зачем же Он его мучал?» Как заметил еще Августин, Бог знал, но Авраам не знал, что выдержит испытание [58]. А пока он не знал, что выберет, нельзя говорить о выборе. Реальность его послушания — само его действие. Бог именно и знал, что Авраам *сделает* так, а не иначе. Считая, что проверка не нужна, мы, в сущности, объявляем ненужным все, ведомое Богу.

Страдание разбивает броню дурной самодостаточности, но высшее испытание учит самодостаточности доброй. Когда нет низших, естественных причин и подмог, мы пользуемся лишь той силой, которую дает нам Господь. Воля становится поистине творческой и поистине нашей, когда она принадлежит Богу, и это — один из многих смыслов парадокса о том, что спасающий душу свою погубит ее [59]. Во всех других случаях волю питают наши желания, которые нам поставляют организм и наследственность. Когда же мы действительно действуем от себя, то есть от Бога в себе, мы — соработники творения, Его живые орудия. Потому такие действия и разрубают нетворческие узы, которыми Адам связал свой нечестивый род. Тем самым, если самоубийство лучше всего выражает самую суть стоицизма [60], а битва — суть воинственности, высшим выражением христианства остается мученичество. Христос перешел на Голгофе все мыслимые пределы добровольно принятой смерти, ибо у Него не только не было естественных подмог, но и Сам Отец Его оставил [61], а Он не перестал Его слушаться.

Эту истину о смерти знают не одни христиане. Сама природа начертала ее на полотнище мира, где непрестанно умирают зерна и родится колос. Наверное, у природы и научились ей люди, когда приносили в жертву людей или животных, столетиями

утверждая, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9, 22), а позже в мистериях изображали духовную смерть и воскресение. Индус, умерщвляющий тело на ложе, утыканом гвоздями, преподает нам ту же истину, и греческий мудрец говорит нам, что мудрая жизнь — упражнение в смерти [62]. Тонкий чувствами и благородный язычник прошлого века пишет о том, как его боги «умирают в жизнь»[63], и Хаксли призывает нас к отречению. Словом, отбросив христианство, мы не спасаемся от этого взгляда. Эта весть открывалась человеку всюду, где он жаждал истины, и до нее доходила пытливая мудрость. Христианство отличается лишь тем, что *облегчает* такой взгляд, дает силу его власти, возвещая, что дело уже начато, и твердая рука ведет нашу руку, когда мы выводим страшные буквы. Кроме того, в отличие от других учений оно требует не полной смерти, а исправления, перемены. Христианин совсем не обязан пройти через высшую муку. Исповедники спасаются, как и мученики, а многие несомненно святые люди знают спокойную и радостную старость. Ученики Христовы по-разному воспроизводят Его жертву — от злейших мук до той победы над собой, которую с виду не отличишь от разумной умеренности. Я не знаю, как идет выбор; но удивляет меня не то, что хорошие и набожные люди терпят беды, а то, что не все они их терпят. Сам Спаситель объяснял спасение богатых только всемогуществом Божьим (Мк. 10, 27).

Доводы, оправдывающие страдание, вызывают неприязнь к автору. Всякому хочется узнать, как же ведет себя он сам, когда страдает, а не пишет. Обо мне вы можете не гадать, я сам скажу вам: я трус. Когда я думаю о тревоге, снедающей, как пламя, и о сухой пустыне одиночества, о гнусной каждодневной нищете, о тупой боли, закрывающей от нас мир, и о боли, тошнотворно острой, мне так страшно, что я бы от них застраховался, если бы знал, как это сделать. Но при чем тут мои чувства? Вы их и так знаете, ведь они и ваши. Я не пытаюсь доказать, что страдать нетрудно. Страдать ужасно, иначе не о чем было бы и говорить. Я просто хочу показать, что в старой мысли о спасении через муку [64] что-то есть, а не доказать, что это приятно.

Размышляя об этом, надо помнить о двух вещах. Во-первых, боль — только центр системы, в которую входят еще страх и сострадание. Даже если бы она сама не имела духовной ценности, ценно уже и то, что кто-то кого-то пожалел и кто-то чего-то испугался. Надеюсь, вам ясно, что страх и сострадание способствуют послушанию и милости. Все мы помним, как простая жалость помогала любить неприятных нам людей, то есть любить их не потому, что они нам нравятся, а потому, что они нам братья. Пользу страха многие из нас узнали во время предвоенных кризисов. Сам я, например, живу бестолково и нелепо, с кем-то вижусь, тешу работой тщеславие, слабо радуюсь гостям или новой книге, как вдруг боль в животе или газетный заголовок пробуждают меня. Сперва я теряюсь и тупо смотрю на мои поломанные игрушки,

а потом понемногу, со скрипом мое умонастроение становится таким, каким должно быть всегда. Я вспоминаю, что игрушки не вправе владеть моим сердцем, что благо мое — не в этом мире и сокровище мое — Христос. Божьей милостию я на день-два становлюсь сознательно зависимым от Бога и черпаю от Него силу; но все встает на место, природа моя привычно тянется к игрушкам, и я даже стараюсь (прости меня, Господи!) изгнать из сознания чувства этих дней, потому что они связаны с чем-то неприятным. Богу удалось удержать меня при Себе на двое суток и то лишь потому, что Он забрал все остальное. Но меч Его исчез из виду, и я, как щенок после купанья, встряхиваюсь и спешу вываляться если не в помойке, то в ближайшей клумбе. По-видимому, испытания не могут прекратиться, пока Бог не переделает нас или не увидит, что переделать нас нельзя.

Во-вторых, когда мы думаем только о боли как центре этой системы, не надо ничего примысливать. Именно поэтому я пишу о страданиях человека больше, чем о страданиях животных. Человеческие страдания мы знаем, о страданиях животных можем лишь рассуждать. Но даже и с людьми мы должны принимать в расчет только то, что знаем. Многие писатели и поэты считают теперь, что страдание непременно озлобляет. Конечно, как и наслаждение, оно способно умертвить душу: все, что дается существу со свободной волей, обоюдоостро *. Но страдание озлобит еще больше, если учить страдающих, что именно так и надо на него отзываться. Негодовать при виде чужих страданий благородно, но и опасно, ибо это может умалить терпение и смирение страдающего и поселить в нем ненависть и цинизм. Однако я не совсем убежден, что страдание само по себе, без подсказки, непременно породит дурные чувства и черты. На передовой, в окопах, я нашел ничуть не больше злобы, себялюбия и подлости, чем в других местах. Я видел удивительную духовную красоту у сильно страдающих людей. Я часто наблюдал, как с годами люди становятся лучше и как последняя болезнь порождает силу и кротость в тех, кто никогда их не знал. Мои любимые исторические лица — скажем, доктор Джонсон и Коупер — были бы почти невыносимы, если бы они не так страдали [65]. О бедности — муке, порождающей все муки,— я говорить не решусь; и тех, кто отвергает христианство, не тронут слова Христовы о блаженстве нищеты [66]. Но за меня скажет примечательный факт: те, кто считает нашу веру «опиумом народа», презирают всех людей, *кроме* бедняков. Они считают только бедняков достойными жизни и возлагают на них свои надежды. Это несовместимо с верой в то, что страдания бедности порождают лишь дурные свойства; наоборот, это подразумевает, что такие страдания благи. Как и мы, марксисты верят и в то, что бедность блаженна, и в то, что с ней надо бороться.

* Об обоюдоострой природе страдания см. «Приложение».

VII. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Продолжение)

> Все, что существует так, как до́лжно, подчиняется *второму вечному закону*; а то, что ему не соответствует, неким образом управляется *первым вечным законом*.
>
> *Р. Хукер. Законы церковного устроения* [67]

В этой главе я выдвину и попытаюсь доказать шесть пропозиций, без которых невозможно понять проблему страдания. Они не вытекают друг из друга, и порядок их произволен.

1. В христианстве есть парадокс; на первый взгляд оно как-то непоследовательно относится к испытаниям. Бедность душеполезнее богатства, но милосердием и правдой (то есть социальной справедливостью) мы должны уничтожать бедность где можем. Блаженны изгнанные и гонимые, но мы вправе бежать от гонений (Мф. 10, 23) и даже молиться о том, чтобы они нас миновали, как молился Спаситель в Гефсимании [68]. Однако если страдать полезно, зачем спасать и спасаться от страданий? Отвечу, что само по себе страдание — не благо. Хорошо в нем лишь то, что страдающего оно *иногда* подчиняет Божьей воле, а в других — порождает жалость и деятельную доброту. В падшем и частично искупленном мире дело обстоит так: а) от Бога исходит чистое добро; б) чистое зло — от Его мятежных созданий; в) Бог использует это зло в Своих целях; г) возникает новое, производное добро, которому способствует принятое страдание и сокрушение о грехе. Бог всегда может обратить зло в добро, но это ни в коей мере не оправдывает злодеев. Поймите, это исключительно важно. Надобно прийти обидам, но горе тому, через кого они придут [69]. Когда умножается грех, действительно преизобилует благодать [70] — но не дай нам Господи вывести отсюда, что следует побольше грешить. Крестный путь ведет к вершине земной истории, но для Иуды оправданий нет.

Применим все это к страданиям ближних. Добрый человек делает добро ближнему, сознательно участвуя в чистом добре Божьем. Злой человек обижает ближнего, участвуя тем самым в чистом зле; но Бог использует его дела без воли его и согласия, чтобы произвести новое добро. Итак, добрый служит Богу, как сын, злой — как орудие. Что ни делайте, Бог все приведет к добру, но *для вас* отнюдь не безразлично, кто вы Ему — Иуда или Иоанн [71]. Система, так сказать, рассчитана на то, что плохой человек преткнется о хорошего. Добрые плоды терпения, мужества, жалости и милосердия, ради которых плохому человеку попущено творить зло, не вырастут, если не будет хороших людей, обычно творящих добро. Говорю «обычно», так как иногда нужно и причинить страдание (и даже, по-моему, убить), но лишь в том случае, если: а) иного выхода нет; б) добро от этого — бесспорно и в) нам дано на это хоть какое-то право — природой (как отцу), обществом (как судье или воину) или самим страдающим (как

хирургу). Если же вы захотите оправдать и утвердить измывательства над ближним, потому что «страдание ему на пользу» (как безумец Тамерлан у Марлоу возомнил себя «бичом Божьим»[72]), вы не нарушите Божьего замысла, но предъявите права на роль сатаны. Что ж, делающий его дело примет и его плату — полное разобщение с Богом.

Точно так же решается вопрос и о нашем собственном страдании. Многие аскеты истязали себя. Я мирянин и не буду судить о том, стоило ли это делать; но я уверен, что самоистязание очень сильно отличается от боли, посланной Богом. Всякий знает, что пост и голод — разные вещи. Пост включает в себя усилие воли, и награда его — сила, а опасность — гордыня. Голод вынужденный предает и аппетит наш, и волю воле Божьей, давая нам возможность смириться. Опасность есть и тут — мы можем восстать, возмутиться, озлобиться. Но аскетические упражнения, укрепляющие волю, полезны лишь до тех пор, пока воля наводит порядок в нашем обиталище страстей, готовя дом для Господа. Они полезны как средства, как цель они ужасны — подменяя аппетит волей, мы просто сменим животное естество на естество бесовское. Поистине, лишь Бог властен над смертью. Испытания делают свое дело в мире, где мы, люди, стараемся избежать боли и обрести радость. Чтобы предать волю Богу, надо чего-то хотеть. Христианское отношение — не бесчувствие стоиков, а готовность предпочесть Бога более низким, тленным, но не злым целям. Сам совершенный Человек очень хотел избежать страдания и смерти, но готов был принять их, если в этом — воля Отца. Некоторые святые советуют от всего отрешиться сразу, в начале пути; но я думаю, что они говорят о полной *готовности* отрешиться от чего угодно, когда потребует Бог *. Невозможно ничего не хотеть, кроме подчинения Богу. В чем тогда материя отказа? Невозможно сказать: «Я хочу подчинить то, что я хочу, Божьей воле», это не имеет смысла. Конечно, мы слишком стараемся избежать страданий, но неприязнь к ним законна, согласна со всей системой тварной жизни, на которую и рассчитана их очистительная роль.

Тем самым неверно думать, что христианский взгляд на страдание не разрешает нам улучшать мир. В самой полной из притч о Страшном суде Господь сводит всю добродетель к деятельному милосердию [74]; и, хотя нельзя отрывать эту притчу от всего остального в Евангелии, она ясно показывает, какова самая суть нашей социальной этики.

2. Если без испытаний не спасешься, испытания будут, пока Господь не спасет мир или не признает, что спасти его невозможно. Поэтому христианин не может верить тем, кто обещает ему, что, улучшив экономику, политику или медицину, мы обретем рай на земле. Казалось бы, это должно ввергнуть в уныние христианских общественных деятелей, но они не унывают. Когда чувст-

* См., например, IV беседу брата Лаврентия (от 25 ноября 1667 года). «Один лишь искренний отказ от всего мыслимого не ведет нас к Богу»[73].

вуешь, что все мы, люди, объединены страданием, действовать хочется не меньше, чем тогда, когда дикая надежда искушает нас преступить нравственный закон, а потом дает нам прах и пепел. Представим себе, что речь идет об отдельном человеке, и нам сразу станет ясно, что неосуществимость земного рая ничуть не мешает милосердию. Голодный хочет есть, больной — вылечиться, хотя оба знают, что потом их ждет не рай, а обычная нелегкая жизнь. Я не обсуждаю сейчас, нужны ли серьезные изменения в общественной системе. Я просто напомнил, что не надо путать лекарство с эликсиром бессмертия.

3. Поскольку мы коснулись политики, напомню и о том, что христианское учение о послушании и покорности — богословское, а не политическое. Мне нечего сказать ни о формах правления, ни об общественном самоуправлении, ни об общественном послушании. Та степень послушания, которую мы обязаны оказывать Богу, беспримерна и неповторима, как неповторима и связь между созданием и Создателем. Никаких политических выводов из этого делать нельзя.

4. Христианское учение о страдании объясняет, мне кажется, удивительную особенность нашего мира. Бог не дает нам спокойствия и счастья, к которым мы так стремимся, но Он очень щедр на радость, смех и отдых. Мы не знаем покоя, но знаем и веселье, и даже восторг. И понятно почему. Уверенность благополучия обратит сердце к временному, отрывая его от Бога. Редкие радости любви, прекрасный пейзаж, музыка, беседа, купание или матч такого эффекта не имеют. Отец подкрепляет нас в пути, но строго следит, чтобы мы не приняли за собственный дом придорожную таверну.

5. Не надо осложнять и затемнять дело толками о «немыслимой сумме страданий». Представим себе, что у меня болит зуб, и определим сумму этой боли через «*x*». Так же болит зуб и у вас. Если вы хотите, можете сказать, что сумма боли будет «*2x*», но помните, что никто и никогда такой боли не испытывает. Страдания не слагаются. Предел какого-нибудь страдания, конечно, ужасен, но дальше идти некуда, дальше нет ничего, прибавь мы хоть миллион других страданий.

6. Страдание — единственное на свете чистое, неосложненное зло. Заблуждение, зло ума, порождает другое заблуждение. Грех порождает грех, укрепляя привычку к нему и ослабляя совесть. И страдание, и заблуждение, и грех могут повторяться, если повторилась причина (для греха — искушение, для ошибки — усталость или что-нибудь еще, хотя бы опечатка, для страдания — болезнь или чья-нибудь злая воля). Но страдание не плодится, не порождает зла. Если оно прошло — оно прошло и сменилось облегчением. Исправляя ошибку, вы должны не только устранить привычку или причину, но и переменить мнение; исправляя грех, вы должны раскаяться. И там, и тут нужно что-то переделать, выправить, иначе снова и снова, до конца времен, будут возникать грехи и ошибки. Когда же кончилось страдание, ничего

VIII. АД

Что есть сей мир, солдаты?
Это — я:
Я — этот непрестанный снег
И северные небеса;
Солдаты, эти сирые места,
где мы идем,
есть я.

У. де ла Мэр. Наполеон [75]

Я Ричарда люблю, и Ричард — друг мне;
Я — тот же я.

У. Шекспир. Ричард III [76]

В одной из предыдущих глав мы говорили о том, что страдание может не только пробудить, но и озлобить, привести нас к последнему и нераскаянному мятежу. Человек наделен свободной волей, и все дары ему обоюдоострые. Из этого следует, что Божьи попытки спасти всех и каждого могут иногда не удаться. Некоторых Бог не спасет. Нет доктрины, которую я больше бы хотел устранить из христианства; но это не в моей власти. Ее поддерживают Писание и собственные слова Спасителя, поддерживает ее и разум. Если идет игра, возможен и проигрыш. Радость человека — в том, чтобы предаться Богу, но никто не может сделать это вместо него (хотя многие могут помочь ему), а сам он вполне способен этого не захотеть. Я заплатил бы любую цену за право сказать: «Все спасутся», но разум спрашивает меня: «По своей воле или насильно?» Я отвечаю: «Насильно» и впадаю в противоречие: может ли высший акт воли — предание себя Богу — совершаться так? Я отвечаю: «По своей», и разум мне возражает: «А если кто-нибудь не захочет?»

Слова Господни об аде, как и все Господни слова, обращены к совести и воле, а не к умственному любопытству. Когда же они пробудили нас, дело их сделано; и если бы все на свете стали христианами, мне больше не о чем было бы говорить. Однако именно эти слова нередко отвращают человека от христианства и приводят к сомнению в благости Божьей. Нас обвиняют в жестокости, словно мы радуемся аду (хотя я, например, ненавижу его всем сердцем), и напоминают о том, сколько трагедий породила вера в него. О трагедиях, которые эта вера остановила бы, нам напоминают реже. По этим и только по этим причинам мне придется говорить на такую тему.

Проблема наша не в том, что Бог допускает гибель Своих созданий. Так встал бы вопрос, если бы мы были мусульманами [77]. Христианство, верное, как всегда, сложности реального мира, ставит перед нами более трудную задачу: наш Бог так много-милостив, что Он вочеловечился и умер в муках ради нашего спасения,— и все же, если не помогает и это героическое средство, Он как бы не хочет или даже не может спасти человека насильно. Я сказал, что заплатил бы любую цену, чтобы не было этого *учения*. Это не так. Я не могу заплатить и тысячной доли того, что заплатил Господь на Голгофе, чтобы не было самого *факта*. В том-то и трудность: столько милости, и все-таки есть ад!

Я не собираюсь доказывать, что учение об аде можно вынести. Не заблуждайтесь, вынести его нельзя. Однако я попытаюсь доказать, что оно не противно нравственности, и для этого разберу обычные возражения против него.

Во-первых, многие возражают против наказания, вернее, против воздаяния. Мы говорили об этом в предыдущей главе и пришли к выводу, что любое наказание безнравственно, если в нем нет воздаяния, возмездия. В самой тяге к отмщению мы нашли крупицу правды: плохой человек должен увидеть то, что видят другие, он должен узнать, что творит не добро, а зло. Я говорил, что страдание водружает знамя правды в мятежной крепости. А что, если раскаяния нет, если знаменем все и кончилось и правда в крепость не вошла? Будем честны. Представим себе человека, который изменой и жестокостью добился богатства и власти. Представим, что он неустанно использовал себе же на благо доброту своих жертв и смеялся над их простотой. Представим, что, войдя в силу, он предался распутству и ненависти, а в довершение отбросил те остатки чести, которые есть и у воров, и предал своих сообщников. Представим себе, наконец, что он при этом ничуть не сокрушается, а ест, как школьник, и спит, как младенец, твердо веря, что Бог и люди — дураки, которых он перехитрил, и только его жизнь успешна и правильна. Тут нужна особая осторожность. Ни за что, ни в коем случае нельзя поддаваться страсти мщения. Это очень большой грех. Христианское милосердие велит нам снова и снова спасать его любой ценой, ценой своей жизни, ценой своей души. Но сейчас речь не об этом. Представим себе, что он *не хочет* сдаваться. Что ж, по-вашему, должно его ждать в вечности? Неужели вы в действительности хотите, чтобы он, *не меняясь* (а он ведь может не измениться, у него свободная воля), думал, что последнее слово осталось за ним? Если вы этого не хотите и не вытерпите, одна ли ваша слабость или злоба в том виной или же распря между правдой и милостью, которую вы считали устаревшей и умозрительной, оказалась в самой вашей душе и пришла туда вроде бы сверху, а не снизу? Вам хочется мучений злодея; вам хочется, чтобы рано или поздно в страшной, мятежной душе поднялось знамя правды, даже если на том все и кончится. В определенном смысле ему

лучше знать, что он прогадал. Никакая милость не пожелает, чтобы он сохранил навеки свою гнусную иллюзию. Св. Фома Аквинский применил к страданию то, что Аристотель сказал о стыде: само по себе оно дурно, но при определенных обстоятельствах приносит и пользу. Другими словами, когда перед нами зло, страдание — род познания, и поэтому в нем есть относительное благо. Альтернатива — много хуже; ведь она в том, чтобы душа и не подозревала о зле или хотя бы не знала, что зло противно замыслу о ней. «И то, и другое,— говорит Фома,— дурно *без сомнения*»*. И, как нам это ни страшно, мы с ним соглашаемся.

Мы хотели, чтобы Бог простил этого человека таким, как он есть, потому что мы не знаем разницы между словами «простить» и «попустить». Попускающий зло просто игнорирует его, как бы причисляет к добру, списывает со счета. Прощение же надо не только дать, но и *принять*; а тот, кто не видит за собой вины, не примет прощения.

Я начал эту главу с представлений об аде как о наказании Божьем, ибо в этой форме доктрина ужасней всего, а я хотел встретить лицом к лицу самое сильное возражение. На самом же деле Господь чаще говорит о том, что суд — в предпочтении тьмы свету; о том, что не Он, но *слово* Его судит людей [78]. Мы же вправе считать, что гибель этого человека — не в приговоре ему, а в том, что он останется таким, как есть. Погибшие души «отвергают все, кроме себя»**. Наш воображаемый эгоист пытался присвоить и потребить все, что встречал на пути. В нем нет никакой тяги к тому, что не есть он (а это значит, что его не обрадует никакое добро), но все же ему приходится соприкасаться с внешним миром. Смерть его от этого освобождает. Он может, наконец, жить лишь самим собой и наслаждаться тем, что он там найдет. Находит он ад.

Другое возражение: вечная гибель не соответствует временному злу. Если мы представляем себе вечность как простое продолжение времени, так оно и есть. Но это представление о вечности не совсем верно. Представим себе время как линию (а это образ хороший, ибо «точки» времени следуют одна за другой и сосуществовать не могут, то есть у времени нет *ширины*, одна длина); тогда нам придется мыслить вечность двумя, а то и тремя измерениями. Трехмерное тело лучше всего воплотит всю реальность человеческой жизни. Тело это в большей части сотворено Богом через благодать и природу, но наша свободная воля проводит ту сторону основания, которую мы называем земной жизнью; и если линия эта неверна, куб окажется не на своем месте. Спасибо Создателю, что жизнь коротка. Мы и эту линию умудряемся провести так, что сдвигается весь наш куб. Что бы мы с ним наделали, если бы нам доверили больше?

---

* Summa Theologica, I, II, Q. XXXIX, Art. I.

** *Ф. фон Хюгель.* Эссе. Серия 1. Что такое небо и ад [79].

Возражение это существует и в другой форме: говорят, что смерть не должна подводить черту, что надо дать человеку еще один шанс *. Я думаю, что, если бы миллион шансов тут мог помочь, нам бы их дали. Только учитель знает, когда уже бесполезно разрешать переэкзаменовку. Когда-то черта подводится, и не так трудно поверить, что всеведению Божию ведом этот час.

Третье возражение обращает наш взор к тем ужасам адских мук, о которых говорит не только средневековое искусство, но и само Писание. Однако, как пишет фон Хюгель, мы не должны смешивать доктрину с системой образов, через которые она передается. Господь применяет для ада три символа: муки («...в муку вечную»— Мф. 25, 46), гибели («...кто может и душу и тело погубить в геенне»— Мф. 10, 28) и лишения, или же утраты, изгнания во внешнюю тьму (см. притчи о брачной одежде и о мудрых и неразумных девах [80]). Широко распространенный образ огня важен, ибо он соединяет в себе идеи мучений и гибели. Без сомнения, все эти образы призваны дать нам понятие о чем-то несказанно ужасном, и всякое иное толкование, как это ни жаль, надо исключить сразу и навсегда. Совсем не обязательно отдавать предпочтение образу мук в ущерб образам, предполагающим гибель и лишения. Что же можно с одинаковым успехом выразить в этих трех символах? Гибель представляется нам обычно как исчезновение, словно душа может просто исчезнуть. Но мы знаем по опыту, что, когда одна вещь гибнет, возникает другая. Сожгите полено, и вы получите пепел, какие-то газы и тепло. Это, так сказать, бывшее полено. Быть может, и здесь гибель означает переход в некое состояние «бывшей души»? Не к этому ли состоянию подходит образ муки, и образ гибели, и образ утраты? Надо вспомнить, что спасенные идут в место, уготованное *для них*, а погибшие — в место, вообще не уготованное для людей (Мф. 25, 34 и 41). Попадая в рай, люди становятся людьми в той полной мере, которой не достигли на земле; попадая в ад, они выбывают из человечества. То, что выброшено (или выбросилось) во тьму,— не человек, а его «останки». У полноценного, целого человека страсти подчинены воле, а воля предана Богу. У человека «бывшего» воля, по-видимому, полностью сосредоточена на нем самом, а страсти совершенно ей неподвластны. Конечно, невозможно представить, что происходит в его сознании,— ведь он уже не грешник, а какая-то свалка враждебных друг другу грехов. Мне кажется, что прав был сказавший, что ад — это ад не с адской, а с райской точки зрения. Такая мысль ничуть не противоречит суровости Господних слов. Одним лишь погибшим их участь может показаться сносной. Сейчас, в этих главах, нам надо помнить, что, когда речь идет о вечности, страдание и удовольствие уже не так важны. Не им принадлежит последнее слово.

---

* Мысль эту не надо путать с учением о чистилище, где находятся *спасенные* души, или о лимбе, где находятся *погибшие*.

Если, как это ни странно, погибшие («бывшие») души испытывают удовольствие, оно такое, что любая еще не погибшая душа ринется в молитву при одной мысли о нем. Если же в раю есть страдание, все, кто хоть что-нибудь понимает, захотят его испытать.

Четвертое возражение: добрый человек не сможет блаженствовать в раю, зная, что хотя бы одна душа мучается в аду; а если так — неужели мы добрее Бога? Возражение это основано на образе рая и ада, существующих параллельно, как Америка и Англия. Нам представляется, что обитатель рая может сказать: «Сейчас кто-то страдает в аду». Но заметьте, что Господь, говоря об ужасах ада, подчеркивает не длительность их, а *окончательность*. Уход во внешнюю тьму — конец делу, а не начало какой-то новой жизни. У нас нет оснований сомневаться в том, что погибшая душа обречена окончательно на свою страшную долю; но нам неизвестно, означает ли это вечную или вообще какую-нибудь длительность. Интересные мысли об этом вы найдете у Эдвина Бивена *. Мы знаем о рае гораздо больше, чем об аде, потому что рай — наш дом и в нем есть все, что нужно для полной человеческой жизни; ад же не создан для людей. Ад не параллелен раю, он — вне его, во тьме, за пределами бытия.

Наконец, говорят, что полная потеря одной-единственной души — провал всемогущества Божьего. Так оно и есть. Создавая существа со свободной волей, Господь заранее идет на провал. Вообще, провал этот я скорее назвал бы чудом. Из всего, что мы знаем о Боге, это — самое удивительное. Подумайте только, Он создает то, что — не Он, и допускает тем самым, чтобы сотворенное, Его творение, воспротивилось Ему. В определенном смысле погибшие — победители: им удался их мятеж; и я охотно верю, что врата ада заперты *изнутри*. Я говорю не о том, что им «не хочется» выйти, может быть, им и хочется, как хочется завистнику быть счастливым; но они не желают сделать и шага к тому пути, на котором душа достигает блаженства. Они обрели свою страшную свободу и стали рабами, узниками, тогда как спасенные, отрешившись от себя, становятся все свободней.

Всем, кто возражает против учения об аде, можно сказать: «Чего вы хотите от Бога? Чтобы Он стер все прежние грехи и дал возможность начать снова, устраняя все помехи и помогая благодатью? Он так и сделал на Голгофе. Чтобы Он простил? Не все хотят прощения. Чтобы Он оставил этих людей на собственный свой произвол? Боюсь, что это Он и делает».

И еще одно. Я описал в этой главе такого плохого человека, которого особенно легко признать плохим. А теперь забудьте его. Толкуя и думая об аде, мы должны иметь в виду не гибель наших врагов или друзей, а нашу собственную гибель. Глава эта — не о вашей жене, не о вашем сыне, и не о Нероне, и не об Иуде. Она — о вас и обо мне.

---

* Символизм и вера [81].

IX. СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫХ

...Чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

Бытие 2, 19

...Когда дело идет о природе предмета, последний должен рассматриваться в его природном, а не извращенном состоянии.

Аристотель. Политика [82]

Мысль о страданиях животных ужасает нас; и не потому, что животных очень много (мы уже видели, что от страданий миллиона существ боли не больше, чем от страданий одного), но потому, что христианское объяснение человеческих мук к ним неприменимо. Насколько мне известно, животные не способны ни к добродетели, ни к греху; из чего следует, что они не могут заслуживать страданий, а страдания не могут их улучшить. Однако мы не должны ставить проблему их страданий во главу угла — не потому, что они неважны (все, что искушает нас усомниться в благости Божьей, бесконечно важно), а потому, что нам их не понять. Господь дал нам возможность хоть как-то понимать свои страдания; понимать страдания животных нам не дано. Мы не знаем, почему животные созданы и кто они такие. Что бы мы о них не сказали, все будет неточно, наугад. Из учения о благости Божьей мы вправе вынести без колебаний, что нам только *кажется,* будто Бог беспечно жесток к ним; и нам легче в это поверить, когда мы знаем, что единственные страдания, известные нам по опыту,— наши собственные — не доказывают Его жестокости. Все прочее — лишь догадки.

Для начала вынесем за скобки печальные рассуждения, которых я коснулся в первой главе. Тот факт, что растения «живут за счет друг друга» и «безжалостно друг друга губят», совершенно безразличен в нравственном отношении. «Жизнь» в биологическом смысле этого слова никак не связана с добром и злом, пока в дело не вступят ощущения. Сами слова «за счет» и «безжалостно» — просто метафоры. Уордсворт считал, что цветок «наслаждается воздухом», но нет никаких оснований верить ему. Конечно, растения реагируют на внешнее вмешательство иначе, чем неорганическая материя; но человеческое тело под наркозом реагирует еще активнее, хотя ничего не чувствует. Мы вправе говорить о смерти или гибели растения как о большой беде, если сознаем, что выражаемся метафорически. Минералам и цветам, среди прочего, положено поставлять метафоры для душевных и духовных реальностей. Однако мы не должны попасть к метафоре в плен. Лес, в котором половина деревьев покончила с другой половиной, безупречно хорош — он и красив, и полезен, и ничуть не страдает.

Когда же мы переходим к животным, сразу встают три вопроса. Во-первых, вопрос о факте: что именно чувствуют живот-

ные, как они страдают? Во-вторых, вопрос о происхождении: как страдание и боль проникли в их мир? И наконец, вопрос о справедливости: можно ли примирить их страдания со справедливостью Божьей?

1. В сущности, на первый вопрос ответом будет: «Не знаю», но кое-что предположить можно. Для начала разделим самих животных — ведь если бы обезьяна могла понять нас, она бы обиделась, что ее противопоставляют человеку вместе с червем или устрицей. Без сомнения, человек и обезьяна больше похожи друг на друга, чем на червя. Никто не обязывает нас считать, что и на самом низу животного царства существует чувствительность к боли. Отграничивая животных от растений, биологи используют не те признаки, которые выдвинул бы непосредственный непосвященный наблюдатель, скажем, нечувствительность и неспособность к движению. Однако где-то (мы не знаем где) появляется чувствительность к боли, ибо нервная система уже похожа на нашу. Но и на этом уровне мы не должны отождествлять чувствительность с осознанностью. Если вы не слышали о разнице между ними, она удивит вас, но она очень важна, и нельзя ее списывать со счета. Предположим, что три ощущения *A, B* и *C* следуют одно за другим [83]. Когда это бывает с вами, вы сознаете, что претерпели некий процесс *ABC*. Но подумайте о том, чему вы этим обязаны. По-видимому, в вас есть нечто, в достаточной степени внешнее по отношению к *A*, чтобы заметить его исчезновение, и достаточно внешнее по отношению к *B*, чтобы заметить его возникновение, и т. д. Именно это я и назвал осознанностью, и описанный мною процесс — одно из доказательств того, что душа, хотя и ощущает время, не заполнена временем вплотную. Но осознать процесс *ABC* как процесс может только душа, не сводящаяся к простому чередованию состояний, а скорее подобная руслу, по которому они движутся, и сама при этом сознающая свое, отдельное от них единство. Нервная система высших животных почти наверное отдает себе отчет в ощущениях; но отсюда не следует, что у них есть «душа», которая осознает в себе ощущения *A* и *B*, сменяющиеся ощущением *C*. Если нет, не будет воспринят и процесс *ABC*. Говоря философским языком, существует «последовательность восприятий», то есть ощущения следуют именно в том порядке, но Бог об этом знает, а животное — нет. У них нет «восприятия последовательности». Когда такое существо хлестнут два раза бичом, оно испытает боль дважды, но никакое «координирующее я» не осознает этого. Даже при одном ударе никакое «я» не скажет: «Мне больно», ибо, если бы оно могло отделить себя от ощущения — русло от потока,— оно бы свело воедино и те два удара. Правильным было бы сказать: «В этом животном имеет место страдание», а не то, что мы обычно говорим: «Это животное испытывает страдание»; ведь слово «испытывает» подразумевает, что существует некое «я», или «душа», или «сознание», возвышающееся над ощущениями и превращающее их в «опыт», как у нас. Конечно, мы не можем

представить себе такую неосознанную чувствительность; хотя она бывает и у нас, мы в этих случаях говорим, что «были без сознания». Животные реагируют на боль, но и мы реагируем под наркозом и даже отвечаем на вопросы во сне.

Я и гадать не берусь, до какого уровня животной жизни верно все вышесказанное. Очень трудно предположить, что обезьяна, слон, кошка или собака лишены хоть какой-то «осознающей души». Но и без них большая часть того, что мы называем страданием животных,— не страдания. Мы сами выдумали «невинных страдальцев» по трогательной причине: нам хочется видеть в животных то, чего в них нет.

2. Прежде страдания животных возводили к грехопадению человека; и правда, бесплодный мятеж Адама в немалой степени испортил мир. Но теперь мы знаем, что животные существовали задолго до людей и поедали друг друга. Думая об этом, поневоле вспомнишь то, что не было догмой, но всегда входило в вероучение Церкви и подразумевается во многих словах Христа, Иоанна и Павла. Я имею в виду веру в то, что человек не первый восстал против Бога,— другое, более мощное создание, отступившее от Создателя, стало князем тьмы и тем самым — князем мира сего. Не все в это верят, и мне возражали иногда, что Господь, совлекшись Своей славы, мог разделять, как человек, предрассудки своего века. Я и сам считаю, что Иисус-человек не был всеведущим, ибо человеческий мозг, наверное, не вместит всеведения, а предполагая, что Его мысль не связана с мозгом, мы впадаем в докетизм[84], отрицающий истинность Воплощения. Если бы какие-нибудь Его слова оказались неверными с исторической или научной точки зрения, это ничуть не поколебало бы моей веры в то, что Он — Бог. Но учение о сатане не оказалось неверным. Оно противоречит не научным фактам, а смутному «духу эпохи», в которой нам довелось жить. Каждый ученый знает, что в его области открытия делали и все ошибки исправляли именно те, кто не считается с духом своей эпохи.

И вот мне представляется вполне вероятным, что некие невидимые твари действовали во Вселенной, или в Солнечной системе, или на Земле до сотворения человека. Я не пытаюсь «объяснить все зло»; я просто расширяю утверждение о том, что зло — порождение свободной воли. Если, как я сам верю, твари эти существуют, они могли портить животный мир, когда людей еще не было. Внутреннее зло животного мира в том, что некоторые животные живут, уничтожая друг друга. Нечто подобное есть и у растений, но зла тут нет. Таким образом, вред, причиненный сатаной животным, в определенной степени подобен вреду, причиненному нам, людям. В результате грехопадения животная сторона человека перестала подчиняться стороне человеческой. Так и здесь: по чьей-то злой воле животные соскользнули к образу жизни, свойственному растениям. Мне скажут, что огромная смертность, порожденная хищничеством, уравновешивает огромную рождаемость; и будь все животные травоядными, они бы

перемерли с голоду. Но я предполагаю, что рождаемость и смертность соотносительны. Наверное, не было необходимости в таком избытке половой силы, и князь мира сего измыслил его в дополнение к хищничеству, как бы дважды обеспечив наибольшее количество мук. Если вам от этого легче, замените все мои рассуждения приличной фразой: «Жизненной силе нанесен урон». Это одно и то же, но мне легче верить в ангелов и бесов, чем в отвлеченные понятия. Да и, в сущности, мифы эти могут оказаться гораздо ближе к буквальной истине, чем нам представляется. Вспомним, что Христос однажды счел причиной болезни не гнев Божий и не природу, а прямо сатану (Лк. 13, 16).

Если гипотеза эта достойна внимания, то возможно и другое: явившись в мир, человек должен был животных спасти. Даже и сейчас он творит с ними чудеса; у меня самого собака и кошка мирно живут вместе. Быть может, человек среди прочего был призван восстановить у животных мир, и, если бы он не перешёл к противнику, он бы совершил дела, которых мы и представить себе не можем.

3. Теперь перед нами встает вопрос о справедливости. По-видимому, не все животные страдают так, как мы это понимаем; но если у некоторых из них есть что-то вроде личности, что делать с этими невинными страдальцами? Я только что говорил, что страдания животных, наверное, порождены не Богом, а дьяволом и длятся потому, что человек ушел со своего поста. Но если Бог не породил их, Он их попустил; так что же делать, как помочь животным? Меня предупредили, чтобы я и не думал рассуждать о бессмертии животных, иначе я окажусь в компании «старых дев»*. Это меня не испугало — я не вижу ничего постыдного ни в старости, ни в девстве, и часто именно старые девы удивляли меня высотой и тонкостью ума. Не пугают меня и дурацкие вопросы вроде: «Куда же вы денете всех москитов?» — на них надо отвечать на том же уровне (скажем: «Рай для москитов — в аду для людей»). Больше трогает меня то, что ни в Писании, ни в Предании ничего об этом не говорится. Но это решало бы вопрос, если бы наше Откровение было некоей «системой природы», отвечающей на все вопросы. Оно и не пытается дать полной «картины мироздания»; занавес приподнят лишь в одном месте, чтобы открыть нам то, что нам необходимо, а не ради нашего удовольствия или умственного любопытства. Если животные бессмертны, Бог вряд ли открыл бы нам это. Даже вера в бессмертие людей возникла в иудаизме не сразу. Тем самым и этот аргумент меня не пугает.

Истинная сложность в другом: бессмертие (или воскресение, или вечная жизнь) почти лишено смысла для существа, у которого нет самосознания. Если жизнь тритона — лишь цепь последовательных ощущений, в каком смысле Бог может дать ему жизнь

* А также в компании Дж. Уэсли [85].

после смерти? Он себя и не узнает. Приятные ощущения другого тритона ровно так же уравновесят все его земные страдания. И что значит «*его*» страдания? Где его «я»? Мне кажется, для существ, наделенных лишь ощущением, речи о бессмертии быть не может. Ни милость, ни справедливость не требуют его, ибо у таких существ нет связного опыта боли. Их нервная система различает по отдельности все *буквы* — Б, О, Л, Ь, но читать они не умеют и никогда не сложат их в слово *БОЛЬ*. Может быть, это верно по отношению ко всем животным.

Однако мы чувствуем, что у высших животных, особенно у прирученных, есть хотя бы зачаточное «я». Если это не иллюзия, об их судьбе стоит подумать. Только не надо брать их отдельно, самих по себе. Человека можно понять лишь в его связи с Богом. Животных можно понять лишь в связи с человеком и, через человека, с Богом. Многим из нынешних верующих мешает здесь непереваренный кусок атеистического сознания. Атеисты, как им и положено, видят человека и животных на одной биологической плоскости, и приручение животных для них — просто вмешательство одного вида в жизнь другого. «Настоящим», «правильным» животным они считают дикое, а прирученное животное кажется им каким-то искусственным. Христианин так думать не должен. Бог препоручил нам власть над животными, и всякое наше действие по отношению к ним — или послушание Богу, или кощунственный мятеж. Прирученное животное и есть настоящее, правильное, только оно занимает должное место, только на нем мы вправе основывать свои выводы. И вот мы видим, что, если у него есть индивидуальность, оно обязано ею своему хозяину. Хорошая овчарка ведет себя «как человек» благодаря хорошему пастуху. Я уже говорил о таинственной силе предлога «в». Когда мы читаем Новый завет, мы видим, что человек пребывает *во* Христе, Христос — *в* Боге, а Святой Дух — *в* Церкви и *в* отдельной душе. И всякий раз предлог наш означает не совсем одно и то же. Мне кажется (если я неправ, богословы меня поправят), что в каком-то еще сходном смысле животное обретает «я» *в* хозяине. Бессмысленно и думать о животном отдельно и спрашивать, освятит ли или воскресит ли его Господь. Рассматривать его надо в том совокупном контексте, в котором животное приобретает свою «самость», а именно в контексте «добрых-хозяина-и-хозяйки-живущих-вместе-со-своими-детьми-и-животными-в-своей-доброй-усадьбе»; и контекст этот будет «телом» в том или почти в том смысле, который вкладывает в это слово апостол Павел [86]. Кто знает, что из этого «тела» воскреснет вместе с хозяином и хозяйкой? Наверно, не только то, что нужно для славы Божьей, но и то, что окрашено навеки цветом данного, неповторимого опыта. Потому мне и кажется возможным, что некоторые животные обретают бессмертие не сами по себе, а в бессмертии хозяев. А в этом случае (то есть если мы берем животное «в контексте») исчезает и главная трудность — как решить, другое воскресло животное или то самое. Если мы спросим, где же и в чем «личная

идентичность» воскресшего животного, я отвечу: «Там, где она была при земной его жизни,— в его отношении к Телу и особенно к хозяину, главе этого Тела». Другими словами, человек узна́ет свою собаку, а собака узна́ет человека и, узнавши его, *будет* собой. Бессмысленно спрашивать, узна́ет ли она себя. Вероятно, вопрос этот к животным не относится.

Мое описание хорошей овчарки и доброй усадьбы не касается диких животных и (что много важнее для нас) нелюбимых домашних. Это всего лишь иллюстрация к теории о воскресении животных. Мне кажется, что христиане не знают, считать ли им животных бессмертными, по двум причинам. Во-первых, они боятся, что, наделив животное «душой», они сделают менее отчетливым отличие человека от животного — резкое в духовном смысле и проблематичное, неопределенное в биологическом. А во-вторых, будущее счастье животных просто как компенсация за страдания в настоящем (тучные пастбища под ногами — награда за тяжелую упряжь) кажется неуклюжим признанием благости Божьей. В силу нашей греховности мы часто непреднамеренно обижаем и детей и животных; и лучшее, что мы можем сделать,— это лаской или лакомым куском загладить свою вину. Но вряд ли благочестиво вообразить, что всеведение действует так же, как будто Бог нечаянно наступил животному в темноте на хвост! В таком неумелом деянии я не могу признать руку мастера; каким бы ни был ответ, он должен быть лучше этого. Моя теория пытается избежать обоих возражений. Она ставит Бога в центр мироздания, а человека — в подчиненный центр земной природы; животные не на одном уровне с человеком, они подчинены ему, их судьба тесным образом связана с его судьбой. И бессмертие их — не просто компенсация или возмещение; это часть новых небес и новой земли, органически связанная со всем мучительным процессом грехопадения и искупления в мире.

Предположим вместе со мной, что личностность домашних животных в большой степени зависит от человека, что их чувствительность — это причастность к нашей душе, так же как наша душа — причастность духовности во Христе. Я думаю, что очень немногие из животных обладают хоть каким-то «я». Но если у кого-нибудь из них оно есть и благому Богу приятно, чтобы оно воскресло, их бессмертие также связано с человеком, только не с конкретным, а с людьми вообще. Я имею в виду вот что: если люди не зря приписывают животным некие свойства (скажем, невинность ягненку или царственность — льву), животные в этом своем качестве и войдут в окружение воскресшего человека. Если же качества у них другие, нам неизвестные,— там, в небесной их жизни *, проявятся они; ибо, согласно христианской космологии, все на Земле связано с человеком и даже существа, создан-

* Я имею в виду их участие в небесной жизни человека, который, в свою очередь, живет во Христе. Наверное, бессмысленно говорить о небесной жизни животных самих по себе.

ные раньше, чем он, выступают в истинном свете лишь как бессознательные его предшественники.

Когда речь идет о таких далеких от нас созданиях, как дикие или доисторические животные, мы едва ли знаем, о чем говорим. Вполне возможно, что у них нет «я» и нет страданий. Возможно даже, что у каждого рода — одно «я»; и «львиность», а не лев войдет в новую землю. Мы не можем себе представить и собственной нашей вечной жизни, тем более не вообразить нам тамошней жизни животных. Если бы земной лев узнал, что ему уготовано есть сено, как волу, он счел бы это описанием ада, а не рая. И если во львах нет ничего, кроме кровожадности, в вечность переходить нечему. Но если что-то есть, Бог может дать этому и тело, какое пожелает,— не пожирающее ягненка, а львиное в том смысле, в каком мы употребляем это слово, когда говорим о силе, царственности и великодушии. И мне кажется, пророк употребил восточную метафору, когда сказал, что барс будет лежать вместе с козленком [87]. По-моему, барс или лев, уже никому не опасные, все равно будут внушать какой-то высокий страх, и мы увидим впервые то, что здесь, на Земле, по-бесовски неверно пытались выразить клыки или когти.

X. РАЙ

Молите всей душой о чуде! Стойте
В молчании... а кто не верит, лучше
Пускай уйдет...

У. Шекспир. Зимняя сказка [88]

Пошли в пучине милостей твоих
мне смерть, желанную для всех живых.

Ж.-М. де ла Мотт Гюйон [89]

«Думаю,— говорит апостол Павел,— что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Если так, книга о страданиях, не повествующая о рае, окажется неполной. И Писание, и Предание восполняют земные скорби небесной радостью, и без этого проблему страдания не решить по-христиански. Мы же боимся упомянуть о рае. Мы боимся упрека в том, что стараемся ради награды, или в том, что мы пытаемся ускользнуть от созидания счастья здесь, на Земле. Но небесная награда или есть, или ее нет. Если ее нет, то христианство ложно, ибо учение о рае неотделимо от него. Если она есть, придется взглянуть на эту истину так же прямо, как и на всякую другую, не размышляя, годится ли она для политических митингов. Мы зря боимся, что рай — как бы взятка, подкуп. В раю нет никакой приманки для корыстной души. Можно смело открыть чистым сердцем, что они узрят Бога [90],— только они и хотят Его узреть. Награда не всегда предполагает корысть. Любовь мужчины к женщине не назовут корыстной, если он хотел бы на ней жениться. И любовь к стихам

не корыстна, если мы хотим читать стихи, и любовь к упражнениям, если мы любим бегать, прыгать и ходить. Любовь всегда стремится к тому, чтобы предмет ее принес ей радость.

Вы думаете, быть может, что теперь не говорят о рае, потому что он никому по-настоящему не нужен. Посмею предположить, что нам, как и всем нынешним людям, это только кажется. Все, что я сейчас скажу,— мое мнение, совершенно ничем не подкрепленное; и я отдаю себя на суд лучших христиан и лучших богословов, чем я. Иногда и сам я думаю, что мы не хотим рая, но много чаще я не знаю, хотим ли мы чего-нибудь еще. Наверное, вы замечали, что ваши любимые книги чем-то связаны. Вы очень хорошо знаете, что именно любите в них, хотя и не сумеете назвать это; но ваши друзья вообще этого не видят и удивляются, как вы можете любить и то, и это сразу. Или представьте себе, что вы увидели дерево и луг, и поняли, что именно их искали всю жизнь, а потом обернулись к спутнику, и оказалось, что ему они ничего не говорят. И во вкусах то же самое: мы ощущаем что-то невыразимо прекрасное в запахе свежей древесины или в плеске воды о днище лодки, но это не сливается с нами, а как бы таится в глубине. Самая прочная дружба рождается тогда, когда мы наконец встречаем человека, который хоть немного, хоть как-то любит то, о чем вы тосковали с рождения, то, что вы ищете, видите, провидите сквозь другие, ненужные желания, в любой просвет более громких страстей, день и ночь, год за годом, от раннего детства до старости, и ни разу не обрели. Все, что мало-мальски серьезно владело вашей душой, было лишь отблеском, невыполненным обещанием, неуловимым эхом. Но если бы это эхо окрепло в звук, вы бы сразу *узнали* и сказали уверенно и твердо: «Для этого я и создан». Мы никому не в состоянии об этом рассказать. Это — сокровенная печать каждой души, о которой рассказать невозможно, хотя мы стремимся и стремились к ней раньше, чем нашли себе жену, друга, дело, и будем стремиться в смертный час, когда для нас уже не будет ни друга, ни дела, ни жены. Пока мы есть, есть и это. Если мы это утратим, мы утратим все *.

Быть может, душа обязана этим среде или наследственности; что ж, и среда и наследственность — орудия Божьи, которыми Он творит душу. Здесь и сейчас я говорю не о том, *как* Он творит неповторимую природу души, а о том, *почему* у Него все наши души разные. Если бы различия между нами не были Ему нужны, я просто не знаю, зачем бы Ему творить хотя бы две души. Все, что в вас есть, никак не тайна для Него, и придет день, когда это не будет тайной для вас. Форма, в которой отливают ключ, очень странная, если вы не видели ключа, и ключ очень странен, если вы не видели замочной скважины. Ваша душа странной формы, потому что именно эта выемка придется к одному из

---

* Конечно, я не хочу сказать, что неустранимое стремление, которое Создатель дал нам, людям,— дар Святого Духа тем, кто пребывает во Христе. Это не знак святости, а знак принадлежности к роду человеческому.

неисчислимых выступов Божьего бытия, именно этот ключ откроет одну из дверей дома, где обителей много [91]. Ведь спасти надо не отвлеченное человечество, а вас, читателя, с вашим именем и вашим лицом. Если вы не помешаете Богу, все в вас, кроме греха, достигнет радости. В Брокенском призраке [92] каждый узнавал свою первую любовь, потому что призрак лгал, обманывал. Но в Господе каждая душа узнает свою первую любовь, потому что Он и есть ее первая любовь. Вы увидите, что ваше место в небесах создано для вас как по мерке, ибо и вы созданы для него, и вас пригонят к нему, дюйм за дюймом, словно перчатку к руке.

Именно с этой точки зрения легче понять, чего мы лишаемся в аду. Всю жизнь мы сильно и не совсем осознанно грезим о чем-то недостижимом и вот просыпаемся и видим, что оно — наше или что оно было рядом и пропало навсегда.

Вы скажете, быть может, что, толкуя слова о бесценной жемчужине [93], я исхожу из своего опыта, но это не так. То, о чем я говорю, не дается в опыте. Мы знаем, что мы испытали лишь *стремление* к нему, само же оно никогда не воплощалось ни в мысль, ни в образ, ни в чувство. И всегда оно зовет нас не углубляться в себя, а как бы из себя выйти. Если же вы не пойдете за ним и будете праздно лелеять *свои* мечтания, оно от вас уйдет. «Дверь в жизнь отворяется за нашей спиной»*. Сокровенный огонь в вас угаснет, если вы станете раздувать его. Плесните в него масла нравственности или догмы, отвернитесь, делайте свое дело — и он разгорится. Мир — картина с золотым фоном, мы — люди на ней, и нам не увидеть золота, пока мы не выйдем в трехмерное пространство смерти. Но отблески мы видим; затемнение — неполное; щели в ставнях есть. Порою все вещи больше самих себя, ибо сквозь них светит тайна.

Быть может, я не прав и наше сокровеннейшее стремление — тоже частица ветхого человека, которую надо распинать до самой смерти. Однако, чтобы распять, надо поймать — а его не изловишь. Не только свершение, но и сама мечта не вмещается ни во что на свете. Что бы вы ни приняли за нее, оно оказывается не тем, так что, сколько ее ни распинай, сколько ни меняй, она не станет меньше, чем есть; ее ведь у нас как бы и нет. А если и это не так, есть что-то другое, прекраснейшее. Но «есть» и «прекраснейшее» и будет, в сущности, определением того, о чем я пытаюсь рассказать.

То, к чему мы так сильно стремимся, уводит нас от своекорыстия. Даже стремление к земному благу остается живым лишь в том случае, если вы махнете на него рукой. Этот закон непреложен: зерно умирает, чтобы жить [95]; хлеб надо пустить по водам [96]; теряющий душу свою — обретает ее [97]. Но жизнь зерна, возвращение хлеба и обретение души не менее реальны, чем жертва, неизбежно их предваряющая. Истинно сказано: «В раю нет своего,

---

* *Макдональд Дж.* Алек Форбз. Гл. 33 [94].

а если кто назовет что своим, он будет низвергнут в ад и станет злым духом»*. Но сказано и так: «...побеждающему дам... белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2, 17). Что принадлежит человеку больше, чем это имя, которое даже в вечности знают только он и Бог? И что означает эта тайна? Не то ли, что каждый блаженный вечно ведает и хвалит какую-нибудь одну грань Божией славы, как не познает ее и не восхвалит никто другой? Бог создал нас разными, чтобы любить нас *по-разному* — не «меньше» и «больше» (Он всех любит беспредельно), а именно по-разному, как мать любит детей. Поэтому и возможна любовь блаженных по отношению друг к другу, содружество святых [98]. Если бы все *одинаково* видели и славили Бога, песнь торжествующей Церкви слилась бы в одну ноту. Аристотель учил, что город — единство непохожих **, а у апостола Павла мы читаем, что тело — единство разных членов (1 Кор. 12, 12—30). Рай — и Город и Тело именно потому, что блаженные неодинаковы; рай —то общество, ибо каждому всегда и вечно есть что поведать о «Боге своем», Которого все они вместе славят как «Бога нашего». Каждая душа отдает всем другим свое единственное знание, всегда неполно и так прекрасно, что земная ученость и земные искусства — лишь ненужное подобие ее рассказа; и я уверен, что люди созданы разными и для этого.

Ибо союз возможен лишь между разными; и если мы это поймем, мы, быть может, увидим хоть краем глаза значение всех тварных вещей. Пантеизм не столько неверен, сколько недействителен. До сотворения мира можно было сказать, что все есть Бог. Но Бог пожелал, чтобы вещи были не такими, как Он, и потому могли научиться любви к Нему и достигнуть единения с Ним, а не простого подобия. Он тоже пустил хлеб по водам, бросил зерно в землю. Даже в тварном мире мертвая материя едина с Богом в том смысле, в каком люди с Ним не едины. Но (в отличие от языческих мистиков) Бог не хочет возвращать нас к такому единству; он хочет, чтобы мы отличались друг от друга с предельной четкостью и могли соединиться с Ним в лучшем, высшем смысле. И в самой Троице Слово — не только Бог, Оно и *вместе* с Богом. Отец предвечно рождает Сына, Дух предвечно исходит от Них [100]. Бог ввел различие внутрь Себя, чтобы в единении любви превзойти единство самотождественности.

Но вечное отличие каждой души, из-за которого неповторим каждый союз человека с Богом, никак не нарушает закона о том, что нет своего на небесах. Мне кажется, в раю каждая душа непрестанно раздает блаженным ближним все, что получает. Что же до Бога, вспомним, что душа — это отверстие, полость, которую Он заполняет; и союз с Ним, почти по самому определению,— непрестанная самоотдача, раскрытие, откровение, препоручение

---

* Theologia Germanica, LI.

** Политика II, 2, 4 [99].

себя. Блаженная душа — сосуд, который все лучше и лучше принимает расплавленный металл; тело, все легче и легче выносящее яростный жар духовного солнца. Не думайте, что на небе прекратятся победы над собой и вечная жизнь не будет вечным умиранием. Мы говорили, что в аду могут быть удовольствия (упаси нас от них, Господи!); так и в раю может быть что-то, подобное страданию (Господи, дай поскорее изведать его!).

Ибо, отдавая себя, мы ближе всего к ритму тварного, да и всякого бытия. Предвечное Слово отдает Себя в жертву не только на Голгофе. В Свой смертный час наш Спаситель «совершил на холодных окраинах то, что делал во славе и радости у Сея дома»*. Рожденный Бог предвечно предает Себя Богу рождающему; и Отец славит Сына, как Сын славит Отца (Ин. 17, 1, 4—5). Со всем смирением мирянина посмею согласиться с тем, что «Бог любит Себя не как Себя, а как Благо, и, если бы было на свете большее благо, Он возлюбил бы его, а не Себя»**. Всюду, от высших до низших, «я» существует лишь для того, чтобы мы его отдали, и становится от этого еще более собою, чтобы мы полнее отдали его, и так без конца. Это — не закон небес, от которого можно уклониться на Земле, и не земной закон, от которого мы уйдем в спасении. За его пределами не Земля, не природа, не «обычная жизнь», а просто ад. Но и ад обязан лишь ему единственной своей реальностью. Страшная замкнутость в себе — лишь производное от самоотдачи, реальности абсолютной. Эту форму принимает тьма внешняя, облекая и очерчивая то, что *есть,* то, что обладает формой и своей природой.

«Я», золотое яблоко, брошенное природой ложным богам, стало яблоком раздора, ибо они не знали первого правила священной игры: коснись мяча и бросай его другому. Взять его в руки — грех, оставить себе — смерть. Когда же оно летает от игрока к игроку так быстро, что его и не увидишь, и Господь Сам ведет игру, отдавая Себя твари в рождении и получая ее — в ее добровольной жертве, вечный танец несказанно прекрасен. Вся боль и радость, ведомая нам здесь, на земле,— лишь первое приближение к нему; но чем ближе мы к его предвечному ладу, тем дальше от нас земные боли и радости. Танец весел, но танцуют его не для веселья, даже не для добра, даже не для любви. Он Сам — Любовь, Сам — Добро, и потому в Нем радость. Не Он для нас, а мы для Него. Пустота и огромность Вселенной, пугавшие нас в первой главе, и сейчас поразят нас, ибо даже если они — побочный плод нашего трехмерного воображения, они символизируют великую истину. Как Земля перед звездами — человек перед всем тварным миром; как звезды перед Вселенной — все твари, все силы и престолы перед бездной Бытия, которое нам и Отец, и Спаситель, и Утешитель, хотя ни мы, ни ангелы не можем ни сказать, ни помыслить, что́ Оно для Себя и в Себе.

---

* *Макдональд.* Непроизнесенные проповеди. 3-я книга. С. 11—12.

** Theologia Germanica, XXXII.

ПРИЛОЖЕНИЕ *

Боли на свете много, и распознать ее нетрудно. Гораздо труднее точно и полно определить поведение страждущего, особенно при таком поверхностном, хотя и близком общении, как общение пациента с врачом. Однако врач неизбежно накапливает наблюдения, которые обобщаются с годами. Острая физическая боль ужасна, пока она длится. Тот, кто испытывает ее, обычно не кричит. Он просит помощи, но ему слишком трудно расходовать силы, движение и дыхание. Очень редко он теряет контроль над собой и, так сказать, себя не помнит. Словом, в этом смысле острая и недолгая боль не так уж часто становится невыносимой. Когда же она проходит, она не оставляет следов в душе. Долгая, постоянная боль действует на душу сильнее, но и здесь нередко больной не жалуется или жалуется мало, проявляя большую силу духа и большое смирение. *Гордыня* его сломлена, но иногда он скрывает страдание из *гордости.* Бывает, что долгая боль и разрушает душу, человек становится злым и пользуется своей болезнью, чтобы изводить домашних. Но удивительно не это, удивительно то, что таких случаев мало, а героических — много. Физическая боль бросает человеку вызов, и большинство узнает его и принимает. Конечно, очень долгая болезнь и без боли изматывает душу. Больной отказывается от борьбы и погружается в отчаяние, жалеет себя. Однако и тут некоторые сохраняют ясность духа и память о других. Это бывает редко, но всегда беспредельно трогает.

Душевная боль не так наглядна, как физическая, но встречается она чаще, и вынести ее, в сущности, труднее. К тому же ее обычно скрывают, а это само по себе нелегко. Однако, если мы примем ее лицом к лицу, она очистит и укрепит душу и — чаще всего — минует. В тех же случаях, когда мы ее принимаем не всю, или вообще не принимаем, или не опознаем ее причину, она не проходит и мы становимся хроническими неврастениками. Но и постоянную душевную боль иные переносят героически. Она даже стимулирует их творчество, а характер укрепляет так, что он становится поистине стальным.

Когда повреждена душа, то есть когда человек психически болен, картина много безотрадней. Во всей медицине нет ничего столь страшного, как хроническая меланхолия. И все же сумасшедшие далеко не всегда мрачны (я говорю, конечно, о других видах сумасшествия, не о меланхолии). Выздоровев же, они не помнят своей болезни.

Боль предрасполагает к героизму, и этим очень часто пользуются.

---

* За эти сведения я благодарю доктора Р. Хэварда [101], давно работающего в клинике.

ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ,
или Мысли о просвещении и воспитании, особенно же о том, как учат английской словесности в старших классах

I

ЧЕЛОВЕК БЕСЧУВСТВЕННЫЙ

Ирод воинам велел
Деток убивать.
Рождественская песенка

Я не уверен, что мы понимаем, как важны школьные учебники и хрестоматии. Именно потому я и начну с беседы о небольшой книжке, предназначенной английским «ученикам и ученицам старших классов». Должно быть, авторы (их двое) не замышляли злодеяний, и прежде всего я должен выразить благодарность им или издателю за то, что мне прислали в подарок экземпляр с лестной надписью. Однако ответить лестью я не могу. Положение у меня щекотливое. Я не хочу бранить двух честных учителей, пытающихся сотворить благое дело, но я не могу скрывать, почему я с ними не согласен. Поэтому я назову их Каем и Титом [1], а книгу их — «зеленой книгой», по цвету обложки. Заверяю читателя, что книжка эта существует и лежит сейчас в моей комнате. Кай и Тит рассказывают известную историю про Колриджа и водопад. Наверное, вы помните, что водопадом любовались, кроме поэта, еще двое. Мужчина сказал: «Какое величие!», а женщина: «Какая прелесть!»— и Колридж одобрил про себя первую фразу, от второй же его передернуло. Кай и Тит комментируют это событие: «Когда человек произнес слово «величие», он думал, как и другие, что определяет водопад. На самом же деле... он определял лишь собственные чувства. В действительности он сказал: «...водопад вызывает у меня чувства, связанные в моем уме с понятием величия», или короче: «...вызывает у меня чувство величия». Уже в этих фразах ставится немало проблем, весьма достойных обсуждения. Однако авторы говорят, что такую подмену мы допускаем на каждом шагу; мы думаем, что говорим что-то важное о явлении или предмете, на самом же деле мы говорим только о собственных чувствах.

Прежде чем рассуждать, какие плоды может принести этот небольшой отрывок (напомним — предназначенный для школьников), мы должны объяснить и опровергнуть одну простую ошибку, в которую впали Кай и Тит. С любой точки зрения, даже с их собственной, человек, говорящий: «Какое величие!»— никак

не имеет в виду, что у него какое-то «чувство величия». Примем удобства ради неверную мысль и поверим на минуту, что величие — лишь проекция наших чувств; однако и тогда сами чувства надо определять словом «восхищение». Говорящий восхищен, перенесен ввысь, а для этого нужно ощущать, что ты был внизу. Тем самым фраза «Какое величие!» свидетельствует прежде всего о смирении; еще проще сказать, что без смирения не признаешь великим никого, кроме себя. Вообще же, если развить эту мысль, она приведет к явным нелепостям. Тогда выходит, что слова «Какая гадость!» значат: «У меня гадкие чувства». Но хватит об этом. Несправедливо упирать на то, что Кай и Тит, вероятно, написали нечаянно.

Школьник, прочитавший приведенные выше слова, должен сделать два вывода: все оценочные высказывания свидетельствуют исключительно и только о чувствах говорящего; тем самым высказывания эти практически пусты. Конечно, Кай и Тит ничего подобного не заявляли. Они разбирают только одно оценочное высказывание, предоставляя школьникам распространить такой подход на все остальное. Путь этот открыт, между тем никаких оговорок в «зеленой книге» нет. Мы не знаем, хотят ли авторы, чтобы школьники взяли на себя вышеупомянутый труд; быть может, они об этом и не подумали. Но я рассуждаю не о том, чего они хотят, а о том, какое воздействие оказывает их книга. Не говорили они и слов «оценочные высказывания хуже других». Они говорили иначе: «...он думал, что...», «на самом же деле он определил лишь собственные чувства». Какой школьник избежит воздействия этого «лишь»? Нет, я не хочу сказать, что школьник сознательно создает связную философскую теорию. В том-то и сила Кая с Титом, что они обращаются к детям — к существам, которые просто «готовят уроки», не помышляя, что в игру вступила этика. Школьник воспринимает не догму или систему, а некое мнение, которое принесет плоды через десять лет; он не вспомнит, где о нем читал, оно всосется в душу и определит его позицию в споре, когда он и знать не будет, что идет какой-то спор. Должно быть, Кай и Тит сами не ведают, что творят, а уж читатель, несомненно, не ведает, что творят с ним.

Прежде чем начать рассуждение о ценностях как таковых, я попытаюсь показать, какие практические результаты дает точка зрения Кая и Тита. В четвертом разделе они приводят дурацкую рекламу так называемого круиза и увещевают читателя не писать в подобном стиле. Реклама сулит тому, кто купит билеты, что он «пересечет океан, чьи волны бороздил корабль Дрэйка[2]», «увидит чудеса и красоты обеих Индий» и привезет домой «сокровища счастливых часов и дивных», опять же, «красот». Конечно, стиль ужасен; здесь нагло эксплуатируются чувства, которые испытываем мы, увидев места, связанные с историей и легендой. Если бы Кай и Тит, выполняя обещанное, учили школьников хорошо писать, они поместили бы рядом отрывки из лучших писателей, где выражены те же чувства, и обстоятельно объяснили, в чем разница.

Они могли бы привести знаменитый отрывок из Джонсона, которым заканчиваются «Западные острова»: «Я не завидую тому, чье чувство родины не оживет на земле Марафонской и чье благочестие не возрастет у развалин Айоны» [3]. Они могли бы взять те строки из «Прелюдии» Уордсворта, где поэт описывает, как древность английской столицы впервые поразила его. Сравнение рекламы с такими образцами слога научило бы многому. Во-первых, это требует труда, что само по себе неплохо; во-вторых, школьник увидел бы, как пишут классики — Кай и Тит удивительно скупо знакомят его с ними.

Что же делают Кай и Тит? Они дают понять, что роскошный пароход почему-то не окажется там, где плыли корабли Дрэйка, что красот и чудес пассажиры не увидят и никаких сокровищ домой не привезут, так что лучше им было просто съездить в Маргэйт [4]. Развенчать ту рекламу нетрудно, это под силу и людям менее даровитым, чем Кай и Тит. Намеренно или нечаянно они не заметили другого: если пользоваться их методом, можно высмеять самую лучшую поэзию и прозу, говорящую нам о тех же чувствах. Какое отношение, в конце концов, имеют средневековые развалины к благочестию англичанина, жившего в XVIII веке? Почему таверна уютней и воздух целебней, оттого что Лондон существует больше тысячи лет? У Кая и Тита не поднимается рука на Джонсона и Уордсворта (а также на Лэма [5], Вергилия, Томаса Брауна [6], Уолтера де ла Мэра [7]), но авторы сделали все, чтобы читатель довершил недовершенное.

Школьник ничего не узнает о литературе из разбора рекламных фраз. Зато он узнает без затраты сил (и запомнит надолго), что чувства, вызванные прославленными местами, глупы и смехотворны. Ему никак не понять самому, что такая реклама не обольщает лишь тех, кто ниже ее, и тех, кто выше. Иммунитетом обладают поистине тонкие люди и «гориллы в штанах», для которых любой океан — определенное количество литров холодной и соленой воды. Школьнику об этом не догадаться, а книжка ему не помогла. Напротив, она поддержит его, когда он отмахнется от «Западных островов», гордясь, что он — человек разумный, не какой-нибудь слюнтяй. Поистине, что может быть опасней! Кай и Тит, ничего не поведав о литературе, ловко вырезали кусок из его души, пока он слишком молод, чтобы сопротивляться. Они лишили его большой радости: он не сможет разделить с великими чувства, которые испокон веков считались добрыми и душеполезными.

Кай и Тит не одиноки. Автор другой книжки, которого я назову Орбилием, проделал ту же операцию под тем же наркозом. Текст он выбрал другой — статейку о лошадях, где эти прекрасные существа названы «добрыми помощниками» каких-то колонистов. Однако он и слова не сказал о плачущих конях Ахилла, о боевом коне в Книге Иова, о давней любви человека к «брату нашему волу», о Братце Кролике и Кролике Питере [8] — короче, о том, что значило в истории и будет значить всегда восприятие

животного как личности. Не говорит он и о так называемой «психологии животных», которую все же изучает наука. Зато он объясняет, что лошади, строго говоря, не были заинтересованы в колониальной экспансии *. Вот и все, больше школьники ничего не узнали. Они не узнали, почему статейка плоха, если так хороши другие сочинения на эту тему. И совсем не узнали, даже не подумали, что такие статейки безопасны для двух типов людей: для тех, кто по-настоящему любит животных, и для городских идиотов, которые считают, что лошадь никому не нужна, когда есть автомобили. Школьник утратит радость, которую дарил ему пес или пони; ему станет легче обидеть или даже мучить животное; наконец, он обретет гордое и вредное ощущение: «Кто-кто, а я-то не дурак!» Таковы плоды урока английской словесности, в которой словесности этой места не хватило. Вот и еще одну часть человеческих ценностей отняли у детей, пока они не могут сами разобраться во всем.

До сих пор я исходил из предпосылки, что авторы этих книжек не ведают, что творят. Но возможно и другое: они хотят воспитать именно «гориллу в штанах». Чужая душа — потемки. Быть может, им кажется, что нормальные чувства к животным, к прошлому или к природе противны разуму, а потому подлежат уничтожению. Быть может, они хотят очистить юное создание от всякого хлама. Если Кай и Тит думают так, я скажу, прежде всего, что это касается уже не словесности, а философии. Отец или учитель, покупающий «зеленую книжку», обмануты — вместо труда профессиональных преподавателей словесности им всучили труд непрофессиональных философов.

Однако я все же не верю, что Кай и Тит решили протащить свои философские взгляды, коварно притворяясь, что учат детей языку. Мне кажется, они попали в ловушку, и по нескольким причинам. Во-первых, наука о литературе сложна; гораздо легче сделать то, что они сделали. Необычайно трудно объяснить, почему плох тот или иной прозаический или поэтический отрывок. Зато разоблачать чувства, противопоставляя им здравомыслие, может просто каждый. Во-вторых, Кай и Тит, наверное, честно заблуждаются, думая о том, что́ особенно важно воспитать в наши дни. Они видят, что мир сей то и дело «бьет на чувства»; они знают, что дети чувствительны, и выводят отсюда, что нужно укрепить детский ум, чтобы он не поддался пропаганде. Я сам учитель, и опыт мне говорит об ином. На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасать от бесчувственности. Нынешний учитель должен не расчищать джунгли, но орошать пустыню. Единственное спасение от ложных чувств — чувства истинные. Удушая чувствительность у ребенка, мы добиваемся лишь того, что пропа-

* Орбилий настолько превосходит Кая и Тита, что дает для сравнения хорошо написанный отрывок о животных. К несчастью, достоинства второго отрывка он видит лишь в том, что тот верен фактически. Литературного сравнения у него нет. Однако честности ради скажу, что книга его лучше «зеленой книжки».

ганде будет легче его одурманить. Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствение сердца не помогает против размягчения мозгов.

Однако есть и третья, более тонкая причина, заманившая Кая и Тита в ловушку. Быть может, Кай и Тит считают, что цель достойного воспитания — развить одни чувства и подавить другие. Быть может, они пытаются именно это и сделать. Но попытка обречена на провал. Сработает только разоблачительная часть. Чтобы объяснить, почему я так считаю, отвлечемся ненадолго и поговорим, чем же отличаются педагогические предпосылки Кая и Тита от всего, что бывало раньше.

До недавнего времени все педагоги и вообще все люди верили, что мир может вызвать и правильную, и неправильную оценку. Они принимали как данность, что внешние явления не только получают ту или иную оценку, но и заслуживают ее. Колридж согласился со своим спутником, а не со спутницей, ибо сам он считал, что по отношению к неодушевленной природе одни определения верны, другие — ложны. Кроме того, он полагал, что спутники его придерживаются того же мнения. Человек, применивший к водопаду слово «величие», отнюдь не собирался описывать свои чувства; он описывал, точнее, оценивал то, что видел перед собой. Если же не принимать этих предпосылок, говорить вообще не о чем. Если слова «Какая прелесть!» определяют лишь чувства некой дамы, Колридж не вправе осуждать это высказывание или возражать ей. Предположим, дама воскликнула: «Мне дурно!», не ответит же он: «Ну что вы! А я чувствую себя превосходно». Когда Шелли [9], сравнивая чувства с эоловой арфой, говорит, что они отличаются от арфы, ибо могут настраиваться в лад с ветром, рождающим звуки, он принимает ту же посылку. «Станешь ли ты праведным,— спрашивает Трэерн,— пока не воздашь должного тому, что тебя окружает? Все создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каждое создание Божье согласно его истинной цене» *.

Августин определяет добродетель как ordo amoris — справедливую, сообразную истине иерархию чувств, воздающих каждому творению столько любви, сколько оно заслуживает **. Согласно Аристотелю, цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, что должно ***. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания этики; человек же испорченный не увидит их и, скорее всего, не сумеет жить достойно ****. Еще раньше Платон сказал то же самое. Человеческий детеныш не может поначалу дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие и даже ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувств *****. Со-

---

* *Трэерн Т.* Сотницы созерцаний 1, 12.

** См.: *Августин.* О Граде Божьем. XV, 22; а также IX, 15 и XI, 28.

*** *Аристотель.* Никомахова этика. 1104b.

**** Там же. 1095 b.

***** *Платон.* Государство. 402 a; подробнее — Законы. 658 и далее.

гласно раннему индуизму, доброе поведение состоит в согласии и даже слиянии с «rita» — могущественным порядком или узором будущего, который отражен в порядке мироздания, в нравственном добре и храмовом ритуале. Rita, то есть праведность, правильность, порядок, то и дело отождествляется с satya, то есть правдой. Подобно Платону, сказавшему, что добродетелью держатся звезды [10], индийские учители говорили, что боги подчиняются rita.

Говорят об этом и китайцы, называя нечто великое (точнее, величайшее) словом «дао». Определить «дао» заведомо невозможно. Это — суть мироздания; это — путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку Вселенной. Ритуал тем и ценен, что он воспроизводит гармонию природы. Ветхозаветный псалмопевец тоже славит закон и заповеди за то, что они — «истина» *.

Такое миросозерцание я, для краткости, буду обозначать в дальшейшем «дао». И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают объективную ценность; все они считают, что одни действия и чувства соответствуют высшей истине, другие — не соответствуют. Человек, подчиняющийся «дао», может назвать ребенка милым, а старика — почтенным, выражая не собственные эмоции, но некие объективные свойства, которые мы обязаны признавать. Скажем, я (это так и есть) устаю от маленьких детей, но «дао» предписывает мне считать это моим недостатком в прямом, даже не нравственном смысле слова — в том смысле, в каком мы называем недостатком плохой слух. Поскольку оценки наши свидетельствуют о признании объективного закона, чувства могут быть в ладу и не в ладу с истиной. Само по себе чувство — не суждение, и потому оно внеположно разуму. Однако оно может быть разумным и неразумным, в зависимости от того, сообразно оно или несообразно разуму. Сердце не заменяет головы, но должно подчиняться ей.

Именно этому и противостоит миросозерцание Кая и Тита. Они изначально отвергли малейшую связь между чувством и разумом. Применяя к водопаду слово «величие», мы подразумеваем, что чувства наши сообразны объективной действительности, то есть говорим далеко не только о чувствах, точно так же как, заметив: «Туфли не жмут мне», говорим не только об ощущениях, но и о туфлях. Этого никак не поймут создатели «зеленой книжки». Для них оценочные суждения свидетельствуют лишь о чувствах, а чувства, с их точки зрения, не могут быть ни в ладу, ни в разладе с разумом. Они иррациональны, как иррациональ-

---

* Псалом 118, стих 151. Там основательность правды и то, что на нее можно положиться, подчеркивается прежде всего словом «эмет», связанным с глаголом «быть крепким». Гебраисты предлагают и другие переводы «эмет» — «верность», «прочность» и т. п. «Эмет» не обманет, не изменит, не оставит тебя, не подведет.

но явление природы. Другими словами, к ним неприменимо понятие ошибки. Вот и выходит, что мир явлений, лишенных объективной ценности, и мир чувств, не поверяемых истиной или ложью, правдой или неправдой, совершенно независимы друг от друга.

Таким образом, цель обучения и воспитания всецело зависит от того, верите вы или не верите в «дао». Если вы верите, цель эта в том, чтобы привить ученику оценки и мнения пусть не осознанные, но достойные человека. Если не верите и не забыли логику, все чувства для вас будут какой-то мглою, скрывающей «вещи как они есть». Тогда вы попытаетесь искоренить чувства из детской души (вы уж простите меня за устаревшее слово) или оставите несколько чувств по причинам, нимало не связанным с их сообразностью правде. В последнем случае вы займетесь довольно сомнительным делом, а именно — станете «влиять» на учеников, попросту колдовать, чтобы у них в сознании сложился угодный вам мираж.

Наверное, будет понятней, если я приведу конкретный пример. Когда римлянин говорил сыну: «Dulce et decorum est pro patria mori» [11], он и сам себе верил. Отец преподавал сыну чувство, которое представлялось ему сообразным с объективной системой ценностей. Он давал лучшее, что было у него в душе, чтобы воспитать душу сына, как дал он частицу своей плоти, чтобы сын обрел плоть. Однако создатели «зеленой книжки» не верят сами, что такие определения героической смерти и впрямь что-то означают. В конце концов, смерть несъедобна и сладостной, то есть сладкой, быть не может; более того, навряд ли умирание вызывает приятные чувства. Что же до decorum, слово это говорит лишь о том, как примут нашу смерть другие, если вообще о ней подумают, причем от их мыслей нам нет ни малейшего прока. Перед Каем и Титом лежат два пути: 1) они должны пойти до конца и отвергнуть вышеуказанные чувства или 2) они должны — потому что обществу полезно, чтобы молодые люди думали и чувствовали именно так,— внушать (прекрасно зная, что лгут) чувства, которые принесут ученику разве что гибель. Даже во втором случае разница между прежним воспитанием и новым предельно велика. Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит пропаганду.

К чести своей, наши авторы избрали путь № 1. Пропаганды они не выносят не потому, что это вытекает из их воззрений, а потому, что они лучше своей философии. По-видимому, Кай и Тит смутно ощущают, что мужество, доброту и честность можно как-то оправдать, исходя из «разумных», «научных» или «современных» предпосылок. (Об этом мы поговорим во второй главе.) Правда, сами они ничего не обосновывают и занимаются только развенчанием.

Второй путь безнравственней и циничней, но оба пути одинаково опасны. Примем на минуту, что некоторые (должно быть, стоические) добродетели можно обосновать и не помышляя о незыблемых, высших ценностях. Если чувства не натренированы, уму не справиться с животным, плотским началом. Я согласен играть в карты со скептиком, которому твердо внушили, что «джентльмен — не шулер», но ничто не заставит меня играть с моралистом, выросшим среди шулеров. Разум правит страстями; голова правит утробой при помощи сердца, то есть при помощи хорошо поставленных чувств. Между человеком разумным и человеком плотским есть надежный посредник, которого можно назвать и сердцем, и благородством чувств. Собственно, только этот посредник и дает нам право на титул человека, ибо ум приравнивает нас к духам, плоть — к животным.

«Зеленая книжка» способствует созданию Человека Бесчувственного. Обычно его называют разумным, что позволяет ему считать любой укор нападками на самый разум. Это неверно. Такие люди ничуть не умнее других. Да и с чего бы? Преданность правде и благородство ума не продержатся без чувств, неугодных Каю и Титу. Людей этих отличает от прочих не преизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Головы их кажутся большими лишь потому, что у них очень чахлая грудь.

Жизнь наша настолько смешна и печальна, что мы неотступно мечтаем о тех самых качествах, которые сами же подрубаем на корню. Разверните газету — там написано, что нам насущно необходимы «инициатива», или «творческий дух», или «жертвенность». По какой-то нелепой простоте мы вырезаем нужный орган и требуем, чтобы организм работал нормально. Мы лишаем людей сердца и ждем от них живости чувств. Мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Мы оскопляем мужчин и требуем от них потомства.

II

ПУТЬ

Человек поистине благородный укрепляет ствол.

Конфуций [12]

Если воспитывать людей в духе «зеленой книжки», общество погибнет. Но это еще не значит, что борьба с «субъективным подходом к ценностям» теоретически неверна. Истинная теория может быть такой, что, приняв ее, некий человек может погибнуть. Согласно закону («дао»), этого основания недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Однако нам и не надо к нему прибегать. Теория Кая и Тита даст нам немало других.

Как бы скептически ни относились Кай и Тит ко многим традиционным ценностям, какие-то ценности для них, несомненно, существуют, иначе они не стали бы писать книгу, цель которой —

определенным образом сформировать сознание ученика. Быть может, они хотят привить эти ценности не потому, что считают их соответствующими истине, а потому, что считают их полезными для общества. Нетрудно (хотя и немилосердно) вывести из «зеленой книжки» их идеал человека. Но это к тому же и не нужно. Нам важна сейчас не цель их, а сам факт, что цель у них есть. Упорно отказываясь назвать ее «хорошей» и называя «полезной», они хитрят. Можно спросить их: «Кому и чему она полезна?» В конце концов Каю с Титом придется признать: что-то кажется им хорошим само по себе. Ведь книжка написана, чтобы убедить ученика, а только злодей или слабоумный убеждает другого в том, что не считает правильным.

На самом деле Кай и Тит слепо верят в систему ценностей, которая была модной в 20—30-х годах среди довольно образованных и обеспеченных людей *. Скепсис их — поверхностный, касается он только чужих ценностей; что же до своих, им как раз не хватает скепсиса. Это не редкость. Многие из тех, кто разоблачает традиционные ценности (сами они скажут «сентиментальные»), хранят верность другим, своим, которые кажутся им застрахованными от разоблачений. Они потому и отрицают чувствительность, набожность или сексуальные запреты, чтобы дать место под солнцем ценностям «реалистическим». Попробую разобраться в том, что будет, если они перейдут от слов к делу. Возьмем альтруизм, то есть качество, при котором человек предпочитает чужие интересы собственным, а в пределе — жертвует жизнью. Предположим, что обновитель считает сентиментальной чепухой слова «...кто душу свою положит» [13] и хочет разделаться с ними, чтобы освободить место для «реалистического» или «здорового» альтруизма. На что он может опереться?

Прежде всего, он может сказать, что альтруизм и даже смерть за других полезны для общества. Конечно, он имеет в виду смерть одних членов общества ради других. Но почему именно эти, а не иные должны жертвовать жизнью? Призывы к совести, чести или милосердию исключены изначально. Подыскивая довод, обновитель может задуматься о том, почему, собственно, эгоизм считают более разумным, чем альтруизм. Это хорошо. Если под разумом понимать то, что применяют Кай и Тит, развенчивая

---

* Истинное (и, должно быть, неосознанное) миросозерцание Кая и Тита станет ясным, когда мы приведем несколько их мнений.

а) Кай и Тит осуждают:

«когда мать говорит ребенку: «Веди себя хорошо», слова ее — чистая нелепость» (с. 62); «истинный джентльмен» — тоже нелепость, «нечто совершенно туманное» (с. 64).

б) Кай и Тит одобряют:

«контакт с идеями других людей», ибо он, «как мы знаем, очень полезен» (с. 86); какие это идеи, по-видимому, безразлично. «Преимущества каждодневной ванны слишком ясны, чтобы о них говорить» (с. 142); однако они все же говорят: купаться хорошо, потому что «приятнее и здоровее общаться с чисто вымытыми людьми» (там же). Истинные и основные ценности для авторов книжки — польза, удобства и удовольствие. Словом, хлебом единым жив человек.

ценности (берется суждение, основанное в конечном счете на показаниях чувств, и из него выводится другое), если понимать нечто подобное, то ответ прост: эгоизм не разумней альтруизма и не безумней. Никакой выбор нельзя назвать ни рациональным, ни иррациональным. Из суждения о факте нельзя вывести ничего. Из фразы «Это спасет людей» ни в коей мере не следует: «Значит, я это сделаю». Тут необходимо промежуточное звено: «Людей спасать нужно». Однако из фразы «Но ты же погибнешь!» тоже не следует: «Значит, этого делать не надо»; подразумевается промежуточное звено: «Мне гибнуть нельзя». Обновитель хочет вывести выбор из констатации факта, но, сколько он ни пытайся, это невозможно. Если он это поймет, он, как в былое время, может прибавить к слову «разум» слово «практический» и признать, что, совершенно неизвестно почему, суждения типа «Людей нужно спасать» — не заблуждение, подсказанное чувством, но как бы сама разумность. Может он поступить и иначе — раз и навсегда отказаться от поисков разумной основы. Первого он не сделает, ибо такой «практический разум» (правила, которые люди считают разумным основанием поступка) — то самое «дао», которого он не признает. Скорее он махнет на разум рукой и станет искать другую основу.

Очень удобен инстинкт. Ну конечно, сохранение вида держится не на тонкой нити разума, оно заложено в нас инстинктивно. Потому человек и не осознает причин своего поступка. Мы инстинктивно действуем на пользу виду. Этот инстинкт побуждает нас трудиться для будущего. Никакой инстинкт не побуждает держать слово или уважать чужую личность, так что честность или справедливость можно смело отбросить, когда они вступят в конфликт с инстинктом сохранения вида. Вот почему уже недействительны сексуальные запреты: пока не было противозачаточных средств, любодеяние угрожало жизни одной из представительниц вида; сейчас же — дело другое. Очень удобно! Вроде бы эта основа дает обновителю все, чего он хочет, и ничего от него не требует.

На самом деле он не продвинулся ни на шаг. Не буду говорить о том, что инстинкт — название чего-то нам неведомого (фраза «Птица находит дорогу благодаря инстинкту» значит: «Мы не знаем, как она находит дорогу»). Обновитель употребляет это слово во вполне определенном смысле — он называет инстинктом спонтанный и непроверенный разумом импульс, что-то вроде «похотенья». Поможет ли нам такой инстинкт найти основу для выбора? Откуда известно, что мы должны ему повиноваться? А если должны, и все, зачем писать такие книги, как «зеленая»? Зачем тратить столько красноречия, чтобы привести человека туда, куда он и сам придет? Быть может, подразумевается, что, подчинившись инстинкту, мы будем счастливы? Но ведь мы толкуем о жертве ради других, то есть о том, что человек поступился своим счастьем. Если же вдобавок инстинкт велит трудиться для будущего, счастье это придет, когда потрудившийся будет давно мертв

(насколько я понимаю, для обновителя это синоним несуществования). Видимо, подчиняться инстинкту мы просто обязаны *.

Почему же? Может быть, так велит другой инстинкт, на порядок выше, а ему велит третий и дальше, до бесконечности? Получается какая-то чушь, но другого ответа нет. Из утверждения «Мне хочется...» никак не следует: «Я должен». Даже если бы у человека действительно был спонтанный, непроверенный разумом импульс жертвовать собою ради сохранения вида, ничто не подсказывает нам, надо слушаться этого импульса или обуздать его. Ведь даже обновитель допускает, что некоторые импульсы обуздывать надо. А допущение это создает для него еще одну, более важную трудность.

Сказать, что надо слушаться инстинктов,— все равно что сказать: «Надо слушаться людей». Каких же именно? Инстинкты, как и люди, говорят разное, они противоречат друг другу. Если ради инстинкта сохранения вида следует жертвовать другими инстинктами, то где тому доказательства? Каждый инстинкт хочет, чтобы ради него жертвовали всеми прочими. Слушаясь одного, а не другого, мы уже совершаем выбор. Если у нас нет шкалы, определяющей сравнительные достоинства инстинктов, сами они этих достоинств не определят. Нам неоткуда узнать, какой важнее. Нам не может подсказать этого ни один из инстинктов, как не может один из тяжущихся быть судьей. У нас нет ни малейшего основания ставить сохранение вида выше, чем самосохранение или похоть.

Словом, идея, что мы выбираем главный инстинкт, не покидая сферы инстинктов, нежизнеспособна. Мы хватаемся за ненужные слова, называя этот инстинкт «основным», «преобладающим», «глубочайшим». Они не помогают нам. Одно из двух: или в словах этих скрывается оценка (а она заведомо вне сферы инстинктов и не выводится из них), или они обозначают силу желания, его частоту и распространенность. Если мы выберем первое,

* Самая решительная попытка построить систему ценностей на основе «удовлетворения» — труд Ричардса «Принципы литературной критики»[14]. Опровергая обычное возражение, гласящее: «Лучше быть несчастным Сократом, чем довольной свиньей», доктор Ричардс пишет, что «потребности» наши не одинаковы — одни из них выше, другие — ниже; поэтому мы и предпочитаем высшие низшим, не выходя за пределы удовлетворения. По доктору Ричардсу, человек способен пожертвовать низшими, имея в виду, что все они в рамках удовлетворения высших (или «важнейших»). На это я отвечу так: как тут можно подсчитывать? Сравним человека, погибшего славной смертью, и уцелевшего предателя. У первого (с современной точки зрения) нет ни удовлетворения, ни неудобств. Второй лишен дружбы и самоуважения, зато он ест, пьет, спит и т. д. Или так: предположим, что у X всего 500 «потребностей» и все они удовлетворены, а у У их 1200 и удовлетворены из них 700; кому же из двоих лучше, У или X? Доктор Ричардс неоднократно дает понять, что лучше У; он — за сложность и тонкость и даже хвалит искусство, так как оно создает у нас «недовольство грубой, обыденной жизнью» (С. 230). Но если удовлетворение — единственная ценность, что в этом недовольстве хорошего? Единственное подобие философского довода, которое я нашел в этой книге,— слова о том, что «чем сложнее существо, тем оно и разумнее» (С. 109). Но если удовлетворение — единственная ценность, что хорошего в разуме? Он приносит нам столько же радостей, сколько и горестей.

рухнет попытка положить инстинкт в основу поведения. Если выберем второе, это нам ничего не даст. Дилемма не нова. Или императив содержится в предпосылках, или вывод останется простой констатацией факта, без какой-либо модальной окраски.

Наконец, стоит спросить, а есть ли вообще инстинкт сохранения вида? Сам я в себе его не нахожу. Никакой инстинкт не велит мне трудиться для будущего, хотя я очень много о будущем думаю и могу читать футурологов. Еще труднее мне поверить, что людям, сидящим напротив меня в автобусе, есть дело до далеких потомков. Только те, кто получил соответствующее образование, вообще сознают идею «далеких потомков». Трудно объяснить инстинктом то, что существует лишь для «думающих людей». От природы в нас есть желание сберечь своих детей и внуков, ослабевающее по мере того, как ряд их уходит в будущее и теряется в пустоте. Какие родители предпочтут интересы далеких потомков интересам дочери или сына, возящихся сейчас вот тут, в этой комнате? Человек, принимающий «дао», может сказать в определенных случаях, что любовь к отдаленным потомкам — это их долг; но для тех, кто абсолютной ценностью считает инстинкт, такой путь закрыт. Когда же речь идет не о материнской любви, а о рациональном планировании, мы уже не в сфере инстинктов, а в сфере рассудка и выбора. С точки зрения инстинктов, мысли о будущем обществе несравненно ниже сюсюканья самой пристрастной матери или поглупевшего от любви отца. Если инстинкт важнее всего, забота о далеком будущем — лишь бледная тень, которую отбрасывает на экран неведомых нам лет реальное счастье играющей с ребенком женщины. Поистине глупо провозглашать, что важен лишь инстинкт, а потом бороться с весьма реальным инстинктом ради тени, отрывая детей чуть ли не от груди и воспитывая их в детских садах для блага далеких потомков.

Надеюсь, нам уже ясно, что никакие ссылки на инстинкт не помогут создать новую систему ценностей. Ни одной из предпосылок, нужных обновителю, в учениях об инстинктах не найти. Однако найти такие предпосылки совсем нетрудно. «Братья ему все, кто живет меж четырех морей» *,— говорит Конфуций о «цзюнь-цзы» — «cuor gentil», благородном человеке. «Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и с ними» **,— говорит Иисус. «Человечество надо сохранить»***,— говорит Локк [15]. Предпосылки, на которых стоит забота о человечестве и о далеком потомстве, любезная обновителю, давно существуют на свете. Они содержатся в «дао» и больше нигде. Пока мы не примем, что закон, который я для краткости называю этим словом, то же самое для наших поступков, что аксиомы для математики, у нас вообще не может быть никаких

---

* *Конфуций.* Аналекты. XV.

** Ср.: Мф. 7, 12.

*** См.: *Локк Дж.* Два трактата об управлении государством. II. 3.

жизненных правил. Правила эти нельзя вывести, они сами по себе — предпосылки. Вы, конечно, вправе отнести их к сфере чувств, как авторы «зеленой книжки», ибо разум их не докажет; но тогда откажитесь от противопоставления этой сфере «истинных» или «разумных» ценностей. При таком подходе в ней окажутся любые ценности, а вам придется признать, что чувства не только субъективны, иначе ценностная система немедленно распадается. Вправе вы и отнести их к сфере разума, ибо они так разумны (уже в оценочном смысле), что не требуют и не допускают доказательств. Но тогда признайте, что слова «я должен» вполне осмысленны, хотя и не поддаются логическому обоснованию. Если нет ничего очевидного, доказательства лишены основы. Если нет ничего обязательного по самой своей сути, основу теряют какие бы то ни было обязанности.

Многие думают, что я протащил под другим названием давно известный «основной инстинкт». Однако дело здесь отнюдь не в словах. Обновитель отвергает традиционные ценности («дао») во имя ценностей, которые кажутся ему «разумными» или «биологическими». Однако мы видим, что без «дао» они ни на чем не стоят. Если он честно и скрупулезно отметет все, что принимало человечество, он никоим образом не докажет, что надо трудиться или умирать ради ближних или дальних. Если «дао» рухнет, любая постройка рухнет вместе с ним. Чтобы отрицать «дао», обновитель вынужден пользоваться теми крупицами, которые он унаследовал или бессознательно впитал. Какое же право он имеет принимать одни крупицы и отвергать другие? Если те, что он отверг, лишены оснований, лишены их и те, что он использует; если те, что он использует, обоснованны, обоснованны и те, что он отверг.

Приведем пример. Обновитель очень ценит заботу о дальних потомках. Ни инстинкт, ни разум (в современном смысле слова) не дают для этого оснований. На самом деле он берет основания из старого доброго «дао», одна из аксиом которого гласит, что мы должны заботиться о каждом, тем самым — и о потомках, еще неведомых нам. Однако другой вывод из этой аксиомы велит нам заботиться о родителях и предках. По какому же праву обновитель принимает одно, отвергая другое? Еще один пример: он очень ценит материальную помощь. Накормить и одеть людей — великое дело, ради которого, как он полагает, можно поступиться справедливостью или честностью. Конечно, «дао» велит оказывать материальную помощь; без «дао» это и в голову обновителю бы не пришло. Однако точно так же велит оно быть честным и справедливым. Как докажет обновитель, что одно повеление верно, другое — нет? Предположим, что он — шовинист, или расист, или крайний националист, считающий, что ради своих соплеменников можно пожертвовать всем, что только есть на свете. Но и тут ни логика, ни инстинкт не дадут ему прочных оснований. Даже в этом случае он исходит из «дао», ибо долг по отношению к «своим» — давняя часть традиционной

морали. Однако рядом с этой частью, бок о бок с нею, лежат несокрушимые требования справедливости и вера в то, что все люди — братья. Откуда же взял обновитель право принимать одно и отвергать другое?

Ответить на этот вопрос я не могу и потому позволю себе сделать некоторые выводы. То, что я для удобства назвал «дао», а другие называют «естественным законом», или «традиционной моралью», или «первыми принципами практического разума», или «прописными истинами» — не просто одна из ценностных систем, а единственный источник любой ценностной системы. Отвергнув «дао», мы отвергаем всякую ценность. Оставив малую часть, мы оставляем все. Попытка построить другую систему ценностей содержит противоречие. На свете не было и не будет другой системы ценностей *. Системы (теперь их зовут идеологиями), претендующие на новизну, состоят из осколков «дао», разросшихся на воле до истинного безобразия; крохотными крупицами заключенной в них правды они обязаны все тому же «дао». Однако если долг по отношению к родителям — ветхий предрассудок, мы обязаны счесть предрассудком и долг по отношению к детям. Если справедливость устарела, устарел и патриотизм. Если мы переросли супружескую верность, переросли мы и научную пытливость. Мятеж идеологий против «дао» — это мятеж ветвей против ствола; если бы мятежники победили, они бы погибли. Человек не может создать новую ценность, как не может создать новый, не смешанный цвет или новое солнце.

Неужели, спросят меня, наши ценности стоят на месте? Неужели мы прикованы раз и навсегда к нерушимому закону? Неужели, наконец, нет различий между нравственными кодексами древности и новых времен, эллинов и иудеев, Запада и Востока? Ответить однозначно здесь нельзя. Да, различия есть, есть и развитие. Но чтобы разобраться в них, непременно надо понять очень важную вещь.

Лингвист может взглянуть со стороны на свой родной язык и сказать, что научная ценность или практическая польза требуют в чем-то изменить, скажем, орфографию. Поэт тоже меняет язык, и куда сильнее, но смотрит он не со стороны, а *изнутри*. Сам язык, претерпевший изменения, вдохновил его. Разница между поэтом и лингвистом подобна разнице между матерью, вынашивающей ребенка, и хирургом, делающим операцию.

«Дао» допускает только изменения изнутри. Те, кто понимает закон, могут его менять *в его же духе*. Только они знают, чего

---

* К чему приводят попытки основывать ценность на самом факте существования, можно увидеть, открыв книгу доктора Уоддингтона «Наука и этика»[16]. Автор считает, что существование само себя оправдывает. Ценить что-нибудь просто за то, что оно существует,— значит ценить преуспеяние, успех; так можно оправдать даже подлость. Бывают философские системы и хуже, но пошлее — навряд ли. Однако я надеюсь, что доктор Уоддингтон не осуществляет на практике свое преклонение перед fait accomplit (свершившимся фактом (*франц.*).— *Примеч., пер.*).

этот дух требует. Сторонний обновитель этого не знает и потому, как мы видели, ничего сделать не может. Чтобы привести в согласие различия буквы, надо постигнуть дух. Обновитель же выхватывает несколько букв, которые попали в поле его зрения благодаря времени и месту, и провозглашает их без каких бы то ни было основательных поводов. Только закон может разрешить или запретить изменения в законе. Потому Аристотель и говорит, что этику усвоит лишь тот, кто верно воспитан *. Человек, не знающий «дао», не увидит исходных точек нравственности. Когда надо решать теоремы, непредвзятость только поможет. Когда же речь идет об аксиомах, она просто не при чем.

Конечно, не всегда легко решить, где кончаются права непредвзятой логики. Но ясно одно: никогда нельзя вычленить нравственное правило и требовать для него логических обоснований. Тот, кто действительно совершенствует нравственность, должен показать, что правило это противоречит другому, более «аксиомному», или что оно вообще не входит в традиционную систему ценностей. Прямые вопросы: «А кто это сказал?», «А какая от этого польза?», «А на что это мне?» — совершенно недопустимы не потому, что грубы, но потому, что никакая ценность не оправдает себя на этом уровне. Такие вопросы прекрасно могут сокрушить все ценности, одну за другой, сокрушив тем самым и основания для вопросов. Нельзя угрожать «дао» пистолетом. Нельзя и откладывать подчинение правилу до той поры, пока правило это не предъявит документов. Только те, кто следует правилам, могут понять их. Только человек с «поставленным сердцем» (cuor gentil) видит, что верно, что неверно. Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен [17].

Чтобы избежать недоразумений, прибавлю: хотя сам я верю в Бога, более того — в Христа, сейчас я никак не «проповедую христианство». Я говорю только об одном: сохранить ценности можно лишь в том случае, если мы примем абсолютную ценность прописных истин. Любое недоверие к этим истинам, любая попытка поставить нравственность «на более реалистическую основу» заранее обречены. Здесь я и не ставлю вопроса о том, свыше или откуда еще мы получили «дао».

Но даже то, что я проповедую, нелегко принять современному уму. Ему-то известно, что это драгоценное «дао» сложилось в сознании наших далеких предков под влиянием экономических или физиологических факторов. Как это было, мы, в общем, уже знаем; скоро узнаем и в частностях, а если не узнаем — придумаем. Конечно, когда наука еще не постигла механики сознания, мы считали, что оно нами правит. Многое в природе правило нами, теперь же оно служит нам. Почему бы и сознанию не встать на этот путь? Неужели мы остановимся из глупого почтения к самому твердому орешку природы? Вы чем-то грозите нам,

* См.: *Аристотель.* Никомахова этика. 1095в, 1140в, 1151 а.

но поборники тьмы грозили нам на каждом шагу прогресса, и всякий раз угрозы их не оправдывались. Вы говорите, что, отринув «дао», мы утратили все ценности. Что ж, обойдемся и без них. Примем, что все эти «я должен» — занятный психологический пережиток, и поставим на их место «я хочу». Решим, каким быть человеку, и сделаем его таким не ради каких-то мнимых ценностей, а потому, что нам так угодно. Окружающей средой мы овладели, овладеем же и человеком, определим сами свою судьбу.

Очень может быть, что именно так мне ответят. Здесь хотя бы нет противоречия, которым грешат робкие скептики, надеющиеся отыскать истинные ценности вместо тех, прописных. Чтобы ответить на такой ответ, напишу еще одну главу.

III
ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ

> Что бы он ни говорил мне и как бы ни льстил, я думал: когда мы достигнем его дома, он продаст меня в рабство.
>
> *Джон Беньян* [18]

Мне часто доводилось слышать о победе человека над природой. «Наконец-то мы ее скрутили!» — сказал моему другу его знакомый, и в словах этих была своя, скорбная красота, ибо тот, кто их произнес, умирал от туберкулеза. «Это неважно,— говорил он.— Конечно, есть потери и у победителей. Но побеждают-то они!» Я начинаю с этого случая, чтобы вы поняли сразу: преуменьшать все лучшее, что есть в явлении, называемом «победа над природой», я не собираюсь, а уж тем более не собираюсь замалчивать, сколько она потребовала мужества и жертвенности. В каком же смысле человек все больше побеждает природу или овладевает ею?

Возьмем три типичных примера: самолет, радио, противозачаточные средства. Более или менее каждый может пользоваться ими. Однако нельзя сказать, что при этом сам он «скрутил» природу, стал сильнее, чем она. Если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Мы пользуемся упомянутыми плодами науки, потому что кто-то продал нам их или дал нам на них право. Так что на самом деле во всех этих случаях человек обретает власть над человеком. Особенно удивителен третий случай. Те, кто изготавливает противозачаточные средства, обретают власть над теми, кто их покупает; но и те и другие вдобавок обретают власть над неродившимися людьми. Они заранее лишают их жизни, обрекают на несуществование, не спросив у них согласия. Говоря строго, так называемая победа человека над природой означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы.

Общим местом стали сетования на то, что мы используем во вред, а не во благо силы, дарованные наукой. Однако я говорю

об ином. Многие злоупотребления могут исчезнуть, если люди станут лучше; но я хочу поговорить о том, что неотъемлемо от «победы над природой». Даже если все достижения техники будут употребляться только во благо ближним, воспитательные эксперименты все равно означают власть более ранних поколений над более поздними.

Об этом часто забывают, так как социологи и прочие исследователи общества отстали от физиков в одном — они не включают в свои расчеты фактор времени. А без этого мы не поймем, каким образом человек распоряжается природой. Каждое поколение влияет на следующее и в той ли, иной ли мере противится предыдущему. Поэтому речь о непрестанном улучшении и усилении здесь не совсем уместна. Если кто-нибудь и впрямь научится лепить своих потомков по своему вкусу, все последующие поколения будут слабее тех, кому выпала такая удача. Какие бы поразительные механизмы ни дали мы им, мы, а не они уже решили, как эти механизмы использовать. Почти наверное удачливое поколение будет к тому же отличаться исключительной ненавистью к традиции и постарается уменьшить не только силу своих потомков, но и силу своих предков.

Таким образом, речь может идти не о «прогрессе», но об одном столетии (скажем, сотом от Рождества Христова), которому лучше прочих удастся подмять под себя все остальные века и овладеть родом человеческим. Несомненно, в столетии этом или, скорее, поколении такой силой будет обладать не большинство, а меньшинство. Если мечты ученых осуществятся, крохотная часть человечества получит власть над многими миллиардами людей. Человек не может просто «становиться сильнее». Любая сила, которую он обретет, направлена против кого-то. Каждый шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее. С каждой победой появляются новые властители и новые рабы.

Я еще ничего не сказал о том, хорошо это или плохо. Я только объяснил, что означает победа над природой. Конец этой победе (быть может, довольно близкий) настанет тогда, когда искусственный отбор, внутриутробное программирование, прикладная психология достигнут очень больших успехов. Изо всей природы последней сдастся человеку природа человеческая. Кому же, собственно говоря, она сдастся?

Конечно, всегда и везде воспитатели пытались сформировать других, исходя из своего миросозерцания. Но то, о чем я говорю, имеет две особенности. Во-первых, никогда и нигде у воспитателей (если здесь уместно это слово) не было столь огромной силы. Как правило, им удавалось и удается немного. Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье [19], у Элиота [20] — что мальчик должен видеть до семи лет только женщин, а после семи — только мужчин, у Локка — что ребенка надо обувать в тонкие башмаки и отучать от сочинения стихов [21], мы испытываем благодарность к упрямым матерям и нянькам, а главное — к упрямым детям, сохранившим человечеству хоть какое-то

здравомыслие. Однако человекоделы удачливого века будут оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят.

Второе отличие еще важнее. Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с «дао», которому подчинялись сами. Они хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому, что «это полезно обществу». Сами они от этих суждений свободны. Их дело — контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше «дао». Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не «дао», а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной.

Быть может, на какое-то время, как пережиток, они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу. Но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятия помощи, служения, долга — чистая условность. Освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Произвол у них полный — ни «долг», ни «добро» уже ничего для них не значат. Они умеют сформировать какие угодно качества. Остается малость: эти качества выбрать. Повторяю: свобода — полная, никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет.

Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности. Другие, попроще, могут спросить: «Неужели они непременно окажутся такими плохими?» Поймите, я не думаю, что «они» будут плохими людьми. В старом смысле слова они вообще людьми не будут. Если хотите, они — люди, сменившие принадлежность к роду человеческому на право решать, каким быть человеку. Слова «плохой» и «хороший» не имеют смысла по отношению к ним; только от них и зависит смысл этих слов. Что же до мнимых сложностей, мне могут сказать: «В конце концов люди хотят примерно одного и того же — есть, пить, развлекаться, жить подольше. Ваши человекоделы будут просто-напросто воспитывать других так, чтобы они обеспечивали эти возможности». Но это не ответ. Прежде всего, неверно, что люди хотят одного и того же. Однако если бы даже было так, с какой стати моим человекоделам трудиться в поте лица, чтобы следующие поколения получили то, чего хотят? Из чувства долга? Оно для них ничего не значит. Иначе они не человекоделы, а просто люди, еще не одержавшие последней «победы над природой». Быть может, ради сохранения вида? Но почему, скажите, надо его сохранять? Они-то знают, как формируется забота о будущих поколениях, и вольны решить, оставить это чувство на свете или нет. Они не плохие люди, они — нелюди. Выйдя за пределы «дао», они попали в пустоту. И тех, кого они формируют, нельзя назвать не-

счастными людьми, ибо они — предметы, изделия. Победив природу, человек отменил человека.

Однако как-то действовать человекоделам надо. Я говорил о том, что им не на что опереться; но один закон у них есть: «Мне так угодно». Никакой объективности в этом мнении нет и быть не может, и потому объективность не имеет над ними власти. Когда все императивы («я должен») исчезли, остается «я хочу». Разоблачить эти слова нельзя, так как они ни во что не облачились. Итак, человекоделами будет руководить произволение. Я говорю не о том, что власть портит, и не боюсь, что она развратит их: сами слова «портить» и «развращать» предполагают систему ценностей и в этом контексте смысла не имеют. Я говорю о другом: у тех, кто стоит вне ценностных суждений, нет никаких оснований предпочесть одно желание другому, кроме силы этого желания.

Конечно, можно надеяться, что среди желаний будут и безвредные, даже добрые (с нашей точки зрения). Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся без «дао», в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил эту власть во благо. Мне кажется, человекоделы будут ненавидеть свои изделия. Зная, что правила этих созданий — лишь иллюзия, они все же будут завидовать тем, у кого есть хоть какой-то смысл жизни, как завидуют скопцы мужчинам. Но я сказал: «Мне кажется» — и это лишь предположение. Зато я уверен в другом: надежда, с которой я начал этот абзац, зиждится на понятии, которое точнее всего назвать «если повезет». Должно уж очень повезти, чтобы человекоделы предпочли добрые импульсы всем другим. Без «дао» это дело случая, случай же зависит от погоды, пищеварения, мало ли от чего. Рационализм, заставивший «видеть насквозь» все основания нравственности, обрек их на совершенно иррациональное поведение. Можно подчиняться «дао»; можно совершить самоубийство; если же мы не сделаем ни того, ни другого, нам остается одно: слушаться случайных импульсов.

Итак, когда человек победит природу, род человеческий окажется во власти небольшого количества существ, подвластных уже только одним импульсам. Природа сможет отпраздновать победу над человеком. К этому, и ни к чему иному, ведет каждая наша частная победа. Природа играет с нами хитрую игру. Нам кажется, что она подняла руки вверх, тогда как она собирается схватить нас за горло. Если мир, который мы описали, обретет реальность, природа сможет жить так же спокойно, как жила она миллионы лет назад. Никто не помешает ей всякой чушью вроде истины или милости, радости или красоты.

Быть может, меня лучше поймут, если я скажу иначе. У слова «природа» много значений, смотря по тому, что мы противопоставляем — искусственное, культурное, человеческое, духовное, сверхъестественное. Первое из этих понятий сейчас нам неваж-

но; остальные же, лучше или хуже, покажут, что подразумевается под природой. Она мир количества, а не мир качества; мир causa efficiens, а не мир causa finalis *. Когда мы считаем что-либо только объектом и употребляем только себе на пользу, мы ставим это на уровень природы; ценностные суждения уже неуместны, causa finalis — неважна, качественный подход — ненужен. Такое снижение статуса совсем непросто, а порой и мучительно для нас — нужно что-то в себе сломать, прежде чем вонзишь стилет в мертвого человека или живого зверя. Эти объекты словно сопротивляются сами. Но такой процесс непрост и в других, несравненно легчайших случаях: когда мы рубим дерево, мы не можем одновременно видеть в нем дриаду [22] и даже прекрасное, могучее растение. Должно быть, первые дровосеки живо ощущали это и кровоточащие деревья Вергилия [23]— отзвук древнего чувства, подсказывавшего человеку, что он совершает святотатство. Звезды утратили величие с развитием астрономии, и Богу нет места в научной агротехнике. Многим кажется, что оно и лучше, а старый спор с Галилеем или с «потрошителем трупов» [24] — просто мракобесие. Но это далеко не вся правда. Крупные ученые не так уж уверены, что действительно есть предметы, к которым можно подходить количественно, и никак иначе. В это твердо верят ученые мелкие, особенно же твердо — неученые любители наук. Сильный ум хорошо знает, что такой предмет — абстракция, мнимость, утратившая самое главное.

С этой точки зрения, победа над природой предстает перед нами по-другому. Мы снижаем что-либо до уровня природы, чтобы победить. Мы непрестанно побеждаем природу, так как называем природой то, что мы победили. Цена этой победы велика: все больше явлений снижает свой статус. Каждый наш успех расширяет владения природы. Звезды не станут природой, пока мы их не измерим; душа не станет природой, пока мы не подвергнем ее психоанализу. Пока процесс этот не кончен, нам кажется, что выгод больше, чем потерь. Но стоит нам сделать последний шаг — перевести на уровень природы самих себя,— и потеряет смысл самая речь о выгодах, ибо тот, кто должен был выгадать, принесен в жертву. Таков один из примеров печального правила, гласящего, что некоторые принципы, дойдя до логического конца, приходят к абсурду. Поневоле припомнишь притчу об ирландце, который заметил, что новая печка требует вдвое меньше дров, и решил поставить еще одну, чтобы дров вообще не тратить. Припомнишь и сделки с чертом. «Отдай мне душу, а я тебе дам могущество». Но без души, то есть без самого себя, о каком могуществе может идти речь? Мы станем рабами или марионетками того, кому отдали душу. Снизить себя до уровня природы дурно не в том смысле, в каком дурны некоторые часы из жизни студента-медика. Муки, испытанные в прозекторской,— это симп-

* causa efficiens *(лат.)* — действующая причина; causa finalis *(лат.)* — конечная причина (цель).— *Примеч. пер.*

том, предупреждение. Низводить себя, человека, на уровень природы дурно вот почему: если ты сочтешь себя сырьем, ты сырьем и станешь, но не себе на пользу. Тобою будет распоряжаться та же природа в лице обесчеловеченного человекодела.

Подобно королю Лиру, мы пытаемся сложить с себя королевское достоинство и остаться королями. Это невозможно. Одно из двух: или мы разумные духовные существа, навек подчиненные абсолютным ценностям «дао», или мы «природа», которую могут кромсать и лепить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью. Только «дао» объединяет едиными правилами властвующих и подвластных. Без догмата объективной ценности невозможна никакая власть, кроме тирании, и никакое подчинение, кроме рабства.

Конечно, одни помягче, другие — пожестче. Но многие профессора в пенсне, модные драматурги, самозваные философы думают, в сущности, то же самое, что немецкий нацист. Мысль о том, что мы вправе изобретать «идеологию» и подгонять под нее ближних, уже коснулась повседневной речи. Раньше убивали злодея, теперь «ликвидируют нежелательный элемент». Особенно же удивляет меня, что бережливых, умеренных и даже просто умных людей называют неперспективными покупателями.

Истинный смысл происходящего скрыт от нас абстракцией «человек». Слово это совсем не всегда абстракция. Пока мы не вышли за пределы «дао», мы вправе говорить, что человек владеет собой, и это значит, что он подчиняется нравственным правилам. Но стоит нам перешагнуть границу, и мы теряем это право. Никаких человеческих свойств для нас уже нет, а *владеть* могут только некие существа, работающие над теми, кто сменил человека. Нарочно или нечаянно почти все мы помогаем произвести на свет эти существа.

Что бы я ни сказал, меня обвинят в нападках на науку. Конечно, я отвергаю это обвинение; настоящие натурфилософы, то есть люди, осмысляющие природу (они еще бывают на свете), поймут, что среди ценностей я защищаю знание, которое умрет вместе с «дао». Но я пойду дальше. Я скажу, что только от науки можно ожидать исцеления.

Я назвал сделкой с чертом ситуацию, когда человек в обмен на могущество отдает природе все, вплоть до самого себя; и за слова свои я отвечаю. Ученый преуспел, а чародей потерпел неудачу; и обстоятельство это настолько разделило их в обыденном сознании, что обычный человек не понимает, как наука родилась. Многие верят и даже пишут, что в XVI в. магия была пережитком средневековья, который и собиралась смести новорожденная наука. Те, кто изучал этот период, так не думают. В средние века колдовали мало, в XVI и XVII вв.— очень и очень много. Серьезный интерес к магии и серьезный интерес к науке родились одновременно. Один из них заболел и умер, другой был здоров и выжил, но они — близнецы. Их родила одна и та же тяга. Я готов признать, что некоторых из тогдашних ученых вела чистая

любовь к знанию. Но, вглядевшись в этот период, мы прекрасно различим тягу, о которой я говорю.

И магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его раздумий были знание, самообуздание, добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям; плод их — техника, применяя которую, можно делать многое, что считалось кощунственным,— скажем, нарушать покой мертвых.

Когда мы сравним глашатая новой эры (Бэкона [25]) с Фаустом из пьесы Марлоу [26], сходство поистине поразит нас. Нередко пишут, что Фауст стремился к знанию. Ничуть не бывало, он о нем почти не думал. От бесов он требовал не истины, а денег и девок. Точно так же и Бэкон отрицает знание как цель [27]; он сам говорит, что узнавать ради знания все равно что тешиться с женщиной и не рожать с нею детей. Истинная задача науки, по его мнению, распространить могущество человека на весь мир. Магию он отвергает лишь потому, что она бессильна; но цель его точно такая же, как у чародея. Парацельс [28] сумел объединить в себе чародея и ученого. Конечно, у тех, кто создал науку в нашем смысле слова, тяга к истине, хотя бы к знанию, была больше, чем тяга к могуществу,— во всяком смешанном явлении доброе плодоноснее дурного. Быть может, нельзя сказать, что новая наука родилась смертельно больною, но можно и нужно сказать, что она родилась в исключительно нездоровой среде. Успехи ее слишком быстры и куплены слишком большой ценой; поэтому ей надо бы оглядеться и даже покаяться.

Может ли существовать другая наука, которая постоянно помнит, что непосредственный предмет ее занятий — не мир как он есть, а некоторая абстракция, и постоянно поправляет этот перекос? Собственно, я и сам толком не знаю. Говорят, что надо присмотреться к натурфилософии Гете [29], что даже у Штейнера [30] есть что-то такое, чего не хватает ученым. Не знаю. Наука, о которой я сейчас пишу, не дерзнет обращаться даже с овощами или минералами, как обращаются теперь с человеком. Объясняя, она не будет уничтожать. Говоря о частях, она будет помнить о целом. Предмет изучения, по слову Мартина Бубера [31], будет для нее не «это», а «ты». Она будет рассматривать инстинкт в свете «дао», а не сводить «дао» к неведомым инстинктам. Словом, она не будет платить за знание ни чужой, ни своей жизнью.

Быть может, я мечтаю о немыслимом. Быть может, аналитическое познание по природе своей убивает одним своим взором — только убивая, видит. Хорошо. Если ученые не в силах остановить такое знание, пока оно не прикончило разум, его остановит что-то другое. Чаще всего мне говорят, что я — «обыкновенный обскурантист» и барьер, которого я боюсь, не так уж страшен, наука его возьмет, как уже брала множество барьеров. Мнение это породила злосчастная склонность современного ума к образу

бесконечного и одномерного прогресса. Мы так много пользуемся числами, что представляем любое поступательное движение в виде числового ряда, где каждая ступенька подобна предыдущей. Умоляю вас, вспомните об ирландце с печкой! Бывает так, что одна из ступенек несоизмерима с другими, она просто отменяет их. Отречение от «дао» — именно такая ступенька. Пока мы до нее не дошли, научные достижения, даже губящие что-то, могут что-то и дать, хотя цена велика. Но нельзя повышать эту цену бесконечно. Нельзя все лучше и лучше «видеть насквозь» мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем «видеть насквозь» первоосновы бытия. Прозрачный мир — это мир невидимый; видящий насквозь все на свете не видит ничего.

ЛЮБОВЬ

Да не умрет любовь и не убьет.

Дж. Донн [2]

I. ВВЕДЕНИЕ

«Бог есть любовь»,— говорит евангелист Иоанн [3]. Когда я в первый раз пытался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и простой путь. Я смогу, думал я, показать, что любовь у людей заслуживает своего имени, если она похожа на Любовь, которая есть Бог. И я разграничил любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример любви-дара — любовь к своим детям человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, кидающийся к матери.

Я и не сомневался в том, какая из них больше похожа на Бога. Его любовь — дар. Отец отдает себя Сыну, Сын — Отцу и миру и, наконец, дарует Отцу самый мир в Себе и через Себя.

Любовь-нужда ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-нужда, по слову Платона,— дитя Бедности [4]. Она совершенно верно отражает истинную нашу природу. Мы беззащитны от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму; без них мы не узна́ем ничего, даже самих себя.

Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви-дару и сумею осудить любовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви — более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь-нужда — любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал.

Прежде всего, мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать Шалтаю-Болтаю и не вкладывать в слова угодного нам значения [5].

Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь-нужду «просто эгоизмом». «Просто» — опасное слово. Конечно,

любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешения у матери; не осудят и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда приходится подавлять нужду в другом человеке; но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу («нехорошо быть человеку одному» [6]), и в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо,— плохой духовный симптом, как плохой симптом — отсутствие аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть.

Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу; а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви-нужды. Понять это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях. Но мало-помалу понимаешь, что все в нас — одна сплошная нужда; все неполно, недостаточно, пусто, все взывает к Богу, Который только и может развязать связанное и связать развязанное. Я не утверждаю, что другой любви мы к Нему не способны испытывать. Высокие духом расскажут нам, как вышли за ее пределы. Однако они же первыми скажут, что ведомые им высоты перестанут быть истинно-благодатными, станут неоплатоническими [7], а там и бесовскими иллюзиями, как только ты сочтешь, что можешь жить ими и никакой нужды в Боге у тебя нет. «Высшее,— читаем мы в «Подражании Христу» [8],— не стоит без низшего». Лишь очень смелое и глупое создание гордо скажет Творцу: «Я — не нищий. Я люблю Тебя без всякой корысти». Те, кто испытывал к Богу любовь-дар, вслед за тем — нет, в то же время — били себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному Дарующему. И Он не против. Он сам сказал: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» [9], а в Ветхом завете — «Открой уста твои, и Я наполню их» [10].

Выходит, что любовь-нужда в самом сильном своем виде неотъемлема от высочайшего состояния духа. И тут получается совсем странно. Человек ближе всего к Богу, когда он, в определенном смысле, меньше всего на Бога похож. Разве похожи нужда и полнота, немощь и власть, покаяние и праведность, крик о помощи и всемогущество? Когда я до этого додумался, я остановился; прежний мой план рухнул. И я стал думать дальше.

«Близость к Богу» бывает разная. Во-первых, это сходство с Богом. Господь, мне кажется, дал сходство с Собою всему тварному. Пространство и время отражают Его величие; всякая жизнь плодоносит, как Он; животная жизнь действует, как Он; человек разумен, как Он; ангелы бессмертны и обладают интуитивным ведением. В этом смысле и хорошие люди, и плохие, и простые ангелы, и падшие больше похожи на Бога, чем животные. Природа их «ближе» к Божественной природе. Но есть и другая

близость — можно ближе подойти к Богу. В этом смысле мы близки к Богу, когда верен наш путь к единению с Ним и к блаженству в Нем. Эти виды близости к Богу совпадают не всегда.

Прибегнем к аналогии. Представим себе, что мы идем через гору к той деревне, где стоит наш дом. Мы взобрались на вершину и стоим прямо над деревней. Можно бросить в дом камень; но домой мы отсюда не попадем. Придется идти низом и сделать крюк в пять миль. Чистое расстояние между нами и домом станет поначалу больше. Зато мы сами будем ближе к тому, чтобы помыться и поесть.

Бог всемогущ и блажен. Он — Царь и Творец. Поэтому, в определенном смысле, сильный, счастливый, творческий и свободный человек похож на Бога. Но никто и не думает, что эти качества хоть как-то связаны со святостью. Никакие богатства не станут пропуском в Царство Небесное.

На вершине мы близко от деревни, но, сколько там ни сиди, мы не приблизимся к воде и пище. Так и близость к Богу по сходству ограничена, закончена, закрыта, как тупик. А близость другая открыта, она увеличивается. Дано нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, благодатно оно или нет, «близость приближения» нам заповедана. Все тварное похоже на Бога без своего согласия, соработничать тут не нужно. Сынами Божьими становятся не так. Сыновнее сходство не портретное и не зеркальное. С одной стороны, оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли с волей Божьей, с другой — гораздо меньше. Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш — Иисус, не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали Ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно непохожая на жизнь Божественную, не только похожа на нее — это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях.

Теперь объясню, почему я счел нужным различить эти два рода близости к Богу. Слова евангелиста уравновешивает в моем сознании фраза нынешнего автора (Дени де Ружмона): «Любовь перестает быть бесом только тогда, когда перестает быть богом» [11]. Скажем то же самое иначе: «...становится бесом, когда становится богом». Без этого противовеса текст из Послания можно понять неверно. Можно подумать, что любовь — Бог.

Надеюсь, каждый догадается, что́ имеет в виду Ружмон. Всякая человеческая любовь (чем она выше, тем сильнее) склонна брать на себя Божественные полномочия. Она говорит как власть имеющий [12]. Она учит нас не считаться с ценой, требует полного повиновения и внушает, что любое действие, совершенное ради нее, законно и даже похвально. Про влюбленность это всем известно. Но так действуют и привязанность, и дружба, каждая — на свой лад. Обо всем этом я буду говорить позже.

Сейчас только скажу, что естественная любовь предъявляет эти кощунственные претензии не тогда, когда она мала и низка, а тогда, когда она, как говорили наши деды, «чиста и благородна». С влюбленностью и тут понятно. Жертвенная, романтическая влюбленность поистине кажется нам гласом Божьим. Простая похоть ни за что не покажется. Похоть портит человека во многих смыслах — но не в этом: ее не станешь чтить, как не станешь чтить желание почесаться. Когда глупенькая мать балует ребенка (а на самом деле — себя), играет в живую куклу и быстро устает, действия ее вряд ли «станут богом». Глубокая, всепоглощающая, пожирающая обоих любовь женщины, которая в полном смысле слова «живет для своего ребенка», богом становится легко. И мне кажется, что патриотизм, подогретый пивом и духовым оркестром, принесет куда меньше вреда, чем «высокая любовь к отчизне». Собственно, его легко перешибить другим напитком и другой музыкой.

Чего же еще могли мы ждать? Любовь не сочтет себя богом, пока на Бога непохожа. Осторожность нужна и тут; любовь-дар действительно богоподобна, и чем она жертвенней, тем богоподобнее. Все, что говорят о ней поэты,— правда. Ее терпение, ее сила, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы другому было хорошо, роднят ее с Божьей любовью. И все же это близость по сходству. А сходство дано нам; оно совсем не обязательно связано с тем трудным и медленным приближением к Нему, которое заповедано совершать нам самим, как бы много помощи нам ни оказывали. Любовь-дар прекрасна, потому ее и легко принять за Любовь. Тогда мы придадим ей безусловную, ничем не обусловленную ценность, на которую она права не имеет. Она станет богом, станет бесом — и разрушит нас, а заодно и себя. Все дело в том, что естественная любовь, став богом, не остается любовью. Ее называют так, но в самом деле — это усложненная ненависть.

Любовь-нужда может быть и назойливой, и жалкой, но богом она не станет. Слишком она мало на Бога похожа.

Из всего этого следует, что мы не должны ни творить из любви кумира, ни «разоблачать» любовь. Ошибка писателей прошлого века в том, что для них были кумирами влюбленность и родственная нежность. Браунинг, Кингсли или Патмор [13] иногда пишут так, словно влюбленный — это святой. Прозаики противопоставляют «миру сему» не Царство Небесное, а дом. Мы живем во времена, когда отшатнулись в другую сторону. Разоблачители любви признали сентиментальной чушью почти все, что говорили их отцы, и постоянно объясняют, какова истинная подоплека влюбленности. Не будем слушать ни тех, ни других. Высшее не стоит без низшего. Растению нужны и корни, и солнечный свет. Земля, из которой оно растет, чиста, если вы оставите ее в саду, а не потащите на письменный стол. Человеческая любовь может быть дивным подобием любви Божьей. Это много; но дальше идти нельзя. Близость по сходству может и помочь, и помешать приближению к Богу. Чаще всего, наверное, она просто с Ним не связана.

II. ЛЮБОВЬ К ТОМУ, ЧТО НИЖЕ ЧЕЛОВЕКА

В моем поколении детей еще поправляли, когда мы говорили, что «любим» ягоды; и многие гордятся, что в английском есть два глагола — «love» и «like», тогда как во французском один — «aimer». Французский не одинок. Да и у нас теперь все чаще говорят про все: «I love». Самые педантичные люди то и дело повторяют, что они любят какую-нибудь еду, игру или работу. И действительно, любовь к людям и любовь к тому, что ниже человека, трудно разделить четкой чертой. «Высшее не стоит без низшего», и мы начнем снизу.

Когда мы что-то любим, это значит, что мы получает от этого удовольствие. Давно известно, что удовольствия бывают двух видов: те, которые не будут удовольствиями, если их не предварит желание, и те, которые и так хороши. Пример первых — вода, если хочешь пить. Если пить не хочется, вряд ли кто-нибудь выпьет стакан воды, разве что по предписанию врача. Пример вторых — неожиданное благоухание; скажем, вы идете утром по дороге, и вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели — и удовольствие явилось, как дар. Для ясности я привожу очень простые примеры, в жизни бывает сложнее. Если вам вместо воды дадут кофе или пива, к удовольствию первого рода прибавится второе. Кроме того, удовольствие второго рода может стать удовольствием первого. Для умеренного человека вино — как запах с поля. Для алкоголика, чей вкус и пищеварение давно разрушены, удовольствия вообще нет, есть только недолгое облегчение. Вино скорее даже противно ему, но оставаться трезвым — еще тяжелее. Однако при всех пересечениях и сложностях оба типа очерчены ясно. Назовем их «удовольствием-нуждой» и «удовольствием-оценкой».

Сходство между удовольствием-нуждой и любовью-нуждой видно сразу. Но, как помните, любовь-нужду я упорно защищал, так как именно ее многие любовью не считают. Здесь — наоборот: чаще выносят за скобки удовольствие второго рода. Удовольствие-нужда и естественно (а кто этого не похвалит!), и насущно, и не приведет к излишествам, а удовольствие-оценка — это роскошь, прихоть, путь к пороку. У стоиков вы найдете сколько угодно таких рассуждений. Не будем им поддаваться. Человеческий разум склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явления, а ценности; все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого. Здесь это не нужно. Все гораздо сложнее — мы видели хотя бы, что наслаждение превращается в нужду именно тогда, когда изменяется к худшему.

Для нас разграничение это важно тем, что здесь, в сфере удовольствия, есть подобие любви к людям, о которой мы и будем в основном говорить.

Когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет: «Да, мне хотелось пить». Пьяница, хлопнувший стаканчик, ска-

жет: «Да, мне хотелось выпить!» Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее: «Как хорошо!», а нормальный, не склонный к питью человек скажет, отведав прославленного кларета: «Хорошее вино!» Им хорошо *сейчас,* а тем, первым,— *было* плохо. Наслаждение — в настоящем времени, нужда — в прошедшем. И вот почему.

Шекспир показал нам снедающую похоть, цель которой «сверх разума желанна», но, как только дело сделано, «сверх разума гнусна» [14]. В самых невинных и насущных нуждах-удовольствиях есть хоть капелька этого. Даже если то, чего мы хотели, не гнусно нам — оно просто нам безразлично, его нет. Водопроводный кран и чашка очень привлекательны, когда вы пришли, наработавшись, с лужайки; через полминуты они вам ни к чему. Запах еды различен до обеда и после. И — простите мне крайность примера — большая буква М на небольшой дверке вызывает восторг, но быстро утрачивает свою прелесть.

Удовольствие-оценка не таково. В нем есть признание непреходящей ценности. В нем есть отрешенность. Мы хотим не только ради себя, чтобы хорошее вино не испортилось. Даже если мы больны и пить никогда не сможем, нас пугает мысль о том, что вино прокиснет или попадется человеку, который не оценит его. То же самое с запахом из сада. Мы не просто наслаждаемся им — мы чувствуем, что он по праву это заслужил, и совесть укорит нас, если мы ему не порадуемся. Еще сильнее мы огорчимся, узнав, что сад, мимо которого мы когда-то ходили, сменился кинотеатром и гаражами.

С научной точки зрения оба рода удовольствий связаны с нашим организмом. Но в удовольствии-нужде эта относительность подчеркнута. К удовольствию-оценке мы ощущаем признательность, мы почитаем его. Мы спрашиваем: «Как это вы проходите мимо сада и ничего не чувствуете?» О нужде так не спросишь; хотелось человеку пить — выпил воды, не хотелось — не выпил, его дело.

Удовольствие-нужда похоже на любовь-нужду. Это понять нетрудно. Любовь-нужда длится не дольше самой нужды. К счастью, это не значит, что человек становится нам безразличен. Во-первых, нужда может повторяться, а во-вторых,— и это важнее — может возникнуть другой род любви, оценочный. Охраняют любовь и нравственные начала — верность, признательность, почтение. Однако если любовь-нужда осталась без поддержки и без изменений, она исчезнет, лишь не станет надобности. Вот почему тысячи матерей не нажалуются на то, что дети их забыли, а тысячи покинутых возлюбленных никак не поверят, что «это может быть». Нужда-любовь к Богу кончиться не может. Бог нужен нам всегда — и в этом мире, и в том. Но мы способны решить, что Он нам больше не нужен, «в беде и бес монахом станет». Нет оснований считать лицемерной недолговечную набожность тех, кто кинулся к Богу на короткий срок опасности или болезни. Они просто честны. Было плохо — просили помощи. А что же ее так просить?

Удовольствие-оценка похоже на более сложное чувство, которое описать труднее.

Во-первых, тут совершенно невозможно провести черту между «плотским» и «духовным». Хороший знаток вин проявит, пробуя вино, и сосредоточенность, и способность к суждению, и дисциплинированное внимание; музыкант, слушающий музыку, наслаждается и физически. Нет границы между удовольствием, которое доставит запах, и удовольствием, которое доставляет красивый вид, или изображение этого вида, или даже описание.

Кроме того, как мы уже говорили, в этих удовольствиях есть отрешенность, незаинтересованность. Конечно, это возможно и в сфере удовольствия-нужды, но иначе: мы отрешаемся *от них,* жертвуем ими. Сейчас я говорю о другом. В самом примитивном удовольствии-оценке есть неэгоистичное начало — потому мы и радуемся, что сад или луг цветет по-прежнему, а леса в каких-нибудь чужих краях не вырублены. Мы просто любим все это; мы произносим на секунду, как Бог, что это «хорошо весьма» [15].

И тут в игру вступает «высшее не стоит без низшего». Я чувствовал, что моя классификация неполна — есть не только любовь-нужда и любовь-дар. Есть и третье, не менее важное; его-то и предвосхищает удовольствие-оценка. Все, о чем я только что говорил, можно испытывать и к людям. Когда так относятся к женщине, мы зовем это обожанием; когда так относятся к мужчине — восхищением и преданностью; к Богу — благоговением.

Любовь-нужда взывает из глубин нашей немощи, любовь-дар дает от полноты, а эта, третья любовь славит того, кого любит. По отношению к женщине это будет: «Не могу без тебя жить», «Я защищу тебя» и «Как ты прекрасна!» В этом третьем случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него, и скорее готов утратить возлюбленную, чем согласиться на то, чтобы она вообще не появлялась в его жизни.

На практике, слава Богу, все эти три вида соединяются в одном чувстве, поддерживая друг друга. Наверное, только любовь-нужда встречается в чистом виде, да и то на несколько секунд.

Теперь мы рассмотрим подробней два примера любви к тому, что не есть человек.

Для некоторых людей, особенно для англичан и русских, очень важно то, что мы зовем «любовью к природе». Это не просто любовь к красоте. Конечно, в природе много красивого — деревья, и цветы, и животные, но любящий природу восхищается не частностями. Не ищет он и «видов», ландшафтов. Уордсворт, полномочный представитель таких людей, прямо писал, что от любителя ландшафтов, который «сравнивает с видом вид» и отвлекается «ничтожною игрой цветов и очертаний», ускользает душа, дух времени года и самого места. Конечно, Уордсворт прав. Именно поэтому художник-пейзажист мешает нам на прогулке еще больше, чем ботаник.

Тут важен «дух», важно «настроение». Любители природы хотят получить как можно полнее все, что бы природа, так сказать, ни говорила здесь и сейчас. Явная красота, несомненная гармония одних сцен не дороже им, чем мрачность, ужас, уродство или скука других. Даже отсутствию свойств они рады, ведь это еще одно слово, произнесенное их любимицей. Они открыты чему угодно в любом пейзаже, в любом времени суток. Они хотят впитать это все, окраситься им насквозь.

В XIX в. это, как и многое другое, превознесли до небес, в XX в.— разоблачили. Нельзя не согласиться, что, когда Уордсворт начинает философствовать об этом в прозе, он говорит много глупостей. Глупо и никак не доказано, что цветы наслаждаются воздухом, еще глупее считать, что они способны к радости, но почему-то не способны к страданию. У природы не научишься нравственности.

А если и научишься, то не той, которую находил в ней Уордсворт. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество. Многие в наши дни его и видят. Они любят природу за то, что она, по их мнению, взывает к «темным, кровавым богам»; их не отвращает, а пленяет, что похоть, голод и сила действуют здесь без стыда и жалости.

Вообще же, если вы возьмете природу в наставники, она научит вас тому, что вы решили усвоить, то есть ничему не научит. «Дух» или «душа» природы предложит вам что угодно — безмерное веселье, невыносимое величие, мрачное одиночество. На самом же деле природа говорит одно: «Слушай и смотри».

Призыв этот понимают неверно и строят на нем более чем шаткие теологии, пантеологии и антитеологии, но тут природа не виновата. Любящие природу, от Уордсворта до поборников «темных богов», берут у нее одно — язык образов. Я имею в виду не только образы зрительные; природа как нельзя лучше выражает и радость, и печаль, и невинность, и похоть, и жестокость, и жуть. Свои мысли об этих вещах удобно облекать в предложенные ею образы. А философии и теологии можно учиться у всего на свете, даже у философов и теологов.

Когда я говорю «облекать», я совсем не имею в виду метафоры и тому подобное. Дело в другом: многие, в том числе и я, не учились у природы богословию. Природа не учила меня тому, что есть Всемогущий Бог и Слава Божья. Я поверил в это иначе. Но природа показала мне, что́ такое «слава», и я не знаю до сих пор, где бы еще я мог это увидеть. Я представлял бы себе «страх Божий» очень грубо и просто, если бы не испытал истинного страха в горах или в лесу.

Конечно, все это ничуть не доказывает истинности христианства. Христианин учится этому, а поборник темных богов — своему, другому. В том-то и дело. Природа не учит. Истинная философия может иногда использовать то, что дала природа; но урока философии природа не даст. Природа не подтвердит никаких философских выкладок; она поможет понять и показать, что они значат.

И не случайно. Красота тварного мира естественно дает нам, отражая, красоту нетварного.

Дает, но в определенной степени и не так просто и прямо, как нам поначалу кажется. Любители темных богов правы: кроме цветов, есть и глисты. Попытайтесь примирить эти факты или доказать, что примирять их не надо, и вы выйдете за пределы любви к природе, о которой мы сейчас толкуем, в метафизику, теодицею или что-нибудь еще. Ничего плохого тут нет; но это уже не любовь к природе. Не надо искать прямого пути от этой любви к познанию Бога. Тропинка начинает петлять почти сразу. Тайна и глубина заповедей Божьих уводит нас в густые заросли. Мы не пройдем их; а если и пройдем, то должны сперва вернуться из лесов и садов к письменному столу, к Библии, в церковь. Мы должны опуститься на колени, иначе любовь к природе станет обожествлением природы. А оно приведет нас в лучшем случае если не к темным богам, то ко многим глупостям.

Однако мы не должны уступать обличителям Уордсворта. Природа не может научить нас боговедению или освятить нас. Но, приближаясь к Богу, мы обязаны постоянно оглядываться на нее. Любовь к ней необходима и полезна, хотя бы для начала. Более того, сохранят ее лишь те, кто на ней не застрял. Иначе и быть не могло. Если она стала богом, она стала бесом, а бесы обещаний не держат. У тех, кто хочет жить этим чувством, оно умирает. Колридж перестал ощущать природу, и Уордсворт горевал о том, что красота ее ушла. Молитесь в утреннем саду, не глядя на росу и цветы, не слушая птиц, и всякий раз вас будет поражать свежесть и красота. Но если вы нарочно пойдете поражаться, через несколько лет вы ничего не будете чувствовать девять раз из десяти.

Возьмем теперь любовь к своей стране. Здесь и не нужно растолковывать фразу Ружмона: кто не знает в наш век, что любовь эта становится бесом, когда становится богом! Многие склонны думать, что она только бесом и бывает. Но тогда придется зачеркнуть по меньшей мере половину высокой поэзии и великих деяний. Плач Христа о Иерусалиме[16] звенит любовью к своей стране.

Очертим поле действия. Мы не будем вдаваться здесь в тонкости международного права. Когда патриотизм становится бесом, он, естественно, плодит и множит зло. Ученые люди скажут нам, что всякое столкновение наций безнравственно. Этим мы заниматься не будем. Мы просто рассмотрим само чувство и попытаемся разграничить невинную его форму и бесовскую. Ведь, строго говоря, ни одна из них не воздействует прямо на международные дела. Делами этими правят не подданные, а правители. Я пишу для подданных, а им бесовский патриотизм поможет поступать плохо, здоровый патриотизм — помешает. Когда люди дурны, пропаганде легко раздуть бесовские страсти; когда добры и нормальны, они могут воспротивиться. Вот почему нам надо знать, правильно ли мы любим свою страну.

Амбивалентность патриотизма доказывается хотя бы тем, что его воспевали и Честертон, и Киплинг. Если бы он был единым, такие разные люди не могли бы любить его. На самом деле он ничуть не един, разновидностей у него много.

Первая из них — любовь к дому; к месту, где мы выросли, или к нескольким местам, где мы росли; к старым друзьям, знакомым лицам, знакомым видам, запахам и звукам. В самом широком смысле это будет любовь к Уэллсу, Шотландии, Англии. Только иностранцы и политики говорят о Великобритании. Когда Киплинг не любит «моей империи врагов», он просто фальшивит. Какая у него империя? С этой любовью к родным местам связана любовь к укладу жизни — к пиву, чаю, камину, безоружным полисменам, купе с отдельным входом и многим другим вещам, к местному говору и — реже — к родному языку. Честертон говорил, что мы не хотим жить под чужим владычеством, как не хотим, чтобы наш дом сгорел,— ведь мы и перечислить не в силах всего, чего мы лишимся.

Я просто не знаю, с какой точки зрения можно осудить это чувство. Семья — первая ступенька на пути, уводящем нас от эгоизма; такой патриотизм — ступенька следующая, и уводит он нас от эгоизма семьи. Конечно, это еще не милосердие; речь идет о ближних в географическом, а не в христианском смысле слова. Но не любящий земляка своего, которого видит, как полюбит человека вообще, которого не видит? [17] Все естественные чувства, в их числе и это, могут воспрепятствовать духовной любви, но могут и стать ее предтечами, подготовить к ней, укрепить мышцы, которым Божья благодать даст потом лучшую, высшую работу; так девочка нянчит куклу, а женщина — ребенка. Возможно, нам придется пожертвовать этой любовью, вырвать свой глаз, но если у тебя нет глаза, его не вырвешь [18]. Существо с каким-нибудь «светочувствительным пятном» просто не поймет слов Христа.

Такой патриотизм, конечно, ничуть не агрессивен. От хочет только, чтобы его не трогали. У всякого мало-мальски разумного, наделенного воображением человека он вызовет добрые чувства к чужеземцам. Могу ли я любить свой дом и не понять, что другие люди с таким же правом любят свой? Француз так же предан café complet [19], как мы — яичнице с ветчиной; что ж, дай ему Бог, пускай пьет кофе! Мы ничуть не хотим навязать ему наши вкусы. Родные места тем и хороши, что других таких нет.

Вторая разновидность патриотизма — особое отношение к прошлому своей страны. Я имею в виду прошлое, которое живет в народном сознании, великие деяния предков, Марафон, Ватерлоо. Прошлое это и налагает обязательства и как бы дает гарантию. Мы не вправе изменить высоким образцам; но мы ведь потомки тех, великих, и потому как-то получается, что мы и не можем образцам изменить.

Это чувство не так безопасно, как первое. Истинная история любой страны кишит постыднейшими фактами. Если мы сочтем, что великие деяния для нее типичны, мы ошибемся и станем

легкой добычей для людей, которые любят открывать другим глаза. Когда мы узнаем об истории больше, патриотизм наш рухнет и сменится злым цинизмом или мы нарочно откажемся видеть правду. И все же, что ни говори, именно такой патриотизм помогает многим людям вести себя гораздо лучше в трудную минуту, чем они вели бы себя без него.

Мне кажется, образ прошлого может укрепить нас и при этом не обманывать. Опасен этот образ ровно в той мере, в какой он подменяет серьезное историческое исследование. Чтобы он не приносил вреда, его надо принимать как сказание. Я имею в виду не выдумку — многое действительно было; я хочу сказать, что подчеркивать надо саму повесть, образы, примеры. Школьник должен смутно ощущать, что он слушает или читает сагу. Лучше всего, чтобы это было и не в школе, не на уроках. Чем меньше мы смешиваем это с наукой, тем меньше опасность, что он это примет за серьезный анализ или — упаси Господь!— за оправдание нашей политики. Если героическую легенду загримируют под учебник, мальчик волей-неволей привыкнет думать, что «мы» какие-то особенные. Не зная толком биологии, он может решить, что мы каким-то образом унаследовали героизм. А это приведет его к другой, много худшей разновидности патриотизма.

Третья разновидность патриотизма — уже не чувство, а вера; твердая, даже грубая вера в то, что твоя страна или твой народ действительно лучше всех. Как-то я сказал старому священнику, исповедовавшему такие взгляды: «Каждый народ считает, что мужчины у него — самые храбрые, женщины — самые красивые». А он совершенно серьезно ответил мне: «Да, но ведь в Англии так и есть!» Конечно, этот ответ не значит, что он мерзавец; он просто трогательный старый осел. Но некоторые ослы больно лягаются. В самой крайней, безумной форме такой патриотизм становится тем расизмом толпы, который одинаково противен и христианству, и науке.

Тут мы подходим к четвертой разновидности. Если наша нация настолько лучше всех, не обязана ли она всеми править? В XIX в. англичане очень остро ощущали этот долг, «бремя белых». Мы были не то добровольными стражниками, не то добровольными няньками. Не надо думать, что это — чистое лицемерие. Какое-то добро мы «диким» делали. Но мир тошнило от наших заверений, что мы только ради этого добра завели огромную империю. Когда есть это ощущение превосходства, вывести из него можно многое. Можно подчеркивать не долг, а право. Можно считать, что одни народы, совсем уж никуда не годные, необходимо уничтожить, а другие, чуть получше, обязаны служить избранному народу. Конечно, ощущение долга лучше, чем ощущение права. Но ни то, ни другое к добру не приведет. У обоих есть верный признак зла: они перестают быть смешными только тогда, когда станут ужасными. Если бы на свете не было обмана индейцев, уничтожения тасманцев, газовых камер, апартеида, напыщенность такого патриотизма казалась бы грубым фарсом.

И вот мы подходим к той черте, за которой бесовский патриотизм, как ему и положено, сжирает сам себя. Честертон, говоря об этом, приводит две строки из Киплинга. По отношению к Киплингу это не совсем справедливо — тот знал любовь к дому, хотя и был бездомным. Но сами по себе эти строки действительно прекрасный пример. Вот они:

Была бы Англия слаба,
Я бросил бы ее [20].

Любовь так в жизни не скажет. Представьте себе мать, которая любит детей, пока они милы, мужа, который любит жену, пока она красива, жену, которая любит мужа, пока он богат и знаменит. Тот, кто любит свою страну, не разлюбит ее в беде и унижении, а пожалеет. Он может считать ее великой и славной, когда она жалка и несчастлива,— бывает такая простительная иллюзия. Но солдат у Киплинга любит ее за величие и славу, за какие-то заслуги, а не просто так. А что, если она потеряет славу и величие? Ответ несложен: он разлюбит ее, покинет тонущий корабль. Тот самый барабанный, трубный, хвастливый патриотизм ведет на дорогу предательства. С таким явлением мы столкнемся много раз. Когда естественная любовь становится беззаконной, она не только приносит вред — она перестает быть любовью.

Итак, у патриотизма много обличий. Те, кто хочет отбросить его целиком, не понимают, что́ встанет (собственно, уже встает) на его место. Еще долго — а может, и всегда — страны будут жить в опасности. Правители должны как-то готовить подданных к защите страны. Там, где разрушен патриотизм, придется выдавать любой международный конфликт за чисто этический, за борьбу добра со злом. Это — шаг назад, а не вперед. Конечно, патриотизм не должен противостоять этике. Хорошему человеку нужно знать, что его страна защищает правое дело; но все же это дело его страны, а не правда вообще. Мне кажется, разница очень важна. Я не стану ханжой и лицемером, защищая свой дом от грабителя; но если я скажу, что избил вора исключительно правды ради, а дом тут ни при чем, ханжество мое невозможно будет вынести. Нельзя выдавать Англию за Дон Кихота. Нелепость порождает зло. Если дело нашей страны — дело Господне, врагов надо просто уничтожить. Да, нельзя выдавать мирские дела за служение Божьей воле.

Старый патриотизм тем и был хорош, что, вдохновляя людей на подвиг, знал свое место. Он знал, что он чувство, не более, и войны могли быть славными, не претендуя на звание Священных. Смерть героя не путали со смертью мученика. И потому чувство это, предельно серьезное в час беды, становилось в дни мира смешным, легким, как всякая счастливая любовь. Оно могло смеяться над самим собой. Старую патриотическую песню и не споешь, не подмигивая; новые — торжественны, как псалмы.

Понятно, что все это может относиться и не к стране, а к школе, к полку, к большой семье, к сословию. Может относиться

к тому, что выше естественной любви: к Церкви, к одной конфессии, к монашескому ордену. Это страшно, и об этом надо бы написать другую книгу. Сейчас скажу, что Церковь, Небесное Сообщество, неизбежно оказывается и сообществом земным. Наша естественная и невинная привязанность к земному сообществу может счесть себя любовью к Сообществу Небесному и оправдать самые гнусные действия. Я не собираюсь писать об этом, но именно христианин должен написать, сколько непоправимо своего внесло христианство в сокровищницу жестокости и подлости. Мир не услышит нас, пока мы не откажемся всенародно от большой части нашего прошлого. С какой стати ему слушать, когда мы именем Христа то и дело служили Молоху [21]?

Вы удивитесь, что я ничего не сказал о любви к животным. О ней я скажу в следующей главе. Личность животное или не личность, когда мы любим, оно представляется нам личностью. Поэтому к животным относится то, о чем мы будем сейчас говорить.

III. ПРИВЯЗАННОСТЬ

Я начну с самой смиренной и самой распространенной любви, меньше всего отличающей нас от животных. Предупреждаю сразу, что это не упрек. Наши человеческие черты не лучше и не хуже от того, что мы разделяем их с животными. Когда мы обзываем человека животным, мы не хотим сказать, что у него много таких черт — у всех их много; речь идет о том, что он проявил только эти свойства там, где нужны были чисто человеческие. Словом же «зверский» мы называем поступки, до которых никакому зверю не додуматься.

Итак, я буду говорить о самой простой любви. Греки называли ее «storge»; я назову привязанностью. В моем греческом словаре «storge» определяется как «привязанность, главным образом — родителей к детям», но слово это означает и привязанность детей к родителям. Любовь между детьми и родителями — первоначальная, основная форма этой любви. Чтобы представить ее себе, вообразите мать с младенцем, кошку в полной котят корзине, писк, лепетанье, тесноту, теплый запах молока.

Образ этот хорош тем, что сразу вводит нас в центр парадокса. Дети любят мать любовью-нуждой, но и материнская любовь — нужда, мать в ней нуждается. Если она не родит, она умрет, если не покормит — заболеет. Ее любовь — нужда, но нуждается она в том, чтобы в ней нуждались. К этому мы еще вернемся.

И у животных, и у нас привязанность выходит далеко за пределы семьи. Тепло и уютно бывает не только с детьми и не только с родителями. Такая любовь — самая неприхотливая. Есть женщины, у которых и быть не может поклонников; есть мужчины, у которых и быть не может друзей. Но мало на свете людей, к которым никто не привязан. Привязанность не требует

сходства. Я видел, как не только мать, но и братья любили полного идиота. Привязанность не знает различий пола, возраста, класса. Она связывает молодого ученого и старую няню, живущих в совершенно разных мирах. Более того, привязанность не признает границ биологического вида. Она связывает человека и животное, и двух разных животных, скажем, кошку и собаку, и даже (это видел Гилберт Уайт [22]) курицу и лошадь.

Такую любовь хорошо и часто описывали. В «Тристраме Шенди» [23] отец и дядя Тоби десяти минут не могут поговорить без спора; но они глубоко привязаны друг к другу. Вспомним Дон Кихота и Санчо Пансу, Пиквика и Уэллера, Дика и Маркизу. Быть может, автор о том и не думал, но четверка из «Ветра в ивах» — Крот, Крыс, Жаб и Барсук — показывает нам, какие разные создания может связать этот род любви.

У привязанности тоже есть условие: предмет ее должен быть «своим», хорошо или давно знакомым. Мы часто знаем, когда именно, какого числа влюбились или обрели друга. Вряд ли можно установить, когда мы привязались к кому-нибудь. Не случайно мы употребляем ласкательно слово «старый», французы — «vieux». Собака лает на незнакомца, не причинившего ей вреда, и радуется знакомому, который ни разу ее не приласкал. Ребенок любит угрюмого садовника и дичится ласковой гостьи. Но садовник непременно должен быть «старый» — ребенок и не вспомнит времен, когда его еще не было.

Я уже говорил, что привязанность смиренна. Она не превозносится. Мы гордимся влюбленностью или дружбой. Привязанности мы нередко стыдимся. Как-то я рассказывал о том, как любят друг друга собака и кошка, а собеседник мой заметил: «Вряд ли собака признáется в этом другим псам». У привязанности — простое, неприметное лицо; и те, кто ее вызывает, часто просты и неприметны. Наша любовь к ним не свидетельствует о нашем вкусе или уме. То, что я назвал любовью-оценкой, в привязанность не входит. Чаще всего мы начинáем различать достоинства в милых нам людях, когда их с нами нет. Пока они с нами, мы принимаем их как должное. Для влюбленности — это провал, а здесь ничему не мешает. Привязанность тиха, о ней и говорить неудобно. На своем месте она хороша, вытащить ее на свет опасно. Она облекает, пропитывает нашу жизнь. Она там, где шлепанцы, халат, привычные шутки, сонный кот, жужжание швейной машины, кукла на траве.

Внесу поправку. Все это так, если привязанность одна, если она ни с чем не смешана. Она и сама — любовь, но часто она входит в другой вид любви, пропитывает его, окрашивает, создáет для него среду. Быть может, без нее та любовь и усохла бы. Когда друг становится «старым другом», все, что не имело к дружбе никакого отношения, обретает особую прелесть. Что же до влюбленности, она может просуществовать без привязанности очень недолго; если же протянет подольше — становится поистине мерзкой, слишком ангельской, или слишком животной, или тем

и другим по очереди. Такая влюбленность не по мерке человеку, она и мала ему, и велика. Зато как хороши и дружба, и влюбленность, когда сами они затухают и привязанность дает нам свободу, известную лишь ей да одиночеству. Не надо говорить, не надо целоваться, ничего не надо, разве что помешать в камине.

Об этом слиянии, наложении родов любви свидетельствует то, что почти всегда и везде все они выражаются в поцелуе. Сейчас в Англии друзья не целуются, а вот влюбленные и те, кто привязан друг к другу, этот обычай хранят. Они так верно хранят его, что и не скажешь, кто у кого это позаимствовал, да и вообще, есть ли тут заимствование. Конечно, поцелуй влюбленности — не тот, что поцелуй привязанности; но ведь влюбленные далеко не всегда целуются «страстно». Кроме того, оба рода любви, к удивлению наших современников, пользуются лепетом, детским говором. Свойственно это не только людям. Профессор Лоренц сообщает нам, что зов влюбленных галок «состоит в основном из звуков, которые издают обычно их дети» [24]. То же самое делаем и мы, делают и птицы. Нежность — все нежность, и язык самой первой нежности вспоминается, чтобы послужить второй.

Мы уже знаем, что оценка не играет в привязанности большой роли. Но очень часто благодаря привязанности оценка появляется там, где ей бы без этого вовек не появиться. Друзей и возлюбленных мы выбираем за что-то — за красоту, за доброту, за ум, за честность. Но красота должна быть особая, «наша», и ум особый, в нашем вкусе. Потому друзья и влюбленные чувствуют, что созданы друг для друга. Привязанность соединяет не созданных друг для друга, до умиления, до смеха непохожих людей. Сперва мы привязываемся к человеку просто потому, что он рядом; потом мы замечаем: «А в нем что-то есть!..» Значит это, что он нам нравится, хотя и не создан по нашему вкусу; а знаменует великое освобождение. Пускай нам кажется, что мы снизошли к нему,— на самом деле мы перешли границу. Мы вышли за пределы своих мерил, начали ценить добро как таковое, а не только нашу излюбленную его разновидность.

Кто-то сказал: «Кошек и собак надо воспитывать вместе, чтобы расширить их кругозор». Это и делает привязанность. Она самая широкая, самая демократическая любовь. Если у меня много друзей, это не значит, что я терпим и добр; я их выбрал, как выбрал книги своей библиотеки. Поистине любит чтение тот, кто порадуется грошовому выпуску на книжном развале. Поистине любит людей тот, кто привяжется к каждодневным спутникам. Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом — терпеть; потом — привечать и, наконец,— ценить тех, кто оказался рядом. Созданы они для нас? Слава Богу, нет! Они — это они и есть, чудовищные, нелепые, куда более ценные, чем казалось нам поначалу.

И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как и милосердие. Привязанность обращает наш взор

к неприметным; Бог и Его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива: она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает [25]. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Значит, это и есть сама Любовь? Значит, правы викторианцы? Значит, другой любви и не нужно? Значит, домашнее тепло и есть христианская жизнь? Ответ несложен: «Нет».

Я говорю сейчас не о том, что викторианские писатели как будто и не читали текстов о ненависти к жене и матери или о врагах человека — домашних его [26]. Конечно, все это — правда. Христианин не смеет забывать о соперничестве между всякой естественной любовью и любовью к Богу. Бог — величайший из соперников, предельный предмет человеческой ревности, та Красота, ужасная, как Горгона, которая в любой миг может украсть у меня сердце мужа или жены, дочери или сына (то есть нам *кажется,* что Он их крадет). Горечь неверия часто вызвана именно этим, хотя человек думает, что ему противны предрассудки или ханжество. Но об этом мы будем говорить позже. Сейчас речь идет о куда более земных вещах.

Сколько на свете счастливых семейств? Потому ли их мало, что родные не любят друг друга? Нет, не потому; семья бывает несчастлива при очень сильной любви, хуже того — из-за сильной любви. Почти все свойства привязанности — о двух концах. Они могут порождать и добро, и зло. Если дать им волю, ничего с ними не делать, они вконец разрушат нам жизнь. Мятежные противники семейных радостей сказали о них не все; но все, что они сказали,— правда.

Заметьте, как противны песни и стихи о семейных чувствах. Противны они тем, что фальшивы; а фальшивы потому, что выдают за гарантию счастья и даже добра то, что только при должном усердии может к ним привести. Если верить песням и стихам, делать ничего не надо. Пустите привязанность, как теплый душ, и больше вам думать не о чем.

Как мы видели, в привязанность входят и любовь-нужда, и любовь-дар. Начнем с нужды — с того, что мы нуждаемся в любви к нам.

Привязанность — самый неразумный вид любви. Привязаться можно к каждому. Поэтому каждый и ждет, что к нему привяжутся. М-р Понтифекс из «Пути всякой плоти» [27] ужасается, что сын не любит его, и считает это противоестественным. Однако он и не спросит себя, сделал ли он хоть что-нибудь, заслуживающее сыновней любви. «Король Лир» начинается с того, что очень неприятный старик жить не может без привязанности своих дочерей. Я привожу пример из книг, потому что мы с вами живем в разных местах. Живи мы близко, я бы показал вам сколько угодно примеров. Причина ясна: мы знаем, что дружбу и влюбленность надо чем-то вызвать, как бы заслужить. Привязанность дается бесплатно, она «сама собой разумеется». Мы вправе ждать ее.

А если не дождемся, решим, что наши близкие ведут себя противоестественно.

Конечно, это неправда. Мы млекопитающие, и потому инстинкт вкладывает в наших матерей какую-то к нам любовь. Мы создания общественные и потому живем в определенной среде, где при нормальном ходе вещей возникают привязанности. Если кто-то привязан к нам, это не значит, что мы достойны любви. Отсюда делают вывод: «Если мы и недостойны любви, к нам должен быть кто-нибудь привязан». Точно так же можно сказать: «Никто не заслужил благодати Божьей. Я ее не заслужил. Следовательно, Бог должен мне ее даровать». Ни там, ни здесь и речи не может быть о правах. Никаких прав у нас нет, мы просто смеем надеяться на привязанность, если мы обычные люди. А если нет? Если нас невозможно вынести? Тогда «природа» станет работать против нас. При близком общении легко возникает и ненависть. Все будет похоже, и все наоборот. Тоже кажется, что мы *всегда* терпеть человека не могли. Тоже возникает слово «старый»: «Его старые штуки!» — и даже «вечный»: «А, вечно он!..»

Нельзя сказать, что Лир не знает привязанности. На любви-нужде он просто помешался. Если бы он по-своему не любил дочек, он бы не требовал от них любви. Самый невыносимый родитель (или ребенок) может испытывать эту хищную любовь. Добра она не приносит ни ему, ни другим. В такой семье просто жизни нет. Когда неприятный человек непрестанно требует любви, обижается, корит, кричит или тихо точит близких, они чувствуют себя виновными (чего он и хотел), а на самом деле ничего исправить не могут. Требующий любви рубит сук, на который и сесть не успел. Если в нас вдруг затеплится какая-нибудь нежность к нему, он тут же прибьет ее жадностью и жалобами. А доказывать свою любовь мы должны обычно, ругая его врагов. «Любил бы ты меня, ты бы понял, какой эгоист твой отец...», «...помог бы мне справиться с сестрой», «...не дал бы так со мной обращаться...»

И, хоть ты их убей, они не видят простого и прямого пути. Овидий считал, что любви не дождешься, если ты не «amabilis» [28]. Веселый старый срамник хотел сказать, что женщину не обольстишь, если ты не обольстителен. Но слова его можно прочитать иначе. Он умнее в своем роде, чем король Лир.

Удивительно не то, что недостойные никакой любви тщетно ее требуют, а то, что они требуют ее так часто. Кто не видел, как женщина тратит юность, зрелость и даже старость на ненасытную мать, слушается ее, угождает ей, а та, как истинный вампир, считает ее неласковой и строптивой. Быть может, ее жертва и прекрасна (хотя я в этом не уверен), но в матери, как ни ищи, прекрасного не отыщешь.

Вот какие плоды может приносить то, что привязанность дается даром. Не лучше обстоит дело и с непринужденностью, которую она порождает.

Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодежи. Я старый человек и должен бы встать на сторону старших, но меня куда чаще поражает грубость родителей. Кто из нас не мучился в гостях, когда мать или отец так обращались со взрослыми детьми, что человек чужой просто ушел бы и хлопнул дверью? Они категорически говорят о вещах, которые дети знают, а они — нет; они прерывают детей, когда им вздумается; высмеивают то, что детям дорого; пренебрежительно (если не злобно) отзываются об их друзьях. А потом удивляются: «И где их носит? Всюду им хорошо, лишь бы не дома!..»

Если вы спросите, почему родители так ведут себя, они ответят: «Где же побыть собой, как не дома? Не в гостях же мы! Все тут люди свои, какие могут быть обиды!»

И снова это очень близко к правде, и ничуть не верно. Привязанность — как старый домашний халат, который мы не наденем при чужих. Но одно дело — халат, другое — грязная до вони рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее. Есть светская учтивость, есть и домашняя. Принцип у них один: «не предпочитай себя». Чем официальней среда, тем больше в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости, она порождает вежливость истинную, тонкую, глубокую. «На людях» мы обойдемся ритуалом. Дома нужна реальность, символически в нем воплощенная. Если ее нет, всех подомнет под себя самый эгоистичный член семьи.

Вы должны действительно не предпочитать себя; в гостях вы можете притворяться, что не предпочитаете. Отсюда и поговорка: «Поживем вместе — узнаем друг друга». То, как человек ведет себя дома, показывает истинную цену (что за гнусное выражение!) его светских манер. Когда, придя из гостей, манеры оставляют в передней, это значит, что их и не было, им просто подражали.

«Мы можем сказать друг другу что угодно». Истина, стоящая за этими словами, означает вот что: привязанность в лучшем своем виде может не считаться со светскими условностями, потому что она и не захочет ранить, унизить или подчинить. Вы не скажете любимой жене: «Ну ты и свинья!» Вы скажете: «Помолчи, я читать хочу». Вы можете поддразнивать, подшучивать, разыгрывать. Вы все можете, если тон и время верны. Чем лучше и чище привязанность, тем точней она чувствует, когда ее слова не обидят. Но домашний хам имеет в виду совсем другое. Его привязанность — очень низкого пошиба, или ее вообще нет, а свободу он себе дает такую, на которую смеет претендовать и которой умеет пользоваться только самая высокая, самая лучшая привязанность. Он тешит свою злобу, себялюбие или просто глупость. А совесть его чиста: привязанность имеет право на свободу, он ведет себя как хочет,— значит, он выражает привязанность. Если вы хоть немного обидитесь, он будет оскорблен в лучших чувствах. Дело ясное: вы его не любите, вы его обидели, не поняли.

«А, вот что!— скажет он.— Так, так... Вежливость понадобилась... Я-то думал, мы люди свои... да что там, ладно!.. Будь по-твоему». И станет вести себя с обидной, подчеркнутой вежливостью. Вот разница между домом и «светом»: дома светские манеры свидетельствуют как раз о невежливости. Домашняя учтивость совсем иная. Прекрасный ее пример вы найдете в «Тристраме Шенди». Дядя Тоби не вовремя заговорил о своей любимой фортификации. Отец не выдержал и прервал его. Потом он увидел его лицо; понял, как брат удивлен и обижен — не за себя, конечно, а за высокое искусство,— и тут же раскаялся. Он просит прощения, братья мирятся, и, чтобы показать, что никакой досады нет, дядя Тоби возвращается к прерванному рассказу.

Мы еще не говорили о ревности. Надеюсь, вы не думаете, что ею страдают только влюбленные; а если думаете — посмотрите на детей, на слуг и на животных. В привязанности она очень сильна и вызвана тем, что этот вид любви не терпит перемены. Связано это и с тем, что для привязанности совершенно не важна «любовь-восхищение». Мы не хотим, чтобы привычный облик стал красивей, характер — лучше, разум — шире. Перемена — враг привязанности.

Скажем, брат и сестра или два брата растут вместе. Они читают одни и те же книжки, карабкаются на одно и то же дерево, вместе играют, вместе начинают и бросают собирать марки. И вдруг у одного из них появляется новая жизнь. Другой не входит в нее, он выброшен, отброшен. Ревность тут родится такая, что и в драме подобной не найдешь. Это еще не ревность к друзьям, это ревность к самому предмету увлечения — к музыке, к науке, к Богу. Она доходит до смешного. Обиженный называет «все это» глупостями, не верит обидчику, обвиняет его в позерстве, прячет книги, выключает радио, выбрасывает бабочек. Привязанность — самый инстинктивный, самый животный вид любви, и ревность ее — самая дикая.

Не только дети страдают этой ревностью. Посмотрите на неверующую семью, где кто-нибудь обратился, или на мещанскую семью, где кто-нибудь «пошел в образованные». Я думал, что это ненависть тьмы к свету, но ошибался. Верующая семья, где кто-то стал атеистом, ничуть не лучше. Это просто реакция на измену, даже вроде бы на кражу. Кто-то (или что-то) крадет у нас нашего мальчика (или девочку). Он был один из нас, стал одним из них. Да по какому праву?! Так хорошо жили, никому не мешали, а нас обидели...

Иногда такая ревность усложняется, удваивается. С одной стороны, конечно, «все это» — глупости. С другой — а вдруг в этом что-то есть? Вдруг и правда чем-то хороши книги, музыка, христианство? Почему же мы этого не видели, а он увидел? Что он, лучше нас? Да он сопляк, мы же старше... И ревность возвращается на круги своя: умнее «нас» он быть не может, значит, все это глупости.

Родителям в таких случаях лучше, чем братьям или сестрам. Дети их прошлого не знают, и они всегда могут сказать: «У кого не было! Ничего, пройдет...» Возразить на это невозможно — речь идет о будущем, обидеться нельзя — тон очень мягкий, а слушать обидно. Иногда родители и впрямь верят себе. Более того, иногда так и выходит.

«Ты разобьешь сердце матери!» Это викторианское восклицание нередко оказывалось верным. Близким очень тяжело, когда кто-нибудь из семьи спустился ниже нравственной ее системы — играет, пьет, содержит певичку. К несчастью, так же тяжело, если он поднялся выше. Охранительное упорство привязанности — о двух концах. Здесь, на домашнем уровне, повторяется самоубийственная воспитательная система, которая не терпит мало-мальски самостоятельных и живых детей.

До сих пор мы говорили об отходах привязанности-нужды. У привязанности-дара — свои искажения.

Я вспоминаю миссис Скорби, умершую не так давно. Семья ее на удивление посвежела. Муж не глядит затравленно и даже иногда смеется. Младший сын оказался не таким уж мрачным. Старший, который только спал дома, теперь никуда не ходит и трудится в саду. Дочь, которую считали «болезненно-хрупкой», ездит верхом, танцует ночи напролет, а днем играет в теннис. Даже собака бегает по улице и знается с другими псами.

Миссис Скорби часто говорила, что живет для семьи. Она не лгала. Все у нас знали, что так оно и есть. «Вот это жена!— говорили люди.— Вот это мать!» Стирала она сама, и стирала плохо, но ни за что на свете не соглашалась отдать белье в прачечную. Когда бы кто ни вернулся, его ждал горячий ужин, даже в середине лета. Муж и дети умоляли ее, плакали, заверяли, что больше любят холодное. Ночью она не ложилась, пока все не придут. В два ли часа утра, в четыре ли вы находили на кухне худую, изможденную женщину, с немым упреком глядевшую на вас. Конечно, члены ее семьи старались приходить пораньше. Она сама шила, по ее мнению, очень хорошо, и только отпетый мерзавец смог бы отказаться от ее изделий. (Священник рассказывал, что после ее смерти семья отдала «для бедных» больше вещей, чем весь приход, вместе взятый.) А как она заботилась о здоровье близких! Она несла одна бремя таинственной болезни, которой страдала дочь. Врач, старый ее друг, разговаривал только с ней, пациентка ничего о себе не знала. Зачем ей волноваться? Мать жалела и пестовала ее, готовила диетическую еду, варила кошмарные напитки, поднимающие тонус, подавала все в постель. Остановить ее никто не мог. Но родные, люди хорошие, не могли и лениться, пока она трудится. Они ей помогали — помогали ей делать для них то, что им не было нужно. Собаку она тоже изводила, но та, за отсутствием совести, все же вырывалась на помойку или к соседу-псу.

Священник говорит, что миссис Скорби обрела мир. Будем надеяться, что это правда. А вот семья ее несомненно мир обрела.

Нетрудно понять, в чем здесь ошибка. Материнская любовь — прежде всего дар. Но дарует она, чтобы довести ребенка до той черты, после которой он в этом даре нуждаться не будет. Мы кормим детей, чтобы они со временем сами научились есть; мы учим их, чтобы они выучились, чему нужно. Эта любовь работает против себя самой. Цель наша — стать ненужными. «Я больше им не нужна» — награда для матери, признание хорошо выполненного дела. Но инстинкт по природе своей этому противится. Он тоже хочет ребенку добра, только — своего, от матери исходящего. Если не включится более высокая любовь, которая хочет любимому добра, откуда бы оно ни исходило, мать не сдается. Чаще всего так и бывает. Чтобы в ней нуждались, мать выдумывает несуществующие нужды или отучает ребенка от самостоятельности. Совесть ее при этом чиста; она не без оснований думает, что любовь ее — дар, и выводит из этого, что эгоизма в ней нет.

Касается это, конечно, не только матерей. Любая привязанность-дар может к этому привести, например любовь опекуна к опекаемому. Эмма у Джейн Остен [29] хочет счастья Гарриет Смит, но только такого, которое приготовила сама Эмма. Опасность эта очень сильна в моей профессии. Университетский преподаватель должен дать ученику столько, чтобы тот не нуждался в нем, более того, чтобы тот мог стать его соперником и критиком. Мы должны радоваться, когда это случится, как радуется учитель фехтования, когда ученик выбьет у него шпагу. Многие и радуются; но не все.

Я достаточно стар, чтобы помнить доктора Кварца. Ни в одном университете не было такого хорошего и усердного учителя. Он буквально отдавал себя ученикам, и они его любили, почитали. Когда он перестал заниматься с ними, они не оставили его, часто заходили к нему и долго с ним спорили. Но вот — через месяцы или через недели — наступил роковой вечер, когда им сказали, что доктора нет дома. Так его с тех пор и не было. Дело в том, что они посмели с ним не согласиться. Встретившись с той самой независимостью, которую он воспитывал, доктор Кварц ее не вынес. Вотан создал свободного Зигфрида, а увидев, что Зигфрид свободен, разгневался [30]. Доктор Кварц был несчастным человеком.

Страшная нужда в том, чтобы в нас нуждались, находит выход в любви к животным. Фраза «Он (она) любит животных» не значит ничего. Любить животных можно по-разному. С одной стороны, домашнее животное — мост между нами и природой. Всем нам бывает грустно оттого, что мы, люди, одиноки в мире живого — почти утратили чутье, видим себя со стороны, вникаем в бесчисленные сложности, не умеем жить в настоящем. Мы не можем и не должны уподобляться животным. Но мы можем быть с ними. Животное достаточно личностно, чтобы предлог «с» выступил во всей своей силе; и все же оно — небольшой комок биологических импульсов. Собака или кошка тремя лапами стоит в природе, одной — там, где мы. Животное — это посланец. Кто

не хотел бы, как сказал Бозанкет [31], «направить посла ко двору великого Пана»? Человек с собакой или с котом затыкает дыру в мироздании. Но, с другой стороны, животное можно воспринять неправильно. Если вы хотите быть нужным, а семье удалось от вас увернуться, животное может заменить ее. Несчастное создание принесет вашим родным большую пользу, вроде громоотвода; вы будете так заняты тем, чтобы портить ему жизнь, что у вас не хватит времени портить жизнь им. Собака подойдет тут больше кошки. Говорят, лучше всего — обезьяны. Животному вашему, конечно, не посчастливилось. Но может быть, оно не сумеет понять, как вы ему навредили; а если и сумеет, вы о том не узнаете. Самый забитый человек нет-нет да взорвется и выскажет все как есть. На ваше счастье, животное лишено дара речи.

Те, кто говорит: «Чем больше я вижу людей, тем больше люблю животных»,— те, для кого животное *отдых* от человеческого общества, должны подумать всерьез об истинных причинах своей мизантропии.

Мне скажут: «Ну конечно, все это бывает. Эгоисты и невротики исказят что угодно, даже любовь. Но зачем так много рассуждать о патологических случаях? В конце концов, людям приличным легко избежать таких ошибок». Мне кажется, это замечание нуждается в комментариях.

Во-первых, невротик. Не думаю, что описанные мною случаи относятся к патологии. Конечно, бывают и особенно болезненные их формы, которые просто невозможно вынести. Таких людей непременно надо лечить. Но все мы, честно взглянув на себя, признаемся, что не избежали подобных искушений. Это не болезнь; а если болезнь, имя ей — первородный грех. Обычные люди, делая все это, не болеют, а грешат. Им нужен не врач, а духовник. Медицина старается вернуть нас в «нормальное» состояние. Себялюбие, властность, жалость к себе, неумение себя увидеть нельзя назвать ненормальными в том смысле, в каком мы так называем астигматизм или блуждающую почку. Разве нормален, разве обычен тот, у кого начисто нет этих черт? Он нормален, конечно, но в другом значении слова: преображен, равен Божьему замыслу. Мы знали только одного такого Человека. А Он ничуть не был похож на любезного психологам индивида, уравновешенного, приспособленного, удачно женатого, хорошо устроенного, умеющего со всеми ладить. Вряд ли очень хорошо вписан в мир Тот, Кому говорили: «Не бес ли в Тебе?» [32], кого гнали и в конце концов прибили гвоздями к двум бревнам.

Во-вторых, сами вы, возразив мне, ответили себе. Привязанность дарует радость тогда и только тогда, когда ее испытывают «приличные люди». Другими словами, одной привязанности мало. Нужен ум; нужна справедливость; нужна милость. Словом, нужно быть хорошим — терпеливым, смиренным, кротким. В игру должна вступать любовь, которая выше привязанности. В том-то и дело. Если мы станем жить одной привязанностью, она принесет нам много зла.

Неужели мы действительно не понимаем, как много зла она приносит? Неужели миссис Скорби совсем не видела, как она мучает семью? Трудно в это поверить. Она знала, как не знать, что весь вечер испорчен, когда впереди — ее бесполезная забота и горький укор. Но перестать не могла, иначе ей пришлось бы узнать и то, чего она знать не хотела: она уже не нужна. Кроме того, у нее времени не хватало подумать, правильна ли ее любовь. Но и это не все, есть и более глубокие причины. Когда родные просили ее отдать белье в прачечную, она ужасалась их черствости и неблагодарности и тешила душу радостями досады. Если вы скажете, что радости эти вам незнакомы, вы или лжец, или святой. Некоторые наслаждения ведомы лишь тем, кто ненавидит. В любви миссис Скорби немало ненависти. Латинский поэт сказал «odi et amo» о влюбленности [33], но относится это ко всем видам любви. В каждом из них таятся семена злобы. Если привязанность возьмет в свои руки всю душу, семена эти прорастут. Любовь станет богом; станет бесом.

IV. ДРУЖБА

Когда я говорю о привязанности или влюбленности, все меня понимают. Оба эти чувства воспеты и прославлены свыше всякой меры. Даже те, кто в них не верит, подчиняются традиции — иначе они бы не обличали их. Но мало кто помнит теперь, что и дружба — любовь. У Тристана и Изольды, Антония и Клеопатры, Ромео и Джульетты тысячи литературных соответствий; у Давида и Ионафана, Ореста и Пилада, Роланда и Оливье их нет. В старину дружбу считали самой полной и счастливой из человеческих связей. Нынешний мир ее лишен. Конечно, все согласятся, что кроме семьи мужчине нужны и друзья. Но самый тон покажет, что под этим словом подразумевают совсем не тех, о ком писали Цицерон и Аристотель. Дружба для нас — развлечение, почти ненужная роскошь. Как же мы до этого дошли?

Прежде всего, мы не ценим дружбы, потому что ее не видим. А не видим мы ее потому, что она из всех видов любви наименее естественная, в ней не участвует инстинкт, в ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами, от нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств. Соединяет она личность с личностью; как только люди подружились, они выделились из стада. Без влюбленности никто бы из нас не родился, без привязанности — не вырос, без дружбы можно и вырасти, и прожить. Вид наш с биологической точки зрения в ней не нуждается. Общество ей даже враждебно. Заметьте, как не любит ее начальство. Директору школы, командиру полка, капитану корабля становится не по себе, когда кого-нибудь из их подчиненных свяжет крепкая дружба.

Эта противоестественность дружбы объясняет, почему ее так любили в старину. Главной, самой глубокой мыслью античности и средневековья был уход от материального мира. Природу, чув-

ство, тело считали опасными для духа, их боялись или гнушались ими. Привязанность и влюбленность слишком явно уподобляют нас животным. Когда вы испытываете их, у вас перехватывает дыхание или жжет в груди. Светлый, спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдаляет нас от природы. Дружба — единственный вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам.

Сентиментализм и романтизм восстановили в правах природу и чувства. Поклонники «темных богов» опустились еще ниже, и к дружбе они уже начисто неспособны. Все, что считалось доблестями дружбы, работает теперь против нее. Она не знает лепета, нежных подарков, слез умиления, любезных поборникам чувства. Она слишком светла и покойна для поклонников низких инстинктов. По сравнению с более природными видами любви она жидка, пресна, бесплотна, это какой-то вегетарианский суррогат.

Кроме того, многие сейчас ставят общественное выше личного. Дружба соединяет людей на высшем уровне их личностного развития. Она уводит их от общества, как одиночество, но в нее уходит не один человек, а по меньшей мере двое. Демократическому чувству она тоже противна, в ней есть избранничество. Словом, в наши дни главу о дружбе приходится начинать с ее оправдания.

Для начала коснемся весьма непростой темы. В наше время нельзя обойти вниманием теорию, считающую, что всякая дружба на самом деле — однополая влюбленность.

Здесь очень важны опасные слова «на самом деле». Если вы скажете, что всякая дружба осознанно гомосексуальна, все поймут, что это ложь. Если вы спрячетесь за вышеприведенными словами, получится, что друзья и сами ничего не знают об ее истинной сути. Это уже нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Само отсутствие свидетельств окажется свидетельством. Дыма нет — значит, огонь хорошо скрыли. Конечно; если огонь вообще есть. С таким же правом можно сказать: «Если бы в кресле лежала невидимая кошка, оно казалось бы пустым. Оно пустым кажется. Следовательно, в нем лежит невидимая кошка».

Логически опровергнуть веру в невидимых кошек нельзя, но она немало говорит нам о том, кто ее исповедует. Те, кто видит в дружбе лишь скрытую влюбленность, доказывают, что у них никогда не было друзей. Кроме них, все знают по опыту, что дружба и влюбленность совсем непохожи, хотя их можно испытывать к одному и тому же человеку. Влюбленные все время говорят о своей любви; друзья почти никогда не говорят о дружбе. Влюбленные смотрят друг на друга; друзья — на что-то третье, чем оба заняты. Наконец, влюбленность, пока она жива, связывает только двоих. Дружба двумя не ограничена, втроем дружить даже лучше, и вот почему.

Лэм говорит где-то, что, когда *A* умрет, *B* теряет не только самого *A,* но и «его долю *C*» и *C* — «его долю *B*». В каждом друге есть что-то такое, чему дает осуществляться лишь третий друг. Сам я недостаточно широк; моего света мало, чтобы заиграли

все грани его души. Дружба почти не знает ревности. Двое друзей счастливы, что нашли третьего, трое — что нашли четвертого, если он действительно друг. Они рады ему, как рады пришельцу блаженные души у Данте [34]. Конечно, похожих людей немного (не говоря уже о том, что на земле нет таких больших комнат), но в идеале дружба может соединять сколько угодно друзей. Этим она «близка по сходству» к раю, где каждый видит Бога по-своему и сообщает о том всем другим. Серафимы у Исайи взывают *друг к другу:* «Свят, свят, свят!..» (Ис. 6, 3). Дружба — умножение хлебов; чем больше съешь, тем больше останется.

Вот почему нынешняя теория не выдерживает никакой критики. Дружба и противоестественная влюбленность, конечно, соединялись, особенно в некоторых культурах, в определенное время. Но где это было, там было, как вообще бывает соединение дружбы с влюбленностью. Примысливать же это не нужно, нельзя. Слезы, объятия и поцелуи ни о чем подобном не свидетельствуют. Если мы будем их так воспринимать, получится очень уж нелепо. Подумать смешно, что Джонсон, обнимающий Босуэлла [35],— педераст. Если вы можете в это поверить, вы во что угодно поверите. Объяснить надо не то, что наши предки обнимались, а то, что мы теперь не обнимаемся. Мы, а не они нарушили традицию.

Я говорил, что без дружбы может выжить и человек, и общество. Но есть другое явление, обществу необходимое, и его часто путают с дружбой. Это еще не дружба, а как бы ее заготовка.

В первобытных сообществах охотники должны действовать вместе, а женщины должны рожать и воспитывать детей. Без этого племя погибнет. Задолго до начала истории мы, мужчины, собирались отдельно от женщин. Нам надо было потолковать о наших общих делах. Мы думали, как что сделать, мы обсуждали сделанное, высмеивали трусов, хвалили храбрецов. Нам очень нравилось быть вместе; мы, смельчаки, мы, охотники, знали то, чего женщины не знают, а шуток наших они и понять не могли. Вероятно, все это было связано с религией и ритуалом.

А что же делали в это время женщины? Не знаю. Откуда мне знать? Наверное, свои ритуалы были и у них. Когда земледелием ведали они, им тоже приходилось вместе толковать о деле. Мне кажется, мир их не был начисто женским, с ними были дети, а может, и старики. Все это догадки. Я могу воссоздать предысторию дружбы только по мужской линии.

Этот прообраз дружбы я назову приятельством, хотя его много чаще дружбой и зовут. Говоря о своих друзьях, люди сплошь и рядом имеют в виду приятелей. Я ничуть не хочу умалить этот вид человеческой связи. Мы не умаляем серебро, отличая его от золота.

Дружба родится из приятельства, когда двое или трое заметят, что они что-то понимают одинаково. Раньше каждый из них думал, что только он это понял. Дружба начинается с вопроса:

«Как, и ты это знаешь? А я думал, я один...» Можно представить себе, что среди первобытных охотников раз в сто лет или раз в тысячу какие-то люди открывали что-нибудь новое. Они видели вдруг, что олень не только съедобен, но и прекрасен; что охотиться весело, а не только нужно; что боги святы, а не только сильны. Но пока человек знал это один, он умирал, не породив ни искусства, ни спорта, ни духовной веры. Когда же двое находили друг друга и с превеликим трудом рассказывали о своих открытиях, рождалась дружба, а вместе с ней — искусство, спорт или вера. И тут же друзья оказывались в полном одиночестве.

Влюбленные ищут уединения. Друзьям его искать не надо, они и так отделены стеной от толпы. Они бы рады сломать эту стену, они рады найти третьего, но находят его не всегда.

В наше время дружба возникает так же. Конечно, в приятельстве нас объединяет не насущная для жизни охота, а университет, служба, клуб, полк. Все, кто окружает нас,— наши приятели. Те, кто разделяет с нами что-то свое, особенное,— наши друзья. Как говорил Эмерсон, в этом виде любви вопрос: «Ты меня любишь?»— значит: «Ты видишь ту же самую истину?» или хотя бы: «Важна тебе та же истина?» [36] Человек, понимающий, как и мы, что какой-то вопрос важен, может стать нам другом, даже если он иначе ответит на него. Вот почему трогательные люди, которые хотят «завести друзей», их никогда не заведут. Дружба возможна только тогда, когда нам что-то важнее дружбы. Если человек ответит на тот вопрос: «Да плевал я на истину! Мне друг нужен», он может добиться только привязанности. Здесь «не о чем дружить», а дружба всегда «о чем-то», хотя бы это было домино или интерес к белым мышам.

Если друзья, нашедшие друг друга, разного пола, к дружбе их очень быстро, иногда в первые же полчаса, присоединяется влюбленность. Вообще, если они не противны один другому физически или не любят уже кого-то, они непременно друг в друга влюбятся. И наоборот, влюбленные могут подружиться. Но и в том, и в другом случае это только четче очертит разные виды любви. Когда возлюбленная становится другом, мы никак не захотим разделить ее влюбленность с кем-то третьим, но дружбу ее разделить мы только рады. Влюбленный только рад, если его подруга способна в самом глубоком и истинном смысле войти в круг его друзей.

Сосуществование дружбы и влюбленности поможет вам понять, что и дружба — великая любовь. Представим себе, что мы женились на женщине, которая может стать нам настоящим другом. Теперь предположим, что нам сказали: «Влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда будете вместе искать Бога, истину, красоту. Если же это вам не нравится, вы будете всегда влюблены друг в друга, но друзьями не станете. Или то, или это. Выбирайте». Что мы выберем? О каком выборе не пожалеем?

Я подчеркиваю, что дружба — не нужна; об этом надо поговорить подробней.

Мне скажут, что дружба очень нужна обществу. Великие религии начинались в узком кругу друзей. Математика возникла, когда несколько друзей в Греции стали беседовать о числах, линиях и углах. Наше Королевское общество было маленькой группой джентльменов, собиравшихся в свободное время потолковать о никому, кроме них, не интересных вещах. Романтизм действительно был Уордсвортом и Колриджем, которые (особенно Колридж) без умолку говорили о своем, особом ви́дении мира. Возрождение, Реформация, борьба против рабства, коммунизм, методизм начались, в сущности, так же.

Значит, дружба пользу приносит. Но почти каждый читатель что-то одобрит из моего списка, что-то осудит. В лучшем случае список этот показывает, что дружба может приносить обществу и пользу, и вред. Да и помогает она обществу не выжить, а «жить хорошо», как называл это Аристотель. Иногда эти виды пользы совпадают, но бывает это редко. Кроме того, дружба о пользе не думает, польза для нее — отход производства. Религии, которые по замыслу должны служить обществу, например почитание императора в Риме или нынешнее торговое христианство, ничего не дают. Несколько друзей, отвернувшихся от мира, преобразуют мир. Математика Египта и Вавилона служила обществу, земледелию, астрологии. Но для нас гораздо важнее математика греческая, которой занимались на досуге несколько друзей.

Многие скажут мне, что без дружбы не выжить человеку. Они имеют в виду не друга, а помощника, союзника. Конечно, друг, если нужно, даст нам денег, выходит нас во время болезни, защитит от врагов, поможет нашей вдове и детям. Но дружба не в этом. Это скорей помехи. В одном смысле эти дела очень важны, в другом — неважны. Они важны, ибо тот, кто их не сделает, окажется ложным другом. Они неважны, ибо роль благодетеля случайна в дружбе, даже чужда ей. Дружба совершенно свободна от «нужды, чтобы в тебе нуждались». Нам очень жаль, что представился случай оказать помощь,— ведь это значит, что друг был в беде, а теперь, ради Бога, забудем об этом и займемся чем-нибудь сто́ящим! Сама благодарность не нужна дружбе. Привычная фраза: «Да о чем тут говорить!..» — выражает наши истинные чувства. Знак истинной дружбы не в том, что друг помогает, а в том, что от этого ничего не изменится. Помощь отвлекает, мешает, на нее уходит время, которого и так всегда не хватает друзьям. У нас всего два часа, а целых двадцать минут пришлось потратить на «дело»!

Дела друзей нас не интересуют. В отличие от влюбленности дружба не пытлива. Мы заводим друга, не зная, женат ли он и где он служит. Все это — пустяки перед главным: он видит ту же истину. Среди настоящих друзей человек представляет только себя самого. Никому не важны ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но случайно. Друзья — как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба

по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем «расширенным телом», которое состоит из родных, прошлого, службы, связей. Вне дружеского круга мы не только Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник, подчиненный, сослуживец. Среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба — самую личность.

Этими обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни; она — из тех вещей, без которых не нужна жизнь.

Я говорил, что в отличие от влюбленных друзья не смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не значит, что они друг друга не видят и не любят. Дружба — та самая среда, где расцветают взаимная любовь и взаимное знание. Мы никого не знаем так хорошо, как друзей. Каждый шаг на совместном пути поверяет дружбу, и поверка эта нам понятна, она осознанна, мы в ней участвуем. Наше почтение друг к другу преображается, когда придет час, в исключительно зрячую и крепкую любовь-восхищение. Если бы мы с самого начала больше глядели на человека, меньше — на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем поэта, мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им, как возлюбленной. Лучше читать вместе с ним, спорить с ним, сражаться, молиться.

Любовь-оценка в дружбе исключительно сильна. Среди настоящих друзей каждый нередко чувствует себя недостойным, удивляется, что он нужен, смиренно радуется, что его приняли. Поистине, прекрасны часы, когда четыре или пять человек пришли под вечер в свой кабачок или сидят дома, у огня. Вино — под рукой, все открыто уму, обязанностей нет, все равны и свободны, словно сегодня познакомились, хотя, быть может, многолетняя привязанность, кроме дружбы, соединяет нас. У земной жизни нет лучшего дара. Кто заслужил его?

Из всего, о чем мы говорили, ясно, что во многих обществах, во многие эпохи мужчины дружили с мужчинами, женщины — с женщинами. У них не было общего дела, без которого нет приятельства, порождающего дружбу. Многие мужчины работали, а женщины — нет; иногда они выполняли разную работу. Но, конечно, там, где у них работа общая, они легко вступают в дружбу — скажем, среди преподавателей, среди писателей, среди актеров. Правда, кто-то из друзей может принять эту дружбу за влюбленность, а тогда бывает очень тяжело. Могут друзья и действительно влюбиться друг в друга, один вид любви превратится в другой. Но это, повторяю, разные виды любви, иначе мы не употребили бы здесь слов «принять» и «превратиться».

Нашему обществу не повезло. Мир, где мужчины и женщины общим делом не связаны, живет неплохо: мужчины дружат друг

с другом и очень этому рады, а женщины рады своим, женским дружбам. Мир, где у мужчин и женщин — общее дело, тоже хорошо живет. Но мы сидим между двух стульев. Считается, что дело это есть, а оно есть не везде. Например, в фешенебельных предместьях его ни в коей мере нет. Мужчины «делают деньги», а женщины на досуге предаются «жизни духа»; или, наоборот, мужчины занимаются наукой, правом, искусством, а женщины — как дети среди взрослых. Ни там, ни там дружбы не получится. В этом ничего страшного не было бы, если бы это поняли и приняли. Но в наши дни все наслышаны о разнополой дружбе и от других отстать не хотят. Вот и выходит, что изысканная жена, словно гувернантка, вечно воспитывает мужа. Она таскает его на концерты и приглашает «умных людей». Чаще всего это приносит удивительно мало вреда. У мужчины средних лет — огромный запас сопротивляемости и (знали бы это женщины!) снисходительной терпимости: «А, все они чудят!..» Гораздо хуже, когда мужчины культурнее женщин, а женщины ни за что не хотят этого признать.

Получается нечто жалкое, фальшивое и трудоемкое. Все делают вид, что женщины действительно на равных с друзьями-мужчинами. Теперь женщины курят и пьют (что само по себе не очень важно), и простым душам кажется, что они уже совсем как мужчины. Бедным мужчинам не дают собраться одним. Мужчины умеют жить чистой мыслью. Они знают, что такое спор, пример, доказательство. Женщина, с грехом пополам окончившая школу и сразу все забывшая, женщина, читающая только журналы мод и умеющая не беседовать, а рассказывать, в круг мыслящих мужчин войти не может. Конечно, она может сидеть в той же комнате. Если мужчины забудут о ней, захваченные спором, она промолчит и промается весь вечер, слушая бессмысленные для нее фразы. Если мужчины достаточно учтивы, они попытаются втянуть ее в разговор. Они станут разжевывать все для нее, привнесут какой-то смысл в ее жалкие реплики. Вскоре все выбьются из сил, и вместо доброго спора получится смесь сплетен, шуток и анекдотов. Научившись пить, курить и ругаться, женщина приблизилась к мужчинам не больше, чем ее бабушка. Просто бабушка была умней и счастливей — она по-женски беседовала дома с подругами и, наверное, блистала при этом очарованием, остроумием и здравомыслием. Внучка могла бы с успехом делать то же самое. Она ничуть не глупее мужчин, которым она испортила вечер. Ей просто неинтересно то, что их занимает; а все мы тупеем, когда пытаемся судить о безразличных для нас вещах.

Навредили такие женщины очень сильно. Отчасти из-за них и увядает мужская дружба и даже мужское приятельство. Чаще всего вредят они бессознательно. Однако есть и особенно воинственные дамы, которые к этому стремятся. Я слышал, как одна из них говорила: «Никогда не давайте мужчинам заговорить друг с другом. Они начнут что-нибудь обсуждать, и будет очень

скучно». Видите, как просто? Болтать можно, а обсуждать «что-нибудь» нельзя.

Осознанное наступление на дружбу ведется и на более высоком уровне: есть женщины, которые относятся к ней со злобой, завистью и страхом. Они считают ее заклятой врагиней любви, под которой чаще понимают привязанность, чем влюбленность. Такая женщина перессорит мужа с друзьями или, еще лучше, с их женами. Она будет лгать, клеветать, не догадываясь о том, что после такой обработки муж ее заметно упадет в цене. Когда она заметит, что он уже, в сущности, не мужчина, она сама начнет его стыдиться. Кроме того, она забывает, что он большую часть времени проводит там, где за ним не присмотришь. Возникнут новые дружбы, тайные. Ее счастье, если не появятся и другие тайны, уже не связанные с мужскими беседами.

Все это, конечно, женщины глупые. Умные уйдут в другой угол, чтобы говорить о своем и смеяться над нами. Это хорошо. Там, где мужчин и женщин соединяет не общее дело, а привязанность и влюбленность, они должны остро ощущать нелепость другого пола. Да это и вообще полезно. Другой пол (как и детей, и животных) не оценишь толком, не смеясь над ним. Мы, люди, трагикомичны; разделение на два пола помогает мужчинам увидеть в женщинах, женщинам — в мужчинах то, чего они не видят в себе самих: как нелепы они и как достойны жалости.

Итак, дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине. Она — чисто духовна. Наверное, именно такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может, среди естественных видов любви мы нашли Любовь?

Прежде чем делать такие выводы, присмотримся к слову «духовный». В Новом завете это слово много раз означает «причастный Святому Духу», и, конечно, в этих случаях ничего плохого в нем нет. Но когда понятие это противопоставляется «телесному» или «животному», дело обстоит иначе. Есть духовное благо, есть духовное зло. Есть святые, есть и падшие ангелы. Худшие наши грехи — духовные. Дружба духовна; но нельзя забывать о трех обстоятельствах.

Во-первых, как мы уже говорили, начальство дружбы боится. Быть может, это несправедливо; быть может, есть к тому и поводы.

Во-вторых, почти каждый дружеский круг не вызывает особого восхищения; в лучшем случае его окрестят кружком, в худшем — шайкой, кликой, камарильей. Те, кто знает по опыту только привязанность, приятельство и влюбленность, подозревают членов такого кружка в зазнайстве. Конечно, это голос зависти. Но зависть прозорлива, и к голосу ее мы должны прислушиваться.

Наконец, в Писании любовь между Богом и человеком редко уподобляется дружбе. Конечно, слова о «друзьях» есть; но гораздо чаще, подыскивая образ для самой высокой любви,

Писание как бы не замечает этой ангельской связи личностей и погружается в глубины несравненно более естественных, связанных с инстинктом союзов: привязанности (Бог — наш Отец) и влюбленности (Христос — Жених Церкви).

Начнем с первого обстоятельства. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже? А я думал, я один...» Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру; могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта! Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу.

Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса — нет, в десять минут — взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили «равные нам» [37]. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы — боимся. Крохотные общины первых христиан выжили потому, что были глухи к голосу «мира сего». Но преступники, маньяки, педерасты выживают по той же самой причине: они не слышат «внешних» — этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное.

Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба — предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости; бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса; бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру — или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все — соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства.

И все же опасности эти реальны. Дружба — школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого — хуже. Как и всякая естественная любовь, она страдает склонностью к определенной болезни.

Всякой дружбе — и доброй, и дурной, и просто безвредной — присуща глухота. Даже филателисты резонно не считаются со всеми, кто находит их занятие пустой тратой времени или ничего о нем не знает. Основатели метеорологии резонно не считались с теми, кто думал, что буря — порождение ведовства. Тут ничего плохого нет. Я — вне круга игроков в гольф, математиков или мотоциклистов, и они вправе считать меня чужаком. Тем, кто

скучен друг другу, незачем часто видеться; тем, кто друг другу интересен, видеться надо часто.

Плохо другое: частичная и резонная глухота к чужому мнению может переродиться в глухоту полную и необоснованную. Самый наглядный тому пример — не дружеский круг, а правящий класс. Мы знаем, что́ во времена Христа думали священнослужители о мирянах. Рыцари в хрониках Фруассара [38] не испытывали ни любви, ни милости к простому люду. В своем кругу у них были на редкость высокие понятия о чести, великодушии и учтивости. Осмотрительному и своекорыстному крестьянину эти понятия показались бы просто глупыми. Рыцари с его мнением не считались, а если бы посчитались — у нас самих теперь было бы гораздо меньше чести и учтивости. Но презрение к чужому взгляду даром не проходит. Тому, кто не слышал крестьянина, высмеивавшего честь, было легче не услышать его, когда он взывал к милости. Неполная глухота, даже если она благородна, помогает обрести глухоту полную, которая неизбежно пропитана злобой и гордыней.

Конечно, дружеский круг — не класс и поработить мир не может. Но закон в нем действует тот же самый. Друзья могут окружить себя стеной пустоты, которую не пробьет никакой призыв. Писатели или художники, не считавшиеся поначалу с примитивными взглядами простых людей на литературу и живопись, могут потом не считаться и с другими их взглядами — что надо платить долги, стричь ногти и вести себя вежливо. Любые недостатки дружеского круга (а они есть у всякого) могут стать неизлечимыми. И это не все. Поначалу глухота основана на каком-то реальном превосходстве, потом она сама порождает чувство превосходства вообще. Круг презирает и знать не хочет «внешних». Он и впрямь становится классом, самозваной аристократией.

Мы видели, что друг нередко чувствует себя недостойным своих друзей. Он знает, как они блестящи, и счастлив, что они его приняли. Но, как ни жаль, «они» здесь — это и «мы». Очень легко перейти от личной скромности к гордыне избранного круга.

Я имею в виду не снобизм. Сноб хочет присоединиться к кругу, который уже считают элитой; друзьям грозит опасность счесть элитой самих себя. Читатель, знающий дружбу, станет пылко заверять, что его круг миновала такая опасность. Кажется так и мне. Но лучше не полагаться на свое суждение. Во всяком случае, тенденция эта, несомненно, есть у всех, кто *нас* называет чужаками.

Однажды два священника заговорили при мне о «нетварных энергиях», которые, как оказалось, не Бог. Я спросил: «Разве может быть что-то нетварное, кроме Бога, ведь в Символе веры говорится, что Он — «творец всего видимого и невидимого»?» Они переглянулись и засмеялись. Я не обиделся, но все же хотел ответа. Смеялись они не высокомерно. Так смеются взрослые, когда ребенок спросит то, о чем не спрашивают. Быть может, ответ у них был, но они знали, что мне его не понять. Если бы они так

и сказали, я не обвинял бы их в гордыне круга. Взгляд их и смех воплотили самую ее суть. Она и не думает оскорбить. Собственное превосходство так ясно, что можно позволить себе терпимость, вежливость и олимпийское спокойствие.

Гордыня эта, однако, может не только вознести на спокойную высоту Олимпа, но и уподобить нас мятежным титанам. Как-то раз, когда студенты (вполне обоснованно) ругали мою статью, один из них, упорный, как грызун, вел себя так, что мне пришлось сказать: «За последние пять минут вы дважды обвинили меня во лжи. Если вы не можете спорить иначе, я уйду». Я думал, он или взорвется, или попросит прощения. Как ни странно, он не сделал ни того, ни другого. Он продолжил выражаться в том же духе. Нас явно разделял железный занавес. Студент этот не мог вступить ни в какой личный контакт — ни во вражеский, ни в дружеский — с такими, как я. Почти несомненно, за этим стоял какой-нибудь замкнутый круг. Для него мы не люди, а образчики возраста, типа, круга, с которым давно пора покончить. Общаясь с нами, он, в сущности, с нами не общался, он делал дело, распылял дуст (я сам слышал, как один из них употребил этот образ).

Два милых священника и не особенно милый грызун были очень образованны, как и те, кто при Эдуарде [39] прямо называли себя «избранными». Но гордыня круга может поразить и вполне обычных людей, и выражаться тогда она будет гораздо грубее. Все мы видели, как говорят мальчишки в школе с «новеньким» или старые друзья в кабаке — при случайном посетителе. Они всячески показывают, что ему их не понять. В сущности, дружба может стоять на этом одном. При чужаке с наслаждением, как бы походя, называют отсутствующих, чтобы он не знал, о ком идет речь. Как-то мне повстречался человек, который так и сыпал неведомыми именами. «Ричард Баттон мне сказал...» — начинал он фразу. Мы по молодости не смели выдать ни ему, ни друг другу, что никогда не слышали о Ричарде Баттоне. Много позже мы узнали, что он был никому из нас не известен. (Я даже подозреваю, что ни Ричард Баттон, ни Езекия Кромвеллс, ни Элинор Форсайт вообще не жили на свете. А мы целый год ходили пришибленные.)

И олимпийскую, и мятежную, и пошлую гордыню круга найти нетрудно. Опрометчиво счесть, что наш собственный круг ее лишен. Опасность эта почти неотделима от дружеской любви. Быть может, мы не станем ни бунтарями-титанами, ни простыми хамами; мы станем «избранными». Общность, соединившая нас, исчезнет, и мы будем «кругом ради круга», самозваной (а потому нелепой) аристократией.

Иногда такой круг начинает набирать рекрутов. Он принимает уже не тех, кто видел ту же истину, а «понимающих людей». Участие в нем дает какие-то выгоды, хотя бы на уровне полка, школы или причта. Члены его помогают своим и вместе борются с чужими; беседы о Боге или о стихах сменяются деловыми переговора-

ми. Это справедливо. «Прах ты, и в прах возвратишься»,— сказал Бог Адаму [40]. Дружба, лишенная своей души, извратилась в приятельство. Круг уподобился первобытным охотникам. Они и есть охотники; но не самые достойные.

Толпа никогда не бывает совершенно права; не бывает она и совершенно не права. Совсем неверно, что люди вступают в дружбу только спеси ради. Но спесь действительно угрожает всякой дружбе. Самая духовная любовь подвержена духовной опасности. Если хотите, дружба уподобляет нас ангелам; но для того, чтобы вкушать ангельский хлеб, человеку нужен тройной покров смирения.

Быть может, сейчас мы догадаемся, почему Писание так редко пользуется образом дружбы. Она слишком духовна, чтобы стать символом духовного. Высшее не стоит без низшего. Господь может смело называть Себя Отцом и Женихом — ведь только сумасшедший подумает, что Он действительно зачал нас или физически вступил в брак с Церковью. Слово «друг» мы способны понять не как символ, а как самую истину, и оно станет особенно опасным. Мы получим право принять близость дружбы «по сходству» к жизни в Боге за истинную, настоящую близость.

Таким образом, дружба, как и всякая естественная любовь, не может сама себя спасти. Она духовна, враг ее тоньше, и потому она особенно сильно должна взывать к небесной защите, если хочет остаться безгрешной. Смотрите, как узка ее тропа. Дружба не должна стать «обществом взаимного восхищения»; но без взаимного восхищения она не может жить. Друзья восхищаются друг другом, как восхитились друг другом Христиана и ее подруга в «Пути паломника» [41], когда омылись и облеклись в чистые одежды: «Они благоговейно страшились друг друга, ибо не видели своего сияния, но видели его у другой. Теперь они почитали друг друга более, чем себя. «Ты красивей меня»,— говорила одна. «А ты лучше меня»,— говорила другая». Опасность минует нас, если мы будем помнить об омовении и чистых одеждах. Чем выше основа нашей дружбы, тем тверже должны мы это помнить. Если дружба основана на вере, гибель ее будет ужасна.

Нам покажется, что мы — четверо или пятеро — выбрали друг друга, потому что умным оком проникли в сокровенную красоту другого; что мы сами, по своей воле, стали особым, высшим классом, поднялись своими силами над прочими людьми. Ни привязанность, ни влюбленность такой иллюзии не порождают. В привязанности выбираем не мы. Что же до влюбленности, половина любовных стихов и песен расскажет нам, что возлюбленная — наш рок, наша судьба и любовь к ней не больше зависит от нашего выбора, чем удар молнии. Стрелы Амура, гены, что хотите, только не мы. В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут замешана масса случайностей. Родись мы раньше, живи дольше, не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: «Не вы избрали друг

друга, но Я избрал вас друг для друга»[42]. Дружба — не награда за ум или вкус, а орудие Божие; с ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота эта — от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы созывает наших гостей и, посмеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так быть должно. Не будем же ничего решать без Хозяина.

Речь не о том, чтобы дружить торжественно. Упаси нас от этого Господь, творец доброго смеха! Среди прекрасных и трудных тонкостей жизни есть и такая: надо очень серьезно относиться к некоторым вещам и принимать их легко, как игру. Но об этом мы поговорим в следующей главе. А пока приведу лишь дивно уравновешенный совет Денбара [43]:

Хвалите Бога всем на радость,
На мир же сей не полагайтесь.

V. ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Многие, наверное, удивились, когда я назвал привязанность тем видом любви, который уподобляет нас животным. Как же так? Разве половое влечение — не лучший пример? Лучший, конечно; но я говорю о *любви*. Половое влечение интересует нас сейчас в той мере, в какой оно входит в сложное чувство, именуемое влюбленностью. Может оно и не входить; что во влюбленности много другого, я и доказывать не стану. Половое чувство без влюбленности назовем, по старому обычаю, вожделением. Под ним мы будем понимать не какие-то неосознанные импульсы, а самое простое, явное влечение, которое не скрыто от тех, кто его испытывает.

Итак, вожделение может входить во влюбленность, может и не входить. Спешу заверить, что я различаю их для четкости исследования, а не из нравственных соображений. Я не считаю, что без влюбленности соитие нечисто, низко, постыдно. Если все, кто совокупляются без влюбленности, гнусны и ужасны, происхождением мы похвастаться не можем. На свете всегда было гораздо больше таких союзов. Почти всех наших предков женили родители, и они зачинали детей, повинуясь только животному желанию. И ничего низкого тут не было, а были послушание, честность, верность и страх Божий. При самой же сильной, самой высокой влюбленности соитие может быть прелюбодейным, может означать жестокость, ложь, измену мужу или другу, нарушение гостеприимства, горе для детей. Бог не хочет, чтобы различие между грехом и долгом зависело от оттенков чувства. Как и всякое действие, соитие оправдывается или осуждается четче и проще. Все дело в том, выполняем мы или нарушаем обещанное, добры мы или жестоки, правдивы или лживы. Я вывожу вожделение без влюбленности за пределы исследования просто потому, что оно не входит в наш предмет.

Для поборника эволюции влюбленность — плод вожделения, развитие и усложнение биологических инстинктов. Так бывает, но далеко не всегда. Гораздо чаще мы поначалу просто очарованы женщиной, нас интересует в ней все, у нас и времени нет помыслить о вожделении. Если нас спросят, чего мы хотим, мы должны бы ответить: «Думать о ней и думать». Любовь наша созерцательна. Когда же со временем проклюнется страсть, мы не решим (если наука не собьет нас с толку), что в ней-то и было все дело. Скорее мы почувствуем, что прилив любви, который смыл и разрушил в нас много скал и замков, добрался и до этой лужицы, всегда бывшей на берегу. Влюбленность вступает в человека, словно завоеватель, и переделывает по-своему все взятые земли. До земли полового влечения она доходит не сразу; и переделывает ее.

Лучше всего об этом сказал Джордж Оруэлл. Ужасный герой «1984», гораздо менее похожий на человека, чем герои замечательного «Скотного двора», говорит женщине: «Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще?»[44] Вожделение без влюбленности стремится к соитию, влюбленность — к самому человеку.

Как неудачна фраза: «Ему нужна женщина!» Строго говоря, именно женщина ему не нужна. Ему нужно удовольствие, мало возможное без женщины. О том, как он ее ценит, можно судить по его поведению через пять минут. Влюбленному же нужна даже не женщина вообще, а именно эта женщина. Ему нужна его возлюбленная, а не наслаждение, которое она может дать. Никто не прикидывает в уме, что объятия любимой женщины приятнее всех прочих. Если мы об этом подумаем, мы с этим согласимся; но выйдем за пределы влюбленности. Я знаю только одного человека, совершившего такой подсчет,— Лукреция, и влюблен он при этом не был. А ответил он так: влюбленность мешает наслаждению, чувства отвлекают, труднее со знанием дела смаковать удовольствие [45] (поэт он хороший, но, «О, Боже, что же это за народ!»).

Читатель заметит, что влюбленность чудотворно преображает удовольствие-нужду в высшее из всех удовольствий-оценок. Нужда направлена здесь на всего человека, и ценность его выходит далеко за пределы нужды.

Если бы мы этого не испытали, если бы мы судили со стороны, мы бы просто не поняли, как можно желать человека, а не удовольствие, удобство, пользу, которые он способен дать. Действительно, объяснить это трудно. Влюбленному повульгарней это кое-как удается, когда он говорит: «Я бы тебя съел!..» Мильтону удалось больше, когда он писал, что тела ангелов, состоящие из света, полностью проникают друг в друга [46]. Преуспел и Чарльз Уильямс, сказавший: «Люблю ли я тебя? Да я — это ты!»

Вожделение без влюбленности, как все желания, связано с нами. Во влюбленности оно связано скорее с возлюбленной. Оно — средство восприятия и средство выражения; потому оно так

небрежно относится к наслаждению. Мысли о наслаждении вернули бы влюбленного в себя. И потом, о чьем наслаждении речь? Влюбленность уничтожает разницу между словами «брать» и «давать».

Пока что я просто описываю, еще не оцениваю. Но неизбежно встанут и нравственные вопросы, и я не скрою, что́ думаю о них. Все дальнейшее — лишь догадки. Пусть меня поправят те, кто лучше меня жил, влюблялся и верил.

Раньше считали, и теперь считают люди попроще, что духовная опасность влюбленности — именно в вожделении. Старым богословам, видимо, казалось, что брак опасен полным и душепагубным погружением в чувственность. Писание судит об этом не так. Апостол Павел, отговаривая новообращенных от брака, ничего по этому поводу не говорит и даже советует не уклоняться надолго друг от друга (1 Кор. 7, 5). Доводы его иные: он боится, что муж станет «угождать» жене, жена — мужу. Самый брак, а не брачное ложе может отвлечь нас от христианской жизни. Я и сам знаю по опыту, что — и в браке, и вне брака — от нее сильнее всего отвлекает комариный рой каждодневных забот. Великое и постоянное искушение брака — не сладострастие, а любостяжание. Что же до влюбленности, при всем почтении к старым учителям я помню, что они — монахи и, наверное, не знали, как воздействует она на половую сферу. Влюбленность умягчает, утишает блудную страсть. Не уменьшая желания, она намного облегчает воздержание. Конечно, и само поклонение возлюбленной может стать помехой на духовном пути, но причина тому — иная.

Я скажу позже, в чем, по-моему, духовная опасность влюбленности. Сейчас поговорим об опасности, которая связана с соитием. Тут я разойдусь во мнениях не с человечеством, а с теми, кто вещает от его имени. Мне кажется, нас учат относиться к этому действию с неверной серьезностью. Чем дольше я живу, тем важнее и многозначительней взирают люди на так называемый секс.

Один молодой человек, которому я сказал, что некая новая книга — чистая порнография, искренне удивился: «Ну что вы! Она такая серьезная». Друзья наши, поклонники «темных богов», собираются восстановить в правах фаллический культ. Самые малопристойные пьесы изображают все дело как «бездну упоенья», неумолимый рок, религиозный экстаз. А психоаналитики так запугали нас бесконечной важностью физиологической совместимости, что молодые пары в кровать не лягут без трудов Фрейда, Крафта-Эбинга, Хэвлока Эллиса и д-ра Стопс [47]. Честное слово, им больше помог бы старый добрый Овидий, который замечал любую муху, но не делал из нее слона. Мы дошли до того, что нам прежде всего нужен старомодный здоровый смех.

«Как же так? — скажут мне.— Ведь это действительно серьезно». Еще бы, куда уж серьезнее! Серьезно с богословской точки зрения, ибо брачное соитие, по воле Божьей,— образ союза

между Богом и человеком. Серьезно, как естественное, природное таинство, брак неба-отца и матери-земли. Серьезно с точки зрения нравственной, ибо налагает серьезнейшие в мире обязательства. Наконец (иногда, не всегда), очень серьезно как переживание.

Но и еда серьезна. С богословской точки зрения мы вкушаем хлеб в Святом Причастии. С нравственной — мы должны кормить голодных. С социальной — стол издавна соединяет людей. С медицинской — это знают все, кто болел желудком. Однако мы не берем к обеду учебников и не ведем себя за ужином как в храме. А если уж кто-то и ведет себя так, то чревоугодник, а не святой.

Нельзя относиться с важностью к страсти, да и невозможно, для этого надо насиловать свою природу. Не случайно все языки и все литературы полны шуток на эти темы. Многие шутки пошлы, многие гнусны, и все до одной — стары. Но, смею утверждать, в них отражено то отношение к соитию, которое гораздо невинней многозначительной серьезности. Отгоните смех от брачного ложа, и оно станет алтарем. Страсть обернется ложной богиней — более ложной, чем Афродита, которая любила смех. Люди правы, ощущая, что страсть — скорее комический дух, вроде гнома или эльфа.

Если же мы этого не ощутим, она сама и отомстит нам. Отомстит сразу, ибо, как говорил сэр Томас Браун, она велит нам совершать «самое глупое действие, какое только может совершить умный человек». Если мы относились к этому действию серьезно, нам станет стыдно и даже противно, когда, по словам того же сэра Томаса, «безумие минует и мы оглянемся и увидим, как недостойно и нелепо себя вели»[48].

Но бывает месть и похуже. Страсть — насмешливое, лукавое божество, она ближе к эльфам, чем к богам. Она любит подшутить над нами. Когда наконец мы можем ей предаться, она уходит от обоих или от одного из нас. Пока влюбленные обменивались взглядами в метро, в магазине, в гостях, она бушевала во всю свою силу. И вдруг ее нет как не было. Сами знаете, сколько за этим следует досады, обиды, подозрений, жалости к себе. Но если вы ее не обожествляли, если вы относились к ней здраво, вы только посмеетесь. И это входит в игру.

Поистине, Господь шутил, когда связал такое страшное, такое высокое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем; вожделение напоминает нам, что мы — воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем не сравнимую радость.

У нас, людей, три точки зрения на наше тело. Аскеты-язычники зовут его темницей или могилой души[49], христиане вроде

Фишера [50]— пищей для червей, постыдным, грязным источником искушений для грешника и уничижением для праведника. Поклонники язычества (очень редко знающие греческий), нудисты, служители темных богов славят его вовсю. А святой Франциск называл его братом ослом. Быть может, все они в чем-то правы. Но я выбираю Франциска.

«Осел»— то самое слово. Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслужил морковку, сейчас — палку. Красота его нелепа и трогательна. Так и тело: мы не уживемся с ним, пока не поймем, что среди прочего оно состоит при нас шутом. Да это и понимают все — и мужчины, и женщины, и дети,— если их не сбили с толку теории. То, что у нас есть тело,— самая старая на свете шутка. Смерть, живопись, изучение медицины и влюбленность велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что так всегда и будет во влюбленности. На самом деле, если любовь их не кончится скоро, влюбленные снова и снова ощущают, как близко к игре, как смешно, как нелепо телесное ее выражение. Если же не чувствуют, тело их накажет. На таком громоздком инструменте не сыграешь небесной мелодии; но мы можем обыграть и полюбить саму его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии, но непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем. (В старых комических пьесах любви героя и героини вторила более земная любовь лакея и служанки, Оселка и Одри [51].)

Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличье, но часто бывает так, и потому мы не должны забывать о смехе. Когда естественное кажется божественным, бес поджидает за углом.

Отказаться от полного погружения, помнить о легкости даже тогда, когда все серьезней серьезного, особенно важно потому, что Венера в своей настойчивой силе внушает многим (надеюсь, не всем) некоторые странности. Мужчина, пусть ненадолго, может ощутить себя властелином, победителем, захватчиком, женщина — добровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве могут нормальные люди на это идти? Разве могут христиане это себе позволить?

Мне кажется, это не причинит вреда при одном условии. Мы должны помнить, что участвуем в некоем «языческом таинстве». В дружбе, как мы уже говорили, каждый представляет сам себя. Здесь мы тоже представители, но совсем иные. Через нас мужское и женское начала мира, все активное и все пассивное приходит в единение. Мужчина играет Небо-Отца, Женщина — Мать-Землю; мужчина играет форму, женщина — материю. Поймите глубоко и правильно слово «играет». Тут и речи нет о притворстве.

Мы участвуем, с одной стороны, в мистерии, с другой — в веселой шараде.

Женщина, приписавшая лично себе эту полную жертвенность, поклонится идолу — отдаст мужчине то, что принадлежит Богу. Мужчина, приписавший себе власть и силу, которой его одарили на считанные минуты, будет последним хлыщом, более того, богохульником. Но можно играть по правилам. Вне ритуала, вне шарады и женщина, и мужчина — бессмертные души, свободные граждане, просто два взрослых человека. Не думайте, что мужчина, особенно властный в соитии, властен и в жизни; скорее наоборот. В обряде же оба — бог и богиня, и равенства между ними нет, вернее, отношения их асимметричны.

Многие удивятся, что я уподобляю маскараду то, что считается самым неприкровенным, откровенным, истинным. Разве обнаженный человек не больше «похож на себя»? В определенном смысле, нет. Обнаженный — причастие прошедшего времени, результат какого-то действия. Человека облупили, как яйцо, очистили, как яблоко. Нашим предкам обнаженный представлялся ненормальным. На мужском пляже видно, что нагота стирает индивидуальное, подчеркивает общее. В этом смысле на себя похож одетый. Обнажившись, возлюбленные уже не только Петр или Анна, но Он и Она. Они облачились в наготу, как в ритуальные одежды, или обрядились в нее, как в маскарадный костюм. Напомню снова, неверная серьезность очень опасна. Небо-Отец — языческое мечтание о Том, Кто выше Зевса и мужественней мужа. Смертный человек не вправе всерьез носить Его корону, он надевает ее подобие из фольги. В моих словах нет пренебрежения. Я люблю ритуал, люблю домашний театр, люблю и шарады. Игрушечные короны в своем контексте серьезны. Они ничем не хуже земных знаков величия.

Языческое таинство нельзя и опасно смешивать с таинством неизмеримо высшим. Природа венчает нас на этот недолгий срок; Божий Закон венчает навсегда, препоручая нам особую власть. К языческому таинству мы склонны относиться с неверной серьезностью, к христианскому — с пагубной легкостью. Религиозные писатели (особенно Мильтон) иногда говорят о власти мужа с таким удовольствием, что страшно становится. Но откроем Писание. Муж — глава жене ровно в той мере, в какой Христос — глава Церкви, а Христос *«предал Себя за нее»* (Еф. 5, 25). Тем самым, главенство это воплощено всего лучше не в счастливом браке, а в браке крестном — там, где жена много берет и мало дает, где она недостойна мужа, где ее очень трудно любить. У Церкви лишь та красота, которую даровал ей Жених; Он не находит красавицу, а создает ее. Мйро, которым помазали мужа на царство,— не радости, а горести; болезни и печали доброй жены, эгоизм и лживость дурной, нетленная и скрытая забота, неистощимое прощение (прощение, не попустительство!). Христос провидит в гордой, слабой, ханжеской, фанатичной, теплохладной Церкви Невесту, которая предстанет перед Ним без

пятна и порока, и неустанно трудится, чтобы ее к этому приблизить. Так и муж, уподобивший себя Христу; а иное нам не дозволено. Христианский муж — король Кофетуа, который и через двадцать лет все надеется, что жена его станет говорить правду и мыть за ушами [52].

Я ни в какой мере не считаю, что мудро или добродетельно желать несчастного брака. В самозваном мученичестве нет ни мудрости, ни добра; но именно мученик полнее всех уподобится Спасителю. В мученическом браке, если уж он случился и если муж его вынес, главенство мужа ближе всего к главенству Христа.

Самая рьяная феминистка не вправе завидовать моему полу ни в языческом, ни в христианском таинстве. Первое венчает нас бумажной короной, второе — терновым венцом. Опасность не в том, что мы обрадуемся терниям, а в том, что мы уступим их жене.

Вернемся от вожделения к самой влюбленности. Здесь все очень похоже. Как вожделение влюбленных не стремится к наслаждению, так влюбленность во всей своей полноте не стремится к счастью. Всякий знает, что бесполезно пугать несчастиями людей, которых мы хотим разлучить. Они не поверят нам, но не в этом дело. Вернейший знак влюбленности в том, что человек предпочитает несчастье вместе с возлюбленной любому счастью без нее. Даже если влюбились люди немолодые, которые знают, что разбитое сердце склеивается, они ни за что не хотят пройти через горе расставания. Все эти расчеты недостойны влюбленности, как холодный и низменный расчет Лукреция недостоин вожделения. Когда самим влюбленным ясно, что союз их принесет одни мучения, влюбленность твердо отвечает: «Все лучше разлуки». Если же мы так не ответим, мы не влюблены.

В этом — и величие, и ужас любви. Но рядом с величием и ужасом идет веселая легкость. Влюбленность, как и соитие,— вечный предмет шуток. Когда у влюбленных все так плохо, что, глядя на них, плачешь — в нищете, в больнице, на тюремном свидании,— веселье их поражает нас и трогает так, что это невозможно вынести. Неверно думать, что насмешка всегда враждебна. Если у влюбленных нет ребенка, над которым можно подшучивать, они вечно подшучивают друг над другом.

Влюбленность не ищет своего, не ищет земного счастья, выводит за пределы самости. Она похожа на весть из вечного мира.

И все же она — не Любовь. Во всем своем величии и самоотречении она может привести и ко злу. Мы ошибаемся, думая, что к греху ведет бездуховное, низменное чувство. К жестокости, неправде, самоубийству и убийству ведет не преходящая похоть, а высокая, истинная влюбленность, искренняя и жертвенная свыше всякой меры.

Некоторые мыслители полагали, что голос влюбленности запределен и веления ее абсолютны. Согласно Платону, влюбившись, мы узнаем друг в друге души, предназначенные одна для другой

до нашего рождения [53]. Как миф, выражающий чувства влюбленных, это прекрасно и точно. Если же мы примем это буквально, возникнут затруднения. Придется вывести, что в том мире дела идут не лучше, чем в этом. Ведь влюбленность нередко соединяет совершенно неподходящих людей. Многие заведомо несчастные браки были браками по любви.

В наши дни больше любят теорию, которую я назвал бы романтической, а поборник ее Бернард Шоу называл «метабиологической». Оказывается, устами влюбленности глаголет не потусторонний мир, а «elan vital»[54], «жизненная сила», некий «импульс эволюции». Настигая ту или иную пару, влюбленность подыскивает предков для сверхчеловека. И счастье, и нравственность — ничто перед будущим совершенством вида. Если бы это было так, я не понимаю, зачем нам повиноваться. Все описания сверхчеловека столь отвратительны, что в монахи пойдешь, лишь бы его не зачать. Кроме того, если верить этой теории, получается, что «жизненная сила» плохо знает свое дело. Сильная влюбленность ни в коей мере не обеспечивает высокосортного потомства и потомства вообще. Чтобы ребенок был хорош, нужны не влюбленные, а хорошие «производители». И потом, что эта сила делала столько столетий, когда деторождение зависело чаще всего от сватовства, набегов и рабства? Быть может, ей лишь в наши дни захотелось улучшить вид?

Ни Платон, ни Шоу христианину тут не помогут. Мы не поклоняемся «жизненной силе» и ничего не знаем о том, что было с нами до рождения. Когда влюбленность говорит как власть имеющий, мы не обязаны ее слушаться. Конечно, она божественна по сходству, но не по близости. Если мы не пожертвуем ради нее ни любовью к Богу, ни милосердием, она может приблизить нас к Царствию. Ее полное самоотречение — модель, заготовка любви, которой мы должны любить Бога и человека. Природа помогает нам понять, что такое «слава»; влюбленность помогает понять, что такое любовь. Христос говорит нам ее устами: «Вот так — так радостно, так бескорыстно ты должен любить Меня и меньшего из братьев Моих»[55]. Конечно, это не значит, что всякий обязан влюбиться. Некоторые должны пожертвовать влюбленностью (но не презирать ее). Другие вправе ее использовать как горючее для брака. В самом браке ею одной не обойдешься, да и выживет она лишь в том случае, если мы будем непрестанно очищать и оберегать ее.

Если же мы поклонимся ей безусловно, она станет бесом. А она как раз и требует безусловного подчинения и поклонения. Она по-ангельски не слышит зова самости, по-бесовски не слышит ни Бога, ни ближнего. Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью [56]. Сейчас я знаю, что влюбленность требует культа по самой своей природе. Из всех видов любви она, на высотах своих, больше всего похожа на Бога и всегда стремится превратить нас в своих служителей.

Богословы часто опасались, что этот вид любви приведет к идолослужению; кажется, они имели в виду, что влюбленные обоготворят друг друга. Но бояться надо не этого. В браке это вообще исключено: прекрасная простота и домашняя деловитость супружеской жизни обращают такой культ в явную нелепость. Мешает ему и привязанность, в которую неизбежно облечется влюбленность мужа и жены. Но и вне брака человек, знающий или хотя бы смутно понимающий тягу к запредельному, вряд ли вознадеется удовлетворить ее с помощью одной лишь возлюбленной. Возлюбленная может ему помочь, если она стремится к тому же, то есть если она друг; но просто смешно (простите за грубость) воздавать божеские почести ей самой. Настоящая опасность не в этом, а в том, что влюбленные начнут поклоняться влюбленности.

Посмотрите, как неверно понимают слова Спасителя: «...прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7, 47). Из контекста, а особенно из притчи о должниках явствует, что речь идет об ее любви к Христу, простившему ей много грехов. Но обычно понимают не так. Сперва решают почему-то, что грешила она именно против целомудрия, а потом — что Христос простил ей разврат, потому что она была сильно влюблена. Получается, что великий Эрос смывает любое зло, порожденное им самим.

Когда влюбленные говорят: «Мы это сделали ради любви», прислушайтесь к их тону. «Я это сделал из трусости» или «...со зла» произносят совсем иначе. Заметьте, как гордо, почти благоговейно они выговаривают слово «любовь». Они не ссылаются на смягчающие обстоятельства, а взывают к высшему авторитету. Это не покаяние, а похвальба, иногда вызов.

Далила у Мильтона говорит, что права перед законом любви [57]. В этом вся суть: у любви свой закон. Неповиновение ему — отступничество, греховное искушение — глас Божий. Влюбленные обрастают своей, особой религией. Бенжамен Констан [58] заметил, что за несколько недель у них создается общее прошлое, к которому они благоговейно обращаются, как псалмопевец к истории Израиля. Это их Ветхий завет, память о милостях к избранникам, приведшим их в обетованную землю. Есть у них и Новый завет. Теперь, соединившись, они уже под благодатью, закон им не писан.

Это оправдывает все, что бы они ни сделали. Я имею в виду не только и не столько грехи против целомудрия, сколько несправедливость и жестокость к «внешним». Влюбленные могут сказать: «Ради любви я обижаю родителей — оставляю детей — обманываю друга — отказываю ближнему». Все это оправдано законом любви. Влюбленные даже гордятся. Что дороже совести? А они принесли ее на алтарь своего бога.

Тем временем бог этот мрачно шутит. Влюбленность — самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного

не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать. «Навсегда» — чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе. Никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что «вот это — настоящее!».

И они правы. Влюбившись, мы вправе отвергать намеки на тленность наших чувств. Одним прыжком преодолела любовь высокую стену самости, пропитала альтруизмом похоть, презрела бренное земное счастье. Без всяких усилий мы выполнили заповедь о ближнем, правда, по отношению к одному человеку. Если мы ведем себя правильно, мы провидим и как бы репетируем такую любовь ко всем. Лишиться всего этого поистине страшно, как выйти из Христова искупления. Но влюбленность сулит нам то, что ей одной не выполнить.

Долго ли мы пробудем в этом блаженном состоянии? Спасибо, если неделю. Как и после обращения, скоро окажется, что старая, недобрая самость не так уж мертва. И там, и тут она сбита с ног, но отдышится, приподнимется хотя бы на локоть и снова примется за свое. А преображенное вожделение, вполне возможно, выродится в простейшую похоть.

Все эти неприятности не расстроят союза двух хороших и умных людей. Опасны они — смертельно опасны — для тех, кто поклонился влюбленности. Такие люди вознадеялись на нее, как на бога; сочли, что простое чувство обеспечит их навечно всем необходимым. Когда надежда эта рухнет, они винят любовь или друг друга. Себя они винить могут, а влюбленность винить не за что. Как крестная мать, она дала за нас обеты, а уж наша работа — исполнить их. Мы сами должны стараться, чтобы каждодневная жизнь уподобилась райскому видению, мелькнувшему перед нами. Влюбленность препоручает нам свое дело. Это знают все, кто любит правильно, хотя немногие могут это выразить. А настоящие христиане знают, что это скромное с виду дело требует смирения, милосердия и Божьей благодати, то есть христианской жизни.

Как и все виды естественной любви, влюбленность своими силами устоять не может; но она так сокрушительна, сладостна, страшна и возвышенна, что падение ее поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется и умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая, ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами. Прочитайте «Анну Каренину» и не думайте, что «такое» бывает только у русских. Вульгарная фраза «я бы тебя съел» оказывается правдой.

VI. МИЛОСЕРДИЕ

Уильям Моррис написал: «Кроме любви, не нужно ничего»[59], и кто-то откликнулся короткой рецензией: «Нужно». Об этом самом говорю и я. Естественной любви недостаточно, нужно еще

что-то. Поначалу мы смутно определим это, как «порядочность и здравый смысл», потом скажем четче: «Надо быть хорошим человеком» и, наконец, поймем, что вся христианская жизнь должна прийти на помощь нашим чувствам, если мы хотим, чтобы они не исказились.

Мы не умаляем этим естественную любовь, а показываем, где ее сила и слава. Разве мы обидим сад, если скажем, что он не может сам себя полоть, поливать и подрезать свои деревья? Сад хорош, но он останется садом, а не обратится в заросли, только если кто-то будет ухаживать за ним. Сравните цветущий, нерукотворный сад с лопатами, ножницами и гербицидом; вот красота, которой не создать человеку, вот какие-то серые, мертвые вещи. Так и наши «порядочность и здравый смысл» покажутся серыми рядом с естественной любовью. Всюду, где Господь насаждает сад, Он ставит над ним садовника, подвластного Ему Самому. Когда Господь посадил сад нашего естества, Он поставил над ним нашу волю. По сравнению с садом она холодна и суха. Без дождя и солнца Божьей благодати она ничего не даст. Но ее медленный, тяжкий, многое разрушающий труд совершенно необходим. Только упаси нас Боже трудиться так, как того требуют стоики и ханжи! Выпалывая плевелы и подрезая ветви, мы должны помнить, что работаем в дивном, живом саду, который не создать ни воле человеческой, ни разуму. Цель наша — помочь ему, чтобы деревья не прибило к земле, плоды не усохли и не стали дикими.

Но это не вся наша цель. Мы подошли к проблеме, разговор о которой я долго оттягивал. До сих пор я почти ничего не сказал о том, как естественная любовь становится соперницей любви к Богу. Оттягивал я по двум причинам.

Во-первых, соперничество это уже немногим знакомо. В наш век любовь к ближнему состязается с любовью к себе. Опасно требовать от человека, чтоб он отринул земную любовь, когда он до нее и не дорос. Куда как легко не любить ближнего и думать, что это у нас от любви к Богу! Многим совсем нетрудно ненавидеть жену или мать. Мориак замечательно описывает, как смущены апостолы велением Спасителя, один лишь Иуда ничуть не удивляется [60].

Во-вторых, я должен был сперва описать, как гибнет естественная любовь, предоставленная самой себе. Одно это показывает, что она не вправе соперничать с Богом. Всякому ясно, что какой-нибудь царек не император, если он без императорской помощи не может навести порядок в собственной стране. Даже для своей собственной пользы любовь должна согласиться на второе место. В этом бремени — ее свобода; она выше, когда пригнется. Когда Бог воцаряется в нашем сердце, Ему приходится порой устранять его исконных обитателей, но чаще Он просто подчиняет их, впервые давая им твердую основу. Эмерсон сказал: «Боги приходят, когда уходят полубоги»[61]. Мысль эта сомнительна. Лучше скажем так: «Полубоги могут остаться, когда приходит Бог». Без Него они

исчезнут или станут бесами. Мятежные слова «кроме любви, не нужно ничего»— смертный приговор естественной любви (дата исполнения не проставлена).

Но больше я оттягивать не буду. Если бы я писал в старину, тема эта заняла бы немалую часть книги о любви. Викторианцам невредно было напомнить, что, кроме любви, еще что-то нужно; до XIX в. богословы неустанно твердили, что естественная любовь у людей слишком сильна. Опасность бесчувствия была гораздо меньше. Боялись другого: что ближний, особенно родственник, станет кумиром. В ребенке или друге, жене или матери видели возможных соперников Богу.

Один довод против неумеренной любви к ближнему я отвергну сразу. Делать это мне страшно, потому что нашел я его у великого мыслителя и великого святого, которому очень многим обязан.

Августин описывает свою печаль по умершему другу Небридию так, что и сейчас плачешь над этими строками [62]. И делает вывод: вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны. Не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас.

Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв: «Осторожно! Будешь страдать».

По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви. Беззаконная влюбленность, предпочитающая возлюбленную счастью, и та ближе к Богу.

Мне кажется, отрывок из «Исповеди» продиктован не столько христианством блаженного Августина, сколько высокоумными языческими учениями, которыми он увлекался прежде. Это ближе к «апатии» стоиков и мистике неоплатоников. Мы же призваны следовать за Тем, Кто плакал над Лазарем и Иерусалимом, а одного из учеников как-то особенно любил [63]. Апостол для нас выше Августина, а Павел и знáком не показывает, что не страдал бы, если бы умер Епафродит (Фил. 2, 27).

Даже если застрахованность от горя и впрямь высшая мудрость, была ли она у Христа? По-видимому, нет. Кто, как не Он, возопил: «Для чего Ты Меня оставил?»[64]

Августин не указывает нам выхода. Выхода нет вообще. Застраховаться невозможно, любовь чревата горем. Полюби — и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями

и прихотями, запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску — гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду.

Я думаю, самая беззаконная, самая неумеренная любовь не так противна Богу, как защитная черствость. Поддаваясь ей, мы, в сущности, закапываем талант, и по той же самой причине: «Я знал тебя, что ты человек жестокий»[65]. Христос не для того учил и страдал, чтобы мы тряслись над нашим счастьем. Ибо не забывший о расчете ради брата, которого видит, забудет ли о нем ради Бога, которого не видит? К Богу же мы приблизимся, не избегая скрытых в любви страданий, а принимая их и принося Ему. Если сердцу нашему должно разбиться, если Господь разобьет его любовью — да будет воля Его.

Конечно, всякая естественная любовь может стать неумеренной. Но слово это ничуть не означает «неосторожная». Не означает оно и «слишком большая». Тут дело не в количестве. Наверное, нельзя «слишком сильно» любить человека. Можно любить его слишком сильно по сравнению с любовью к Богу, но говорит это лишь о том, что Бога мы любим слишком слабо. Уточним, чтобы слова эти никого не смутили. Многие, прочитав их, могут испугаться, что чувства их к Богу не так пылки, как чувства к людям. Хорошо бы, конечно, любить людей и Бога с равной пылкостью, и надо об этом молиться, но здесь речь не о том. Когда встает вопрос о соперничестве естественной любви и любви к Богу, дело не в силе и не в качестве этих чувств. Дело в том, кого вы выберете, если встанет выбор.

Как обычно, слова Спасителя и страшнее, и милостивее богословских рассуждений. Христос ничего не сказал о том, что земная любовь чревата горем. Он говорит иное: ее надо отринуть, когда она мешает следовать за Ним. «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 26).

Как понять нам слово «возненавидит»? Быть не может, чтобы Сама Любовь велела нам испытывать все то, что мы понимаем под ненавистью,— досадовать, желать зла, радоваться несчастьям. Что такое ненависть для Спасителя, видно из беседы, когда Он воспротивился совету Петра [66]. «Ненавидеть» значит не уступать, сопротивляться, когда тот, кого ты любишь — пусть мягко, пусть из жалости,— говорит с тобой от имени сатаны. Христос учит, что человек, служащий двум господам, возненавидит одного и возлюбит другого [67]. Речь тут, конечно, не о чувствах, не об отвращении и восхищении. Такой человек будет соглашаться с одним, а не с другим, работать на него, служить ему. Еще вспомним слова: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел» (Мал. 1, 2—3). Как же ненавидел Господь Исава? Хотя сразу вслед за этим говорится, что Он «предал горы его опустошению, и владения

его — шакалам пустыни»[68], в Книге Бытия свидетельств об этом нет. У нас нет оснований считать, что Исав бедствовал или что душа его погибла. Более того, в мирском смысле Исав жил лучше Иакова. Не ему, а Иакову достались горести, унижения и потери. Но у Иакова было то, чего у Исава не было: он, а не его брат породил колена, передал обетование, стал предком Спасителя. Любовь к Иакову в том, что Господь счел его достойным высокого призвания; ненависть к Исаву — в том, что Господь его отверг. Так и мы должны отвергнуть близких, когда они встанут между нами и повиновением Богу. Вполне возможно, что они и впрямь сочтут это ненавистью.

Я не буду рассуждать о том, трудно ли это. Одним это легко, для других невыполнимо. Трудно для всех узнать, настало ли время «ненавидеть». Люди мягкие — нежные мужья и жены, заботливые родители, послушные дети — все не могут признать, что оно наступило. Люди властные и своевольные решат, что оно пришло гораздо раньше, чем надо. Вот почему бесконечно важно так поставить дело, так настроить любовь, чтобы времени этому и наступать было незачем.

Как это делается, можно увидеть на неизмеримо низшем уровне. Отправляясь в поход, поэт говорит возлюбленной, что не любил бы ее так сильно, не люби он честь еще сильней [69]. Не всякая женщина это поймет. Для многих «честь» — одна из мужских отговорок, лишний предмет увильнуть, предательство. Но поэт знал, что его дама не хуже него понимает рыцарский кодекс, и потому ему не пришлось ее ненавидеть. Они давно договорились, что служат одному закону. Так и у нас. Когда настал выбор, поздно сообщать жене, матери, другу, что мы любили их с мысленной оговоркой: «пока это Богу не мешает». Мы должны предупредить близких — не вдруг, не прямо, а предупреждать их всегда, всей нашей жизнью, тысячами мелких решений. В сущности, если друг или возлюбленная этого не примут, не надо бы вступать с ними в дружбу или в брак. Когда для другого человека любовь — это все, в полном смысле слова, мы не вправе принимать его любовь.

Мы подошли к подножию последней лестницы, которую нам надо одолеть в этой книге. Теперь нам придется точнее и глубже сопоставить то, что люди зовут любовью, с Любовью-Богом. Конечно, уточнения наши останутся моделями, символами, неполными и даже условными. Ничтожнейшие из нас в состоянии благодати что-то знают (savent) о той Любви, которая есть Бог; но ни один мудрец и ни один святой не знают Ее (ne connaissent pas) иначе как в подобиях [70]. Мы не видим света, хотя лишь благодаря свету мы вообще видим. Эти оговорки я делаю потому, что сейчас мне придется долго и дотошно объяснять, и вы можете подумать, что я что-то доподлинно знаю. Но я еще с ума не сошел. Все дальнейшее — мои мнения, если хотите — «частный миф». Если что-то будет вам полезно — пользуйтесь, если нет — больше не думайте об этом.

Бог есть любовь. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1 Ин. 4, 10). Начнем не с нашей любви к Богу, а с Его любви к нам. Любовь эта — дар. Богу ничего не нужно. Он дает от полноты. Учение о том, что Бог «не был обязан» творить мир — не сухая схоластика; оно очень важно. Иначе нам придется мыслить Бога вроде какого-нибудь заведующего, директора, управителя. Надо помнить, что там, у себя, «в стране Троицы», Господь владеет несравненно большим Царством. Надо видеть то, что видела Иулиания Норичская: беседуя с ней, Господь держал в руке что-то маленькое, с орех, и это было «все тварное». Богу ничего не нужно; Он породил ненужные существа, чтобы любить их и совершенствовать. Он творит мир, предчувствуя (или чувствуя? для Него нет времен), как роятся мухи у креста, как больно касаться дерева израненной спиной, как перехватывает дыхание, когда обвиснет тело, как нестерпимо болят руки, когда приходится вздохнуть. Простите мне такой образ, Господь — «хозяин», породивший своих паразитов. Вот она, любовь. Вот Он, Бог, Творец всякой любви.

В нас, в самую нашу природу, Он вложил и любовь-дар, и любовь-нужду. Первая из них во всех своих видах — естественный образ Его любви. Она похожа на Бога, но не всех и не всегда приближает к Нему. Заботливая мать, рачительный начальник, добрый учитель могут непрестанно давать, увеличивая это сходство и ничуть не приближаясь к Богу. Все естественные виды любви-нужды на Бога непохожи. Они противоположны Богу-любви не как добро — злу, а как формочка — крему.

Но кроме естественной любви Господь дарует нам и любовь благодатную.

Прежде всего Он делает нас соучастниками Своей Любви. Это совсем не то, что естественная любовь-дар. Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра, на свой лад и вкус. Божья любовь-дар, действуя в человеке, ничего не навязывает, она совершенно бескорыстна. Кроме того, естественная любовь обращена к тем, кто нам нравится, кто согласен с нами, способен на благодарность,— словом, кажется нам достойным любви. Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых — врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. Пойдем дальше. Господь дает нам ощутить любовь-дар к Нему самому. Конечно, мы не можем ничего дать Богу; но мы ведь способны отвратить от Бога волю и сердце, значит, способны и обратить их к Нему. То, что не существовало бы без Него (как нет песни без певца), Он отдал в наше распоряжение, чтобы мы могли свободно вернуть это Ему. И еще, Евангелие учит, что мы даем Богу, давая человеку. Любой, кого мы накормим и оденем,— Христос. Это тоже любовь-дар к Богу, хотя испытывающий ее иногда о том и не ведает. Да, Сама Любовь может действовать в тех, кто ничего о Ней не знает. Овцы из притчи понятия не имеют о том, Кто скрыт в больном, или в узнике, и в них самих [71].

(Мне кажется, что притча эта — о суде над язычниками. «И соберутся пред Ним все народы»[72], то есть «языки», «гойим».)

Всякий согласится, что такая любовь дается благодатью и зовется милосердием. Но я скажу кое-что, с чем согласится не всякий. Господь дает нам и два вида благодатной любви-нужды: любовь к Нему и любовь друг к другу. Говоря о любви к Богу, я имею в виду не любовь-оценку, не дар поклонения (об этом я, хоть и немного, поговорю позже), но именно любовь-нужду. Казалось бы, какая тут благодать? Нужда сродни корысти, а мы корыстью не обделены. Тем не менее я думаю то, что сказал. Словно река, пролагающая русло, или волшебное вино, творящее сосуд само для себя, Господь обращает нашу нужду в особый, высокий вид любви.

Остановимся сперва на благодатной любви-нужде к Богу. Конечно, самую нужду дает не благодать. Нужда «задана» уже одним тем, что мы — существа тварные, и бесконечно умножена тем, что мы — существа падшие. Благодать помогает нам понять ее, принять и обрадоваться. Ведь без благодати то, чего нам хочется, не совпадает с тем, что нам нужно.

Когда христиане вечно твердят о своей немощи, людям внешним кажется, что они заискивают перед тираном или произносят условные фразы, вроде китайских формул вежливости. На самом же деле мы снова и снова пытаемся побороть естественное, подсказанное природой ощущение. Как только мы поймем, что Господь нас любит, нас тянет думать, что мы чем-то заслужили Его любовь. Язычники этой мысли не противились; хороший человек был любимцем богов за свои добродетели. Мы знаем, что это не так, но уловок тут множество. Хорошо, мы Его любви не заслужили, но ведь как мы смиренны, когда так думаем! Быть может, наше смирение Ему и нравится? А если не оно — не осознание ли гордыни? Так, снимая пласт за пластом, все тоньше и тоньше, мы не можем избавиться от чувства, что мы, мы сами чем-то угодили Богу. Легко признать умом, трудно чувствовать, что мы — лишь зеркала и сверкаем, если сверкаем, только отраженным светом. Ну хоть капелька своего света в нас есть!

Из этого лабиринта нелепицы нас выводит благодать, даруя нам детское и радостное признание полной немощи. Мы становимся «веселыми нищими». Нам жаль, что мы согрешили, но не так уж жаль, что грех наш умножил нашу нужду. А о том, что мы вообще по природе своей ничто без Бога, мы ничуть не жалеем. Ведь именно та иллюзия, о которой я говорил, и мешала нам радоваться. Мы были, как человек, который хочет одной ногой, одним пальцем касаться дна и потому не знает радости плавания. Расставшись с последней претензией на свободу, силу или достоинства, мы обретаем достоинства, силу и свободу. Они поистине наши и потому, что нам дал их Господь, и потому, что теперь мы знаем: в другом смысле слова они нашими быть не могут.

Кроме того, Господь преображает и любовь-нужду к людям. Всем нам бывает нужно — кому чаще, кому реже — милосердие,

любовь к невыносимым. Оно нужно нам; но мы его не хотим. Нам хочется, чтобы нас любили за ум, красоту, обаяние, честность, таланты. Заподозрив, что к нам питают высший из всех видов любви, мы содрогаемся от обиды. Это так хорошо известно, что люди злобные притворяются, будто любят нас именно такой любовью. Когда мы хотим помириться с родственниками, другом, возлюбленной и слышим: «Я тебя прощаю по-христиански»,— всякому ясно, что ссора продолжается. Конечно, отвечая так, человек лжет. Но он бы и лгать не стал, если бы не знал, как обидно чистое милосердие.

Принимать милосердие очень трудно, иногда труднее, чем давать. Мы лучше это увидим на крайнем примере. Представьте, что вскоре после свадьбы вы заболели тяжелейшей болезнью, но живы, хотя не можете ни работать, ни иметь детей. Жена содержит вас, с вами трудно и неприятно, вы становитесь все глупей, раздражительней, требовательней. Представьте еще, что терпение и жалость вашей жены неистощимы. Если вы можете принимать, ничего не давая, без досады, даже без самообвинений, прикрывающих жажду утешения, вы делаете то, чего любовь-нужда в естественном виде дать не может. (Конечно, и жена превосходит возможности естественной любви-дара, но сейчас речь не о том.) Однако все мы, того не ведая, получаем это. В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое, и, если нас все равно любят, прощают, жалеют, это дар милосердия. Те, у кого хорошие родители, жена, муж или дети, должны помнить, что иногда (или всегда) их любят ни за что, просто потому, что в любящих действует Сама Любовь.

Так, войдя в человеческое сердце, Господь преображает не только любовь-дар, но и любовь-нужду; не только любовь-нужду к Себе, но и любовь-нужду к ближнему. Конечно, бывает иное. Господь является иногда, чтобы потребовать отказа от любви. Высокое и страшное призвание велит нам, как Аврааму, уйти от своего народа, из отчего дома [73]. Если мы влюбились в чужую жену, мы должны жертвовать влюбленностью. Все это очень трудно, но вполне понятно. Непонятней другое: что естественную любовь, разрешенную Богом, все равно надо преобразить.

В таких случаях мы не заменяем ее милосердием, не выбрасываем серебра, чтобы набрать золота, а сплавляем золото с серебром. Привязанность, дружба или влюбленность останутся собою и станут одновременно милосердием.

Это вторит Воплощению, и ничего странного тут нет: замыслил их Один и Тот же. Христос — совершенный Бог и совершенный Человек; так и естественная любовь — совершенная привязанность, дружба, влюбленность и совершенное милосердие.

Как это делается, многие знают. Любое проявление естественной любви (кроме греховных, конечно) может стать в добрую минуту и проявлением радостной, открытой, благодарной любви-нужды или бескорыстной, ненавязчивой, осторожной любви-дара.

Игра, еда, шутка, выпивка, беседа ни о чем, прогулка — все может быть формой, в которой мы прощаем или принимаем прощение, утешаем или получаем утешение, не ищем своего.

Я сказал: в добрую минуту. Но минуты проходят. Полное и надежное преображение естественной любви — такой тяжкий труд, что, наверное, ни один падший человек не выполнил его. Однако без этого труда ничего у нас не выйдет.

Одна трудность — в том, что здесь, как и во всех хороших делах, мы можем пойти по соседней, неверной дороге. Иногда, усвоив этот принцип, семья начинает вести себя, а главное — говорить так, словно она достигла цели. Смотреть на это стыдно, а толку нет. Все непрестанно ищут духовного смысла любых ничтожнейших событий и поступков (не перед Богом, не закрывши дверь, а вместе и вслух), просят прощения, милостиво его даруют. Насколько проще с людьми, которые предоставят решать дело шутке, застолью или сну! Труд милосердия — самый тайный из всех трудов. Мы и сами, насколько возможно, не должны о нем знать. Вы немногого достигли, если играете с детьми в карты, чтобы показать им, что больше не сердитесь. Конечно, и это немало, но лучше бы правой руке не знать, что делает левая. Настоящее милосердие так настроит сердце, что вам больше всего захочется именно поиграть с детьми.

В труде этом нам помогают сами наши трудности. У нас всегда хватает поводов подбавить милосердия в любовь. Когда мы не ослеплены себялюбием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. «Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела...» Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети — чудовищны! «Если бы мой муж был поумнее...», «не так ленился...», «меньше бы выдумывал...»; «если бы жена меньше ворчала...», «была поумнее...», «не так ломалась...»; «если бы отец стал помягче и посовременней...» Да ведь во всех, и в нас самих, что-то вынести невозможно, если на помощь не явятся милость, терпимость, жалость! Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное [74].

А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. Должно быть, так оно и есть, но при одном условии — не произвольном, а вытекающем из сути вещей. В Царство войдет лишь то, что ему соответствует. Кровь и плоть, просто природа, Царства не наследуют. Человек может подняться на небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь: только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу.

Милосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову — когда природное в ней умрет, сразу или постепенно. Ничего не поделаешь, без смерти тут не обойтись. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее ее начало. Только оно восставит из мертвых все остальное.

Богословы иногда задавались вопросом: узнаем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи? Мне кажется, это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывание. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей устарело еще до рождения.

Но я не должен кончать на этой ноте. Я не смею и не хочу укреплять неверное и распространенное чувство, что цель христианской жизни — воссоединение с теми, кого мы любим и утратили. Слова мои покажутся немилосердными тем, кто плачет о близких, они не поверят мне, но все же я их скажу.

«Ты создал нас для Себя,— говорит Августин,— и не знает покоя сердце наше, пока не упокоится в Тебе»[75]. Это понятно в церкви или в весеннем лесу, когда мы гуляем там, творя безмолвную молитву, но у смертного ложа это звучит издевкой. Однако настоящая издевка ждет нас, если мы вцепимся в надежду на новую встречу или, чего доброго, поторопим события с помощью спиритизма.

Если мой опыт меня не обманывает, мы сразу получаем сигнал, что тут что-то не так. Как только мы захотим использовать для утешения веру в запредельное, вера эта начинает убывать. У меня она сильна лишь в те минуты, когда в центре моих мыслей Бог. Веря в Него, я верю и в небеса. Когда же я пытался верить в будущую встречу, а потом — в небо, а уж потом — в Бога, ничего не выходило. Конечно, вообразить все можно. Но человек, умеющий глядеть на себя со стороны, быстро поймет, что это его собственные выдумки. А душа попроще почувствует, что призраки ничуть не утешают, и попытается подогреть себя самовнушением, нечистыми образами или, упаси Господь, ведовством.

Словом, опыт подсказывает нам, что не стоит обращаться к небу за земным утешением. Небо дает утешение небесное и ничего больше. А земля и земного утешения не даст. В конце концов, земного утешения нет.

Мечта о том, что цель наша — рай земной любви, заведомо неверна; или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск Его красоты, доброты и мудрости. Я говорю не о том, что нам предстоит отвернуться от близких и обратить взор к незнакомцу. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявле-

ниях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам — лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в Нем и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь.

Но все это там, в земле Троицы, а не в нашей юдоли слез. Тут, в изгнании, не проживешь без утрат. Быть может, утраты и даются нам для того, чтобы мы это знали. Нас вынуждают поверить тому, что ощутить мы еще не в силах: единственный наш Возлюбленный — Господь. Утрата близких в определенном смысле легче для неверующего. Он может бунтовать, бросать вызов и даже (если он очень даровит) писать, как Харди или Хаусмен. А мы в страшном горе, когда ни на что сил не хватит, должны совершить невозможное.

«Легко ли любить Господа?»— спрашивает один старинный богослов и отвечает: «Да, легко — тем, кто Его любит». Я описал два вида благодатной любви. Но есть и третий. Бог может разбудить в нас благодатную любовь-оценку к Себе. Дар этот самый лучший. В нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности — средоточие жизни. Им живут и ангелы. Когда он есть у нас, нам все возможно.

Здесь и кончится моя книга. Дальше я идти не смею. Богу, а не мне знать, видел ли я хоть отблеск этой любви. Быть может, мне только показалось, что я ее испытываю. Нам, у кого воображение много сильнее послушания, легко представить себе то, чего мы не достигли. Если мы станем это описывать, другие поверят, что мы все знаем по опыту, да и сами мы поверим себе. Но если я представил себе это, неужели мне только показалось, что перед моей фантазией все — даже мир душевный — как сломанная игрушка? Может быть. Вполне возможно, что для многих из нас все, что́ бы мы ни испытали, лишь очерчивает дыру, в которой должна бы находиться любовь к Богу. Этого мало, но и это кое-что. Если мы не можем ощутить присутствие Божие, ощутим Его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не совсем спишь. Но о пробуждении расскажут те, кто достойней меня.

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

То, о чем говорится в этой книге, послужило материалом для серии радиопередач, а впоследствии было опубликовано в трех отдельных частях под названием «Радиобеседы» (1942), «Христианское поведение» (1943) и «За пределами личности» (1944). В печатном варианте я сделал несколько дополнений к тому, что сказал в микрофон, но в остальном оставил текст без особых изменений. Беседа по радио не должна, по-моему, звучать как литературный очерк, прочитанный вслух, она должна быть именно беседой, исполненной искренности. Поэтому в моих беседах я использовал все сокращения и разговорные выражения, какие обычно употребляю в беседе. В печатном варианте я воспроизвел эти сокращения и разговорные обороты. И все те места, где в беседе по радио я подчеркивал значимость того или иного слова тоном голоса, в печатном варианте я выделил курсивом. Сейчас я склонен считать, что это было с моей стороны ошибкой — нежелательным гибридом искусства устной речи с искусством письма. Рассказчик должен использовать оттенки своего голоса для подчеркивания и выделения определенных мест, потому что сам жанр беседы этого требует, но писатель не должен использовать курсив в тех же целях. Он располагает другими, своими собственными средствами и должен пользоваться этими средствами, для того чтобы выделить ключевые слова.

В этом издании я устранил сокращения и заменил все курсивы, переработав те предложения, в которых эти курсивы встречались, не повредив, надеюсь, тому «знакомому» и простому тону, который был свойствен радиобеседам. Кое-где я внес добавления или вычеркнул отдельные места; при этом я исходил из того, что первоначальный вариант, как я выяснил, был превратно понят другими, да и сам я, по-моему, стал лучше понимать предмет беседы теперь, чем понимал десять лет назад.

Хочу предупредить читателей, что я не предлагаю никакой помощи тем, кто колеблется между двумя христианскими «де-

номинациями». Вы не получите от меня совета, кем вы должны стать: приверженцем ли англиканской церкви или методистской, членом пресвитерианской или римской католической церкви. Этот вопрос я опустил умышленно (даже приведенный выше список я дал просто в алфавитном порядке). Я не делаю тайны из моей собственной позиции. Я совершенно обычный рядовой член церкви Англии, не слишком «высокий», не слишком «низкий», и вообще не слишком что бы то ни было. Но в этой книге я не делаю попытки переманить кого-либо на мою позицию.

С того самого момента, как я стал христианином, я всегда считал, что лучшая и, возможно, единственная услуга, какую я мог бы оказать моим неверующим ближним,— это объяснить и защитить веру, которая была общей и единой почти для всех христиан на протяжении всех времен. У меня достаточно причин для такой точки зрения.

Прежде всего, вопросы, которые разделяют христиан (на различные деноминации), часто касаются отдельных проблем высокой теологии или даже истории церкви, и эти вопросы следует оставить на рассмотрение специалистов, профессионалов. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам нуждался бы в помощи, чем был бы способен оказать ее другим.

Во-вторых, я думаю, мы должны признать, что дискуссии по этим спорным вопросам едва ли способны привлечь в христианскую семью человека со стороны. Обсуждая их письменно и устно, мы скорее отпугиваем его от христианского сообщества, чем привлекаем к себе. Наши расхождения во взглядах следует обсуждать лишь в присутствии тех, кто уже пришел к вере в то, что есть один Бог и что Иисус Христос — Его единственный Сын.

Наконец, у меня создалось впечатление, что гораздо больше талантливых авторов было вовлечено в обсуждение этих спорных вопросов, чем в защиту сущности христианства, или «просто» христианства, как его называет Бакстер [1]. Та область, в которой, как я считал, я мог бы послужить с наибольшим успехом, более всего в подобной службе и нуждалась. Естественно, именно туда я и направился.

Насколько я помню, лишь к этому и сводились мои мотивы и побуждения, и я был бы очень рад, если бы люди не делали далеко идущих выводов из моего молчания по некоторым спорным вопросам.

К примеру, такое молчание вовсе не обязательно означает, что я занимаю выжидательную позицию. Хотя иногда это действительно так. У христиан порой возникают вопросы, ответов на которые, я думаю, у нас нет. Встречаются и такие, на которые я, скорее всего, никогда не получу ответа: даже если я задам их в лучшем мире, то, возможно (насколько я знаю), получу такой ответ, какой уже получил однажды другой, гораздо более великий вопрошатель: «Что тебе до этого? Следуй за Мной!»[2] Однако существуют и другие вопросы, по которым я занимаю совершенно

определенную позицию, но и по этим вопросам я храню молчание. Потому что я пишу не с целью изложить нечто, что я мог бы назвать «моей религией», а для того, чтобы разъяснить сущность христианства, которое есть то, что оно есть, пребывало таким задолго до моего рождения и не зависит от того, нравится оно мне или нет.

Некоторые люди делают необоснованные заключения из того факта, что я говорю о Благословенной Деве Марии только то, что связано с Непорочным зачатием и рождением Христа. Но причина этого очевидна. Если бы я сказал немного больше, это сразу завело бы меня в сферу крайне спорных точек зрения. Между тем ни один другой спорный вопрос в христианстве не нуждается в таком деликатном подходе, как этот. Римская католическая церковь защищает свои представления по этому вопросу не только с обычным пылом, свойственным всем искренним религиозным верованиям, но (вполне естественно) тем более горячо, что в этом проявляется рыцарская чувствительность, с какой защищает человек честь своей матери или возлюбленной от грозящей ей опасности. Очень трудно разойтись с ними в этих взглядах ровно настолько, чтобы не показаться им невеждой, а то и еретиком. И наоборот, противоположные верования протестантов по этому вопросу вызываются чувствами, которые уходят своими корнями к самим основам монотеизма. Радикальным протестантам кажется, что под угрозу ставится само различие между Творцом и творением (каким бы святым оно ни было); что вновь, таким образом, возрождается многобожие. Однако очень трудно и с ними разойтись во мнениях ровно настолько, чтобы не оказаться в их глазах чем-то похуже еретика, а именно язычником. Если существует такая тема, которая способна погубить книгу о сущности христианства, если какая-то тема может вылиться в абсолютно бесполезное чтение для тех, кто еще не поверил в то, что Сын Девы есть Бог, то это именно данная тема.

Возникает странная ситуация: из моего молчания по этим вопросам вы даже не можете сделать заключения, считаю я их важными или нет. Дело в том, что самый вопрос об их значимости тоже относится к спорным. Один из пунктов, по которому христиане расходятся во мнениях, это — важны ли их разногласия. Когда два христианина из различных деноминаций начинают спорить, вскоре, как правило, один из них спрашивает, а так ли уж важен данный вопрос; на что другой отвечает: «Важен ли? Ну конечно, он имеет самое существенное значение!»

Все это было сказано только для того, чтобы объяснить, какого рода книгу я попытался написать, а вовсе не для того, чтобы скрыть свои верования или уйти от ответственности за них. Как я уже говорил, я не держу их в секрете. Выражаясь словами дядюшки Тоби: «Они записаны в молитвеннике».

Опасность заключалась в том, что под видом христианства как такового я мог изложить нечто присущее лишь англиканской

церкви или (что еще хуже) мне самому. Чтобы избежать этого, я послал первоначальный вариант того, что стало здесь книгой второй, четырем различным священнослужителям (англиканской церкви, методистской, пресвитерианской и римской католической), прося их критических отзывов. Методист решил, что я недостаточно сказал о вере, а католик — что я зашел слишком далеко в вопросе о сравнительной маловажности теорий, объясняющих искупления. В остальном мы пятеро согласились друг с другом. Другие книги я не стал подвергать подобной проверке, потому что, если бы они и вызвали расхождения во мнениях среди христиан, это были бы расхождения между отдельными индивидуумами и школами, а не между различными деноминациями.

Насколько я могу судить по этим критическим обзорам или по многочисленным письмам, полученным мною, эта книга, какой бы она ни была ошибочной в других отношениях, преуспела, по крайней мере, в одном — дать представление о христианстве общепринятом. Таким образом, эта книга, возможно, окажет определенную помощь в преодолении той точки зрения, что, если мы опустим все спорные вопросы, то нам останется лишь неопределенная и бескровная Святая Христианская Вера. На деле Святая Христианская Вера оказывается не только чем-то положительным, но и категорическим, отделенным от всех нехристианских вероисповеданий пропастью, которая не идет ни в какое сравнение даже с самыми серьезными случаями разделения внутри христианства. Если я не помог делу воссоединения прямо, то, надеюсь, ясно показал, почему мы должны объединиться. Правда, я нечасто встречался с проявлениями легендарной теологической нетерпимости со стороны убежденных членов общин, расходящихся во мнениях с моей собственной. Враждебность исходит в основном от людей, принадлежащих к промежуточным группам, в пределах как англиканской церкви, так и других деноминаций, то есть от таких, которые не очень-то считаются с мнением какой бы то ни было общины. И такое положение вещей я нашел утешительным. Потому что именно центры каждой общины, где сосредоточены истинные дети ее, по-настоящему близки друг другу — по духу, если не по доктрине. И это свидетельствует, что в центре каждой общины стоит что-то или Кто-то, Кто, вопреки всем расхождениям во мнениях, всем различиям в темпераменте, всем воспоминаниям о взаимных преследованиях, говорит одним и тем же голосом.

Это все, что касается моих умолчаний по поводу доктрины. В книге третьей, в которой речь идет о вопросах морали, я также обошел молчанием некоторые моменты, но по иным причинам. Еще с той поры, когда я служил рядовым во время первой мировой войны, я проникся антипатией к людям, которые, сидя в безопасности штабов, издавали призывы и наставления для тех, кто находился на линии фронта. В результате я не склонен много говорить об искушениях, с которыми мне самому не приходилось сталкиваться. Я полагаю, что нет такого человека, который был

бы искушаем всеми грехами. Уж так случилось, что тот импульс, который делает из людей игроков, не был заложен в меня при моем сотворении; и вне сомнений, я расплачиваюсь за это отсутствием во мне и других, полезных импульсов, которые, будучи преувеличены или искажены, толкают человека на путь азартной игры. Поэтому я не чувствую себя достаточно сведущим, чтобы давать советы относительно того, какая азартная игра позволительна, а какая — нет: если и вообще существуют позволительные азартные игры, то мне об этом просто неизвестно. Я также обошел молчанием вопрос о противозачаточных средствах. Я не женщина, я даже не женатый человек и не священник. Поэтому я не считаю себя вправе занимать решительную позицию в вопросе, связанном с болью, опасностью и издержками, от которых я сам избавлен; кроме того, я не занимаю пасторской должности, которая обязывала бы меня к этому.

Могут возникнуть и более глубокие возражения — они и были выражены — по поводу моего понимания слова *христианин,* которым я обозначаю человека, разделяющего общепринятые доктрины христианства. Люди задают мне вопрос: «Кто вы такой, чтобы устанавливать, кто́ христианин, а кто нет?» Или: «Не могут ли многие люди, не способные поверить в эти доктрины, оказаться гораздо более истинными христианами, более близкими к духу Христа, чем те, кто в эти доктрины верит?» Это возражение в каком-то смысле очень верное, очень милосердное, очень духовное, очень чуткое. Но обладая всеми полезными свойствами, оно — бесполезно. Мы просто не можем безнаказанно пользоваться языковыми категориями так, как того хотят от нас наши оппоненты. Я постараюсь разъяснить это на примере употребления другого, гораздо менее важного слова.

Слово «джентльмен» первоначально означало нечто вполне определенное — человека, имевшего свой герб и земельную собственность. Когда вы называли кого-нибудь джентльменом, вы не говорили ему комплимент, а просто констатировали факт. Если вы говорили про кого-то, что он не джентльмен, это было не оскорблением, а простой информацией. В те времена сказать, что, к примеру, Джон — лгун и джентльмен, не было бы противоречием; по крайней мере, это не звучало бы более противоречиво, чем если бы сегодня мы сказали, что Джеймс — дурак и магистр наук. Но затем появились люди, которые сказали — сказали так верно, доброжелательно, с таким глубоким пониманием и чуткостью (и тем не менее слова их не несли полезной информации): «Но ведь для джентльмена важны не герб его и земля, а то, как он себя ведет. Конечно же, истинный джентльмен — тот, кто ведет себя, как подобает джентльмену, не так ли? А значит, Эдвард гораздо более джентльмен, чем Джон». Сказавшие так имели благородные намерения. Намного лучше быть честным, и вежливым, и храбрым, чем обладать собственным гербом. Но это не одно и то же. Хуже того, не каждый захочет с этим согласиться. Ибо слово «джентльмен» в этом новом, облагороженном смысле пе-

рестает быть информацией о человеке, и просто превращается в похвалу ему; сказать, что такой-то человек не джентльмен,— значит нанести ему оскорбление. Когда слово перестает быть средством описания, а становится лишь средством похвалы, оно не несет больше фактической информации: оно свидетельствует только об отношении говорящего. («Хорошая» еда означает лишь то, что она нравится говорящему.) Слово «джентльмен», будучи «одухотворено» и «очищено» от своего прежнего, четкого и объективного смысла, едва ли означает теперь больше, нежели то, что говорящему нравится тот, о ком идет речь. В результате слово «джентльмен» превратилось в бесполезное слово. У нас и так уже было множество слов, выражающих одобрение, так что для этой цели мы в нем не нуждались; с другой стороны, если кто-то (к примеру, в исторической работе) пожелает использовать это слово в его старом смысле, он не сможет этого сделать, не прибегнув к объяснениям, потому что слово это не годится больше для выражения своего первоначального значения.

Так что, если однажды мы позволим людям возвышать и облагораживать или, по их словам, наделять более глубоким смыслом слово «христианин», это слово тоже вскоре утратит свой смысл. Во-первых, сами христиане не смогут применить его ни к одному человеку. Не нам решать, кто, в самом глубоком значении этого слова, близок или нет к духу Христа. Мы не можем читать в человеческих сердцах. Мы не можем судить, судить нам запрещено. Было бы опасной самонадеянностью с нашей стороны утверждать, что такой-то человек является или не является христианином в глубоком смысле этого слова. Но очевидно, что слово, которое мы не можем применять, становится бесполезным. Что касается неверующих, то они, несомненно, с готовностью станут употреблять это слово в его «утонченном» смысле. В их устах оно сделается просто выражением похвалы. Называя кого-то христианином, они лишь будут иметь в виду, что это хороший человек. Но такое употребление этого слова не обогатит языка, ведь у нас уже есть слово «хороший». Между тем слово «христианин» перестанет быть пригодным для выполнения той действительно полезной цели, которой оно служит сейчас.

Мы должны, таким образом, придерживаться первоначального, ясного значения этого слова. Впервые христианами стали называться «ученики» в Антиохии, то есть те, кто принял учение апостолов (Деян. 11, 26). Несомненно, так назывались лишь те, которые извлекли для себя наибольшую пользу из этого учения. Безусловно, это имя распространялось не на тех, кто колебались, принять ли им учение апостолов, а на тех, кто именно в возвышенном, духовном смысле оказался «гораздо ближе к духу Христа». Это не вопрос богословия или морали. Это лишь вопрос употребления слов таким образом, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Если человек, который принял доктрину христианства, ведет жизнь, недостойную ее, правильнее будет назвать его плохим христианином, чем сказать, что он не христианин.

Я надеюсь, что ни одному читателю не придет в голову, будто «сущность» христианства предлагается здесь в качестве какой-то альтернативы вероисповеданиям существующих христианских церквей — как если бы кто-то мог предпочесть ее учению конгрегационализма, или греческой православной церкви, или чему бы то ни было другому. Скорее «сущность» христианства можно сравнить с залом, из которого двери открываются в несколько комнат. Если мне удастся привести кого-нибудь в этот зал, моя цель будет достигнута. Но зажженные камины, стулья и пища находятся в комнатах, а не в зале. Этот зал — место ожидания, место, из которого можно пройти в ту или иную дверь, а не место обитания. Даже наихудшая из комнат (какая бы то ни было) больше подходит для жилья. Некоторые люди, верно, почувствуют, что для них полезнее остаться в этом зале подольше, тогда как другие почти сразу же с уверенностью выберут для себя дверь, в которую им надо постучаться. Я не знаю, от чего происходит такая разница, но я уверен в том, что Бог не задержит никого в зале ожидания дольше, чем того требуют интересы данного человека. Когда вы наконец войдете в вашу комнату, вы увидите, что долгое ожидание принесло вам определенную пользу, которой иначе вы не получили бы. Но вы должны смотреть на этот предварительный этап как на ожидание, а не как на привал. Вы должны продолжать молиться о свете; и конечно, даже пребывая в зале, вы должны начать попытки следовать правилам, общим для всего дома. И кроме того, вы должны спрашивать, какая дверь истинна, невзирая на то, какая из них нравится вам больше по своей обшивке или окраске. Выражаясь проще, вы не должны спрашивать себя: «Нравится ли мне эта служба?», но: «Правильны ли эти доктрины? Здесь ли обитает святость? Сюда ли указывает мне путь моя совесть? Происходит ли мое нежелание постучать в эту дверь от моей гордости, или просто от моего вкуса, или от моей личной неприязни к этому конкретному привратнику?»

Когда вы войдете в вашу комнату, будьте добры к тем, кто вошел в другие двери, и к тем, кто еще ожидает в зале. Если они — ваши враги, то помните, что вам приказано молиться за них [3]. Это одно из правил, общих для всего дома.

Книга I
ДОБРО И ЗЛО КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ВСЕЛЕННОЙ

I
ЗАКОН ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Каждый слышал, как люди ссорятся между собой. Иногда это выглядит смешно, иногда — просто неприятно; но как бы это ни выглядело, я считаю, что мы можем извлечь для себя кое-какие важные уроки, слушая, что ссорящиеся говорят друг другу. Они говорят, например, такие вещи: «Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал то же самое вам?», «Это мое место, я его первый занял», «Оставьте его в покое, он не делает вам ничего плохого», «Почему я должен уступать тебе?», «Дай мне кусочек твоего апельсина, я давал тебе от своего», «Давай, давай, ты же обещал». Каждый день люди произносят подобное — как образованные, так и необразованные, как дети, так и взрослые.

Относительно всех этих и подобных им замечаний меня интересует лишь то, что человек, делающий их, не просто заявляет, что ему не нравится поведение другого человека. Он взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его мнению, знает другой человек. И тот, другой, очень редко отвечает: «К черту ваши стандарты!» Почти всегда он старается показать, что то, что он сделал, на самом деле не идет вразрез с этим стандартом поведения, а если все-таки идет, то для этого имеются особые извинительные причины. Он делает вид, что в данном конкретном случае у него были эти особые причины, чтобы просить освободить место того, кто занял его первым, или что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что случилось нечто непредвиденное, освобождающее его от необходимости выполнить обещание. Фактически выглядит так, что обе стороны имели в виду какого-то рода Закон или Правило честной игры, или порядочного поведения, или морали, или чего-то в этом роде, относительно чего они оба согласны. И это действительно так. Если бы они не имели в виду этого Закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся животные, но не могли бы ссориться и спорить по-человечески. Ссориться — значит стараться показать, что другой человек не прав. И в этом старании не было бы смысла, если бы между вами и им не существовало какого-то рода согласия в том, что такое добро и что такое зло.

Точно так же не имело бы смысла говорить, что футбольный игрок допустил нарушение, если бы не существовало определенного соглашения по поводу правил игры в футбол.

Этот закон раньше называли «естественным», то есть законом природы. Сегодня, когда мы говорим о «законах природы», мы обычно подразумеваем такие вещи, как силы тяготения, или наследственность, или химические законы. Но когда мыслители

древности называли законы добра и зла «законами природы», они подразумевали под этим «закон человеческой природы».

Их идея состояла в том, что, как все физические тела подчиняются закону тяготения, как все организмы подчиняются биологическим законам, так и существо по имени человек имеет свой закон — с той великой разницей, однако, что физическое тело не может выбирать, подчиняться ли ему закону тяготения или нет, тогда как человек имеет право выбора — подчиняться ли ему закону человеческой природы или нарушать его.

Ту же идею можно выразить по-другому. Каждый человек постоянно, каждую секунду находится под действием нескольких различных законов. И среди них имеется только один, который он свободен нарушить. Будучи физическим телом, человек подвластен закону тяготения и не может пойти против него; если вы оставите человека без поддержки в воздухе, у него будет не больше свободы выбора, чем у камня, упасть на землю или не упасть. Будучи организмом, человек должен подчиняться различным биологическим законам, которые он не может нарушить по своей воле, точно так же как их не могут нарушить животные. То есть человек не может не подчиняться тем законам, которые он разделяет с другими телами и организмами. Но тот закон, который присущ только человеческой природе и который не распространяется на животных, растения или на неорганические тела,— такой закон человек может нарушить по своему выбору. Этот закон назвали «естественным», потому что люди думают, что каждый человек знает его инстинктивно и поэтому никого не надо учить ему.

При этом, конечно, не имелось в виду, что время от времени нам не будут попадаться индивидуумы, которые не знали бы о нем, аналогично тому как время от времени нам встречаются дальтоники или люди, совершенно лишенные музыкального слуха. Но, рассматривая человечество в целом, люди полагали, что человеческая идея о приличном поведении очевидна для каждого. И я считаю, что они были правы. Если бы они были не правы, то все, что мы говорим о войне, например, оказалось бы лишенным смысла. Какой смысл заявлять, что враг не прав, если такая вещь, как добро, не была бы реальностью? Если бы нацисты не знали в глубине своего сердца так же хорошо, как и мы с вами, что им следовало подчиняться голосу добра, если бы они не имели представления о том, что мы называем добром, то, хотя нам и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном ими зле не более, чем в цвете их волос.

Я знаю, что, по мнению некоторых людей, закон порядочного поведения, знакомый всем нам, не имеет под собой твердого основания, потому что в разные века различные цивилизации придерживались совершенно несхожих взглядов на мораль.

Но это неверно. Различия между взглядами на мораль действительно существовали, но они всегда касались лишь частностей.

Если кто-нибудь возьмет на себя труд сравнить учения о морали, господствовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции и Риме, то его поразит факт, насколько эти учения были похожи друг на друга и на наше сегодняшнее понятие о нравственности. Некоторые свидетельства этого я обобщил в одной из моих книг под названием «Человек отменяется», но в данный момент я хотел бы лишь попросить читателя подумать о том, к чему бы привело совершенно различное понимание морали. Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто проявил к нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом можете представить себе страну, где дважды два будет пять. Люди расходились во взглядах на то, по отношению к кому не следует быть эгоистичным,— только ли к членам своей семьи, или к тем, кто живет вокруг, или вообще ко всем людям. Однако они всегда были согласны в том, что не следует ставить на первое место самого себя. Эгоизм никогда и нигде не считался похвальным качеством.

Разного мнения держались люди и по тому вопросу, сколько жен следует иметь: одну или четырех. Но они всегда были согласны в том, что брать каждую понравившуюся женщину вы не имеете права.

Однако самое замечательное состоит в следующем. Когда бы вам ни встретился человек, утверждающий, что он не верит в реальность добра и зла, уже в следующий момент вы увидите, как этот же человек сам возвращается к отвергнутым им принципам. Он может нарушить обещание, данное вам, но если вы попробуете нарушить обещание, данное ему, то не успеете вы и слово вымолвить, как он станет жаловаться: «Это несправедливо». Представители какой-нибудь страны могут утверждать, что договоры не имеют никакого значения, но в следующую минуту они перечеркнут собственное утверждение, заявив, что договор, который они собираются нарушить, несправедлив. Однако если договоры не имеют никакого значения и если не существуют добро и зло, иными словами, если нет никакого закона человеческой природы, то какая же может быть разница между справедливыми и несправедливыми договорами? Я думаю, шила в мешке не утаишь, и, что бы они ни говорили, совершенно ясно, что они знают этот закон человеческой природы так же хорошо, как любой другой человек.

Отсюда следует, что мы вынуждены верить в подлинное существование добра и зла. Временами люди могут ошибаться в определении их, как ошибаются, скажем, при сложении чисел, но понятие о добре и зле не в большей мере зависит от чьего-то вкуса и мнения, чем таблица умножения. А теперь, если вы согласны со мной в этом пункте, мы перейдем к следующему. Он состоит в том, что никто из нас по-настоящему не следует закону природы. Если среди вас найдутся люди, являющиеся исключением, я приношу им мои извинения. Этим людям я бы посоветовал

почитать какую-нибудь другую книгу, потому что все то, о чем я собираюсь говорить здесь, не имеет к ним отношения.

Итак, возвратимся к обычным человеческим существам.

Я надеюсь, что вы не поймете превратно то, что я собираюсь сказать. Я здесь не проповедую, и Богу известно то, что я не пытаюсь показаться лучше других. Я просто стараюсь обратить ваше внимание на один факт, а именно на то, что в этом году, или в этом месяце, или, что еще вероятнее, сегодня мы с вами не сумели вести себя так, как хотели бы, чтоб вели себя другие люди. Для этого может быть сколько угодно объяснений и извинений.

Например, вы страшно устали, когда были так несправедливы к детям; та не совсем чистая сделка, о которой вы почти забыли, подвернулась вам в такой момент, когда у вас было особенно туго с деньгами; а то, что вы обещали сделать для такого-то старого своего приятеля (обещали и не сделали) — что ж, вы никогда не стали бы связывать себя словом, если бы знали заранее, как ужасно заняты будете в это время! Что же касается вашего поведения с женой (или мужем), сестрой (или братом), то, если бы я знал, как они способны раздражать человека, я бы не удивлялся — да и кто я такой, в конце концов? Я сам такой же. То есть мне самому не удается как следует соблюдать естественный закон, и как только кто-нибудь начинает говорить мне, что я его не соблюдаю, в моей голове сразу же возникает целый рой извинений и объяснений. Но в данный момент нас не интересует, насколько обоснованны все эти извинения и объяснения. Дело в том, что они лишь еще одно доказательство того, как глубоко, нравится нам это или нет, верим мы в закон человеческой природы. Если мы не верим в реальную значимость порядочного поведения, почему тогда мы так ревностно оправдываем свое не совсем порядочное поведение? Правда состоит в том, что мы верим в порядочность настолько глубоко — мы испытываем на себе такое сильное давление этого закона или правила,— что не в состоянии вынести того факта, что нарушаем его, и в результате пытаемся списать свою ответственность за нарушение на кого-то или на что-то другое.

Вы заметили, что мы подыскиваем объяснения только нашему плохому поведению? Только наше плохое поведение мы объясняем тем, что были усталыми, или обеспокоенными, или голодными. Свое хорошее поведение мы не объясняем внешними причинами: мы ставим его исключительно в заслугу себе.

Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое: человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Второе: в действительности, они не ведут себя таким образом. Они знают естественный закон, и они нарушают его.

На этих двух фактах основаны наше понимание самих себя и той Вселенной, в которой мы живем.

II
НЕКОТОРЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

Если эти два факта являются основой, то мне следует остановиться, чтобы упрочить ее, прежде чем идти дальше. Некоторые из полученных мною писем свидетельствуют, что есть немало людей, которым трудно понять, что́ же такое естественный закон, или нравственный закон, или правила порядочного поведения.

В этих письмах я, например, читаю: «Не является ли то, что Вы называете моральным законом, просто нашим стадным инстинктом, и не развился ли он так же, как все наши другие инстинкты?»

Что ж, не отрицаю, мы можем иметь стадный инстинкт; но это совсем не то, что я имею в виду под моральным законом. Мы все знаем, что значит чувствовать в себе побуждения инстинкта — будь то материнская любовь, или половой инстинкт, или чувство голода. Такой инстинкт означает, что вы испытываете сильное желание действовать определенным образом. И конечно, иногда мы испытываем сильное желание помочь другому человеку, и нет сомнений в том, что такое желание возникает в нас благодаря стадному инстинкту. Но почувствовать желание помочь совсем не то же самое, что чувствовать: ты должен помочь, хочешь этого или нет. Предположим, вы слышите крик о помощи от человека, находящегося в опасности. Вы, возможно, почувствуете при этом два желания: одно — помочь ему (в силу своего стадного инстинкта) и другое желание — держаться подальше от опасности (в силу инстинкта самосохранения). Однако в дополнение к этим двум импульсам вы обнаружите в себе третий, который говорит вам, что вы должны следовать тому импульсу, который толкает вас помочь, и должны подавить в себе желание убежать. Это побуждение, которое судит между двумя инстинктами, которое решает, какому инстинкту надо следовать, а какой подавить, само не может быть ни одним из них. Вы могли бы, с таким же основанием сказать, что нотная страница, которая указывает, по какой клавише вам надо ударить в данный момент, сама — одна из клавиш. Нравственный закон говорит нам, какую мелодию нам следует играть; наши инстинкты — только клавиши.

Есть еще один способ указать, что нравственный закон — это не просто один из наших инстинктов. Если два инстинкта находятся в противоречии друг с другом и в разуме нашем нет ничего, кроме них, то, вполне очевидно, победил бы тот инстинкт, который сильнее. Однако в те моменты, когда мы особенно остро ощущаем воздействие этого закона, он словно бы подсказывает нам следовать тому из двух импульсов, который, наоборот, слабее. Вы, вероятно, гораздо больше хотите не рисковать собственной безопасностью, чем помочь человеку, который тонет; но нравственный закон тем не менее побуждает вас помочь тонущему. И, не правда ли, он часто говорит нам: попытайся активизиро-

вать свой правильный импульс, сделать его сильнее, чем он есть в своем естественном проявлении.

Я хочу этим сказать, что часто мы ощущаем потребность стимулировать свой стадный инстинкт, для чего пробуждаем в себе воображение и чувство жалости — настолько, чтобы у нас хватило духа сделать доброе дело. И конечно же, мы действуем не инстинктивно, когда стимулируем в себе эту потребность совершить добрый поступок. Голос внутри нас, который говорит: «Твой стадный инстинкт спит. Пробуди его»,— не может сам принадлежать стадному инстинкту.

На этот вопрос можно взглянуть с третьей стороны. Если бы нравственный закон был одним из наших инстинктов, мы могли бы указать на определенный импульс внутри нас, который всегда был бы в согласии с правилом порядочного поведения. Но мы не находим в себе такого импульса. Среди всех наших импульсов нет ни одного, который нравственный закон никогда не имел бы оснований подавлять, и ни одного, который ему никогда не приходилось бы стимулировать. Было бы ошибкой считать, что некоторые из наших инстинктов — такие, к примеру, как материнская любовь или патриотизм,— правильны, хороши, а другие — такие, как половой или воинственный инстинкт,— плохи. Просто в жизни чаще сталкиваешься с обстоятельствами, когда следует обуздывать половой или воинственный инстинкт, чем с такими, когда приходится сдерживать материнскую любовь или патриотическое чувство. Однако при определенных ситуациях долг женатого человека — возбуждение полового импульса, долг солдата — возбуждение в себе воинственного инстинкта.

С другой стороны, встречаются обстоятельства, когда следует подавлять любовь матери к своим детям и любовь человека к своей стране; в противном случае это привело бы к несправедливости по отношению к детям других родителей и к народам других стран. Строго говоря, нет таких понятий, как хорошие и плохие импульсы, Вернемся снова к примеру с пианино. На клавиатуре нет двух различных видов клавишей — верных и неверных. В зависимости от того, когда какая нота взята, она прозвучит верно или неверно. Нравственный закон не есть некий отдельный инстинкт или какой-то набор инстинктов. Это нечто (назовите это добродетелью или правильным поведением) направляющее наши инстинкты, приводящее их в соответствие с окружающей жизнью.

Между прочим, это имеет серьезное практическое значение. Самая опасная вещь, на которую способен человек,— это избрать какой-то из присущих ему природных импульсов и следовать ему всегда, любой ценой. Нет у нас ни одного инстинкта, который не превратил бы нас в дьяволов, если бы мы стали следовать ему как некоему абсолютному ориентиру. Вы можете подумать, что инстинкт любви ко всему человечеству всегда безопасен. И ошибетесь. Стоит вам пренебречь справедливостью, как окажется, что вы нарушаете договоры и даете ложные показания в суде «в интересах человечества», а это в конце концов

приведет к тому, что вы станете жестоким и вероломным человеком.

Некоторые люди в своих письмах задают мне такой вопрос: «Может быть, то, что Вы называете нравственным законом, на самом деле — общественное соглашение, которое становится нашим достоянием благодаря полученному образованию?» Я думаю, подобный вопрос возникает из-за неверного понимания некоторых вещей. Люди, задающие его, исходят из того, что если мы научились чему-то от родителей или учителей, то это «что-то»— непременно человеческое изобретение. Однако это совсем не так. Все мы учим в школе таблицу умножения. Ребенок, который вырос один на заброшенном острове, не будет знать этой таблицы. Но из этого, конечно, не следует, что таблица умножения — всего лишь человеческое соглашение, нечто изобретенное людьми для себя, что они могли бы изобрести и на иной лад, если бы захотели. Я полностью согласен с тем, что мы учимся правилу порядочного поведения от родителей, учителей, друзей и из книг, точно так же как мы учимся всему другому. Однако только часть этих вещей, которым мы учимся, просто условные соглашения, и они действительно могли бы быть изменены; например нас учат держаться правой стороны дороги, но мы с таким же успехом могли бы пользоваться правилом левостороннего движения. Иное дело — такие правила, как математические. Их изменить нельзя, потому что это реальные, объективно существующие истины.

Вопрос в том, к какой категории правил относится естественный закон.

Существуют две причины, говорящие за то, что он принадлежит к той же категории, что и таблица умножения. Первая, как я сказал в первой главе, заключается в том, что, несмотря на различный подход к вопросам морали в разных странах и в разные времена, эти различия несущественны. Они совсем не так велики, как некоторые люди себе представляют. Всегда и везде представления о морали исходили из одного и того же закона. Между тем простые (или условные) соглашения, подобные правилам уличного движения или покрою одежды, могут отличаться друг от друга безгранично.

Вторая причина состоит в следующем. Когда вы думаете об этих различиях в нравственных представлениях разных народов, не приходит ли вам в голову, что мораль одного народа лучше (или хуже) морали другого народа? Не способствовали ли бы ее улучшению некоторые изменения? Если нет, тогда, конечно, не могло быть никакого прогресса морали. Ведь прогресс означает не просто изменения, а изменения к лучшему. Если бы ни один из кодексов морали не был вернее или лучше другого, то не было бы смысла предпочитать мораль цивилизованного общества морали дикарей или мораль христиан морали нацистов.

На самом деле мы все, конечно, верим, что одна мораль лучше, правильнее, чем другая. Мы верим, что люди, которые пытались изменять моральные представления своего времени, которые были

так называемыми реформаторами, лучше понимали значение нравственных принципов, чем их ближние. Ну что ж, хорошо. Однако в тот самый момент, когда вы заявляете, что один моральный кодекс лучше другого, вы мысленно прилагаете к ним некий стандарт и делаете вывод, что вот этот кодекс более соответствует ему, чем тот.

Однако стандарт, который служит вам мерилом двух каких-то вещей, сам должен отличаться от них обеих. В данном случае вы, таким образом, сравниваете эти кодексы морали с некоей истинной моралью, признавая тем самым, что такая вещь, как истинная справедливость, действительно существует, независимо от того, что думают люди, и от того, что идеи одних более соответствуют этой истинной справедливости, чем идеи других. Или давайте посмотрим на это с другой стороны. Если ваши моральные представления могут быть более правильными, а моральные представления нацистов — менее правильными, то тогда должно существовать нечто — какая-то истинная моральная норма, которая может служить мерилом верности или неверности тех или иных взглядов. Причина, почему ваше представление о Нью-Йорке может быть вернее или, напротив, неправильнее моего, заключается в том, что Нью-Йорк — это реально существующее место и он существует независимо от того, что любой из нас думает о нем. Если бы каждый из нас, говоря «Нью-Йорк», подразумевал просто «город, который я себе вообразил», как могли бы представления одного из нас о нем быть вернее, чем представления другого? Тогда не могло бы быть и речи о чьей-то правоте или чьем-то заблуждении. Точно так же, если бы правило порядочного поведения просто подразумевало «все, что ни одобрит данный народ», не было бы никакого смысла утверждать, что один народ справедливее в своих оценках, чем другой. Не имело бы смысла говорить о том, что мир может улучшаться или ухудшаться в моральном отношении.

Таким образом, я могу сделать заключение, что, хотя различия между понятиями людей о порядочном поведении часто заставляют нас сомневаться, существует ли вообще такая вещь, как истинный закон поведения, тот факт, что мы склонны задумываться об этих различиях, доказывает, что он существует.

Перед тем как я закончу, позвольте мне сказать еще несколько слов. Я встречал людей, которые преувеличивали упомянутые расхождения, потому что не видели разницы между различиями в нравственных представлениях и в понимании определенных фактов или представлении о них. Например, один человек сказал мне: «Триста лет тому назад в Англии убивали ведьм. Было ли это проявлением того, что Вы называете естественным законом, или законом правильного поведения?» Но ведь мы не убиваем ведьм сегодня потому, что мы не верим в их существование. Если бы мы верили — если бы мы действительно думали, что вокруг нас существуют люди, продавшие душу дьяволу и получившие от него взамен сверхъестественную силу, которую они используют для

того, чтобы убивать своих соседей, или сводить их с ума, или вызывать плохую погоду,— мы все безусловно согласились бы, что, если кто-нибудь вообще заслуживает смертной казни, так это они, эти нечестивые предатели. В данном случае нет различия в моральных принципах: разница заключается только во взгляде на факт.

То обстоятельство, что мы не верим в ведьм, возможно, свидетельствует о большом прогрессе в области человеческого знания: прекращение судов над ведьмами, в существование которых мы перестали верить, нельзя рассматривать как прогресс в области морали. Вы не называли бы человека, который перестал расставлять мышеловки, гуманным, если бы знали: он просто убедился, что в его доме нет мышей.

III

РЕАЛЬНОСТЬ ЗАКОНА

Теперь я вернусь к тому, что сказал в конце первой главы о двух любопытных особенностях, присущих человечеству. Первая состоит в том, что людям свойственно думать, что они должны соблюдать определенные правила поведения, иначе говоря, правила честной игры, или порядочности, или морали, или естественного закона.

Вторая заключается в том, что на деле люди эти правила не соблюдают. Кое-кто может спросить, почему я называю такое положение вещей странным. Вам оно может казаться самым естественным положением в мире. Возможно, вы думаете, что я слишком строг к человеческому роду. В конце концов, можете сказать вы, то, что я называю нарушением закона добра и зла, просто свидетельствует о несовершенстве человеческой природы. И собственно говоря, почему я ожидаю от людей совершенства? Такая реакция была бы правильной, если бы я пытался точно подсчитать, насколько мы виновны в том, что сами поступаем не так, как, с нашей точки зрения, должны поступать другие. Но мое намерение состоит совсем не в этом. В данный момент меня вовсе не интересует вопрос вины; я стараюсь найти истину. И с этой точки зрения сама идея о несовершенстве, о том, что мы — не те, чем следовало бы быть, ведет к определенным последствиям.

Какой-нибудь предмет, например камень или дерево, есть то, что он есть, и не имеет смысла говорить, что он должен быть другим. Вы, конечно, можете сказать, что камень имеет «неправильную» форму, если вы собирались использовать его для декоративных целей в саду, или что это — «плохое дерево», потому что оно не дает вам достаточно тени. Но под этим вы только подразумевали бы, что этот камень или то дерево не подходят для ваших целей. Вы не станете, разве только шутки ради, винить их за это. Вы знаете, что из-за погоды и почвы ваше дерево просто не могло быть другим. Так что «плохое» оно пото-

му, что подчиняется законам природы точно так же, как и «хорошее» дерево.

Вы заметили, что из этого следует? Из этого следует, что то, что мы обычно называем законом природы, например влияние природных условий на формирование дерева, возможно, и нельзя называть законом в строгом смысле этого слова. Ведь говоря, что падающие камни всегда подчиняются закону тяготения, мы, в сущности, подразумеваем, что «камни делают так всегда». Не думаете же вы, в самом деле, что, когда камень выпускают из рук, он вдруг вспоминает, что имеет приказ лететь к земле. Вы просто имеете в виду, что камень действительно падает на землю. Иными словами, вы не можете быть уверены, что за этими фактами скрывается что-то, помимо самих фактов, какой-то закон о том, что должно случиться, в отличие от того, что действительно случается.

Законы природы, применительно к камням и деревьям, лишь констатируют то, что в природе фактически происходит. Но когда вы обращаетесь к естественному закону, к закону порядочного поведения, вы сталкиваетесь с чем-то совсем иным. Этот закон, безусловно, не означает «того, что человеческие существа действительно делают», потому что, как я говорил раньше, многие из нас не подчиняются этому закону совсем и ни один из нас не подчиняется ему полностью. Закон тяготения говорит вам, что сделает камень, если его уронить; закон же нравственный говорит о том, что человеческие существа должны делать и чего не должны. Иными словами, когда вы имеете дело с людьми, то, помимо простых фактов, подлежащих констатации, сталкиваетесь с чем-то еще, с какой-то привходящей движущей силой, стоящей над фактами. Перед вами факты (люди ведут себя так-то). Но перед вами и нечто еще (им следовало бы вести себя так-то). Во всем, что касается остальной Вселенной (помимо человека), нет необходимости ни в чем другом, кроме фактов. Электроны и молекулы ведут себя определенным образом, из чего вытекают определенные результаты, и этим, возможно, все исчерпывается. (Впрочем, я не думаю, что об этом свидетельствуют доводы, которыми мы располагаем на данном этапе). Однако люди ведут себя определенным образом, и этим, безусловно, ничто не исчерпывается, так как вы знаете, что они должны вести себя иначе.

Все это настолько странно, что люди стараются объяснить это так или иначе. Например, мы можем придумать такое объяснение: когда вы заявляете, что человек не должен вести себя так, как он себя ведет, вы подразумеваете то же самое, что в случае с камнем, когда говорите, что у него неправильная форма, а именно, что поведение этого человека причиняет вам неудобство. Однако такое объяснение было бы совершенно неверным. Человек, занявший угловое сиденье в поезде потому, что он пришел туда первым, и человек, который проскользнул на это угловое место, сняв с него ваш портфель, когда вы повернулись

к нему спиной, причинили вам одинаковое неудобство. Но второго вы обвиняете, а первого — нет. Я не сержусь — может быть, лишь несколько мгновений, пока не успокоюсь,— когда какой-нибудь человек случайно подставит мне ножку. Но прихожу в негодование, когда кто-то хочет подставить мне ножку умышленно, даже если это ему не удается. Между тем первый доставил мне неприятное мгновение, а второй — нет.

Иногда поведение, которое я считаю плохим, совсем не вредит мне лично, даже наоборот. Во время войны каждая сторона рада воспользоваться услугами предателя со стороны противника. Но и пользуясь его услугами, даже оплачивая их, обе стороны смотрят на предателя как на подонка. Поэтому вы не можете определить поведение других людей как порядочное, руководствуясь лишь критерием полезности этого поведения для вас лично. Что же касается нашего собственного порядочного поведения, то, я думаю, никто из нас не рассматривает его как поведение, которое приносит нам выгоду. Порядочно себя вести — это довольствоваться тридцатью шиллингами, когда вы могли бы получить три фунта; это честно выполнить свое школьное домашнее задание, когда можно было бы легко обмануть учителя; это оставить девушку в покое, вместо того чтобы воспользоваться ее слабостью; это не бежать из опасного места, заботясь о собственной безопасности; это сдерживать свои обещания, когда проще было бы забыть о них; это говорить правду, даже если в глазах других вы выглядите из-за этого дураком.

Некоторые люди говорят, что, хотя порядочное поведение не обязательно приносит выгоду данному человеку в данный момент, оно в конечном счете приносит выгоду человечеству в целом. И что, следовательно, ничего загадочного в этом нет. Люди, в конце концов, обладают здравым смыслом. Они понимают, что могут быть счастливыми или чувствовать себя в подлинной безопасности лишь в таком обществе, где каждый ведет честную игру. Именно поэтому они и стараются вести себя порядочно. Не вызывает, конечно, сомнения, что секрет безопасности и счастья лишь в честном, справедливом и доброжелательном отношении друг к другу со стороны как отдельных людей и групп, так и целых народов. Это одна из наиважнейших в мире истин. И тем не менее мы обнаруживаем в ней слабое место, когда пытаемся объяснить ею свой подход к проблеме добра и зла.

Если мы, спрашивая: «Почему я не должен быть эгоистом?», получаем ответ: «Потому что это хорошо для общества», то за этим может возникнуть новый вопрос: «Почему я должен думать о том, что хорошо для общества, если это не приносит никакой пользы мне лично?» Но на этот вопрос возможен лишь один ответ: «Потому что ты не должен быть эгоистом». Как видите, мы пришли к тому же, с чего начали. Мы лишь констатируем то, что является истиной. Если бы человек спросил вас, ради чего играют в футбол, то ответ «для того, чтобы забивать голы» едва ли был бы удачным. Ибо в забивании голов и состоит сама игра,

а не ее причина. Ваш ответ просто означал бы, что «футбол есть футбол», и это, безусловно, верно, но стоит ли говорить об этом? Точно так же, если человек спрашивает, какой смысл вести себя порядочно, бессмысленно отвечать ему: «Для того, чтобы принести пользу обществу». Так как стараться «принести пользу обществу», иными словами, не быть эгоистом, себялюбцем (потому что общество, в конечном итоге, означает «других людей»), это и значит быть порядочным, бескорыстным человеком.

Ведь бескорыстие является составной частью порядочного поведения. Таким образом, вы фактически говорите, что порядочное поведение — это порядочное поведение. С равным успехом вы могли бы остановиться на заявлении: «Люди должны быть бескорыстными».

Именно здесь хочу остановиться и я. Люди должны быть бескорыстными, должны быть справедливыми. Это не значит, что они бескорыстны или что им нравится быть бескорыстными; это значит, что они должны быть такими. Нравственный закон, или естественный закон, не просто констатирует факт человеческого поведения, подобно тому как закон тяготения констатирует факт поведения тяжелых объектов при падении. С другой стороны, этот естественный закон и не просто выдумка, потому что мы не можем забыть о нем. А если бы мы о нем забыли, то большая часть из того, что мы говорим и думаем о людях, обратилась бы в бессмыслицу. И это не просто заявление о том, как хотелось бы нам, чтобы другие вели себя ради нашего удобства. Потому что так называемое плохое или нечестное поведение не совсем и не всегда соответствует поведению, неудобному для нас. Иногда оно, наоборот, нам удобно. Следовательно, это правило добра и зла, или естественный закон, или как бы иначе мы ни назвали его, должно быть некоей реальностью, чем-то, что объективно существует, независимо от нас.

Однако это правило, или закон, не объективный факт в обычном смысле слова, такой, как, например, факт нашего поведения. И это наводит нас на мысль о некоей иной реальности, о том, что в данном конкретном случае за обычными фактами человеческого поведения скрывается нечто вполне определенное, царящее над ними, некий закон, которого никто из нас не составлял и который тем не менее воздействует на каждого из нас.

IV

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЗАКОНОМ

Давайте подведем итог тому, что мы выяснили на данный момент. В случае с камнями, деревьями и подобными им вещами так называемый закон природы — не более чем оборот речи. Говоря, что природа подчиняется определенным законам, вы лишь подразумеваете, что она ведет или проявляет себя определенным образом.

Так называемые законы не могут быть законами в полном смысле этого слова, то есть чем-то, стоящим над явлениями природы, которые мы наблюдаем. Но в случае с человеком дело обстоит иначе. Закон человеческой природы или закон добра и зла должен быть чем-то таким, что стоит над фактами человеческого поведения. И в этом случае, помимо фактов, мы имеем дело с чем-то еще — с законом, который мы не изобретали, но которому, мы знаем, мы должны следовать.

А сейчас я хочу разобраться, что говорит нам это открытие о Вселенной, в которой мы живем. С того момента, когда люди научились мыслить, они стали задумываться о том, что представляет из себя Вселенная и как она произошла. В самых общих чертах на этот счет существуют две точки зрения. Первая — это так называемая материалистическая точка зрения. Люди, которые разделяют ее, считают, что материя и пространство просто существуют, они существовали всегда и никто не знает почему; что материя, которая ведет себя определенным, раз и навсегда установленным образом, случайно ухитрилась произвести такие создания, как мы с вами, способные думать. По какому-то счастливому случаю, вероятность которого ничтожно мала, что-то ударило по нашему солнцу, и от него отделились планеты, и в силу другой такой же случайности, вероятность которой не выше, чем вероятность предыдущей, на одной из этих планет возникли химические элементы, необходимые для жизни, плюс необходимая температура, и, таким образом, часть материи на этой планете ожила, а затем, пройдя через длинную серию случайностей, живые существа развились в такие высокоорганизованные, как мы с вами.

Вторая точка зрения — религиозная. Согласно ей, источник происхождения видимой Вселенной следует искать в каком-то разуме (скорее, чем в чем-либо другом). Этот разум обладает сознанием, имеет свои цели и отдает предпочтение одним вещам перед другими. С религиозной точки зрения именно этот разум и создал Вселенную, частично ради каких-то целей, о которых мы не знаем, а частично и для того, чтобы произвести существа, подобные себе самому, я имею в виду — наделенные, подобно ему, разумом. Пожалуйста, не подумайте, что одна из этих точек зрения бытовала давным-давно, а другая постепенно вытеснила ее. Всюду, где когда-либо жили мыслящие люди, существовали они обе. И заметьте еще одну вещь. Вы не можете установить, какая из этих двух теорий правильна с научной точки зрения. Наука ведь действует путем экспериментов. Она наблюдает, как ведут себя предметы, материалы, элементы и т. п. Любое научное заявление, каким бы сложным оно ни казалось, сводится в конечном счете к следующему: «Я направил телескоп на такую-то часть неба в 2.20 ночи 15 января и увидел то-то и то-то». Или: «Я положил некоторое количество этого вещества в сосуд, нагрел до такой-то температуры, и получилось то-то и то-то». Не подумайте, что я имею что-нибудь против науки. Я только поясняю, как она действует. И чем человек ученее, тем скорее (я надеюсь) он согласится

со мной, что именно в этом и состоит наука, именно в этом польза ее и необходимость. Но почему все эти объекты, которые изучает наука, существуют вообще и стоит ли за этими объектами нечто совершенно от них отличное — вовсе не вопрос науки. Если за всей обозреваемой нами действительностью «нечто» существует, то оно либо останется неизвестным для людей, либо даст им знать о себе каким-то особым путем. Заявления же о том, что это «нечто» существует, либо, наоборот, не существует, в компетенцию науки не входят. И настоящие ученые обычно подобных заявлений не делают. Чаще с ними выступают журналисты и авторы популярных романов, нахватавшиеся непроверенных научных данных из учебников. В конечном счете простой здравый смысл говорит нам: предположим, когда-нибудь наука станет настолько совершенной, что постигнет каждую частицу Вселенной; не ясно ли, что на вопросы «Почему существует Вселенная?», «Почему она ведет себя так, а не иначе?» и «Есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании?» тогда, как и теперь, ответа не будет.

Положение было бы совершенно безнадежным, если бы не одно обстоятельство. Во Вселенной есть одно существо, о котором мы знаем больше, чем могли бы узнать о нем только благодаря наблюдениям извне. Это существо — *человек*. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами — люди. В данном случае мы располагаем так называемой внутренней информацией. И благодаря этому нам известно, что люди чувствуют себя подвластными какому-то моральному закону, которого они не устанавливали, но о котором не могут забыть, как бы ни старались, и которому, они знают, следует подчиняться. Обратите внимание вот на что: всякий, кто стал бы изучать *человека* со стороны, как мы изучаем электричество или капусту, не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получить от нас внутреннюю информацию,— из простого наблюдения за нашим поведением никогда не пришел бы к выводу, что у нас есть нравственный закон. Да и как он мог бы прийти к нему? Ведь его наблюдения показывали бы ему только то, что мы делаем, а нравственный закон говорит о том, что мы должны делать. Точно так же если бы что-то скрывалось или стояло за доступными нашему наблюдению фактами в случае с камнями или погодой, то мы, наблюдая их со стороны, и надеяться не могли бы обнаружить это «что-то».

Вопрос, таким образом, становится в другую плоскость. Мы хотим знать, стала ли Вселенная тем, что она есть, случайно, сама по себе, без какой бы то ни было причины, или за этим стоит какая-то сила, которая делает Вселенную именно такой. Поскольку эта сила, если она существует, не может быть одним из наблюдаемых фактов, но является реальностью, которая эти факты создает, простое наблюдение за ними ее не обнаружит. Только одно-единственное явление наводит на мысль о существовании «чего-то», помимо наблюдаемых фактов, и это явление — мы сами. Лишь в нашем собственном случае мы видим: это «что-то» существует.

Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Если бы за пределами Вселенной существовала какая-то контролирующая сила, она не могла бы показать себя нам в виде одного из внутренних элементов, присущих Вселенной, как архитектор, по проекту которого сооружен дом, не мог бы быть стеной, лестницей или камином в этом доме. Единственное, на что мы могли бы надеяться, это то, что сила эта проявит себя внутри нас в форме определенного влияния или приказа, стараясь направить наше поведение в определенное русло. Но именно такое влияние мы и находим внутри себя. Не правда ли, такое открытие должно было бы пробудить наши подозрения? Единственный случай, когда мы могли бы надеяться на получение ответа, дает нам ответ *положительный;* а в других случаях, где мы не получаем ответа, мы видим, почему не можем его получить.

Предположим, кто-то спросил меня: «Почему, когда вы видите человека в синей униформе, идущего вдоль по улице и оставляющего маленькие бумажные пакеты у каждого дома, вы предполагаете, что эти пакеты содержат письма?» Я бы ответил: «Потому что всякий раз, когда он оставляет подобный бумажный пакет для меня, я нахожу в нем письмо». И если бы этот человек возразил: «Но вы же никогда не видели тех писем, которые, по вашему мнению, получают другие люди», на это я бы ответил: «Конечно нет, ведь они не мне адресованы, я догадываюсь о содержимом пакетов, которые мне не разрешается открывать, по аналогии с тем пакетом, который я могу открыть».

Точно так же обстоит дело с нашим вопросом. Единственный пакет, который мне разрешается открыть, это человек. И когда я это делаю, особенно когда открываю одного конкретного человека, которого называю «Я», то обнаруживаю, что я не существую сам по себе, что я подвластен какому-то закону; что-то или кто-то желает, чтобы я вел себя определенным образом. Я, конечно, не думаю, что если бы мне удалось проникнуть внутрь камня или дерева, то я нашел бы там точно то же самое, точно так же, как я не думаю, что все остальные люди на этой улице получают такие же письма, как я. Я мог бы, например, надеяться обнаружить, что камень обязан подчиняться закону тяготения. «Отправитель писем» просто говорит мне, чтобы я подчинялся закону моей человеческой природы, тогда как камень он заставляет подчиняться законам его природы. Но мне следовало бы при этом ожидать, что в обоих случаях действует «отправитель писем», сила, стоящая за фактами, Начальник жизни, ее Руководитель.

Не подумайте, пожалуйста, что я иду быстрее, чем я иду на самом деле. Я и на сто километров не подошел еще к Богу, каким трактует Его христианская теология. Все, что я выразил до сих пор, сводится к следующему: существует нечто, руководящее Вселенной и проявляющееся во мне в виде закона, который побуждает меня творить добро и испытывать угрызения совести за содеянное мною зло. Я думаю, нам следует предположить, что эта

сила скорее подобна разуму, чем чему-нибудь иному, потому что, в конечном счете, единственное, что мы знаем помимо разума,— это материя. Но едва ли можно вообразить себе кусок материи, дающий указания. Впрочем, вряд ли эта сила точно соответствует разуму в нашем понимании; пожалуй, еще меньше соответствует она человеческой личности.

Посмотрим, удастся ли нам в следующей главе узнать немного больше об этой силе. Но одно слово предостережения: в последнее столетие появилось немало слишком вольных фантазий на тему о Боге. Я решительно не собираюсь предлагать вам нечто подобное.

Примечание. Для того чтобы данный раздел вышел достаточно кратким и пригодным для радиопередач, я упомянул только материалистическую и религиозную точки зрения. Но для полноты картины мне следовало бы упомянуть о промежуточной точке зрения, о так называемой философии «жизненной силы», или о творческой эволюции. Наиболее остроумно философия эта представлена у Бернарда Шоу, но глубже всего она освещена в трудах Бергсона. Люди, придерживающиеся этой философии, полагают, что небольшие изменения, в результате которых жизнь на нашей планете эволюционировала от ее низших форм до человека, не были случайными, но направлялись «целеустремленной» силой жизни.

Когда люди говорят о такой силе, мы вправе спросить их, обладает ли эта сила, по их мнению, разумом. Если да, то «разум, породивший жизнь и ведущий ее к совершенству»,— это просто Бог. Таким образом, эта точка зрения уподобляется религиозной.

Если же они полагают, что сила эта лишена разума, то как могут они утверждать, будто «нечто», не обладающее разумом, к чему-то «стремится» или имеет какую-то «цель»? Не фатальна ли такая логика для их точки зрения?

Идея творческой эволюции очень многих привлекает тем, что она не лишает удовольствия верить в Бога, но в то же время освобождает человека от не очень приятных последствий, вытекающих из Его существования. Когда у вас прекрасное здоровье, и солнце сияет, и вы не хотите думать о том, что вся Вселенная — лишь механический танец атомов, приятно поразмышлять о великой таинственной силе, которая струится через века, неся вас на себе. Если, с другой стороны, вы хотите сделать что-то бесчестное, то сила жизни, будучи слепой, лишенной разума и нравственных понятий, не станет вмешиваться в ваши намерения, как вмешивается тот назойливый бог, про которого нам рассказывали в детстве: Сила жизни — это своего рода ручной, укрощенный бог. Вы можете настроиться на его волну, когда у вас появится желание, но сам он тревожить вас не станет. Словом, при вас остаются все удовольствия от религии, а платить ни за что не надо. Поистине, эта теория — величайшее достижение нашей склонности принимать желаемое за действительное!

V
У НАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Я закончил последнюю главу той мыслью, что с помощью нравственного закона кто-то или что-то за пределами материальной Вселенной наступает на нас. И я подозреваю, что когда я дошел до этого пункта, некоторые из вас почувствовали определенное беспокойство. Вы даже могли подумать, что я сыграл с вами злую шутку — что я старательно маскировал «религиозное нравоучение», чтобы сделать его похожим на философию. Быть может, вы готовы были слушать меня до тех пор, пока думали, что я собираюсь сказать что-то новое; но если это «новое» обернулось просто-напросто религией — что ж, мир уже испробовал это, и вы не можете повернуть время вспять. Если кто-нибудь из вас испытывает подобные чувства, мне хотелось бы сказать такому человеку три вещи.

Первое — относительно поворота времени вспять. Подумали бы вы, что я шучу, если бы я сказал, что надо бы перевести стрелки часов? Ведь когда часы идут неверно, такая мера зачастую разумна.

Но оставим пример с часами и стрелками. Все мы стремимся к прогрессу. Однако прогресс означает приближение к тому месту, к той точке, которую вы хотите достигнуть. И если мы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит нас к цели. Прогрессом в этом случае был бы поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу; а самым прогрессивным человеком окажется тот, который скорее повернет назад. Мы все могли убедиться в этом, когда занимались арифметикой. Если я с самого начала неправильно произвел сложение, то чем скорее я признаю это и вернусь назад, чтобы все начать сызнова, тем скорее найду правильный ответ. В ослином же упрямстве, в отказе признать свою ошибку нет ничего прогрессивного.

Если вы задумаетесь над современным состоянием мира, вам станет совершенно ясно, что человечество совершает великую ошибку. Мы все — на неверном пути. А если это так, то всем нам необходимо вернуться назад. Возвращение назад — это скорейший путь вперед.

Второе: заметьте, что мои рассуждения — еще не совсем религиозное «нравоучение». Мы еще далеки от Бога какой-либо конкретной религии, тем более от Бога религии христианской. Мы лишь подошли к *кому-то или чему-то,* что стоит за моральным законом. Мы не прибегаем пока ни к Библии, ни к тому, о чем говорится в Церкви; мы стараемся понять, не можем ли мы узнать что-либо об этом таинственном «Некто» своими собственными силами. И тут я со всей откровенностью хочу сказать: то, что мы обнаруживаем, действует на нас, как шок. Два факта свидетельствуют об этом «Некто».

Первый — созданная Им Вселенная. Если бы Вселенная была единственным свидетельством о Нем, то из наблюдения за ней

мы должны были бы сделать вывод, что Он, этот загадочный «Некто» — великий художник (потому что Вселенная воистину прекрасна). Но в то же время мы вынуждены были бы признать, что Он безжалостен и враждебен к людям (потому что Вселенная — очень опасное место, внушающее неподдельный ужас).

Второй факт, указывающий на Его существование,— это нравственный закон, который Он вложил в наш разум. И это второе свидетельство более ценно, нежели первое, поскольку оно дает нам информацию внутреннего характера. Из нравственного закона вы больше узнаете о Боге, чем из наблюдения за Вселенной, точно так же как вы больше узнаете о человеке, слушая, как и что он говорит, нежели созерцая построенный им дом.

На основании этого второго факта мы делаем заключение, что Существо, пребывающее за видимой Вселенной, горячо заинтересовано в правильном поведении людей, в их «честной игре», в бескорыстии их, храбрости, искренней вере, честности и правдивости. В свете этого нам приходится согласиться с утверждением христианства и некоторых других религий, что Бог добр. Но не будем спешить. Нравственный закон не дает нам никаких оснований считать, что Бог добр в том смысле, что Он снисходителен, мягок, благожелателен.

В нравственном законе не чувствуется никакой снисходительности. Он тверд как алмаз. Он приказывает идти прямыми путями и, кажется, вовсе не заботится о том, насколько болезненно, опасно или трудно следовать этому приказу. Если Бог таков же, как этот нравственный закон, то Он едва ли мягок.

На данном этапе нам нет смысла говорить, что под «добрым» Богом мы понимаем такого Бога, который способен прощать. Ведь прощать способна только личность. Но мы еще не вправе утверждать, что Бог — личность. Пока мы пришли к заключению, что сила, которая скрывается за нравственным законом, скорее похожа на разум, чем на что-то другое. Но это еще не значит, что эта сила должна быть личностью. Если это просто безличный, бесчувственный разум, то, вероятно, нет смысла просить его о помощи или о поблажке, как не имело бы смысла просить таблицу умножения простить вас за неправильный счет. Неверного ответа вам в этом случае не избежать. И бесполезно говорить, что если Бог таков, если Он — безличное абсолютное добро, то Он вам не нравится и вы не собираетесь обращать на Него внимания. Бесполезно это, потому что одна часть вас самого стоит на стороне этого Бога и искренне соглашается с Его осуждением человеческой жестокости, жадности, бесчестности и корысти. Вы, быть может, хотели бы, чтобы Он был снисходительнее на этот раз. Но в глубине души вы сознаёте, что, если сила, стоящая за Вселенной, не будет безоговорочно обличать недостойное поведение, она перестанет быть добром. С другой стороны, мы знаем: если существует абсолютное добро, оно должно ненавидеть бóльшую часть того, что мы с вами делаем.

Вот в каком ужасном, безвыходном положении оказываемся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, то все наши усилия в конечном счете напрасны. Если же абсолютное добро все-таки правит Вселенной, то мы ежедневно бросаем ему враждебный вызов, и непохоже на то, чтобы завтра мы стали сколько-нибудь лучше, чем сегодня. Таким образом, и в этом случае наша ситуация безнадежна. Мы не можем жить без этого добра, и не можем жить в согласии с ним.

Бог — наше единственное утешение, и ничто не вызывает в нас большего ужаса, чем Он: в Нем мы сильнее всего нуждаемся и от Него же больше всего хотим спрятаться. Он — наш единственный возможный союзник, а мы сделали себя Его врагами. Послушать некоторых людей, так встреча лицом к лицу с абсолютным добром — одно удовольствие. Им следовало бы хорошенько задуматься; они все еще играют в религию. Надмирная доброта несет с собой либо великое облегчение, либо — величайшую опасность, в зависимости от того, как вы ей отвечаете. А мы с вами отвечаем неправильно.

Теперь я подошел к третьему пункту. Избирая этот окольный путь, чтобы подойти к тому предмету, который меня действительно интересует, я не хотел разыгрывать вас. Я избрал его вот по какой причине: всякий разговор о христианстве лишен смысла для людей, не познакомившихся предварительно с фактами, которые я описал выше. Христианство призывает людей покаяться, чтобы получить прощение. Ему нечего (насколько мне известно) сказать тем людям, которые не знают за собой ничего такого, в чем следует покаяться, и которые не чувствуют, что нуждаются в прощении. Только после того, как вы осознаете, что нравственный закон действительно существует, как существует и сила, стоящая за ним, и что вы нарушили этот закон и повели себя неверно в отношении этой силы,— только тогда, и ни секундой раньше, христианство станет обретать для вас смысл.

Когда вы знаете, что больны, вы следуете советам доктора. Когда вы осознаете всю безысходность вашего положения, вы начнете понимать, о чем говорят христиане, потому что они предлагают объяснение нашим обстоятельствам: как это случилось, что мы одновременно ненавидим добро и любим его. Они предлагают объяснение того, каким образом Бог может быть безличным разумом, стоящим за нравственным законом, и в то же самое время — Личностью. Они говорят вам, как невыполнимые для нас требования закона были выполнены за нас, как Бог Сам стал человеком, чтобы спасти человека от Божьего осуждения. Это старая история, и, если вы пожелаете углубиться в нее, вы, несомненно, обратитесь к тем, кто более компетентен, чем я. Все, чего я прошу от вас,— это взглянуть в лицо фактам, чтобы понять вопросы, на которые христианство предлагает ответы. А это — пугающие факты. Я хотел бы сказать что-нибудь более радужное; но должен говорить то, что считаю правдой. Я, конечно, целиком согласен с тем, что христианская религия, в конечном счете — источник несказанного уте-

шения. Но начинается она не с утешения. Она начинается с тревоги и смятения, которые я описал выше, и не имела бы смысла попытка прийти к этому утешению, минуя стадию тревоги. В религии — как на войне, как в других ситуациях: покой (утешение) нельзя обрести, если искать только его. Вот если вы будете искать истину, то, возможно, в конце концов обретете и покой; а если все ваши поиски направлены на покой, вы не найдете ни его, ни истины. Все, что вы найдете,— это пустые речи да помышления, которые будут вам казаться истиной в начале пути, в конце же его вас ждет безнадежное отчаяние. В большинстве своем мы излечились от предвоенных розовых мечтаний о согласованной международной политике. Настало время излечиться от них и в религии.

Книга II
ВО ЧТО ВЕРЯТ ХРИСТИАНЕ

I
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОНЯТИЯ О БОГЕ

Меня попросили рассказать вам, во что верят христиане. Я начну с рассказа о том, во что им не нужно верить. Если вы христианин, вы не обязаны верить, что все остальные религии неверны от начала до конца. Если вы атеист, вам приходится верить, что в основе всех религий мира кроется одна гигантская ошибка. Если вы христианин, вы свободны думать, что все религии, в том числе самые странные, содержат хотя бы крупинку истины. Когда я был атеистом, я пытался убедить себя, что человечество в большинстве своем всегда заблуждалось в вопросе, который имеет для него наиважнейшее значение; став христианином, я обрел способность взглянуть на вещи с более либеральной точки зрения. Но безусловно, быть христианином — значит не сомневаться, что всюду, где христианство расходится во взглядах с другими религиями, христианство право, а другие религии ошибаются. Как в арифметике: возможен лишь один правильный ответ на задачу, все остальные — неверны; но некоторые из неверных ответов ближе к верному, чем другие.

Человечество делится на две основные группы: на большинство, которое верит в какого-то Бога или богов, и на меньшинство, которое не верит в Бога вообще.

Христианство, естественно, относится к большинству — оно в одном лагере с древними римлянами, современными дикарями, стоиками, платониками, индусами, магометанами и т. п., против современного западноевропейского материализма.

Но существует разделение между людьми, верующими в Бога. К нему я перехожу теперь. Сводится оно к тому, в каких богов люди верят. И здесь — два очень разных подхода. Одни полагают, что Бог стоит над добром и злом. Мы, люди, называем одну вещь хорошей, а другую — плохой. Но, по мнению некоторых, понятие «хорошего и плохого» существует только с нашей, человеческой, точки зрения. Такие люди говорят: по мере того, как вы возрастаете в мудрости, у вас все меньше и меньше желания называть что-то плохим или хорошим; вы видите, что все имеет хорошие и плохие стороны, и ничего тут нельзя изменить. В результате эти люди полагают, что задолго до того, как вы подойдете к божественной точке зрения, всякое различие между понятиями добра и зла исчезнет без следа. Мы называем рак злом, говорят они, потому что он убивает человека; но с таким же успехом можно назвать злом успешное вмешательство хирурга, потому что он убивает рак. Все зависит от точки зрения.

Другая, противоположная, точка зрения состоит в том, что Бог, совершенно определенно,— добрый и праведный, что Ему

небезразлично, какую сторону принять, что Он любит любовь и ненавидит ненависть и хочет, чтобы мы вели себя так, а не иначе. Первое из этих двух представлений — Бог пребывает за пределами добра и зла — называется пантеизмом. Эту идею разделял великий прусский философ Гегель; ее разделяют, насколько я понимаю, индусы. Противоположный взгляд на Бога присущ евреям, магометанам, христианам.

За этим различием в представлениях о Боге между пантеизмом и христианством следует обычно другое. Пантеисты, как правило, верят, что Бог, так сказать, одушевляет Вселенную, как вы одушевляете свое тело; что Вселенная и есть почти то же самое, что Бог, и поэтому, если бы она не существовала, Он бы тоже не существовал, и все, что находится во Вселенной,— часть Бога. Христианство придерживается совершенно другой идеи. Христиане считают, что Бог задумал и создал Вселенную, как человек создает картину или мелодию. Картина — не то же самое, что художник, и художник не умрет, если его картины уничтожить. Вы можете сказать: «Он вложил часть самого себя в эту картину», но, говоря так, вы лишь подразумеваете, что вся красота и смысл этого произведения зародились у него в голове. Его мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит ей в той же степени, в какой оно присуще его голове и рукам.

Я надеюсь, вы теперь видите, как одно различие между пантеизмом и христианством неизбежно влечет за собой другое. Если вы не принимаете всерьез различия между добром и злом, то очень легко придете к выводу, что все во Вселенной — часть Бога. Если же вы считаете, что некоторые дела и вещи действительно плохи, между тем как Бог плохим быть не может, подобная точка зрения неприемлема для вас. В таком случае вы должны верить, что Бог и мир — не одно и то же и некоторые вещи, наблюдаемые нами в мире, противоречат Его воле. По поводу рака или трущоб пантеист может сказать: «Если бы вы могли видеть с Божественной точки зрения, вы бы поняли, что и это — Бог». Христианин ответит: «Что за мерзкая чушь!». Ведь христианство — религия воинствующая. Христианство считает, что Бог сотворил мир — пространство и время, жар и холод, все цвета и все вкусовые ощущения, всех животных и все растения — и все это Бог придумал, как писатель придумывает сюжет. Но христианство, кроме того, считает: очень многое из того, что Бог сотворил, свернуло с пути, Богом предназначенного, и Бог настаивает, и настаивает очень решительно, чтобы именно мы вернули заблудшее на правильный путь.

Конечно, это влечет за собой очень серьезный вопрос. Если мир действительно сотворен добрым, справедливым Богом, почему он свернул на неправильный путь? Много лет я просто отказывался слушать, что отвечали христиане, потому что рассуждал так: «Что бы вы ни говорили, к каким бы аргументам ни прибегали, не проще и не легче ли просто признать, что мир не создан разумной силой? А может, все ваши аргументы — просто сложная попытка уйти от очевидного?» И тут я столкнулся с другой трудностью.

Мой аргумент против существования Бога сводился к тому, что Вселенная мне казалась слишком жестокой и несправедливой. Однако как пришла мне в голову сама идея *справедливости и несправедливости?* Человек не станет называть линию кривой, если не имеет представления о прямой линии. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливой? Если все на свете, от «А» до «Я», плохо и бессмысленно, то почему я сам, частица этого «всего», с такой страстью возмущаюсь? Человек чувствует себя мокрым, когда падает в воду, потому что человек не водяное животное; рыба не чувствует себя мокрой. Я, конечно, мог бы отказаться от объективной значимости моего чувства справедливости, сказав себе, что это — лишь мое чувство. Но если бы я сделал так, рухнул бы и мой аргумент против Бога, потому что аргумент этот зиждется на том, что мир на самом деле несправедлив, а не с моей точки зрения.

Таким образом, сама попытка доказать, что Бога нет — иными словами, что вся объективная реальность лишена смысла,— вынуждала меня допустить, что, по крайней мере, какая-то часть объективной реальности, моя идея справедливости, смысл имеет. Следовательно, атеизм оборачивается крайне примитивной идеей. Ведь если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли обнаружить, что она не имеет смысла; точно так, как если бы во Вселенной не было света и, следовательно, не было бы существ с глазами, мы бы никогда не обнаружили, что нас окружает тьма.

II
ВТОРЖЕНИЕ

Итак, атеизм слишком примитивен. Но я укажу вам на другую примитивную идею. Я называю ее «христианством, разведенным в водичке». Согласно этой идее, на небе живет хороший, добрый Бог и все идет как надо. Всем трудным и пугающим доктринам о грехе и аде, о дьяволе и искуплении просто не придается значения.

Искать простую религию — бессмысленно. В конце концов, реальных вещей, которые были бы просты, нет. Иногда они выглядят простыми — например, стол, за которым я сижу; но спросите ученого, из чего этот стол сделан,— обо всех этих атомах, о световых волнах, которые отражаются от них и ударяют в мой глаз, воздействуя на мой оптический нерв, и как это воздействует на мой мозг. Тогда вы увидите, что процесс, который мы описываем в двух словах — «видеть стол», представляет из себя сплетение таинственных и сложных явлений, сложных настолько, что вы едва ли когда-нибудь сможете проникнуть в них до конца. Когда ребенок произносит молитву, это выглядит очень просто. Если вас это вполне удовлетворяет и вы готовы поставить на этом точку,— прекрасно. Однако, если вы не можете на этом остановиться — а современный мир обычно ни на чем и ни перед чем не останавли-

вается так легко,— если вы желаете продолжить и спрашиваете, что же происходит на самом деле, приготовьтесь к трудностям. Если мы ищем чего-то бóльшего, чем предельно простое, глупо жáловаться, что́ «бóльшее» — не просто.

Очень часто, однако, в такие глупые рассуждения пускаются совсем неглупые люди из желания, сознательно или бессознательно, подорвать христианство. Обычно они берут одну из версий христианства, рассчитанную на шестилетнего ребенка, и нападают на нее. Когда же вы стараетесь разъяснить им христианскую доктрину в том ее виде, в каком исповедуют ее образованные взрослые люди, они начинают жаловаться, что от вас голова идет кругом, что все это слишком сложно и, если бы Бог действительно существовал, Он сделал бы религию «простой», потому что простота так прекрасна.

С такими людьми следует быть настороже, они каждую минуту меняют тему и лишь отнимают у вас время. Обратите внимание на идею, что «Бог сделал бы религию простой», как будто религия — это что-то такое, что Бог изобрел, а не Его откровение нам о совершенно неизменных фактах и о Его собственной природе.

Объективная реальность отличается не только сложностью; она, по моим наблюдениям, нередко выглядит странно. Она какая-то нескладная, неясная, словом — не такая, как нам хотелось бы.

Например, когда вы постигли идею, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, у вас, естественно, возникает предположение, что все планеты созданы по тому же принципу: на равном расстоянии друг от друга, к примеру, или на расстоянии, равномерно увеличивающемся; или что все они одинакового размера либо увеличиваются или уменьшаются по мере удаления от Солнца. В действительности же вы не находите ни ритма, ни смысла (понятного вам) ни в размерах планет, ни в расстояниях между ними; у некоторых из них — по одному спутнику, у одной — четыре, у другой — два, у некоторых — ни одного, а одна из планет окружена кольцом.

Итак, объективная реальность таит в себе загадки, разгадать которые мы не в силах. Вот одна из причин, почему я пришел к христианству. Это религия, которую вы не могли бы придумать. Если бы христианство предлагало вам такое объяснение Вселенной, какого мы всегда ожидали, я бы посчитал, что мы сами изобрели его. Но, право же, не похожа эта религия на чье-то изобретение. *Христианству свойствен тот странный изгиб, который характерен для реальных, объективно существующих вещей.* Так что отрешимся от детской философии, от этого пристрастия к слишком простым ответам. Проблема, с которой мы имеем дело, непроста, и ждать простого ответа не приходится.

В чем же состоит эта проблема? Очевидно, в том, что во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но при этом в ней имеются существа, мы сами, которые знают об этом. Известны лишь две точки зрения на совокупность этих фактов. Одна из них — христианская — говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный

путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения — так называемый дуализм — предполагает, что за всем происходящим в мире стоят две равноценные и независимые силы — добро и зло, и наша Вселенная — поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что, после христианства, дуализм — наиболее человечная и разумная гипотеза. Но в ней есть одно слабое место.

Эти две силы, или два духа, или два бога — добрый и злой — абсолютно независимы. Оба они существуют в вечности. Ни один из них не создавал другого, ни один не имеет преимущественного права называться Богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой — любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого — силою зла? Мы либо говорим этим, что почему-то предпочитаем одну из этих сил другой — как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, что, независимо от того, что́ эти силы думают о себе или что́ мы, люди, думаем о них, одна из них действительно неверна и несомненно ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Ибо «добро» означает нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, что нравится нам. Если бы «добро» было добром только потому, что нам вздумалось принять его сторону, оно не заслужило бы своего названия. Так что мы должны признать, что одна из этих двух сил — объективное «зло», а другая — объективное «добро».

Однако в тот самый момент, когда вы признаёте это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью — какой-то закон, или стандарт, или правило добра, с которым одна из них согласуется, а другая — нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или Существо, установившее его, оказывается вне наших двух сил и гораздо выше их обеих. Вот этот-то закон, или Существо, и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с истинным, высшим Божеством, а другая противится Ему.

К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам: либо оттого, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают чувственное удовольствие от жестокости, либо потому, что ценой проявленной жестокости они надеются получить желаемое — деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствия, власть, безопасность — сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к не-

правильным методам, к нечестному пути, либо — в чрезмерном количестве.

Люди, поступающие так, крайне испорчены. Но не об этом речь. Я хочу сказать, что зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра; но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда этот поступок не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро — правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость — это что-то неправильное. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать лишь в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, вещь в себе, оно существует само по себе, тогда как зло представляет из себя испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим.

Мы называем садизм половым извращением; но прежде чем стать сексуально извращенным, вы должны получить представление о нормальном половом влечении; распознать извращение вы можете потому, что в состоянии объяснить его, исходя из нормы; а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не можете. Из этого следует, что представление о силе зла, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой сила добра любит добро,— не более как мираж. Чтобы силе зла стать скверной, ей необходимо сначала пожелать хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями; ей надо ощутить побуждения, добрые в своей основе, чтобы иметь возможность извратить их. Но и стремление к добру, и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила зла получит лишь от силы добра. А если так, то сила зла не может быть ни от чего не зависимой. Она — часть мира, в котором царит сила добра, и сотворена либо этой силой, либо какой-то другой, стоящей над ними обеими.

Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, сила зла должна была существовать и обладать разумом и волей. Но существование, разум и воля сами по себе — добро. Таким образом, сила зла должна была получить все это от силы добра; даже для того, чтобы стать плохой, силе зла пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своего оппонента. Становится ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол — это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло — паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы для своего существования зло черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе — не зло, а добро: решимость, ум, красота и, собственно, существование. Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает.

Но я готов признать, что истинное христианство (в отличие от христианства, разбавленного водичкой) гораздо ближе к дуализ-

му, чем думают. Когда я впервые всерьез прочитал Новый завет, меня особенно поразила одна вещь — а именно то, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако по мнению христианства (в отличие от дуализма) эта сила тьмы создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала она на неверный путь.

Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны. Но оно не считает, что это — война между зависимыми силами. Христианство утверждает, что это гражданская война, мятеж, и мы с вами живем в той части Вселенной, которая оккупирована мятежниками.

Оккупированная территория — вот что такое этот мир. А христианство — рассказ о том, как на эту территорию сошел праведный царь, сошел, можно сказать, инкогнито, и призвал нас к саботажу. Когда вы идете в церковь, вы на самом деле принимаете секретные сообщения по радиопередатчику от своих друзей. Вот почему враг так настойчиво старается помешать посещению церкви. Он играет на нашем самомнении, лени, интеллектуальном снобизме. Кто-нибудь, возможно, спросит меня: «Не хотите ли вы в наше просвещенное время вновь представить нам старого приятеля, дьявола, с рогами, копытами и всем прочим?» Я не знаю, при чем тут просвещенное время, и меня не особенно интересует такая деталь, как рога и копыта. Но в остальном я ответил бы: «Да, именно это я собираюсь сделать». Я не утверждаю, что мне что-либо известно о его внешности. Если кто-то действительно желает узнать его получше, такому человеку я скажу: «Не беспокойтесь. Если вы в самом деле хотите познакомиться с ним поближе, то непременно познакомитесь. Понравится ли вам это — другой вопрос».

III
ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Христиане, таким образом, верят, что сила зла стала князем этого мира. И тут, конечно, возникают проблемы. Происходит ли все это в соответствии с волей Бога? Если да, то Он — довольно странный Бог, скажете вы; если же зло воцарилось в мире вопреки Его воле, то как же что-либо может происходить вопреки воле Того, Кто обладает абсолютной властью?

Однако каждый человек, который был когда-либо наделен властью, знает, как некоторые вещи могут, с одной стороны, соответствовать вашей воле, а с другой — быть ей вопреки. Мать, например, может с полным основанием сказать своим детям: «Я не собираюсь каждый вечер приводить в порядок вашу комнату. Вы должны учиться держать ее в порядке сами». Однажды вечером она заходит в детскую и видит, что плюшевый мишка, чернильница и учебник по французской грамматике свалены вместе. Это противоречит ее воле. Она предпочла бы, чтобы ее дети были

аккуратными. Но, с другой стороны, в этом и была ее воля — привить детям самостоятельность; однако это влечет за собой свободу выбора для них. Такие же ситуации возникают при любой системе правления, на службе, в школе. Вы объявляете какую-то обязанность добровольной, и сразу половина людей эту обязанность не выполняет. Это не согласуется с вашей волей, однако стало возможным именно по вашей воле.

Возможно, то же происходит и во Вселенной. Некоторые создания Свои Бог наделил свободной волей. Это значит, что они могут выбирать верный или неверный путь. Некоторым людям кажется, что можно придумать такое существо, которое было бы свободным, но лишенным возможности поступать неправильно. Я такое существо представить себе не могу. Если кто-то свободен делать добро, он свободен делать зло. Именно свободная воля сделала возможным зло. Почему же тогда Бог дал созданиям Своим свободу воли? Потому что без свободной воли, хотя она и обусловливает появление зла, невозможны истинная любовь, доброта, радость и все то, что представляет ценность в мире.

Мир автоматов-роботов — существ, действующих, как машины, едва ли стоил бы того, чтобы его создавать. Счастье, которое Бог приготовил для Своих высших созданий,— это счастье свободно соединяться с Ним и друг с другом в порыве любви и восхищения, в сравнении с которыми самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной — как разбавленное молоко. Но для этого создания должны быть свободными.

Бог, конечно, знал, что произойдет, если они воспользуются своей свободой неверно. Но очевидно, Он считал, что задуманное Им стоит риска. Возможно, мы не склонны согласиться с Ним. Но с Богом не соглашаться трудно. Он источник, из которого вы черпаете всю силу ваших аргументов. Вы не можете быть правы, а Он — неправ, точно так же как поток не может подняться выше уровня своего источника. Оспаривая правильность Его решений, вы выступаете против той силы, которая наделяет вас самой способностью спорить. Другими словами, вы рубите ветку, на которой сидите. Если Бог считает, что состояние войны во Вселенной не слишком высокая плата за свободу воли, и именно поэтому сотворил мир, в котором Божьи создания могут сознательно выбирать между добром и злом, а не игрушечный мир марионеток, которых Он водил бы, дергая за ниточки,— значит, мы должны согласиться, что свободная воля стоит этого. Только в мире, основанном на свободном выборе между добром и злом, может происходить что-то значительное.

Когда мы понимаем, *что* такое свобода воли, глупым представляется вопрос, который мне как-то задали: «Почему Бог создал человека из такого гнилого материала, что он сразу же пришел в негодность?» Чем лучше материал, из которого творение создано, чем оно умнее, сильнее и свободнее — тем лучше оно будет, если направится по правильному пути, и тем хуже станет, избрав неправильный путь. Корова не может быть очень хорошей или очень

плохой; собака может быть и лучше и хуже; в большей степени может быть лучше или хуже ребенок; еще в большей степени, чем ребенок, может быть лучше или хуже обыкновенный взрослый человек, и еще в большей — человек гениальный; сверхчеловеческий же дух может быть либо наихудшим, либо наилучшим из всего сущего.

Как это произошло, что свободная воля направилась по неверному пути? Нет сомнения, что ответить на такой вопрос сколько-нибудь определенно люди не могут. Можно, однако, предположить разумную (и общепринятую) догадку, которая основывается на нашем личном опыте.

В тот момент, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы пожелаете поставить это «я» на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически стать Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Некоторые люди считают, что падение человека как-то связано с проблемой секса. Но это ошибочное мнение. (Повествование, содержащееся в книге Бытия, скорее наводит на мысль о том, что разложение как-то коснулось нашей сексуальной природы после падения и было результатом, а не причиной этого падения.)

Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать «как боги»[4],— могут устроить все по-своему, как если бы они сотворили себя сами; что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье, от Бога независимое. Из этой-то безнадежной попытки произошло почти все то, что определило человеческую историю,— деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство,— долгую и ужасную историю человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога.

Поиски эти безнадежны, и вот почему. Бог создал нас, изобрел нас, как человек изобретает машину. Топливо для автомобиля — бензин, и при той конструкции, какую он имеет, автомобиль не станет работать на другом топливе. Человечество же Бог сконструировал так, чтобы энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности, он, человек, черпал от Самого Бога. Бог — горючее, на которое рассчитан наш дух, пища, которая ему необходима. Альтернативы не существует. Вот почему не имеет смысла просить Бога, чтобы он сделал нас счастливыми по нашему вкусу, не обременяя никакой религией. Бог не может дать нам счастье и мир без Него Самого, потому что без Него счастья и мира просто нет.

И в этом — ключ к истории. Тратится гигантское количество энергии, возникают цивилизации, создаются отличные, благородные организации, но всякий раз что-то идет не так, как надо. По причине какого-то фатального дефекта наверху всегда оказываются эгоистичные и жестокие люди, все снова рушится и скатывается вниз, к бедствиям и отчаянию. Машина глохнет. Она заводится как будто бы легко, пробегает несколько метров и ломается. Люди хотят, чтобы она работала на неподходящем горючем. Вот что сделал с нами, людьми, сатана.

А что сделал Бог? Прежде всего, Он оставил нам совесть, и мы понимаем, что́ правильно, что́ неправильно. На протяжении всей истории были люди, которые старались (подчас очень упорно) слушаться голоса совести. Ни один из них в этом не преуспел полностью.

Во-вторых, Он послал человеческому роду то, что я называю светлыми мечтами. Я имею в виду те странные истории, встречающиеся почти во всех языческих религиях, в которых рассказывается о каком-то боге, который умирает и снова воскресает и своей смертью как-то дает людям новую жизнь.

В-третьих, Он избрал один особый народ и на протяжении нескольких столетий вколачивал в головы избранных Им людей, что Он единственный Бог и для Него очень важно, чтобы люди вели себя правильно. Этим особым народом были евреи, и Ветхий завет подробно все это описывает.

А затем человечество испытало настоящий шок. Из среды этих евреев внезапно возник человек, который говорит так, как будто он сам и есть Бог. Он говорит, что может прощать грехи. Он говорит, что существовал вечно. Он говорит, что придет судить мир в последние времена.

Здесь требуется объяснение. Среди пантеистов, таких, как, например, индусы, каждый может сказать, что он — часть Бога или един с Богом; в этом не будет ничего удивительного. Но Тот Человек исповедовал не пантеизм, а иудаизм и не мог иметь в виду такого бога. Бог в понимании евреев — это Существо, находящееся вне мира; Тот, Кто сотворил этот мир и бесконечно отличается от чего бы то ни было. Когда вы постигнете это в полной мере, вы почувствуете: то, что говорил Человек, поразительнее всего, когда-либо слетавшего с человеческих уст.

Часть этих слов проскальзывает мимо наших ушей: мы слышали их так часто, что перестали понимать, какой высоты звучания они достигают. Я имею в виду слова о прощении грехов; любых грехов. Если это не исходит от Бога, это нелепо и смешно. Мы можем понять, как человек прощает оскорбления и обиды, причиненные ему самому. Вы наступили мне на ногу, и я вам это прощаю; вы украли у меня деньги, и я вам это прощаю. Но как быть с человеком, которого никто не тронул и не ограбил, а он объявляет, что прощает вас за то, что вы наступали на ноги другим и украли у них деньги? Поведение такого человека показалось бы нам предельно глупым. Однако именно так поступал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, и никогда не советовался с теми, кому эти грехи нанесли ущерб. Он без колебаний вел Себя так, как если бы был Тем, Кому нанесены все обиды, против Кого совершены все беззакония. Такое поведение имело бы смысл только в том случае, если Он в самом деле Бог, Чьи законы попраны, любовь — оскорблена каждым совершенным грехом. В устах любого другого эти слова свидетельствовали бы лишь о глупости и мании величия, которым нет равных во всей человеческой истории.

Однако (и это удивительно) даже у Его врагов, когда они читают Евангелие, не создается впечатления, что слова эти продиктованы глупостью или манией величия. Тем более у читателей, не настроенных предвзято. Христос говорит, что Он «смирен и кроток» [5], и мы верим Ему, не замечая, что смирение и кротость едва ли присущи человеку, делавшему такие заявления, какие делал Он.

Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать: «Я готов признать, что Иисус — великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии на то, что Он Бог». Говорить так не следует. Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек — Сын Божий, либо сумасшедший или что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор: можете отвернуться от Него как от ненормального и не обращать на Него никакого внимания; можете убить Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед Ним и признать Его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной бессмыслицы, будто Он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так.

IV
СОВЕРШЕННЫЙ КАЮЩИЙСЯ

Итак, мы сталкиваемся с пугающей альтернативой. Этот человек — либо именно то, что Он о Себе говорит, либо — сумасшедший, маньяк или кое-кто похуже. Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом Он не был. Следовательно, сколь невероятным и наводящим ужас это ни казалось бы, я вынужден признать, что Он был и есть Бог. Бог сошел на эту оккупированную врагом землю в образе человека.

С какой же целью Он сделал это? Ради какого дела приходил? Ну конечно, ради того, чтобы учить. Однако когда вы откроете Новый завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, а именно о Его смерти и Его воскресении. Совершенно очевидно, что христианам именно это представляется самым важным. Они считают, что главная цель Его прихода на землю — пострадать и умереть.

До того как я стал христианином, у меня было впечатление, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле Его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили Его и стали на сторону великого мятежника, но Христос добровольно вызвался понести наказание за людей, чтобы Бог простил нас. Сейчас я должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой аморальной и глупой, как казалась прежде. Но не в этом дело. Позднее я увидел, что ни эта, ни иная подобная теория не выражают сути христианства.

Центральная мысль христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это было достигнуто — вопрос другой. На этот счет немало соображений. Но с тем, что мысль эта верна, согласны все христиане. Я скажу вам, что я сам думаю.

Все разумные люди знают, что, если вы устали и проголодались, хороший обед пойдет вам на пользу.

Обед этот — не то же самое, что современная теория о питании, обо всех этих витаминах и протеинах. Люди ели обеды и чувствовали себя после них лучше задолго до появления теорий, и если теории когда-нибудь забудут, это не помешает людям по-прежнему обедать. Теории о смерти Христа — не христианство. Они лишь пытаются объяснить механизм его действия. О степени их важности не все христиане думают одинаково. Моя англиканская церковь не настаивает ни на одной из них как на единственно правильной. Римская церковь идет немного дальше. Но, я думаю, все согласны с тем, что суть безгранично важнее, чем любое объяснение, и ни одно объяснение не может претендовать на исчерпывающую полноту. Но как я сказал в предисловии к этой книге, я всего лишь рядовой верующий, а вопрос этот заводит нас слишком глубоко. Я повторяю, что могу лишь изложить вам свою личную точку зрения.

Согласно ей, то, что вас просят принять,— не теории. Многие из вас, без сомнения, читали работы Джинса или Эддингтона [6]. Когда они хотят объяснить атом или что-нибудь подобное, они просто дают вам описание, на основании которого в вашей голове возник некий мысленный образ. Но затем они предупреждают вас, что на самом деле этот образ не то, во что действительно верят ученые; а верят они в математическую формулу. Иллюстрации даются вам только для того, чтобы вы эту формулу поняли. Фактически они неверны в том смысле, в каком верны формулы. Они не отражают реальности, а только дают какое-то приближенное представление о ней. Их цель лишь в том, чтобы помочь вам, и, если они вам не помогают, вы можете отбросить их. Самую сущность атома не передать в картинках, ее можно выразить только в математических формулах.

То же самое происходит и с христианством. Мы верим, что смерть Христова — та точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. И если мы не можем изобразить в картинках атомы, слагающие этот наш мир, то, уж конечно, не в состоянии нарисовать в своем воображении реальную картину того, что действительно произошло во время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все это понять, то самый факт этот свидетельствовал бы, что данное событие — совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу, подобно удару молнии.

Вы можете сказать: «А какая нам польза, если мы не в состоянии все это понять?» Вопрос, на который очень легко ответить. Человек может съедать обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества. Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, что дело Христа работает в нем. И безусловно, он не сможет даже приблизительно понять этого, пока не примет Его.

Нам сказано, что Христос распят за нас, что Его смерть омыла наши грехи и что, умерев, Он вырвал у смерти ее «жало»[7]. Это — формула. Это — христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это возможным, с моей точки зрения,— вторичны: они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают, и, даже если они помогают, их не следует путать с той сутью, которой они служат. Тем не менее некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели.

Одна из них, о которой мы слышим чаще всего,— та, которую я упомянул: Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести наказание за нас. На первый взгляд эта теория выглядит крайне глупой. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он этого не сделал? И какой смысл в наказании невинного за вину других? Я не вижу в этом никакого смысла, если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл: некто, имеющий средства, выплачивает долг за неплатежеспособного должника.

Или другой пример: человек попадает в беду по своей вине и ему приходится расплачиваться, но не в узкофинансовом, а в более общем смысле слова. Кто же извлечет его из пропасти, как не добрый друг?

В какую же пропасть попал человек по своей вине? И почему он попал в нее? Человек попытался устроить все по-своему, вести себя так, как если бы никому, кроме самого себя, он не принадлежал; иными словами, падший человек — это не просто несовершенное существо, нуждающееся в исправлении и улучшении; это мятежник, который должен сложить свое оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново — вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. Процесс этот далеко не из приятных. Это посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться — значит отречься от самомнения и своеволия, которые мы культивируем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться — значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно хорошим человеком, чтобы прийти к раскаянию. И здесь мы сталкиваемся с затруднением. Только плохой человек нуждается в покаянии; только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, тем более нуждаетесь в покаянии, но тем менее вы

склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию. Но такой человек в покаянии не нуждается.

Запомните, что покаяние, это добровольное смирение и своего рода смерть, не то, чего Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно, и от чего Он может освободить вас, если захочет. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого покаяния, то вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает.

Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, которое делает покаяние необходимым, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но как мы понимаем Божью помощь в этом деле? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу Самого Себя. Он одалживает нам немного Своей способности к рассудительности, и мы начинаем думать; Он вкладывает в нас немного Своей любви, и мы уже в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним: его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит и держит в Своих руках нашу руку, направляя эти процессы. И если бы мы с вами не пали, это было бы спокойное плавание. Но, к сожалению, сейчас мы нуждаемся, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое Ему, Богу, в силу Его природы чуждо: сдаться, пострадать, подчиниться, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этой капитуляции. Следовательно, путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство,— такой, по которому Бог в силу Своей природы никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что Он имеет в Своей собственной природе. Но того, что требуется для нас, в Его природе нет.

Теперь предположим, что Бог стал человеком; предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности,— такая личность сумела бы помочь нам. Богочеловек сумел бы подчинить Свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что Он — человек; весь этот процесс Он выполнил бы в совершенстве, потому что Он — Бог. Мы с вами можем пройти через этот процесс только в том случае, если Бог совершит его внутри нас; но совершить его Бог может, только став человеком. Наши попытки пройти через умирание будут иметь успех только тогда, когда мы, люди, примем участие в умирании Бога, точно так же как наше мышление плодотворно только благодаря тому, что оно — капля из океана Его разума; но мы не можем принять участия в умирании Бога, если Он не умирает; а Он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле Он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что Ему совсем не нужно было страдать.

Я слышал, как некоторые люди жаловались, что если Иисус был Богом в такой же степени, в какой был человеком, Его страда-

ния и смерть теряют ценность в их глазах, потому что, говорят они, «это, должно быть, для Него легко и просто». Другие могут (и совершенно справедливо) осудить подобную неблагодарность. Однако меня поражает непонимание, о котором это свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они даже недооценивают силу своего аргумента. Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Иисуса, потому что Он Бог, они и возможны-то были только потому, что Он Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать поэтому Его смирения, страданий и смерти? Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель — взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы. Только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что «взрослым это легче», и будет ожидать, чтобы его научил писать другой ребенок, который сам не умеет писать (и, таким образом, лишен «несправедливого» преимущества), обучение пойдет не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух: «Нет, это несправедливо! У вас есть преимущество! Вы одной ногой стоите на земле!»? Это преимущество — называйте его «несправедливым», если хотите,— единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас?

В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что христиане называют искуплением. Однако не забудьте, что это всего-навсего еще одна иллюстрация. Не путайте ее, пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, моя иллюстрация не помогают вам, отбросьте их не колеблясь.

V
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христос прошел через совершенную капитуляцию и совершенное смирение; они были совершенными, потому что Он — Бог; они были капитуляцией и смирением, потому что Он был Человеком. Христианская вера заявляет, что, если мы каким-то образом разделим смирение и страдания Христа, мы станем соучастниками Его победы над смертью и обретем новую жизнь, после того как умрем. И в этой новой жизни мы будем совершенны и совершенно счастливыми созданиями. Все это, однако, предполагает нечто гораздо большее, чем наши попытки следовать Его учению. Люди часто задают вопрос, когда же наступит следующий этап эволюции, на котором возникнет новое существо, стоящее гораздо выше человека. Но с христианской точки зрения этот этап уже наступил. Новый вид человека возник в Христе; и новая форма жизни, которая началась в нем, должна быть заложена в нас.

Как же получить эту новую жизнь? Вспомните, прежде всего, как мы с вами получили нашу жизнь в ее обыкновенной форме. Мы унаследовали ее от других, от нашего отца и матери и всех наших предков, без нашего согласия и посредством очень любопытного процесса, который включает в себя удовольствие, боль и опасность. Такой процесс вы никогда бы не сумели выдумать сами. В детстве многие из нас долгие годы стараются разгадать его.

Некоторые из детей, когда им впервые рассказывают об этом процессе, вначале отказываются верить, и я не могу их осуждать, это действительно очень странный процесс. Тот самый Бог, Который его спланировал, спланировал и процесс распространения новой жизни — жизни во Христе; и мы должны быть готовы к тому, что это тоже странный процесс. Бог не советовался с нами, когда изобретал секс. Он не советовался с нами и тогда, когда изобретал пути спасения.

Три вещи распространяют жизнь Христа в нас: крещение, вера и таинство, которое различные христиане называют по-разному — святое причастие, месса, преломление хлеба. По крайней мере, эти три вещи относятся к обычным методам. Я не говорю, что не может быть особых случаев, когда Христос и Его жизнь распространяются без одного (или больше) из этих актов. У меня недостаточно времени, чтобы углубиться в эти особые случаи, к тому же я не знаком с ними в достаточной степени. Когда вы стараетесь в несколько минут объяснить человеку, как добраться до Эдинбурга, вы посоветуете ему сесть в поезд. Он может, правда, добраться туда пароходом или самолетом, но вы едва ли станете упоминать об этом. И я ничего не говорю, какая из упомянутых трех вещей — самая существенная. Мой друг методист захочет, чтобы я больше сказал о вере и меньше — о двух остальных. Но я не стану в это вдаваться. Любой человек, который научит вас христианской доктрине, скажет вам, чтобы вы прибегли ко всем трем. И этого в данный момент для нас достаточно.

Я сам лично не вижу, каким образом эти три вещи могут быть проводниками новой жизни. Но и постигнуть некую связь между физическим удовольствием и появлением в мир нового человека тоже непросто. Нам остается принимать действительность такой, какая она есть. Нет смысла без конца рассуждать о том, какой она должна быть или чего мы могли бы от нее ожидать. И хотя я не вижу, почему это должно быть так, я могу сказать вам, почему я верю, что это действительно так. Я уже объяснил, почему мне приходится верить, что Иисус был (и есть) Бог. И это исторический факт — Он учил Своих последователей, что новая жизнь передается именно этим путем. Иными словами, я верю в это, полагаясь на авторитет Христа. Не пугайтесь, пожалуйста, слова «авторитет». Верить, полагаясь на чей-то авторитет, означает лишь, что вы верите в какую-то вещь, потому что вам сказал о ней тот, кого вы считаете абсолютно достойным доверия. Девяносто девять процентов того, чему вы верите, основано на доверии авторитету.

Я верю, что существует такое место, как Нью-Йорк. Я сам его никогда не видел. Я не могу доказать его существование с помощью абстрактных аргументов. Я верю в это, потому что слышал о его существовании от людей, достойных доверия. Обыкновенный человек верит в солнечную систему, атомы, эволюцию и кровообращение, полагаясь на утверждения ученых, на их авторитет. Да и все решительно сведения наши из области истории — откуда мы их черпаем, как не из утверждений историков, авторитету которых мы доверяем? Ведь никто из нас не был свидетелем норманнских завоеваний или поражения Наполеона при Ватерлоо! Никто из нас не может доказать их чисто логически, как доказываются теоремы в математике. Мы верим в эти факты просто потому, что люди, бывшие свидетелями их, оставили нам свои записи; иными словами, мы верим в них, полагаясь на авторитет этих записей и их авторов. Человеку, который стал бы оспаривать авторитеты в других областях, как некоторые оспаривают и отвергают авторитет в религии, пришлось бы до конца своих дней остаться невеждой.

Не думайте, пожалуйста, что я ратую за крещение, веру и святое причастие как за некие заменители ваших собственных стараний подражать Христу. Вы получили вашу естественную жизнь от своих родителей. Это не значит, что она останется при вас, если вы не будете стараться удержать ее. Вы можете потерять ее из-за своей беспечности или лишиться ее, совершив самоубийство. Вы должны питать вашу жизнь, бережно относиться к ней. Но всегда при этом помните, что вы не создаете, а только сохраняете ту жизнь, которую вы получили от кого-то другого. Точно так же христианин может потерять жизнь Христа, если не будет предпринимать определенных усилий, чтобы сохранить ее. Но и самый лучший христианин из когда-либо живших на земле лишь питает и защищает ту жизнь, которую он никогда не сумел бы получить ценою собственных усилий. Из этого вытекают практические выводы. Пока ваша естественная жизнь пребывает в вашем теле, она много способствует поддержанию этого тела и восстановлению его нормальных функций. Порежьтесь — и порезанное место заживет; если тело мертво, этого никогда не случится. Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. Так и христианин вовсе не человек, который никогда не поступает неправильно; это человек, который способен раскаиваться, собираться с духом и после каждого преткновения начинать все заново, потому что внутри него действует жизнь Христова: она-то и восстанавливает («ремонтирует») его постоянно, давая ему способность вновь и вновь (до известной степени, конечно) проходить через подобие добровольной смерти, через которую прошел и Сам Христос.

Вот почему христиане отличаются от прочих людей, старающихся быть хорошими. Эти люди своими стараниями надеются угодить Богу, если Он существует, а если, по их мнению, Его нет, они, по крайней мере, надеются заслужить одобрение других

хороших людей. Христианин же считает, что все хорошее, что он делает, исходит от Христовой жизни, обитающей в нем. Он не думает, что Бог будет любить нас, потому что мы хорошие, но что Бог сделает нас хорошими, потому что любит нас; точно так же крыша теплицы не притягивает солнца из-за того, что она блестит; напротив, она блестит оттого, что на нее падают солнечные лучи.

И позвольте мне пояснить кое-что еще. Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или морального. Когда они говорят о пребывании «во Христе» или о пребывании Христа «в них»[8], это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них: что все христиане вместе представляют из себя единый организм, через который действует Христос, что мы Его пальцы, мускулы, клетки Его тела.

Возможно, в этом — объяснение одной или двух вещей. Почему новая жизнь передается не только посредством умственных, душевных актов, таких, как вера, но и посредством таких, в которые мы включены телесно,—через крещение и святое причастие? Всеми этими актами предусмотрена не одна лишь передача идеи; скорее это напоминает эволюцию — некий биологический или сверхбиологический факт. Сделать человека существом чисто духовным Бог никогда не намеревался. Вот почему Он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино, чтобы вложить в нас новую жизнь. Нам может это показаться чем-то примитивным и недуховным. Но Бог так не считает. Он изобрел еду. Он любит материю. Он изобрел ее.

Для меня была загадкой еще одна вещь. Не правда ли, ужасная несправедливость, что этой новой жизнью наделяются только те, которые имели возможность услышать о Христе и поверить в Него? Однако Бог не сказал нам, как Он собирается поступить с остальными людьми. Мы знаем, что ни один человек не может спастись иначе как через Христа, но нам не сказано, что только те, которые знают Его, могут спастись через Него. Так или иначе, если вас волнует судьба тех, которые остаются за бортом, самым неразумным было бы оставаться там самому. Христиане — это тело Христа, организм, через который Он действует. Всякое добавление к Его телу позволяет Ему делать больше. Если вы хотите помочь тем, кто за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, Который Один во всей Вселенной способен помочь им. Стремясь увеличить производительность труда, довольно странно отрезать пальцы на руке.

Другое возможное возражение в следующем. Почему Бог сходит на оккупированную врагом территорию инкогнито и основывает своего рода тайное общество, чтобы одолеть дьявола? Почему Он не сходит в силе, чтобы завоевать территорию? Может быть, Он недостаточно силен? Что ж, христиане считают, что Он и сойдет в силе, только мы не знаем когда. Однако мы можем догадываться,

почему Он медлит. Он хочет предоставить нам возможность стать на Его сторону добровольно. Я не думаю, что мы с вами отнеслись бы с большим уважением к тому французу, который прождал бы, пока армии союзных держав оккупировали Германию, и только тогда заявил бы, что он на нашей стороне.

Бог завоюет этот мир. Но мне интересно знать, понимают ли по-настоящему те люди, которые просят у Бога открытого и прямого вмешательства в дела нашего мира, что произойдет, когда это случится. Ведь это будет конец мира. Когда автор выходит на сцену, это значит, что спектакль окончен.

Бог собирается завоевать этот мир; но какая для вас будет польза говорить, что вы на Его стороне, тогда, когда на ваших глазах будет плавиться и исчезать вся материальная Вселенная? Что-то, о чем вы никогда не задумывались, войдет в наш мир, сокрушая все на своем пути; что-то столь прекрасное для одних и такое ужасное для других, что ни у кого из нас уже не останется никакого выбора. На этот раз Бог придет не инкогнито; это будет явление такой небывалой силы, что в каждом существе оно вызовет либо непреодолимую любовь, либо непреодолимый ужас. Но выбирать, на чьей вы стороне, будет тогда слишком поздно. Бессмысленно говорить, что вы предпочли лечь, когда встать оказалось невозможно. Это не будет время выбора; это будет время, когда нам станет ясно, чью сторону мы избрали, независимо от того, сознавали мы это или нет.

Сейчас, сегодня, в этот самый момент, у нас еще есть возможность сделать правильный выбор. Бог медлит, чтобы предоставить нам ее. Но это не будет длиться вечно. Мы должны принять ее, либо отвергнуть.

Книга III
ХРИСТИАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

I
ТРИ ЧАСТИ МОРАЛИ

Рассказывают об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. Тот ответил, что, насколько он понимает, Бог — это «такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие, и когда Он замечает такое, то вмешивается, чтобы это прекратить». Боюсь, что именно в таком духе понимают многие люди слово «мораль»: то, что мешает нам получать удовольствие.

В действительности же моральные нормы — это инструкции, обеспечивающие правильную работу человеческой машины. Каждое из правил морали нацелено на то, чтобы предотвратить поломку, или перенапряжение, или трение. Вот почему на первый взгляд кажется, будто они постоянно вмешиваются в нашу жизнь и препятствуют проявлению наших природных наклонностей.

Когда вы учитесь, как работать на какой-нибудь машине, инструктор то и дело поправляет вас: «Нет, не так, никогда не делайте этого», потому что в обращении с машиной у вас постоянно возникает искушение что-то попробовать или сделать, что вам представляется естественным и удачным, но на самом деле машина сломается.

Некоторые люди предпочитают говорить о нравственных «идеалах» вместо того, чтобы говорить о правилах морали, и о нравственном «идеализме» — вместо подчинения правилам морали. Конечно, совершенно верно, что совершенство в вопросах морали — это «идеал» в том смысле, что мы не можем его достичь. В этом смысле все, что совершенно, для нас, людей,— идеал; мы не можем стать совершенными водителями или совершенными теннисистами, мы не можем провести совершенно прямую линию. Но с другой точки зрения называть моральное совершенство «идеалом» — значит вводить людей в заблуждение. Когда человек говорит, что какая-то женщина, или дом, или корабль, или сад — его идеал, он не имеет в виду (если он не совсем дурак), что все остальные должны иметь тот же самый идеал. В таких вопросах наше право — иметь разные вкусы и, следовательно, разные идеалы. Но называть идеалистом человека, изо всех сил старающегося соблюдать законы морали, было бы опасным. Это может навести на мысль, что стремление к моральному совершенству — дело его вкуса и мы, остальные, не обязаны этот вкус разделять. Подобная мысль была бы катастрофической ошибкой.

Совершенное поведение может быть таким же недосягаемым, как совершенное переключение скоростей в автомобиле; но это необходимый идеал, предписанный всем людям самой природой человеческой машины, точно так же как совершенное переключение

скоростей — идеал для всех водителей в силу самой природы автомобиля. Еще опасней считать самого себя человеком высоких идеалов, оттого что вы стараетесь никогда не говорить лжи (вместо того чтобы лгать лишь изредка), или никогда не совершать прелюбодеяния (вместо того чтобы совершать его крайне редко), или никогда не впадать в раздражение (а не просто быть умеренно раздражительным). Вы рисковали бы стать педантом и резонером, полагающим, что он — человек особенный, заслуживающий поздравлений за свой идеализм.

На деле у вас столько же оснований ожидать поздравлений за то, что при сложении чисел вы стараетесь получить правильный ответ. Нет сомнений, что совершенное вычисление — это идеал; вы, безусловно, делаете временами ошибки. Однако нет особой заслуги, если вы стараетесь считать внимательно. Предельно глупо было бы не стараться, потому что любая ошибка принесет вам неприятности. Точно так же каждый моральный проступок чреват неприятностями, возможно — для других и непременно — для вас. Когда мы говорим о правилах и подчинении вместо «идеалов» и «идеализма», мы тем самым напоминаем себе об этих фактах.

Теперь сделаем еще один шаг вперед. Человеческая машина может выходить из строя двумя путями. Один — это когда человеческие индивиды удаляются друг от друга или, наоборот, когда они сталкиваются и причиняют друг другу вред обманом или грубостью. Второй — когда что-то ломается внутри индивида, то есть когда части его, атрибуты (например, способности, желания и т. п.) противоречат одно другому либо приходят в столкновение друг с другом.

Вам проще будет понять эту идею, если вы представите нас в виде кораблей, плывущих в определенном порядке. Плавание будет успешным только в том случае, если, во-первых, корабли не сталкиваются и не преграждают пути друг другу и, во-вторых, если каждый корабль годен к плаванию и двигатель у каждого — в полном порядке. Необходимо, чтобы исполнялись оба эти условия. Ведь если корабли будут постоянно сталкиваться, они скоро станут непригодными к плаванию. С другой стороны, если штурвалы не в порядке, они не смогут избежать столкновений. Или, если хотите, представьте себе человечество в виде оркестра, исполняющего какую-то мелодию. Чтобы игра получалась слаженной, необходимы два условия. Каждый инструмент должен быть настроен и каждый должен вступать в положенный момент, чтобы не нарушать общей гармонии.

Но мы с вами не учли одного. Мы не спросили, куда собирается наш флот или какую мелодию хочет сыграть наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроенными, и каждый из них может вступать в нужный момент, но и в этом случае выступление не будет успешным, если музыкантам заказана танцевальная музыка, а они исполняют похоронный марш. И как бы хорошо ни проходило плавание, оно обернется неудачей, если корабли

приплывут в Калькутту, тогда как порт их назначения — Нью-Йорк.

Соблюдение моральных норм связано, таким образом, со следующими тремя вещами. Первое — с честной игрой и гармоническими отношениями между людьми. Второе — с тем, что можно было бы назвать наведением порядка внутри самого человека. И наконец, третье — с определением общей цели человеческой жизни; с тем, для чего человек создан; с тем, по какому курсу должен следовать флот; какую мелодию избирает для исполнения дирижер оркестра.

Вы, быть может, заметили, что наши современники почти всегда помнят о первом условии и забывают о втором и третьем. Когда пишут в газетах, что мы боремся за доброту и честную игру между нациями, классами и отдельными людьми, это и значит, что думают только о первом условии. Когда человек говорит о том, что он хочет сделать: «В этом нет ничего плохого, потому что это никому не вредит»,— он думает только о первом условии. Он считает, что внутреннее состояние его корабля не имеет значения, если только оно не грозит столкновением кораблю соседнему. И вполне естественно, что, когда мы начинаем думать о морали, первое, что нам приходит в голову,— это общественные отношения. Почему? Да потому что, во-первых, последствия низкого морального состояния общества очевидны и давят на нас повседневно: это война и нищета, взяточничество и ложь, плохая работа. Кроме того, по первому пункту у нас почти не бывает разногласий с другими людьми. Почти все люди во все времена соглашались (в теории) с тем, что человеческие существа должны быть честными, добрыми, должны помогать друг другу. Однако, хотя и естественно с этого начинать, нельзя ставить на этом точку, ибо в таком случае вообще не было бы смысла размышлять о морали. До тех пор, пока мы не перейдем ко второму условию, мы будем лишь обманывать самих себя.

Разумно ли ожидать от капитанов, что они станут так поворачивать штурвалы, чтобы корабли их не сталкивались между собой, если сами корабли — старые, разбитые посудины, и штурвалы вообще не поворачиваются? Какой смысл записывать на бумаге правила общественного поведения, если мы знаем, что жадность, трусость, дурной характер и самомнение помешают нам эти правила выполнить? Я ни на секунду не предлагаю вам отказаться от мысли, и мысли серьезной, об улучшении нашей общественной и экономической системы. Я только хочу сказать, что все эти размышления о морали останутся просто «солнечным зайчиком», пока мы не поймем: ничто, кроме мужества и бескорыстия каждого человека, не заставит какую бы то ни было общественную систему работать, как надо. Не так уж трудно избавить граждан от тех или иных нарушений уголовного кодекса, скажем, взяточниками и хулиганами; но пока остаются взяточники и хулиганы, сохраняется угроза, что они протопчут себе новые дорожки, чтобы продолжить старую игру. Вы не можете сделать человека хорошим с по-

мощью закона. А без хороших людей у вас не может быть хорошего общества. Вот почему нам не избежать второго условия, нравственного преобразования самого человека.

Здесь, я думаю, мы не сможем остановиться. Мы подходим сейчас к той точке, откуда расходятся различные линии поведения, в зависимости от несхожих представлений о Вселенной. Возникает соблазн тут и остановиться и стараться лишь придерживаться тех нравственных норм, с которыми соглашаются все разумные люди. Но можем ли мы это сделать? Не забывайте, что религия включает в себя ряд таких утверждений, которые либо соответствуют истине, либо они заблуждение. Если они истинны, из этого следуют одни заключения относительно того, правильным ли курсом следует человеческий флот, если ошибочны — то совершенно другие. Вернемся, например, к тому человеку, который утверждает, что поступок, не причиняющий вреда другому, не может считаться плохим. Он прекрасно понимает, что не должен причинять повреждений ни одному кораблю. Но он искренне полагает: что бы он ни делал со своим кораблем — это касается лишь его одного. Однако вопрос в том, является ли этот корабль его собственностью? Разве не важно, господин ли я моего собственного разума и тела, или только квартирант, ответственный перед настоящим хозяином? Если меня создал кто-то другой для своих целей, я несу перед ним ответственность, которой бы не имел, если бы принадлежал только себе.

Далее: христианство заявляет, что каждый человек будет жить вечно, и это — либо истина, либо заблуждение. Из этого вытекает, что если мне суждено прожить каких-нибудь 70 лет, то о множестве вещей мне едва ли надо беспокоиться, но о них стоило бы беспокоиться, и очень серьезно, если бы мне предстояло жить вечно. Возможно, мой дурной характер становится все хуже или присущая мне зависть постоянно прогрессирует, но это происходит настолько постепенно, что изменения в худшую сторону, накопившиеся во мне за семьдесят лет, практически незаметны. Однако за миллион лет мои недостатки могли бы развиться во что-то ужасное. И если христианство не ошибается, «ад» — абсолютно верный технический термин, передающий то состояние, в какое приведут меня за миллионы лет зависть и дурной характер.

Затем проблема смертности или бессмертия человека обусловливает в конечном счете правоту тоталитаризма или демократии. Если человек живет только семьдесят лет, тогда государство, или нация, или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет, безусловно, представляют бо́льшую ценность. Но если право христианство, то индивидуум не только важнее, а несравненно важнее, потому что он вечен и жизнь государства или цивилизации — лишь миг по сравнению с его жизнью.

Вот и выходит, что, если мы намерены задуматься о морали, нам придется думать обо всех трех разделах: об отношении человека к человеку, о внутреннем состоянии человека и об отношениях

между человеком и той Силой, которая сотворила его. Мы все в состоянии прийти к согласию относительно первого пункта. Разногласия начинаются со второго и становятся очень серьезными, когда мы доходим до третьего пункта. Именно здесь проявляются основные различия между христианской и нехристианской моралью. В остальной части книги я собираюсь исходить из предпосылок христианской морали и из того, что христианство — право. На этом основании я и попытаюсь представить картину в целом.

II
ГЛАВНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Предыдущий раздел был первоначально составлен как краткая радиобеседа.

Если вам разрешается говорить только 10 минут, то приходится жертвовать всем ради краткости. Рассуждая о морали, я как бы поделил ее на три части (предложив пример с кораблями, плывущими конвоем), ибо хотел «охватить вопрос» и при этом быть как можно лаконичнее. Ниже я хочу познакомить вас с тем, как подразделяли это авторы прошлого. Они подходили к этому очень интересно, но для радиобесед их метод неприменим, так как требует очень много времени.

Согласно с этим методом существуют семь добродетелей. Четыре из них называются главными (или кардинальными), а остальные три — богословскими. Главные добродетели — это те, которые признают все цивилизованные люди. О богословских или теологических добродетелях знают, как правило, только христиане. Я подойду к этим теологическим добродетелям позднее. В настоящий момент меня занимают только четыре главные добродетели. Кстати, слово «кардинальные» не имеет ничего общего с «кардиналами» римской католической церкви. Оно происходит от латинского слова, означающего дверную петлю. Эти добродетели названы кардинальными, потому что они, так сказать, основа. К ним относятся *благоразумие, воздержанность, справедливость* и *стойкость*.

Благоразумие означает практический здравый смысл. Человек, обладающий им, всегда думает о том, что делает и что может из этого выйти. В наши дни большинство людей едва ли считают благоразумие добродетелью. Христос сказал, что мы сможем войти в Его мир, только если уподобимся детям, и христиане сделали вывод: если вы «хороший» человек, то, что вы глупы, роли не играет. Это не так. Во-первых, большинство детей проявляют достаточно благоразумия в делах, которые действительно для них интересны, и довольно тщательно их обдумывают. Во-вторых, как заметил апостол Павел, Христос совсем не имел в виду, чтобы мы оставались детьми по разуму [9]. Совсем наоборот: Он призывал нас быть не только «кроткими, как голуби», но и «мудрыми, как змеи» [10]. Он хочет, чтобы мы, как дети, были просты, недвуличны,

любвеобильны, восприимчивы. Но еще Он хочет, чтобы каждая частица нашего разума работала в полную силу и пребывала в первоклассной форме. То, что вы даете деньги на благотворительные цели, не значит, что вам не следует проверить, не идут ли ваши деньги в руки мошенников. То, что ваши мысли заняты Самим Богом (например, когда вы молитесь), не значит, что вы должны довольствоваться теми представлениями о Нем, которые были у вас в пять лет. Нет сомнений в том, что людей с недалеким от рождения разумом Бог будет любить и использовать не меньше, чем наделенных блестящим умом. У Него и для них есть место. Но Он хочет, чтобы каждый из нас в полной мере пользовался теми умственными способностями, которые нам отпущены. Цель не в том, чтобы быть хорошим и добрым, предоставляя привилегию быть умными другим, а в том, чтобы быть хорошим и добрым, стараясь при этом быть настолько умным, насколько это в наших силах. Богу противна лень интеллекта, как и любая другая.

Если вы собираетесь стать христианином, я хочу предупредить вас, что это потребует от вас полной отдачи и разума вашего, и всего остального. К счастью, это полностью компенсируется: всякий, кто искренне старается быть христианином, вскоре начинает замечать, как все острее становится его разум. Здесь одна из причин, почему не требуется специального образования, чтобы стать христианином: христианство — образование само по себе. Вот почему такой необразованный верующий, как Беньян, сумел написать книгу, которая поразила весь мир [11].

Воздержанность — одно из тех слов, значение которых, к сожалению, изменилось. Сегодня оно обычно означает полный отказ от спиртного. Но в те дни, когда вторую из главных добродетелей окрестили «воздержанностью», это слово ничего подобного не означало. Воздержанность относилась не только к выпивке, но и ко всем удовольствиям, и предполагала не абсолютный отказ от них, но способность чувствовать меру, предаваясь удовольствиям, не переходить в них границы. Было бы ошибкой считать, что все христиане обязаны быть непьющими; мусульманство, а не христианство запрещает спиртные напитки. Конечно, в какой-то момент долгом христианина может стать отказ от крепких напитков — он чувствует, что не может вовремя остановиться, если начнет пить, либо находится в обществе людей, склонных к чрезмерной выпивке, и не должен поощрять их примером. Но суть в том, что он воздерживается в силу определенных, разумных причин от того, чего вовсе не клеймит. Некоторым скверным людям свойственна такая особенность: они не в состоянии отказаться от чего бы то ни было «в одиночку»; им надо, чтоб от этого отказались и все остальные. Это не христианский путь. Какой-то христианин может счесть для себя необходимым отказаться в силу тех или иных причин от брака, от мяса, от пива, от кино. Но когда он начнет утверждать, что все эти вещи плохи сами по себе, или смотреть свысока на тех людей, которые в этих вещах себе не отказывают, он встанет на неверный путь.

Большой вред был нанесен смысловым сужением слова. Благодаря этому люди забывают, что точно так же можно быть неумеренным во многом другом. Мужчина, который смыслом своей жизни делает гольф или мотоцикл, либо женщина, думающая лишь о нарядах, об игре в бридж или о своей собаке, проявляет такую же «неумеренность», как и пьяница, напивающийся каждый вечер. Конечно, их «неумеренность» не выступает столь явно — они не падают на тротуар из-за своей бриджемании или гольфомании. Но можно ли обмануть Бога внешними проявлениями!

Справедливость относится не только к судебному разбирательству. Это понятие включает в себя честность, правдивость, верность обещаниям и многое другое. И *стойкость* предполагает два вида мужества: то, которое не боится смотреть в лицо опасности, и то, которое дает человеку силы переносить боль. Вы, конечно, заметите, что невозможно достаточно долго придерживаться первых трех добродетелей без участия четвертой.

И еще на одно необходимо обратить внимание: совершить какой-нибудь благоразумный поступок и проявить выдержку — не то же самое, что быть благоразумным и воздержанным. Плохой игрок в теннис может время от времени делать хорошие удары. Но хорошим игроком вы называете только такого человека, у которого глаз, мускулы и нервы настолько натренированы в серии бесчисленных отличных ударов, что на них действительно можно положиться. У такого игрока они приобретают особое качество, которое свойственно ему даже тогда, когда он не играет в теннис. Точно так же уму математика свойственны определенные навыки и угол зрения, которые постоянно присущи ему, а не только когда он занимается математикой. Подобно этому человек, старающийся всегда и во всем быть справедливым, в конце концов развивает в себе то качество характера, которое называется справедливостью. Именно качество характера, а не отдельные поступки имеем мы в виду, когда говорим о добродетели.

Различие это важно понять, ибо приравнивая отдельные поступки к качеству характера, мы рискуем ошибиться трижды.

1. Мы могли бы подумать, что если в каком-то деле поступили правильно, то не имеет значения, как и почему мы так поступили — добровольно или по принуждению, сетуя или радуясь, из страха перед общественным мнением или ради самого дела. Истина же в том, что добрые поступки, совершенные не из доброго побуждения, не способствуют формированию того качества нашего характера, имя которому добродетель. А именно такое качество и имеет значение. Если плохой теннисист ударит по мячу изо всех сил не из-за того, что в данный момент такой удар требуется, а из-за того, что он потерял терпение, то по чистой случайности его удар может помочь ему выиграть эту партию; но никак не поможет ему стать надежным игроком.

2. Мы могли бы подумать, что Бог лишь хочет от нас подчинения определенному своду правил, тогда как на самом деле Он хочет, чтобы мы стали людьми особого сорта.

3. Мы могли бы подумать, что добродетели необходимы только для этой жизни, в другом мире нам не надо будет стараться быть справедливыми, потому что там нет причин для раздоров; нам не придется проявлять смелость, потому что там не будет опасности. Возможно, все это так, и в мире ином нам не представится случая бороться за справедливость или проявлять храбрость. Но там нам, безусловно, потребуется быть людьми такого сорта, какими мы могли бы стать, только если б мужественно вели себя здесь, боролись за справедливость в нашей земной жизни. Суть не в том, что Бог не допустит нас в Свой вечный мир, если мы не обладаем определенными свойствами характера, а в том, что если здесь люди не обретут, по крайней мере, зачатков этих качеств, никакие внешние условия не смогут создать для них «рая», то есть дать им глубокое, незыблемое, великое счастье, такое счастье, какого желает для нас Бог.

III

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ

Относительно той части христианской морали, которая касается человеческих взаимоотношений, в первую очередь необходимо уяснить следующее: Христос приходил не для того, чтобы проповедовать какую-то совершенно новую мораль. Золотое правило Нового завета — поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой [12],— лишь резюме того, что в глубине души каждый принимает за истину. Великие учителя нравственности никогда не выдвигали каких-то новых правил: этим занимались лишь шарлатаны и маньяки. Кто-то сказал: «Людям гораздо чаще надо напоминать, чем учить их чему-то новому». Истинная задача каждого учителя нравственности в том, чтобы снова и снова возвращать нас обратно к простым, старым принципам, которые мы все то и дело упускаем из виду; подобно тому как вы снова и снова приводите лошадь к барьеру, через который она отказывается прыгать; подобно тому как вы снова и снова заставляете ребенка возвращаться к тому разделу урока, от которого он норовит увильнуть.

Вторая вещь, которую следует себе уяснить относительно христианства, состоит в следующем: у него нет (и оно не утверждает, что есть) детально разработанной политической программы для применения в каком бы то ни было обществе, в определенный момент принципа: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Нет и быть не может. Ведь христианство рассчитано на всех людей, на все времена, а конкретная программа, подходящая для какого-то одного времени и места, не подошла бы для других. Да и принцип работы у христианства совсем иной. Когда оно говорит вам, чтобы вы накормили голодного, то не дает вам урока кулинарии. Или когда говорит, чтобы вы читали Библию, то не преподает вам древнееврейскую, или греческую, или, скажем, английскую грамматику. Христианство никогда

не преследовало цели подменить собою или вытеснить ту или иную отрасль человеческого знания; оно скорее выступает как направляющий фактор, как некий руководитель, который каждой отрасли знания (или искусства) отводит соответствующую роль; оно источник энергии, который способен во всех них вдохнуть новую жизнь, если только они отдадут себя в полное его распоряжение.

Люди говорят: «Церковь должна руководить нами». Это верно, если верно их представление о церкви; и ошибочно, если оно неправильно. Под церковью следует подразумевать всех истинно и активно верующих христиан земли вместе взятых. Тогда тезис «Церковь должна руководить нами» обретает следующее содержание: те христиане, которые наделены соответствующими талантами, должны быть, скажем, экономистами и государственными деятелями и все экономисты и государственные деятели должны быть христианами; и все их усилия в политике и экономике должны быть направлены на претворение в жизнь Золотого правила Нового завета.

Если бы так случилось и если бы мы, остальные, были действительно готовы принять это, тогда мы нашли бы христианское решение всех наших социальных проблем довольно быстро. Но на деле под руководящей ролью церкви большинство понимает некий направляемый духовенством политический курс или разработку церковными деятелями особой политической программы. Это глупо. Церковнослужители — особая группа людей в пределах церкви, которые избраны и специально подготовлены для наблюдения за такими вещами, которые важны для нас, потому что мы предназначены для вечной жизни. А мы просим этих людей взяться за дело, которому они никогда не учились. Политикой и экономикой следует заниматься, за них надо отвечать нам, рядовым верующим. Применение христианских принципов к профсоюзной деятельности или к образованию должно исходить от христианских профсоюзных деятелей и христианских учителей; точно так же как христианскую литературу создают христианские писатели и драматурги, а не епископы, собравшиеся вместе и пытающиеся писать в свободное время повести и романы.

И тем не менее Новый завет, не вдаваясь в детали, дает нам довольно ясный намек на то, каким должно быть истинно христианское общество. Возможно, он дает нам немного больше, чем мы готовы принять. В Новом завете говорится, что в таком обществе нет места паразитам: «Кто не работает, да не ест». Каждый должен был бы трудиться, и труд каждого приносил бы пользу; такое общество не нуждалось бы в производстве глупой роскоши и в еще более глупой рекламе, убеждающей эту роскошь покупать. Этому обществу чужды чванливость, зазнайство, притворство.

В каком-то смысле христианское общество соответствовало бы идеалу сегодняшних «левых». С другой стороны, христианство решительно настаивает на послушании, покорности (и внеш-

нем уважении) представителям власти, которые соответствовали бы занимаемому положению, покорности детей родителям и (боюсь, это требование уж очень непопулярно) покорности жен своим мужьям. Далее, общество это должно быть жизнерадостным.

Беспокойство и страх должны в нем рассматриваться как отклонение от нормы. Естественно, члены его взаимно вежливы, так как вежливость — тоже одна из христианских добродетелей.

Если бы такое общество действительно существовало и нам с вами посчастливилось его посетить, оно произвело бы на нас любопытное впечатление. Мы увидели бы, что экономическая политика напоминает социалистическую и по существу — прогрессивна, а семейные отношения и стиль поведения выглядят довольно старомодно — возможно, они даже показались бы нам церемонными и аристократическими. Каждому из нас понравились бы отдельные частицы такого общества, но я боюсь, что мало кому из нас понравилось бы все как есть.

Именно этого и следовало бы ожидать, если бы мы на основе христианства пытались составить генеральный план для всего человеческого содружества. Ведь все мы так или иначе отошли от этого единого плана, и каждый из нас пытается сделать вид, будто изменения, вносимые им лично — и есть самый план. Вы убеждаетесь в этом всякий раз, когда сталкиваетесь с теми или иными аспектами христианства: каждому нравятся те или иные стороны, которые он хотел бы объявить незыблемыми, отказавшись от всего остального. Поэтому-то нам не слишком удается продвинуться вперед; поэтому-то люди, борющиеся, в сущности, за противоположные вещи, утверждают, что именно они борются за торжество христианства.

Еще одно: древние греки, евреи Ветхого Завета и великие христианские мыслители средневековья дали нам совет, который совершенно игнорирует современная экономическая система. Все люди прошлого предостерегали: не давайте деньги в рост. Однако одалживание денег под проценты — то, что мы называем «помещением капитала»,— основа всей нашей системы. Делать отсюда категорический вывод, что мы не правы, не следует. Некоторые люди говорят: Моисей, Аристотель и христиане едины во мнении, что «ростовщичество» следует запретить, ибо они не могли предвидеть акционерных обществ. Они имели в виду только индивидуальных ростовщиков, и предостережение их не должно нас беспокоить.

Тут я ничего не могу сказать. Я не экономист и просто не знаю, виновата или нет эта система вложения капитала в состоянии современного общества. Это именно та область, где нам нужен христианин-экономист. Но просто нечестно не сказать вам, что три великие цивилизации единодушно (по крайней мере, на первый взгляд) сошлись на осуждении того, на чем основана вся наша жизнь.

Еще одно, прежде чем я покончу с этим. В том стихе Нового завета, где говорится, что каждый должен работать, указывается и причина: «...трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28). Благотворительность, то есть забота о бедных, существенная часть христианской морали. В пугающей притче об овцах и козлах [13] дается как бы стержень, вокруг которого вращается все остальное. В наши дни некоторые люди говорят, что в благотворительности нет необходимости. Вместо этого мы должны создать такое общество, в котором не будет бедных. Они, возможно, абсолютно правы, мы должны создать такое общество. Но если кто-нибудь думает, что из-за этого мы можем уже сейчас прекратить благотворительную деятельность, такой человек отходит от христианской морали. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог точно установить, сколько следует давать бедным. Я боюсь, единственный способ избежать ошибки — давать больше, чем мы можем отложить. Иными словами, если мы расходуем на удобства, роскошь, удовольствия приблизительно столько же, сколько другие люди с таким же доходом, то на благотворительные цели мы, видимо, даем слишком мало. И если, давая, мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит, мы даем недостаточно. Должны быть такие желанные для нас вещи, от которых нам приходится отказываться, потому что наши расходы на благотворительность делают их недоступными. Я говорю сейчас об обычных случаях. Когда случается несчастье с нашими родственниками, друзьями, соседями или сотрудниками, Бог может потребовать гораздо больше, вплоть до того, что наше собственное положение окажется под угрозой. Для многих из нас величайшее препятствие к благотворительности — не любовь к роскоши или деньгам, а неуверенность в завтрашнем дне. Этот страх чаще всего — искушение. Иногда нам мешает тщеславие; мы поддаемся искушению истратить больше, чем следует, на показную щедрость (чаевые, гостеприимство) и меньше, чем следует, на тех, кто действительно нуждается в помощи.

А сейчас, прежде чем я закончу, я постараюсь угадать, как подействовал этот раздел книги на тех, кто его прочитал. Я предполагаю, что среди читателей есть так называемые «левые», которых возмутило, что я не пошел дальше. Люди же противоположных взглядов, вероятно, думают, что я, наоборот, слишком далеко зашел влево. Если так, то в наших проектах построения христианского общества мы наталкиваемся на камень преткновения. Дело в том, что большинство из нас подходит к этому не с целью выяснить, что говорит христианство, а с надеждой найти в христианстве поддержку собственной точке зрения. Мы ищем союзника там, где нам предлагается либо Господин, либо Судья. К сожалению, и сам я — такой же. В этом разделе есть мысли, которые я хотел бы опустить. Вот почему подобные разговоры ни к чему не приведут, если мы не готовы пойти длинным, кружным путем. Христианское общество не возникнет до тех пор, пока большинство не захочет его по-настоящему; а мы не захотим его по-настоящему,

пока не станем христианами. Я могу повторять Золотое правило, пока не посинею, однако не стану ему следовать, пока не научусь любить ближнего, как самого себя. А я не научусь любить ближнего, как самого себя, до тех пор, пока не научусь любить Бога. Но я могу научиться любить Бога только тогда, когда я научусь повиноваться Ему. Словом, как я и предупреждал, это ведет нас к проблеме нашего внутреннего «я», то есть от вопросов социальных — к вопросам религиозным. Ибо самый длинный кружной путь — кратчайший путь домой.

IV
МОРАЛЬ И ПСИХОАНАЛИЗ

Я сказал, что нам не удастся установить христианского общества до тех пор, пока большинство из нас не станет христианами. Это, конечно, не значит, что мы можем отказаться от преобразований общества вплоть до какой-то воображаемой даты. Напротив, нам следует взяться за два дела одновременно: первое — мы должны искать все возможные пути для применения Золотого правила в современном обществе; и второе — мы сами должны стремиться стать такими людьми, которые действительно будут применять это правило, если увидят, как это делать. А сейчас я хочу начать разговор о том, что такое «хороший человек» в христианском понимании.

Прежде чем я перейду к деталям, я хотел бы остановиться на двух пунктах более общего характера.

Во-первых, христианская мораль объявляет себя инструментом, который способен наладить человеческую машину, и, я думаю, вам интересно узнать, есть ли что-нибудь общее у христианства с психоанализом, который как будто бы предназначен для той же цели. Тут нам придется установить четкое разграничение между двумя вопросами: между существующими медицинскими теориями и техникой психоанализа, с одной стороны, и общим философским взглядом на мир, который Фрейд и другие связывали с психоанализом, — с другой. Философия Фрейда прямо противоречит христианству и философии другого великого психолога — Юнга [14]. Когда Фрейд говорит о том, как лечить неврозы, он рассуждает как специалист в своей области. Но когда он переходит к вопросам философии, то превращается в любителя. Поэтому есть все основания прислушиваться к нему в первом случае, но не во втором. Именно так я и поступаю, и с тем большей уверенностью, что убедился: когда Фрейд оставляет свою тему и принимается за другую, которая мне знакома (я имею в виду языкознание), то проявляет крайнее невежество. Однако сам психоанализ, независимо от всех философских обоснований и выводов, которые делают из него Фрейд и его последователи, ни в какой мере не противоречит христианству. Его методика перекликается с христианской моралью во многих пунктах. Поэтому неплохо, если бы каждый проповедник познакомился — более или менее — с психоанали-

зом. Но надо при этом помнить, что психоанализ и христианская мораль не идут рука об руку от начала и до конца, поскольку задачи перед ними поставлены разные.

Когда человек делает выбор в области морали — налицо два процесса. Первый — сам акт выбора. Второй — проявление различных чувств, импульсов и тому подобного, зависящих от психологической установки человека и как бы являющихся тем сырьем, из которого «лепится» решение. Существуют два вида такого сырья. В основе первого лежат чувства, которые мы называем нормальными, поскольку они типичны для всех людей. Второй — определяется набором более или менее неестественных чувств, вызванных какими-то отклонениями от нормы на уровне подсознания.

Страх перед теми или иными вещами, которые действительно представляют опасность, будет примером первого вида; безрассудный страх перед котами или пауками — примером второго вида. Стремление мужчины к женщине относится к первому виду; извращенное стремление одного мужчины к другому — ко второму. Что же делает психоанализ? Он старается избавить человека от противоестественных чувств, чтобы предоставить ему более доброкачественное «сырье» в момент морального выбора. Мораль же имеет дело с самими актами выбора.

Давайте рассмотрим это на примере. Представьте себе, что трое мужчин отправляются на войну. Один из них испытывает естественный страх перед опасностью, свойственный каждому нормальному человеку; он подавляет этот страх с помощью нравственных усилий и становится храбрецом. Теперь предположим, что двое других из-за отклонений в подсознании страдают преувеличенным страхом, победить который не дано никаким нравственным усилиям. Далее представим, что в военное подразделение, где они служат, приезжает психоаналитик, исцеляет их от противоестественного страха и теперь эти двое ничем не отличаются от первого, нормального мужчины. Это разрешение психологических проблем. Однако тут-то и возникает проблема нравственная. Почему? Да потому, что теперь, когда оба страдавших отклонениями от нормы излечились, они могут избрать совершенно разные линии поведения. Первый из них может сказать: «Слава Богу, я избавился от этого идиотского страха. Теперь я могу делать то, к чему всегда стремился,— исполнять свой долг перед родиной».

Однако другой может рассудить иначе: «Ну что ж, я очень рад, что сейчас я чувствую себя сравнительно спокойно под пулями. Но это, конечно, не меняет моего намерения. Чем лезть в пекло самому, позволю кому-нибудь другому, если только представится возможность, принять огонь на себя. Вот хорошо! Теперь я смогу уберечь себя, не привлекая при этом внимания».

Разница — чисто моральная, психоанализ в этом случае бессилен. Как бы вы ни улучшали исходное «сырье», вам все-таки придется столкнуться со свободным выбором, который, в конеч-

ном счете, продиктован тем, на какое место человек ставит свои интересы — на первое или на последнее. Именно нашим свободным выбором — и только им — определяется мораль.

Плохой психологический материал — не грех, а болезнь. Тут требуется не покаяние, а лечение. Это, между прочим, очень важно понимать. Люди судят друг о друге по внешним проявлениям. Бог судит нас на основе того морального выбора, который мы делаем. Когда психически больной человек, испытывающий патологический страх к кошкам, движимый добрыми побуждениями, заставляет себя подобрать котенка, вполне возможно, что в глазах Бога он проявляет больше мужества, чем здоровый человек, награжденный медалью за храбрость в сражении. Когда человек, крайне испорченный с детства, привыкший думать, что жестокость — это достоинство, проявляет хоть немножечко доброты или воздерживается от жестокого поступка и, таким образом, рискует быть осмеянным друзьями, он, быть может, в глазах Бога делает больше, чем сделали бы мы с вами, пожертвовав жизнью ради друга.

К этой же самой идее можно подойти и с другой стороны. Многие из нас производят впечатление очень милых, славных людей. Но на деле, возможно, мы приносим лишь незначительную часть той пользы, которую могли бы принести, принимая во внимание нашу хорошую наследственность и отличное воспитание. Поэтому в действительности мы хуже, чем те, кого сами считаем злодеями. Можем ли мы с уверенностью сказать, как бы мы себя повели, если бы были наделены психологическими комплексами, да вдобавок плохо воспитаны и, сверх всего, получили бы власть, ну, скажем, Гиммлера? Вот почему христианам сказано: не судите [15]. Мы видим только плоды, которые получились из сырья вследствие выбора, сделанного человеком. Но Бог судит его не за качество сырья, а за то, как он использовал его. Большая часть психологических свойств зависит от физиологических особенностей, но когда тело отмирает, остается лишь нетленный истинный человек, который выбирал и теперь несет ответственность за лучшее или худшее использование того материала, что был в его распоряжении. Всевозможные добродетельные поступки, которые мы считали проявлением наших собственных достоинств, были, оказывается, результатом нашего хорошего пищеварения, и они не зачтутся нам; не зачтется и другим многое плохое, что совершали они по причине различных комплексов или плохого здоровья. И тогда, наконец, мы впервые увидим каждого таким, каков он есть. Нас ожидает немало сюрпризов.

Все это ведет ко второму пункту. Люди часто думают о христианской морали как о сделке. Бог говорит: «Если вы выполните столько-то правил, я награжу вас. А если вы не будете их соблюдать, то поступлю с вами иначе». Я не думаю, что это наилучшее понимание христианской морали. Скорее, делая выбор, вы чуть-чуть преобразуете основную, истинную часть самого себя, ту часть, которая ответственна за выбор, во что-то новое, чем она прежде

не была. И если взять всю вашу жизнь в целом, со всеми бесчисленными выборами, то окажется, что на протяжении всей жизни вы медленно обращали эту главную часть либо в небесное, либо в адское существо; либо в такое, которое пребывает в гармонии с Богом, с другими, себе подобными созданиями и с самим собой, либо в иное, пребывающее и с Богом, и с себе подобными, и с собою — в состоянии войны. Относиться к первой категории значит принадлежать небу, то есть вкушать радость и мир, обретать знание и силу. Быть же существом второй категории означает терзаться безумием и страхом, страдать от гнева, бессилия и вечного одиночества. Каждый из нас в каждый данный момент своего существования движется либо в том, либо в другом направлении.

В этом — объяснение одной особенности, которая постоянно озадачивала меня у христианских авторов: в иной момент они кажутся крайне строгими, а в иной — чересчур снисходительными и либеральными. Они говорят о грешных мыслях как о чем-то невероятно серьезном; а затем, касаясь самых страшных убийц и предателей, заявляют: стоит им только раскаяться, и они будут прощены. Позднее я пришел к выводу, что они правы. Ведь их мысли прикованы к той зарубке, которую оставляет каждый наш поступок на крошечной, но главной части человеческого «я»; никто в этой жизни его не видит, но все мы будем терзаться или — наоборот — наслаждаться им вечно. Один человек занимает такое положение, что его гнев приведет к кровопролитию и гибели тысяч людей. Положение другого таково, что, каким бы гневом он ни пылал, над ним будут только смеяться. Однако маленькая зарубка на внутреннем «я» каждого из них может быть одинаковой в обоих случаях. Каждый из них причинил себе вред, и если каждый из них не покается, то в следующий раз ему будет еще труднее противиться искушению гнева, и с каждым новым разом гнев его будет все яростнее. Однако если каждый из них всерьез, по-настоящему обратится к Богу, то сумеет выпрямить вывих, который исказил его внутреннее «я»; и каждый из них в конечном счете обречен, если не сделает этого. Масштабы поступка, как они видятся со стороны, роли не играют.

И еще одно, последнее. Помните, я говорил, что правильное направление ведет не только к миру, но и к знанию. По мере того как человек становится лучше, он яснее видит то зло, которое еще остается в нем; становясь же хуже, меньше замечает его в себе. Умеренно плохой человек знает, что он не очень хорош, тогда как человек, насквозь испорченный, полагает, что с ним все в порядке. О том, что это так, говорит нам здравый смысл. Вы понимаете, что значит спать, когда бодрствуете, а не когда спите. Вы заметите арифметические ошибки, когда голова ваша работает четко и ясно: делая ошибки, вы их не замечаете. Вы можете понять природу опьянения только трезвым, а не когда пьяны. Хорошие люди знают и о добре, и о зле; плохие не знают ни о том, ни о другом.

V
НРАВСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОЛА

А теперь мы должны рассмотреть, как относится христианская мораль (нравственность) к вопросу половых отношений и что христиане называют добродетелью целомудрия. Христианское правило целомудрия не следует путать с общественными правилами скромности, приличия или благопристойности. Общественные правила приличия устанавливают, до какого предела допустимо обнажать человеческое тело, каких тем прилично касаться в разговоре и какие выражения употреблять в соответствии с обычаями данного социального круга. Таким образом, нормы целомудрия одни и те же для всех христиан во все времена, правила приличия меняются. Девушка с Тихоокеанских островов, которая едва-едва прикрыта одеждой, и викторианская леди, облаченная в длинное платье, закрытое до самого подбородка, могут быть в равной степени приличными, скромными или благопристойными, согласно стандартам общества, в котором они живут; и обе, независимо от одежды, которую носят, могут быть одинаково целомудренными (или, наоборот, нескромными). Отдельные слова и выражения, которыми целомудренные женщины пользовались во времена Шекспира, можно было бы услышать в девятнадцатом веке только от женщины, потерявшей себя. Когда люди нарушают правила пристойности, принятые в их обществе, чтобы разжечь страсть в себе или в других, они совершают преступление против нравственности. Но если они нарушают эти правила по небрежности или невежеству, то повинны лишь в плохих манерах. Если, как часто случается, они нарушают эти правила намеренно, чтобы шокировать или смутить других, это не обязательно говорит об их нескромности, скорее — об их недоброте.

Только недобрый человек испытывает удовольствие, ставя других в неловкое положение. Я не думаю, чтобы чрезмерно высокие и строгие нормы приличия служили доказательством целомудрия или помогали ему; и потому значительное упрощение и облегчение этих норм в наши дни рассматриваю как явление положительное.

Однако тут есть и неудобство: люди различных возрастов и несхожих типов признают различные стандарты приличия. Создается большая неразбериха. Я думаю, пока она остается в силе, старым людям или людям со старомодными взглядами следует очень осторожно судить о молодежи. Они не должны делать вывод, что молодые или «эмансипированные» люди испорчены, если (согласно старым стандартам) они ведут себя неприлично. И наоборот, молодым людям не следует называть старших ханжами или пуританами из-за того, что те не в состоянии с легкостью принять новые стандарты. Подлинное желание видеть в других все хорошее, что в них есть, и делать все возможное, чтобы эти «другие» чувствовали себя как можно легче и удобнее, привело бы к решению большинства подобных проблем.

Целомудрие — одна из наименее популярных христианских добродетелей. В этом вопросе нет исключений; христианское правило гласит: «Либо женись и храни абсолютную верность супруге (или супругу), либо соблюдай полное воздержание»[16]. Это настолько трудное правило, и оно настолько противоречит нашим инстинктам, что напрашивается вывод: либо не право христианство, либо с нашими половыми инстинктами в их теперешнем состоянии что-то не в порядке. Либо то, либо другое. И конечно, будучи христианином, я считаю, что неладно с нашими половыми инстинктами.

Но так считать у меня есть и другие основания. Биологическая цель сексуальных отношений — это дети, как биологическая цель питания — восстановление нашего организма. Если мы будем есть, когда нам хочется и сколько нам хочется, то, скорее всего, мы будем есть слишком много, но все-таки не катастрофически много. Один человек может есть за двоих, но никак не за десятерых. Аппетит переходит границу биологической цели, но не чрезмерно. А вот если молодой человек даст волю своему половому аппетиту и если в результате каждого акта будет рождаться ребенок, то в течение десяти лет этот молодой человек сможет заселить своими потомками небольшой город. Этот вид аппетита несоразмерно выходит за границу своих биологических функций. Рассмотрим это с другой стороны. На представление стриптиза вы можете легко собрать огромную толпу. Всегда найдется достаточно желающих посмотреть, как раздевается на сцене женщина. Предположим, мы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, собравшимися ради довольно странного спектакля: на сцене стоит блюдо, прикрытое салфеткой, затем салфетка начинает медленно подниматься, постепенно открывая взгляду содержимое блюда; и перед тем как погаснут театральные огни, каждый зритель может увидеть, что на блюде лежит баранья отбивная или кусок ветчины. Когда вы увидите все это, не придет ли вам в голову, что у жителей этой страны что-то неладное с аппетитом? Ну а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы сцену стриптиза, не подумал ли бы он, что с нашим половым инстинктом что-то не в порядке?

Один критик заметил, что, если бы он обнаружил страну, где пользуется популярностью этакий акт «стриптиза», он решил бы, что народ в этой стране голодает. Критик хотел сказать, что увлечение стриптизом похоже не на половое извращение, но скорее на половое голодание. Я согласен с ним, что если в какой-то неизвестной стране люди проявляют живой интерес к упомянутому «стриптизу» отбивной, то одним из объяснений мог бы быть голод. Однако сделаем следующий шаг и проверим нашу гипотезу, выяснив, много или мало пищи потребляет житель предполагаемой страны. Если наблюдения покажут, что едят здесь немало, нам придется отказаться от первоначальной гипотезы и поискать другое объяснение. Так и с зависимостью между половым голоданием и интересом к стриптизу: мы должны выяснить, превосходит ли половое

воздержание нашего века половое воздержание других столетий, когда стриптиза не было. Такого воздержания мы не находим. Противозачаточные средства резко снизили риск, связанный с половыми излишествами, и ответственность за них и в пределах брака, и вне его; общественное мнение стало гораздо более снисходительным к незаконным связям и даже к извращениям по сравнению со всеми остальными веками послеязыческих времен. К тому же гипотеза о «половом голодании» не единственно возможное объяснение. Каждый знает, что половой аппетит, как и всякий другой, стимулируется излишествами. Вполне возможно, что голодающий много думает о еде. Но то же самое делает и обжора.

И еще одно, третье соображение. Немногие желают есть то, что пищей не является, или делать с пищей что-либо другое, а не есть ее. Иными словами, извращенный аппетит к пище — вещь крайне редкая. А вот извращения сексуальные — многочисленны, пугающи и с трудом поддаются лечению. Мне не хотелось бы вдаваться во все эти детали, но придется. Делать это приходится потому, что в последние двадцать лет нас день за днем кормили отборной ложью о сексе. Нам повторяли до тошноты, что половое желание в такой же степени правомерно, как и любое другое естественное желание; нас убеждали, что, если только мы откажемся от глупой викторианской идеи подавлять это желание, все в нашем человеческом саду станет прекрасно. Это — неправда. Как только вы, отвернувшись от пропаганды, переведете взгляд на факты, вы увидите, что это ложь.

Вам говорят, что половые отношения пришли в беспорядок из-за того, что их подавляли. Но в последние 20 лет их не подавляют. О них судачат повсюду, весь день напролет, а они все еще не пришли в норму. Если вся беда в подавлении секса, в замалчивании, то с наступлением свободы проблема должна бы разрешиться. Однако этого не случилось. Я считаю, что все было как раз наоборот: когда-то, в самом начале, люди начали обходить этот вопрос именно из-за того, что он выходил из-под контроля, превращался в чудовищную неразбериху.

Современные люди говорят: «В половых отношениях нет ничего постыдного». Под этим они могут подразумевать две вещи. Они могут иметь в виду, что нет ничего постыдного как в том, что человечество воспроизводит себя определенным способом, так и в том, что способ этот сопряжен с удовольствием. Если так, то они правы. Христианство полностью с этим согласно. Беда не в самом способе и не в удовольствии. В старину христианские учителя говорили: «Если бы человек не пал, то получал бы гораздо больше удовольствия от половых отношений, чем получает теперь». Я знаю, что некоторые туповатые христиане создали впечатление, будто с точки зрения христианства половые отношения, тело, физические удовольствия — зло сами по себе. Эти люди совершенно не правы. Христианство — почти единственная из великих религий, которая одобрительно относится к телу, которая

считает, что материя — это добро, что Сам Бог однажды облекся в человеческое тело, что нам будет дано какое-то новое тело даже на небесах и это новое тело станет существенной составной частью нашего счастья, нашей красоты, нашей силы. Христианство возвеличило брак больше, чем любая другая религия, и почти все величайшие поэмы о любви написаны христианами. Если кто-нибудь говорит, что половые отношения — зло, христианство тут же возражает. Однако когда сегодня люди говорят: «В половых отношениях нет ничего постыдного», они могут подразумевать, что нет ничего предосудительного в том положении, в котором пребывают эти отношения сегодня.

Если они это имеют в виду, то, я думаю, они не правы. Я считаю, что сегодняшнее положение с сексом — весьма и весьма постыдное. Нет ничего постыдного в наслаждении едой; но было бы крайне позорно для человечества, если бы половина населения земного шара сделала пищу главным интересом в своей жизни и проводила время, глядя на картинки, изображающие съедобное, облизываясь и пуская слюну. Я не хочу сказать, что мы с вами лично ответственны за сложившуюся ситуацию. Мы страдаем от искаженной наследственности, которую передали нам наши предки. Кроме того, мы выросли под гром пропаганды невоздержания. Существуют люди, которые ради прибыли желают, чтобы наши половые инстинкты были постоянно возбуждены, потому что человек, одержимый навязчивой идеей или страстью, едва ли способен удержаться от расходов на ее удовлетворение. Бог знает о нашем положении и, когда Он будет нас судить, примет во внимание все трудности, которые нам приходилось преодолевать. Важно только, чтобы мы искренне и настойчиво желали преодолеть эти трудности.

Мы не можем исцелиться прежде, чем захотим. Те, которые действительно ищут помощи, получают ее. Но многим современным людям даже пожелать этого трудно. Легко думать, будто мы хотим чего-то, когда на самом деле вовсе этого не хотим. Давно еще один известный христианин сказал, что когда он был молодым, то постоянно молился, чтобы Бог наделил его целомудрием. И лишь много лет спустя он осознал, что, пока его губы шептали: «О Господи, сделай меня целомудренным», сердце втайне добавляло: «Только, пожалуйста, не сейчас». То же самое может случиться и с молитвами о других добродетелях.

Существуют три причины, почему в настоящее время нам особенно трудно желать целомудрия; я уже не говорю о том, чтобы достичь его.

Во-первых, наша искаженная природа, бесы, искушающие нас, и вся современная пропаганда похоти, объединившись, внушают нам, что желания, которым мы противимся, так естественны и разумны и направлены на укрепление нашего здоровья, что сопротивление им — своего рода ненормальность, почти извращение. Афиша за афишей, фильм за фильмом, роман за романом связывают склонность к половым излишествам с физическим здо-

ровьем, естественностью, молодостью, открытым и веселым характером. Подобная параллель — лжива. Как всякая сильно действующая ложь, она замешана на правде, о которой мы говорили выше: половое влечение само по себе (за исключением излишеств и извращений) — нормальный и здоровый инстинкт. Ложь — в предположении, что любой половой акт, которого вы желаете в данный момент, здоров и нормален. Даже если оставить христианство в стороне, с точки зрения элементарной логики это лишено смысла. Ведь очевидно, что уступка всем нашим желаниям ведет к импотенции, болезням, ревности, лжи и всему тому, что никак не согласуется со здоровьем, веселым нравом и открытостью. Чтобы достичь счастья даже в этом мире, необходимо быть как можно более воздержанным. Поэтому нет оснований считать, что любое сильное желание естественно и разумно. Каждому здравомыслящему и цивилизованному человеку должны быть присущи какие-то принципы, руководствуясь которыми он одни свои желания осуществляет, другие отвергает. Один человек руководствуется христианскими принципами, другой — гигиеническими, третий — социальными. Настоящий конфликт происходит не между христианством и «природой», а между христианскими принципами и принципами контроля над «природой». Ведь «природу» (то есть естественные желания) так или иначе приходится контролировать, если мы не желаем разрушить свою жизнь. Следует признать, что христианские принципы строже других. Но христианство само помогает верующему в соблюдении их, тогда как при соблюдении других принципов вы никакой внешней помощи не получаете.

Во-вторых, многих людей отпугивает самая мысль о том, чтобы всерьез следовать христианским принципам целомудрия, ибо они считают (прежде, чем попробовали), что это невозможно. Но, испытывая что бы то ни было, нельзя думать о том, возможно это или нет. Ведь над экзаменационной задачей человек не раздумывает, но старается сделать все, на что способен. Даже самый несовершенный ответ будет как-то оценен; но если он вообще не ответит на вопрос, то и оценки не получит. Не только на экзаменах, но и на войне, либо занимаясь альпинизмом, или когда учатся кататься на коньках, плавать или ездить на велосипеде, даже застегивая тугой воротник замерзшими пальцами, люди часто совершают то, что казалось невозможным прежде, чем они попробовали. Поразительно, на что мы способны, когда заставляет необходимость.

Мы можем быть уверены в том, что совершенного целомудрия, как и совершенного милосердия, не достигнуть одними человеческими усилиями. Вы должны попросить Божьей помощи. Но даже после того, как вы ее попросили, долгое время вам может казаться, что вы этой помощи не получаете или получаете ее недостаточно. Не падайте духом. Всякий раз, когда оступаетесь, просите прощения, собирайтесь с духом и делайте новую попытку. Очень часто поначалу Бог дает не самую добродетель,

а силы на все новые и новые попытки. Какой бы важной добродетелью ни было целомудрие (или храбрость, или правдивость, или любое другое достоинство), самый процесс развивает в нас такие душевные навыки, которые еще важнее. Этот процесс освобождает нас от иллюзий об эффективности собственных усилий и учит во всем полагаться на Бога. Мы учимся, с одной стороны, тому, что не можем полагаться на самих себя даже в наши лучшие моменты, а с другой — тому, что и в случае самых ужасных неудач нам не следует отчаиваться, потому что неудачи наши — прощены. Единственной роковой ошибкой для нас было бы успокоиться на том, что мы есть, не стремясь к совершенству.

В-третьих, люди часто превратно понимают то, что в психологии называется «подавлением». Психология учит, что «подавляемые половые инстинкты» представляют из себя серьезную опасность. Но слово «подавляемые»— технический термин. Оно не значит «пренебрегаемые» или «отвергаемые». Подавленное желание или мысль отбрасывается в наше подсознание (обычно в очень раннем возрасте) и может возникнуть в сознании только в видоизмененной до неузнаваемости форме. Подавленные половые инстинкты могут проявляться как нечто, не имеющее к сексу никакого отношения. Когда подросток или взрослый человек сопротивляется какому-то осознанному желанию, он ни в коей мере не создает для себя опасности «подавления». Напротив, те, кто серьезно пытаются хранить целомудрие, лучше осознают половую сторону своей природы и знают о ней гораздо больше, чем другие люди. Они познают свои желания, как Веллингтон знал Наполеона или как Шерлок Холмс знал Мориарти; они разбираются в них, как крысолов в крысах, а слесарь-водопроводчик — в протекающих трубах. Добродетель — пусть даже не достигнутая, но желаемая — приносит свет, излишества лишь затуманивают сознание.

И наконец, несмотря на то что мне пришлось так долго говорить о сексе, я хочу, чтобы вы ясно поняли: центр христианской морали — не здесь. Если кто-нибудь полагает, что отсутствие целомудрия христиане считают наивысшим злом, то он заблуждается. Грехи плоти — очень скверная штука, но они наименее серьезные из всех грехов. Самые ужасные, вредоносные удовольствия чисто духовны: это удовольствие соблазнять других на зло; желание навязывать другим свою волю, клеветать, ненавидеть, стремиться к власти. Ибо во мне живут два начала, соперничающие с тем «внутренним человеком», которым я должен стремиться стать. Это — животное начало и дьявольское. Последнее — наихудшее из них. Вот почему холодный самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, может быть гораздо ближе к аду, чем проститутка. Но конечно, лучше всего не быть ни тем, ни другой.

VI
ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

Последняя глава преимущественно в отрицательном свете трактовала проявление сексуальных импульсов; я почти не коснулся положительных аспектов, а именно христианского брака.

Обсуждать вопросы супружеских отношений я не хотел бы по двум, в частности, причинам. Первая — в том, что христианская доктрина о браке крайне непопулярна. А вторая — в том, что сам я никогда не был женат и, следовательно, могу говорить только с чужих слов. Но, несмотря на это, я полагаю, что, рассуждая о вопросах христианской морали, едва ли можно обойти ее стороной.

Христианская идея брака основывается на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Ибо именно это означают Его слова «одна плоть»[17]. И христиане полагают, что, когда Иисус произносил их, Он констатировал факт, так же как констатацией факта были бы слова, что замок и ключ составляют единый механизм или что скрипка и смычок — один музыкальный инструмент. Он, Изобретатель человеческой машины, сказал нам, что две ее половины — мужская и женская — созданы для того, чтобы соединиться в пары, причем не только ради половых отношений; союз этот должен быть всесторонним. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто вступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза (половой) от всех остальных. Между тем именно в неразделимости их — залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, получаемое от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия: это так же противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения, то есть жуя пищу и выплевывая.

И, как следствие этого, христианство учит, что брак — союз двух людей на всю жизнь. Верно, что разные церкви придерживаются на этот счет не совсем схожих мнений. Некоторые не разрешают развода совсем. Другие разрешают его очень неохотно, только в особых случаях. Очень печально, что между христианами нет согласия в таком важном вопросе. Но справедливость требует отметить, что между собой различные церкви согласны по вопросу брака все же гораздо больше, чем с окружающим миром. Я имею в виду, что любая церковь рассматривает развод как ампутацию части живого тела, как своего рода хирургическую операцию. Одни церкви считают эту операцию настолько неестественной, что вовсе не допускают ее. Другие допускают развод, но как крайнюю меру в исключительно тяжелых случаях.

Все они согласны с тем, что эта процедура скорее похожа на ампутацию обеих ног, чем на расторжение делового товарищества. Никто из них не принимает современной точки зрения на развод, утверждающей, что он совершается партнерами как своего рода

реорганизация, необходимая, если между ними больше нет любви или если один из них полюбил кого-то другого.

Прежде чем мы перейдем к этой современной точке зрения на развод, в ее связи с целомудрием, нам следовало бы проследить ее связь с другой добродетелью, а именно справедливостью. Последняя включает в себя, помимо всего прочего, верность обещаниям. Каждый, кто венчался в церкви, давал торжественное публичное обещание хранить верность своему партнеру до смерти. Долг сдержать его не находится в специфической зависимости от характера половых отношений. Обещание, данное при заключении брачного союза, схоже с любым другим. Если, как утверждают наши современники, половое влечение ничем не отличается от других наших импульсов, то и относиться к нему следует, как к любому из них. Как всякую тягу к излишествам, его надо контролировать. Если же, как я думаю, половой инстинкт отличается от других тем, что болезненно воспален, то мы должны реагировать на него особенно осторожно, чтобы он не толкнул нас на бесчестный поступок.

На это кто-нибудь возразит, что считает обещание, данное в церкви, простой формальностью, которую не имел намерения соблюдать. Кого же тогда он старался обмануть, давая это обещание? Бога? Это было бы неумно. Себя самого? Тоже не умнее. Невесту, ее родственников? Это было бы предательством. Чаще всего, я думаю, брачная пара (или один из них) надеется обмануть публику. Они желают респектабельности, связанной с браком, но не желают платить за это. Такие люди — обманщики и самозванцы. Если они к тому же испытывают удовлетворение от обмана, то мне нечего им сказать, ибо кто станет навязывать высокий и трудный долг целомудрия людям, у которых еще не пробудилось желание быть честными? А если они уже образумились и возымели такое желание, то обещание, данное ими, послужит им сдерживающей силой, и они станут вести себя, откликаясь на зов справедливости, а не целомудрия. Если люди не верят в постоянный брак, им, пожалуй, лучше жить вместе, не вступая в него. Это честнее, чем давать клятвы, которых не намерен исполнять. Верно, что совместная жизнь вне брака делает их виновными (с точки зрения христианства) в грехе прелюбодеяния. Но нельзя избавиться от одного порока, добавив к нему другой: распущенность нельзя исправить, добавив к ней клятвопреступление.

Очень популярная в наши дни идея, что единственное оправдание брака — любовь между супругами, не оставляет места для брачного контракта или брачных обетов. Если все держится на влюбленности, обещание теряет смысл и давать его не следует. Любопытно, что сами влюбленные, пока еще влюблены, знают это лучше, чем те, которые рассуждают о любви. По замечанию Честертона, влюбленным присуща естественная склонность связывать друг друга обещаниями. Любовные песни во всем мире полны клятв в вечной верности. Христианский закон не навязывает

влюбленным чего-то такого, что чуждо природе любви, а лишь требует, чтобы они с полной серьезностью относились к тому, на что вдохновляет их страсть.

И конечно, обещание, данное, когда я был влюблен и потому, что я был влюблен, обещание хранить верность на всю жизнь, обязывает меня быть верным даже в том случае, если любовь прошла. Ведь обещание может относиться только к действиям и поступкам, то есть то, что я могу контролировать. Никто не может обещать, что будет постоянно испытывать одно и то же чувство. С таким же успехом можно обещать никогда не страдать головной болью или всегда быть голодным. Возникает вопрос: какой смысл держать двух людей вместе, если они больше не любят друг друга? На это есть несколько серьезных причин социального характера: не лишать детей семьи; защитить женщину (которая, возможно, пожертвовала своей карьерой, выходя замуж) от перспективы быть брошенной, как только она наскучит мужу. Но существует еще одна причина, в которой я убежден, хотя мне не совсем легко объяснить ее.

И вот почему: слишком многие люди просто не в состоянии понять, что если Б лучше, чем В, то А может быть еще лучше, чем Б. Они предпочитают понятия «хороший» и «плохой», а не «хороший», «лучший» и «самый лучший» или «плохой», «худший» и «самый худший». Они хотят знать, считаете ли вы патриотизм хорошим качеством. Вы отвечаете, что, конечно, патриотизм — хорошее качество, гораздо лучшее, чем эгоизм, присущий индивидуалисту, но что всеобщая братская любовь — выше патриотизма, и если они вступают в конфликт между собой, то предпочтение следует отдать братской любви. Казалось бы, вы даете полный ответ, но ваши оппоненты видят в нем лишь желание увильнуть от ответа. Они спрашивают, что́ вы думаете о дуэли. Вы отвечаете, что простить человеку оскорбление гораздо лучше, чем сражаться с ним на дуэли. Однако даже дуэль может быть лучше, чем ненависть на всю жизнь, которая проявляется в тайных попытках унизить человека, всячески повредить ему. Если вы дадите им такой ответ, они отойдут от вас, жалуясь, что вы не хотите ответить прямо. Я очень надеюсь, что никто из читателей не сделает подобной ошибки в отношении того, о чем я собираюсь сейчас говорить.

Влюбленность — восхитительное состояние, во многих отношениях оно полезно для нас. Любовь помогает нам быть великодушными и мужественными, раскрывает перед нами не только красоту любимого существа, но и красоту, разлитую во всем, и, наконец, контролирует (особенно вначале) наши животные половые инстинкты. В этом смысле любовь — великая победа над похотью. Никто в здравом уме не станет отрицать, что влюбленность лучше обычной чувственности или холодной самовлюбленности. Но, как я сказал прежде, опаснее всего следовать какому-то из импульсов нашей природы любой ценой, ни перед чем не останавливаясь. Быть влюбленным — вещь хорошая, но не лучшая.

Есть много вещей, которые меркнут перед влюбленностью; но есть и такие, которые выше ее. Вы не можете класть это чувство в основание всей своей жизни. Да, оно благородно, но оно всего лишь чувство, и нельзя рассчитывать, что оно с одинаковой интенсивностью будет длиться всю жизнь. Знание, принципы, привычки могут быть долговечны; чувство приходит и уходит. И в самом деле, что бы люди ни говорили, состояние влюбленности преходяще. Да и то сказать: если бы люди пятьдесят лет испытывали друг к другу точно то же, что в день перед свадьбой, их положение было бы не слишком завидным. Кто смог бы вынести постоянное возбуждение и пять лет? Что сталось бы с нашей работой, аппетитом, сном, с нашими дружескими связями? Но конец влюбленности, конечно — не конец любви. А любовь — именно любовь, в отличие от влюбленности,— не просто чувство. Это глубокий союз, поддерживаемый волевыми усилиями, укрепляемый привычкой. Любовь укрепляется (в христианском браке) и благодатью, о которой просят и которую получают от Бога оба партнера. Поэтому они могут любить друг друга даже тогда, когда друг другом недовольны. (Ведь любите же вы себя, когда недовольны собой.) Они в состоянии сохранить эту любовь и тогда, когда каждый из них мог бы влюбиться в кого-нибудь еще, если бы позволил себе. Влюбленность в самом начале побудила их дать обещание верности друг другу. Вторая, более спокойная любовь дает им силы хранить это обещание. Именно на такой любви работает мотор брака. Влюбленность была только вспышкой для запуска. Если вы со мной не согласны, то, конечно, скажете: «Он ничего об этом не знает, потому что сам не женат». Очень возможно, что вы правы. Но прежде чем вы это скажете, убедитесь, пожалуйста, в том, что судите на основании личного опыта или на основании наблюдений за жизнью своих друзей. Не судите на основании идей, почерпнутых из романов и фильмов. И требуется много терпения и умения, чтобы выделить те уроки, которые нам действительно преподаны жизнью.

Из книг люди нередко получают представление, будто влюбленность может длиться всю жизнь, если вы не ошиблись при выборе. Отсюда вывод: если этого нет, значит, допущена ошибка. Остается лишь сменить партнера. Думающие так не осознают, что и восторг новой любви постепенно угаснет точно так же. Ведь и в этой форме жизни, как и в любой другой, возбуждение приходит вначале, но не остается навсегда. То возбуждение, которое испытывает мальчишка при первой мысли о полете, уляжется, когда он придет в авиацию и приступит к учебным полетам. И восторг, который теснит вам душу, когда вы впервые попадаете в какое-то прекрасное место, постепенно гаснет, если вы там поселитесь. Значит ли это, что лучше вообще не учиться летать и не переселяться в красивейшие места? Отнюдь нет. В обоих случаях, пройдя через первую фазу, вы почувствуете, как первоначальное возбуждение сменяется более спокойным и постоянным интересом. Более того (я едва могу найти слова, чтобы выразить, какое

большое значение придаю этому), только те люди, которые готовы примириться с потерей трепета и довольствоваться трезвым интересом, способны обрести новые восторги. Человек, который научился летать и стал хорошим пилотом, внезапно слышит музыку сфер. Человек, который поселился в прекрасном месте, открывает для себя радость еще больше украшать его, насаждая в нем сад.

В какой-то мере, я думаю, Христос имел в виду и это, когда сказал, что ничто не может жить, пока не умрет [18]. Не пытайтесь удерживать удовольствие, питаемое возбуждением. Это было бы самой опасной ошибкой. Дайте возбуждению пройти, дайте ему умереть, переживите это умирание и перейдите в следующий за ним период спокойной заинтересованности и счастья. Сделайте это, и вы увидите, что вы все время живете в мире новых восторгов и нового трепета. Но если вы попытаетесь искусственно включить восторженное состояние в свое повседневное «меню», то обнаружите, как оно постепенно слабеет и все реже вас посещает, и вот уж вы доживаете свою жизнь преждевременно состарившимся, утратившим иллюзии человеком, которому все наскучило. Именно из-за того, что очень немногие люди это понимают, вы встречаете вокруг так много людей среднего возраста, ворчащих, что юность прошла попусту. Нередко они сетуют на прошедшую юность в таком возрасте, когда перед ними еще должны открываться новые горизонты со всех сторон. Гораздо интереснее по-настоящему научиться плавать, чем бесконечно (и безнадежно) стараться вернуть то чувство, которое вы испытали, когда впервые ребенком надели ласты и поплыли.

Очень часто в романах и пьесах вы находите мысль, будто влюбленность — такое чувство, которому невозможно противиться. Будто это что-то такое, что просто поражает вас, как, к примеру, корь. Некоторые люди в это верят, и, будучи женаты, срывают предохранитель со своих чувств при встрече с привлекательной знакомой. Однако я склонен думать, что в жизни такие непреодолимые страсти посещают нас гораздо реже, чем в книгах (во всяком случае, взрослых людей). Когда мы встречаем человека красивого, умного, привлекательного, мы, в каком-то смысле, должны полюбить эти его прекрасные качества, должны восхищаться ими. Но не от нас ли в основном зависит, перерастет ли это восхищение в то, что мы зовем влюбленностью? Нет сомнений, что если мы напичканы романтическими сюжетами и любовными песнями, да к тому же пребываем под действием алкоголя, то способны превратить любое восхищение в любовь такого рода. Точно так же, если вдоль тропинки вырыта канава, вся дождевая вода будет собираться в нее; или, если мы носим синие очки, все вокруг кажется нам синим. Но это — наша собственная вина.

Прежде чем мы оставим вопрос о разводе, я бы хотел разграничить две вещи, которые часто смешивают. Христианский принцип брака — это один вопрос. Совсем другой вопрос: как далеко

могут идти христиане, если они избиратели или члены парламента, в старании привить свой взгляд на брак остальным членам общества? Очень многие люди считают, что если вы христианин, то должны затруднить развод для всех остальных. Я с этим не согласен. Я, например, знаю, что возмутился бы, если бы мусульмане постарались запретить всем нам, остальным, вино. Я придерживаюсь следующего мнения: церковь должна откровенно признать, что граждане Великобритании в большинстве своем не христиане и, следовательно, от них нельзя ожидать, чтобы они вели христианский образ жизни. Необходимо иметь два рода браков: один — регулируемый государством на основании законов, обязательных для всех граждан; другой — регулируемый церковью на основании тех законов, которые обязательны для всех ее членов. Различие должно быть очень четким, чтобы людям было ясно, какая пара вступает в брак по-христиански, а какая — нет.

Я думаю, я сказал достаточно о постоянстве и неразрывности христианского брака. Нам остается разобраться в одном, еще более непопулярном вопросе. Христианские жены дают обещание повиноваться своим мужьям. В христианском браке глава семьи — мужчина. В связи с этим возникают два вопроса: 1. Почему в семье обязательно должен быть глава, почему нельзя допустить равенства? 2. Почему главой должен быть мужчина?

1. Необходимость иметь главу в семье вытекает из идеи, что брак — союз постоянный. Конечно, когда муж и жена живут в согласии, вопрос о главенстве не возникает. И мы должны надеяться, что именно это является нормой в христианском браке. Но если возникает разногласие, что тогда? Тогда супругам не избежать серьезного разговора. Допустим, они уже пытались говорить и тем не менее к согласию не пришли. Что им делать дальше? Они не могут решить вопроса с помощью голосования, потому что при наличии лишь двух сторон голосование невозможно. В таком случае остаются две вещи: либо им придется разойтись в разные стороны, либо один из них должен получить право решающего голоса. При постоянном браке одна из сторон должна в предвидении крайнего случая иметь власть и решать вопросы семейного союза. Ибо никакой постоянный союз невозможен без конституции.

2. Если в семье должен быть глава, то почему именно мужчина? Ну что ж, во-первых, есть ли у кого серьезное желание, чтобы главную роль в семье играла женщина? Как я уже сказал, я сам не женат. Однако я вижу, что даже те женщины, которые хотят быть главою в своем доме, обычно не приходят в восторг, наблюдая такую же ситуацию у соседей. Скорее всего, они скажут: «Бедный мистер Икс! (имея в виду соседа). Почему он позволяет этой ужасной женщине верховодить? Я просто не могу его понять!» Я даже не думаю, что эта женщина будет польщена, если кто-нибудь заметит, что она сама «верховодит» в своей семье. Должно быть, есть что-то противоестественное в женском руководстве мужьями, потому что сами жены несколько смущены этим и презирают таких мужей.

Но есть еще одна причина; и здесь, скажу откровенно, я говорю как холостяк, потому что причину эту лучше видно со стороны, чем с позиции женатого человека. Отношения семьи с внешним миром — так сказать, внешняя политика семьи — должны находиться, в конечном счете, под контролем мужа. Почему? Потому что он всегда должен быть (и, как правило, бывает) более справедлив к посторонним. Женщина сражается в первую очередь за своих детей и своего мужа, против всего остального мира. Для нее, вполне естественно, их требования, их интересы перевешивают все соображения. Она — их чрезвычайный поверенный. Задача мужа — следить за тем, чтобы это естественное предпочтение не ставилось постоянно во главу угла в отношениях семьи с окружающими. За ним должно оставаться последнее слово, чтобы он мог, в случае необходимости, защитить других от семейного патриотизма своей жены. Если кто-нибудь из вас сомневается в этом, позвольте мне задать вам вопрос. Если ваша собака укусила соседского ребенка или ваш ребенок ударил соседскую собаку, с кем вы предпочли бы иметь дело — с хозяином или с хозяйкой? Или если вы замужняя женщина, позвольте мне спросить вас: как бы вы ни обожали мужа, не признаетесь ли вы, что его главный недостаток — неспособность постоять за свои и ваши права при столкновении с соседями?

VII
ПРОЩЕНИЕ

Я сказал в одной из предыдущих глав, что целомудрие — едва ли не самая непопулярная из христианских добродетелей. Но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель еще менее популярная, чем целомудрие. Она выражается в христианском правиле: «Возлюби ближнего своего, как самого себя»[19]. Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие «твоего ближнего» и «твоего врага»... Итак, мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов.

Каждый человек соглашается, что прощение — прекрасная вещь, до тех пор, пока сам не окажется перед альтернативой прощать или не прощать, когда прощение должно исходить именно от него. Мы помним, как оказались в такой ситуации в годы войны. Обычно само упоминание об этом вызывает бурю, и не потому, что люди считают эту добродетель слишком высокой и трудной. Нет, просто прощение такого рода кажется им недопустимым, им ненавистна самая мысль о нем. «Нас тошнит от подобных разговоров»,— заявляют они. И половина из вас уже готова меня спросить: «А как бы вы относились к гестапо, если бы были поляком или евреем?»

Я сам хотел бы это знать. Точно так же как хотел бы знать, что мне делать, если передо мной встанет выбор: умереть мученической смертью или отказаться от веры. Ведь христианство прямо говорит мне, чтобы я не отказывался от веры ни при каких обстоя-

тельствах. В этой книге я не пытаюсь сказать вам, что́ я мог бы сделать,— я могу сделать крайне мало. Я пытаюсь показать вам, что представляет из себя христианство. Не я его придумал. И в самой сердцевине его я нахожу эти слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не прощаем, то не простят и нас. Двух путей здесь нет. Так что же нам делать?

Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я думаю, две вещи мы можем сделать, и они облегчат нам нашу трудную задачу. Приступая к изучению математики, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а с простого сложения. Точно так же, если мы действительно хотим (а все зависит именно от нашего желания) научиться прощать, нам, наверное, следует начать с чего-то полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить мужа, или жену, или родителей, или детей, или ближайших соседей за что-то, что они сказали или сделали на прошлой неделе. Это, возможно, захватит наше внимание. Затем нам надо понять, что значит «любить ближнего, как самого себя». А как я люблю себя?

Вот сейчас, когда я подумал об этом, я понял, что у меня нет особой нежности и любви к себе самому. Я даже не всегда люблю свое собственное общество. Значит, слова «возлюби ближнего своего», очевидно, не означают «испытывай к нему нежность» или «находи его привлекательным». Впрочем, так и должно быть, потому что, конечно же, как бы вы ни старались, вы не заставите себя почувствовать нежность к кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь, что минутами — да (и это, несомненно, худшие мои минуты). Но люблю я себя не поэтому; не потому, что считаю себя славным парнем. На деле все наоборот, а именно: любовь к себе заставляет меня думать, что я, в сущности, славный парень. Следовательно, и врагов своих мы можем любить, не считая их приятными людьми. Это великое облегчение. Потому что очень многие думают, что простить своих врагов значит признать, что они, в конце концов, не такие уж плохие, тогда как на самом деле всем ясно, что они действительно плохи.

Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не только не считаю себя приятным человеком, но, напротив, нахожу себя просто отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. Значит, мне, по всей видимости, дозволяется ненавидеть и некоторые поступки моих врагов. И вот уже мне вспоминаются слова, давно произнесенные христианскими учителями: «Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто совершает его». Или иначе: «Ненавидеть грех, но не грешника». Долгое время я считал это различие глупым и надуманным; как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не ненавидеть его самого? Но позднее я понял, что годами именно так и относился к одному человеку, а именно к самому себе. Как бы я ни

ненавидел свою трусость или лживость, или жадность, я тем не менее продолжал любить себя, и мне это было совсем не трудно. Фактически я ненавидел свои дурные качества потому, что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на грам смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которые мы сказали о них, не следует брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки, то есть чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он сможет исправиться и снова стать человеком.

Проверить себя можно следующим образом. Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, где говорится, что опубликованная вчера история, возможно, не совсем соответствует истине и все не так страшно. Почувствуете ли вы облегчение: «Слава Богу, они не такие негодяи, как я думал». Или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться первоначальной версии просто ради удовольствия думать, что те, о ком вы читали,— законченные мерзавцы? Если человек охвачен вторым чувством, тогда, боюсь, он вступил на путь, который — пройди он его до конца — заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее.

Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое тоже стало черным. В конце концов появится желание все, буквально все — Бога, и наших друзей, и себя самих — видеть в черном свете. Подавить его уже не удастся. Атмосфера безудержной ненависти поглотит такую душу навеки.

Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли «Возлюби врага своего», что мы не должны его наказывать? Нет; ведь и то, что я люблю самого себя, не значит, что я всячески должен спасать себя от заслуженного наказания, вплоть до смертной казни. Если вы совершили убийство, то по христианскому принципу надо сдаться в руки властям и испить чашу даже до смерти. Только такое поведение было бы правильным с христианской точки зрения. Поэтому я полагаю, что судья-христианин абсолютно прав, приговаривая преступника к смерти; прав и солдат-христианин, когда убивает врага на поле сражения. Я всегда придерживался этого мнения с тех пор, как сам стал христианином, задолго до войны, и сегодня держусь его. Известное «Не убий» приводится в неточном переводе. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, которые переводятся как глагол «убивать». Но одно из них значит действительно просто «убить», тогда как другое — «совершить убийство». И во всех трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки,— где цитируется эта заповедь Христа [21], употребляется именно то слово, которое означает «не совершай убийства». Мне сказали, что такое же различие существует и в древнеев-

рейском языке. «Убивать» — далеко не всегда означает «совершать убийство», так же как половой акт не всегда означает прелюбодеяния. Когда воины спросили у Иоанна Крестителя, как им поступать [22], он и намека не сделал на то, что им следует оставить армию. Ничего такого не требовал и Сам Иисус, когда, например, встретился с римским сотником [23]. Образ рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе дело,— один из великих образов христианства. Война — вещь отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя считаю, что он полностью заблуждается. Кого я не могу понять, так это полупацифистов, встречающихся в наши дни, которые пробуют внушить людям, что если уж они вынуждены сражаться, то пусть сражаются, как бы стыдясь, не скрывая, что делают это по принуждению. Подобный стыд нередко лишает прекрасных молодых военных из христиан того, что принадлежит им по праву и является естественным спутником мужества, а именно — бодрости, радости и сердечности.

Я часто думаю про себя, что бы случилось, если бы, когда я служил в армии во время первой мировой войны, я и какой-нибудь молодой немец одновременно убили друг друга и сразу же встретились после смерти. И, знаете, я не могу себе представить, чтобы кто-то из нас двоих почувствовал обиду, негодование или хотя бы смущение. Думаю, мы просто рассмеялись бы над тем, что произошло.

Я могу себе представить, что кто-нибудь скажет: «Если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать и даже убивать его, то в чем же разница между христианской моралью и обычной человеческой точкой зрения?» Разница есть, и колоссальная. Помните: мы, христиане, верим, что человек живет вечно. Поэтому значение имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо в небесное, либо в адское существо. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при этом удовольствия. Иными словами, мы должны убить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас покончить с этими чувствами. Так не бывает. Я имею в виду следующее: всякий раз, когда это чувство шевелится в глубине нашей души, заявляя о себе, день за днем, год за годом, на протяжении всей нашей жизни, мы должны давать ему отпор. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы убиваем или наказываем, мы должны так относиться к врагу, как относились бы к себе, то есть желать, чтобы он не был таким скверным, надеяться, что он сумеет исправиться. Короче, мы должны желать ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы возлюбили своих врагов: мы должны желать им добра, не питая к ним особой нежности и не говоря, что они — славные ребята, если они не таковы.

Да, это значит любить и таких людей, в которых нет ничего вызывающего любовь. Но, с другой стороны, есть ли в каждом из нас что-нибудь так уж достойное любви и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это мы сами. Бог же предназначил нам любить внутреннее «я» каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим свое «я». В нашем собственном случае Он дал нам готовый образец (которому мы должны следовать), чтобы показать, как эта любовь работает. И, воспользовавшись собственным примером, мы должны перенести правило любви на внутреннее «я» других людей. Возможно, нам легче будет его усвоить, если мы вспомним, что именно так любит нас Бог: не за приятные, привлекательные качества, которыми, по нашему мнению, мы обладаем, но просто потому, что мы — люди. Помимо этого нас, право же, не за что любить. Ибо мы способны так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не легче, чем бросить пить или курить.

VIII
ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕХ

Я перехожу сейчас к той части христианской морали, в которой она особенно резко отличается от всех других норм нравственности. Существует порок, от которого не свободен ни один человек в мире. Но каждый ненавидит его в ком-то другом, и едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у них плохой характер, либо в том даже, что они трусы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от нехристианина признание в этом пороке. И я очень редко встречал неверующих, которые были бы хоть немного снисходительны к проявлению этого порока в других. Нет такого порока, который делает человека более непопулярным, и нет такого порока, который мы менее замечаем в себе. Чем больше этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его в других.

Я говорю о гордыне или самодовольстве; противоположную ей добродетель христиане называют смирением. Вы, быть может, помните, что когда я говорил о морали в вопросах пола, то предупредил вас, что центр христианской нравственности лежит не там. И вот сейчас мы подошли к этому центру. Согласно христианскому учению, самый главный порок, самое страшное зло — гордость. Распущенность, раздражительность, пьянство, жадность и тому подобное — все это мелочь по сравнению с ней. Именно гордость сделала дьявола тем, чем он стал. Гордость ведет ко всем другим порокам; это абсолютно враждебное Богу состояние духа.

Возможно, вы думаете, я преувеличиваю. В таком случае вдумайтесь еще раз в мои слова. Несколько мгновений назад я сказал, что чем больше гордости в человеке, тем сильнее он ненавидит это качество в других. Если вы хотите выяснить меру собственной гордыни, проще всего это сделать, задав себе вопрос:

«Насколько глубоко я возмущаюсь, когда другие унижают меня, или отказываются меня замечать, или вмешиваются в мои дела, или относятся ко мне покровительственно, или красуются и хвастают в моем присутствии?» Дело в том, что гордость каждого человека соперничает с гордостью всякого другого. Именно потому, что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает, что кто-то другой привлекает к себе всеобщее внимание.

Нам следует ясно понять, что гордости органически присущ дух соперничества, в этом сама ее природа. Другие пороки вступают в соперничество, так сказать, случайно. Гордость не довольствуется частичным обладанием. Она удовлетворяется только тогда, когда больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством, или умом, или красотой. Но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково богатыми, или умными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает в нас гордость: сознание, что мы выше остальных, приносит нам удовлетворение. Там, где не с чем соперничать, гордости нет места. Вот почему я сказал, что гордости дух соперничества присущ органически, тогда как о других пороках этого не скажешь. Половое влечение может пробудить дух соперничества между двумя мужчинами, если они желают обладать одной и той же женщиной. Но это только случайность. Ведь они могли бы увлечься двумя разными девушками. Между тем гордый человек уведет вашу девушку не потому, что он ее любит, а только для того, чтобы доказать самому себе, что как мужчина он лучше, чем вы. Жадность может толкнуть людей на соперничество, если они испытывают недостаток в тех или иных вещах. Но гордый человек, даже если у него этих вещей больше, чем ему хотелось бы, будет стараться приобрести их еще больше просто для того, чтобы утвердиться в силе и власти. Почти все зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом деле — результат гордости.

Возьмите, к примеру, деньги. Желание лучше проводить отпуск, иметь лучший дом, лучшую пищу и лучшие напитки делает человека жадным до денег: он хочет иметь их как можно больше. Но это до определенного предела. Что заставляет человека, получающего 40 000 долларов в год, стремиться к 80 000? Теперь уже не просто жадность к удовольствиям. Ведь при 40 000 долларов роскошная жизнь для него вполне доступна. Это гордость вызывает в нем желание стать богаче других и желание еще более сильное — обрести власть, ибо именно власть доставляет гордости особое удовольствие. Ничто не даёт человеку такого чувства превосходства, как возможность играть другими людьми будто оловянными солдатиками. Что заставляет молодую девушку сеять несчастье повсюду, где она появляется, собирая вокруг себя поклонников? Конечно, не половой инстинкт. Девушки подобного рода очень часто бесстрастны. Ее толкает на это гордость. Что заставляет политического лидера или целую нацию постоянно

стремиться к новым успехам и достижениям, не довольствуясь прежними? Опять-таки гордость. Гордости присущ дух соперничества. Вот почему ее невозможно удовлетворить. Если я страдаю гордостью, то пока хоть один человек обладает большей властью, богатством или умом, чем я, он будет мне соперником и врагом.

Христианство право: именно гордость порождала главные несчастья в каждом народе и в каждой семье с начала мира. Другие пороки могут иногда сплачивать людей; так, среди тех, кто охоч до выпивки и чужд целомудрия, вы можете обрести веселых приятелей. Но гордость всегда означает враждебность — она и есть сама враждебность. И не только враждебность человека к человеку, но и человека к Богу.

В лице Бога вы встречаетесь с чем-то таким, что во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. Пока вы не осознали этого, а следовательно, и того, что в сравнении с Ним вы — ничто, вы вообще не в состоянии познать Бога. Вы не можете познать Его, не отрешившись от своей гордости. Ведь гордый человек всегда смотрит свысока на все и на всех, то есть сверху вниз; как же увидеть ему то, что над ним!

Возникает ужасный вопрос. Как возможно, что люди, пожираемые гордостью, говорят, будто они верят в Бога, и считают самих себя очень религиозными? Я боюсь, что эти люди поклоняются воображаемому Богу. Теоретически они признают, что перед лицом этого призрачного Бога они — ничто. Но им постоянно представляется, будто этот Бог одобряет их и считает их лучше других; они платят Ему воображаемым, грошовым смирением, переполняясь в то же время горделивым высокомерием по отношению к окружающим. Я полагаю, Христос думал и о таких людях, когда говорил, что некоторые будут проповедовать Его и именем Его изгонять бесов, но при конце мира услышат от Него, что Он никогда их не знал [24]. Любой из нас в любой момент может попасть в эту ловушку. К счастью, у нас есть возможность испытать себя. Всякий раз, когда возникает ощущение, что наша религиозная жизнь делает нас лучше других, мы можем быть уверены, что ощущение это не от Бога, а от дьявола. Вы можете быть уверены, что Бог действительно присутствует в вашей жизни только тогда, когда либо совсем забываете о себе, либо видите себя незначительным и нечистым. Лучше совсем забыть о себе.

Это ужасно, что самый страшный из всех пороков способен проникнуть в самую сердцевину нашей религиозной жизни. Но это и вполне понятно. Другие, менее вредоносные пороки исходят от дьявола, воздействующего на нас через нашу животную природу. А этот порок проникает в нас иным путем: он приходит непосредственно из ада. Ведь природа его — чисто духовная, а следовательно, и действие его гораздо более утонченно и смертоносно. По этой причине гордость часто может служить для исправления других пороков. Учителя, к примеру, нередко взывают к гордости учеников или к их самоуважению, как они это называют, чтобы

заставить их вести себя прилично. Многим людям удается преодолеть трусость, приверженность к дурным страстям или исправить скверный характер, убеждая себя, что пороки эти ниже их достоинства; они достигают победы, разжигая в себе гордость. И, глядя на это, дьявол смеется. Его вполне устраивает, что вы становитесь целомудренными, храбрыми, владеющими собой, если при этом ему удается подчинить вашу душу диктату гордости,— точно так же он бы не возражал, чтобы вы излечились от озноба, если взамен ему позволено передать вам рак. Ведь гордость — это духовный рак: она пожирает самую возможность любви, удовлетворения и даже здравого смысла.

Прежде чем мы покончим с этой темой, я должен предостеречь вас против таких ошибок:

1. Если вы испытываете удовольствие, когда вас хвалят, это не свидетельствует о гордости. Ребенок, которого похлопали по плечу за хорошо выученный урок, женщина, чьей красотой восхищается возлюбленный, спасенная душа, которой Христос говорит: «Хорошо, верный раб»,— все они чувствуют себя польщенными, и это вполне закономерно. Ведь здесь — удовольствие вызывает не то, какой вы, а сознание, что вы сделали приятное кому-то, кого хотели (и правильно!) порадовать. Беда начинается тогда, когда вы от мысли: «Я доставил ему удовольствие; как хорошо!»— переходите к мысли: «Должно быть, я очень хороший человек, раз сделал это». Чем больше вы нравитесь себе и чем меньше удовольствия испытываете от похвалы, тем хуже вы становитесь. Если похвала вообще перестает занимать вас и любование самим собою становится единственным источником вашего удовольствия, значит, вы достигли дна. Вот почему тщеславие — тот сорт гордости, который проявляется, главным образом, на поверхности,— пожалуй, наименее опасно и наиболее простительно.

Тщеславный человек жаждет похвалы, аплодисментов, обожания и всегда напрашивается на комплименты. Это недостаток, но недостаток детский и даже, как ни странно, не очень вредоносный. Он лишь показывает, что полностью довольствоваться самообожанием вы пока не можете. Вы еще достаточно цените других людей, чтобы привлечь их внимание. Иными словами, вы еще сохраняете в себе человечность. Воистину черная, дьявольская гордость приходит тогда, когда вы начинаете считать всех остальных настолько ниже себя, что вас уже не волнует, как они о вас думают. Подчас нам действительно не следует обращать внимание на мнение людей, если в своих словах и поступках мы руководствуемся правильными соображениями, тем более что для нас несравненно важнее, что об этом думает Бог. Но гордый человек не обращает на других внимания совсем по иной причине. Он говорит: «Почему я должен добиваться аплодисментов этой толпы, как если бы мнение всех этих людей имело какую-то ценность? Да если бы оно и было так, я не тот человек, чтобы краснеть от удовольствия при комплименте, словно девчонка, впервые приглашен-

ная на танец. Я — самостоятельный взрослый человек. Все, что я сделал во имя своих собственных идеалов, я сделал или потому, что одарен артистическим складом ума, или следуя традициям моей семьи, короче, потому что я такой, какой я есть. Толпе это нравится? Ее дело! Для меня все они — ничто». В подобном случае настоящая, достигшая предела гордость может выступать противницей тщеславия. Как я сказал выше, дьявол любит лечить мелкие недостатки, подменяя их крупными. Стараясь излечиться от тщеславия, мы не должны звать на помощь нашу гордость.

2. Мы часто слышим, как человек гордится сыном, или отцом, или школой, или службой. Возникает вопрос: грех такого рода гордость? Я думаю, все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «гордиться». Часто оно звучит в наших устах как синоним словосочетания «восхищаться от всего сердца». А такое восхищение, безусловно, весьма далеко от греха.

Но бывает и по-другому: слово «гордиться» может означать, что человек чувствует себя важной персоной на основании заслуг своего выдающегося отца или из-за принадлежности к знаменитому роду. Хорошего в этом мало; и все-таки это лучше, чем гордиться самим собой. Любить кого-то и восхищаться кем-то, помимо себя,— шаг в сторону от полного духовного крушения. Однако подлинное духовное оздоровление не придет к нам до тех пор, пока мы будем любить что-то и преклоняться перед чем-то больше, чем мы любим Бога и преклоняемся перед Ним.

3. Мы не должны думать, будто Бог запрещает гордость, ибо она оскорбляет Его; что Он требует от нас смирения, чтобы подчеркнуть Свое величие, как если бы Он Сам был болен гордостью. Думаю, Бога меньше всего занимает Его достоинство. Все дело в том, что Он хочет, чтобы мы познали Его. Он хочет дать Себя нам. И если мы действительно, по-настоящему соприкоснемся с Ним, то невольно и с радостью покоримся и почувствуем при этом бесконечное облегчение, отделавшись наконец от надуманной чепухи о нашем достоинстве, которая всю жизнь не дает нам покоя, лишает радости. Он старается сделать нас покорными, чтобы мы могли пережить это облегчение. Он пытается освободить нас от фантастического, уродливого наряда, в который мы рядимся и чванливо расхаживаем как маленькие глупцы. Хотелось бы и мне стать более покорным и смиренным. Если бы я добился этого, то смог бы побольше рассказать вам об облегчении и удобстве, которые приходят к нам, когда мы снимаем с себя пышный маскарадный наряд, когда отделываемся от своего фальшивого «я» с его позами и претензиями: «Ну посмотрите на меня, разве не славный я парень?» Даже приблизиться к такому состоянию на миг — все равно, что выпить холодной воды в пустыне.

4. Не думайте, что настоящее смирение — вкрадчивость и елейность, нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный парень, который проявил неподдельный интерес к тому, что *вы* говорили *ему*. А если он не понра-

вится вам, то, наверное, потому, что вы ощутите укол зависти к человеку, который способен так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении; он вообще не думает о себе.

Если кто-то желает стать смиренным, я могу подсказать ему первый шаг: осознайте свою гордость. Этот шаг будет и самым значительным. По крайней мере, ничего нельзя предпринять, пока он не сделан. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы действительно ею страдаете.

IX
ЛЮБОВЬ

В предыдущей главе я сказал, что существуют четыре основные и три теологические добродетели. К теологическим относятся вера, надежда и любовь. О вере я буду говорить в двух последних главах. О любви мы уже беседовали в седьмой главе, но там я сконцентрировал все внимание на той ее стороне, которая выражается в способности прощать. Сейчас я хочу кое-что добавить.

Любовь — не состояние чувств, а скорее состояние воли, которое мы воспринимаем как естественное по отношению к самим себе и которое должны научиться распространять на других.

В главе «Прощение» я сказал, что любовь к себе не свидетельствует о том, что мы себе нравимся. Она означает, что мы желаем себе добра. Точно так же христианская любовь к ближним не обязывает нас восхищаться ими. Одни люди могут нам нравиться, а другие — нет. Важно понять, что наши симпатии и антипатии не грех и не добродетель, как отношение, скажем, к еде. Это просто факт. А вот как мы претворяем наши склонности или неприязнь в жизнь, может стать либо грехом, либо добродетелью.

Симпатия к определенным людям облегчает нам милосердие. Следовательно, мы должны всемерно поощрять в себе природное свойство любить людей (как поощряем мы нашу склонность к физическим упражнениям или к здоровой, натуральной пище) не потому, что в этом и заключается любовь, а потому, что это помогает нам любить. С другой стороны, нам надо постоянно следить, чтобы наша приязнь к одним людям не сказалась на нашей любви к другим, не толкнула нас на несправедливый поступок. Ведь бывает и так, что наша склонность вступает в конфликт с нашей любовью к тому человеку, к которому мы эту склонность питаем. Например, ослепленная любовью мать может в силу своей естественной нежности избаловать собственного ребенка: свое пылкое чувство к сыну или дочери она удовлетворяет (не сознавая того) за счет его (или ее) благополучия в будущем.

Но хотя естественную симпатию к другим и следует поощрять в себе, это не означает, что для развития в своей душе любви мы должны всячески разжигать в себе симпатию. Некоторые люди наделены холодным темпераментом. Возможно, в этом их несчас-

тье; но это не больший грех, чем плохое пищеварение. Однако такой темперамент не освобождает их от обязанности учиться любви. Правило, которое существует для всех нас, очень ясно: не теряйте времени, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего; поступайте так, как если бы вы его любили. Как только мы начинаем делать это, мы открываем один из великих секретов: ведя себя по отношению к человеку так, как если бы мы его любили, мы постепенно начинаем любить его. Причиняя вред тому, кто нам не нравится, мы замечаем, что от этого он не нравится нам еще больше; сделав же по отношению к нему добрый жест, чувствуем, что наша нелюбовь стала меньше. Но в этом правиле есть одно исключение. Если вы совершили хороший поступок не ради того, чтобы угодить Богу и исполнить закон любви, а для того, чтобы продемонстрировать, какой вы, в сущности, славный, умеющий прощать человек, чтобы заставить облагодетельствованного вами чувствовать себя вашим должником и предвкушать от него благодарность в будущем, вас, по всей видимости, ждет разочарование. Ведь люди не глупы. Они сразу видят, когда что-то делается из расчета и напоказ.

Зато всякий раз, когда мы делаем добро кому-то другому только потому, что этот другой — тоже человек, созданный (как и мы с вами) Богом, и потому, что желаем ему счастья, как желаем его себе, мы научаемся любить его немножко больше. Или, по крайней мере, меньше не любить его.

Вот и получается, что хотя христианская любовь представляется чем-то бесстрастным тем, кто чрезмерно склонен к чувствительности, хотя она и сильно отличается от пылкой симпатии и нежных чувств, в конечном счете она именно к симпатии и нежности ведет. Разница между христианином и мирским человеком не в том, что мирскому человеку присущи лишь симпатии, а христианину — только любовь. Она в том, что мирской человек относится с добротой к тем, кто ему нравится. А христианин старается быть добрым к каждому, и, по мере того как он это делает, он начинает замечать, что люди нравятся ему больше, даже те, о которых вначале он и подумать тепло не мог.

Тот же духовный закон действует и в обратном направлении. Немцы, возможно, плохо относились к евреям сначала из-за того, что они их ненавидели. Позднее они стали ненавидеть их еще больше из-за того, что преследовали их и уничтожали. Чем более жестоко вы поступаете с человеком, тем больше ненависти к нему испытываете. Чем больше вы его ненавидите, тем больше жестокости проявляете. Порочный круг замкнулся.

И добро, и зло — оба возрастают в геометрической прогрессии. Вот почему те маленькие решения, которые мы с вами принимаем повседневно, имеют такое бесконечно важное значение. Пустяковое, казалось бы, доброе дело, совершенное вами сегодня,— это овладение стратегическим пунктом, от которого несколькими месяцами позднее вы сможете устремиться к завоеваниям и победам, прежде вам недоступным. А незначительная как будто

уступка нечистому желанию или гневу обернется потерей горного рубежа, или узловой станции, или укрепления, откуда враг сможет начать атаку в ином случае немыслимую.

Некоторые авторы используют понятие «любовь» для описания не только христианской любви между людьми, но и любви Бога к человеку и человека — к Богу. Людям свойственно беспокоиться по поводу последней из этих двух. Им сказано, что они должны любить Бога. Но они не могут найти в себе этих чувств. Что им делать? Ответ все тот же. Они должны поступать так, как если бы они Его любили. Не пытайтесь насильственно выжимать из себя эти чувства. Задайте себе вопрос: «Что бы я делал, если бы был уверен, что люблю Бога?» И найдя ответ, претворите его в жизнь.

В общем, Божья любовь к нам — более безопасный предмет для размышлений, чем наша любовь к Нему. Никто не может постоянно испытывать преданность. И даже если бы мы могли, это не то, чего Бог желает от нас более всего. Христианская любовь и к Богу, и к человеку — это *волевой акт*. Стараясь следовать Его воле, мы исполняем Его заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего»[25]. Он Сам даст нам чувство любви, если сочтет нужным. Мы не в состоянии выработать его в себе собственными усилиями, и мы не должны требовать этого чувства как чего-то, принадлежащего нам по праву. Но нам следует помнить одну великую истину: наши чувства появляются и исчезают, Его любовь к нам неизменна. Она не становится меньше из-за наших грехов или нашего безразличия и поэтому не слабеет в своей решимости излечить нас от греха, чего бы это нам ни стоило и чего бы это ни стоило Ему.

X
НАДЕЖДА

Надежда — одна из теологических добродетелей. Постоянные размышления о вечности — не бегство от действительности (как считают некоторые наши современники), а одна из функций, которые призван осуществить христианин. Это не значит, что нам не следует беспокоиться о состоянии современного мира. Читая историю, вы видите, что именно христиане, внесшие неоценимый вклад в развитие нашего сегодняшнего мира, более других думали о мире грядущем. Сами апостолы, которые положили начало обращению к христианству Римской империи, великие люди, создавшие культуру средневековья, английские евангелисты, добившиеся уничтожения работорговли,— все они оставили след на земле именно потому, что ум их был занят мыслями о небе. И лишь по мере того как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей в этом мире. Цельтесь в небо — попадете и в землю; цельтесь в землю — не попадете никуда! Это правило кажется странным, но мы сталкиваемся с чем-то подобным и в других областях. Например, здоровье — великое благо, но как только вы делаете его объектом своих забот,

вам начинает казаться, что оно у вас не в порядке. Думайте побольше о работе, развлечениях, свежем воздухе, вкусной пище — и вполне вероятно, что здоровье получите в придачу. И еще: если все наши мысли направлены на совершенствование нашей цивилизации, нам не спасти ее. Для этого надо научиться думать о чем-то ином и хотеть (в еще большей степени) этого иного.

Слишком многим из нас очень трудно хотеть «неба» вообще — разве что во имя того, чтобы встретиться с умершими близкими. Одна из причин, почему нам это трудно, в том, что мы не приучены. Вся наша система образования ориентирует наш разум на этот мир. Другая причина в том, что, когда такое желание проявляется, мы его попросту не узнаем. Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы: то, что они желают, и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит нам желаемое, но эти обещания никогда не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело, глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествием, ни научными изысканиями. Я не имею в виду неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или несбывшиеся ученые карьеры. Я говорю о самых удачных. В первый момент, когда наша мечта — на пороге осуществления, нам кажется, что мы ухватили жар-птицу за яркое ее оперение, но уже в следующий момент она ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть прекрасной женой, гостиницы и пейзажи — просто отличными, а химия — невероятно интересным делом, но при всем при этом что-то ускользает от нас.

Существуют две неверные реакции на это и одна правильная.

1. Реакция глупца. Он винит всех и вся. Его не покидает мысль, что, если бы он попробовал связать свою жизнь с другой женщиной или если бы отправился в более дорогое путешествие, то ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого ищем все мы. Большинство скучающих, разочарованных богатых людей относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой (оформляя разводы и новые браки), переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то наконец настоящее, но разочарование неизменно постигает их.

2. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека. Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой. Конечно, говорит он, когда вы молоды, вы полны великих ожиданий. Но доживите до моего возраста, и вы оставите погоню за солнечным зайчиком. На этом он и успокаивается, учится не ожидать от жизни слишком многого и старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях. Такой подход к проблеме, конечно, гораздо лучше первого и приносит человеку больше счастья, а сам человек — меньше неприятностей обществу. Обычно он становится педантом, склонным

покровительственно, снисходительно относиться к молодым. Но в целом жизнь протекает для него довольно гладко. Это был бы наилучший путь, если бы нам не предстояло жить вечно. Но что, если безграничное счастье существует, ожидая нас где-то? Что, если человек действительно может поймать солнечный зайчик? В этом случае было бы очень печально обнаружить слишком поздно (сразу же после смерти), что своим так называемым здравым смыслом мы убили в себе право наслаждаться этим счастьем.

3. Реакция христианина. Христианин говорит: «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать: что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу; для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворения, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией, или эхом, или несовершенным отражением чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем умру. Я не могу допустить, чтобы она скрылась под снегом, или пойти в другую сторону. Желание дойти до этой страны и помочь другим найти туда дорогу должно стать целью моей жизни».

Нет смысла обращать внимание на людей, старающихся высмеять христианскую надежду о небе, говоря, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфах. Этим людям надо ответить, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны и рассуждать о них. Все образы в Священном писании (арфы, венцы, золото) — это просто попытка выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются в Библии потому, что для многих людей (не для всех) музыка — это такое явление нашего мира, которое лучше всего передает чувство экстаза и бесконечности. Венцы или короны указывают на то, что люди, объединившиеся с Богом в вечности, разделят с Ним Его славу, силу и радость. Золото символизирует неподвластность неба времени (ведь металл этот не ржавеет) и его непреходящую ценность. Люди, понимающие все эти символы буквально, с таким же успехом могли бы подумать, что, когда Иисус говорил нам, чтобы мы были, как голуби, Он имел в виду, что мы должны нести яйца.

XI
ВЕРА

В этой главе я собираюсь поговорить с вами о том, что христиане называют верой. Очевидно, что слово «вера» используется ими в двух смыслах или на двух уровнях; и я рассмотрю каждый из них по очереди. В первом случае это слово означает принятие или признание за истину доктрин христианства. Довольно просто. Но вот что озадачивает людей, по крайней мере, озадачивало меня: в этом смысле христиане рассматривают веру как добродетель. Я, помню, не переставал задавать вопросы, почему, на каком основании она может быть добродетелью — что может быть морального или аморального в принятии или непринятии какого-то набора заявлений? Я говорил, что каждый здравомыслящий человек принимает или отвергает любое заявление не потому, что он хочет или не хочет его принять, но потому, что доводы в пользу его кажутся ему либо удовлетворительными, либо нет. И если он ошибся, оценивая, насколько вески представленные ему доказательства, это не значит, что он плохой человек. Разве что недостаточно умный. Если же, считая доказательства неубедительными, он все-таки старался бы поверить, несмотря ни на что, это было бы просто глупо.

Что ж, я и сегодня придерживаюсь этой точки зрения. Но тогда я не видел одной вещи, которой многие люди не видят и по сей день. Я считал, что, если человеческий разум однажды признал что-то как истину, это «что-то» автоматически будет считаться им истиной до тех пор, пока не появится серьезная причина для пересмотра привычной точки зрения. Я фактически считал, что человеческий разум целиком управляется логикой. Но это не так. Например, умом — на основании веских доказательств — я совершенно убежден в том, что обезболивающие средства не могут вызвать у меня удушья и что опытный хирург не начнет операцию, пока я совсем не усну. Однако это не меняет того факта, что, когда меня кладут на операционный стол и я ощущаю на своем лице эту ужасную маску, меня, словно ребенка, охватывает паника. Мне приходит в голову, что я задохнусь, я пугаюсь, что меня начнут резать прежде, чем мое сознание отключится окончательно. Иными словами, я теряю веру в анестезию. И происходит это не потому, что эта вера противоречит рассудку. Напротив, им-то она и обоснована. Я теряю ее из-за воображения и эмоций. Битва между верой и разумом, с одной стороны, и эмоциями и воображением, с другой.

Когда вы задумаетесь над этим, то в голову вам придет множество примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая девушка большая лгунья, что она не умеет держать секретов и ей нельзя доверять. Но когда он оказывается в ее обществе, разум его теряет веру в эту информацию о ней и он начинает думать: «А может быть, на этот раз она будет другой», и снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая ей

то, чего рассказывать не следовало. Его чувства и эмоции разрушили его веру в то, что было правдой, и он это знал.

Или возьмите другой пример: мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, если оставить его в воде без поддержки: он видел десятки плавающих людей. Но сможет ли он верить в это, когда инструктор уберет руку и оставит в воде без поддержки именно его? Или он внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну?

Приблизительно то же происходит с христианством. Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением убедительных доказательств говорит ему обратное. Так вера не приходит. Но предположим, голос рассудка, опять-таки под давлением доказательств, свидетельствует в пользу христианства. Я могу сказать, что случится на протяжении нескольких последующих недель. Наступит момент, когда вы получите плохие известия, или попадете в беду, или встретите людей, не верящих в то, во что вы верите, и тотчас же поднимутся противоречивые чувства и поведут атаку на убеждения. Или придет минута, когда вы пожелаете обладать женщиной, или захотите сказать ложь, или впадете в самолюбование, или подвернется случай раздобыть деньги не совсем честным путем,— короче, такая минута, когда было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой. И снова желания поведут атаку на убеждения. Я не говорю о таких моментах, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства. Таким доводам или фактам надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям человека противостоят чувства и настроение.

Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово — искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение; потому что настроения человека будут меняться, какую бы точку зрения он ни принял. Я знаю это из личного опыта. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает временами такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной. Но в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она, напротив, казалась мне очень вероятной. Подобного мятежа против вашего истинного «я» со стороны ваших чувств и настроений вам в любом случае не избежать. Вот почему вера так необходима. Пока вы не научитесь управлять настроениями, пока вы не укажете им на их место, вы не сможете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Вы будете вечно мятущимся существом, чьи убеждения зависят от погоды или от пищеварения. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры.

Первый шаг в этом направлении — признать, что ваши настроения постоянно меняются. Далее. Если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг — позаботиться о том, чтобы

каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви составляют столь неотъемлемую часть христианской жизни. Мы нуждаемся в постоянном напоминании о том, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было другие не закрепляются в человеческом уме автоматически. Их необходимо питать. Возьмите сто человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума? Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, из-за своей инертности.

А сейчас я должен перейти к вопросу о вере в более высоком ее значении, и это самое трудное из всего, с чем мне приходилось иметь дело. Вначале мне придется вернуться назад, к вопросу смирения. Вы помните, я говорил, что первый шаг на пути к смирению — в признании присущей человеку гордости? Второй шаг — в серьезной попытке проводить в жизнь христианские добродетели. Одной недели для этого недостаточно, столь короткое время — непоказательно. Постарайтесь делать это на протяжении шести недель. За это время, полностью провалившись и даже упав ниже того уровня, с которого начали, вы обнаружите некоторую правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим.

В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это — явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен. Вы познаёте силу ветра только тогда, когда идете против него, а не когда ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через пять минут, просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, поэтому Он и единственный человек, который знал его во всей полноте.

Следовательно, главное, чему мы учимся при серьезной попытке не отступать от христианских добродетелей,— это умению признать, что неспособны жить в согласии с ними. От допущения, что Бог предлагает нам своего рода экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки за свои заслуги, придется отказаться. Отпадает и предположение о сделке, при которой мы могли бы исполнить взятые на себя обязательства, и, таким образом, поставить Бога в положение, когда Ему просто пришлось бы во имя справедливости выполнить Свои обязательства.

Я думаю, каждому, кто имел какую-то неясную веру в Бога до того, как стал христианином, приходила в голову мысль о подобном экзамене или сделке. Но коль скоро люди становятся христианами, они начинают осознавать, что идея эта не срабатывает. Тогда некоторые решают, что само христианство обречено на неудачу, и отходят от него. Очевидно, эти люди воображают Бога каким-то простаком. Но Он, безусловно, прекрасно обо всем знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит, чтобы показать нам несостоятельность вышеупомянутых представлений. Бог ожидает того момента, когда мы увидим, что на этом экзамене невозможно заработать проходного балла, как невозможно сделать Бога нашим должником.

Затем приходит другое открытие. Каждая способность, которой вы наделены: способность двигать конечностями или мыслить — все это дано Богом, и если каждый момент своей жизни мы посвятим исключительно служению Ему, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что так или иначе уже не принадлежало бы Ему. Когда мы говорим о человеке, делающем что-то для Бога или дающем что-то Богу, это подобно тому, как если бы маленький мальчик пришел к отцу и сказал: «Папа, дай мне деньги, чтобы купить тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок доставит ему удовольствие. Все это очень мило и правильно. Но только глупец может подумать, что при этой сделке отец выигрывает. Лишь когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за работу над ним. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь. Человек пробуждается... После всех этих разъяснений мы можем перейти к разговору о вере во втором смысле.

XII
ВЕРА
(продолжение)

Мне хотелось бы, чтобы на то, с чего я начну этот разговор, каждый обратил особое внимание. А начну я с предупреждения. Если эта глава не представится вам интересной, если вам покажется, что в ней делается попытка ответить на вопросы, которые у вас никогда не возникали, не читайте ее до конца. Дело в том, что в христианстве есть вещи, которые можно понять еще до того, как вы стали христианином. Но немало и таких вещей, которые вы не в состоянии понять до тех пор, пока сами не преодолеете часть пути. Это чисто практические вещи, хотя на первый взгляд и не кажутся такими. Они как бы указывают направления, отмечают перекрестки и предупреждают о препятствиях, которые вы встретите на пути веры. И естественно, они ничего не говорят человеку, который еще не достиг перекрестков и не наткнулся на препятствия. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь в христианской литературе с заявлениями, которые для вас лично не имеют практического смысла, не задумывайтесь над ними. Проходите

мимо них. Наступит день, может быть — годы спустя, когда вы внезапно поймете, что это значит. Возможно, вам принесло бы вред, если бы вы поняли их слишком рано.

Все это, конечно, говорит против меня, как говорило бы против всякого другого. Возможно, я собираюсь объяснить то, до чего сам еще не вполне дошел. Поэтому я прошу тех христиан, которые разбираются в тонкостях нашей доктрины, внимательно следить за ходом моих высказываний и указать мне на допущенные ошибки. Остальных же прошу принять то, что я говорю, как некую крупицу истины, которая может оказаться для них полезной, памятуя при этом, что я и сам не полностью убежден в своей правоте.

Я пытаюсь говорить о вере во втором, более высоком смысле этого слова. Я только что сказал, что потребность разобраться в нем возникает не прежде, чем человек сделал все от него зависящее, чтобы следовать христианским добродетелям, и увидел, что это для него невозможно; не раньше, чем он осознал, что, если бы это даже удалось ему, он отдал бы Богу только то, что и без того Ему принадлежало. Иными словами, лишь тогда, когда он обнаружил полное свое банкротство.

Позвольте мне еще раз повторить: для Бога важнее всего не наши действия, а наше состояние. Он хочет, чтобы мы были существами особого рода или качества, а именно — такими, какими Он предназначал нам быть в самом начале, то есть существами, определенным образом связанными с Ним. Не обязательно добавлять «и связанными определенным образом друг с другом», второе вытекает из первого. Если у вас установились правильные отношения с Богом, то непременно установятся правильные взаимоотношения и со всеми вашими собратьями. Это как спицы колеса: если они правильно посажены на втулку, то будут симметричны и по отношению друг к другу. А пока человек думает о Боге как об экзаменаторе, который требует от него выполнения определенного проверочного задания, или как об одной из сторон в двухсторонней сделке, пока он считает, что в отношениях с Богом можно ставить обоюдные требования, преждевременно говорить о правильных отношениях с Богом. Он еще не понял, что такое он сам и что такое Бог.

В правильные отношения с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не обнаружит полного своего банкротства. Когда я говорю «обнаружит», я имею в виду, что он действительно это обнаружит, а не как попугай повторит за другими слова о своем банкротстве. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, что бы уже Ему не принадлежало, но даже этого мы не в состоянии предложить Ему целиком, не удержав чего-то для себя. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном опыте убеждается, что все это правда.

Но обнаружить нашу неспособность следовать Божьему закону нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать

его, в несостоятельности которых мы сами убедимся. Пока мы не приложим настоящих стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы постараемся изо всех сил, то наконец сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с одной стороны, возвращение к Богу требует от нас нравственных усилий, предельных стараний; но, с другой стороны, не эти старания приведут нас к желанной цели. Зато они ведут к жизненно важному моменту, в который мы обращаемся к Богу со словами: «Ты должен сделать это, потому что сам я сделать этого не в состоянии». И я прошу вас, не задавайте себе вопроса: «Достиг ли я этого момента?» Не копайтесь в своих ощущениях, стараясь понять, наступает ли та самая минута. Это толкнуло бы вас на неверный путь. Ведь когда в нашей жизни случаются какие-то важные события, то в тот именно момент, когда они происходят, мы подчас и не сознаем этого. В каждую данную минуту человек не говорит себе: «Слава Богу, я расту!» Чаще всего он способен заметить, что действительно вырос, только оглянувшись назад. Вы можете наблюдать действие того же принципа и в более простых вещах. Человек, который с нетерпением ожидает прихода сна, скорее всего, не сможет заснуть. И то, о чем я говорю сейчас, тоже, возможно, не с каждым случится, подобно вспышке молнии, как это случилось с апостолом Павлом или Беньяном. Это может происходить так постепенно, что человек не сумеет указать ни часа, ни даже года, когда это произошло. Значение имеет характер происшедшего с нами, а не то, что мы при этом переживали. Это изменение выразится в переходе от уверенности в своих силах к такому состоянию, когда, отчаявшись в наших попытках добиться желаемого результата, мы все предоставим Богу.

Я знаю, слова «предоставить Богу» некоторых могут ввести в заблуждение. Тем не менее в данный момент их нельзя не произнести. Для христианина они означают все доверить Христу; в них выражается упование на то, что Христос каким-то образом поделится с нами Своей способностью к совершенному послушанию, которое Он осуществлял от рождения Своего до распятия. В этих словах звучит надежда на то, что Христос сделает человека более подобным Себе в том смысле, что Он излечит его слабости, исправит его недостатки. Говоря христианским языком, Сын Божий разделит с нами Свою природу и сделает нас причастными этому высокому сыновству. В IV книге я постараюсь поглубже проанализировать значение этих слов.

Итак, Христос предлагает нам нечто важное и притом — даром; более того, Он даром предлагает нам все. В некотором смысле христианская жизнь и состоит в принятии этого совершенно исключительного предложения. Но трудность заключается в способности признать, что все, что мы сделали, и все, что мы можем сделать, в сущности, ничто. Однако полностью передать наши заботы Иисусу вовсе не означает перестать действовать, прекратить стараться. Довериться Ему — значит, делать все то,

что Он подсказывает. Какой смысл говорить, что вы доверяете такому-то человеку, если вы не следуете его советам? Таким образом, если вы действительно полностью доверились Ему, вы будете стараться Ему подчиняться. Но стараться теперь вы будете по-иному, ни о чем не волнуясь. Вы станете выполнять то, о чем Он говорит, не для того, чтобы спастись, а из-за того, что Он уже начал спасать вас. Вы станете жить и действовать иначе: не во имя надежды попасть на небо в награду за свое поведение, а потому, что внутри вас уже забрезжил слабый отблеск небесного света.

Христиане часто спорят о том, что ведет христианина в дом Отца: добрые дела или вера в Христа. Я не уверен, что имею право приниматься за столь трудную тему, но мне кажется, что спорить об этом все равно, что спрашивать, какое лезвие в ножницах более необходимое. Только самое серьезное нравственное усилие поможет вам ясно понять, что все ваши усилия тщетны, и лишь вера в Христа способна спасти вас от отчаяния в такой момент. Впоследствии эта вера неизбежно приведет вас к совершению добрых дел.

Существовали две пародии на истину, которых в прошлом придерживались некоторые христиане и которые были осуждены другими верующими христианами. Возможно, если мы задумаемся над этими пародиями, то нам станет яснее сама истина.

Одна из идей, подвергшихся осуждению, состояла в следующем: «Добрые дела — это единственное, что важно. Лучшее доброе дело — это благотворительность. Лучшая форма благотворительности — денежные пожертвования. А кому же лучше жертвовать деньги, как не церкви? Так что дайте церкви 10 000 фунтов стерлингов, и она позаботится о том, чтобы с вами все было в порядке». На эту бессмыслицу, очевидно, напрашивается возражение: «Добрые дела, совершенные в силу того представления, будто небо можно купить, не добры ни с какой точки зрения. Они — всего лишь торговая сделка».

Другое заблуждение сводилось к следующему: «Значение имеет только вера. Следовательно, если у вас есть вера, то действия ваши и поступки роли не играют. Грешите в свое удовольствие, мой друг, развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью, а Христос позаботится о том, чтобы все это не отразилось на вашем пребывании в вечности». Возражая на эту абсурдную идею, мы говорим: «Если то, что вы называете верой в Христа, не заставляет вас обратить хоть немного внимания на то, что Он говорит, значит, это и не вера. У вас нет ни веры, ни доверия к Нему — разве что кое-какие теоретические знания».

Проблему того, что важнее — дела или вера, Библия решает, объединяя эти два представления в одной замечательной фразе. В первой части ее мы читаем: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2, 12), и это выглядит так, как если бы все зависело от нас и наших добрых дел; но во второй части того же предложения говорится: «Потому что Бог производит в вас хотение, и действие по Своему благоволению», и это можно понять

в том смысле, что Бог делает за нас все, мы же — ничего. Именно с этой дилеммой и приходится сталкиваться в христианстве.

Я и сам порою ощущаю себя в тупике, но это меня не удивляет. Видите ли, мы сейчас пытаемся понять с позиций двоякого толкования нечто такому толкованию не подлежащее, а именно: что в точности делает Бог и что — человек, когда они действуют сообща. Мысленно мы прежде всего сравниваем это с двумя людьми, работающими вместе, когда можно сказать: «Он сделал то-то, а я то-то». Но такое сравнение несостоятельно. Ибо Бог — не человек. Он действует как внутри нас, так и во внешнем мире. Даже если бы нам удалось понять, кто и что в этой ситуации делает, я не думаю, что человеческий язык приспособлен для выражения подобных понятий.

Пытаясь все-таки как-то выразить это, разные церкви говорят разные вещи. Но примечательно, что те из них, которые особенно подчеркивают важность добрых дел, говорят вам о необходимости веры; те же, что особое значение придают вере, настаивают на необходимости добрых дел. Это, пожалуй, все, что я могу сказать.

Я думаю, все христиане согласятся со мной в следующем: хотя на первый взгляд кажется, будто христианство сводится целиком к толкованию морали, долга и соблюдения правил, вины и добродетели, оно, однако, ведет нас дальше, за пределы всего этого. В нем человек видит проблеск иной страны, где никто о подобных вещах не говорит, разве только в шутку. Каждый в той стране исполнен того, что мы называем добром, как зеркало наполнено светом. Но никто там не называет это добром. Это вообще никак не называют. О нем просто не думают. Там слишком заняты постоянным созерцанием источника, из которого оно исходит. Но мы приблизились к той сфере, откуда дорога уходит за пределы нашего мира. Ничьи глаза не способны видеть так далеко, хотя глаза многих, очевидно, способны видеть дальше, чем видят мои.

Книга IV

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛИЧНОСТИ, ИЛИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В УЧЕНИИ О ТРОИЦЕ

I

СОТВОРИТЬ — НЕ ЗНАЧИТ РОДИТЬ

Меня многократно предупреждали, чтобы я не рассказывал вам того, что собираюсь рассказать в этой книге. Мне говорили: «Обыкновенный читатель не желает иметь дела с теологией; дайте ему простую, практическую религию». Я отверг эти советы. Я не думаю, что обыкновенный читатель настолько глуп. Слово «теология» означает «наука о Боге»; и я полагаю, что каждый человек, хоть немножко задумывающийся о Создателе всего сущего, хотел бы, насколько это возможно, получить самые ясные и точные представления о Нем. Вы не дети, так зачем же обращаться с вами, как с детьми?

В какой-то мере я понимаю, почему некоторым людям хотелось бы обойти теологию стороной. Я помню, во время одной моей беседы пожилой офицер, побывавший, видно, во многих переделках, поднялся и сказал: «Мне вся эта болтовня ни к чему. Но, доложу вам, я тоже человек религиозный. Я знаю, что Бог есть. Как-то ночью, когда я был один в пустыне, я чувствовал Его присутствие. Это величайшая тайна. Именно поэтому я не верю всем вашим аккуратным маленьким формулам и догмам о Нем. Да и каждому, кто пережил реальную встречу с ним, они покажутся жалкими, сухими и ненастоящими».

В каком-то смысле я согласен с этим человеком. Думаю, что, вполне вероятно, он и в самом деле пережил встречу с Богом в той пустыне. И когда от личного опыта он обратился к христианской доктрине, то, видимо, воспринял это как переход от чего-то реального к менее значительному и настоящему. Наверное, что-то подобное испытывал бы человек, который видел Атлантический океан с берега, а теперь рассматривает его на карте. Сравнимы ли настоящие океанские волны с куском раскрашенной бумаги? Однако дело вот в чем. Карта — действительно кусок раскрашенной бумаги, но вы должны понять две вещи. Во-первых, она составлена на основании открытий, сделанных сотнями и тысячами людей, плававших по настоящему Атлантическому океану, то есть как бы впитала в себя богатый опыт, не менее реальный, чем тот, который пережил человек, стоявший на берегу океана. За одним исключением, однако. Человек этот видел океан лишь в каком-то одном, доступном ему ракурсе. Карта же сконцентрировала в себе все различные опыты вместе взятые. Во-вторых, если вы хотите куда-то отправиться, карта будет вам совершенно необходима. Пока вы довольствуетесь прогулками по берегу, впитывать в себя зрелище океана гораздо приятнее, чем рассматривать карту. Но пожелай вы отправиться в

Америку, она будет вам несравненно полезнее, чем опыт ваших прогулок.

Теология подобна карте. Простое размышление о христианских доктринах и изучение их, если вы на этом остановитесь, менее значимо и интересно, чем то, что пережил тот офицер в пустыне. Доктрины — это не Бог. Они представляют из себя своего рода карту. Но карта эта составлена на основании опыта, пережитого сотнями людей, которые вошли в реальное соприкосновение с Богом. В сравнении с этим опытом любые захватывающие переживания или религиозные чувства, которые, возможно, посетили вас или меня, выглядят крайне примитивно и нечетко.

Затем, если вы хотите продвигаться вперед, карта вам совершенно необходима. Видите ли, то волнующее переживание, которое поразило офицера в пустыне, при всей его реальности, бесполезно даже для него. Оно никуда не ведет, так как сводится лишь к эмоциональному потрясению и не требует никакой работы. Это все равно что смотреть на волны океана, стоя на берегу. Вы не попадете в Ньюфаундленд, если этим ограничится ваш контакт с Атлантическим океаном. И вы не обретете жизни вечной, лишь наслаждаясь ощущением Божьего присутствия в цветах и музыке. Однако вы никуда не попадете и в том случае, если только будете смотреть на карту, а выйти в открытое море не решитесь. Выйдя же в плавание без карты, вы не сможете чувствовать себя в безопасности.

Иными словами, теология — это практическая наука, особенно в наши дни. В старые времена, когда образование не было таким массовым, а дискуссии — столь популярными, как теперь, люди, возможно, могли довольствоваться очень простыми истинами о Боге. Но сейчас дело обстоит иначе. Каждый человек читает, каждый прислушивается к тому, о чем ведутся дискуссии. Так что и не принимая участия в теологических беседах, люди какие-то представления о Боге все-таки имеют. Однако это сплошь и рядом — плохие, беспорядочные и устаревшие представления. Очень многие из них выдают сегодня за нечто новое, между тем как они уже несколько столетий назад были рассмотрены, изучены и отвергнуты известными теологами. К их числу относятся некоторые современные популярные формы религии; исповедание их — такой же шаг назад, каким было бы возвращение к представлению о том, что Земля плоская.

Вникните в популярную в Англии трактовку христианской доктрины, и вы увидите, что она сводится к следующему: Иисус Христос — великий учитель нравственности, и если бы только мы последовали Его совету, то сумели бы установить лучший социальный порядок и избежать еще одной войны. Что ж, это верно. Но такая трактовка касается лишь малой части христианской истины и, как ни странно на первый взгляд, именно практической-то ценности и не имеет.

Да, если бы мы воспользовались советами Христа, то вскоре создали бы гораздо более счастливый мир. Однако для начала

идти так далеко, как Христос с Его неземной мудростью, вовсе не обязательно. Если бы мы делали то, что советовали нам Платон, или Аристотель, или Конфуций, то и тогда наше положение в мире было бы гораздо лучше, чем сейчас. За чем же дело стало? А за тем, очевидно, что мы никогда не следовали советам ни одного из этих великих учителей. Так почему мы должны им следовать сейчас? Почему советам Христа мы последуем скорее, чем советам других? Потому что Он — лучший учитель нравственности? Но если это так, то вероятность того, что мы пойдем за Ним, только снижается. Ведь если мы не в состоянии усвоить урок по курсу начальной школы, можно ли рассчитывать, что мы усвоим что-то посложнее? Если христианство сводится к еще одному доброму совету, то ценность его невелика. За последние четыре тысячелетия человечество не имело недостатка в хороших советах. Несколько дополнительных — положения не изменят.

Но возьмите любую серьезную теологическую работу, трактующую вопросы христианства, и вы увидите, что в ней и в упомянутой популярной трактовке речь идет о совершенно разных вещах. Христианские авторы заявляют, что Христос — Сын Божий (что бы это ни значило). Они говорят, что те, кто Ему доверится и поверит, тоже смогут стать сынами Божьими (что бы это ни значило). Наконец, они говорят, что смерть Его спасла нас от наших грехов (что бы это ни значило).

Не имеет смысла жаловаться, что заявления эти трудно понять. Христианство утверждает, что оно говорит нам о другом мире, о чем-то таком, что за пределами этого мира, который мы можем осязать, слышать и видеть. Вы вправе считать это откровение не соответствующим истине; но, если то, что христианство утверждает, все-таки истина, понять ее, естественно, будет нелегко, по крайней мере, так же трудно, как проблемы современной физики, и по той же причине.

Больше всего нас шокирует в христианстве, что, отдавшись Христу, мы можем стать сынами Божьими. Кто-нибудь может спросить: «Разве мы не Божьи дети уже сейчас? Разве не в том состоит одна из главных идей христианства, что Бог — Отец всего человечества?» Что ж, в некотором смысле, несомненно, мы все — дети Божьи. Я имею в виду, что Бог вызвал нас к существованию, Он любит и заботится о нас, как Отец. Но когда Библия говорит нам о возможности стать сынами Божьими, она, безусловно, подразумевает что-то другое. И это приводит нас к центральному пункту теологии.

В одном из христианских символов веры говорится, что «Христос, Сын Божий, рожден от Бога, а не сотворен Им», и далее добавляется: «рожденный Отцом прежде всех веков» (то есть до сотворения мира). Пожалуйста, уясните себе как следует, что это откровение не имеет ничего общего с тем, что впоследствии Христос родился на земле как Человек и был Сыном девы. В данный момент мы не рассматриваем вопроса о Непорочном зачатии. Нас интересует что-то такое, что имело место еще до

сотворения мира, до начала времен. «Прежде всех веков Христос был рожден, а не сотворен». Что это значит?

Родить — значит стать отцом. Сотворить — значит сделать. Разница между этими двумя понятиями в следующем: рожденное от вас обладает той же природой, что и вы. От человека рождаются человеческие дети, от бобра бобрята, птица кладет яйца, из которых вылупляются птенцы. Но когда вы делаете что-то, то создаете нечто отличное от вас самих по природе. Птица вьет гнездо, бобер строит плотину, человек делает радиоприемник или может сотворить что-то более похожее на него, чем приемник, например статую. Если он достаточно искусный скульптор, то может создать статую, очень похожую на человека. И все-таки неживая статуя никогда не будет человеком, поскольку не может ни дышать, ни думать; она лишь походит на него.

Все это надо очень ясно усвоить. То, что рождено Богом, есть Бог, как рожденное от человека — человек. То, что создано Богом,— это не Бог, как и созданное человеком — не человек. Вот почему люди — не сыны Божьи в том смысле, в каком Сын Божий — Христос. Люди могут быть похожи на Бога, но они — существа другого рода. Они скорее похожи на статую или картину, изображающую Бога.

Как и статуя, которая похожа на человека, но не имеет в себе жизни, человек (в некотором смысле, что я и собираюсь объяснить) похож на Бога, но в нем нет того рода жизни, который присущ Богу.

Давайте сначала рассмотрим первый пункт (сходство человека с Богом). Все, что создано Богом, носит черты какого-то сходства с Ним. Космос похож на Него своей необъятностью. Не то чтобы необъятность космоса была того же рода, что и необъятность Бога; но безграничность Вселенной как бы символ Его безграничности или выражение ее в понятиях недуховного порядка. Материя имеет сходство с Богом в том смысле, что она тоже обладает энергией; хотя, конечно, физическая энергия отличается от энергии, свойственной Богу. Растительный мир схож с Богом в том, что, как и Он, обладает жизнью. Но биологическая жизнь — не та же самая, которая присуща Богу. Она — только символ или тень Его жизни.

Когда мы переходим к животному миру, то обнаруживаем другие черты сходства с Богом, помимо биологической жизни. Интенсивная жизнедеятельность и продуктивность насекомых, возможно, первый, неясный намек на непрекращающуюся созидательную активность Бога. У более высоких форм, млекопитающих, мы наблюдаем начало инстинктивной привязанности. Конечно, эта привязанность не то же самое, что любовь, присущая Богу; но она похожа на нее, как похожа на пейзаж картина, нарисованная на плоском листе бумаги.

И вот мы подошли к человеку, высшему существу в животном мире: в нем мы замечаем наиболее полное сходство с Богом. (Возможно, другие миры населены существами, еще более похожи-

ми на Бога, чем мы, но нам об этом ничего не известно.) Человек не только живет — он любит и думает; в нем биологическая жизнь достигает высшего уровня.

Однако в естественном состоянии человек лишен духовной жизни, то есть особого, более высокого рода жизни, который присущ Богу. Мы используем одно и то же слово «жизнь» для обозначения и того, и другого. Но если вы сделаете отсюда вывод, что они, в сущности, одно и то же, то ошибетесь. Они не идентичны между собой, как не идентичны необъятность Вселенной и необъятность Бога. Различие между биологической жизнью и духовной настолько важно, что впредь я собираюсь именовать их по-разному.

Биологическую жизнь, которую мы получаем через природу и которая (как и все в природе) отмечена тенденцией к постоянному угасанию и разложению, а потому нуждается в непрерывной поддержке (она и поступает к ней из природы в виде воздуха, воды, пищи и т. п.),— этот род жизни я буду называть «биос» (греческое слово). Духовную жизнь, которая содержится в Боге «от вечности» и является источником возникновения всей физической Вселенной, назовем греческим словом «зоэ» (что, собственно, и означает — «жизнь»). Биос, несомненно, схож с зоэ, как тень ее или символ. Сходство это такого рода, как между фотографией и самим сфотографированным местом, как между статуей и человеком. Трансформация, которая происходит в человеке, когда биос сменяется в нем на зоэ, равносильна превращению мраморной статуи в живого человека.

Именно в этом и состоит суть всех христианских откровений: наш мир представляет из себя студию Великого Скульптора. Мы с вами — статуи, и в студии ходит слух, что в один прекрасный день некоторые из нас оживут.

II
БОГ В ТРЕХ ЛИЦАХ

В предыдущей главе мы рассмотрели разницу между понятиями «рождать» и «делать» или «творить». Человек рождает ребенка, статую он делает. Бог рождает Христа, человека Он творит. Сказав это, я проиллюстрировал лишь одну истину о Боге: то, что рождается от Бога-Отца, есть Бог, Существо той же природы, что и Он Сам. В некотором роде это подобно рождению человеческого сына от человеческого отца. Однако сходство тут не абсолютное. Постараюсь объяснить это несколько подробнее.

Очень многие люди в наши дни говорят: «Я верю, что Бог существует, но не могу поверить, что Бог — это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, должно быть чем-то большим, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, не предлагает какую бы то ни было идею относительно того, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, согла-

шаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании и представляют Его чем-то безличным (а на деле чем-то меньшим, чем личность). Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает. Ибо она, единственная в мире, именно так и трактует Бога.

Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы просите их, что они понимают под этим, то обнаружите, что их идея ничем не отличается от поглощения одних веществ другими. Они и говорят, что это подобно тому, как капли стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и происходит с нами, мы просто прекратим свое существование. Лишь у христиан вы найдете идею о том, как человеческие души могут обрести жизнь в Боге, оставаясь при этом собою; более того — становясь собою в значительно большей степени, чем они были прежде.

Я предупреждал вас, что теология — наука практическая. Цель нашего существования, таким образом, в нашем вовлечении в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни мешают достигнуть цели.

А сейчас я попросил бы особого внимания.

Вы знаете, что в пространстве вы можете двигаться в трех направлениях: налево или направо, назад или вперед, вниз или вверх. Любое направление представляет из себя либо одно из этих трех, либо какую-то их комбинацию. Мы называем это тремя измерениями. А теперь напрягите внимание. Пользуясь лишь одним измерением, вы можете начертить только прямую линию. Пользуясь двумя, вы можете начертить фигуру, например квадрат. Квадрат состоит из четырех прямых линий. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Если в вашем распоряжении три измерения, вы можете построить объемную фигуру, например куб, похожий на игральную кость или на кусочек сахара. Куб составлен из шести квадратов.

Замечаете, в чем тут дело? Мир, в котором только одно измерение, будет представлять из себя прямую линию. В мире с двумя измерениями мы все еще видим прямые линии, но несколько прямых линий создают фигуру. В трехмерном мире существуют плоские фигуры, но, составленные вместе, они образуют объемное тело. Иными словами, продвигаясь по направлению к более сложным уровням, вы не отбрасываете того, чем располагали на уровнях более простых; вы сохраняете их, группируя, однако, по-новому, в такие формы, которых вы не сумели бы придумать, если бы вам были известны только простейшие уровни.

Христианская теория о Боге строится по этому же принципу. Человеческий уровень — это простой и относительно пустой уровень. На нем одна личность — одно существо, а две личности будут двумя существами. Точно так же при двух измерениях (к примеру, на листе бумаги) один квадрат будет представлять

из себя одну фигуру, два квадрата будут двумя фигурами. На Божественном уровне вы все еще — в мире личностей; но эти личности связаны там иначе, совсем другим способом. Мы, никогда не жившие на том уровне, не можем вообразить себе, каким именно образом они связаны между собой.

В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех Лиц, но остающееся в то же время одним Существом; ведь остается же куб, содержащий шесть квадратов, одним кубом. Полностью постичь такое Существо мы, конечно, не в состоянии. Но и куба мы не сумели бы себе ясно представить, если бы могли оперировать лишь двумя измерениями в пространстве. Однако смутное представление об этом нам доступно. И когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею о Сверхличности, о Том, Кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего сами мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что эта идея безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем.

Вы можете задать вопрос: «Если мы не можем вообразить себе Существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о Нем?» Что ж, пожалуй, нет никакого. Однако смысл в нашем фактическом вовлечении в жизнь этого триединого Существа, которое может начаться в любое время — сегодня вечером, если хотите.

Я имею в виду следующее. Обыкновенный, простой христианин становится на колени, чтобы произнести молитву. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек — христианин, он знает, что сила, которая заставляет его молиться,— это тоже Бог, так сказать, Бог внутри него. Но он также знает, что все его фактические знания о Боге приходят через Христа — Человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог — это Тот, Кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него, это — та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же — тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. Таким образом, все это троякое функционирование Триединого Существа происходит в обычной маленькой спальне, где обыкновенный человек произносит свою молитву. Этот человек захвачен высшей формой жизни — той, которую я назвал словом «зоэ», или жизнью духовной. Богом он «затянут» в Бога, оставаясь в то же время самим собой.

Так и начиналась теология. Люди уже имели смутное представление о Боге. Затем пришел человек, заявивший, что он — Бог. Однако это был не такой человек, от которого можно отмахнуться, как от сумасшедшего. Он заставил их поверить Ему. После того как они видели Его убитым, Он пришел к ним снова. И позднее, после того как они объединились в маленькое общество, они обна-

ружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них; Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской идее о Триедином Боге.

Понятие это не придумано людьми; лишь примитивные религии придуманы. Теология, в некотором смысле, экспериментальная наука. Говоря «в некотором», я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, однако не во всем. Если вы геолог и изучаете породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы придете к ним. В этом деле вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сделать снимки диких животных в естественных для них условиях. Предстоящая вам задача отличается от задачи геолога, изучающего минералы. Дикие животные не придут к вам сами, но они в состоянии убежать от вас. И они обязательно это сделают, если вам не удастся остаться незамеченным. Появляются первые признаки их инициативы.

Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Но если он не позволит вам это, вам никогда это не удастся. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну — для дружбы между двумя человеческими существами необходима обоюдная инициатива.

Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если он не откроет вам Себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы найти Его. Так оно и бывает: одним Он открывается в большей степени, чем другим, не потому, что у Него есть любимчики, а потому, что для Него невозможно открыть Себя человеку, чей разум и характер не находится в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом.

Эту же мысль можно пояснить иначе: в то время как в других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира (микроскопами или телескопами), то инструмент, с помощью которого вы можете воспринять Бога,— все ваше существо. И если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым — как Луна, рассматриваемая через грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии: они смотрят на Бога через нечистые линзы.

Бог может открыть Себя таким, какой Он действительно есть, только настоящим людям — не просто людям, которые хороши сами по себе, а таким, которые объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга и помогают друг другу познать Его, Бога. Именно для таких отношений предназначал Он человечество: быть музыкантами в одном оркестре или органами в одном теле.

Таким образом, единственный подходящий инструмент для изучения Бога — христианское братство, совокупность всех христиан, вместе ожидающих встречи с Ним. Вот почему все люди, которые появляются время от времени на нашем горизонте, предлагая изобретенные ими или упрощенные религии в подмену христианских традиций, только зря теряют время. Они подобны человеку, который, вооружившись старым полевым биноклем, пытается учить настоящих астрономов. Он может быть умным человеком, возможно, он умнее, чем некоторые профессионалы, но его полевой бинокль — слишком неадекватный инструмент, чтобы он мог научить их чему бы то ни было. Через год-два о нем забудут, а настоящая наука будет идти, как шла.

Если бы христианство относилось к числу наших изобретений, мы, безусловно, сумели бы сделать его проще. Но это не так. Не нам, христианам, соперничать в облегчении и упрощении с людьми, изобретающими религии. Да и как нам тягаться с ними? Мы ведь имеем дело с фактом. Позволить себе быть попроще может лишь тот, кто не знает фактов и не заботится о них.

III
ВРЕМЯ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВРЕМЕНИ

Существует неверное представление, что, читая книгу, мы не должны ничего пропускать. Мне думается, напротив, те разделы или главы, которые, по нашему мнению, не могут принести нам никакой пользы, читать не следует. На протяжении этой книги я уже обращался к моим потенциальным читателям с подобным советом, и так как в этой главе я собираюсь говорить о вещах, которые одним могут быть полезны, а другими воспримутся как нарочитое и ненужное усложнение, то я повторяю свой совет: пропустите эту главу, если она не покажется вам интересной, и переходите к следующей.

В предыдущей главе я коснулся молитвы; и пока эта тема еще свежа в нашей с вами памяти, я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых людей. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но то, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно, до меня не доходит». Я пришел к выводу, что очень многие люди разделяют эту точку зрения.

Попробуем же разобраться в этом. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что вся сложность, по-видимому, в слове «одновременно». Многие из нас легко могут себе представить, что при наличии у Бога неограниченного количества времени Он способен выслушать и неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, проблема, очевидно, в неспособности понять, как может Бог разбираться с необозримым количеством проблем в один и тот же момент.

Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам момент за моментом. Один момент исчезает прежде, чем появляется другой, и каждый вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок, эта последовательность — прошлое, настоящее, будущее — не что-то действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже Сам Господь Бог пребывают в постоянном движении от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи существуют вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время — ученые.

Вероятнее всего, Бог существует вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится Ему в десять часов ночи, Ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем «десять часов». Этот миг и каждый другой от начала мира — бесконечное настоящее для Него. Если хотите, в Его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к Нему, пока падает самолет.

Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу: «Мэри отложила работу. В следующее мгновение раздался стук в дверь». Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемое время, между тем, как она отложила работу, и стуком в дверь нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом воображаемом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть три часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, как если бы она была единственным действующим лицом в книге, размышлять о ней столько, сколько мне захочется; но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри (для времени, в котором протекает сюжет романа).

Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь в нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме Его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог в состоянии уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с огромной массой народа. По отношению к Нему — вы отдельный, особый человек, как если бы вы были единственным живым существом, созданным Им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире.

Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени (протекающего в повести) только за счет того,

что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год и уже наступил 1990-й. Ведь Его жизнь — это Он Сам.

Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начертена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии, одна за другой; мы должны оставить «А» прежде, чем мы сможем достичь «Б», и не можем достичь «В» прежде, чем не оставим «Б» позади. Бог сверху, или извне, или отовсюду вмещает в Себя всю линию целиком и видит ее всю.

Эта идея стоит того, чтобы ее постичь, потому что с ее помощью из христианства устраняются кажущиеся трудности. Прежде чем я стал христианином, одно из основных моих недоумений сводилось к следующему. Христиане утверждают, что вечный Бог, Который вездесущ и Который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. Что же происходило со Вселенной, спрашивал я, когда Он был младенцем или когда Он спал? Как Он мог быть одновременно Богом, Который знал все, и человеком, спрашивающим у Своих учеников: «Кто прикоснулся ко Мне?»[26] Как видите, и здесь загвоздка — в категориях времени: «*Когда* Он был младенцем», «Как мог Он *одновременно*?» Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени и Его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла из себя короткий отрезок, взятый из времени, точно так же как моя служба в армии была коротким периодом моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей.

Мы представляем себе Бога живущим во времени, когда Его земная человеческая жизнь только предстояла Ему в будущем. Затем мы видим Его в этой жизни. Потом Он представляется нам, когда Он может оглянуться на Свою земную жизнь как на факт в прошлом. Но скорее всего эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временно́е соотношение с Его жизнью как Бога, существующего вне пространства и времени. По-моему, вневременная истина о Боге — в том, что человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведением и потребностью в сне включается каким-то образом во всю Его Божественную жизнь. Эта человеческая жизнь в Боге, с нашей точки зрения, определенный период в истории *нашего* мира (с года рождения нашего Господа до Его распятия).

Мы считаем, что этот период — и период в истории Бога. Но у Бога нет истории. Он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю — значит потерять часть реального существования (потому что история — та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое) и не обрести до поры до времени другой его части (потому что она еще в будущем). Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоя-

щего, которое исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам Господи думать, что и Бог таков же. Даже мы можем надеяться, что в вечности будем избавлены от такого рациона.

Если вы думаете, что Бог существует во времени, у вас возникает еще одна трудность. Каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если Он знает, что́ я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать противоположное?

Здесь опять-таки трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет Себя в соответствии с линией времени, подобно нам; единственная разница в том, что Он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если Бог может предвидеть наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершать их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем «завтра», видно Ему так же хорошо, как то, что мы называем «сегодня». Для Него все будет «сейчас». Он не вспоминает того, что мы делали вчера; Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас «вчера» безвозвратно ушло и потеряно, для Него оно остается действительностью. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем «завтра»; Он просто видит, как мы их делаем. Для нас «завтра» еще не настало, а Он уже сейчас в «завтра». Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны в выборе своих действий в данный момент из-за того, что Бог знает о том, что мы делаем. В каком-то смысле Он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили; но с другой стороны, когда бы мы их ни совершили, для Него это — «сейчас».

Это соображение мне сильно помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Идея эта — вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще.

IV
БЛАГОТВОРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Я начинаю эту главу с просьбы, чтобы вы постарались ясно представить себе такую картину: на столе лежат две книги, одна поверх другой. Совершенно очевидно, что нижняя книга ту, что на ней, наверху, поддерживает. Только благодаря нижней книге верхняя на пять сантиметров выше поверхности стола, вместо того чтобы касаться этой поверхности. Давайте обозначим нижнюю книгу буквой «А», а верхнюю — буквой «Б». Позиция «А» обусловливает позицию «Б». Это ясно, не так ли? Теперь представим себе (это, конечно, не может случиться в действительности, но подойдет

для иллюстрации), давайте представим себе, что обе книги находились в таком положении вечно. В этом случае позиция «Б» всегда зависела от позиции «А», но позиция «А» не существовала до позиции «Б». Иными словами, результат в данном случае не наступает *после* причины, как обычно бывает: сначала вы съедаете огурец, а потом у вас расстройство желудка. Этот принцип действует не всегда. Еще минутку терпения, и вы увидите, почему я считаю это важным.

Несколькими страницами ранее я сказал, что Бог — это Существо, состоящее из трех Лиц, но остающееся тем не менее одним Существом (и привел приблизительную иллюстрацию — куб, который состоит из шести квадратов, но остается одной фигурой). Но как только я стараюсь объяснить, как эти Лица взаимосвязаны, возникает впечатление, будто одно из них существовало прежде других. Мне приходится прибегать к словам, которые повинны в таком впечатлении. Первое лицо в этом Триединстве называется Отцом, второе Лицо — Сыном. Мы говорим, что Первый рождает или производит Второго; мы называем это рождением, а не творением, потому что Он производит Существо того же рода, что и Он Сам. В данном случае единственное подходящее слово — «Отец». Но, к сожалению, это слово предполагает, что Он существовал прежде, как человеческий отец существует до появления сына. На самом же деле это не так. Здесь нет места ни «прежде», ни «потом». Вот почему, я считаю, очень важно уяснить: одна вещь может быть источником или причиной другой и не существовать прежде нее. Сын существует потому, что существует Отец; но в этом существовании никогда не было момента, предшествующего рождению Сына.

Вероятно, лучше всего взглянуть на это следующим образом. Я попросил вас представить себе две книги. Возможно, большинство из вас сделали это, совершили некий акт воображения, и перед вами возникла мысленная картина. Совершенно очевидно, что он был причиной, она — следствием, или результатом. Но это не значит, что вы сначала вообразили, а затем получили эту картину. В тот самый момент, когда начало действовать ваше воображение, она возникла перед вашим мысленным взором. Все это время ваша воля удерживала ее перед вами. Однако акт воли и картина начали существование в один и тот же момент и прекратили в одно время. Если бы был Кто-то, живущий вечно, и если бы Он вечно представлял в Своем воображении одно и то же существо, то постоянно создавался бы какой-то мысленный образ, который был бы таким же вечным.

Я полагаю, именно так мы и должны думать о Сыне, Который постоянно струится от Отца, как струится свет от лампы, или тепло от огня, или мысль из головы. Он — самовыражение Отца, то, что Отец желает сказать, и во всей вечности никогда не было момента, когда бы Отец не произносил Своего Слова.

Заметили вы, что происходит? Все эти примеры света и тепла создают впечатление, что Отец и Сын — это две субстанции,

а не две Личности. Очевидно, образ Отца и Сына, который дает нам Новый завет, гораздо более точный, чем любые иллюстрации, которыми мы пытаемся его подменить.

И так случается всякий раз, когда вы отходите от того, что сказано в Библии. Вполне оправданно отойти от текста на какой-то момент, чтобы лучше уяснить себе то или иное. Но затем необходимо к нему вернуться. Бог, естественно, гораздо лучше знает, как описать Самого Себя, чем любой из нас. Он знает, что отношения Отца и Сына следует, скорее всего, описывать как отношения между Первой и Второй Личностями, а не как что-то иное, придуманное нами. Самое главное в том, что это — отношения любви. Отец находит радость в Сыне, Сын преданно любит Отца. Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание на огромную важность этих слов.

Самым разным людям нравится повторять христианское изречение: «Бог есть любовь». Но они как будто не замечают, что слова эти имеют смысл только в том случае, если Бог включает в Себя, по крайней мере, две Личности. Ведь Любовь — это что-то такое, что одно лицо испытывает к другому. Если бы Бог был существом в одном лице, тогда, до того как Он создал мир, Он не был бы любовью. Очевидно, когда говорят: «Бог есть любовь», люди имеют в виду что-то совсем другое, а именно, что «любовь есть Бог». Они, видимо, считают, что к нашему чувству любви, независимо от того, как и где оно возникает и к каким результатам приводит, следует относиться с величайшим уважением. Возможно, они и правы; но христиане совершенно иначе понимают слова «Бог есть любовь». Они верят, что живая, динамичная энергия любви действует в Боге вечно и именно она — источник всего сущего.

В этом, возможно, самое главное отличие христианства от всех остальных религий: Бог — не статичное существо и даже не просто личность. Это динамичная, пульсирующая энергия, жизнь, что-то почти драматическое, что-то (пожалуйста, не сочтите меня непочтительным) подобное танцу. Единство между Отцом и Сыном настолько живо и реально, что это единство само Личность. Я знаю, это звучит почти немыслимо, но взгляните на это следующим образом. Вы знаете, что, когда люди собираются вместе в клубе или в профсоюзе, возникает так называемый «дух» семьи, или клуба, или профсоюза. Люди говорят об этом духе, ибо когда они собираются вместе, то вырабатывают особую манеру вести себя, которая не была бы им свойственна, если бы они оставались разрозненными. (Это коллективное поведение может быть, конечно, и лучше, и хуже, чем поведение индивидуальное.) Так или иначе, подобное объединение людей как бы вызывает к существованию коллективную личность. Это, естественно, не личность в буквальном смысле слова, а подобие личности. Но в том-то и заключается одно из различий между Богом и нами. То, что возникает из объединенной жизни Отца и Сына — Личность, Третье Лицо Триединства, которое есть Бог.

На профессиональном, теологическом языке это Третье Лицо называется Святым Духом, или Духом Божьим. Не волнуйтесь и не удивляйтесь, если обнаружите, что ваше представление о Нем более туманно и неясно, чем представление о первых двух Лицах Триединства. Я думаю, на это существует вполне законная причина. В процессе своей христианской жизни вы, как правило, не смотрите на *Него*. Но Он постоянно действует через вас. Если вы думаете об Отце как о Том, Кто находится «где-то там», перед вами, а о Сыне как о Том, Кто стоит рядом с вами, помогая вам молиться и стараясь превратить вас в еще одного сына Божьего, то о Третьем Лице вы должны думать как о чем-то, находящемся внутри или позади вас. Возможно, для некоторых людей проще начать с Третьего Лица и продвигаться от Него в обратном направлении: Бог есть любовь, и эта любовь действует через людей, особенно через всю совокупность христиан вместе взятых. Но этот дух любви, от самой вечности — любовь между Отцом и Сыном.

Какое же все это имеет значение для нас? Самое большое на свете. Всю эту драму, или образ жизни Триединства, надо проиграть через каждого из нас. Или (если взглянуть на это с противоположной стороны) каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме. Счастья, для которого мы созданы, не достичь иным путем. Все хорошее, как и плохое, подвержено воздействиям извне. Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие — не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты; бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от него, брызги его достигнут вас; если нет — останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть?

Однако как он может соединиться с Богом? Как нам с вами влиться в триединую жизнь?

Вы помните, что я сказал во второй главе о рождении и создании? Мы с вами не рождены Богом, мы только созданы Им; в нашем естественном состоянии мы не сыны Божьи, мы всего лишь статуи. В нас нет зоэ, или духовной жизни; нам присуща только биос, или биологическая жизнь, которая неизбежно движется к угасанию и смерти. Суть того, что предлагает христианство, в следующем: мы можем, если не станем противиться Божьей воле, принять участие в жизни Христа. И если это случится, мы станем соучастниками той жизни, которая была рождена, а не создана, которая всегда существовала и всегда будет существовать. Христос — Божий Сын. Если мы войдем в Его жизнь, то станем Божьими детьми. Мы будем любить Отца, как любит Он, и Святой Дух будет пребывать в нас. Христос пришел в этот мир и стал

человеком для того, чтобы распространить среди других людей ту высшую форму жизни, которая присуща Ему Самому. Я называю это «благотворной инфекцией». Каждый христианин должен стать маленьким Христом. Именно это и значит «быть христианином».

V
УПРЯМЫЕ ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем — по крайней мере, я не знаю,— что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником жизни Сына Божьего с рождения. Возможно, биос, или естественная жизнь, устремлялась бы тогда в зоэ, то есть в высшую, несотворенную жизнь, с самого своего зарождения, непрерывно, по мере развития. Но все это только догадки и предположения. А нас с вами волнует вопрос, как обстоят дела сейчас.

Вот как: два вида жизни не только разнятся между собой (они и были бы различны), но противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас эгоцентрична, она требует внимания к себе и восхищения собою. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать всю Вселенную. И больше всего эта жизнь желает быть предоставленной самой себе — держаться в стороне от всего, что лучше, или сильнее, или выше, чем она, короче, в стороне от всего, что заставляет ее чувствовать себя маленькой и незначительной. Она боится света и воздуха духовного как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле эта жизнь права. Она знает, что, если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И поэтому она готова сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы избежать этого.

Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили? Что ж, давайте представим, что вы на самом деле оживили их. Вот на ваших глазах оловянный солдатик превращается в маленького человечка. Олову пришлось бы стать плотью; но вообразите, что оловянному солдатику это не нравится. Его совсем не привлекает плоть; он замечает, что олово испорчено. Он думает, что вы убиваете его. Он сделает все, что в его силах, чтобы помешать вам. Вам бы не удалось переделать его в человека, если бы это зависело от него.

Я не знаю, что сделали бы вы с таким оловянным солдатиком. Но с нами Бог сделал вот что: Второе Лицо Божественного Триединства, Сын, Сам стал человеком. Он родился в мир, как рождается настоящий человек — реальный человек определенного роста, с определенным цветом волос, говорящий на определенном языке,

весящий столько-то килограммов. Он, Вечносущий, Который знает все и Который сотворил Вселенную, стал не только человеком, но младенцем, а перед тем — зародышем в теле женщины. Если вы хотите понять, что это для Него значило, подумайте о том, как бы понравилось вам стать слизнем или крабом.

В результате этого в нашей человеческой семье появился такой Человек, Который был всем тем, чем предназначалось быть людям,— человеком, в котором созданная жизнь, унаследованная от Матери, позволила превратить себя полностью и совершенно в жизнь рожденную. Но естественное человеческое существо в Нем было полностью поглощено Божественным Сыном. Таким образом, человечество в один момент достигло, так сказать, пункта своего назначения — перешло в жизнь Христа. И поскольку трудность для нас в своего рода умерщвлении естественной жизни, Он избрал для себя такой жизненный путь, который убивал на каждом шагу Его человеческие желания. Он познал нищету, непонимание семьи, предательство одного из близких друзей; Он подвергался преследованиям и издевательствам и умер под пытками. И после того, как Он был убит — убиваем, фактически, каждый день,— человеческое существо в Нем, благодаря Своему органическому единству с Божьим Сыном, снова возродилось к жизни. Человек в Христе поднялся из мертвых. Человек, а не только Бог! В этом вся суть. В первый раз мы увидели настоящего человека. Один оловянный солдатик — такой же оловянный, как все остальные,— триумфально ожил.

И здесь мы подходим к той точке, в которой мой пример перестает действовать. В случае с игрушечными солдатиками то, что один из них оживает, не имеет абсолютно никакого значения для остальных. Все они существуют отдельно, независимо друг от друга. Но с человеческими существами дело обстоит иначе. Они лишь выглядят отдельными организмами, потому что вы видите, как они двигаются и действуют вне всякой связи друг с другом. Однако мы созданы так, что можем быть свидетелями только настоящего.

Если бы мы могли видеть прошлое, вещи выглядели бы для нас совсем по-другому. В жизни каждого человека был момент, когда он представлял из себя часть организма своей матери, а еще раньше — часть организма своего отца, которые в свою очередь были частью его дедушек и бабушек. Если бы вы могли видеть человечество на протяжении времени, как видит его Бог, оно выглядело бы для вас не как масса отдельных точек, разбросанных тут и там, а как единый растущий организм, более всего напоминающий гигантское, необычайно сложное дерево. Вы увидели бы, что каждый человек связан со всеми другими. И не только это. В действительности каждый из нас отделен от Бога не больше, чем отделены мы друг от друга. Каждый мужчина и женщина, каждый ребенок во всем мире чувствует и дышит сейчас, в этот самый момент, только потому, что Бог поддерживает в нем жизнь. Следовательно, когда Христос стал человеком, это было не то же

самое, как если бы ожил оловянный солдатик. Скорее о явлении Его в мир можно рассказать так: нечто, постоянно воздействующее на все человечество, в определенный момент начало оказывать влияние на всю массу людей по-новому. С упомянутого момента это влияние распространяется на тех, кто жил до Христа, и на тех, кто жил после Него, и даже на тех, кто никогда о Нем не слышал, подобно тому, как одна капля какого-то вещества, упавшая в стакан воды, придает новый вкус и новый цвет всему содержимому стакана. Безусловно, ни одна из этих иллюстраций не отражает сколько-нибудь полно истинного положения вещей. Бог ни с чем не сравним, Он творит вещи, которым нет ничего подобного, и вы едва ли можете рассчитывать, что обнаружите такое подобие.

Какое же изменение внес Он в среду человечества? В чем оно состоит? В превращении человека в сына Божьего, существа сотворенного — в существо рожденное; в превращении временной биологической жизни во вневременную духовную жизнь. И все это ради нас и для нас. В принципе, человечество уже спасено. Мы, отдельные люди, просто должны воспользоваться этим спасением, каждый человек — индивидуально. Но наиболее трудная часть процесса — та, которую мы не в состоянии выполнить сами, сделана за нас. Нам незачем своими силами забираться в духовную жизнь. Сама эта жизнь уже спустилась к человеческой семье. Если только мы откроем сердце Человеку, в Котором эта жизнь присутствует во всей полноте и Который, будучи Богом, в то же время настоящий человек, Он совершит это в нас и за нас. Помните, что я сказал о «благотворной инфекции»? Один из представителей нашей человеческой семьи обладает этой новой жизнью; если мы подойдем к Нему ближе, то заразимся от Него.

Вы, конечно, можете выразить ту же идею иными путями. Вы можете сказать, что Христос умер за наши грехи. Или что Отец простил нас, благодаря тому, что Христос совершил за нас то, что надлежало сделать нам самим. Либо что мы омыты кровью Агнца. Вы можете сказать, что Христос победил смерть. И все это верно. Примите ту из этих формулировок, которая вам больше по душе. Но только не начинайте при этом ссориться с другими из-за того, что они отдали предпочтение другой.

VI
ДВА ПРИМЕЧАНИЯ

Я хотел бы дать здесь примечания к двум вопросам, возникшим в последней главе.

1) Один рассудительный критик пишет: «Если Бог хотел, чтобы у Него вместо игрушечных солдатиков были сыновья, почему же Он не родил сыновей сразу, вместо того чтобы создавать игрушечных солдатиков, а затем подвергать их столь трудному и болезненному процессу?»

Частично ответить на этот вопрос довольно просто; ответ на другую его часть, возможно, за пределами человеческого познания. Отвечу на легкую часть. Процесс превращения создания в сына не был бы ни трудным, ни болезненным, если бы человеческая семья не отвернулась от Бога тысячелетия тому назад. У людей была возможность сделать это, потому что Бог дал им свободу воли. Он дал им свободную волю потому, что мир простых автоматов никогда бы не смог познать любви, а следовательно, и истинного, безграничного счастья.

Трудная часть ответа — в следующем. Все христиане соглашаются, что в полном, первоначальном смысле слова существует только один Сын Божий. Настаивая на своем вопросе: «А могло ли быть у Бога много сыновей?», мы рискуем забраться в такие дебри, из которых выбраться не сумеем. Есть ли вообще в словах «А могло ли бы..?» какой-нибудь смысл, когда вопрос касается Бога? Я полагаю, что такой вопрос можно ставить в отношении вещи или явления, имеющих начало и конец, потому что она (или оно) могли бы быть иными из-за того, что какая-то другая вещь (или явление) были иными, а эти, в свою очередь, могли бы быть иными по той причине, что иной была какая-то третья вещь. И так далее (буквы на этой странице могли бы быть красными, если бы печатник взял красную типографскую краску, и он взял бы красную краску, если бы получил соответствующую инструкцию, и т. д. и т. п.). Но когда речь идет о Боге — то есть о первооснове, о некоей неизменяемой реальности, которая обусловливает все остальные реальности, явления, факты, то спрашивать, могло ли что-то обстоять иначе, бессмысленно. Он — То, что Он есть, и этим вопрос исчерпывается.

Но и помимо этого, мне крайне трудно осмыслить Бога, рождающего сыновей на протяжении вечности. Для того чтобы этих сыновей было много, они должны как-то отличаться друг от друга. Два пенни выглядят совершенно одинаково. Почему же их два? Очевидно, потому, что они находятся в различных местах и состоят не из одних и тех же атомов. Иными словами, чтобы говорить о них как об отдельных, различных единицах, мы должны прибегнуть к таким понятиям, как пространство и материя, то есть к сотворенной Вселенной. Я могу понять различие между Отцом и Сыном, не вовлекая в дело пространства или материи, потому что в этом случае один рождает, а другой рождается. Отец по отношению к Сыну будет не тем, чем Сын — по отношению к Отцу. Но если бы существовало несколько сыновей, их родственное отношение друг к другу и к Отцу было бы одинаковым, как бы они отличались друг от друга? С первого взгляда эту трудность, конечно, не замечают. Люди считают, что мысль о нескольких сыновьях имеет право на существование. Однако когда я задумываюсь об этом глубже, то прихожу к выводу, что реальной такая идея выглядит только потому, что мы смутно представляем этих сыновей в виде людей, стоящих друг подле друга в каком-то пространстве. Иначе говоря, хотя мы и воображаем, будто думаем

о чем-то, существовавшем до сотворения Вселенной, на самом деле мы контрабандой пытаемся ввести в картину сотворенную Вселенную и поместить сыновей внутри нее. Когда мы перестаем это делать, но все еще стараемся думать об Отце, рождающем множество сыновей до сотворения мира, то обнаруживаем, что, в сущности, думаем ни о чем. Образы тают, а сама идея обращается в набор слов. Потом возникает другая мысль: а не была ли Природа — пространство, время и материя — создана именно для того, чтобы сделать эту множественность возможной? Может быть, единственный путь получить «легионы» бессмертных духов — в предварительном создании множества физических существ во Вселенной и последующем одухотворении каждого из них? Но все это, конечно, догадки.

2) Представляя все человечество в виде единого огромного организма, подобного дереву, не следует думать, будто это свидетельствует о том, что индивидуальные различия не имеют значения или что реальные люди — Том, Нобби или Кэт — менее важны, чем такие коллективные понятия, как классы или расы. Фактически эти понятия противоположны друг другу. Отдельные части единого организма могут очень сильно отличаться одна от другой, а отдельные элементы, не являющиеся частями единого организма, могут быть похожи друг на друга. Шесть однопенсовых монет никак не связаны между собой, но выглядят одинаково. Мой нос и мои легкие по виду своему совершенно несхожи, но живут они только благодаря тому, что и тот, и другие входят в состав моего организма и принимают участие в его жизни.

Христианство рассматривает отдельных людей не просто как членов одной группы или отдельные предметы в перечне, но как органы единого тела, которые отличаются друг от друга, и каждый выполняет то, чего другие выполнить не могут. Когда вы ловите себя на желании сделать своих детей, или учеников, или соседей подобными вам во всем, вспомните, что Богу, вероятно, это вовсе не угодно. Вы и они — это отдельные органы, предназначенные для выполнения различных функций. С другой стороны, если у вас возникает искушение не обращать внимания на нужды других, потому что это не «ваше дело», вспомните: хотя другие и не похожи на вас, они часть того же самого организма. Если вы забываете, что любой человек принадлежит к одному с вами организму, вы становитесь индивидуалистом. Если же вы забываете, что другой — не тот же орган, что вы, и пытаетесь подавить всякое различие между людьми, чтобы все стали одинаковыми, то становитесь тоталитаристом. Между тем христианин ни индивидуалистом, ни тоталитаристом быть не должен.

Мне очень хочется сказать вам — и вы хотите сказать мне,— какая из этих ошибок опаснее. Но это дьявол морочит нас. Он всегда посылает в мир ошибки парами, состоящими из двух противоположностей, и побуждает нас тратить как можно больше времени, размышляя о том, какая хуже. Вы, конечно, понимаете, почему? Он полагается на нашу неприязнь к одной из ошибок,

чтобы постоянно привлекать нас к противоположной. Но мы не должны потакать ему. Мы должны с широко открытыми глазами идти к своей цели, следуя между соблазнами той и другой ошибки и стараясь не впасть ни в одну.

VII
ВООБРАЖЕНИЕ

Позвольте мне и эту главу начать двумя примерами, точнее, напомнить вам две истории, над которыми я попрошу вас задуматься. Одну из них — сказку «Аленький цветочек» — вы все читали. В этой сказке девушка должна была по какой-то причине выйти замуж за чудище. И она это сделала. Но прежде она поверила в любовь этого чудища, испытала на себе его доброту и сама попыталась ответить любовью. Когда она поцеловала чудище, как если бы оно было человеком, то, к великому ее облегчению, прямо на глазах чудище и на самом деле превратилось в прекрасного юношу, и зажили они в любви и согласии.

В другой истории рассказывается о человеке, который был вынужден носить маску. В этой маске он выглядел гораздо привлекательнее, чем без нее. Ему пришлось носить ее несколько лет, и когда он наконец снял ее, то обнаружил, что его лицо приняло очертания маски. Он воистину стал красивым. То, что было вначале притворной, ненастоящей красотой, стало реальностью.

Я думаю, обе эти истории могут (иносказательно, конечно) проиллюстрировать то, о чем я собираюсь говорить в этой главе. До сих пор я старался описывать факты — чем является Бог и что Он сделал. А сейчас я хочу перейти к практическому вопросу: что должны делать мы? Какой смысл имеет для нас вся эта теология? Возможно, мы почувствуем это уже теперь. Если вам достало интереса дочитать до этого места, надеюсь, вам хватит его и на то, чтобы сделать еще один шаг вперед, а именно: произнести молитвы. Что бы вы ни сказали, вы, вероятно, повторите и слова той молитвы, которой научил нас Господь [27].

Вы помните, как она начинается? «Отче наш». Сейчас вы уже знаете, что эти слова значат. Они совершенно недвусмысленно свидетельствуют о том, что вы ставите себя в положение сына Божьего. Иными словами, вы облекаетесь в Христа, так сказать, воображаете себя Христом. В тот самый момент, когда до вас доходит смысл этих слов, вы начинаете понимать, что на самом деле вы — не сын Божий. Вы совсем не такое существо, как Сын, Чьи интересы, Чья воля абсолютно едины с интересами и волей Отца. Вы — комок сосредоточенных на самом себе страхов, надежд, жадности, зависти и самолюбия. И все это, вся ваша сущность, обречено на смерть. Таким образом, то, что вы берете на себя смелость уподобляться Христу — возмутительная самонадеянность. Но, странное дело, именно так Он и приказал нам вести себя.

Почему? Что за смысл выдавать себя за то, чем вы на самом деле не являетесь? Однако даже на человеческом уровне существуют, как вы знаете, два рода притворства — плохое и хорошее. В первом случае человек пытается кого-то обмануть: например, он притворяется, будто помогает вам, вместо того чтобы помочь на самом деле. Но второй, полезный вид притворства ведет к чему-то настоящему. Например, вам не хочется проявлять дружелюбие к Х., но вы знаете, что должны его проявить; в таком случае правильнее всего вести себя так, как если бы вы были лучше, чем на самом деле. И через некоторое время вы действительно почувствуете к Х. большее расположение, чем вначале.

Всем нам это знакомо. Очень часто единственный путь ощутить реальность чего-то — это вести себя так, как если бы вы ее уже ощутили. Вот почему игры так важны для детей. Они ведь постоянно притворяются, будто они взрослые,— играя в войну или в магазин. Но с каждым разом мускулы их становятся тверже, а разум — острее, так что то, что они притворяются взрослыми, помогает им расти на самом деле.

Далее, в тот самый момент, когда вы сознательно говорите себе: «Вот, я воображаю, будто я Христос», вы, скорее всего, тут же чувствуете, каким образом возможно сделать это ваше «притворство» не столь явным, хоть чуточку приблизить его к реальности. Вы обнаруживаете, что думаете о таких вещах, о которых не думали бы, если бы действительно были сыном Божьим. Что ж, постарайтесь прогнать эти мысли. Или, быть может, вы внезапно поймете, что, вместо того чтобы произносить молитвы, вам следовало бы сесть за стол и написать письмо матери или отправиться на кухню и помочь жене вымыть посуду. Поднимитесь в таком случае и сделайте то, что вам подсказывает внутренний голос.

Видите, что происходит? Сам Христос, Сын Божий, человек (такой же, как мы с вами) и Бог (такой же Бог, как Его Отец), находится рядом с вами и уже в этот момент обращает ваше воображение в реальность. И это не высокопарные слова, выражающие лишь ту мысль, что ваша совесть подсказывает вам, что делать. Если вы прямо спросите вашу совесть, вы получите один ответ. Если вы помните, что вы воображаете себя Христом, ответ будет иной. Существует множество вещей, о которых ваша совесть не скажет вам прямо, что они плохи (особенно в стадии обдумывания), но которые вы сразу же отвергнете, если серьезно стараетесь подражать Христу. Потому что тогда вы не просто будете думать о том, что хорошо, а что плохо, но будете стараться подхватить благотворную инфекцию от этого Человека. Это скорее похоже на создание портрета, чем на подчинение определенным правилам. Интересно, что в некотором отношении это труднее, чем следовать правилам, зато в другом — гораздо легче.

Настоящий Сын Божий будет рядом с вами. Он начинает превращать вас в существо, подобное Самому Себе. Он начинает, так сказать, «прививать» вам Свой образ жизни и мыслей, вливать в вас присущую Ему зоэ. Он начинает превращать оловянного

солдатика в живого человека. И конечно, та часть в вас, которая все еще остается оловянной, будет этому противиться.

Некоторые из вас могут заметить, что ничего подобного на своем опыте не испытывали. Вы можете сказать: «У меня никогда не было чувства, будто мне помогает невидимый Христос, зато люди часто мне помогали». В этой связи мне вспоминается анекдот из времен первой мировой войны об одной женщине, которая сказала: «Нашу семью не волнуют перебои с хлебом, мы все равно едим только гренки». Если у вас нет хлеба, то не будет и гренок. Если бы не было помощи Христа, вы не увидели бы и помощи людей. Он действует на нас самыми различными путями, а не только в рамках того, что мы называем «религиозной жизнью». Он действует через природу, через наши тела, через книги, иногда — через переживания, которые на первый взгляд могут показаться антихристианскими. Когда молодой человек, который ходил в церковь по привычке, осознает со всей искренностью, что он не верит в христианскую доктрину, и перестанет посещать церковь, то если его побуждает к этому стремление быть честным, а не желание пойти наперекор родителям, дух Христа, возможно, ближе к нему, чем прежде.

Но более всего Его Дух действует на нас через наше общение друг с другом. Люди — это зеркала, или «переносчики» Христа ближним. Иногда они и сами об этом не подозревают. «Благотворную инфекцию» могут переносить и те, кто ею не заражен. Мне, например, помогли прийти к христианству люди, которые сами не были христианами. Но, как правило, именно те, которые знают Его, приводят к Нему других. Вот почему роль Церкви, этой совокупности всех христиан, открывающих Его друг другу, настолько важна. Не будет преувеличением сказать, что в двух христианах, следующих вместе за Христом, христианство возрастает не в два, а в шестнадцать раз по сравнению с тем, когда они следовали за Ним в одиночку.

Но не забывайте, для грудного младенца естественно принимать молоко матери, не зная ее. Также и для нас поначалу естественно видеть человека, который помогает нам, и не видеть при этом стоящего за ним Христа. Однако мы не должны оставаться грудными младенцами. Мы должны идти вперед, должны понять, Кто посылает нам помощь. Не увидеть и не понять этого было бы безумием. Тогда нам осталось бы полагаться на людей; а это рано или поздно приведет к великому разочарованию. Даже лучшие из них допускают ошибки; и всем суждено умереть. Мы должны быть благодарны каждому из тех, кто оказал нам помощь, мы должны уважать и любить их, но никогда не полагаться абсолютно и безраздельно ни на одно человеческое существо, пусть это будет самый лучший, самый мудрый человек на свете. Вы можете делать массу прекрасных вещей из песка; только не пытайтесь строить на нем дом.

А теперь мы начинаем видеть то, о чем постоянно говорит Новый завет. Он говорит о христианах, «рожденных вновь»[28];

о людях «облекшихся в Христа»[29]; о том, что Христос «изображается в нас»[30], о обретении «ума Христова»[31].

Сразу же отрешитесь от мысли, что все это — лишь сложная метафорическая форма для выражения той идеи, что христиане должны читать сказанное Христом и стараться проводить это в жизнь, подобно тому как человек читает Платона или Маркса и старается воплощать их идеи. Мысль в разной форме, но постоянно встречающаяся в Новом завете означает гораздо большее: реальный Христос — здесь, сейчас, в этой комнате, где вы произносите молитву — делает что-то для вас и с вами. Причем речь идет не о прекрасном человеке, умершем две тысячи лет тому назад, а о живом Человеке, все еще человеке в такой же степени, как и вы, но и Боге в такой же степени, в какой Он был Им, когда создавал мир. И вот этот живой Богочеловек приходит к вам и приступает к работе над вашим самым сокровенным, внутренним «я», убивает в вас ваше старое «я» и заменяет его другим, таким, каким обладает Он Сам. Вначале — всего на несколько мгновений. Затем — на более продолжительные отрезки времени. И наконец, если все идет хорошо, Он навсегда обращает вас в существо совершенно другого сорта — в нового маленького Христа, в существо, которое, по-своему, пропорционально своим возможностям, обретает тот же род жизни, который присущ Богу; в существо, которое разделяет силу Бога, Его радость, знание и бессмертие... Немного погодя, мы делаем два других открытия.

1) Мы начинаем замечать не только наши греховные поступки, но и нашу греховность. Другими словами, нас начинает беспокоить не только то, что мы делаем, но и то, чем мы являемся. Это звучит несколько сложно, и я постараюсь выразить ту же мысль яснее, прибегнув к личному своему примеру. Когда я готовлюсь к вечерней молитве и стараюсь припомнить все совершенные мною за день грехи, в девяти случаях из десяти самым очевидным будет нарушение заповеди любви к ближнему: я или сердился, или огрызался, или насмехался, или обрывал разговор, или кричал и возмущался. И в моем уме сразу же возникает оправдание: меня спровоцировали; со мной заговорили неожиданно; меня застали врасплох; у меня не было времени собраться с мыслями. Все это как будто служит смягчающим обстоятельством: мое поведение могло бы быть гораздо хуже, если бы я это совершил сознательно, предварительно обдумав.

С другой стороны, все, что человек делает, когда его застают врасплох,— лучшее доказательство того, какой он в действительности. То, что срывается с языка, прежде чем будет время подавить свой порыв, выдает истинную суть. Если в подвале водятся крысы, то больше всего шансов увидеть их, если вы войдете туда неожиданно. Но не неожиданность порождает крыс; она только препятствует им вовремя скрыться. Точно так же не неожиданность повода или предлога делает меня вспыльчивым; она лишь

обнаруживает мою вспыльчивость. Крысы в подвале живут постоянно, но если вы будете входить туда с криками и шумом, они спрячутся, прежде чем вы включите свет.

Очевидно, крысы противоборства и мстительности постоянно бытуют и в подвале моей души. Этот подвал находится за пределами досягаемости моей сознательной воли. До определенного предела я в состоянии контролировать свои действия, но над своим темпераментом прямого контроля я не имею. А если то, какие мы, важнее, чем наши поступки; если наши поступки важны (главным образом), постольку, поскольку показывают, кто мы, из этого следует, что перемена, которой мне предстоит подвергнуться, не может быть произведена посредством моих собственных усилий. Это относится и к хорошим поступкам. Много ли я совершил их под воздействием добрых побуждений? Сколько раз они были результатом того, что я боялся общественного мнения или испытывал желание показать себя с хорошей стороны? Сколько из них было совершено из-за своего рода упрямства или чувства превосходства, которые при других обстоятельствах могли привести меня к совершению плохих поступков? Но я не в состоянии с помощью прямого нравственного усилия пробудить в себе новые стимулы. Сделав всего несколько шагов по дороге христианства, мы начинаем понимать, что все необходимые перемены внутри наших душ могут быть произведены только Богом. И это подводит нас к чему-то такому, что в моей передаче до сих пор не совсем верно отражало истинное положение вещей.

2) Из моих слов могло создаться впечатление, что именно мы сами все и совершаем. В действительности же все изменения совершаются Богом, а не нами. Мы в лучшем случае не противимся тем переменам, которые Он производит в нас. В каком-то смысле вы даже можете сказать, что это не мы, а Бог прибегает к воображению. В самом деле, Трехликий Бог видит перед Собой жадное, ворчливое, непокорное человеческое существо. Но Он говорит: «Давайте вообразим, будто это не простое существо, а Наш сын. Это существо похоже на Иисуса в том смысле, что Иисус тоже человек, потому что Он стал Человеком. Давайте вообразим, будто человек подобен Христу и по духу, и будем обращаться с ним, как если бы это соответствовало истине, хотя на самом деле это не так. Но мы представим себе, что наше воображение стало действительностью».

Бог смотрит на нас, как на маленького Христа; Христос стоит рядом, чтобы помогать нам превращаться в Него. Идея о Божьей игре в воображение звучит на первый взгляд странно. Но странно ли это в действительности? Разве не именно так существа более высокого порядка воспитывают тех, кто ниже их? Мать учит ребенка говорить, беседуя с ним, как если бы он ее понимал, задолго до того, как он действительно начнет понимать ее. Мы обращаемся с нашими собаками так, как если бы они были человеческими существами. Вот почему в конце концов они становятся «почти как люди».

VIII
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ?

В предыдущей главе мы рассматривали, как «облечься в Христа» или как представлять себя сыном Божьим, чтобы в конце концов стать им по-настоящему. Я хочу со всей ясностью заявить, что это не просто одно из занятий, которым должен предаваться христианин, и не своего рода упражнение, необходимое для перехода в следующий класс. В этой идее — смысл и суть христианства. Ничего иного оно не предлагает. И я хотел бы указать, в чем тут отличие от обычных идей морали и добра.

Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как становимся христианами, состоит в следующем. Мы берем в качестве исходного пункта наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Мы затем признаем, что что-то еще — назовите это «моралью», или «правилами поведения», или «соображениями общественного блага»— предъявляет свои требования к нашему «я»; и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. «Быть хорошим»— значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются чем-то таким, что мы называем «злом». Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем «добром»,— и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все предъявляемые нам требования, у нашего бедного «я» все еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью, в свое удовольствие. Фактически мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я».

Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний «быть хорошими», либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что (не заблуждайтесь!), если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу своей совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое, таким образом, страдает от голода, на каждом шагу натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания «быть хорошим», либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, «живут для других», но при этом всегда всем недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему «другие» не замечают их самопожертвования, их непрекращающегося мученичества. И когда вы превратитесь в

такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем были бы, если бы оставались откровенным эгоистом.

Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте Мне *все*. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда; Я хочу *вас*. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветвь здесь, ветвь там, Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб, или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте Мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, как невинными, так и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Фактически, Я дам Самого Себя, и все Мое станет вашим».

Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что Сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда — как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест»[32], и это звучит как призыв к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но в следующий момент Он говорит: «...иго Мое благо, и бремя Мое легко»[33]. Нетрудно понять, почему и то, и другое справедливо.

Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе — это тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что в данный момент это требует меньше усилий. Но шесть месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конечном итоге лентяю приходится работать больше.

Или давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо предпринять какое-то действие, которое требует усилий и мужества. Однако в конечном итоге оно же обеспечит наибольшую безопасность. Если вы этого не сделаете, то несколькими часами позднее окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым опасным.

Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать всего себя — все свои желания и все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы сами. Ибо мы стараемся остаться, так сказать, «самими собою», не отказываемся от личного счастья как от главной цели в жизни и в то же время пытаемся быть «хорошими». Мы все стараемся не препятствовать уму своему и сердцу сосредоточиваться на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям — и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. И это именно то, против чего

предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике [34]. Поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой. Но пшеницы это поле все-таки не произведет. Чтобы такое поле дало пшеницу, в нем необходимо произвести изменения; его надо глубоко перепахать и засеять заново.

Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в тот самый момент, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас как дикие звери. И каждое утро наша первая обязанность — в том, чтобы попросту прогнать их; мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день: мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра.

Вначале, обретя подобное состояние духа, вы сумеете сохранять его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Ему совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим окрашенный предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря: «Будьте совершенны» [35], Он имел в виду именно это. Он подразумевал, что мы должны подвергнуться полному курсу лечения. Это трудно; но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее, это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу; однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится.

А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде: в этом и состоит все христианство; больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать сильное недоумение. Ведь такой очевидной представляется мысль, что у церкви множество других забот: образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство: это проблемы обороны, политики, экономики и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие в этой жизни. Муж и жена, беседующие у камина, друзья, играющие в карты в пивном баре, человек, читающий книгу в своей комнате или работающий в своем саду,— ради защиты всего этого и существует государство. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и защитить. А иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег.

Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу; формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она была создана для Христа и что все должно соединиться в Нем [36]. Я думаю, никто из нас не в состоянии понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет (если там вообще что-нибудь живет) в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их (как это и в самом деле происходит) гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуй на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в подтягивании неодушевленных вещей и растений к человеку, по мере того как он пользуется ими и оценивает их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы проделывать это со своими мирами. И может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они, в этом смысле, принесут с собой в Него и все остальное. Но я не знаю, как все это произойдет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками.

Нам сказано только о том, как мы, люди, соединимся в Христе; как мы станем частью того удивительного дара, который молодой Князь Вселенной хочет преподнести Своему Отцу,— дара, который есть Он Сам и, следовательно, мы в Нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с Ним и в Нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный, верный смысл. Страшный сон окончится; наступит утро.

IX
ВО ЧТО ЭТО ОБХОДИТСЯ

Многих, оказывается, смутило то, что я сказал в предыдущей главе о словах нашего Господа: «Будьте совершенны». Некоторые, видимо, полагают, что эти слова означают: «Пока вы не станете совершенными, Я не буду вам помогать»; поскольку мы не в состоянии стать совершенными, наше положение безнадежно. Но я не думаю, чтобы это было так. Мне представляется, Господь имел в виду следующее: «Я стану помогать вам лишь в одном — в достижении совершенства. Возможно, вас устраивает что-нибудь поменьше, но Я не дам вам ничего меньше этого».

Позвольте мне пояснить мою мысль. В детстве у меня часто болели зубы, и я знал: стоит пойти к маме — и она даст что-нибудь болеутоляющее и я смогу спокойно уснуть. Но я не шел к ней — по крайней мере, до тех пор, пока боль не становилась невыносимой. Я не шел к ней вот по какой причине: не сомневаясь в том, что она даст мне аспирин, я в то же время знал, что этим она не ограничится, а на следующее утро поведет меня к зубному врачу. Я не мог получить от нее того, что хотел и не получить чего-то большего, чего я вовсе не хотел. Все, к чему я стремился,— мгновенно избавиться от боли: но я не мог получить этого без последующей проверки всех моих зубов. А я знал этих зубных врачей! Знал, что они начнут копаться и в тех моих зубах, которые болеть не начинали. Как у нас говорят, дай им только палец, они всю руку отхватят.

Наш Господь, если вы позволите мне такое сравнение, в некотором роде напоминает этих зубных врачей. Если вы дадите Ему палец, Он возьмет у вас всю руку. Десятки людей приходят к Нему, чтобы излечиться от какого-то одного греха, которого они особенно стыдятся (например, от трусости), или от такого, который портит им жизнь (скажем, от вспыльчивости или пьянства). Что ж, Он вылечит любой недуг; но не остановится на этом. Может быть, вы больше ничего у Него и не просили, но Он, если только вы придете к Нему однажды, непременно подвергнет вас полному курсу лечения.

Вот почему Он предупреждает людей, чтобы они, прежде чем станут христианами, взвесили, во что им это обойдется. «Поймите меня правильно,— говорит Он.— Если вы Мне позволите, Я сделаю вас совершенными. В тот момент, когда вы вручите себя в Мои руки, знайте, что именно это Я намерен сделать с вами. Именно это, и ничего другого. Однако ваша воля остается свободной. Если вы захотите, то сможете оттолкнуть Меня. Но если вы не оттолкнете, помните: Я доведу работу до конца. Каких бы страданий вам это ни стоило в вашей земной жизни, чего бы это ни стоило Мне, я не успокоюсь и не оставлю в покое вас до тех пор, пока вы действительно не станете совершенными — пока Мой Отец не сможет без колебаний сказать, что доволен вами, как Он сказал это обо Мне. Я могу это сделать, и Я сделаю это. Но Я не стану делать ничего меньше этого».

И тем не менее — это так же важно — Помощник, Которого не удовлетворить ничем, кроме совершенства, будет очень рад вашей первой, слабой попытке, которую вы предпримете завтра, чтобы выполнить простейшую свою обязанность. Как говорил известный христианский автор Джордж Макдональд, каждый отец доволен, когда его ребенок делает первые неуверенные шажки, но ни один отец не удовлетворится меньшим, чем уверенная, свободная походка взрослого сына. Точно так же, говорит он, «легко снискать одобрение Бога, но удовлетворить Его трудно».

Из всего этого следует такой практический вывод. С одной стороны, то, что Бог требует от нас совершенства, не должно

ни в коей мере обескураживать нас в теперешних попытках быть хорошими, как не должны у нас опускаться руки от неудач, которые мы терпим при этих попытках. Всякий раз, когда вы падаете, Он снова ставит вас на ноги. Он превосходно знает, что ценой своих собственных усилий вы никогда не сможете и близко подойти к совершенству. В свою очередь вы с самого начала должны понимать, что цель, к которой Он вас направляет,— это абсолютное совершенство, и ни одна сила во Вселенной, кроме вас самих, не может воспрепятствовать Ему в этом. Это очень важно понять. Если мы не поймем этого, то, весьма вероятно, захотим в какой-то момент пойти на попятную и начнем Ему противиться. Я думаю, многие из нас склонны считать себя достаточно хорошими после того как Христос помог нам преодолеть один-два греха, которые особенно беспокоили нас. Он сделал все, чего мы от Него хотели, и теперь мы были бы очень признательны, если бы Он оставил нас в покое. У нас принято говорить: «Я никогда не стремился стать святым. Мне просто хотелось быть порядочным человеком». Нам даже кажется, что это свидетельствует о нашем смирении.

Но это — трагическая ошибка. Конечно же, мы не хотели и никогда не просили, чтобы нас превращали в нечто совершенное. Но дело не в наших желаниях, а в тех намерениях, которые имел Он, когда создавал нас. Он — Изобретатель. Мы — только машины. Он — Художник, мы — всего лишь картина. Как можем мы знать, что Он намеревается сделать из нас? Вы замечаете, что Он уже превратил нас во что-то, сильно отличающееся от того, чем мы были. Давным-давно, прежде нашего рождения, когда мы еще находились в материнском чреве, мы прошли через различные стадии развития. Сначала видом своим мы напоминали растения, затем — рыб, и только на последней стадии мы стали походить на человеческих младенцев. И если бы мы могли осознавать те ранние стадии, то, вполне возможно, удовлетворились бы таким вот бытием в виде растения или рыбы, и не захотели бы превращаться в младенцев. Но все это время у Него был особый план относительно нас, и Он твердо намеревался выполнить его до конца. То же самое происходит и сейчас, только на более высоком уровне. Нас, допускаю, вполне удовлетворит, если мы останемся так называемыми обыкновенными людьми; но Он твердо намерен привести в исполнение совершенно другой план. Отказ от участия в этом плане диктует не смирение, а лень и трусость. Подчинение ему свидетельствует не о тщеславии или мании величия, а о покорности.

Эти две стороны истины можно осветить иначе. С одной стороны, нам не следует воображать, что ценой своих собственных усилий мы в состоянии продержаться в категории порядочных людей хотя бы сутки. Если бы не Его поддержка, никто из нас не был бы застрахован от какого-нибудь серьезного греха или преступления. С другой стороны, вся святость и весь героизм, которыми отличались величайшие из святых, не превышали того,

чем Он намерен наделить каждого из нас. Его работа над нами не закончится в этой жизни. Но Он намерен выполнить ее настолько, насколько это возможно, до нашей смерти.

Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда человек обращается к Христу и ему кажется, что все у него идет как надо (в том смысле, что он избавляется от дурных наклонностей), то зачастую ему представляется: теперь, вполне естественно, и обстоятельства станут складываться глаже. И когда приходят неприятности — болезнь, денежные затруднения, разного рода искушения,— такой человек испытывает разочарование. Все это, думает он, было необходимо, чтобы пробудить во мне сознание и привести меня к раскаянию; но почему сейчас? А потому что Бог заставляет его идти вперед, подниматься на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости, или терпения, или любви, чем он когда-либо мог подумать. Нам все это кажется излишним; но только потому, что мы еще не имеем ни малейшего представления о том, какими поразительными существами Он собирается нас сделать.

Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы — жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что Он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас удивления. Но вот Он начинает ломать дом, да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего Он хочет добиться? А объяснение в следующем: Он строит из вас совсем другой, новый дом, вовсе не такой, каким вы его представляли. В одном месте Он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом — пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но Он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце Сам.

Заповедь «Будьте совершенны» — это не просто идеалистически высокопарный призыв. Это и не приказ сделать невозможное. Дело в том, что Он собирается преобразовать нас в такие существа, которым по силам этот приказ. Он сказал (в Библии), что мы — «боги», и докажет правоту Своих слов. Если только мы Ему позволим — мы можем помешать Ему, если захотим,— Он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить. Он превратит нас в чистое, искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде (хотя, конечно, в меньшем масштабе) Его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс. Но именно в том, чтобы пройти его,— наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез.

X
ХОРОШИЕ ЛЮДИ, ИЛИ НОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Да, то, что Он сказал, Он говорил всерьез. Те, кто отдаст себя в Его руки, станут такими же совершенными, как Он Сам,— совершенными в любви, мудрости, радости, красоте и бессмертии. Эта перемена не завершится в нашей земной жизни, потому что смерть — важная часть лечения. Как глубоко затронет оно каждого отдельного христианина при его земной жизни, знать никому не дано.

Я думаю, сейчас самая пора рассмотреть один часто возникающий вопрос: если христианство право, то почему христиане — в массе своей — не лучше, чем нехристиане? Вопрос этот, с одной стороны, совершенно правомочен, с другой стороны, неоправдан. Обоснованность его — вот в чем. Если обращение в христианство внешне никак не проявляется в поведении человека — если он продолжает оставаться таким же снобом, или завистливым, или тщеславным, каким был прежде,— то мы должны, я думаю, подвергнуть сомнению искренность его обращения. Всякий раз, когда обращенный полагает, что достиг прогресса, он именно так может проверить себя. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значат ничего, если поведение наше не меняется при этом в лучшую сторону, как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается. В этом смысле мир совершенно прав, когда судит христианство по результатам. Христос говорил нам, чтобы именно так мы и судили[37]. Дерево познается по плодам. «Чтобы узнать, хорош ли пудинг, надо его съесть». Когда мы, христиане, ведем себя недостойно или когда из наших попыток вести себя так, как надо, ничего не получается, мы внушаем людям недоверие к христианству. На плакатах военного времени можно прочитать: «Легкомысленная болтовня может привести нас к гибели». Переиначив эти слова, скажу, что легкомысленный образ жизни может привести к злоречивым толкам. И мы сами даем повод для толков, ставя под сомнение истинность христианства.

Но, с другой стороны, окружающий нас мир бывает довольно нелогичным в своих требованиях к христианству. Порой людям недостаточно, чтобы жизнь человека, ставшего христианином, изменилась к лучшему. Они пытаются, прежде чем сами придут к вере, четко разделить весь мир на два лагеря — христиан и нехристиан; при этом они ожидают, что все люди из первого лагеря в любой данный момент должны быть безусловно лучше, чем люди из второго лагеря. Такое требование беспочвенно по нескольким причинам.

1) Во-первых, в реальной жизни все гораздо сложнее. Мир не состоит из стопроцентных христиан и стопроцентных нехристиан. Существуют люди (и их немало), которые медленно выбывают из рядов христиан, но все еще называют себя этим именем, причем

некоторые из них — священнослужители. Другие постепенно становятся христианами, хотя еще так себя и не называют. Имеются люди, которые пока не принимают доктрину о Христе во всей ее полноте, но в такой степени поддались обаянию Его Личности, что уже принадлежат Ему в гораздо более глубоком смысле, чем сами сознают. Известны и люди, которые, исповедуя другие религии, под скрытым воздействием Бога сосредоточили внимание на тех разделах, которые согласуются с христианской доктриной. Например, буддист доброй воли, побуждаемый упомянутым воздействием, может все больше внимания уделять буддистскому учению о милосердии, оставляя в стороне другие вопросы (хотя он все еще утверждает, что исповедует это учение). В подобном положении находилось и множество благодетельных язычников задолго до рождения Христа. А сколько в мире людей, у которых в голове неразбериха и убеждения сотканы из обрывков несовместимых верований! Следовательно, бессмысленно судить о христианах и нехристианах в целом. Можно сравнивать кошек и собак или даже мужчин и женщин, потому что здесь каждому ясно, кто есть кто. К тому же животные не превращаются (ни внезапно, ни постепенно) из собаки, скажем, в кошку. Когда мы сравниваем христиан с нехристианами, то обычно думаем не о реальных людях, которых знаем, а о неких смутных идеях, почерпнутых нами из книг и газет. Если же вы хотите сопоставить плохого христианина с хорошим атеистом, то пусть это будут два конкретных человека, с которыми вы действительно сталкивались. До тех пор, пока мы не докопаемся до сути дела, мы будем только время терять.

2) Предположим, мы докопались до сути и говорим уже не о воображаемых христианах и нехристианах, а о двух конкретных людях, живущих по соседству с нами. Даже в этом случае вопрос требует внимательного, аналитического подхода. Если христианство истинно, из этого должно вытекать, что а) любой христианин лучше, чем был бы тот же самый человек, если бы оставался нехристианином; и что б) любой человек, становящийся христианином, лучше, чем он был до этого. Позвольте мне привести сравнение. Если реклама зубной пасты «Белозубая улыбка» не обманывает нас, то из этого следует: а) у каждого, кто пользуется ею, зубы лучше, чем они были бы, если бы он ею не пользовался; и б) если кто бы то ни было начнет ею пользоваться, состояние его зубов улучшится. Но то, что от употребления этой пасты мои плохие зубы (которые я унаследовал от обоих родителей) не станут такими же прекрасными, как у здорового, молодого негра, который вообще никогда не употреблял никакой пасты, еще не доказывает, что реклама говорит неправду. Возможно, христианка мисс Бэйтс злее на язык, чем неверующий Дик Феркин. Сам по себе этот факт еще не может служить доказательством того, что христианство — недейственно. Вопрос следует ставить в иной плоскости: а каким был бы Дик, стань он верующим? Мисс Бэйтс и Дик, в силу наследственности и воспитания, полученного ими в раннем детстве, обладают разными темпераментами и характе-

рами. Христианство обещает взять под контроль оба эти темперамента и характера, если только ему будет позволено. Правомочен лишь такой вопрос: приведет ли этот контроль, если будет установлен, к улучшению мисс Бэйтс и Дика? Каждому ясно, что в случае Дика под контроль поступил бы характер куда более доступный благоприятному воздействию, чем в случае мисс Бэйтс. Но дело не в этом. Чтобы судить о руководстве фабрикой, следует принимать в расчет не только качество продукции, но и техническое оснащение. Возможно, техническое оснащение фабрики «А» таково, что она лишь чудом вообще дает какую-то продукцию. Напротив, принимая во внимание первоклассное оснащение фабрики «Б», следует признать, что высокое качество ее продукции все-таки гораздо ниже, чем могло бы быть. Несомненно, хороший руководитель на фабрике «А» установит новое оборудование при первой возможности, однако это произойдет не сразу. До тех пор, пока это случится, низкий уровень продукции, выпускаемой этой фабрикой, не может свидетельствовать о неумелости руководства.

3) А теперь углубимся в разбираемый нами вопрос. Руководитель собирается поставить новое оборудование, и еще прежде, чем Христос закончит работать над мисс Бэйтс, она станет воистину прекрасным человеком. Но если мы на этом остановимся, то ситуация будет выглядеть так, словно единственная цель Христа — подтянуть мисс Бэйтс до того уровня, на котором Дик находился с самого начала. У вас могло сложиться впечатление, будто с Диком вообще нет никаких проблем, и в христианстве нуждаются только люди с дурным характером, а приятные, милые люди вполне могут обойтись и без него; словно приятность — это все, чего требует Бог. Думать так было бы роковой ошибкой. Правда — в том, что с точки зрения Бога Дик Феркин нуждается в спасении ничуть не меньше, чем мисс Бэйтс. В каком-то смысле (через минуту я объясню, в каком именно) сомнительно, чтобы приятность характера вообще имела какое-нибудь отношение к этому.

Мы не можем ожидать, чтобы Бог смотрел на спокойный характер и дружелюбие Дика теми же глазами, какими смотрим на них мы. Ведь эти качества в значительной степени порождены естественными причинами (благоприятная наследственность), то есть в конечном счете обусловлены Самим Богом. Но, с другой стороны, будучи связаны с темпераментом Дика, они едва ли устойчивы и могут исчезнуть, коль скоро у Дика нарушится пищеварение. Приятность характера — это, в сущности, Божий дар Дику, а не дар Дика Богу. Точно так же Бог допустил, чтобы в силу естественных причин, действующих в мире, от глубокой древности испорченном грехом, разум у мисс Бэйтс оказался ограниченным, а нервы — взвинченными, от чего и зависит, главным образом, ее несносность. Он намеревается в свое время выправить этот недостаток мисс Бэйтс. Но для Бога не это — критическая часть ситуации. Это не представляет для Него никаких трудностей. Не об этом Он беспокоится. Того, за чем Он следит, чего ожидает и ради чего работает, нелегко добиться даже Ему, Богу, потому что

в силу установленного Им принципа свободной воли Он не может достичь этого силой. Он ждет и наблюдает за появлением «этого» и в мисс Бэйтс, и в Дике Феркине; только от их доброй воли это зависит. От каждого из них зависит, сделать этот шаг или отказаться от него, обратиться или нет к Богу, выполнив, таким образом, ту единственную цель, ради которой они и созданы. Их свободная воля вибрирует, как стрелка компаса. Но эта стрелка наделена правом выбора. Она может повернуться точно к северу, но не обязана этого делать. Повернется ли стрелка, установится ли, укажет ли на Бога?

Он может ей в этом помочь. Но Он не может ее заставить. Он не может протянуть руку и повернуть ее — тогда она лишилась бы предоставленной ей от начала свободы воли. Установится ли стрелка по направлению к северу? От этого зависит все остальное. Передадут ли мисс Бэйтс и Дик свою человеческую природу в руки Божьи? Только в этом суть. А что один из этих характеров — приятен, а другой — несносен, вопрос второстепенный. С этим у Бога проблем не будет.

Не поймите меня, пожалуйста, превратно. Бог рассматривает плохую, несносную человеческую природу как зло, как что-то печальное. Конечно, хороший человеческий характер в Его глазах — добро, как добро — хороший хлеб, или солнечный свет, или чистая вода. Но все это такое благо, которое Он дает, а мы принимаем. Он дал Дику крепкие нервы и хорошее пищеварение, и добро не оскудело в том источнике, откуда оно произошло. Творить благо Богу, насколько нам известно, ничего не стоит. Но ради того, чтобы взбунтовавшаяся человеческая воля могла обратиться на праведный путь, Он умер на кресте. Поскольку эта воля свободна, она может, действуя как в хороших, так и в плохих людях, принять или отвергнуть Его. В последнем случае все приятные качества Дика, будучи лишь свойством его человеческой природы, обратились бы в конечном счете в ничто, так как сама эта природа исчезнет. Сочетание естественных причин произвело в Дике благоприятную психологическую структуру, подобно тому как оно порождает приятные сочетания цветов при солнечном закате. Но в силу особенностей, присущих природе, такое сочетание быстро распадается и исчезает. Дику предлагалась возможность превратить (или, скорее, позволить Богу превратить) это мимолетное сочетание в бессмертную красоту вечного духа; но он эту возможность упустил.

Возникает парадокс: до тех пор, пока Дик не обратится к Богу, он будет думать, что его приятный характер — его собственность во всех отношениях (и по происхождению, и по принадлежности). Но пока он так думает, прекрасные качества его ему не принадлежат. Только когда он поймет, что они — не его заслуга, а дар Божий, и вновь предложит их Богу, только тогда качества эти действительно станут его собственностью. Только то мы и можем сохранить, что добровольно отдадим Богу. А то, что попытаемся удержать для себя, непременно потеряем.

Мы не должны поэтому удивляться, встречая среди христиан людей, все еще несносных. Если подумать, можно понять, почему от неприятных людей можно ожидать, что они скорее обратятся к Христу, чем приятные. Вы помните, как возмущались современники Христа тем, что, по их мнению, Он привлекал к Себе самых ужасных, самых презираемых людей? То же самое вызывает возмущение и недоумение и у наших современников. Так будет и завтра, и всегда. Вы догадываетесь, почему? Вспомните слова Христа: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». А еще Он говорил: «Блаженны нищие духом». Очевидно, что речь Он вел о двух видах богатства и нищеты — материальном и духовном. Опасность для людей материально богатых — в том, что они довольствуются счастьем, которое дают им деньги, и не понимают, что нуждаются в Боге. Если все кажется таким доступным, если вы можете получить все, чего пожелаете, простым росчерком пера на чеке, то вам легче позабыть о том, что каждую минуту вы — в полной зависимости от Бога. Не меньшую опасность несет и природная одаренность. Если вы получили от Бога крепкие нервы, незаурядный ум, отличное здоровье, если вы хорошо воспитаны и считаетесь «душой общества», то как вам не быть вполне довольным своим характером и обстоятельствами? «К чему впутывать во все это Бога?»— спросите вы себя. Хорошие манеры и поведение даются вам без особого труда. Вы не из тех несчастных, которые отягощены разного рода комплексами: вас не мучат вопросы пола, вы не страдаете ни чрезмерной тягой к выпивке, ни повышенной раздражительностью или дурным характером. Все вокруг называют вас «славным малым», и вы сами (наедине с собой) соглашаетесь с их мнением. Вы, вполне вероятно, верите, что все ваши хорошие качества — это ваша личная заслуга. И возможно, не видите никакой необходимости стать еще лучше, но лучше по-новому, в более высоком смысле слова. Очень часто люди, наделенные от природы добродетелями, не могут осознать своей нужды в Христе до тех пор, пока в один прекрасный день не окажется, что добродетели их — тщетны, и разочарование постигнет их, а самодовольство — рассеется. Иными словами, трудно тем, кто богат и в этом смысле слова, войти в Царство Небесное.

Дело обстоит совершенно иначе с людьми неприятными, маленькими, приниженными, боязливыми, испорченными, слабосильными, одинокими либо с людьми необузданными, страстными, неуравновешенными. Предприняв малейшую попытку стать хорошими, они незамедлительно почувствуют, что им не обойтись без помощи. Для них — либо Христос, либо ничего. У них только один выбор — или взять свой крест и следовать за Ним, или жить в постоянном отчаянии. Они — заблудшие овцы; Он приходил специально для того, чтобы отыскать их [38]. Они-то и есть в самом настоящем, в самом страшном смысле этого слова «нищие». Именно их Он благословил. Это они — то «ужасное сборище», с которым Он общается. И конечно, фарисеи все еще говорят сегодня,

как говорили в самом начале: «Если бы христианская доктрина опиралась на истину, эти люди не были бы христианами».

В сказанном мною — либо предостережение, либо ободрение для каждого из нас. Если вы славный человек, если добродетель дается вам легко — берегитесь! От того, кому много дано, много и спросится. Если вы принимаете за собственные достоинства то, что на самом деле — Божий дар, полученный вами от природы; если вы довольствуетесь своим приятным характером, вы все еще противитесь Богу, и когда-нибудь ваши природные дары послужат лишь более ужасному падению, более изощренному совращению, а дурной пример станет особо разрушительным. Сам сатана был когда-то архангелом; его природные дары были настолько же выше ваших, насколько ваши — выше природных даров шимпанзе.

Однако если вы несчастное существо, искалеченное никуда не годным воспитанием в семье, где царила низкая зависть и не прекращались бессмысленные ссоры, если вы обременены, не по своей воле, каким-нибудь отвратительным половым извращением и день за днем терзаетесь комплексом неполноценности, набрасываясь и огрызаясь даже на лучших своих друзей,— не отчаивайтесь. Бог знает о вас все. Вы один из тех нищих, которых Он благословил. Он знает, какой воистину жалкой машиной стараетесь вы управлять. Не сдавайтесь. Делайте все, что в ваших силах. В один прекрасный день Он выбросит эту машину на свалку и даст вам новую. И тогда вы, возможно, поразите всех нас — и самого себя, потому что вы прошли трудную школу вождения («Многие же будут первые последними, и последние первыми»[39]).

Обладать приятным характером, быть цельной, высоконравственной личностью прекрасно. Мы должны использовать все доступные нам средства — медицину, образование, экономику, политику — чтобы создать такой мир, где как можно больше людей были бы именно такими, как стараемся мы создать мир, где у каждого достаточно пищи. Но при этом мы должны помнить: если бы нам даже удалось каждого человека сделать хорошим и благодетельным, мы бы не спасли все эти человеческие души. Мир, состоящий из приятных людей, довольствующихся своей приятностью и не имеющих ничего больше, другими словами, мир, отвернувшийся от Бога, будет так же отчаянно нуждаться в спасении, как и мир жалких, несчастных людей,— но спасти его, быть может, еще труднее. Простое, механическое улучшение — не искупление, хотя искупление постоянно делает людей лучше, даже здесь и сейчас, и усовершенствует их до такой степени, о которой мы не можем еще и мечтать. Бог стал человеком, чтобы обратить существа, созданные Им, в Своих детей; не просто для того, чтобы улучшить человеческую породу, но чтобы создать людей совершенно иного рода. Это не то же самое, что дрессировка лошади, которую учат прыгать все выше и выше, это — как превращение ее в сказочного крылатого коня. Конечно, как только у лошади вырастут крылья, она сможет перелетать через такие заборы,

через которые никогда бы не перепрыгнула, и обычной лошади ни в чем с ней будет не сравниться. Однако вначале, когда крылья только станут отрастать, все это, возможно, будет ей не под силу. Наросты в верхней части спины будут выглядеть нелепо и смешно, и никто не догадается, глядя на них, что из них вырастут крылья.

Однако мы, возможно, посвятили этому вопросу слишком уж много времени. Если все, чего вы ищете,— это аргумент против христианства (а я хорошо помню, как я сам жадно искал такие аргументы, когда начал бояться, что христианство соответствует истине), то вы легко сможете найти какого-нибудь неумного и не очень приятного христианина и сказать: «Так вот он, ваш хваленый новый человек! Дайте-ка мне лучше старого!» Но если вы хотя бы раз почувствуете, что ключи к христианству — не там, то в глубине сердца поймете, что все ваши возражения и аргументы — лишь попытка уйти. Что вы можете знать о других человеческих душах? Об их искушениях, их возможностях, их борьбе? Лишь одну душу во всем Божьем мире знаете вы, и это та душа, чья судьба отдана в ваши руки. Если Бог существует, вы в некотором смысле один на один с Ним. Вы не можете от Него избавиться, философствуя о достоинствах и недостатках своих соседей или вспоминая то, о чем вы читали в книгах. Что будут значить все эти пересуды и домыслы (да и сможете ли вы вообще их вспомнить?), когда развеется притупляющий туман анестезии, который мы называем «природой» или «реальным миром», и Присутствие, о Котором вы всегда знали, станет осязаемым, непосредственным, неустранимым?

XI
НОВЫЕ ЛЮДИ

В предыдущей главе я сравнивал работу Христа по созданию новых людей с превращением обычной лошади в сказочного крылатого коня. Я воспользовался этим крайним примером, чтобы подчеркнуть, что речь идет не об улучшении, усовершенствовании, а о полном преобразовании. Ближайшим подобием этому в природе будет поразительное превращение насекомых при воздействии на них определенных лучей. Некоторые считают, что именно так происходит эволюция. Изменения, в которых сущность этого процесса, могут быть вызваны лучами, поступающими из космоса (конечно, как только эти изменения возникают, в действие вступает то, что называют «естественным отбором»: виды, которые претерпели полезные изменения, выживают, а иные — отсеиваются).

Возможно, современный человек лучше сможет понять идею христианства, если попробует рассмотреть ее в связи с теорией эволюции. Каждый знаком с этой теорией (хотя некоторые образованные люди отвергают ее). Каждого из нас учили в свое время, что современный человек эволюционировал из более низких форм

жизни. В результате часто задают вопрос: «Каким будет следующий шаг?» Писатели-фантасты пытаются время от времени описать этот шаг, изображая некоего сверхчеловека. Обычно из-под их пера возникает существо, гораздо более неприятное, чем человек, каким мы его знаем, и создатели его пытаются скрасить впечатление, наделяя свое создание дополнительными руками или ногами. Однако почему не предположить, что следующий шаг принципиально отличается от всего, что в состоянии измыслить самое изощренное воображение? Скорее всего, именно так и будет. Тысячи лет тому назад появились огромные, тяжелые существа, покрытые бронеподобной чешуей. Если бы кто-нибудь в то время наблюдал за ходом эволюции, он, вероятнее всего, предположил бы, что следующим звеном в ее цепи будут существа, еще надежнее защищенные, еще более приспособленные для выживания. Но его предположения оказались бы ошибочными. Будущее прятало в рукаве свою козырную карту, и секрет ее оказался совершенно неожиданным: из рукава выскочили не вооруженные до зубов чудовища, а маленькие, голые, безоружные животные, наделенные лишь лучшими мозгами. С помощью этих мозгов им предстояло покорить всю планету. Им суждено было не просто обрести больше власти, чем у доисторических чудовищ; власть, которую предстояло завоевать, была совершенно нового типа. Следующий шаг должен был стать не просто другим, а по-иному другим. Поток эволюции резко сворачивал в принципиально иное русло, чем мог бы ожидать наш предполагаемый наблюдатель.

Сегодня, мне кажется, в догадках о следующем шаге содержится та же ошибка. Люди видят (или, им кажется, будто они видят), как совершенствуется человеческий интеллект, как все более уверенной становится власть человека над природой. Они думают, что поток эволюции движется лишь в этом направлении, никакого другого русла вообразить себе не могут. Что же до меня, я не могу отделаться от мысли, что следующий шаг будет воистину небывалым; он будет сделан в таком направлении, о котором мы и не подозревали. А если бы не так, то едва ли его можно было бы назвать новым шагом. Я предвижу не просто изменения, а применение какого-то нового метода, направленного на изменения принципиально иного толка. Выражаясь другими словами, следующая стадия эволюции выйдет за ее пределы; эволюция, как метод, производящий изменения, будет вытеснена каким-то новым методом. И я не слишком бы удивился, если бы, когда все это случится, немногие люди это бы заметили.

Если вы согласны продолжать беседу в том же духе, то есть опираясь на знакомое нам понятие эволюции, то согласно христианской точке зрения новый шаг уже сделан. Он действительно нов по-новому. Это не эволюция от людей мозговитых к еще более мозговитым; это изменение — в совершенно другом направлении, ибо оно превращает Божьи создания в Божьих сыновей и дочерей. Первый момент его зафиксирован в Палестине 2000 лет тому назад. В некотором смысле это изменение — не эволюция,

потому что не вызывается естественными процессами, но входит в природу извне. Однако именно этого я и ожидал. Мы пришли к идее об эволюции, изучая прошлое. Если будущее содержит в себе воистину что-то новое, тогда, конечно же, наше представление, основанное на прошлом, не может этого нового в себя вмещать, тем более что новый шаг отличается от всех предыдущих не только тем, что вносит в природу что-то извне.

1) Новое изменение не передается от поколения к поколению через половую активность. Следует ли этому удивляться? Было время, когда пола еще не существовало; размножение и развитие происходили другими методами. Следовательно, мы могли бы ожидать, что вновь наступит время, когда пол опять исчезнет или (как и происходит в действительности), продолжая существовать, перестанет служить главным каналом развития.

2) На начальных стадиях у живых организмов не было выбора или была незначительная возможность выбора, предпринять им новый шаг или нет. Они были объектами прогресса, а не субъектами. Но новый шаг, превращение сотворенных существ в рожденных сыновей и дочерей,— сугубо добровольный, по крайней мере — в одном отношении. Он не доброволен в том смысле, что сами мы не могли бы ни придумать его, ни избрать, не будь он нам предложен. Но он доброволен в том смысле, что мы можем от него отказаться, когда нам предлагают совершить его. Мы можем, так сказать, отпрянуть назад; можем прирасти ногами к земле и позволить новому человечеству уйти вперед без нас.

3) Я назвал Христа «первым моментом» нового человека. Он, конечно, гораздо больше, чем «первый момент», не просто один из новых людей, но новый Человек. Он — источник, центр и жизнь всех новых людей. Он пришел в эту созданную Им Вселенную по Своей воле, принеся с Собою зоэ, новую жизнь (новую для нас, с нашей точки зрения, конечно; ибо там, где Он пребывает вечно, *Зоэ* существовала всегда). Он передает нам ее не по наследству, а посредством того, что я назвал «благотворной инфекцией». Получить ее можно, вступив с Ним в личный контакт. Другие люди становятся новыми через пребывание в Нем.

4) Этот шаг отличается от всех предыдущих скоростью, с которой он совершается. Ведь по сравнению со всем периодом развития человека на этой планете распространение христианства среди людей подобно мгновенной вспышке молнии, ибо две тысячи лет — это почти ничто в масштабах Вселенной. (Не забывайте, что мы все еще ранние христиане.) И сегодняшние недобрые, попусту изнуряющие нас разделения — это, будем надеяться, лишь детская болезнь: у нас все еще режутся зубы. Внешний мир, несомненно, придерживается противоположной точки зрения. Он полагает, будто мы умираем от старости. Но он неоднократно полагал так и прежде. Мир снова и снова приходил к заключению, что христианство умирает от преследований извне и от разложения изнутри, умирает из-за расцвета мусульманства, из-за развития естественных наук, из-за подъема революционных движений.

И всякий раз его ожидало разочарование. Впервые оно настигло его после распятия Христа: Человек снова ожил! В некотором смысле — и я прекрасно понимаю, какой ужасной несправедливостью это должно казаться,— Воскресение продолжается с тех пор и по сей день. Они непрестанно убивают дело, которое Он начал; и каждый раз, когда они разравнивают землю на его могиле, до них внезапно доходит слух, что оно все еще живо и даже появилось в новом месте. Неудивительно, что они нас ненавидят.

5) Риск в данном случае гораздо выше. Соскользнув обратно, на более раннюю стадию развития, творение теряло в самом худшем случае несколько лет жизни на Земле; зачастую оно не теряло и этого. Но когда был сделан новый шаг, обстоятельства изменились; теперь, отступив назад, мы теряем награду, которая (в самом строгом смысле слова) бесценна и безгранична, потому что сейчас наступил критический момент. Век за веком Бог направлял природу к той точке, где она обретает способность производить такие существа, которые смогут, если захотят, перешагнуть за ее пределы, чтобы обратиться в «богов». Позволят ли они, чтобы их взяли из среды природы? В некотором смысле этот процесс подобен критическому моменту родов. До тех пор, пока мы не поднимемся и не пойдем вслед за Христом, мы будем оставаться в составе материальной природы, все еще будем находиться во чреве нашей великой матери. Ее беременность длится долго, она — болезненна и исполнена волнений, но она уже достигла своей критической точки. Великий момент наступил. Все готово. Доктор прибыл. Но пройдут ли роды благополучно? Нельзя забывать, что от обычных они отличаются в одном очень важном отношении. При обычных родах ребенок лишен права выбора. В данном случае такой выбор есть.

Интересно, что сделал бы обыкновенный ребенок, если бы мог выбирать? Возможно, он предпочел бы остаться в темноте и тепле, в безопасности материнского чрева. Ему, безусловно, казалось бы, что, оставаясь там, он обеспечивает себе безопасность. И в этом была бы его роковая ошибка: ведь если бы он остался во чреве, то неизбежно бы погиб.

Потому-то и был предпринят новый шаг, сфера действия которого постоянно расширяется. Новые люди появляются тут и там, во всех уголках Земли. Некоторых из них, как я уже отметил, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаёте довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших: они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее. Их активность начинается там, где большинство из нас останавливается. Их, как я сказал, можно узнать; но для этого вам следует четко определить для себя, что вы, собственно, ищете. Они не похожи на тех религиозных людей, образ которых возник у вас из прочитанных книг. Они не привлекают к себе внимания. Зачастую вы склонны считать, что проявляете доброту по отношению к ним, тогда как это они на самом деле проявляют доброту к вам. Они любят вас больше, чем другие люди, но нуждаются

в вас меньше. (Мы должны побороть в себе стремление быть необходимыми, незаменимыми для других. Для некоторых славных людей, особенно женщин, это такое искушение, которому труднее всего противиться.) Создается впечатление, что у них всегда на все есть время; вы поражаетесь, где они его берут. Когда вы узнаете одного из них, вам будет значительно легче узнать следующего. И я подозреваю (хотя как я могу знать?), что они узнают друг друга немедленно и безошибочно, невзирая на расовые, половые, классовые и возрастные барьеры, невзирая даже на барьеры вероисповедания. Каким-то образом стать святым подобно вступлению в тайное общество. Помимо всего прочего, это очень интересно и увлекательно.

Но вы не должны думать, что все новые люди однолики в обычном смысле слова. Боюсь, многое из того, о чем я говорил в этой книге, могло вызвать у вас именно такое впечатление. Ведь чтобы стать новым человеком, надо потерять свое старое «я»; мы должны «выйти из себя» и «войти в Христа». Его воля должна стать нашей волей; Его мысли — нашими мыслями. Мы должны обрести «ум Христов», как говорит Библия. Поскольку существует только один Христос и только Он один должен находиться в нас, не значит ли это, что мы все должны стать совершенно одинаковыми? Выглядит как будто бы так. Но это совсем не так.

Мне трудно подобрать удачные примеры или сравнения, чтобы пояснить это, потому что никакие другие вещи не могут находиться друг с другом в таких же отношениях, в каких находятся Создатель и Его создания. И все же я попытаюсь привести два очень несовершенных сравнения, которые, возможно, помогут вам понять, что я имею в виду. Вообразите себе группу людей, которые всю свою жизнь прожили в абсолютной темноте. Вы приходите к ним и пытаетесь описать, на что похож свет. Вы говорите им, что если они выйдут наружу, то один и тот же свет упадет на каждого из них и все они будут отражать его и станут видимыми. Услышав такое, они, вполне вероятно, вообразят себе следующее: если мы узрим один и тот же свет и каждый из нас будет реагировать на него одним и тем же образом (то есть все мы будем его отражать), то не окажемся ли мы все похожими друг на друга? Между тем мы с вами прекрасно знаем, что на самом деле свет лишь выявит, насколько они друг на друга не похожи.

Или, предположим, вам встретился человек, который совершенно не знаком со вкусом соли. Вы даете ему щепотку на пробу, и он испытывает сильный, резкий вкус. Затем вы говорите ему, что в вашей стране люди кладут соль в пищу. Вполне возможно, он ответит на это: «В таком случае все ваши блюда не отличаются одно от другого, ведь вкус этого порошка настолько резок, что убьет всякий другой». Между тем мы с вами прекрасно знаем, что соль производит как раз противоположный эффект. Вместо того чтобы убить вкус яйца, или мяса, или капусты, соль проявляет его. Все они будут казаться безвкусными до тех пор, пока вы не прибавите к ним соли. (Конечно, как я и предупреждал вас, срав-

нение это хромает, потому что вы можете убить любой вкус, положив в пищу слишком много соли, тогда как убить специфику человеческой личности, добавив к ней слишком много от Христа, невозможно.)

Что-то действительно подобное этому происходит между Христом и нами. Чем больше нашего собственного «я» мы убираем с пути, позволяя Ему взять контроль над нами, тем больше мы становимся самими собою.

Он содержит в себе такое богатство и такое разнообразие, что миллионов и миллионов «маленьких Христов», каждый из которых не похож на другого, все еще не будет достаточно, чтобы полностью выразить Его. Он сделал всех нас. Он придумал нас, как писатель придумывает действующих лиц в романе — всевозможными и разнообразными, какими вам и мне предстояло стать. В этом смысле наше подлинное «я» все еще ожидает своего проявления в Нем. Нет пользы пытаться «быть самим собой», минуя Его. Чем больше я сопротивляюсь Ему и стараюсь жить по-своему, тем больше господствуют надо мной мои наследственность и воспитание, окружающая среда и растущие во мне страхи и желания.

Фактически то, что я с гордостью называю «самим собою», оказывается лишь пунктом пересечения всех последствий тех явлений, событий, случаев и процессов, которые не я начинал и не мне прекращать. Так называемые «мои желания» попросту навязаны мне физическими отправлениями моего организма, или мыслями других людей, или подсказаны дьяволом. Я плотно поел, крепко выпил и отлично выспался — вот истинный источник того минутного вожделения, которое я испытал к девушке, сидящей напротив меня в купе вагона; между тем я наивно приписываю его моему «тонкому вкусу и независимому, высоколичному решению». Пропаганда — вот истинный источник того, что я именую своими политическими убеждениями. В своем естественном состоянии я далеко не та личность, какой считаю себя. Большую часть того, что я называю своим «я», можно объяснить какими-то внешними причинами. Только когда я обращаюсь к Христу, когда я передаю себя Ему, капитулирую перед Его личностью,— только тогда я начинаю приобретать собственное, настоящее «я»!

Вначале я сказал, что Бог содержит в Себе личности. Сейчас я хочу остановиться на этом подробнее. Нигде, кроме как в Нем, истинных личностей не бывает. Пока вы не отдадите себя Ему, вы не сможете обрести своего истинного «я».

Одинаковость встречается, главным образом, среди естественных людей, а не среди тех, кто отдал себя Христу. Какими монотонно одинаковыми выглядят великие тираны и завоеватели всех времен и народов; как величественно разнообразны святые!

Вам следует по-настоящему отдать себя, без сожалений отказаться от своего «я», и взамен Христос действительно даст вам настоящее «я», истинную личность: однако вы не должны приходить к Нему только ради этого. Если ваше личное «я» — это все, что вас волнует, значит, ваш путь к Нему еще не начинался. Самый

первый шаг на этом пути — постараться вовсе забыть о себе. Ваше подлинное новое «я» (личное «я» Христа, а также ваше, и оно ваше только потому, что оно — Его) не придет к вам до тех пор, пока вы будете стараться найти его. Оно придет, когда вы станете искать Христа. Это звучит странно, не так ли?

Но тот же самый принцип действует и в других областях. Даже в общественной жизни вы не сумеете произвести хорошего впечатления, пока не перестанете думать о том, какое впечатление на них производите. То же самое относится к литературе и искусству: ни один человек, более всего заботящийся об оригинальности, никогда оригинальным не станет; и наоборот, если вы просто стараетесь выразить истину (нимало не заботясь о том, как часто до вас говорили о ней другие),— девять против одного, что вы действительно окажетесь оригинальным, даже не замечая этого.

Принцип этот пронизывает всю жизнь, сверху донизу. Отдайте себя — и вы обретете себя. Пожертвуйте жизнью — и вы спасете ее [40]. Предавайте смерти свое тщеславие, свои самые сокровенные желания каждый день и свое тело — в конце, отдайте каждую частицу своего существа — и вы найдете жизнь вечную. Не удерживайте ничего. Ничто из того, что не умерло в вас, не воскреснет из мертвых. Будете искать «себя», и вашим уделом станут лишь ненависть, одиночество, отчаяние, гнев и гибель. Но если вы будете искать Христа, то найдете Его, и «все остальное приложится вам».

КОММЕНТАРИИ*

ПРИТЧИ

ПИСЬМА БАЛАМУТА

Книга написана в 1942 г. Перевод выполнен Т. О. Шапошниковой в 1975 г. по изданию: *Lewis C. S.* The Screwtape Letters, and Screwtape Proposes a Toast. L., 1961. Перевод отредактирован и подготовлен к печати в 1991 г. Н. Л. Трауберг по изданию: *Льюис К. С.* Письма Баламута. Paris, 1984.

[1] *«О... Церкви, объемлющей пространство и время, укорененной в вечности, грозной, как полки со знаменами»* — см.: Песн. П. 6, 4.

[2] *«Тело Мое...»* — устанавливая таинство евхаристии, Иисус Христос на тайной вечере благословил хлеб и вино и обратился к ученикам: «...приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26—28). Этот текст читается в каждой литургии.

[3] *Старший брат из притчи Врага* — праведный брат из притчи о блудном сыне был очень обижен, видя, какие почести отец воздает раскаявшемуся грешному младшему брату (см.: Лк. 15, 12—32).

[4] *Колридж* Сэмюэл Тэйлор (1772—1834) — один из первых английских поэтов-романтиков, принадлежал к так называемой «озерной школе», прославившейся описаниями природы. Льюис цитирует его стихотворение «The Pains of Sleep» (см.: *Colridge S. T.* Poems. N. Y.— L., 1902. P. 168—169).

[5] *...образы, связанные с двумя другими Лицами Врага* — согласно христианскому откровению, Бог обладает тремя Лицами, то есть Личностями или «Ипостасями», которые, однако, единосущны по своей природе. Эти Лица — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.

[6] *Партии Павла и Аполлоса в Коринфе* — раскол в христианской общине Коринфа начался из-за того, что часть верующих захотела обожествить апостола Павла наряду с Христом. Павел писал им в ответ: «...сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (I Кор. 1, 11—13).

* Авторы комментариев — кандидат философских наук С. А. Кузина, М. А. Сухотин, кандидат филологических наук Н. Л. Трауберг.

[7] *Две англиканские церкви в Англии* — англиканство как христианская конфессия возникло в эпоху Реформации в результате разрыва местной католической церкви с Римом. Окончательный облик «срединного пути» между римским католицизмом и континентальным протестантизмом оно приобрело во второй половине XVI в., когда была завершена разработка «Книги общих молитв» и документов, содержащих основы англиканского вероучения. Сохраняя основные догматы и обряды католицизма, англиканская церковь принимает протестантское учение об оправдании верой и о Священном писании как единственном источнике вероучения. Главой ее является король Великобритании. Внутри англиканской церкви выделяются два течения — «высокая» церковь, наиболее близкая к католицизму, и «низкая», близкая к протестантской ориентации. Об этом разделении писал еще создатель англиканской теологии Р. Хукер (1554—1600) в своей работе «О законах церковного устроения». В настоящее время существует и так называемая «широкая» церковь, пытающаяся примирить и объединить первые две.

[8] *Маммона* — то есть богатство — см.: Мф. 6, 24.

[9] *Пуританство* (от *лат.* «purus»— «чистый») — сложившееся во второй половине XVI в. в Англии религиозное движение за радикальную реформацию англиканской церкви в духе последовательного кальвинизма и за отделение церкви от государства. Пуританство существовало и внутри англиканской церкви (как база «низкой» церкви), и вне ее, в виде сект. Пуритане выдвигали требование нравственного и духовного очищения, неукоснительно строгого выполнения церковных предписаний и следования моральным нормам, поэтому «пуританство» стало ассоциироваться с аскетичностью и ригоризмом.

[10] *Конгрегационный принцип* заключается в единстве устава и основных задач для всех входящих в ту или иную христианскую общину.

[11] *Маритен* Жак (1882—1973) — католический философ, томист. Уделял большое внимание вопросам этики.

[12] *Разница между учениями Хукера и Фомы Аквината* — Ричард Хукер считается основателем англиканской теологии, которая практически полностью принимала догматы католицизма, расходясь с ним лишь в отдельных пунктах. Фома Аквинский (1225/6 — 1274) — систематизатор христианского учения, его философия признана официальной доктриной католицизма.

[13] *...толкуя о пище и других пустяках* — имеется в виду текст: «Ради пищи не разрушай дéла Божия: все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не *делать* ничего *такого,* от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14, 20—21).

[14] *Враг назвал супругов «единой плотью»* — ср.: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2, 24).

[15] *По его словам, совокупление как таковое делает людей «единой плотью»*— св. Павел писал о целомудрии: «Разве не знаете, что телá ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать *их* членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело *с нею?* Ибо сказано: «два будут одна плоть». «А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)» (I Кор. 6, 15—17, см. также: Еф. 5, 31).

[16] *Версия о его изгнании с Небес* — в христианском богословии считается, что сатана был низвергнут с Небес за то, что он, возгордившись, попытался противопоставить себя Богу.

[17] *...мы послали бы ее на арену, на растерзание зверям* — первые христиане подвергались жестоким гонениям и пыткам, их четвертовали, бросали на съедение диким зверям и т. п.

[18] *...искаженная версия... Мильтона... будто такие изменения облика «в наказание» наложены на нас Врагом — Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт. В его поэме «Потерянный Рай» (1667) говорится, что, после того как сатана сообщил своим сподвижникам о соблазнении им первой человеческой четы и о проклятии, которому он был предан в образе змея, он вдруг почувствовал,

Как ссохлось, удлиненно заострясь,
Лицо, и к ребрам руки приросли,
И ноги меж собой перевились
И слиплись. Обезножев, он упал
Гигантским Змием, корчась и ползя
На брюхе, и пытался дать отпор,
Но тщетно; Сила высшая над ним
Господствует, осуществляя казнь
В том образе, который принял он,
Ввергая Прародителей в соблазн.
. . . . . .
. . . . . .
Но говорят, они обречены
И впредь в назначенные дни в году
Такое поругание терпеть,
Дабы их омрачилось торжество
По поводу прельщения людей.

(Перевод А. Штейнберга; см.: *Мильтон Дж.* Потерянный Рай. М., 1982. С. 296, 298.)

[19] *Шоу понял, в чем здесь дело: превращение... должно считать блестящим проявлением... Жизненной Силы...— Шоу* Бернард Джордж (1856—1950) — английский писатель, драматург. Отстаивал идеи прогрессизма и витализма. «Жизненная сила» была для Шоу почти религиозным понятием, раскрывающим суть творчества. Она представлялась ему неким бессознательным импульсом жизни, приводящим к развитию и поддержанию всего на свете.

[20] *Софисты* — древнегреческие философы, представители направления, возникшего в V в. до н. э. Они утверждали относительность любых человеческих представлений, этических норм и ценностей. *Сократ* (ок. 469—399 до н. э.) — древнегреческий философ. Сократ был завершителем софистики и одновременно противостоял ей. Он учил, что деятельность человека полностью зависит от его понятий о добродетели и благе. Пороки он сводил к заблуждению, а мудрость — к совершенному знанию.

[21] *...молить о хлебе насущном и оставлении грехов* — имеется в виду одна из основных христианских молитв «Отче наш», в которой есть слова: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши...» (Мф. 6, 11—12).

[22] *Слово, бывшее в начале* — ср.: Ин. 1.1.

[23] *Боэций* (ок. 480—ок. 524) — римский философ, богослов. Одна из основных тем его труда «Утешение философией» — соотношение провидения и свободы воли. Он пишет: «Так как всякое суждение охватывает то,

что ему подчинено по закону природы, а Бог — вечен и сохраняет состояние, в котором, кроме настоящего, нет ничего, то и знание Его, превосходя движение времени, пребывает в простоте Его настоящего, содержа в себе в совокупности бесконечную протяженность будущего и прошедшего, и все это Бог обозревает в непосредственности своего знания, как если бы все это происходило в настоящем. Итак, если ты желаешь понять изначальное бытие, которое все знает, более правильно будет определить его знание не как предзнание будущего, а как непогрешимое знание нескончаемого настоящего. Вследствие этого его лучше называть не предвидением, но Провидением, которое все от самого низкого до высочайшего обозревает с высоты. Почему же ты считаешь, что то, что обозревается Божественным оком, становится необходимым; ведь и люди созерцают вещи, но это не делает их необходимыми?» (Перевод В. Уколовой и М. Цейтлина. См.: *Боэций.* «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 287—288.)

[24] *Аттила* (? —453 г.) — царь гуннов-кочевников, подчинивший себе многие народы и составивший из них могущественный союз. За свою непреклонность Аттила был прозван в народе «Бич Божий».

[25] *Шейлок* — персонаж пьесы У. Шекспира «Венецианский купец».

[26] *Пилат был милосерден до тех пор, пока это не стало рискованным* — римский правитель в Иудее Понтий Пилат, после того как Иисус был предан, указывал народу на Его невиновность, но когда толпа стала громко кричать: «Да будет распят!», «видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего» (Мф. 27, 24).

БАЛАМУТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОСТ

Работа написана в 1958 г. Перевод выполнен Н. Л. Трауберг в 1977 г. по изданию: *Lewis C. S.* The Screwtape Letters, and Screwtape Proposes a Toast. L., 1961. Перевод подготовлен к публикации в 1991 г.

[1] *Свифт* Джонатан (1667—1745) — английский писатель, автор книги «Путешествия Гулливера».

[2] *«Едгин»* — речь идет о романе английского писателя Сэмюэля Батлера (1835—1902) «Erewhon: or Over the Range» (1872). Слово «erewhon» — это английское «nowhere» («нигде»), написанное наоборот.

[3] *Чудесный камень у Анстея* — Анстей — псевдоним английского писателя Т. Гатри (1856—1934), автора юмористических волшебных историй.

[4] *Трэерн* Томас (ок. 1637—1674) — английский поэт и мыслитель.

[5] *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г. Он порвал отношения с Римом и потребовал от своих подданных признания короля главой церкви, за что был предан анафеме Ватиканом. Нововведения короля проводились в жизнь с невероятной жестокостью.

[6] *Фарината* дельи Уберти (род. в нач. XIII в.) — лидер флорентийских гибеллинов (сторонников императорской власти). Он не раз одерживал победу над гвельфами (приверженцами папства). В 1283 г. суд инквизиции посмертно осудил Фаринату как еретика. Данте изобразил его страдающим в третьем круге ада.

[7] *Мессалина* Валерия (ок. 22—48) — жена римского императора Клавдия. Была известна жестокостью и распутством.

[8] *Казанова* Джиакомо (1725—1798) — знаменитый итальянский авантюрист, прославившийся своими бесчисленными любовными похождениями при дворах европейских монархов.

[9] *Лимб* — преддверие ада, его первый круг. Данте поместил в него некрещеных младенцев и добродетельных нехристиан.

[10] *Цербер* — в греческой мифологии пес, охраняющий вход в царство Аида. Он беспрепятственно пускал всех сходящих туда, но проглатывал тех, кто пытался выбраться наружу. Позднее распространилось представление, что он угрожает и всем входящим в подземную обитель. У Данте Цербер — трехголовое бесовское чудовище с чертами пса и человека, в третьем круге ада пожирающее чревоугодников.

[11] *Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский мыслитель эпохи Просвещения. Занимал антипрогрессистскую позицию, отрицая роль наук и искусств в улучшении нравов, выступал за приоритет общественного перед личным.

[12] *...спросили, как Аристотель, что такое «вести себя демократично»* — см.: *Аристотель.* Собр. соч. М., 1983. Т. 4 (Политика. Кн. 4).

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Книга написана в 1943 г., перевод выполнен Н. Л. Трауберг в 1977 г. по изданию: *Lewis C. S.* The Great Divorce. L., 1972. Печатается по изданию: *Льюис К. С.* Расторжение брака. М.: Прометей, 1990. Перевод стихотворений Ю. Шрейдера.

[1] *Блейк писал о браке Неба и Ада* — имеется в виду сатира «Брак Неба и Ада» («The Marriage of Heaven and Hell»), в которой английский мистический поэт и художник Уильям Блейк (1757—1827) попытался критически пересмотреть современные ему моральные нормы и церковную догматику. Ее кульминацией является «Песня Свободы», своего рода гимн революции, заканчивающийся словами: «Все, что живо, то и свято». Именно от такой точки зрения предостерегает читателя Льюис в своем предисловии к «Расторжению брака».

[2] *Тамерлан* (Тимур) (1336—1405) — великий эмир. Его завоевания распространялись от Волги до берегов Ганга. О захватнических стремлениях Тамерлана говорит приписываемое ему изречение: «Все пространство населенной части мира не стоит того, чтобы иметь двух царей».

[3] *Чингисхан* (1155—1227) — почетное прозвище, которое принял на себя в 1206 г. монгольский вождь Темучин после объединения под своей властью всей Монголии. Монголы-кочевники под его предводительством захватили за 20 лет почти всю территорию от Желтого моря до Черного.

[4] *Ней* Мишель (1769—1815) — французский полководец, герцог Эльхингенский. В 1812 г. за заслуги в Бородинском сражении получил титул «Князя Московского». После взятия Парижа уговорил Наполеона отречься от престола. Когда Наполеон вернулся с о. Эльбы, Ней говорил, что приведет его пленным к королю Людовику XVIII, но внезапно со своими войсками перешел на его сторону и тем решил падение Бурбонов. После поражения при Ватерлоо он был признан палатой пэров «государ-

ственным изменником» и расстрелян. *Сульт* Никола Жан. (1769—1851) — герцог Далматский, один из самых выдающихся наполеоновских маршалов, начальник штаба императорской армии, отличившийся в сражениях при Аустерлице и Ватерлоо. Как политический деятель он был крайне неблагонадежен: честолюбив, беспринципен, всегда держался наиболее сильных и влиятельных кругов государственной власти во Франции. *Богарне* Жозефина — первая супруга Наполеона I.

[5] *«Паче снега убелюся» (церковнослав.)* — в синодальном переводе на русский язык «буду белее снега» — Пс. 50. 9.

[6] *«Движение — все...»* — высказывание «Движение — все, конечная цель — ничто!» принадлежит Эдуарду Бернштейну (1850—1932), теоретику германской социал-демократии, который одним из первых пересмотрел основные положения теории Маркса.

[7] *Солт-Лейк-Сити* — город на юго-восточном побережье Соленого озера в штате Юта (США), религиозный центр христианской секты мормонов.

[8] *Тадж-Махал* — знаменитый мраморный мавзолей, построенный в Индии в XVII в. шахом Джеганом для своей любимой жены Нур-Джеган. Он украшен золотом и драгоценными камнями и представляет собой одно из самых роскошных сооружений мусульманской Индии.

[9] *...как издевались боги над Танталом* — Тантал в древнегреческой мифологии — сын Зевса и нимфы Плуто. Имел доступ к советам и пирам богов. Такое привилегированное положение привело к тому, что он возгордился и похитил для своих друзей амврозию и нектар. Мстя за нанесенное оскорбление, боги отправили Тантала в Тартар, где он был подвергнут вечной пытке: стоя по горло в воде, он не мог утолить жажду, видя над собой плоды, не мог сорвать их — ветви отклонялись, а вода утекала от него.

[10] *«...в огне и сере перед святыми ангелами»* — ср.: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою...» (Откр. 21, 8).

[11] *Макдональд* Джордж (1824—1905) — английский писатель, фантастическо-аллегорические новеллы которого оказали большое влияние на творчество Льюиса.

[12] *...что Беатриче сотворила с мальчиком Данте* — Беатриче (1265—1290) — дочь Фолько Портинари, возлюбленная Данте Алигьери. Впервые Данте увидел Беатриче в церкви, когда еще был мальчиком, и с тех пор оставался ей верным всю жизнь.

[13] *«refrigerium» (лат.)* — буквально «место, где остужают, расхолаживают», здесь — «место отдохновения».

[14] *Пруденций* (348 — ок. 405) — римский христианский поэт, автор религиозных гимнов. Католические богословы усматривают в его произведениях начала учения о чистилище. *Тейлор* Иеремия (1613—1667) — английский теолог и писатель.

[15] *Траян* Марк Ульпий (ок. 53—117) — римский император с 98 г. Во время его правления Римская империя максимально расширила границы и пережила период расцвета. Он был удостоен титула «Optimus princeps» («Наилучший правитель»).

[16] *Мильтон был прав... Всякая погибшая душа предпочтет власть в аду служению в раю* — в «Потерянном Рае» сатана говорит об аде:

...Здесь наша власть прочна,
И мне сдается, даже в бездне власть —
Достойная награда. Лучше быть
Владыкой Ада, чем слугою Неба!

(См.: *Мильтон Дж.* Потерянный Рай. М., 1982. С. 30. Перевод А. Штейнберга.)

[17] *...гнев Ахилла, горечь Кориолана — Ахилл* — непобедимый лидер ахейцев в Троянской войне. *Кориолан* Гней Марций — римский патриций. В голодный 492 г. до н. э. предложил сенату не давать плебеям хлеба, пока они не откажутся от только что добытого права иметь своих покровителей — народных трибунов. За это он был осужден трибунами на изгнание среди вольсков, с армией которых он вскоре напал на Рим. Только просьбы жены и престарелой матери заставили его отступить.

[18] *«Да будет воля Твоя»* — ср.: Мф. 6, 10.

[19] *«Алчущие насытятся»* — ср.: Мф. 5, 6.

[20] *«Стучите, и отворят вам»* — ср.: Лк. 11, 9.

[21] *Моне* Клод (1840—1926) — французский художник, лидер импрессионистов.

[22] *Сезан* Поль (1839—1906) — французский художник, повлиявший на формирование кубизма.

[23] *Неорегионалисты* — вымышленное Льюисом, пародийное название направления в живописи.

[24] *Китс* Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик.

[25] *...«тьма твоя не обнимет здешнего света»* — парафраз текста из первой главы Евангелия от Иоанна: «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).

[26] С помощью разных волшебных предметов (эликсир, пирожок, веер, гриб) героиня сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» получила возможность уменьшаться или увеличиваться по своему желанию.

[27] *Вы писали, что спасутся все, и апостол Павел так пишет* — см.: I Кор. 15, 51—55.

[28] *Иулиания Норичская* — английская мистическая писательница XIV в.

[29] *Господь сказал, что мы — боги* — ср.: Быт. 3, 5.

[30] *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — знаменитый теософ, мистик, натуралист. Из мистических откровений он узнал, что избран Богом, чтобы объяснить людям внутренний смысл Священного писания. Его основное сочинение называется «Arcana Coelestia» («Небесные тайны, находящиеся в Святом Писании, или в Слове Господа, с диковинами, виденными Сведенборгом в мире духов и в небе ангелов»).

ТРАКТАТЫ

СТРАДАНИЕ

Книга написана в 1939—1940 гг. Перевод выполнен в 1976 г. Н. Л. Трауберг по изданию: *Lewis C. S.* The Problem of Pain. N. Y., 1962. С некоторыми сокращениями трактат был опубликован в сборнике «Этическая мысль» (М.: Политиздат, 1991). Полный вариант текста, представленный в настоящем издании, был подготовлен к публикации в 1991 г. при участии В. П. Леги (издательство «Гнозис»).

[1] *«Инклинги»* («inklings»)— в переводе с английского значит «намеки». Так называли свою компанию Льюис и его друзья, первыми из которых следует назвать Дж. Р. Р. Толкина (1892—1973) и Ч. Уильямса (1886—1945). Кроме них, «Инклингами» были антропософ Оуэн Барфильд, занимавшийся теорией происхождения языка и повлиявший на обращение Льюиса, преподаватель литературы Генри Дайсон, брат Клайва Стейплза Уоррен Льюис, оксфордский врач Роберт Хэвард. Иногда к ним присоединялись Нэвилл Кохил, переводчик «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера на современный английский язык, и Адам Фокс, служивший капелланом в Модлин Колледже. Название это первоначально пришло из студенческой среды Оксфордского университета, где Льюис преподавал английскую литературу. Это был частный круг молодых людей, читавших друг другу свои неопубликованные сочинения и критически обсуждавших их. Когда этот круг распался, название перешло в компанию Льюиса. Толкин писал об этом: «...оно было веселым изобретением, каламбуром, взятым себе за название людьми, склонными к неопределенным намекам, туманным идеям, да к тому же еще перепачканными чернилами» (цит. по: *Garpenter H.* The Inklings. L., 1978. P. 67). Каламбур заключался в том, что английское слово «ink» («чернила») входит в состав «inkling» («намек»).

[2] См.: *Macdonald G.* Unspoken Sermons. L., 1889.

[3] *Сэмсон* Эшли — издатель, заказавший Льюису «Страдание» для своей серии «Христианский зов». Сэмсон просил Льюиса дать христианскую интерпретацию страдания и боли. Книга была написана Льюисом меньше чем за год, и все это время он постоянно советовался с остальными «Инклингами», которым и посвятил ее. Большую роль сыграли рассказы Хэварда о разного рода клинических случаях, известных ему по врачебной практике.

[4] См.: *Паскаль Б.* Мысли. Спб., 1888. С. 122.

[5] Имеется в виду вывод о *«тепловой смерти Вселенной»*, сделанный немецким физиком Р. Клаузиусом на основе второго начала термодинамики, согласно которому энтропия (мера беспорядка) в мире может только увеличиваться, так что с течением времени все виды энергии превратятся в тепловую и равномерно рассеются по всему веществу Вселенной, что приведет к полному прекращению всех процессов.

[6] *Птолемей* Клавдий — александрийский астроном, математик и географ II в. н. э. Даты жизни и биография Птолемея не известны даже приблизительно. Основная его книга об устройстве Вселенной — «Альмагест».

[7] *Отто* Рудольф (1869—1937) — немецкий философ и теолог, один из основоположников «феноменологии религии» (см.: *Otto R.* Das Heillige. Gotha, 1923, S. 12—25).

[8] *«Мой дух подавлен им»* — цитата из монолога Макбета, замышляющего убийство Банко, в переводе А. Кронеберга звучит так:

Из всех живых мне страшен он один,
Мой дух подавлен им, как был Антоний
Подавлен Цезарем...

(См.: *Шекспир У.* Полн. собр. соч. Спб., 1903. Т. 3. С. 447.)

[9] *«Ветер в ивах»* — детская повесть К. Грэхема (1859—1932), составленная из историй, рассказанных им в 1904—1907 гг. своему маленькому сыну перед сном.

[10] *Уордсворт* Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик, основатель «озерной школы», названной так по местожительству поэтов около озер на севере Англии. Природа, обычно символизирующая лирическое состояние автора, занимает центральное место в его поэзии. Он видит в ней то наилучшее, что объединяет между собой людей, книги же, взятые только как продукт человеческого разума, для него — «скучный и бесполезный спор». В символической сцене, которую имеет в виду Льюис, Уордсворт вспоминает, как в детстве он впервые поплыл в лодке один по озеру:

...я плыл,
Как бы идя по зыбкой крутизне,
Приноровиться пробуя с отрадой
той, что сродни тревоге...

(См.: *Wordsworth W.* The Prelude. Ithaca, 1977, P. 45. Перевод М. А. Сухотина.)

[11] *Мэлори* Томас (ок. 1410—1471) — автор книги «Смерть Артура», чрезвычайно важной для понимания как литературной деятельности «Инклингов», так и вообще их ментальности. Это самый знаменитый свод рыцарских легенд так называемого «Бретонского цикла», восходящих к кельтской фольклорной традиции. Еще в 20-е гг. нашего века шли споры об исторической личности Мэлори: о нем практически ничего не было известно, кроме того, что он был английским рыцарем, участвовал в военных походах, затем был осужден за свои распри с братией картезианского монастыря в Аксихольме. Для «Инклингов» артуровский эпос имел особое значение, так как он не только служил предметом общих интересов, но и задавал тон их содружеству. Как специалист по средневековой литературе, Льюис прекрасно знал Мэлори и очень его любил.

[12] *...Иоанн Богослов пал к ногам Христа «как мертвый»* — ср.: Отк. 1, 17.

[13] *«numen inest» (лат.)* — «божество обитает».

[14] *«Страх и трепет»* — ср. «страх и трепет нашел на меня» (Пс. 54, 6).

[15] *...неким доисторическим отцеубийством* — речь идет о культурологической концепции З. Фрейда, изложенной им в работе «Тотем и табу». Согласно этому учению, в основе религиозного поклонения лежит чувство вины древних людей перед убитым ими отцом (вожаком). Стремясь преодолеть сильные негативные переживания, они обожествили образ отца, перенеся свои чувства с него как личности на тотем. Эволюция объекта почитания привела к возникновению идеи личного Бога иудаизма и христианства.

[16] *Стоицизм* — одно из направлений древнегреческой философии, возникло в IV в. до н. э. Стоики считали мир разумным, целесообразно устроенным телом, а бога — «творческим огнем», управляющим им.

[17] *...в Аврааме благословились племена земные* — ср.: «...и благословятся в тебе все племена земные» (Бт. 12, 3).

[18] См.: Thomae Aquinatis. Summa Theologica. Ia QXXV. Art. 4.

[19] *В Писании сказано, что Богу все возможно* — см.: Мф. 19, 26; Мк. 10, 27.

[20] *Бог есть любовь не только в платоновом смысле* — у Платона высшая степень любви — лишенная чувственности склонность к нравственной красоте и совершенному знанию.

[21] *...не лучший из возможных миров* — Льюис полемизирует с теодицеей Г. В. Лейбница (1646—1716), в которой утверждалась возможность бесчисленного множества непротиворечивых миров, а развитие понималось как выбор наилучшей альтернативы. Таким образом, существование именно данного мира, а не любого другого объяснялось его оптимальностью. Эта концепция оказала существенное влияние на развитие теоретического естествознания и породила многовековую философскую полемику (в частности, против нее выступил Вольтер в «Кандиде»).

[22] См.: *Traherne T.* Poems. Centuries and Three Thanksgivings. L., 1966. P. 229.

[23] *...любовь мужчины к женщине Данте называл грозным властелином* — имеется в виду следующий фрагмент:

Любовь, любить велящая любимым,
меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.
Любовь вдвоем на гибель нас вела

(см.: *Данте Алигьери.* Божественная комедия. М., 1986. С. 26. Перевод М. Лозинского).

[24] *«...мы — Его, Его народ и овцы паствы Его»* — ср.: Пс. 99, 3.

[25] *Бог «до ревности любит дух, который Он вложил в нас»* — обычный перевод этого текста — «до ревности любит дух, живущий в нас» (Иак. 4, 5),— по мнению К. С. Льюиса, не соответствует подлиннику.

[26] *...как девы из античной драмы, отвергающие любовь Зевса* — речь идет о трагедии Эсхила «Прометей прикованный» (стих. 887—900). В переводе С. Апта этот фрагмент звучит так:

ХОР

Строфа

Мудр, о, поистине мудр
Тот, кто впервые понял и вслух произнес:
С равными нужно
В браки вступать, чтоб счастье свое найти.
Если ты нищ и убог, то богатых, пресыщенных
И родовитых, надменных, напыщенных
Обходить старайся стороной.

Антистрофа

О никогда, никогда
Пусть не увидят Мойры на ложе меня
Зевсовой страсти
Или женой другого сына небес.
Страшно глядеть мне, как Ио, стыдливую девушку,
Топчет и гонит на бедствия
Геры сокрушительная злость.

[27] *Виола* — персонаж комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно».

[28] *По учению Платона, человеческая любовь — дитя бедности* — имеется в виду миф об Эросе, изложенный Платоном в диалоге «Пир»: «Когда родилась Афродита, боги задали пир, и на этом пиру между прочим присутствовал и Порос (Изобилие), сын Метиды (Благоразумия). Когда они окончили обед, пришла Пения (Бедность) просить милостыню, так как пирушка еще не совсем окончилась, и стала в дверях. В это время Порос, опьяненный нектаром, вышел в сад Юпитера и, отяжелевши, заснул. А Пения, под гнетом бедности, решилась сойтись с Поросом, прилегла к нему и зачала Эроса. Вот почему Эрос, зачатый в день рождения Афродиты, и сделался слугою и спутником красавицы, будучи вдобавок и сам, по своей природе, поклонником прекрасного» (см.: *Платон.* Пир. М., 1908. С. 62. Перевод И. Д. Городецкого).

[29] *...учение Аристотеля о том, что Бог, двигая Вселенную, Сам остается неподвижным* — Льюис имеет в виду учение Аристотеля о перводвигателе, понятие которого введено в VIII книге «Физики» в связи с анализом движения. По мысли Аристотеля, все движущееся имеет источник движения, а поскольку бесконечная последовательность «движимое — движущее» невозможна, должен существовать некий перводвигатель, сам по себе абсолютно неподвижный. В «Метафизике» Аристотель рассматривает перводвигатель как «трансцендентного бога» и «ценностное начало», от которого зависит не только движение, но вообще вся Вселенная (см.: *Аристотель.* Метафизика. XII, 1072 ав).

[30] *Нам нужно «облечься во Христа»* — ср.: «Но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 14); «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 27).

[31] *Лоу Уильям* (1686—1761) — английский богослов, мистик. Существуют исследования о сходстве религиозного мировоззрения Уильяма Лоу и Якова Бёме и о влиянии их идей на Исаака Ньютона. В качестве эпиграфа использована цитата из книги, оказавшей на Льюиса большое влияние (см.: *Low W.* Serious Call to a Devout and Holy Life. L., 1914, Cap. 16).

[32] Древнегреческий философ *Эпикур* (341—270 гг. до н. э.) учил, что «самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» (см.: *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 403. Перевод М. Л. Гаспарова).

[33] Слово *«евангелие»* на древнегреческом языке означает «благая весть». Именно в этом смысле оно употребляется в Новом завете (см.: Мф. 24, 14; 26, 13; Мк. 1, 15; 13, 10; 14, 9; 16, 15).

[34] *Учение о подавленных влечениях* — центральная в психоанализе концепция, согласно которой причиной неврозов признается подавление влечений, вытеснение их в сферу бессознательного под влиянием социальных запретов.

[35] *«pons asinorum» (лат.)* — «ослиный мост». Выражение первоначально возникло среди средневековых школяров как обозначение развернутого чертежа теоремы Пифагора (ср. «Пифагоровы штаны»). По внешнему сходству чертеж сравнивался с мостом, а впоследствии это название перешло на любую трудную задачу и стало означать «камень преткнове-

ния», «гвоздь проблемы» и т. д. В XIII в. так уже назывались на школьном языке вообще разного рода вспомогательные учебные пособия.

[36] *Апостол Петр вечно предает Учителя* — см.: Лк. 22, 54—63.

[37] *Заратустра, Иеремия, Сократ, Будда, Христос и Марк Аврелий едины в чем-то очень важном* — эта идея Льюиса перекликается с размышлениями американского философа и поэта-романиста Р. У. Эмерсона (1803—1882). Ср.: «Как бы ни доверял каждый из нас голосу души, все же в Моисее, Платоне, Мильтоне нас больше всего восхищает как раз то, что они умели пренебрегать книжной мудростью и расхожими мнениями и говорили то, что думали они сами, а не люди, их окружающие» (см.: *Эмерсон Р.* Опыты//*Эмерсон Р.* Эссе. *Торо Г.* Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1986. С. 133).

[38] *Платон был прав: добродетель едина* — согласно учению Платона, отдельные добродетельные поступки являются проявлениями идеи справедливости как таковой — идеи, относящейся к миру умопостигаемых сущностей.

[39] *Дорога в страну обетованную лежит через Синай* — то есть: путь к счастью — через исполнение закона. Синай — гора в Аравии, на которой, согласно Библии, Бог дал Свой закон евреям, вышедшим из Египта и ищущим «землю обетованную» — прекрасную страну, обещанную Богом в наследие Аврааму, Исааку и Иакову.

[40] *Апостольская заповедь «радуйтесь»* — ср.: I Фес. 5, 16.

[41] См.: *Монтень.* Опыты. II, XII.

[42] *Рассказ о магическом яблоке* — см.: Бт. 3, 1—24; 2, 15—17.

[43] *Нибур* Рейнхольд (1892—1971) — американский протестантский теолог, представитель «диалектической теологии».

[44] *Пелагианско-августинианский спор* — Пелагий (ок. 360 — после 418) — епископ ноланский. Согласно его учению, грехопадение Адама не извратило природу людей, а воскресение Христа не является причиной спасения само по себе. Достижение спасения он связывал со свободой выбора человека, с его личными нравственными усилиями, значительно приуменьшая роль благодати. Против пелагианства резко выступил один из главных христианских авторитетов — Аврелий Августин (354—430), епископ гиппонский. Констатируя греховность человека, неустранимость темных «бездн» его души, Августин делал вывод о необходимости благодати, которая выводит личность из греховной инерции и тем самым спасает ее. Пелагианство было осуждено как ересь на III Вселенском соборе в 431 г.

[45] *Учение Ансельма о том, что мы включены в страдания Христа* — Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — епископ, теолог. Давая догматическое обоснование христологическому учению об искуплении, он пишет, что поскольку Христос принял в себя человеческую природу и искупил ее для вечной жизни, то и каждый, принимающий Христа, соучаствует с Ним в Его страданиях.

[46] См.: *Jeans J.* The Mysterious Universe. Cambridge, 1931. P. 141.

[47] *«Theologia Germanica» (лат.)* — «Немецкая теология», средневековый анонимный мистический трактат, повлиявший на формирование протестантской этики.

[48] *Ньюмен* Джон Генри (1801—1890) — английский теолог, писатель. Начиная с 1828 г. находился во главе так называемого «оксфордского движения» английского духовенства и интеллигенции за обновление англиканской церкви и за ее бóльшую независимость от государства. Позже — католический кардинал.

[49] *Гоббс* Томас (1558—1679) — английский философ, представитель эмпиризма. Развивал идеи «естественного закона» и «общественного договора» как основы социальности и государственности. Согласно его социальному учению, для достижения мира и безопасности необходимо взаимное ограничение прав всех людей. Идея, на которую ссылается Льюис, изложена Гоббсом в его главном труде «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». Ср.: «Желание причинением вреда другому человеку заставить этого последнего раскаяться в каком-нибудь его собственном деянии называется мстительностью» *(Гоббс Т.* Левиафан. М. 1936. С. 69).

[50] *Харди* Томас (1840—1928) — английский поэт, новеллист и драматург, по своему пессимистическому мировоззрению близкий к философии Шопенгауэра. Так же как и английского поэта Альфреда Эдуарда *Хаусмена* (1854—1936), Харди занимали такие темы, как смерть, эфемерность бытия, жестокость как свойство изменчивой человеческой природы.

[51] *Хаксли* Олдос Леонард (1894—1963) — английский романист, поэт, журналист. Его проза, особенно антиутопия «О, дивный новый мир» (1932), в основном критическая и сатирическая, реагирует на предвоенный интеллектуальный кризис, часто пессимистична, протестует против идеи тотальной американизации и вседовлеющего позитивизма. С середины 30-х гг. после серьезного душевного кризиса Хаксли занимали вопросы религии, откровения мистики, поиски смысла жизни, попытки примирить прогрессизм с верностью традициям, результатом которых стал его роман «Остров» (1962).

[52] *Св. Августин говорит, что мы не можем принять Божьих даров, когда руки наши полны* — подобные мысли излагаются Августином в работе «О Граде Божьем» (XXIII, 4).

[53] *Будь он кантианцем...*— Льюис имеет в виду ригоризм кантианской этики, требующей строгого и неуклонного соблюдения нравственных норм независимо от конкретных обстоятельств, безусловного подчинения долгу, признаваемого высшим критерием добра и единственным показателем нравственной ценности человеческих поступков.

[54] *...истина, впервые описанная Аристотелем* — ср.: «...добрый же совершает поступки во имя прекрасного и тем больше, чем оно лучше, причем ради друга, а своим пренебрегает» (см.: *Аристотель.* Никомахова этика, IX. 8. 1168 а).

[55] *Джонсон* Сэмюэль (1709—1784) — английский писатель, поэт, критик, лексикограф.

[56] *Пэли* Уильям (1743—1805) — англиканский священник, философ, моралист.

[57] *Испытание Авраама, когда он должен был принести в жертву Исаака* — имеется в виду испытание преданности Авраама Богу, когда, несмотря на Его же запрет пролития человеческой крови (Быт. 9, 6), а также на обетование, что Авраам станет «отцом множества народов» (Быт.

17,5), Бог потребовал от него принести в жертву своего единственного сына Исаака (Быт. 22,1—15).

[58] *Как заметил еще Августин...*— см.: *Августин.* О Граде Божьем. XVI, 32.

[59] *Спасающий душу свою погубит ее* — ср.: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12, 25).

[60] *Самоубийство лучше всего выражает самую суть стоицизма* — стоики считали нравственным идеалом достижение «апатии» — невосприимчивости ко всему внешнему.

[61] *Сам Отец Его оставил* — см.: Мк. 15, 34.

[62] *Греческий мудрец говорит нам, что мудрая жизнь — упражнение в смерти* — имеется в виду предсмертная речь Сократа, изложенная Платоном в диалоге «Федон», в которой говорится: «Те, кто подлинно предан философии, занят, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью» (см.: *Платон.* Федон. 64а, 1—3//*Платон.* Соч. в 3 т. М., 1970, Т. 2. С. 21. Перевод С. П. Маркиша).

[63] *...благородный язычник прошлого века пишет о том, как его боги «умирают в жизнь»* — имеется в виду произведение Дж. Китса «Гиперион» (III, 130), на которое Льюис неоднократно ссылается как на пример перехода от пантеистического сознания к историческому.

[64] *Мысль о спасении через муку* — ср.: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения их совершил через страдания» (Евр. 2, 10).

[65] *С. Джонсон,* несмотря на то что сам был чрезвычайно широко образован, постоянно выступал против духа просвещения и по самым различным вопросам высказывал нелицеприятные и строгие суждения. Возможно, это было связано с одолевавшими его приступами депрессии, усугубленными почти полной его слепотой и ранней смертью любимой жены. *Коупер* Уильям (1731—1800) — английский поэт-сентименталист, автор лирических стихотворений, религиозных гимнов и большого числа переводов. Будучи меланхоличным по натуре, Коупер болезненно переживал идею предопределения. Вскоре он стал впадать в тяжелейшие периоды депрессии, повлекшие за собой галлюцинации, и был отправлен для лечения в приют св. Албана.

[66] *Слова Христовы о блаженстве нищеты* — ср.: «Блаженны нищие духом; ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5, 3).

[67] См.: *Hooker R.* Of the Laws of Eclesiastical Polity. Vol. 1. P. 63.

[68] *...как молился Спаситель в Гефсимании* — перед тем как Иисус был взят под стражу и распят, он молился в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).

[69] *Надобно прийти обидам, но горе тому, через кого они придут* — ср.: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7).

[70] *Когда умножается грех, действительно преизобилует благодать* — ср.: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20).

[71] *...кто вы Ему — Иуда или Иоанн* — Иуда и Иоанн — ученики Христа, апостолы. Иуда предал Его, Иоанн же, как любимый ученик, после крестной смерти Иисуса стал приемным сыном Его матери Марии (см.: Ин. 18, 2—5; Ин. 19, 26—28; Лк. 22, 3—6).

[72] *...безумец Тамерлан у Марлоу* — речь идет о произведении самого значительного предшественника Шекспира в английской драматургии, поэта Кристофера Марлоу (1564—1593), «Тамерлан Великий» (см.: *Марло К.* Сочинения. М., 1961).

[73] *Брат Лаврентий* (1611—1691) — английский теолог и проповедник. (См.: *Hesman N.* «Brother haurence». The Practice of the Presence of God. L., 1926.)

[74] В самой полной из притч о Страшном Суде...— см.: Мф. 25, 34—46.

[75] См.: *De la Mare W.* The Collected Poems. L.— Boston, 1979 (перевод М. А. Сухотина).

[76] См.: *Шекспир В.* Сочинения, Спб., 1902. Т. 1. С. 414 (перевод А. В. Дружинина).

[77] *...если бы мы были мусульманами* — согласно мусульманской концепции спасения, немусульманам уготована гибель и вечные муки ада.

[78] *Не Он, но слово Его судит людей* — ср.: Ин. 3, 19; Ин. 12, 48.

[79] *Хюгель* Фридрих фон (1852—1925) — австрийский римско-католический философ и теолог. Обычно его имя упоминается в связи с так называемым «христианским модернизмом» конца XIX — начала XX вв. Признавая догмат о непогрешимости папы, Хюгель считал необходимым децентрализовать структуру церковного управления. Его занимали вопросы теории веры, а также связи между церковной догматикой и историей. Льюис ссылается на книгу: *Hügel F. von.* Essays and Adresses on the Philosophy of Religion. 1-st series. L.— N. Y., 1942.

[80] *Притча о брачных одеждах* — см.: Мф. 22, 2—14. В ней, в частности, рассказывается о том, как царь велел своим слугам связать гостя, явившегося на пир не в брачной одежде, и бросить его «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». В *притче о разумных и неразумных девах* (Мф. 25, 1—13) пять неразумных дев, не сумевших вовремя подготовиться к пиру, остались за дверями, жених не пустил их внутрь, несмотря на их мольбы.

[81] *Бивен* Эдвин (1870—1943) — английский теолог, историк и философ. Ранние его работы посвящены истории эллинизма и христианства. Испытывал влияние со стороны Ф. фон Хюгеля и его окружения. При участии Бивена были составлены знаменитые «Британская Энциклопедия» и «Энциклопедия Религии и Этики». Льюис ссылается на книгу: *Bevan E.* Symbolism and Belief.

[82] См.: *Аристотель.* Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 383 (перевод С. А. Жебелева).

[83] *Предположим, что три ощущения А, В и С следуют одно за другим* — основная идея этого фрагмента перекликается с учением эмпириокритицизма о «комплексе ощущений» и «принципиальной координации» (см.: *Мах Э.* Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1909; *Авенариус Р.* Критика чистого опыта..М., 1907—1908).

[84] *Докетизм* — раннехристианская ересь II—III вв., одно из направлений гностицизма. Считая телесность низшим, злым началом, докетизм отвергал учение о телесном воплощении Христа во время его земной жизни. Так, Маркион учил, что Христос явился на землю исключительно как дух, Симон — что Его телесная природа была лишь кажущейся, иллюзорной, а Керинф — что хоть в Христе и было две природы, но ничем, кроме случайности, они не были связаны друг с другом.

[85] *Уэсли* Джон (1703—1791) вместе со своим братом Чарльзом (1707—1788) был основателем и проповедником так называемого «методистского движения». Общество методистов начало свое существование в Оксфорде в 1729 г. и первоначально состояло из студентов, придерживавшихся более строгой методики соблюдения религиозных обрядов и предъявлявших повышенные требования к проповеди (отсюда название «методисты»). Их отделение от англиканской церкви произошло в 1795 г. Льюис имеет в виду проповедь Дж. Уэсли «Великое избавление» (см.: *Wesley J.* Sermons on Several Occasions. L., 1944).

[86] *в том смысле, который вкладывает в это слово апостол Павел* — ср.: «...и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полна Наполняющего все во всем» (Еф. I, 22—23).

[87] *Барс будет лежать вместе с козленком* — ср.: «...и барс будет лежать вместе с козленком» (Ис. 11, 6).

[88] См.: *Шекспир В.* Сочинения. Спб., 1903. Т. 4. С. 431 (перевод П. П. Гнедича).

[89] Перевод фрагмента из стихотворения французской писательницы Ж.-М. де ла Мотт Гюйон (1648—1717) из книги: *Cowper W.* The Poems. L., 1905 (являющегося, в свою очередь, переводом с французского оригинала) выполнен М. А. Сухотиным.

[90] *...что они узрят Бога* — ср.: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

[91] *...дома, где обителей много* — ср.: Ин. 14, 2.

[92] *Брокенский призрак* — Брокен — название одной из горных вершин в Саксонии. Именно здесь, по народным поверьям, ежегодно проходил шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь. Часто в полосе тумана, держащейся возле горы Брокен, на противоположной солнцу стороне из силуэтов домов и людей, здесь возникало некое видение с текучими и изменчивыми формами, называемое Брокенским призраком и дававшее простор воображению.

[93] *Слова о бесценной жемчужине* — ср.: «...подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45—46).

[94] См.: *Macdonald G.* Alec Forbes of Howglen. N. Y., 1887.

[95] *Зерно умирает, чтобы жить* — ср.: «...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

[96] *Хлеб надо пустить по водам* — ср.: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11, I).

[97] *Теряющий душу свою — обретает ее* — ср.: «...кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9, 24).

[98] *Содружество святых, или «общение святых»* («communio sanctorum»— *лат.*)— слова из католического Символа веры, называемого апостольским. В русском переводе он заканчивается так: «Верую в Духа Святого, Святую Католическую Церковь, Святых общение, оставление грехов, воскресение плоти, жизнь вечную». Под «Святых общением» здесь разумеется духовное соединение верующих на земле (борющейся Церкви) со святыми в небе (с торжествующей Церковью) и с душами, томящимися в чистилище (с Церковью страждущей).

[99] См.: *Аристотель.* Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 405.

[100] *Дух предвечно исходит от них* — по католическому учению, Святой Дух исходит не только от Бога-Отца (как считает православная Церковь), но и от Бога-Сына.

[101] *Хэвард* Роберт — оксфордский врач, близкий друг Льюиса, входивший в число «Инклингов».

ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ, ИЛИ МЫСЛИ О ПРОСВЕЩЕНИИ И ВОСПИТАНИИ, ОСОБЕННО ЖЕ О ТОМ, КАК УЧАТ СЛОВЕСНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Книга написана в 1943 г. Перевод выполнен в 1979 г. Н. Л. Трауберг по изданию: *Lewis C. S.* The Abolition of Man, or Refections on Education with Special Reference to the Teaching of English in the Upper Forms of Schools. Glasgo, 1978. Подготовлен к публикации в 1991 г.

[1] *Кай, Тит, Семпроний* — три распространенных латинских имени, употребляемых в том же смысле, как у нас «Иванов, Петров, Сидоров». Вместо Семпрония у Льюиса — Орбилий, драчливый школьный учитель Горация, чье имя тоже нарицательно.

[2] *Дрэйк* Фрэнсис (ок. 1540—1596) — знаменитый английский мореплаватель.

[3] Речь идет о поселении на северо-восточном побережье Аттики, у которого в 490 г. до н. э. состоялась знаменитая *Марафонская битва* между древними греками и персами, в которой первые проявили вошедшие в легенду мужество и патриотизм, а также об *Айонском аббатстве,* находившемся в XIII в. на одном из Гебридских островов у западного побережья Шотландии.

[4] *Маргэйт* — морской курорт в Англии.

[5] *Лэм* Чарльз (1775—1834) — английский эссеист и поэт.

[6] *Браун* Томас (1605—1686) — английский врач и писатель.

[7] *Мэр* Уолтер де ла (1873—1956) — английский поэт.

[8] *...плачущие кони Ахилла* — герой Троянской войны Ахилл отказался вывести на состязание своих коней, так как они оплакивали смерть своего возницы Патрокла (см.: *Гомер.* Илиада. 23. 271—284). *Боевой конь в книге Иова* — см.: Иов. 39, 19—26. *«Брат наш вол»* — так обращался к животным святой Франциск Ассизский, проповедуя перед ними. *Братец Кролик* — персонаж «Сказок дядюшки Римуса» американского писателя Дж. Харриса (1848—1901). *«Кролик Питер»* — сказка английской писательницы Э. Б. Поттер (1866—1943).

[9] *Шелли* Перси Биши (1792—1822) — английский поэт-романтик.

[10] *...добродетелью держатся звезды* — согласно Платону, идеальное государство, основанное на добродетели, укоренено в общей системе универсума (см. диалог «Тимей»).

[11] *„Dulce et decorum est pro patria mori" (лат.)* — цитата из оды Горация «К римскому юношеству» в переводе П. Порфирова звучит так: «Приятна и красна нам смерть за край родной» (см.: *Гораций Квинт Флакк.* Оды. Спб., 1902. С. 10).

[12] *Человек поистине благородный укрепляет ствол* — цитата из «Изречений» Конфуция. Существует перевод, где вместо слова «ствол» написано «корни». В контексте это изречение может быть понято совершенно определенно, как сказанное о родовом древе. В переводе П. С. Попова оно выглядит так: «Совершенный муж сосредоточивает свои силы на основах» (см.: *Конфуций.* Изречения. Спб., 1910. С. 1).

[13] *...кто душу свою положит* — ср.: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

[14] *Ричардс* Айвор (1893—1979) — английский критик, поэт и преподаватель. Занимался психологией творчества. Оказал большое влияние на развитие поэтической критики, автор одной из первых книг по семиотике. Здесь речь идет о книге: *Richards I.* Principles of Literary Criticism. N. Y., 1942.

[15] *Локк* Джон (1632—1704) — английский философ. Развивая идеи Гоббса и Декарта, занимался политической экономией, психологией, педагогикой. В трактате «О государственном правлении» (1690) уделил большое внимание естественному закону как принципу построения человеческого общества. Льюис ссылается на высказывание Локка, которое в переводе Ю. В. Семенова звучит следующим образом: «Каждый из нас, поскольку он обязан сохранять себя и не оставлять самовольно свой пост, обязан по той же причине, когда его жизни не угрожает опасность, насколько может, сохранять остальную часть человечества...» (см.: *Локк Дж.* Избранные философские произведения. М., 1960. Т. 2. С. 8).

[16] *Уоддингтон* Конрад (1905—1975) — английский биолог, автор работ по генетике и эмбриологии. Речь идет о его книге «Science and Ethics» (1942).

[17] *Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен* — имеется в виду следующий текст «Послания к Галатам»: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3, 23—25).

[18] *Беньян* Джон (1628—1688) — английский религиозный писатель и проповедник.

[19] *Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье...* — в учении об идеальном государстве (см.: «Государство», «Законы») Платон предлагал, с целью избежать неравенства, перепоручить воспитание всех детей, независимо от их происхождения, государству и определять место человека в социальной иерархии лишь после того, как станут очевидными его склонности и способности.

[20] *Элиот* Томас (ок. 1490—1546) — английский писатель, представитель раннего английского гуманизма.

[21] *Локк* видел главную задачу воспитания в приучении «юного джентльмена» подчинять рассудку все свои желания и чувства, поэтому высказывался против классической системы образования и советовал обращать большее внимание на физическое развитие детей. В частности, он замечал: «Я бы советовал также ежедневно обмывать ему ноги холодной водой и шить ему обувь настолько тонкую, чтобы она могла промокать и пропускать воду, когда ему случится ступить в нее» (см.: *Локк Дж.* Мысли о воспитании. Спб., 1913. Вып. 1. С. 60). А также: «Стихи заставляют детей напрягать свои способности свыше силы, мешая успешному изучению языков неестественными затруднениями» (Указ. соч. Вып. 3. С. 232). Перевод текста М. А. Энгельгардта.

[22] *Дриада* — в греческой мифологии нимфа, олицетворяющая душу дерева. По преданию, дриады жили в деревьях, рождались и умирали вместе с ними.

[23] В поэме *Вергилия* «Энеида» повествуется, что, прибыв в землю фракийцев, Эней для совершения обряда жертвоприношения попытался сорвать растущие на холме кизил и мирт, но они начали кровоточить у него под руками. Раздавшийся из-под холма голос рассказал ему, что здесь похоронен Полидор, троянский посыльный к фракийцам, который, прося их о помощи Трое, привез с собой большие богатства, но был убит из алчности царем Фракии Полиместором (см.: *Вергилий Публий Марон.* Энеида. Книга 3, 22—57).

[24] *«Потрошитель трупов»* — так именовали первых анатомов на заре Нового времени.

[25] *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский ученый и философ, один из создателей новой науки, основанной на эксперименте.

[26] *Марлоу* Кристофер (1564—1593) — английский драматург, написавший пьесу «Жизнь и смерть доктора Фауста».

[27] *Бэкон отрицает знание как цель...*— Бэкон видел цель познания в том, чтобы способствовать практической деятельности людей. Об этом он писал в труде «Новый Органон» (см.: *Бэкон Ф.* Новый Органон. Л., 1935).

[28] *Парацельс* (наст. имя Гогенхайм Теофраст фон, 1493—1545) — швейцарский врач и алхимик.

[29] *Натурфилософия Гете* — Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий мыслитель и поэт, понимал мир как совокупность живых форм, органически развивающихся на всех уровнях бытия. Натурфилософия Гете испытала сильное влияние гегелевской диалектики.

[30] *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ, в 1902 г. возглавил «Теософское общество» в Германии, в 1913 г. создал «Антропософское общество». Свое учение Штейнер называл «духовной наукой», направленной на раскрытие тайных духовных сил человека с помощью особого воспитания и системы специальных упражнений.

[31] *Бубер* Мартин (1878—1965) — философ, развивавший идеи «диалогического персонализма». По его мысли, существуют два типа взаимоотношений человека с его окружением и соответственно два мира, построенных на этих отношениях. Первый тип — диалог «Я» и «Ты», личностное отношение к людям, предметам, животным, к Богу. Только на этой основе возможно установление неотчужденных, одухотворенных связей. Второй

тип — отношение «Я» — «Оно», при котором все, находящееся вне «Я», обезличено, воспринимается как «Это» — как предмет, вещь, предназначенная для манипулирования, утилитарного использования, эксплуатации.

ЛЮБОВЬ

Книга написана в 1958—1960 гг. Перевод выполнен Н. Л. Трауберг в 1976 г., по изданию: *Lewis C. S.* Four Loves. L., 1960. С некоторыми сокращениями был опубликован в «Вопросах философии», № 8, 1989. Полный вариант текста, представленный в настоящем издании, был подготовлен к публикации в 1991 г. при участии В. П. Леги (издательство «Гнозис»).

[1] *Уолш* Чедд (р. 1914) — друг Льюиса, популяризатор его книг в США, автор книги о его литературном наследии (См.: *Walsh Ch.* The Literary Legacy of C. S. Lewis. L., 1979).

[2] См.: *Donn J.* The Complete Englich Poems. Harmondsworth, 1973. P. 325.

[3] *Бог есть любовь* — ср.: I Ин. 4, 8.

[4] *Любовь-нужда, по слову Платона, дитя бедности* — см. комментарий № 28 к трактату «Страдание».

[5] *Лучше не подражать Шалтаю-Болтаю...*— Шалтай-Болтай — персонаж английской народной поэзии. В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» он презрительно отзывается об имени главной героини, говоря, что оно носит общий характер, в то время как его имя выражает его собственную сущность (по-английски Шалтай-Болтай — «Humpty-Dumpty»— означает «коротышка»).

[6] *Нехорошо быть человеку одному* — ср.: Бт. 2, 18.

[7] *Неоплатонические иллюзии.* Неоплатонизм — философское течение III—VI вв., возникшее на основе переосмысления учения Платона. Неоплатоники учили о божественном первоначале — Едином, из которого путем эманации (истечения) происходят все разряды сущего, нижним из которых является материя. Бог в их учении лишен личностных характеристик, и, следовательно, ни любовь к нему, ни влияние его на судьбу отдельного человека невозможны.

[8] *«Подражание Христу»* — религиозно-нравственный трактат, приписываемый Фоме Кемпийскому (1380—1471).

[9] *«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные»* — ср.: Мф. 11, 28.

[10] *«Открой уста твои, и Я наполню их»* — ср.: Пс. 80, 11.

[11] *Ружмон* Дени де (р. 1906) — швейцарский мыслитель. Льюис ссылается на книгу: *Rougemont D. de.* L'amour en l'Occident. P., 1952.

[12] *Она говорит, как власть имеющий* — аллюзия на текст: «Ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7, 29).

[13] *Браунинг* Роберт (1812—1889), *Кингсли* Чарльз (1819—1875), *Патмор* Ковентри (1823—1896) — английские поэты.

[14] *Шекспир показал нам снедающую похоть...*— Льюис имеет в виду 129-й сонет. В переводе С. Я. Маршака эти строки звучат так:

Утолено — влечет оно презренье,
В преследовании не жалеет сил.

(См.: *Шекспир У.* Сонеты. М., 1984. С. 175.)

[15] *«Хорошо весьма»* — ср.: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бт. 1, 31).

[16] *Плач Христа о Иерусалиме* — см.: Лк. 19, 41—44; Мф. 23, 37.

[17] *Не любящий земляка своего, которого видит...*— Льюис перефразирует слова Иоанна Богослова: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (I Ин. 4, 20).

[18] *Возможно, нам придется пожертвовать этой любовью, вырвать свой глаз...*— ср.: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя...» (Мф. 18, 9).

[19] *Caf complet (франц.)* — кофе с молоком, подаваемый вместе с рогаликом и джемом.

[20] Льюис имеет в виду главу о Р. Киплинге из книги Г. К. Честертона «Еретики» (1905). Честертон цитирует в ней строки из стихотворения Киплинга «Возвращение» — неверно, по памяти.

[21] *Молох* — божество, почитавшееся в Финикии. Ему приносили в жертву детей.

[22] *Уайт* Гилберт (1720—1793) — английский натуралист.

[23] *«Тристрам Шенди»* — роман ирландского писателя-сентименталиста Л. Стерна (1713—1768).

[24] *Профессор Лоренц сообщает нам...*— см.: *Лоренц К. С.* Кольцо царя Соломона. М., 1970. С. 171.

[25] *Привязанность непритязательна...*— Льюис перефразирует слова апостола Павла: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (I Кор. 13, 4—8).

[26] *Тексты о ненависти к жене и матери или о врагах человека — домашних его* — см.: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 26); «Враги человеку — домашние его» (Мф. 10, 36).

[27] *«Путь всякой плоти»* — роман С. Батлера (1835—1902).

[28] *«amabilis» (лат.)* — «достойный любви», а также «любезный».

[29] *Эмма у Джейн Остен* — имеется в виду роман английской писательницы Дж. Остен (1775—1817) «Эмма» (1816).

[30] *Вотан создал свободного Зигфрида, а увидев, что Зигфрид свободен, разгневался* — сюжет из германо-скандинавской мифологии, взятый Р. Вагнером для 3-й части оперы «Кольцо Нибелунгов»:

бог Вотан сковывает волшебным сном свою дочь валькирию Брунгильду (прообраз сказочной «спящей красавицы») на огненной горе, но ее освобождает Зигфрид — «свободный герой», выросший вдали от людей.

[31] *Бозанкет* Бернард (1848—1923) — английский философ, представитель абсолютного идеализма.

[32] *«Не бес ли в Тебе?»* — ср.: Ин. 7, 20.

[33] *Латинский поэт сказал «odi et amo» о влюбленности* — речь идет о стихотворении Катулла (87—54 до н. э.); «odi et amo» *(лат.)* — «ненавижу и люблю». В переводе А. И. Пиотровского это стихотворение звучит так:

Да! Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.

(См.: *Катулл Гай Валерий.* Книга лирики. Л., 1929. С. 49.)

[34] См.: *Данте Алигьери.* Божественная комедия (Рай. III, 42. 67—69; V, 103—108 и др.).

[35] *Босуэлл* Джеймс (1740—1795) — друг С. Джонсона, записавший беседы с ним.

[36] *Как говорил Эмерсон...*— см.: *Эмерсон Р.* Сочинения. Спб., 1901. Т. 1. С. 114.

[37] *Все мы хотим, чтобы нас судили «равные нам»* — Льюис перефразирует строку из стихотворения Р. Киплинга «Бремя белых».

[38] *Фруассар* Жан (1337—1404) — французский летописец, живший при дворах французского и английского монархов и описавший в своих хрониках феодальную жизнь того времени.

[39] *Эдуард VII* (1841—1910) — король Великобритании с 1901.

[40] *«Прах ты и в прах возвратишься»,— сказал Бог Адаму* — ср.: Бт. 3, 19.

[41] *«Путь паломника»* — аллегорический роман Дж. Беньяна.

[42] *«Не вы избрали друг друга, но Я избрал вас друг для друга»* — ср.: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1, 4).

[43] *Денбар* Уильям (ок. 1460 — ок. 1520) — шотландский поэт, творчество которого оказало значительное влияние на Р. Бернса.

[44] *Оруэлл* Джордж (наст. имя Эрик Джордж Блейр, 1903—1950) — английский писатель, автор прославленных антиутопий. Цитата из его романа «1984» дана в переводе В. Голышева (см.: Новый мир. 1989. № 3. С. 148).

[45] Имеется в виду фрагмент из поэмы *Тита Лукреция Кара* (ок. 96—55 до н. э.) «О природе вещей»:

...хоть та далеко, кого любишь,— всегда пред тобою
Призрак ее, и в ушах звучит ее сладкое имя.
Но убегать надо нам этих призраков, искореняя
Все, что питает любовь, и свой ум направлять на другое.
. . . . . .
Вовсе Венеры плодов не лишен, кто любви избегает:
Он наслаждается тем, что дается без всяких страданий.

Чище услада для тех, кто здоров и владеет собою,
Чем для сходящих с ума.

(См.: *Тит Лукреций Кар.* О природе вещей, 1061—1076. М., 1983. С. 152. Перевод Ф. Петровского.)

[46] *Мильтону удалось больше...*— в поэме Дж. Мильтона «Потерянный Рай» Архангел Рафаил рассказывает Адаму в Раю о любви высших Духов, состоящих из чистого эфирного света:

...Не мешают нам
Конечности, суставы, оболочки
И прочие преграды. С Духом Дух
В объятиях сливаются быстрей,
Чем воздух с воздухом, и чистота
Стремится с чистотой вступить в союз;
Частичная не надобна им связь,
Соединяющая с плотью плоть,
С душою душу.

(См.: *Мильтон Дж.* Потерянный Рай. М., 1982, С. 238. Перевод А. Штейнберга.)

[47] *Крафт-Эбинг* Ричард фон (1840—1902) — немецкий психоневролог, занимался вопросами сексуальной психопатологии. *Эллис* Хэвлок (1859—1939) — английский врач, эссеист, изучавший проблемы сексуального поведения. *Стопс* Мэри (1880—1959) — английский евгеник, в 1921 г. основала первую в Великобритании клинику регуляции рождаемости, была президентом «Общества конструктивной регуляции рождаемости и национального прогресса», изучала вопросы сексуальной гигиены.

[48] Льюис цитирует высказывания из книги: *Browne Th.* Religio Medici. N. Y., 1909. P. 337.

[49] *Аскеты-язычники зовут его темницей, или могилой души* — подобные взгляды характерны для философов орфико-пифагорейской и платонической традиций.

[50] *Фишер* Джон (1469—1535) — английский гуманист, епископ Рочестера.

[51] *Оселок и Одри* — персонажи комедии У. Шекспира «Как вам это понравится».

[52] *Король Кофетуа* — английский фольклорный герой, король, влюбившийся на склоне лет в нищенку и женившийся на ней.

[53] *Согласно Платону, влюбившись, мы узнаем друг в друге души, предназначенные одна для другой до нашего рождения* — в диалоге Платона «Пир» сообщается, что раньше было три рода людей: мужчины, женщины и андрогины, то есть двуполые существа. За то, что андрогины затеяли бунт против богов, они были рассечены надвое. Сначала каждая половина жила неразлучно со второй, «дополняющей» ее, но со временем пары смешались и перепутались. Так что теперь, «когда случается... кому-нибудь сойтись со своей половиной, тогда их так поразительно охватывают узы дружбы, доверчивости и любви, что не желают, так сказать, даже на минуту разлучиться друг с другом... Причина этого — та, что наша исконная природа была такова и мы составляли неразрывное целое. Этому желанию и стремлению к целому и есть имя Эрос» (см.: *Платон.* Пир. М., 1908. С. 40—41. Перевод И. Д. Городецкого).

[54] *„élan vital" (франц.)* — «жизненный порыв», одно из основных понятий философии А. Бергсона (1859—1941), характеризующее основу развертывания жизненного процесса — сплошного потока творчества непрерывных качественных изменений.

[55] *«Вот так — так радостно, так бескорыстно ты должен любить Меня и меньшого из братьев Моих»* — ср.: Мф. 25, 40.

[56] *Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии...*— имеется в виду первая крупная работа Льюиса «Аллегория любви» (The Allegory of Love, 1936), где на многочисленных примерах средневековой поэзии он прослеживает, как чувство так называемой «куртуазной любви» находит себе адекватную литературную форму в аллегории.

[57] См.: *Milton J.* «Samson Agonistes», I, 811//*Milton J.* The Poetical Works. L.; N. Y., 1897. P. 374.

[58] *Констан* Бенжамен (1767—1830) — французский писатель.

[59] *Моррис* Уильям (1834—1896) — английский поэт и художник. Его пьеса «Кроме любви, не нужно ничего» имела большой успех среди прерафаэлитов.

[60] *Мориак* Франсуа (1885—1970) — французский писатель, католик. См.: *Mauriac F.* Vie de Jesus. P. 1936.

[61] *Эмерсон сказал: «Боги приходят, когда уходят полубоги»*— см.: *Emerson R.* Poems. Boston; N. Y., 1898. P. 85.

[62] См.: *Августин.* Исповедь, IX, III, 6.

[63] *Мы же призваны следовать за Тем, Кто плакал над Лазарем и Иерусалимом, а одного из учеников как-то особенно любил* — см.: Ин. 11, 33—35; Лк. 19, 41—44; Ин. 21, 20—24.

[64] *«Для чего Ты меня оставил?»* — ср.: Мф. 27, 46.

[65] *«Я знал тебя, что ты человек жестокий»* — ср.: Мф. 25, 24.

[66] *...когда Он воспротивился совету Петра* — см.: Мф. 16, 21—23.

[67] *Христос учит, что человек, служащий двум господам, возненавидит одного и возлюбит другого* — см.: Мф. 6, 24.

[68] *Он «предал горы его опустошению, и владения его — шакалам пустыни»* — ср.: Мал. 1, 3.

[69] *...поэт говорит возлюбленной, что не любил бы ее так сильно, не люби он честь еще сильней* — Льюис имеет в виду строки из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса (1618—1657) «Лукасте, уходя на войну»:

Ведь если предал бы я честь,
Я предал бы тебя.

(См.: Английская лирика 1-й половины XVII в. М., 1989. С. 205. Перевод М. Бородицкой.)

[70] Льюис употребляет в скобках французские глаголы «savoir» (знать что-то о чем-то, о ком-то) и «connaitre» (знать что-то, кого-то), так как по-английски эту разницу передать трудно. По-видимому, ее нельзя хорошо передать и по-русски.

[71] *Овцы из притчи* — см.: Мф. 25, 33—40.

[72] *«И соберутся пред Ним все народы»* — ср.: Мф. 25, 32.

[73] *...как Аврааму, уйти от своего народа, из отчего дома* — см.: Бт. 12, 1.

[74] *Богатому труднее войти в Царство Небесное* — ср.: Мф. 19, 23—24.

[75] *«Ты создал нас для Себя...»* — см.: *Августин.* Исповедь. I, 1.

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО

Написана в 1942—1943 гг. Перевод выполнен И. Череватой по изданию: *Lewis C. S.* Mere Christianity. L., 1943. Публикуемый текст подготовлен к изданию в 1991 г. при участии Н. Л. Трауберг.

[1] *Бакстер* Ричард (1615—1692) — пуританский теолог и проповедник, основатель течения в кальвинизме, отличающегося менее строгой трактовкой догмата о предопределении.

[2] *«Что тебе до этого? Следуй за Мной!»* — ср.: Мф. 9, 9.

[3] *Если они — ваши враги, то помните, что вам приказано молиться за них* — ср.: «...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44).

[4] *Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать «как боги»* — ср.: «...в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Бт. 3, 5).

[5] *Христос говорит, что Он «смирен и кроток»* — ср.: «...ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29).

[6] *Джинс* Джеймс Хонвуд (1877—1946) — английский физик и астрофизик, автор космогонической гипотезы. *Эддингтон* Артур Стэнли (1882—1944) — английский астрофизик.

[7] *Он вырвал у смерти ее «жало»* — ср.: «...тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (I Кор. 15, 54—55).

[8] *Когда они говорят о пребывании «во Христе» или о пребывании Христа «в них»* — ср.: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15, 4).

[9] *...чтобы мы оставались детьми по разуму* — ср.: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (I Кор. 14, 20).

[10] *Он призывал нас быть не только «кроткими, как голуби», но и «мудрыми, как змеи»* — ср.: Мф. 10, 16.

[11] *Книга, которая поразила весь мир* — речь идет о книге Дж. Беньяна «Путь паломника» (1678—1684).

[12] *Золотое правило Нового завета — поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой* — см.: Лк. 6, 3; Мф. 7, 12.

[13] *В пугающей притче об овцах и козлах* — см.: Мф. 25, 32—33.

[14] *Юнг* Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и культуролог, основатель аналитической психологии.

[15] *...христианам сказано: не судите* — ср.: Мф. 7, 1; Лк. 6, 37.

[16] *...христианское правило гласит: «Либо женись и храни абсолютную верность своей супруге... либо соблюдай полное воздержание»* — см.: I Кор. 7, 8—12.

[17] *«Одна плоть»* — ср.: «...они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 6).

[18] *...ничто не может жить, пока не умрет* — ср.: Ин. 12, 24.

[19] *«Возлюби ближнего своего, как самого себя»* — ср.: Мф. 22, 39; Мк. 12, 31.

[20] *«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»* — ср.: Мф. 6, 12.

[21] *Во всех трех Евангелиях... где цитируется эта заповедь Христа...*— см.: Мф. 19, 18; Мк. 10, 19; Лк. 18, 20.

[22] *Когда воины спросили Иоанна Крестителя, как им поступать...* — см.: Лк. 3, 14.

[23] *Иисус, когда встретился с римским сотником* — см.: Мф. 5, 13.

[24] *...некоторые будут проповедовать Его и именем Его изгонять бесов* — ср.: Мф. 7, 21—23.

[25] *«Возлюби Господа Бога твоего»* — ср.: Мф. 22, 37.

[26] *«Кто прикоснулся ко Мне?»* — ср.: Мк. 5, 30—31.

[27] *Молитва, которой научил нас Господь* — см.: Мф. 6, 9—14.

[28] *Христиане, «рожденные вновь»* — см.: Ин. 3, 3—7.

[29] *Люди, «облекшиеся во Христа»* — ср.: «Но облекитесь в Господа нашего...» (Рим. 13, 14).

[30] *Христос «изображается в нас»* — см.: Гал. 4, 19.

[31] *Обретение «ума Христова»* — ср.: «А мы имеем ум Христов» (I Кор. 2, 16).

[32] *«Возьми свой крест»* — ср.: Мф. 16, 24.

[33] *«...иго Мое благо, и бремя Мое легко»* — ср.: Мф. 11, 30.

[34] *Смоквы не растут на терновнике* — ср.: «...не собирают смокв с терновника» (Лк. 6, 44).

[35] *«Будьте совершенны»* — ср.: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 6, 48).

[36] *В Библии говорится, что Вселенная была создана для Христа и все должно соединиться в Нем* — ср.: «...говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего и чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1, 2).

[37] *Христос говорил нам, чтобы именно так мы и судили* — ср.: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16).

[38] *Они — овцы заблудшие...*— см.: Мф. 18, 12—13.

[39] *«Многие же будут первые последними, и последние первыми»* — ср.: Мф. 19, 30.

[40] *Пожертвуйте жизнью — и вы спасете ее* — ср.: Ин. 12, 24; Лк. 9, 24.

Августин (Аврелий Августин) — *4, 5, 6,* 151, 161, 162, 189, 253, 260, *413, 414*
Авраам, патриарх (библ.) — 130, 162, 258, *411, 413, 414, 426*
Адам (библ.) — 149, 152, 155, 162, 175, 241, *413, 424*
Аид (миф.) — *406*
Амур (миф.) — 241
Андерсен Х. К.— 87
Ансельм Кентерберийский — 155, *413*
Анстей (Гатри Т.) — 70, *405*
Аполлос (библ.) — 23, *402*
Аристотель — 74, 77, 80, 141, 161, 162, 170, 173, 182, 189, 190, 199, 230, 234, 317, 359, *406, 412, 414*
Аттила — 63, *405*
Ахилл — 100, 187, *408, 418*
Афродита (миф.) — 245, *412*

Бакстер Р.— 263, *426*
Барфильд О.— *409*
Батлер С.— *405, 422*
Беатриче, дочь Фолько Портинари — 99, *407*
Беньян Дж.— 200, 354, *419, 423, 426*
Бёме Я.— *412*
Бергсон А.— 284, *425*
Бердяев Н. А.— *6*
Бёрнс Р.— *423*
Бернштейн Э.— *407*
Бивен Э.— 172, *416*
Блейк У.— 79, *406*
Богарне Ж.— 83, *407*
Бозанкет Б.— 229, *423*
Босуэлл Дж.— 232, *423*
Боэций — 61, *404*
Брат Лаврентий (Хесман Н.) — 166, *416*
Браун Т.— 187, 245, *418*
Браунинг Р.— 211, *421*
Брунгильда (миф.) — *423*
Бубер М.— 206, *420*
Будда (Гаутама Сидтхартха) — 146, *413*
Бэкон Ф.— 206, *420*

Вагнер Р.— *422*
Веллингтон А. У.— 328
Вельзевул (миф.) — 76
Венера (миф.) — 49, *423*
Вергилий Публий Марон — 128, 187, 204, *420*
Вольтер (Аруэ Ф. М.) — *411*
Вотан (миф.) — 228, *422*

Галилей Г.— 204
Генрих VII, английский король — 71, 82, 95, *405*
Гегель Г. В. Ф.— 73, 290
Гера (миф.) — *411*
Гёте И. В.— 206, *420*
Гиммлер Г.— 321
Гитлер (Шикльгрубер) А.— *6,* 71
Гоббс Т.— 159, *414, 419*
Гораций Квинт Флакк — *419*
Грэхем К.— *410*
Гюйон Ж.-М. де ла Мотт — 179, *417*

Дайсон Г. — *409*
Данте Алигьери — 76, 99, 137, 232, *405—407, 411*
Декарт Р.— *419*
Денбар У.— 242, *423*
Джеган, индийский шах — *407*
Джинс Дж. Х.— 300, *426*
Джонсон С.— 161, 164, 187, 232, *414, 415, 423*
Донн Дж.— 208
Дрэйк Ф.— 186, 187, *418*
Дэвидмен Дж.— *7*

Епафродит (библ.) — 253
Ефрем (библ.) — 140

* Курсивом обозначены страницы вступительной статьи и комментариев. *(Прим. ред.)*

Заратустра (Зороастр) — 146, *413*
Зевс (миф.) — 140, 247, *407, 411*
Зигфрид (миф.) — 228, *423*

Иаков, апостол (библ.) — 139
Иаков, патриарх (библ.) — 128, 255, *413*
Иезекииль (библ.) — 128
Иеремия (библ.) — 137, 146, *413*
Иисус Христос — 51—53, 92, 100, 120, 128, 136, 139, 142, 143, 145, 146, 152, 155, 157, 162, 164, 165, 174, 177, 178, 180, 196, 199, 210, 216, 220, 238, 239, 247—249, 251, 254, 256, 258, 260, 263—265, 267, 298—306, 312, 315, 329, 333, 337, 338, 341, 342, 348, 350, 354, 355, 358—361, 363, 366, 367, 371—374, 377—385, 387—391, 393, 395, 397—400, *402, 403, 405, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 422, 425—427*
Ио (миф.) — *411*
Иоанн Богослов, апостол (библ.) — 128, 165, 175, 208, *416, 422*
Иоанн Креститель (библ.) — 338, *427*
Ирод (библ.) — 185
Исаак, патриарх (библ.) — 162, *414*
Исав (библ.) — 255
Исайя (библ.) — 232
Иуда, апостол (библ.) — 165, 172, 252, *416*
Иулиания Норичская — 120, 256, *408*

Казанова Дж.— 71, *406*
Кант И.— 161, 162
Катулл (Гай Валерий Катулл) — *423*
Кеннеди Дж.— *3*
Керинф — *417*
Кёркпатрик Ч.— *3*
Кингсли Ч.— 211, *421*
Киплинг Р.— 217, 219, *422, 423*
Китс Дж.— 110, *408, 415*
Клавдий (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик), римский император — *406*
Клаузиус Р.— *409*
Колридж С. Т.— 17, 185, 189, 216, 234, *402*
Констан Б.— 250, *425*
Конфуций (Кун фу цзы) — 192, 196, 359, *419*
Кориолан (Гней Марций Кориолан) — 100, *408*
Коупер У.— 164, *415*
Кохил Н.— *409*
Крафт-Эбинг Р. фон — 244, *424*

Лавлейс Р.— *425*
Лазарь (библ.) — 253, *425*
Лейбниц Г. В.— *411*
Лесков Н. С.— 8
Локк Дж.— 196, 201, *420*
Лоренц К. С.— 222, *422*
Лоу У.— 142, 147, *412*
Лукреций (Тит Лукреций Кар) — 243, 248, *423*
Льюис Кэрролл (Доджсон Ч. Л.) — *408, 421*
Льюис У.— *409*
Лэм Ч.— 187, *418*
Людовик XVIII, французский король — *406*

Макдональд Дж.— 99, 125, 142, 208, 386, 388, *407*
Маритен Ж.— 39, *403*
Мария (Дева Мария) (библ.) — 264, *415*
Марк Аврелий Антонин, римский император — 146, *413*
Маркион — *417*
Маркс К.— 380, *407*
Марлоу (Марло) К.— 166, 206, *410, 416*
Мессалина Валерия — 71, *406*
Метида (миф.) — *412*
Мильтон Дж.— 51, 100, 243, 247, 250, *404, 408, 413, 424*
Моисей, патриарх (библ.) — 317, *413*
Молох (миф.) — 220. *422*
Моне К.— 105, *408*
Монтень М. де — 148
Мориак Ф.— 252, *425*
Моррис У.— 251, *425*
Мэлори Т.— 128, *410*
Мэр У. де ла — 168, 187, *418*

Наполеон Бонапарт, французский император — 83, 299, 305, 328, *406, 407*
Небридий — 253
Ней М.— 83, *406*
Нерон (Клавдий Цезарь Нерон), римский император — 172
Нибур Р.— 151, *413*
Нур-Джеган, жена индийского шаха Джегана — *407*
Ньюмен Дж. Г.— 158, *413*
Ньютон И.— *412*

Овидий (Публий Овидий Назон) — 128, 224
Орбилий — *418*
Оруэлл Дж.— 243, *423*
Остен Дж.— 228, *422*
Отто Р.— 127, *409*

Павел, апостол (библ.) — *5*, 23, 40, 43, 120, 147, 155, 175, 177, 179, 182, 189, 244, 254, 312, 353, 399, *402, 403, 408, 417, 419, 422*
Пан (миф.) — 229

Парацельс (Гогенхайм Т. фон) — 206, *420*
Паскаль Б.— 126
Патмор К.— 211, *421*
Патрокл — *418*
Пелагий (Морган) — *413*
Петр, апостол (библ.) — 137, 145, 254, *413, 425*
Пения (миф.) — *412*
Пилат (Понтий Пилат) — 64, *405*
Пифагор — *412*
Платон — 141, 147, 189, 190, 201, 208, 248, 249, 359, 380, *411—413, 415, 419, 421, 424*
Плуто (миф.) — *407*
Полидор (миф.) — *420*
Полиместор (миф.) — *420*
Порос (миф.) — *412*
Поттер Э. Б.— *418*
Пруденций — 99, *407*
Птолемей (Клавдий Птолемей) — 127, *409*
Пэли У.— 161, *414*

Ричардс А.— 195, *419*
Ружмон Д. де — 210, 214, *421*
Руссо Ж.-Ж.— 73, *406*

Сведенборг Э.— *408*
Свифт Дж.— 70, *405*
Сезанн П.— 105, *408*
Симон — *417*
Сократ — 52, 146, 195, *404, 413, 415*
Соловьев С. М.— *3*
Сталин (Джугашвили) И. В.— *6*
Стерн Л.— *422*
Стопс М.— 244, *424*
Сульт Н. Ж.— 83, *407*
Сэмсон Э.— 125, *409*

Тамерлан (Тимур), эмир — 83, 166, *406*
Тантал (миф.) — 96, *407*
Тейлор И.— 99, *407*
Траян (Марк Ульпий Траян), римский император — 99, *407*
Толкин Дж. Р. Р.— *408*
Толстой Л. Н.— *8*
Трэерн Т.— 70, 135, 289, *405*

Уайлдер Т.— *7*
Уайт Г.— 221, *422*
Уильямс Ч.— 243, *409*
Уоддингтон К.— 198, *419*
Уолш Ч.— 208, *421*
Уордсворт У.— 128, 173, 187, 214—216, 234, *410*
Уэсли Дж.— 176, *417*
Уэсли Ч.— *417*

Фаринata дельи Уберти — 71, *405*
Федотов Г. П.— *7*
Фишер Дж.— 246, *424*
Фокс А.— *409*
Фома Аквинский (Аквинат) — *5,* 39, 131, 170, 245, *402, 403*
Фома Кемпийский — *421*
Франциск Ассизский — 246, *418*
Фрейд З.— 244, 319, *410*
Фруассар Ж.— 239, *423*

Хаксли О.— *3,* 159, 163, *414*
Харди Т.— 159, 261, *414*
Харрис Дж.— *418*
Хаусмен А. Э.— 159, 261, *414*
Хилтон У.— 125
Хомяков А. С.—*7*
Хукер Р.— 39, 154, 161, 163, 165, *403*
Хэвард Р.— 184, *409, 418*
Хюгель Ф. фон — 171, *416*

Цербер (миф.) — 72, *406*
Цицерон (Марк Тулий Цицерон) — 230

Честертон Г. К.— *3, 6, 7,* 216, 219, 330, *422*
Чингисхан (Темучин), монгольский хан — 83, *406*
Чосер Дж.— *409*

Шекспир У.— 127, 140, 168, 179, 213, *405, 412, 416, 422, 424*
Шелли П. Б.— 189, *418*
Шопенгауэр А.— *408*
Шоу Б. Дж.— 51, 249, 284, *404*
Штейнер Р.— 206, *420*

Эддингтон А. С.— 300, *426*
Эдуард VII, английский король — 240, *423*
Элиот Т.— 201, *419*
Эллис Х.— 244, *424*
Эмерсон Р. У.— 233, 252, *413, 423, 425*
Эней — *420*
Энском Э.— *7*
Эпикур — *412*
Эрос (миф.) — 250, *412*
Эсхил — 76, 128, *411*

Юнг К.— 319, *426*
Юпитер (миф.) — *412*

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько слов о Клайве С. Льюисе . 3

ПРИТЧИ

ПИСЬМА БАЛАМУТА . . . 11
БАЛАМУТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОСТ . 70
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА . 79

ТРАКТАТЫ

СТРАДАНИЕ 125
Предисловие . . —
I. Вводная глава . . 126
II. Всемогущество Божие 131
III. Благость Божия . . 135
IV. Скверна человеческая 142
V. Грехопадение человека . 148
VI. Страдания человека 157
VII. Страдания человека (продолжение) . 165
VIII. Ад 168
IX. Страдания животных . 173
X. Рай . . 179
Приложение 184

ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ, ИЛИ МЫСЛИ О ПРОСВЕЩЕНИИ И ВОСПИТАНИИ, ОСОБЕННО ЖЕ О ТОМ, КАК УЧАТ АНГЛИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 185
I. Человек бесчувственный —
II. Путь 192
III. Человек отменяется 200

ЛЮБОВЬ 208
I. Введение . . . . . —
II. Любовь к тому, что ниже человека . 212
III. Привязанность 220
IV. Дружба . 230
V. Влюбленность 242
VI. Милосердие 251

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО 262
Предисловие . . . . . —
Книга I. ДОБРО И ЗЛО КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ВСЕЛЕННОЙ . 269

I. Закон человеческой природы . —
II. Некоторые возражения . 273
III. Реальность Закона . . . 277
IV. Что скрывается за Законом . . . 280
V. У нас есть основание для беспокойства . 285
Книга II. ВО ЧТО ВЕРЯТ ХРИСТИАНЕ . 289
I. Противоречивые понятия о Боге . —
II. Вторжение 291
III. Ошеломляющая альтернатива 295
IV. Совершенный кающийся 299
V. Практическое заключение . . . 303
Книга III. ХРИСТИАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ . 308
I. Три части морали . . —
II. Главные добродетели . . 312
III. Общественные нормы поведения . 315
IV. Мораль и психоанализ . . . 319
V. Нравственность в области пола . 323
VI. Христианский брак 329
VII. Прощение . . 335
VIII. Величайший грех . 339
IX. Любовь . 344
X. Надежда 346
XI. Вера 349
XII. Вера (продолжение) 352
Книга IV. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛИЧНОСТИ, ИЛИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В УЧЕНИИ О ТРОИЦЕ . . 357

I. Сотворить — не значит родить . —
II. Бог в Трех Лицах . . . 361
III. Время и за пределами времени . 365
IV. Благотворная инфекция . . . 368
V. Упрямые оловянные солдатики 372
VI. Два примечания . 374
VII. Воображение 377
VIII. Легко ли быть христианином? . 382
IX. Во что это обходится 385
X. Хорошие люди, или Новое человечество . 389
XI. Новые люди . 395
КОММЕНТАРИИ . 402
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 428